Владимир ЛИЧУТИН
ДУША
НЕИЗЪЯСНИМАЯ

Владимир ЛИЧУТИН

ДУША НЕИЗЪЯСНИМАЯ

Размышления о русском народе

Владимир ЛИЧУТИН

ДУША НЕИЗЪЯСНИМАЯ

Размышления о русском народе

Москва
Издательство «Информпечать» ИТРК РСПП
2000

УДК 130.3(=161.1)
ББК 87
Л 66

Художник Сергей Харламов

Л 66 **Личутин В.В.**
Душа неизъяснимая: Размышления о русском народе. — М.: Издательство «Информпечать» ИТРК РСПП, 2000. 640 с. ил.

ISBN 5-88010-077-4

Владимир Личутин — автор романов «Долгий отдых», «Фармазон», «Скитальцы», «Любостай», исторического романа «Раскол».

«Душа неизъяснимая» — многолетний труд, своеобразный итог раздумий автора о русском характере, о его утратах и обретениях.

Это книга размышлений о духовной природе русского человека, его обычаях, опыте жизни, простых и горьких человеческих судьбах.

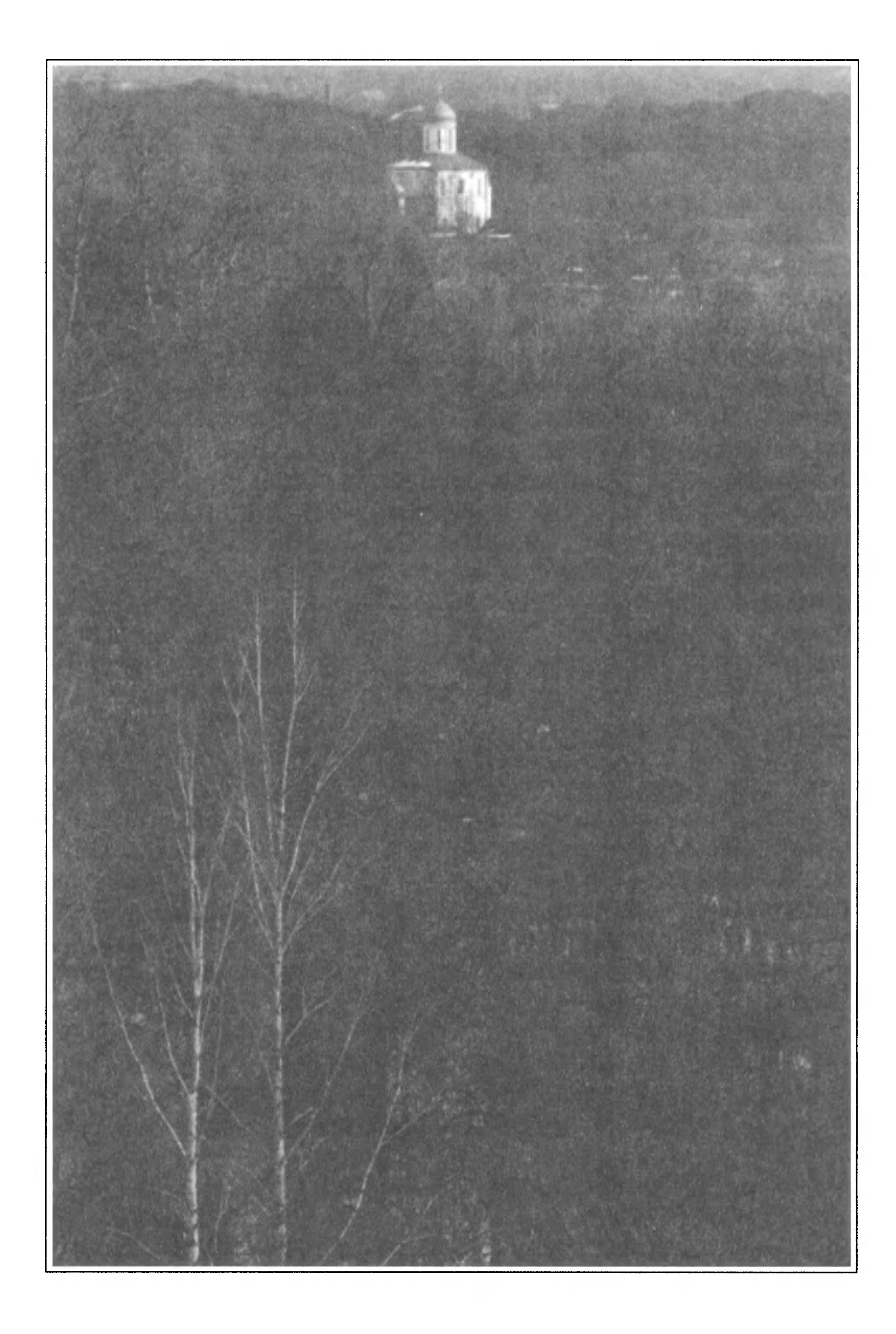
Это свод памяти о тускнеющем, тлеющем, исчезающем прошлом, о быте и обрядах, о северной и срединной Руси.

Книга пронизана поэзией народного быта, горячей и глубокой любовью к людям и своему Отечеству.

Для широкого круга читателей.

ISBN 5-88010-077-4 ББК 87

ДИВИСЬ-ГОРА



В ОЖИДАНИИ ЧУДА

*...С языком шутить нельзя: словесная речь
человека — это видимая, осязательная
связь, звено меж душой и телом.*
В. И. ДАЛЬ

верховьях порожистой реки Ваймуги лежит небольшое селение Озерцы, окруженное лесом, к которому нет иной дороги,— только рекой. Там живет такое предание: "Господь этим мужичкам за богоязливую жизнь их являл чудо в день храмового нашего праздника Егория вешнего: каждый год в этот день незадолго до заутрени выбегал большой олень из леса и отдавался в жертву поселян, которые делили его между собою и справляли праздник, не трогая своей скотинки. Чудо это давно прекратилось, и вот по какому случаю. Однажды в день этого праздника олень долго не появлялся, подходило время звонить к заутрене; народ усомнился, вестимо дело, по маловерию и полагал, что раз не будет его, то и убил свою скотинку на праздник. Но только они успели повалить ее, как олень и выбежал на то самое место, где и прежде показывался, постоял немного и убежал опять в лес. С тех пор мужички наши не имеют более подарочка, а каждогодне жертвуют свою скотинку".

Тело будто бы жаждет покоя, а душа ищет перемен. Но чутче, внимательней прислушайтесь к себе, и вы уловите вкрадчивую, ускользаемую ложность ощущений. Те мольбы, ту смятенность, что мы принимаем за муки души,— не что иное, как страдания огрузнувшего, предательски забытого нами тела, жалобы каждого хрустящего мосолика, мяс-

ной волоти и ослабевшей жилки, покинутой в бездействии. Плоть наша бунтует, ей, сердешной, хочется еще пожить во здоровье, а мы принимаем ее вопли за муки души и вдруг кидаемся Бог знает куда, претерпеваем всяческие дорожные тягости, лезем под облака, сражаемся с горной рекою, уходим во льды, этими натугами измеряя прочность нашего костяка, и тогда душа вроде бы замирает, успокаивается, реже ноет, да и когда слушать ее, ибо вы, как изработанный вол, едва освободившись от поклажи, падаете в сон, в темень, торжествуя и празднуя прожитый день. Какие там колебания? Какие там сомнения, а верно ли прожит день? Для чего воевал с собою? Кого услаждал? А не тешил ли я, братцы, лишь собственную прихоть? Можем ли мы представить, чтобы наш недалекий предок без нужды карабкался по скалистой круче, чтобы ближе увидеть небо? Странник наш, скиталец, паломник и скитник умудрялись проникать глубоко в небо из крохотной землянки, с кулижки, обнесенной непроходимым лесом, из монастырского каменного склепа. Одни пахали землю которюгою иль пластали уголь в отвале, редко видя солнышко, другие же пеклись о их душевном здравии, перемогая несчетные страдания, кои нам и не снились. Для чего русский человек пехался в схиму, в кельи, в пустынь, в затворы, в звериное и лесное окружение, на долгий пост, пробавляясь черствою горбухой? Кому надобно было такое бываньe, самоистребленье? Что за опыт проводился над натурой, когда двадцать лет лежал такой постник во гробу, изредка смеживая очи и обрывая короткий сон жутким воем волчьей стаи. И, осенив себя крестом, в могильной темени подымался старец, чтобы снова приняться за нескончаемую молитву по заблудшим. Ежели такое случалось в частном бывании, ежели такое творилось, значит, кому-то надобен был на Руси скитник? Пахарю не до самосозерцанья, он кормилец, до гробовой доски он впряжен в бесконечный воз, и, наверное, порою оторвавшись от сохи и вглядываясь в льющееся синевою небо, он вдруг вспоминал тех, кто нескончаемо печется о его душе. Кто знает, как было сие? Чтобы понять смысл земного быванья, надо так погрузиться в собственную душу, так отрешиться от утробы своей, когда и сердце вроде бы перестанет колотиться, и время замирает, а ты сам вроде бы и жив пока, но уже и мертв. И, лишь пребывая в подобном оцепененье, ты сможешь, наверное, пуститься в поход по лабиринтам собственной души. Уединение, густая черная ночь с жаровнею звезд, скользящий из бездны с тихим шорохом редкий странный снег, коему вроде бы и неоткуда взяться, единое согласие матери-земли и неба, обнимающего ее, проливающего скудный таинственный свет, когда все на миру остановилось, замерло в напряженном ожи-

дании,— и тогда сердце человечье необычно зорко, светло, певуче, но вместе с тем и тревожно, и полно ожиданием чуда.

Те многие русские затворники исцеляли, пеклись не о себе лишь, но о всех. Вся жизнь человеческая украшается ожиданием чуда.

Смысл нашей жизни кроется в пользе для всех.

1

Когда я один, меня вдруг окружает мир невидимый. Середка ночи. Мир полоняет тишина российской глубинной деревни. В верхнем околотке лениво брехает собака, лишь подчеркивая всемирный покой. Спать, спать... Это скитник не спал, боролся с ночью, ибо во сне душа человечья беззащитна от сатанинского воинства. А намаянному человеку сон куда слаще всяких яств. В свете слабого ночника бревенчатые стены кажутся глубокими, темно-красными, напитанными охрою, они вздыхают, слегка потрескивают завяленной волокнистой мякотью. Но и этот старческий вздох старого пятистенка сыпит, убаюкивает. Сквозь хмарь и путаницу запоздалых мыслей дотягиваюсь до лампы, убираю свет, и тут прямо через дорогу внезапно заверещал вороток над колодцем, заскрипел, загнусавил плачуще, звонко сбренчала цепь, пролилась в ведро вода. И как вспышка в голове: кому понадобилось брести к колодцу глубоко за полночь? Плохо с кем случилось иль кто-то принялся знахарить на трех водах из трех гремучих вод? Что за причуда? И ты, уже готовый заснуть младенчески, непонятно отчего наполняешься ознобом и оцепененьем. Сполох света пробегает по стеклу, желтый зрак прилипчиво раскачивается по окну, меняя очертанья. Соображаешь: возле соседней избы напротив включили единственный на деревне ночной фонарь. Это успокаивает, смеживаешь веки, тело наполняется истомой, грузнеет, проваливается в мякоть подушки чугунная голова. Последние приметы минувшего дня угасают, меркнут, тело вздрагивает, словно прощается с душою. Как благостно... И вдруг с каменным тяжким звуком что-то падает на пол. Включаю свет. На половицах лежит раскоряченный панцирный жук, ноги его уродливо сведены к животу, порою он перебирает ногами, не в силах перевалиться со спины. Вот, казалось бы, при свете дня хоронился некто в преисподней, а тут явился в сонный беспомощный мир со своим умыслом. Отвращение, коего не случилось бы при белом свете, вдруг переполняет меня, и, непонятно чего пугаясь, я наступаю на жука ногой. Он лопается не сразу, с хрустом, как переспелый арбуз, и я воспринимаю его не как мирное насекомое, причудливую животинку, заселившуюся в щели потолка и проточившую двухдюймовую плаху, но как воинственного гада,

злого оборотня. Снова ложусь в постель, обминаю вокруг себя одеяло, но уже нет на душе прежнего покоя, и дом не воспринимается, как крепость. Тут ты вспоминаешь, что совсем случайно заселился в рязанской деревне, и край тебе, наверное, чужой, приходит в память, с какой натугою продавала свое печище слепая старуха, жившая у сына в городе. Она была не толще черена ухвата, ее съела немощь и выпили хвори, но старенькая так не хотела расставаться со своим имением и все причитала, какой у нее дом светлый да ухоженный, да как много в нем добра. В ее памяти изба стояла прежней поры здорового хозяйствования, когда муж был возле, дети на подросте и сама она была налита ядреной силой. И вот все ушло, все кануло, и она, плакая, постоянно обращала невидимый взгляд на сына и приговаривала: "Васенька, давай не будем продавать. Летом наезжать будете, как хорошо в материнском-то доме". На что сын распускал губы, темнил взгляд и отвечал коротко, как отрубал: "Продавай, мать, нечего там делать". Я же мялся возле кровати болезной, словно насиловал ее душу, словно приступом, недозволенно отбирал имение, хотя понимал, что никто не неволит слепенькую, а дом без призора еще постоит год-другой — да и сам собою рухнет, развеется. И вот старенькая умерла, ветла под ее окном, словно чуя кончину хозяйки, высохла скоро, и ее свалили мужики: прежнюю дверь, глядящую на север, я заколотил и прорубил новый вход. Счастливым ли он окажется? Меня обступил чужой дом, чужой дух, призрак прежней хозяйки встал в проеме, и наваждение прежней жизни, которая, видимо, не выгорела дотла, обступило мою кровать, и мне на время стало нехорошо, бёссило, горько. Я еще представить не мог тогда, как, оказывается, тяжело беспомощному одинокому человеку, привыкшему к теплу людского участия. Я же, отвыкший от прежнего лада, вдруг решился прикоснуться к нему, не понимая, что он отторгает меня. Я был чужой, с душою взвихренной и самолюбивой, много всяких слов протекло через нее, оставя след, я полузабыл природу чистого детства, его неприметных, но таких сладких и ярких утех. Но попробуйте на вершине лет разыскать и напялить на себя линялую, обтерханную стеганку десятилетнего пацаненка, его штани-шонки, его картузишко... Господи, ну зачем мы тщимся пролезть в чужую жизнь, чтобы проверить верность и точность воспоминаний? Но что-то же влечет? Да и сам я почувствовал себя решительно иным, когда приобрел избу, так далеко от родных мест, во мне появилась какая-то надежность, основательность, и, когда становилось особенно худо, я успокаивал себя тем, что вот возьму и брошу все к чертям собачьим и махну в свой дом. И это грело, это успокаивало.

...А изба ожила. Оказывается, когда ты спишь, кров твой бодрству-

ет, и если подслушаешь, то поразишься, сколько звуков, хрипов, вздохов и шелестов переполняет пятистенок. Твое одинокое имение заселено столь же плотно, как большой московский дом. Кто-то пробежал по полу, резко стуча когтистыми лапами, стукнуло в раму и задребезжало стекло, завозились на чердаке, запищало в сенях, всхлопало в запечье. И постепенно ты переполняешься тем завораживающим ужасом уже неспокойной души, которая и сотворила когда-то, вылепила невидимый нами и непознанный мир.

Я запалил керосиновый фонарь, с каким обряжались когда-то наши бабки, и обошел имение, посетив все закутки. Изба сразу затаилась, затихла, присмирела: никто не возился, не верещал, дожидаясь той минуты, когда я вновь затаюсь в постели.

Близость земли сказывается во всем, она не позволяет вовсе омертветь старинным хоромам, будто в слоистых бревнах до сих пор течет живой родящий сок, и каждая тварь, населяющая жило, в постоянном общении с матерью-землей, точит норы, переходы, наверное чувствуя ненадежность временного пристанища. Всякая тварь бытует в избе только рядом с человеком. Но покинь, брось дом, и он разом омертвеет, зальдится, выпадет из общего коловращенья, лишится всякого родства с миром. И только тлен уделом ему, мара-маруха с длинными волосьями обожмет жилище, изгоняя человеческий дух. Вы пробовали хоть однажды вступить в покинутое имение, некогда хлебосольное, а ныне забытое? Переходя из комнаты в комнату, вас не оставит ощущение неведомого страха, опасения, вы все время поджидаете какой-то непонятной пакости, каверзы, полагаете увидеть то, что никогда ранее не знали и от чего вам станет дурно. И хотя душа ваша трепещет от этого ожидания, но вы, однако, упорно не оставляете своего намерения. Вы хотите чуда...

Нет ничего страшнее покинутых изб. Сама сыра земля торопится похоронить ее, стереть все следы, всякое напоминанье.

2

Искренняя вера крепит человека.

Прежде был домовой-хозяйнушко, угрюмоватый старичонко с ветхой бородою, его боялись прогневить, его задабривали. Только прогневи, а там берегись: враз развеет жилье, пойдет прахом, рассыплется по миру прежде крепкий род. Спать укладываешься — ублажи хозяйнушку добрым словом, загороди лучинками устье печи, чтобы не влетела через трубу нечистая сила, зашепчи воду в кадце от кикимор, прикрой выть в горшках и ладках от чужого сглаза, закрести знамением рот от тайного ворога. И

тогда наступит спокой на душе, ложись-почивай, и никакой в тебе сердечной тягости. А она, орда-то, берет твое житьишко приступом, и несть этой своре числа, будто вся природа отдана на откуп нечисти. Но пусть замышляют злое и пакостное луканька, дьявол, черт, царь преисподней, змий кромешный, недруг неистовый, пусть вьют хороводы мороки, кикиморы, мары, лешие и лесовики, полудницы, пралики, шиши, шишиги, русалки, окаянки, идолы, анчутки беспятые, супостаты и шутошки, хохлики и баенники. Вейтеся, а мне привольно в дому, мне спать-почивать, завтра рано вставать, надо землю пахать, лес валить, лодки смолить, коней ковать, хлебы стряпать. Забот полон рот...

Но "если ты не веришь ни в Бога, ни в черта", отчего душа твоя так неспокойна в теплой избе средь ночи, что гнетет тебя, откуда такая тревога, и ты, полуночник, раскачивая пятно фонарного света и оставляя после себя керосиновую гарь, отчего разглядываешь закоулки избы, силясь что-то отыскать Ведь одна материя вокруг, и ты в ней песчинкою, чудом возрос и в свой черед покинешь землю Так откуда в тебе смута? Что неизжитое мучает тебя?

В городском доме на шестом этаже спокойнее блочный дом лишен таинственных шорохов и шепотов, только гулко, водопадом заворчит вода — и все. Окруженный стальной арматурой и бетоном, ты лежишь в своей соте и вдруг понимаешь, что подвешен надолго, большую часть жизни ты висишь вдали от земли, в том расстоянии, откуда творится птичий полет. Нынче в блочных домах некоторые особенно чувствительные натуры привязывают себя проволокой к батарее на ночь. Неужели постоянная подвешенность, жизнь на высоте не парализуют какие-то врожденные связи с землею. Знать, что-то угнетает нас, коли путаем, стреноживаем, лишаем себя последней воли, чтобы снять энергию вредного свойства. Иные же, уловив мгновение, ходят босиком по росе, по отаве, по комковатой земле, по кошенине, сначала морщатся от боли, но принуждают себя, а после радуются, заново испытав полузабытые чувства. Оказывается, и чувства не стираются, но только складываются в некий сундучок: сколько их там, пережитых нами! Знатоки уверяют, что земля снимает внутреннее электричество, расплавляет все спазмы и узлы, омывает, высветляет наши черева. Такое же ощущение, когда трешь студеной водой мочки ушей: внутри все начинает тихонечко петь, отзывается прохладной легкостью, и по всей утробе проливается свежесть, будто в темных пещерах родился крохотный гремучий родничок. Значит, не только по бедности ходили наши пращуры босиком, дубили подошвы, когда ноги стучали по полу, как копыта. (Уездный лесничий на Печоре, чином майор, всю жизнь ходил босиком от пер-

вых оттаек до сильных морозов.) Если мы так стремимся к земле, если нам так нестерпимо хочется прикоснуться к ней беззащитным телом и почерпнуть сил, то не кроются ли тут невидимые, но неразрывные корни родства с материнским лоном, постоянно и накрепко связывающие с роженицей. Наверное, нет большей тоски, чем тоска по земле. В воспоминаниях ты почему-то всегда молод и лежишь в июльской траве, запрокинув руки за голову, а взглядом утопая в сверкающем небе. Ты — травина, цветок, собрат среди бессчетных братьев, прорастающий на воле: на душе восторг, совершенно щенячий, и во всем теле праздник.

Нажитой опыт предков, в порыве обновления и озорства отвергнутый нами, исподволь снова приходит на помощь. Мыто, наивные несмышленыши, полагаем, что совершаем открытия. Это земля слышит недуг детей своих и протягивает руку помощи.

Исстари говорят: "пуповиной прирос", "корнями ушел в землю", "своя земля и в горсти мила", "хоть за батожок, да на свой бережок", "где родился, там и пригодился", "где гриб родился, там и погибнет", "в гостях хорошо, а дома лучше". Многие десятки присказок, присловий, наговоров, заклинаний о магнетической неразрывной связи с землею, о тех нервах, жилах, сосудах, что спаяли, сплели воедино всю природу, от малой твари до дальней незримой звезды. Некоторые естественники бросили вызов нынешнему человеку, они предрекают, что наши потомки будут, как деревья, как цветы, питаться лишь солнечной благодатью, водою и воздухом. Тогда они будут бессмертны и бесконечно счастливы и жизнь их превратится в один долгий праздник души. Красиво? Чарующе? Но в этом туманном легендарном замысле есть и родящие зерна: живые родники земли не кончаются на ее теле, но перетекают и сквозь нас. Как происходит сие чудо? Пока тайна...

Не случайно же предки наши упорно утверждали, что все взято от земли и в нее же обращается по смерти: кости — от камня, кровь — от морской воды, пот — от росы, жилы — от корней, волосы — от травы.

3

Зря я бродил по усадьбе, отыскивая собеседников ночной стареющей избы. Помнить надо, милейший, упрекнул я себя, что недруги приступают осадою ночью, а видятся отчего-то чаще днем, в расплыве солнца иль в зыбкой сетке сумерек, в мареве морского лукоморья, хотя, казалось бы, самое время играть с хозяином впотемни.

Любопытна природа мифа. Если его может замыслить ученый муж, так почему не может родить деревенский насельщик? Рассказывали мне в

деревне Нюхча: "Ехали поздно. Двое. У одного мужика глаз был вставной, стеклянный и нога-протез. Устали, попросились отдохнуть. Пустили староверы. Мужик — старик на полатях, баба открыла, тоже полезла на печь. Попросили напиться, старуха указала на ушат с водой и кружку велела взять особую, чтобы не напутали чего. Напились, ночь, мужики попросились на ночлег, старуха наотказ: не-ет. Тогда мужик вынимает глаз, снимает протез с сапогом и говорит: "Если, старуха, не пустишь ночевать, то и голову отвинчу".— "Бог с вами,— закрестилась старуха.— Оставайтесь, коли так".

Да и то ведь, кто знает, что за шиш, что за пралик, что за гость ночной. Откажи такому, а он, оборотень, и голову с плеч сымет, а там, поди-ка, в утробе-то его кикимора сидит. Назавтра пойдет старенькая по деревне, и ночной гость в ее рассказах обернется в такого срамного беса, что весь народ всполошится.

Но ко мне никто на ночлег не просился, и я с некоторой тягостью на сердце снова лег в постель. Но сон свалит и атамана: он скоро сморил, я тяжело забылся и сразу оказался на родине...

И привиделась мне северная река, на коей я в частом быванье. Она текла серебряной сверкающей дорогой, она словно бы стремилась с высокой горы иль, вернее, утекала в горные вышины, теряясь возле слепящего солнца, превращалась там в пар, в легкие молочные пуховинки, в овечьи кудерки. Я увидал стремительную, туго свитую из множества косиц воду, дробящуюся о каменье, и мне захотелось на ее берега. И сон сразу перенес меня. Я у заводи, покрытой жирной темнолистой кугою, толкаюсь сквозь траву, чтобы оторваться от переката, прижаться к берегу, а другою рукою держу удилище. На конце лесы бьется, ходит огромная светлая рыба. Я радостен, я торжествую удачу, вытягиваю добычу на берег, но рыба быстро линяет, корчится, скукоживается в размерах и вот превращается в какую-то омерзительную гадину, похожую на брезентовую рукавицу-верхонку в пятнах мазута и с дикими вытаращенными глазами, полными презрения и злобы. Я озираюсь, не зная, как отделаться от странного оборотня, вскрикиваю — и... просыпаюсь.

Почему во сне происходят столь странные превращения? На окне лежало октябрьское, схваченное морозцем бледно-голубое небо, на воле стояла тихая запоздалая радость, и мерзость сна скоро сгладилась, но в сердце моем, не угасая, играла серебряная ледниковая река. На родину надо, решил я, ну конечно, домой, в родные палестины, на отчую землю. "Где гриб родился, там и пригодился". Вот почему не спится, вот отчего тягостно, муторно, сердце ноет. Из рязанских мест, полных красоты и покоя,

влечет не город, где много оставлено сил, но Север свой. Не вообще земля зовет, но отчая, матина, ее музыка живет во мне, потихоньку подгуживает, волынит на своей волынке. Кто-то незримый щипнул струны, связывающие с милым краем, и они отзывались во мне. Так-то и живется вроде бы, терпится до того мгновения, пока не щипнут за струны и мучительно не отзовется на сердце. Бросил бы все и помчался тут же. Вот говорят: одному из близких людей плохо иль при смерти он — другому мучительно и скорбно на другом конце земли за тыщи верст. Убивали на войне солдатика, и супружница его вдруг видела зов, иль знак вещий, иль мучительный сон. И, очнувшись середка ночи, вглядываясь в темный провал окна, воскрикивала: ой, погиб ведь! И начинала кататься по полу и выть. А после вместе с рассветом сотрется сон, отправится бабонька на работу, закружится в делах, виденье попритухнет и покажется наваждением, но, однако, будет неслышно тлеть в груди. А через полгода, глядишь, и похоронка: и оказалось, что убило благоверного тем самым днем, когда привиделось, причудилось, поблазнило иль явило знак. С мезенской крестьянкой Анной Николаевной Кашуниной случилось подобное: "В войну это было. Когда брата Николая в войну взяли, я в лес ушла робить, на лесоповал... Ну вот, работаю я в лесу, сучки корнаю и вдруг слышу в чаще-то: "Ню-ра!" Я и признала голос-то: брат родной меня вызывает, будто о помощи просит. Откель, думаю, брателко-то взялся, на фронте ведь воюет. Стою, как дура, напряглась вся, сердце о ребра колотится. И опять эдак-то: "Ню-ю-ра!" Я к девкам: слышали, нет ли, как брателко меня кличет? Нет, говорят, не слышали, должно быть, леший с тобой заигрывает. Как смена кончилась, я в избушку пришла. Темная такая избушка была, вся в саже и при одном оконце, а по бокам лежанки. На лежанке-то я и написала: "23 февраля у меня завопело, весть подало". И весь день крик этот в ушах стоял. А через неделю подруга моя, сменщица, из деревни вернулась: к вам, говорит, Нюра, похоронка пришла с войны, брателка твоего Николая убило. Тут у меня разом все внутри отвалилось, топор бросила, не могу робить. И надо же такому случиться: погибал Николай черт-те где, в какой дали, а меня вспомнил, весть мне подал, и я ее услышала..."[1]

Вот те же самые зовы, как мне кажется, излучает и малая родина. А приметы — это иное, уже второе что-то, не столь существенное. Ведь загодя знаю, что все повторится: приеду, поживу пару дней, и скоро прискучит тамошняя жизнь, заведенная иными людьми, иное пиво варится, иное тесто бродит в квашне; уже все иное, незнакомое, почти чужое, многое личное,

---

[1] Из очерка О. Ларина «Печенье по-лешуконски».

памятное стерлось, небо, и лес, и воды уже потеряли прежние очертанья, природа уже не моя, не омыта сердечным чувством, да и я, побродяжка, уже потерялся для нее. Так неужели земля зовет? Нет, наверное, мать думает непрестанно, и ее чувства передаются, отзываются, щемят. Конечно, мать не терпится увидеть, прикоснуться к ее морщиноватой веснушчатой коже, запечатлеть взглядом, как поникла, стопталась она, но и меж тем ободрить, вот ты, дескать, и не стареешь вовсе, все как молодая, хоть замуж выдавай: но внутри-то, чего греха таить, вздрогнет, опустится на мгновение, и тут почувствуешь въяве, как скоро летит время. Но и обрадуешься, возликуешь, что, благодаренье Богу, мать еще сама по себе ведет дом, а значит, и твой край приотодвигается, принакрывается маревом.

Ну хорошо, а что случается с теми, кто волею обстоятельств и судьбы очутился на чужбине и много лет коротает в иных пределах? Язык переиначился, почти забылся кровный, и сам внешне приобтерся, легла на личину косметика тамошнего уклада; и предки давно на погосте, и мать, поди, уже стерлась из воспоминаний, осталось лишь смутное зыбкое пятно, обозначающее "мама", и реальные приметы смылись чужбиною. Казалось бы, какая разница, где лечь в домовину, не один ли пространственный червь, не забудет он, выпьет, выгложет. Как говорят, один удел всем пасть под косою. И вот в последние остатние дни все готов отдать человек, чтобы вернуться на родину, в свой отчий край и там лечь, на своем жальнике, рядом с папенькой-маменькой. И нажитого имения не жаль, все готов отдать иной человек лишь за единственное благо лечь в землю предков. Вот и представьте себе, как мучительно, как требовательно трубит о себе малая родина. Будто бы сама земля тоскует по потеряже, по скитальцу: вот, дескать, народила тебя, чтобы ты возрос, после меня обиходил, лелеял и вернулся в то лоно, откуда явился на свет.

Это мать-земля страдает по сыне, и страдание ее разливается куда как далеко, не имея границ.

Вы скажете: а иному все трын-трава, и твои возлияния ему неведомы. Я же отвечу: да, есть меченые, есть дурнина, но чаще — скрытные, замкнутые, задавленные суетою. Мне представляется: кто реже тоскует по родине, тот быстрее позабывает язык...

Зачем ехать? Куда мчаться на перекладных? — мучаю себя, и тут ангельские хоры в моей душе начинают меркнуть, глохнуть от иных, черных вихрей. В такую даль пехаться на несколько дней, сиднем сидеть на аэродромах, на носу осенняя затяжная распута, туманы, оледененья, мокрый хлопьистый снег-липуха, слякоть. Ей-Богу, не стоит овчинка выделки,

больше намытаришься. Да и давно ли оттуда? Не успели по тебе соскучиться. Таким манером бегаешь по избе, поскрипывают половицы, из кухни струит ровным теплом, из запечья, где висят связки сушеных белых грибов, доносит сладковатым, лесным, сытным. На воле за окном стоит последний благодатный день, предвестник близкой зимы, трава пожухла, череп земли заголился, кольца сосновой стружки ползут в затишки и развешиваются на будыльях чертополоха. Но в глазах не меркнет поющая, в серебристых пузырях река, словно бы спускается она из неведомых горних вершин; это хариус кипит, играет, ловит съедного, завального комара, жирует, жиреет, готовится к зиме, нагуливается, чтобы встать на ямы.

Перемоги зиму, дождись лета, июльской благодати, тогда и востри лыжи, уговариваю себя. Сейчас река затяжелела, будто в ожидании трудных родин, загустела, засалилась, появились закрайки, а сама вода черная, снулая, бесстрастная, почти угрюмая, без единого рыбьего всплеска, и только от одного лишь вида реки сердце обвеивает грустью и стужей. Не чудо ли? Не поблазнило ли мне, не показалось ли игрою воображения и туманным видением эта серебряная река, громадное, трепетное родящее ее тело.

Сейчас морок, полотнища занудных сиротских дождей, голь ольховников, мокрядь, тяжелые бороды ельников, свисающие к самой воде, пронизывающий засиверок. Вот она, золотая пора для породистой рыбы и настоящего рыбака, натуристого, корневого человека, а ты (друг сердешный, таракан запешный) закидывай золотой крючок в ближайший продмаг и лови закоченелый, суровый пятнисто-сизый дар неведомого океана.

Совесть и удача
(Из легенды о "золотой рыбке")

1

Истинный рыбак (не переселенец и не приблудник), а корневой насельщик, коих, смею уверить, большинство на Руси, это человек не корыстный, натуры простой, бесхитростной, не ведающий расчету, за жизнь лесовую не наживший капиталу, по обыкновению вида самого бродяжного, в вылинявшей фуфайчонке иль брезентухе, в зимней шапчонке, в литых сапогах с голенищами по самые рассохи, задубелый от ветров и непогоды, со шкурой, провяленной дождями и солнцем и будто не знающий износу, несколько меланхоличный, совершенно неприхотливый к жизненному устройству: он даже под еловым выворотнем у крохотного костерка может забыться сладчайшим сном, не зная хворей и нимало не волнуясь о

собственном здоровье. По обычаю, истинный рыбак — семейный, но домом тяготится, детей любит шустрить и воспитывать, когда под мухою; его натура живет природою, и из канительной тяжелой работы рыбак умеет извлекать непонятную городскому жителю душевную усладу. Он не бродяга, не бич, носимый по весям случайными ветрами в поисках легкого рубля, чаще всего он не умеет лить колокола, пустить ближнему пыль в глаза красивыми мутными словесами. Промысловик прирастает к малой родине пуповиной, и вагой его не вывернуть из своих мест, и калачом не заманить в иные земли; это кормилец и заботник для всех и совершенно беспечный к самому себе; есть корка хлеба, махорная сосулька, при случае рюмка вина-вот тебе и пан. Истинный рыбак чаще всего молчун, тетеря, хотя в застолье, да ежели в ударе, да меж своего брата, то порою не прочь и побалагурить, и тогда природный живой язык светится золотой самородковой крупою. Он, по обыкновению, ждет удачи, чуда, и, как всякий истинный добытчик, прочно уповает на свою судьбу и упорствует до последнего. Он, как закоренелый игрок, ждет везенья, он суеверен, никогда не скажет тебе, что собрался на ловы, снасть свою таит от чужого темного взора, ибо боится сглаза, наговора. Ставки его-это бесконечная работа; если осенями, то до крайних морозов, до шуги, до той поры, когда грозит вовсе остаться без краюхи в тайге; ежели зимами, среди Канинской тундры, в снежном плену-то долби, сердешный, пешнею бесконечные майны, иорданы, проруби в саженном льду, до маеты в плечах выбирай ледяное крошево, заводи в стылые глубины невод иль ставь рюжи, уповая на одну лишь удачу, ибо рыба — темный погреб, а в Бога не верует нынешний добытчик. Истый рыбак не знает устали, он как ломовая лошадь, привыкшая к грузу, он не боится ни стужи, ни дождя и без раздражения, с какой-то нам неведомой настырностью цедит и цедит снастями воду, дожидаясь своей зари. Рыбака одна заря красит. Но видно, душа его калится, полнится пределом, и, вырываясь наконец в деревню и в бане соскоблив с себя гарь, рыбью слизь и грязь дорог, он может с той же страстью испить вина, отдаться хмелю. И кто его в том упрекнет, кто бросит в него камень? У кого подымется язык осудить? Благоверная и та терпит, и у той бутылочка в затайке ждет привального дня.

Охотники и рыбаки — это особая порода людей, некое сословие, способное выносить всяческие лишения с шуткою, с безмятежностью во взоре, их не страшат муки одиночества, им неведом страх, они обладают широким внутренним чутьем природы и любопытством. Мы еще не знаем, как скажется на характере русского человека, на его выносливости скорое угасание лесового и рыбацкого сословья, легендарного по меткости глаза,

по звериному чутью и той терпимости сердца, что свойственна только богатым натурам. В минувшей войне мы отчего-то именно от сибирского и северного корневого народа ждали избавления и отмщенья: крепость промысловика, выносливость, свычность к лишениям сильно сказывались на чувствах, на уверенности окопного солдата, хотя и сам-то среднерусский пашенный мужик тоже не лыком шит.

Природный рыбак, охотник — отличный от всех, был всегда на слуху у деревни, на пригляде: скитаясь по суземью, живя наодинку, он как бы самому лешему брат.

Истинный рыбак отменно честен, он никогда не вынет рыбы из чужой мережи. Да и всякий крестьянин в Поморье не знал воровства, за особый позор считалось взять чужое. Не раз случалось, когда рыбак, вынимая из воды снасть, находил вместо рыбы деньги, завернутые в тряпицу. Это была плата за взятую рыбу кем-нибудь из прохожих, и плата всегда соответственная ее стоимости. В промышленных избушках никогда не творилось разбою, усталому путнику всегда имелся запасец, спички, сухие дрова: и оголодалый путник, скитаясь по суземью и будучи в тяжких обстоятельствах, мечтал лишь об одном — напасть на промысловую избу. Изба, крытая лабазом, заброшенная от деревни за сотню верст, оказывалась спасительной, сохранительницей жизни. Нынче же не редкость, что бродячий, от удовольствия скитающийся по Руси люд, сытый и энергичный, забредая в лесное зимовье, все крушит, что возможно разбить, и сожжет в каменице, что горит (двери, нары, потолочины, пол, изведет весь дровяной припас, спички, махорку, крупу рассыплет), и бедному охотнику, коему, быть может, край пришел, смертный конец, остается лишь с невыразимым ужасом глядеть на печальные эти следы.

Сотни лет Поморье не знало запоров: если пристав (палка иль метла) прислонена к дверям, значит, хозяйка ушла ненадолго; но если метла всунута в ручку двери, значит, хозяйка иль убрела из имения на весь день, иль по ягоды в лес, иль на сена, на рыбные ловы, на съезжий праздник в другую деревню. И коли путнику негде преклонить усталой головы, и ты хоть сколько-то случайно знаком семье, то заходи в избу и будь за хозяина, ешь-пей, что в печи, ложись на кровать и почивай, и никакого изумления не вызовет твое нежданное присутствие у хозяев, когда они другим днем вернутся домой. Этот старинный обычай всеобщего человечьего родства (вся Русь из одного корня) невольно придавал жизни прочность и законченный смысл, ибо куда бы ни закинула тебя судьба, где бы ты ни бедовал, заходи в любое житье, и тебя приветят, обогреют, поделятся последним. (Если появился гость, "что есть в печи, на стол мечи".) Сам уклад Поморья, его рисковые

промыслы создавали стихию всеобщего гостеприимства и родства. Ведь не редко случалось, когда промышленника уносило в относ и бедный, несчастный страдалец скитался в море не одни сутки, но он не падал духом и об одном молил, чтобы не вынесло его из Белого моря в океан: тогда все, крышка. А пока в Белом море — ты жив, лишь не страшись одиночества, стылых льдов, не падай духом. Подует побережник — на Канин вынесет, там спасут оленные люди; подует с полуночника — прижмет к Терскому берегу, считай, что как домой попал; север задует — к летнему берегу приплавит, и там в каждой избе выходят тебя, отоймут у смерти.

Отсюда, из всеобщего гостеприимства, пошли гостинцы. Мало, что сам поел в гостях, попил винца, покуражился — так еще в дорогу сунут гостинец тем, кто из родичей не приехал, дома засиделся по нужде. И чужой ты вовсе, никогда не знаемый, но, ежели хоть раз в гостях побывал у поморца, ты уже свояк, и тебя долго помнить будут и ждать весточки и, провожая, обязательно вручат рыбину, и не дай бог отказаться, ибо большей обиды ты не сможешь причинить. Гостинец промышленника — это ниточка родства, ты как бы хлебом поделился, на хлебе покрестовался, побратался. И ведь знает поморянин, что никогда более не увидит случайного наезжего гостя, но будет нескончаемо долго помнить того, с кем разделил трапезу, поделился добычею.

Без рыбы поморянин не может. Ты его хоть чем прижми, обдели, но дозволь рыбье перо обсосать, сварить ухи из свежей головизны, соленое звено выкушать перед чаем. ("Трещоцки не поешь, чайку не попьешь — и не поработать".) Моя память сохранила еще тот, прежний, запах деревенской избы, кисловатый, душный, весьма обескураживающий наезжего городского человека, коему скоренько хочется вымчать на волю и глотнуть воздуху. Еще в середине прошлого века этнограф Максимов отмечал это свойство поморского житья и то впечатление от рыбы поморского засола, буквально расплывающейся в ладке. Боже мой, благовоспитанный гость, столбовой дворянин, зажимая нос от дурного запаху и видя, с каким наслаждением мачет семья эту рыбу из общей ладки, стремился скорее прочь на волю, и там, на свежем воздухе, он долго приходил в себя и клял варварство здешнего народа. Но в гостях воля не своя: захочешь жить, примешь любую выть, голод не тетка, прижмет и гордеца. Через неделю, отмечал Максимов, даже самый благовоспитанный дворянин уже с превеликим удовольствием потчевался этой рыбой и находил ее прекрасной, ел, нахваливал, складывая перья и кости горкою. Как знать, размышлял этнограф, видимо, описывая собственные впечатления, а нет ли в подобной кислой рыбе особого лекарского свойства, благотворно действующего на нашу утробу.

Я помню сени старого дедовского дома, большой шкап с полками, сплошь уставленный ладками с печеной рыбой. Запекали много, обычно на всю неделю, и каждое утро начиналось с рыбной трапезы, с камбалы, с наваги иль щуки весеннего посола. И поныне у старой поморки иль мезенской мещанки нет большего удовольствия выкушать рыбки, раздразнить черевные чувства рыбной жарехой. Сколько вдовиц мечтает о рыбе? Хотя бы трещоцки, пристанывают они, щучье звенышко, мелкой камбалки, что прежде и не называли рыбой. За рыбу шли лишь семга, нельма, муксун, голец, пелядь, палтус, сиг, язь, лещ. Вот вроде бы у воды живет вдовица, потерявшая мужа на войне, но неоткуда ей взять самой завалящей рыбехи на кулебяку иль уху. Рыбный лов перешел в разряд любительский. И позабыто, не в чести ныне стародавнее дедово присловье: "Гол — да не вор, беден — да честен". И пошло в ход иное: "Украл — продал — Бог подал. Украл — поймали — судьба привела".

Но ведь не продают, вот закавыка. Нет в поморе той корысти, когда на нехватке можно легко нажиться, набить мошну деньгою. Любитель коли и продаст когда, так задешево, лишь из душевной муки, когда трубы горят, а ни копейки в кармане. Я за многие годы не знавал помора, кинувшегося вдруг в наживу, горящего неутолимой жаждой разбогатеть. И в помыслах-то нет, чтоб содрать с ближнего, да тогда его закостят на деревне, заплюют пакостными словами, ему вовсе не житье. Вот где и пользуется старая бобылка иль вдовец: они никогда не откажут подвыпившему парню и как бы сразу свяжут мужика сговором, а слово до сих пор крепко в Поморье. Если будет рыба, на эту пятерку насыплет улова щедрой рукою.

Но рыбак-любитель — это не прежний промышленник, рачительный хозяин тони, озера, речной ямы: ему бы только ухватить, сорвать удачу под покровом ночи, а там и трава не расти. Вот отчего рыбак был в почете, к нему на поклон идти не надо, он и сам о себе напомнит. Он и семью кормит, он и государству сдаст по самой скромной цене, он и немощных не позабывал, кому уже не под силу на ловы. Где-то на улице встретит вдовицу, кинет слово как бы невзначай: "Ты слышь, Паранька. Ты бы заглянула да рыбки взяла". И насыплет ведро харюзов иль мешок щук, поможет насолить на зиму. А много ли старенькой надо? Было бы чем осолониться перед чаем. Но вот вовсе повывелся промышленник, и старым людям приходится туго. И нередко сейчас слышишь в поморской деревне горестные речи: "У реки живем, а рыбы не видим. У нас ни фрукта, ни овоща, это на юге все растет. Век на рыбе росли, и рыба была, а нынче из воды не возьми. Мы же рыбны люди, нам рыбки дай. Мы что, лишни люди?"

Для поморянина рыба — второй хлеб. Шестьсот лет Поморье сто-

яло на рыбе, крепилось ею, и всегда рыбы было безвыводно. На семью поморянин, по обыкновению, запасал до трех бочек рыбы (килограммов восемьсот, под тонну), большей частью брал щуку. И то, что промыслы из года в год были высокие и вся Россия кормилась лишь внутренними водоемами, сами за себя говорят лавочные цены. Любопытно их привести (1853 год).

Хлеб печеный фунтами ржаной — 1 коп., а белый — 3 коп.

Рыба живая: щуки первого сорта от 10—20 фунтов — 4 коп., такие же налимы — 4 коп.

Нельмы от 7 и более фунтов — 7 коп., сиги от 2—4 фунтов — 5 коп.

Рыба по цене была приравнена к хлебу.

Наверное, интересно знать, что помор вывозил на рынок более 150 тысяч пудов наваги. Промысел начинался с первым ледоставом (середина октября) и кончался пятнадцатого января. Дальше лов прекращали, потому что навага выпускала икру и, по словам крестьян, тощела, становилась мягкой, невкусной. За сотни верст с Канина, с бескрайних пустынных тундр, с речек Кии и Чижи ее везли поначалу на оленных аргишах, затарив в рогожные кули, потом в Мезени перегружали на конные обозы и тянули в Москву и Питер. Поджарь такую наважку на яром огне да в коровьем масле, а после раздень, золотистую, янтарно сверкающую, с перламутровым мясом, и ты увидишь, как чиста и бела ее кость. Не случайно про навагу говорили на Севере: "Царская рыбка. Наважки всякий хочет". Навага, как и треска, не приедается, мясо ее самого деликатного свойства, постное и не причиняет вреда черевам, и действует на брюшину ублаготворяюще.

Помню, и дед мой ходил в долгие обозы на Питер и в Москву и умудрялся за месяц тягостной дороги сохранить улов в прекрасном виде.

Нынче скорости не те. К вашим услугам вертолет, поезд. Но наважий промысел тянется до середины марта, и никто уже не обращает внимания на ту дедовскую привередливость (навага, выпуская икру, тощеет) и добывает до последнего, пока не прижмет распутами. Скапливаются на тундровых речках многие сотни тонн улова, все уповают на малую авиацию, но и она не Бог, зависит от погоды. На Севере же часты метели, для "аннушки" — запрет, а после неожиданно ударит оттепель, все течет, рыба в немыслимых копнах дрябнет, тускнеет, и если выпотрошить такую наважку, то заметишь, как неприятно почернела кость. Из деликатесной рыба скоро становится бросовой. ("Почернела наважка-то, у ней уж и скус не тот".)

Сельди беломорской доставали более двух миллионов пудов за путину. Только сороцкой сельди добывали за два осенних месяца до сорока тысяч возов, в каждом возу тридцать пудов. Сельдь беломорская была трех ви-

дов: 1) крупная, 2) галдья, 3) мелкая. Разные породы сельди не смешивались меж собою. Поньгамские и анзерские крупные сельди в Белом море никогда не заходят в Сороцкую губу. Французские сардинки, английские пильчары, печорская сельга и беломорская галдья составляют потомство полярных сельдей.

В Печору подымается два вида сельди: заурея — чистая полярная сельдь, нежная, крупная, белая. Она не заходит выше Пустозерска, 100 верст от моря. Сельга — появляется раньше, поворачивает во множестве до Усы и селится у Адакских гор. Рыба эта походит на сардину и есть плод полярных сельдей, роняющих икру на студеных отмелях. У сельги в реке мясо красноватое.

Осенью 1777 года на отмелях близ города Колы обсохло стадо сельдей в колено вышиною, и весною пришлось очищать берега в предупреждение заразы. В 1825 году в Колу заходило сельдей такое множество, что жители черпали ее из реки ведрами. Каждую осень улов сельдей только в Сороцкой бухте при устье реки Выга бывал до полутора миллионов пудов.

Сельди продавались в Архангельске: мерзлая 7 коп. за пуд, соленая кандалакшская — от 15 до 25 коп. за пуд, соловецкие лучшего соления — до 1 руб. 4 коп. за пуд.

Семга

Только по Мезени средний улов с 1905 по 1909 год — 12 316 пудов. Беломорская семга по качеству и урочищам разделялась на сорта: Двина, Подпорожье, Онега, Летний берег, Варзуга, Умба, Мезень, Кемь, Поной, Солза.

Мурманская семга не имеет видов, она известна под именем Кола. Печорская семга, и вообще большеземельская, отличается белым жиром между каждым слоем мяса и составляет лучший сорт этой рыбы. Кроме Печоры и ее притоков семга водится во всех реках и речках, впадающих в море из Большеземельского хребта на протяжении 500 верст от Печоры до Мезенского заворота. На архангельских рынках печорская семга ценилась наравне с низшими сортами из-за дурного засола, от которого нежная рыба при первой оттайке горкнет, начинает гнить, если не успели продать в замороженном состоянии.

"Сначала идет семга — залетка, закройка — крупная, икряна рыба, заходит вначале путины, как лед унесет, как льду в море не будет. Потом семга-межень, живая рыба, и когда хорошая погода, то скачет. По самой поверхности идет, даже перо видно. Мельче клецк. Потом ильинская семга — со

второго августа. Она крупная, широкая, короткая, увесистая, жирная. Другой раз и не подумаешь, а свесишь, она много больше весит. В невод попадала по двадцать три килограмма рыбина. Лежит, в завеску зацепилась зубами, думали, коряга иль бревно. Рыбинка так рыбинка, есть на что посмотреть. Осенью часты походы. Которы мужики знают праздники, они стараются тайники ставить".

Обычно лов семги начинался после Ильина дня. Ловили поплавью, переметами (сетными стенками), неводами, ставными тайниками. Как сена уберут, тут и семга явится в реки, и тогда все, имеющие снасть, спешат на ловы. Как я себя помню, только в низовьях Мезени на речном пространстве в тридцать верст было шесть рыбацких колхозов, и все имели прямо под деревней тони, заводили невод и брали много красной рыбы, а уловы из года в год в среднем оставались постоянны. Нынче на Мезени ни одного рыбацкого хозяйства, замерла вовсе река, запущены тони, забыт вкус "золотой рыбки", и в необыкновенное диво видеть на столе кулебяку с семужьим звеном. И уже неведомо, как идет рыба, сколько ее, каковы пути. Только поздними вечерами, не ведая сроков, под покровом ночи уходит на реку рисковый мужик. Практически прекратилось, замерло семужье стадо двинское, солзенское, онежское, кольское, мезенское, варзугское, териберское: порожистые реки Мурмана перекрываются плотинами, и в ближайшие годы красная рыба и там будет за великое чудо.

Закрылась сельдяная путина, и редкая береговая артель решится нынче испытать удачу, завести невод в море, зацепить сельдяной косяк; вовсе забыта камбалья путина; обычно ушаты морской камбалы, добытой в мезенском заливе, стояли в каждой деревенской избе, каждый мещанин из Мезени не обходился без камбалы печорского засола; еще в недавнем времени осенями плыли мужики с помезенья под Семжу в речную губу и возвращались с богатой добычей; умерли зимние озерные ловы, и свежего окуня (такие полосатые лапти в килограмм и более) уже не сыщешь в крестьянской ухе. А без щуки вешнего посола не садились завтракать, кто ел сырком, кто печеную в ладке; многие тысячи семей кормились из века в век щукою, и вся она добывалась на Варшинских озерах, и не было той рыбе изводу. Значит, рыба пропадает не от того, что ее ловят, но исчезает, если ее добывают дурно, не вовремя. (Об этом речь пойдет несколько позже.)

И вдруг разом исчезла рыба на тысячах озер! Семьсот лет была и вдруг в последние тридцать лет иссякла? Пропала именно в те годы, когда почти прекратились ловы, когда свелся на нет деревенский рыбак, когда закрылись рыбацкие амбары шести поморских колхозов, разрушилась сетевяз-

ка, сгнили на берегу морские карбаса и вся ловецкая посуда. Но ведь в недавнем, вовсе недалеком времени вся многомиллионная Россия питалась рыбою из внутренних водоемов; таких плантаций (20 млн. га) не имеет ни одна держава мира. Морские урожаи ненадежны, зыбки, в океан кинулись десятки стран со всем своим флотом и с безудержною жаждой разграбить кладовые, не запоздать бы; на многие годы остались без призора, без доброго участия неиссякаемые кормильцы — реки и озера. А море вдруг показало характер, жизнь его ушла в глубины, затаилась.

Кажется, вдруг все человечество поддалось бездонности океанских закромов, безмерности его богатства. Когда же добыча сравнительно легко дается, то и относишься к ней со странной жадностью и легкомысленностью скряги, того самого Мамона, который копит всякую всячину в мрачных подвалах, трясется над каждой крохою, с легкостью отдавая богатства свои тлену и порче. Лишь бы взять, утаить, схоронить, запастись. Казалось бы, чего разумнее взять вдвое меньше, образумиться, войти в стыд, охолонуть, но именно трезвости и разумности в действиях сейчас и не хватает разгоряченному человечеству. По данным ЮНЕСКО из ста процентов выловленной в море рыбы 51 процент ее гибнет зря из-за невозможности сохранить...

Нравственность промысла зависит от чистоты помыслов. Было же такое, что в каждой лавчонке России, в каждом крохотном закутке, затулье лежала, кисла, ржавела селедка; треска высыхала и седела от соли, потом ее скармливали скоту иль закапывали в землю. Рыбы добывалось куда больше, чем ее могла употребить страна; видимо, она ловилась из расчета столько-то кг на душу населения. Но не все же любят рыбу, иные желают рисовой каши. Спрос рождает предложение, а не наоборот. Кладовые природы нищали, и вдруг обнаружились бреши в бездонных закромах, но человечество не унывало. Сельдь и треску заменили тем, что попадает в тралы: простипома, хек, ставрида, скумбрия, мойва, бельдюга, ледяная рыба. Сам вид ее, невзрачный, залыселый, с сизыми пятнами, вызывает не то чтобы брезгливость, но равнодушие. Долго лежавшая в трюмах, в кучах и грудах, не раз замерзавшая и оттаивавшая, она уже мало походит на тех существ, что были подцеплены тралом где-то у берегов Африки. Мне думается, что каждая рыба живет для своих людей: индонезийскому жителю по его натуре, по его составу крови, его биологии, наверное, куда ближе простипома, чем зубатка и палтусина. Вот здесь-то и сказывается наша этика, наша человеческая грубость к существам, живущим на других этажах природы. Я думаю, что остроперая с синеватым отливом ставридка в глубинах океана куда более совершенна, чем на прилавке гастронома.

Человечество растет, все больше будет пустеть ниш, и мы в погоне за прокормом незаметно запустошим весь дом.

Природу-мать не сдать в богадельню, в дом призрения, как престарелых родителей, за которыми обуза ухаживать в их преклонные года. Одно дело — сиротею старуху, бобылку иль бобыля оприютит отечество на старости лет, даст ему прокорм, ночлег и призор. Для этого и задуманы были народом монастырские богадельни, странноприимные дома и всякого рода приюты, чтобы этикой, добросердием, совестию и состраданием отличиться от животного стада. Но худо, как худо, когда при живых-то детях мать-старуху выпроваживают в общественный дом инвалидов, чтобы напрочь отлучить ее, выключить из семьи, из рода, из памяти, а саму сиротину оставить жить лишь в прошлом, в призраках, как бы заживо схоронить ее средь прочих несчастных существ. Вот тут-то и сказывается в нас тщательно скрываемая нами звериная натура, что в темени груди, возлелеянная, выпестованная и обихоженная, вольно произрастает и командует нашими душами.

Так вот: природу-мать, как собственную старуху, не подкинешь, не сплавишь в чужие руки, на инвалидное житье. Это наша кожа, нервы и кровь, обитель и крыша, тот кокон, куда мы запеленуты с рождения и до скончания века: нам не выклюнуться, не проклюнуть скорлупу, как бы ни старались; мы — птенцы, коим уготовано погинуть в скорлупе, так и не явившись на свет Божий. Но что птенцу тому рок, то нам за счастие: и всякая потуга со тщанием пробиться наружу из скорлупы оборачивается всеобщей нашей гибелью. Нам призревать надо свой кокон, следить и угождать, с готовностью исполняя всякую "чудинку", так странную будто бы на первый погляд, но за появлением которой внимательному оку всегда откроется предостережение природы, вещий знак, весть близкой беды.

Как бы мы ни относились к язычеству, какой бы анафеме ни подвергали детство наших пращуров, как бы ни глумились, невежественные, над родителем нашим, но природа для него была божеством; ей одной, населенной зримыми, такими вещими, устрашающими и благодетельствующими ликами, молился он неустанно, взывая к милости. Испрашивая блага у земли и неба, человек и сам учился благодарности, он умел возблагодарить, ответить участием.

Но не сон ли то — верования седых преданий? Как извлечь нам уроки из долгой прожитой жизни? И неужель они не пойдут в науку, и лишь конец света, новый потоп и апокалипсис вернут случайно сохранившихся людишек к отринутым истинам? На каком плоту, среди какого сорома и

содома поплывут они, нам безвестные Адам и Ева? Не проклянут ли они тот день, когда не сгорели на всеобщем костре?

Ум, как гибельное сладострастное чувство, взяли мы поначалу в услужение, а после полностью отдались ему, как завещает свою душу дьяволу злонамеренный любострастный человек. И как тут не вспомнить озарения великого Гоголя: "Ум не есть высшая в нас способность. Его должность не больше как полицейская... Он несравненно в большей зависимости находится от душевных состояний, как только забушует страсть, он уже вдруг поступает слепо и глупо... Разум есть нравственно высшая способность, но она приобретается не иначе, как победой над страстьми. Но есть высшая способность, имя ей — мудрость..."

Я уж и не уповаю на мудрость, Бог с нею, это удел избранных, имя которых заносится в скрижали истории; которым с готовностью поклоняются, сотворив из них кумира, но вещие слова их стараются не вспоминать. Но разум, как одухотворенный ум, должен бы наконец возначальствовать в нашей жизни во всех ее оттенках. Разум все делает в благодарность, в сохранение, в услужение: он напитан чувством всеобщего блага и любви к ближнему.

Мы костим, честим варвара, не виданного нами, за то лишь, что он прободал копьем на капище жертвенного барана, прося у природы "охранного ярлыка". Несмотря на магию тех первобытных чувств, они меж тем наглядно просты и предельно этичны, в них нет козни, подкопа, интриги к матери-земле; язычник не пытался вскрыть кокон, пробить дыру в космос, откуда, гудя, наваливается на нас мрак. Язычник боялся без спросу войти в природу и изъять хоть частицу ее, чтобы прокормить бренное, скоро ветшающее тело. Смешно? Но именно этикой к матери-природе было окрашено всякое действо темного "варвара". Разве пришло бы ему в голову побивать дубьем сразу сотню мамонтов, а после бросать их на потраву зверю и червю. Мы же, дети тех варваров, обладающие чудовищным гипертрофированным умом, проливая крокодиловы слезы, снимаем скальп с темени матери-земли, "не вем, что творим": но и уяснивши, что замыслили измену и равнодушное убиение, меж тем продолжаем скверну с остекленелой улыбкой познания (примета опасной болезни) всего живого и святого, заклиная, бия себя в грудь и хлопоча о душе с невинностью чистосердечного ребенка. Как следствие холодного ума — цинизм, разъедающий душу, как ржа ест железо; цинизм умного рассудочного человека куда страшнее отъявленного злодейства, ибо прикрыт всякий раз иною маскою (добропорядочности, услужливости, покаянности и даже оскорбленной чести). Отъявленные циники-ученые бывают лишь в кино и в домашнем

застолье, иль в сплоченном кругу единомышленников, когда они с гордостью и легкостью вещают о иных планетах, о переселениях душ, о новых солнцах и формах энергии, о том, что наша земля вращается лишь по одной оси, но надо такое содеять, чтобы она крутилась сразу по трем направлениям. Я полагаю, что именно в самых тесных застольях вдруг возникали идеи "цветущих садов на Крайнем Севере", гигантских мостов и тоннелей через проливы, летающих городов-спутников, всего того, что может породить ум, отравленный ядом болезненной самовлюбленности и эгоизма. И вот перегородили реки, кровесосуды земли, тромбами плотин, все живое залили желчью химзаводов, до пены и рвоты насытили почвы стиральными порошками и гербицидами, пробили обетованный кокон тысячами ракетных выстрелов, сжигая кислород, и теперь в эти незарастающие дыры-тоннели началась перекачка космических отходов на раны нашей планеты. А где бальзам? Где пластырь на незамирающие, кровоточащие язвы земли, которые мы не только не обихаживаем по-сыновьи, но с непонятным сладострастием растравливаем, разжигаем их, словно бы нам уже невыносимо более жить. Мы вынесли приговор природе, когда осмелились объявить во всеуслышание: де, нам нельзя ждать милости у природы, взять их у нее — наша задача.

Всякому деянию столоначальник по обыкновению придумывает вывеску, словесную мишуру, наводит тень на плетень, навешивает несведущему этакие "макароны на уши". И среднестатистический гражданин, ни во что не посвященный, живущий в вакууме умолчания и всеобщей недоговоренности, эти "макароны" носит, принимая их по простоте душевной за откровения и истину в последней инстанции. И с такою ловкостью научились обрабатывать сонный и благодушный человечий ум, такие конфетные обертки насочиняли всеведущие мудрецы, что в красочной упаковке скоро нестрашным покажется апокалипсис, тот самый конец света и Страшный суд, к которому уже не однажды готовились наши предки.

Зловещие деяния обычно уходят, как в песок, скоро позабываются, только вот словесная оболочка замысла как бы повисает над нами напоминанием, остережением недавнему злу. Но человек в повседневных заботах своих, будто стреноженная лошадь, уткнулся в свой загон и ой, как редко посмотрит вокруг себя и задумается.

Мое напоминание чиновному холодному уму: если желаете всеобщей забывчивости, осторожней обращайтесь со словом, не обещайте, лучше всего злое деяние творить в молчании, ибо из слова, как из сюртука, неожиданно вылезут мохнатые руки с багровыми запястьями, которые так неловко и некрасиво висят, а их некуда спрятать.

Не раз вспомнит поседевший столоначальник с глубокой грустью те благословенные времена, когда природу, как безответного, немого и безгласного, таскали за уши всяк, кому приспела охота; когда треску сбрасывали тысячами тонн обратно в море, иль без всяких затей удобряли рыбою северную тундру, иль скармливали свиньям и птице; когда селедку набивали солью с такою дотошностью, что она могла пережить пирамиды Хеопса; ежели бы не малые площади деревенских магазинов, то бочки с селедкою еще и поныне бы напоминали всякому новорожденному провинциалу о былом советском богатстве, кое не ведали, как растранжирить и развеять по ветру. Куда же дели ту ржавую селедку? Думаю, что закопали втихомолку, после того как она вошла в те сорок девять процентов выловленной рыбы, что погибла не зря. И та океанская мелочь из-под берегов Африки, что затарена в баночки под вывеской "Завтрак туриста" и разослана по обширной многострадальной земле, она тоже не сгинула безотрадно, но внесла свою достойную лепту в процент и сводку советского хозяйственника. Только однажды, ввиду великого походного голода, купивши "консерву" в забытой богом сельской продлавке, я смог осилить две ложки аристократического рыбного завтрака, полив их сгущенным молоком. Более я не рисковал, ибо понял вдруг: есть "Завтрак туриста" — равносильно, что ползти по ледникам Эльбруса без снаряжения. Куда бы проще, наверное, рыбный фарш сразу скормить свиньям, чем затаривать его в жестяные банки, изводя понапрасну сортовой материал. Правда, сводка хозяйственника тогда утратит свое деловое лицо и подкачает цифирь: ведь согласно этой хорошо накаченной цифири мы по потреблению рыбы занимаем ведущее место в мире. Но надорванный минувшей войною желудок решительно отказывается принимать и рыбные фрикадельки, и сардельки, изготовленные, видимо, для грядущего голода последней атомной войны.

Особенный цинизм холодного ума в том, что он всегда имеет иронический окрас: бедному скалолазу-туристу мало бездонных ущелий, куда он рискует угодить, но он должен оборваться на дно ледника обязательно с "Завтраком туриста", прошедшим долговекую выдержку в сельповском амбаре. "Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет". И чиновный в свой добротный портфель из крокодила сыщет пакет с осетриной и тресковой печенью. И запивая деликатесы рюмкою холодной водки "Золотое кольцо", он сочинит, предположим, "крабовые палочки".

За "крабовую палочку" взялись мурманские рыбоделы. Вид и цвет краба, только что отловленного в Тихом океане, и запах у нее, как у панцирного клешнятого существа. Но на самом деле это фарш перемолотой

бросовой рыбы, из которой выжат рыбий жир. Остается нейтральный белковый продукт, обильно политый эссенцией с запахом краба. А ежели добавить эссенцию с запахом икры, то вся белковая масса — тысячи тонн — превратится вдруг, по мановению ока, в черную икру! иль в красную! иль в семужьи балыки! в брюшко нельмы! Зачем утруждать себя разведением рыбы, тратить столько зачастую бесполезных усилий, идти врукопашную против бетонных надолб ретивого промышленника, коли достаточно одного лишь "компонента" (как у алхимиков), чтобы бросовый продукт превратить в золотую рыбку.

Зачем нам знать, что этой белковой массой откармливают на зверофермах лисиц и песцов. Чиновному уму важна вывеска, цифра в отчете: ведь рыба не выброшена, ей придан товарный вид. А человек не свинья, все съест...

Человек пожилых лет, почти преклонных, убеленный сединами, что поведал мне с искренней радостью о "крабовых палочках" (о чем позднее вещало и телевидение), даже и не помышлял о некой чертовщине вокруг этого дела, он не чуял той бессовестности, что сгустилась в воздухе от его слов: он был удивлен лишь моему возмущению и понял его лишь как мою бестактность. О каком цинизме тут речь? Делается благородное дело, бросовой рыбе, попавшей в частую ячею океанского трала, придается товарный вид, чтобы у "пирамид Хеопса" в сельской лавчонке был более цветистый, зазывный вид, свидетельство всеобщего довольства и переизбытка. Оскудевшей, вовсе забытой деревенской продлавке, очевидно, мало "Завтрака туриста" и скумбрии в томате, но подавай нынче и крабовые палочки из фарша океанической мелочи, а также черную и красную икру из белковой массы. И это в русской земле, коя до недавних лет знавала всяческую, самую изысканную рыбу.

В музее Мезени есть заборная книжка моего дедушки, Петра Назаровича Личутина, по которой он брал товар в лавке купца Шевкуненко. Это был девятьсот шестнадцатый год, третий год первой мировой войны, но Россия еще не знала карточек, и даже далекие провинции, окраины вроде Мезени, куда и попасть-то было за несчастье, еще и не ведали о тягостях затяжной междоусобицы. По этой заборной книжке, как по неоспоримому свидетельству, можно понять степень обеспечения: в лавке купца, куда продукт доставлялся иль долгими обозами в зиму, иль на карбасах и шхунах в летние месяцы, был товар всякий, коего пожелает душа и средства. Но раз в моих размышлениях речь идет о рыбе, то я перечислю, что потреблял северный насельщик из этого продукта в шестнадцатом году: "семга, нельма, голец, омуль, сиг, язь, палтосина, треска, щука, зубатка, пина-

гор, навага..." Я уж и не говорю, что были всякие мяса и дичи, крупы, муки, китайские, грецкие и сибирские орехи, восточный чай (банки из-под которого долго хранились в каждой северной избе).

Сие упоминание мое не для того, чтобы подчеркнуть разницу жизни: во многом мы неоспоримо стали жить прочнее, надежнее, что ли, праздпее, ленивее, спустя рукава, но я привел выдержку для того лишь, что русская, многообразная, удивительно богатая земля могла бы кормить в избытке (при достойном труде) не двести семьдесят, но все пятьсот-шестьсот миллионов человек; другой такой изобильной земли никому из наций более не досталось от пращуров, и можно только дивиться тому, как при такой природе мы умудрились добиться подобной скудости, когда каждый десятый каравай хлеба мы выпекаем из иноземной муки, мясо везем из Аргентины, а простипому и бельдюгу от берегов Африки...

Холодный ум технократии, загнавший великие реки в трубы и плотины, этими тромбами сначала нарушил их живое движенье, "наших тварей меньших" загнал в отстойники, в цветущие с загнившей водою, иль смел в гигантский мусорный бак, а уж тогда объявил во всем повинным русского мужика, обозвав его браконьером, словно бы этот негодяй всю пойманную рыбу отвозит в космических контейнерах на иные планеты, а не скармливает домашней "орде", вовсе заскучавшей от казенных борщей и туристских завтраков. А теперь ученый муж создал вот "крабовые палочки", вменив это себе в неоценимую заслугу и уже тайно мечтая о государственной премии.

У холодного ума нет сострадания, сопечали, сожалости, соучастия: он по обыкновению весь в своей гибкости и подчинен идее в себе, а там хоть трава не расти. Фарисейство беспозвоночно: это что-то среднее между змеей, налимом и стерлядью. Если вы видите фарисея с обличьем стерляди, то знайте, что внутри его живет зоркая, подстерегающая змея.

Помнится, седовласый человек сказал мне: де, ничего страшного не случилось, что почти пропала в Баренцевом море треска (он не поправился, что-де извели ее безжалостно). Зато, говорит, свободную нишу заполнил криль, мелкий рачок, и мы теперь будем делать консервы из криля. Но он не добавил, седовласый муж, что потому и расплодился криль за отсутствием трески, и, подметая кошельками морского мелкого рачка (этот корм трески), мы уже окончательно подрубаем под корень будущее рыбье и зверное стадо. Криль, мойва и сайка — низший биологический этаж, экологический фундамент северных морей. Но мы ради премии и отчетной цифры гигантский флот кинули на мойву, которая в словарях прошлого века стоит под пометою — "несъедобная рыба".

Съесть можно все: в войну ели и кору, и лебеду, и мох. Но как ни поливай мох эссенциями пшеницы, он хлебом не станет: от этого каравашка дети пухли и мерли от непроходимости.

Даже по самой этике, основе взаимоотношений всего живого в природе, должна напротив мойвы, сайки, криля стоять помета — "несъедобные", ибо этой мелочью должны столоваться наша надежа и подмога — треска, зубатка, семга, палтус, пикша, пертуй, пиногор, белуха, тюлень.

Натура рыбака

Я знавал его много лет: мягкое губастое добродушное лицо, светлые глаза, длинная к затылку плешь, рыжеватые волосики завивались, курчавились над ушами. Он был ровен характером, покладист, и отсутствие ноги, которую он потерял в детстве под конной косилкой, казалось, нисколько не сказывалось на его жизни. Получал семь рублей пенсии по инвалидности, зимою работал фуражиром: уедет с парой лошадей в суземья, в поречные луга, навалит две волочуги, по пояс в снегу мается с одною ногой, но никогда не жаловался, детей скопилась полная лавка. Носил отполированную деревягу на лямке и, видно, за долгие годы натрудил плечо. Сначала глохнуть стал, потом набухло за ухом. Съездил раз в больницу, сказали —ничего страшного. После оглох на второе ухо, и, когда приехал вновь в Архангельск, было уже поздно. Появились приступы, сознание терял, бормочет, сам весь в поту. Четвертого сентября померла тетка, сходил на кладбище, проводил ее, был очень грустен. Восьмого сентября еще съездил на реку, семгу плавал, натуру выказал. Почти до последнего дня работал. А десятого лег. Попросил диван поставить возле окон, чтобы реку и людей видеть. Увидел соседа Лешку Глота, вскричал: ему-то почто жить? Семьдесят два старику, две трети желудка вырезали, а он все водку хлещет. (Дурной старик, много людей из-за него на деревне всплакало в прежние годы. Да и нынче сидит в гостях и тут же хозяев искостит.) Десятого повалился Павел, а шестнадцатого умер. Жене жаловался: "Боль-то в ноги уходит..."

2

Любопытна психология горожанина. У меня в разговорах с ним остается постоянное ощущение, что человек, когда-то порвавший с деревней, теряет всякое реальное о ней представление. До сих пор нередко мнение, что на деревне все достается даром. Лежит некий Иванушка-дурачок на печи, и весь мир услужливо крутится вокруг него, обслуживая самые неве-

роятные прихоти лежебоки. Сказочное "по щучьему веленью" искажает, туманит сущность деревенской жизни, и все ее тягости, беды и болезни преломляются сквозь странное волшебное зеркало и видятся тоже некими достоинствами сельской жизни. Но уж если и доходит слух, что на деревне нечто такое и плохо, то это плохо случилось лишь по лености, неурядливости тамошнего мужика.

Обычно деревня в воспоминаниях горожанина выглядит лучезарной, пасторальной, полной того благополучия, коего будто бы начисто лишен город. Говорят: в деревне благодать, там можно парного молочка попить, поесть настоящего масла и творога, закусить славными грибками домашнего посола, попить чаю со свежим земляничным вареньем. Но как-то забывается, что все эти удовольствия разрешаются через постоянный усердный труд. Деревенская идиллия — цветущий луг с гудящими пчелами, грядки, покрытые всякой полезной зеленью с живыми еще витаминами, целебный воздух, коим не напиться, малосольные пупырчатые огурчики под стопарик водки, шаньги ягодные, сливки с клубникою, рыжики в сметане, жаркое из свежей убоины, розовое сало с чесноком. Чревоугодие постоянно рисует свои нестираемые образы, словно городской житель мучается впроголодь. Уходят люди, чередою сменяя друг друга, но плотские заманчивые картины, коими оформлена в нашем представлении натуральная природа, отнюдь неизменны. Не случайно во все века шла борьба меж плотью и возвышенным духом — и безуспешно: наши желания духовного совершенства всякий раз разбиваются о нашу низменную натуру, а красота мира, увы, неотрывна от нашей утробы. Отсюда и тоска по небывалой человечьей чистоте и признание в слабости: "Тело — враг и нечистая свинья". Оказалось, вся жизнь посвящена добыванию хлеба насущного, и человек умудрился даже в чревоугодии отыскать мудрость и прелесть, напрочь позабывая о душе. И лишь монах, скитник и схимник, пекшиеся о небесной благодати, осознавали, что у скверного человека душа по смерти поселяется в собаку, свинью иль кошку.

...Когда я собираюсь на Север, мне, по обыкновению, говорят: привези-ка, дескать, красной рыбки на зуб. Не пуд, не бочонок, но лишь охотку стешить. И я признаюсь с неловкостью, неизвестно чего смущаясь и стыдясь, что дома со всякой рыбой туго, а не только с красной. Мне, конечно, строят широкие сожалеющие глаза, удивляются и вроде бы поддакивают, соглашаются, но я-то вижу, как не верят мне и думают — увиливает, скупердяй, и глаза-то у него жуликоватые, хитрые. И сами друзья мои вдруг чувствуют неловкость и скоро переводят разговор на другое.

Как возникает чудо

"...Рыбак жил на озерах. Все время совал под язык медные пятаки и сосал, как леденцы. Не выпускал изо рта и когда ел, и когда пил, и когда речи плел. У него пятак, как льдинка, истает, изотрется, пока острым не станет, он тогда новый заложит под язык. Двадцать пятаков высосал в последние годы, пока не помер. Так, говорят, от рака спасся".

3

Я по природе своей не практик, не коновод и не учитель: "лень впереди меня родилась". Но, как говорится: всякому горшку свой шесток. Довольствуйся, милейший, тем малым, чем наградила тебя судьба. Может, я и ошибаюсь, но мне кажется порою, что мы смеемся язвительно и весело дурачимся сами над собою, корчим из себя больных, лишенных здравого смысла людей, чтобы вдруг обвести вокруг пальца, оставить с носом неведомо кого. Неужели человечество сошло с ума? Потешаемся, ерничаем, запутались в словесах, и действительно теряем самое дорогое — живое, животворное время, и тем самым остаемся в натуральных дураках. Душевно здоровый человек по природе своей не может не работать, ему нравится шевелить мозгами и потеть над землею, иначе он сдохнет от унынья и тоски. Самое безысходное — впасть в апатию, нежелание жить, отсюда лень и пьянство. Если народу позволят обстоятельства покрыть землю лесами и садами, он не устрашится работы; ежели задумает расплодить бесчисленного зверя — исполнит; если решит кормиться одною лишь рыбою — так тому и быть. Для природного человека труд не в тягость, его гнетущее постоянство никогда не раздражает и не вгоняет в беспричинное унынье. Трудовой человек незыблемо уверен: лишь приложи руки, кинь семя, и земля все родит, она не поскупится отблагодарить. Философ семнадцатого века Григорий Сковорода писал: "Барская умность — будто просто народ есть черный — видится мне смешная, как и умность тех названых философов, что земля есть мертвая. Как мертвой матери рождать живых детищ? И как из утробы черного народа вылупились белые господа? Мудрствуют: простой народ спит, пускай спит сном крепким, богатырским. Но всяк сон есть пробудный, и кто спит, тот не мертвечина и не трупище околевшее. Когда выспится, так проснется: когда намечтается, так очнется и забодрствует".

Как бы ни растекалась моя мысль, но все ее ручьи и потоки хотелось бы встретить в одной реке: душевное здоровье, гармония, цельность. Древо национального сознания — опыт, нравственность, слово. Если опыт — это бесчисленные корни, опутывающие землю, нравственность — морщино-

ватый, изъеденный улитками ствол, то слово — развесистая крона. Через опыт нравственность наша питается соками познанья; чуть позабыл прошлое, историю предков, отвернулся от нажитого, предал презренью и насмешке, тут неслышно проникают в ствол хвори, поедом начинает есть древоточец, и снаружи вроде бы исполинское дерево вдруг трухлявеет, наполняется табачной пылью, и тогда достаточно одного ветровала, чтобы рухнул гигант. А листья, витая, плывя по воздуху, соседствуя с солнцем и вольным ветром, несут в ствол дух, музыку, гармонию. И нельзя из этого триединства изъять ни одной составной части иль поменять местами, как невозможно дерево воткнуть кроною в землю, а кореньем в поднебесье и заставить его зацвести и плодоносить. Национальное сознание — синоним душевного здоровья: как и всякое здоровье, оно может поддаваться хворям, всяким болестям, но, как во всяком недуге, важно вовремя спохватиться. И тут нам в услужение пойдет опыт предков, незатухающая родовая память.

Академик Берг, путешествуя по Северу, писал позднее о нравах поморов:

"Во время посещения мною Новой Земли, я был поражен строгостью, с коей мезенские промышленники следуют правилам, введенным обычаем. Эти правила исполняются точнее, чем писаные законы во всех государствах. Меня удивила всеобщая безопасность и неприкосновенность собственности при совершенном отсутствии полиции и правителей. Избы, в коих укрываются временные жители Новой Земли, не имеют замков. Обыкновение это имеет, по-видимому, силу закона. Но из такой избы никогда ничего не пропадало, и если бы вся артель вымерла, то и тогда наследники получили бы следующее им. Я сам видел избу, коей все жители померли от цинги. Это было известно, многие промышленники входили в нее, но вещи лежали там в том же порядке, как их оставили хозяева, только сих последних уже не было. Вещи эти состояли в мехах, которые в той стране равносильны деньгам: сверх того там был сундук с мелкими вещами и вместо замка надпись: "Этот сундук принадлежит работнику Нестору". В конце лета отправились бывшие там промышленники в избу, чтобы вместе пересчитать все, что в ней оставалось, и доставить наследникам. На вопрос, отчего на Новой Земле происходит такая верность собственности? — получаешь один ответ: здесь не украдут. Но закон обычая, препятствующий красть, простирается там еще далее. Если убитого зверя по отдаленности от избы неудобно тотчас же отнести туда, то промышленник втыкает возле него палку, это и служит доказательством, что зверь кому-то принадлежит, что он оставлен с

умыслом и потому неприкосновенен. Я сам видел лодку в том самом месте, где за три года перед тем оставил ее штурман Пахтусов, который не мог взять ее с собой, потому что судно расколото льдом. Следовательно, он бросил ее: но так как стоял шест, к которому лодка была привязана, то никто и не смел взять ее. Вещь с подобным знаком считается неприкосновенною. Меня уверяли, что если бы я оставил на Новой Земле часы, воткнув возле них палку, то их конечно бы никто не тронул. Промышленник Еремин сопровождал казенного штурмана Пахтусова в плавании далеко на север от Новой Земли. Несколько больших льдин, сопровождаемых туманом, разделили их. Когда туман рассеялся, промышленник был в большом беспокойстве, ибо не видел больше судна Пахтусова, и хотя он не был связан с штурманом никакими условиями, но пошел искать и, наконец, нашел на небольшом островке. Люди спаслись на льдине, а судно Пахтусова было расколочено льдами. Льдина пристала к острову, но до Новой Земли они не могли добраться. Радостно принял их промышленник к себе и разделил с ними съестные припасы свои. Пахтусов, желая воспользоваться остатком лета, просил Еремина уступить ему судно со всем экипажем за 2000 рублей асс. Еремин согласился, и в начале зимы Пахтусов возвратился в Архангельск, где вскоре умер. Тогда Еремин обратился с просьбой к начальству о выдаче ему 2000 руб. Его спросили, было ли заключено им с Пахтусовым письменное условие? Он с гордостью отвечал, что не думал об этом, когда, найдя Пахтусова на пустынном острове, принял к себе его и всех людей с ним, кормил их, служил им и лишился добычи от целого летнего промысла. Еремину отказали по закону, что претензии на казне должны быть подтверждаемы бесспорными доказательствами. Впоследствии по новому представлению, что казенные люди могут погибать, прежде чем промышленники на Новой Земле выучат законы, и что тамошние обычаи не позволяют им лгать, было велено выдать деньги Еремину, но не в виде должного, но как награду. Посему из помянутых 2000 руб. десять процентов были вычтены в пользу инвалидов, а Еремин получил только 1800 руб.

Можно представить себе, в каком восхищении, видев промышленников Новой Земли, я прибыл потом к поморцам Белого моря. Но здесь меня уверили, что те же люди, столь честные, верные и бескорыстные далеко на севере, делаются хитрыми и лукавыми в сношениях с полицейскими властями. Там они почитают свои обычаи необходимостью, здесь же видят в законах только препоны, которые надобно обойти".

Статистика красноречива, это не кафтан, изнанкой не вывернешь. Отчеты Архангельской судебной палаты с 1857 по 1862 год говорят, что слу-

чаи воровства в деревне, а особенно в Поморье, крайне редки, но зато 36 процентов судебных дел — самовольные порубки удельного леса; 3 процента — укрывательство беглых и 2 процента — сопротивление властям. Это всеобщее презрение к государственной собственности объясняется тем, что кража лесу из удельных дач происходит по той лишь причине, что крестьяне не понимают, что такое удельный лес. Они полагают, что удельного леса нет, но есть лес Божий, Бог сотворил его, а значит, пользоваться им каждый вправе без всякой пошлины. И потому кражи леса совершаются целыми селениями, и при производстве следствий по этим делам нечего ожидать признаний и открытия виновных, даже если бы вы допрашивали под присягою. Хотя нет для крестьянина страшнее солгать в обычном деле под присягою: когда призывают поклясться и целовать Библию, мужик сознается по обыкновению в самом страшном грехе...

Но тут, по разумению мужика, греха нет. Земля, леса и воды на ней всеобщие, созданы для благоденствия и прокорма, и если воды и рыбные ловы делились миром, общиной по жребию, где все были равны пред удачею, и тони, участки ловческие каждый год менялись средь жителей, чтоб не случилось обиженных, то к лесу относились обычно, как к даровому благу. А раз греха нет в покраже, то нет и мучений совести. Чтобы излечиться от пагубной страсти, надобно устыдиться. Более всех прочих наказаний крестьянин пугался общественного осмеяния, публичного мирского суда. Деревенское следствие было до крайности бесхитростным: подозреваемого сразу обезволивали, нажимали на его совесть, устыжали, корили, но если запирался такой человек, то применяли крайнюю меру допроса — просили побожиться перед Библией иль заставляли целовать икону. Но если уличат вдруг конного иль сенного вора, то поначалу отдубасят, отдерут хорошенько, дадут выволочку, чтоб и впредь неповадно было, а после привяжут к спине кошель с украденным сеном и поведут по всей деревне, останавливаясь перед каждой избой и вопрошая: не утерялось ли чего?

Вот где собака-то зарыта. Украсть у соседа — великий грех, украсть у большого малое, стащить у государства иль господина — в том нет греха, ибо не стыдно, совесть не болит, душе не страшно. И если порой какой человек и стесняется украдкою, воровски тащить из лесу дерево, то не от того лишь, что это грех, но страшится пойманным быть, а там суд, следствие, штраф, когда каждая живая копейка на учете. Эта повадка человеческая (считать природу и что произрастает на ней своим, кровным), пожалуй, самая древняя, она в истоках своих идет из дальней языческой темени и прибыла к нам в полнейшей сохранности. Дерево в лесу, зверь, рыба, птица, грибы, ягоды — это всеобщий Божий дар, и до сих пор чело-

вечество (особенно крестьянин) не считает, что пришла пора отступаться от старинной привычки. Когда человек украдкою садится в лодку под покровом ночи и закидывает в омутке сеть, то внутри себя в эти минуты он чист, как ангел, его не мучит раскаяние, не терзает совесть, душа его молчит, и единственное, чего он устрашается,— быть пойманным с поличным. И возглас предостерегающий, окрик, угроза — это глас вопиющего в пустыне. И чем сложнее охрана, тем хитрее, коварнее ловец, тем легче понижается порог врожденной нравственности и порядочности, который возможно переступить в минуту страха.

Очень просто возмутиться столь обширным национальным обычаем, особенно таким глубинным, но куда труднее объективно понять его и попытаться найти общие соприкосновения, когда бы все уладилось миром; и почти невозможно искоренить запретами и суровыми узаконениями. Эта национальная родовая привычка обросла ныне больными узлами, наростами, бородавками и куда как опасно усложняется, вырождается, ибо уже вступает в противоборство человеческий характер, темная сторона души возбуждается куда сильнее, и обычные бесхитростные поступки, разожженные норовом, страстью и вином, теперь нередко приводят к самозащите, угрозам и убийству, а значит, к высшему, несмываемому греху. Злодейство на Севере было делом крайне редким и запоминалось в народе на многие десятки лет как что-то необычное, звериное, нечеловечье. Самое обычное житейское дело (лов рыбы) нынче нередко оборачивается драмою. Надзор ловит, рыбак напрягает все лукавство ума, хитрость, весь свой природный талант, чтобы не попасться, одурачить, обвести инспектора вокруг пальца: изобретаются новые ловушки, тайные снасти, моторы и лодки.

Есть старинная легенда: один орминианец, преследовавший на льду гомариста, упал в полынью. Гомарист остановился и протянул ему руку, чтобы спасти его из ледяной купели. Но как только он его спас, тот убил своего спасителя.

И вот в Мезени случился трагический случай. Инспектор подстерег рыбаков, когда те вытрясали сети, и решил их взять с поличным. Но, видно, поторопился, в азарт вошел и выпал из лодки в осеннюю студеную быстерь. Человек потонул на глазах у мужиков, но те и пальцем не шевельнули, чтобы спасти беднягу. Спаси инспектора — он составит акт, затеет следствие: пусть лучше гибнет, лукавый, решили они, тем более вины вроде бы никакой — сам из лодки выпал. Так среди людей вновь и вновь проявляется конфликт гомариста и ормениапца, преследующего его; но самое страшное, что нынче гомарист уже не протягивает руку помощи. А

душа? что с душою? Думаете, сердце-то каменное, не взвоет оно? Тем более как тягостно северному человеку, когда вся жизнь на виду, ничто не скроешь. Явишься домой, а как спать? как жить, как на людей взглянешь? Закроешь глаза — а он вот, рядом, утопленник, может, твой бывший сосед, которому стоило лишь протянуть весло, и тогда не нарушился бы дедовский устав чести. Тайный лов рыбы худ не только тем, что человек понапрасну тратит энергию и ум, но вступают в работу, обретают силу дурные наклонности.

4

Ловцы, как типы человеческие, разделяются, как мне видится, по трем разрядам. Из спортивного интереса, обыкновенно, ловит сытый, обеспеченный горожанин, коему ловы — утеха лишь; он занимается увлеченно, не жалея времени, со всею страстью, для коего сам предмет внимания не столь важен, ибо не является основою жизни; обычно удача редко дается ему, да он и не видит в рыбе особого прока. Второй разряд людей — это вовсе противоположные, энергичные, черствые ловцы, добытчики, кои не испытывают от промысла никакого удовольствия, они действуют с энергией и страстью взломщика сейфов и, когда их гонят, огрызаются решительно, ни перед чем не останавливаясь. Они вспарывают красную рыбу ради икры и оставляют ее гнить на берегу, они сплачиваются в стаи, создавая свой кодекс чести. Это и есть те самые браконьеры, хищники, подобные волку, который, забираясь в овечий загон, режет скотинку до той поры, пока хватит сил иль не застигнет пастух. Но там природа, лесной закон, еще не изученный нами, ибо волк режет не из желания сделать себе запас, ведь ему хватит и одной животинки: там действуют иные инстинкты, еще не понятые нами. Но двуногий хищник куда как превзошел волка, ибо заветная цель, ради коей он может наступить на горло ближнему, светит ему, как путеводная звезда. Таких людей на Севере иль в срединной Руси я не знавал, но тип этот случается и среди простого горожанина, и средь чиновного люду.

Но самый распространенный на Руси разряд людей, занятых рыбною ловлей,— это корневые насельщики, мужики, крестьяне, которые нынче ударились на промысел ради хлеба насущного, добывают на пропитание себе и семье, больше нужного никогда не возьмут, и в общем-то мучаются постоянно, что вынуждены идти на ловы тайком, воровски. Средь них живет старинное правило: беден — да честен, хотя и всячески уверяют, успокаивают себя тем, что не воруют, но немного берут из всеобщей природы, которой, ежели пользоваться разумно, хватит всем и навсегда. Отцы

ловили, деды ловили, прадеды — и всегда рыбы было безвыводно, утешают они себя.

Так неужели нет разницы меж этими тремя типами тайного ловца? Но, по обыкновению, оказываются повинны больше всего третьи, ибо их куда легче поймать, они лишены того коварства, хитрости и жадности, что истинные хищники, которых сам народ презирает, они худо понимают, от кого и почему надобно прятаться.

В Поморье на Летнем берегу известна история, когда надзор уничтожил рюжу, улов наваги выкинул обратно в море (зачем выбрасывать задохшуюся рыбу?) и выписал штраф восемьсот рублей старому рыбаку, коему возраста было семьдесят восемь лет, а пенсия его двадцать рублей в месяц.

Вы как хотите, но не повернется у меня язык обозвать подобного рыбака браконьером. Какой же он хищник, заматерелый, презревший совесть и страх? Кому мы порою объявляем войну? Своему кормильцу, что всю жизнь пекся о нас. На кого навесили странный ярлык, коему нет объяснения толкового ни в одном словаре, и тем самым как бы отделили от всех прочих громаднейшую прослойку людей, живущих в природе, людей, пусть и слепо, и темно, но исповедующих изначальное, языческое представление о живой природе. Что надобно возбудить в их душах? Совесть? страх? сердечные муки? стыд? Потребовалось вдруг так принудить, чтобы миллионы людей разом отказались от природного инстинкта и сидели по вечерам (на зорьках) в кругу семьи, резались в карты и домино, а за свежиною ходили бы лишь в лавку. Уже миллионы (под былым воздействием) отказались держать скотину во дворе. Мы стали взывать к ним, вернитесь-де к дедовским обычаям, а они нам в ответ: не дураки, мол, куда как хорошо пойти в лавку да взять там готового продукта, а то возись со скотиною, отдыху не знай, сенов наставь, навозом зарасти и в доме от грязи не убраться.

Но ежели все станут заниматься лишь туманными рассуждениями, вульгарными воздыханиями об отвлеченной природе и вегетарианскими статьями, то кто же будет добывать хлеб наш насущный? Ведь для кормильца нужен особый, устоявшийся характер, ему нужен спокой труда. Именно в промыслах, в заботе о земле заложен главный охранительный опыт народа.

Вся природа построена на разумном круговороте всего живого. Известен на Севере случай: медведь отбил от колхозного стада пятьдесят семь коров, загнал их в суземье и пас в глухомани, забивая скотину по мере надобности. Здесь медведь, как и положено ему, пекся лишь о себе, как командующий о своей армии, которую прежде сопровождало овечье стадо: он отдавал на заклание и легионеров, и овец ради своей честолюбивой идеи. А мирный человек создан природою, как сын-пастух, заботящийся о

воспроизводстве. Крестьянин (охотник, рыбак), беспокоясь о продлении рода своего и будучи в здравом уме и деятельной силе, невольно помогал круговороту жизни, ее здоровью.

5

Почему я выбрал именно Сояну? Удалена она от родины моей тридцатью верстами, санного пути через тундровое болото часов восемь, а самолетом и вовсе пустяк — минут пятнадцать. Казалось бы, люби свою Мезень, благо этой реке напротив города размаху с километр, а длиною, до вершин, до истоков более тысячи километров. Такими реками не пробросаешься, даже пред великими она не выглядит сиротою, побирушкою и характером удалась своенравным. Но я вот на Сояну прусь, на реку, на речонку, похожую на сияющий серебряный столб, на сверкающую дорогу в небо. Волею случая в середине шестидесятых годов я попал сюда и уже не расставался. Сояна живет во мне, как некое отражение смутной неугасающей мечты.

Оказывается, поморский, свойский удел, прибежище предков, Зимний берег глубиною в тридцать верст — уже не просто родина отдельному человеку, но огромная, непостижная, неведомая земля. Наш характер сузил понятие родины до отдельного местечка с запомнившимися пометами его. Мы, люди, всем сердцем припадающие к земле, словно бы пугаемся потеряться на ней, растеряться, заблудиться и ищем крохотные памятные вешки на ее теле, чтобы удостовериться в своем временном присутствии на ней. Так слепой в страхе и ужасе судорожно хватается за кушак поводыря, чтобы не потеряться в темени, и тогда скрюченные пальцы его обретают чудовищную силу. И от страха потеряться мы храним в памяти излуку реки, омут, травяное озерцо, приметное дерево на веретье, иль домашнюю живность, иль соседа с особым обличьем. Как гибко это состояние образа родины, как переливчиво и вместе с тем жестко, категорично заковано. "Своя земля и в горсти мила". Своя-я-я-а... И родина, вдруг, уменьшается до насыпанной в тряпишный мешочек землицы со своего печища, с капустищ и репищ, вскопанных тобою на задах родной избы. Оказывается, наша духовная память вроде бы требует конкретных замет, чтобы обнадежить, уравновесить наше состояние на миру, придать нашей жизни длительность в пространстве и бесконечность во времени.

И снова я ловлю себя на мысли, что материализовал неуловимое, попытался сунуть его в холщовый мешочек, в тряпицу, чтобы прикоснуться к тайне. Но хорошо, ежели есть своя земля, свое печище, свой род, своя судьба. Но вот я представил Бородинское поле, эти неисчислимые воин-

ства, упершиеся друг в друга. Ну ладно, тех пылких французов влекла самовлюбленность, их собственное кажущееся превосходство расплескивалось через край; смуглым солдатам не столько хотелось дувана, чужого добра, сколько показать себя на миру, похвалиться силою и талантами, а тем самым утереть нос низкому азиату. Что там говорить: иная была война, и человек, несмотря на всю кровищу и ужасы смерти, все-таки не наслаждался униженьем ближнего; кознь знала меру, добродетель торжествовала, несмотря на всю грязищу и унизительность войны. Гнусные игры придут позже.

Француз, вошедший в непонятные чужие земли, наверное, нес на груди в ладанке прах родины. Но что было защищать русскому солдату? Бессрочнику, крепостному, который не имел ни земли, ни дома родного, ни особых земных утех. А он вот шел навстречу ворогу грудь в грудь, штык в штык и слышал, как сталь с хрустом пронзала грудь соседа, как сапог с чавканьем ступал по груди павшего, когда тенистый смутный овраг был вровень забит трупами и конница мчалась, не зная преграды. И этот вонючий от пороховой гари воздух, эти дымные, в слепящих вспышках облака, эти сумерки от дыма пожарищ и зловонье от павших, не погребенных братьев. И неужели в этом смраде, в этом гуле и вороньем клокоте мог струиться, мог как-то жить зов родины? Может, он и вспыхивает именно в эти минуты, когда бренная жизнь вдруг теряет всякий смысл, и тогда умирают друг подле друга с радостью и нетерпением. Зов родины, как объяснить его?

Скверна войны не только в том, что понапрасну тратятся лучшие силы, но и в том, каким бесстыдным унижениям предаются павшие, те самые герои, усилиями которых вживе остается Родина. Они, павшие, лишаются, быть может, той единственной чести, что отличает нас от зверья — быть отпету в кругу семьи и похоронену на родном жальнике подле всей родины своей. Помню, как это чувство впервые навестило меня на Бородине и поразило в самое сердце. Я представил, как сгрудились здесь триста тысяч человек, два живых шара ударились друг о друга, высекая искры и молоньи. Потом все кончилось, отлетели в занебесье молоньи и смиренные, беспечальные героические души. Руководимый озарением Кутузов вдруг отступил, а соратники его остались на поле боя, как валы сена, во власти воронья. Обратно русские войска вернулись ненастным днем поздней осени, в окрестных деревнях сзывали добровольцев, ибо вызревала эпидемия от десятков тысяч трупов, и крестьяне за большие деньги принялись стаскивать наших героев крючьями в большие копны, как самую обычную падаль, а после, превозмогая отвращение, сожгли их в кострах. Вот

она, изнанка войны. Потом на месте побоища, на месте этих кострищ встали многие надгробья, но они запечатлели лишь всеобщий подвиг, а пыл и огонь каждого в отдельности Ивана разве канул в бездну? Разве сам дух Родины иссякнул, разрядился, потускнел? иль менее сопровождал солдата в последующих кровопролитьях?

Некоторые утверждают, что чувство родины приходит в нацию вместе с государственностью. Но как-то трудно поверить, что пращур наш был начисто лишен любви к своей земле отичей и дедичей и мог блуждать по ней, как беспечальное и случайное травяное семя. Мне думается, святое это чувство необъяснимо и входит оно в нас с молоком матери-роженицы — рода — родины. Духовное молоко Родины само по себе разлито в том пространстве, где ты явился на белый свет.

Из простой судьбы:

"...Мой муж был первым комсомольцем, а Глот да Путина его продали, заложили, и его забрали, увезли, и где-то в городу помер он. А я осталась с двумя детьми, и объявили меня лишенкой. Корову держала, а где сено взять? Вот поехала в калтусину по реке с бабой одной, и выкосили ее, километров шесть на шестах пехались. А та рыбу с собой взяла, в тетрадную корку была завернута. Рыбу съела, а обложку выкинула. Вот и нашли обложку и по фамилии обнаружили, кто выкосил. Глот и заложил. Пришли с обыском, все обрыли — сена не нашли. Но корову кормить надо, сено оставлено, надо ехать. Та баба отказалась, подговорила я другую. И поехали ночью. Сметали сено в карбас — и, крадучись, обратно, чтобы другою уж ночью поспеть домой. Если кто навстречу едет, скорей в лопухи, чтобы сено не видно, а сами в лес. Нам кричат, а мы голосу не подаем. Другой ночью пристали, когда огни в избах погасли. Нас тут девки встречают, быстро сносили сено из-под угорья в избу, я его в погреб спрятала да в одежный шкаф. Наутро пошла раным-рано и сенную труху всю замела, вместе с песком в реку срыла. А было это в тридцать третьем году..."

6

Я не склонен объяснять все, случающееся с нами, некоей таинственностью, неким чудом, окутывающим нас, как незримой, но неразрывной пеленою. Но порою верю, что нашими чувствами управляет особый странный порыв, когда душа находится вроде бы в смятении и позывает к такому поступку, который можно объяснить лишь по прошествии времени. Именно наитие привело меня однажды на эту реку, и вот, почитай, двад-

цать лет езжу туда. Но отчего во мне, уроженце Поморья, не отзывался ни охотничий, ни рыбацкий порыв? Вот она, семга, в простой фаянсовой тарелке, напластанная на звенья щедрой хозяйской рукою, крупными кусками, истекающая розовым жиром, та самая золотая рыба, чудесный дар природы, за которым столько охотников. И эта гора дорогого мяса не вызывает во мне никакой особой жажды иль искуса, как не вызывается тот восторг и на лицах деревенской семьи. Они едят ее небрежно, с какой-то непочтительностью, как обыкновенную третьесортную рыбу, и самому мне вдруг хватает одного лишь ломтя, чтобы насытиться золотою рыбой. Что со мной такое? Да ведь, по поморскому обычаю, это не еда, вспоминаю я. Семга не еда, не наеда. Еда — это щука, треска, сиг. А семга — это так, забава, ею силу не подымешь, ею прежде купец да барич баловались, и потому семгу ели лишь по большим праздникам, а весь улов везли на рынок иль перекупщикам, чтобы иметь живые деньги заплатить подати. Откуда в поморском мужике такое сложное чувство, такое двойственное отношение к самой ценной рыбе? Я от скольких слыхал, дескать, век бы этой рыбы не водилось, от нее нам один только грех. Семга — это искус, это наваждение, которое манит на Север массу самого постороннего народу, думающего, что в Поморье все только семгой и питаются. В двадцатых годах рыбакам, сидящим на тонях, вместо денег платили семгою, так они, несчастные, криком взвыли: дайте хлебца нам да махорки.

Хорошо было под водочку закусить малосольной семгой, но с тем же успехом шел и харюз, и щука, и сиг: так и не стала золотая рыбка причиною душевного распада и разврата. Это барин со своим утонченным вкусом придал семге особый ореол: знаток чувственных удовольствий оценил ее, выделил, как утробное удовольствие для немногих. Так для некоторых в природе стало красивым лишь то, что можно употребить, чего мало и не хватит на всех. Обычно самые тонкие ценители еды те, кто полагает, что булки растут на деревьях.

А может, мужик душевно примитивен и груб и не смыслит в красоте? Верно, что в еде крестьянин был поразительно прост и неприхотлив, что не раз отмечалось этнографами прошлого века: ему как бы жаль тратить время на утробу, на ублажение черев. Зачастую на столе встретишь печеную рыбу и квас (позднее чай), пустоварные щи, редьку с простоквашей, гречишную кашу с киселями, ячменные колобы. Редко, когда хозяйка сунет в чугунок кусок мяса, засыплет крупы и поставит в жар — пусть томится: это подобие супа будет в обед и на первое и на второе. Да и как исхитриться, где времени взять и места, ежели в русской печи надо приготовить пойло для скотины, вскипятить куб с водой, чтобы запарить солому

да сварить картошки для свиньи и овец. Домашняя животинка требовала обрядни и забот куда больше, чем семья. Но когда приходит радость в дом, престольный праздник иль свадьба, тогда давала хозяйка простор своему чувству и стол ломился от всякой снеди, ведь каких только блюд (ныне перезабытых) нет в русской кухне. Как ты ни крути, но национальная энергия, хлебосольство народа никак не могли обойти своим вниманием существеннейшую сторону жизни — гостевой стол...

Лет десять я езживал летами в Сояну, жил у Юлии Осиповны, слушал побасенки, глядел, свесившись с печи, как бабы в карты играют, рассуждают о смерти, как о чем-то близком и радостном, вовсе не горюя, а словно бахвалясь, что вот и "пачпорт выдан на тот свет". И лишь одно пожеланье сквозило в пересудах: хоть бы легко помереть, самой не напозориться да детей не напозорить. Любят в народе поговорить о смерти, ее неожиданный приход отчего-то всегда занимает умы, словно бы вся долгая жизнь была лишь подготовкой к кончине.

...А река светилась под окнами, тонкий комариный зуд подвесных моторов вдруг вспухал в тишине, прорезывал ее высоким щемящим голосом и долго потухал за излукою — наверное, зазывал меня в просторы. Но я сымался с печи (дурак дураком, сомлевший от жары) и с удочкой сухими борами отправлялся с пацанами на озеро, где и доставал с десяток плотвичек и жестких, как терка, окунишек, одетых в несдираемую кольчужку. И не смешно ли сие? Это мне-то, уроженцу Поморья, у кого корни родства уходят в самые темные глубины здешней землицы, хватало интереса коротать время у коричневого болотного озерца, хотя под деревнею спешила богатая река. Я был странен здешним насельщикам, и они глядели на меня, как на чудика, и не столько сторонились, сколько был я воистину непонятен, как непонятен был бы Аксаков с его времяпрепровождением потомственному помору-промышленнику. Аксаковское уженье — это душевная услада одному, когда нет заботы о прокорме многих, когда есть под боком челядь и амбары ломятся провиантом, добытым черными мужиками. В моем детстве лов удочкой — это была привилегия деревенских мальчишек до десятилетнего возраста: ни один здравый полноценный мужик не взял бы прежде палку с удою, чтобы прожигать время на берегу, дожидаясь, когда подкатит к крючку окунь или лещ. У промышленника время года было загодя разбито по путинам — от и до: предположим, он месяц сидит на озере, чтобы добыть рыбы своей семье на пропитание и свезть на рынок, потому и снастью пользуется такой, которой надобно ловить, облавливать, отыскивать, загонять, но не дожидаться. Прежде и за грибами-то (лешевой едой) не ходили с корзинками и лукошками, но ездили на

конях, ломали в телеги, чтобы за один-два похода насолить бочки до нового урожая. Нынче время разжижено: никто раньше не сиживал праздно часами, уставившись в одну точку, не коротал, не прозябал, не скучал. Истовый работник не знает скуки и тоски. Тоска, беспричинная, изматывающая, доводящая до самоубийства, была уделом барина, коего не заботило пропитанье, а время растягивалось меж тем до бесконечности, и тогда страдал несчастный человек, уже испытавший все утехи и удовольствия, не зная, как дожечь уготованные годы. И не случайно, что самоубийство средь крестьян было крайне редким случаем: разве только женщина, доведенная до отчаяния неудачным замужеством, накладывала на себя руки.

Человек трудно, столетиями обретает природные навыки, но удивительно легко позабывает их. Какого долгого любопытства потребовали эти приметы, чтобы они однажды стали для рыбака безусловностью. "Если солнце красно в тумане, то будет лов семги". Или: "Если первый гром загремит по весне, когда река еще подо льдом, то семги не жди, а если река распалится и загремит гром, то сей год будет семга". Это не блазнь, не причуда, не суеверье темного безграмотного народа, но нажитой выверенный опыт. Я привел лишь две приметы из многих тысяч, коими крепилась русская жизнь, но эти образные заметы, окрашенные поэтическим словом, уже почти забыты в Поморье, и, быть может, редкий промысловик вспомнит их. Они позабыты, потому как стали ненадобны.

Я не пытаюсь кого-то осуждать в этих утратах, но лишь размышляю об историческом потоке природного ума, о тех ручьях, живых родниках и многих речонках, что сливаются в одну огромную реку народного знания, питающего нравственность. Как бы хотелось, чтобы не пересыхали эти жилы, чтобы новые гремучие родники прободали землю и полнили реку нажитого праведного опыта. Я по себе чувствую, как скоро пустеет мое знание той природы, в коей родился и жил. Я становлюсь чужим незнакомцем, заблудившимся в тайге, во мне пресеклись многие корешки родства, соединявшие весь род. Ведь мы повязаны с предками не столько обычной родственной памятью воспоминаний и житейских примет, но и унаследованным опытом. Сколько мы потеряем, растрясем в своенравной своей дороге из нажитого ранее, значит, настолько утратим знание родины, жизни, протекшей задолго до нас. Мы любим взывать к родовой памяти, худо представляя, что такое она и что значит для нас. Родовая память — это знание отхлынувшей, отошедшей, утратившейся жизни в ее первозданных свойствах. Утратить куда как легко, но восстанавливать приходится по крохам: и порою на себе ловлю, что вдруг открываю заново то, чем владел в детстве и уже позабыл.

7

Раньше рыбака на путину провожала семья. Сносили в карбаса пожитки, снасть, пехальные шесты, подорожники и затерханную кочевую одежонку — на воде всегда мозгло. Если было вино — пили отвальное, хозяйка стерегалась мыть полы и подметать избу, чтобы не наслать хозяину худа. Весь настрой был на удачу, на прибыток, на добрый нелегкий путь. Ведь уходил промышленник в верховья реки, за все пороги, а дороги той не одни сутки. А пока видна лодка, стоит жена на высоком угоре и, призатенив глаза ладонью, смотрит из-под козырька, пока не скроется благоверный за излукою. Так и мерилась северная жизнь проводинами и привальными.

Нынче же рыбак отправляется на промысел украдкою (ежели колхозом не занаряжен), чаще всего в сумерки, старается отвалить неприметно, будто между делом: долго толчется, ходит по берегу, что-то высматривая и выгадывая, хотя уже вся поклажа загодя сношена и прикрыта брезентом, потом вдруг быстро и решительно толкнется ногою, вскочит в прогонистую лодку, дернет за погонялку — и был таков. Только высокая щемящая песнь мотора и выдаст смельчака. Он и в деревню воротится, приноравливаясь к сутемкам, и тайный улов его лишь в самую ночь перекочует в домашний погреб. Но азарт, розжиг сердечный долго не покидают удачливого мужика, и, отоспавшись, он следующим днем уже болтается по деревне, и по заветренному, улыбчивому хмельному лицу все знают, не расспрашивая, что рыбаку пофартило, хотя он и скрытен, и немногословен. Да и что от деревни укроется? Тут не надобны слова, тут весть передается окольными, неисповедимыми путями.

Странно видеть здешнюю тайную жизнь, ее особые условия игры, когда вся деревня включена в бесхитростный вроде бы сговор, все участвуют в скрытной игре, не признаваясь себе в том, будто кто-то отдельный ловчит, а прочие лишь вынужденно обсуждают, но сами не переступают узаконений. Сложность игры в том, чтобы полагать себя чистым, невинным, сделать себе исключение. Это мы обобщаем, сразу подбиваем бабки, ведем счет на всю страну и, получая гигантские, астрономические цифры, изумляемся и поражаемся. Но крестьянин в каждом случае видит лишь себя одного: дом, семья — его вековечная крепость; он безусловно не глуп, но умеет при случае закрывать глаза и строить из себя слепого, беспонятного. Потому и уловки рыбака вроде бы и скрытны, а на поверку весь замысел на виду. Он лишь собирается на реку, а уже в другом конце деревни ведомо о том. С гляденя, с Соянского угора, куда как далеко видно: стоит лишь поторчать на нем, покружить, и откроется здешнее быванье,

как на блюдечке. Раз требуется нынче хитрить (кому охота попасться в руки инспектору?) — вот и крутят умишком, как бы ловчее обвести надзор, и опыт этот также кружными путями передается от семьи к семье. Поначалу с недоумением, с неохотою изворачивается человек, но проходит время, и умысел покажется интересным, душа уже с азартом вступает в работу, и эта изворотливость становится неотъемлемой частью натуры. С деревенского гляденя хорошо видна нынешняя жизнь, но душевные перемены подсмотреть куда сложнее. Крестьянин меняется, он уже свернул с торной вековой тропы, отшагнул в сторону, но куда? куда занесет его неведомый путь? как остеречь его? Скрытность убивает общность деревни, подтачивает нравы. Эта личинка куда опаснее бабочки, она выгрызает нутро неприметно, исподволь. Тяга обхитрить, нажиться на ближнем потихоньку просачивается в каждый нерв жизни...

Мне так хотелось побывать в верховьях реки, но пеши — далеко, а напрашиваться в чужую лодку — стыдно, да и боязно быть назойливым. В хитром деле всякий посторонний человек хуже лишней поклажи, ибо он имеет глаза, язык, уши. Но вдруг пригласили на рыбалку молодые парни, каждому едва за двадцать, только из армии (назову их Паша, Юра, Гена). Коренные северяне, выросшие на реке, раньше научившиеся плавать на лодке, чем ходить по земле, ладные ребята, красивые лицом, крепкой кости, не выпивохи, не матерщинники и не пройдохи. Они никак не подпадали под тот назойливый, расхристанный, косноязычный портрет браконьера. Что нарисован в кино и литературе. Мне они поглянулись сразу, и я с охотою согласился поехать, желанно включился в их правила, облачился потеплее, уселся в лодку меж канистр с бензином и снастей — и превратился в начинающего браконьера.

Признаюсь, как ни вслушивался в себя, как ни внушал о предстоящих наказаниях и штрафах, но угрызений совести от поездки не почуял, только живой холодок азарта поселился в душе и уже не отпускал. Лодка напарников шла чуть попереди, и Паша вклинивал нашу посудину точно в ее развалистый глубокий след. Стоял сентябрь, золотая пора промысловика, и хотя ничто не предвещало холодов, но на реке сразу ознобило меня, я покрылся овчиною и из этой норы любопытно наблюдал за мотористом. Он сидел равнодушно-созерцательный, как Будда, с узким смуглым лицом, курчавый, мало похожий на помора, худая, с выпуклыми ключицами грудь была жадно подставлена ветру. Он мне нравился, мой спутник, я почти влюбился в него, видя в его радостной натуре прежнего себя, еще не отглаженного городской жизнью. Он был верное, наивное дитя природы, ни разу не изменившее ей.

Вот мы отправились в рискованное предприятие, а где-то уже точили на нас ножи рыбнадзоры, готовились скрасть, взять под прицел и примерно наказать, чтобы неповадно было проказить другим. И мы, будто слепые, лезли на рожон, прямо в лапы. И неуж на такой узкой реке есть возможность скрыться, уйти от инспектора? И потому рисковое плавание обретало еще большую сладость и терпкость.

Но значит мой сотоварищ вовсе пропащий, конченый человечишко, коли с такой охотою пошел на запретный лов? Да что там: эти приключения ему в обыкновение, как и всем однодеревенцам. Так какой же проступок точит нравственную сердцевину? Невольно задаешь себе вопрос. Наверное, лишь тот, что противен человеколюбию: ибо взаимоотношения, сколь братские, столь и враждебные меж природою и человеком, двойственны и всякий раз ставят в тупик даже самого многомысленного человека. А средний горожанин в период экологического кризиса и вовсе растерялся, мечется из крайности в крайность, пугая других и смертельно пугаясь сам. Любопытно, что когда горожанину открываешь изнанку охоты, смерть зверя, птицы и рыбы, и он, безумно любящий кровавые бифштексы, лисьи шапки, бродячих собак и кошек, вдруг начинает фарисейничать, проповедовать о жалости к природе и глядит на тебя не только с особенным предубеждением и снисхождением, но и с тем презрением чистого, которое невольно возвышает его над тобою.

...Помню, любимой забавой детства была охота на воробьев и синиц в городском саду. Особой гордостью считалась рогатка из толстой красной резины, кою добывали мы неисповедимыми путями, и черемуховая рогулька постоянно торчала из кармана заплатанных штанишонок. Это был особый возраст, с восьми до двенадцати лет, некая болезнь, зараза, овладевавшая всеми поголовно. Мы воображали из себя охотников, дробили старые чугуны на груды осколков и крались с первобытным оружием по зарослям, без жалости отстреливая добычу. Это вел нас (как я понимаю нынче) инстинкт охотника, над которым детская душа не могла возобладать. Нас корили взрослые, ругали, убеждали, преследовали, отбирали рогатки, грозили, рисовали картины будущего нашего нравственного падения, но мы по-прежнему оставались охотниками, пока не настало время естественного взросления. И вот пришел день, когда я взял в ладонь крохотное, еще теплое тельце убитого мною рябчика, и душа моя покатилась вниз от необъяснимой жалости. Да, потребительная городская жизнь затушевала, стерла, почти полностью уничтожила мой охотничий инстинкт, потому что мне не понадобилось более добывать на прокорм. Но зачем нам фарисейничать перед собою? Надо трезво понимать природную, не-

уничтожаемую сторону души. Да, нам порою зябко, что она есть, постоянно напоминает о себе, но мы все еще мясоеды, рыбоеды, а не атротрофные существа, корнями уходящие в землю.

...Минули годы, но сколько я знаю своих друзей по детству, ни один из них не совершил дурного поступка, не стал побродяжкой, фарцовщиком или фармазоном. Знать, ребенок должен пройти все природные этапы духовного устройства, преодолеть инстинкты: но главное во всем этом — не переступить нравственные границы. Нас, помнится, не учили, где этот рубеж и как распознать его, но сама жизнь, пример старших, безусловное почитание взрослых помогали лавировать в зарослях нравственного самоустройства. Легко пожалеть кошку, накормить бродячую собаку, они не требуют от нас самоограничения: но как трудно, почти невозможно порою приветить, обиходить, обласкать человека.

Меня недавно глубоко поразило, как молодая мать с невыразимой любовью и восхищением смотрела на ребенка. "Не перестаю удивляться этому чуду,— воскликнула она.— Даже трудно представить, чтобы из невидимого семени завязался такой человек. Какое же это чудо!"

И не обидно ли, что порою из чуда вдруг произрастает чудовище.

8

Одна из нынешних пагуб — нарушение сезонности, путинности лова. Этот вольный любитель не ведает сроков, он не столь плотно привязан к земле, к работе, к постоянному промыслу, как прежде, когда был выверен по лунному и солнечному календарю каждый Божий день. Река растеплилась, потекла — ставят сети на сига, потом перерыв до семужьего хода — и снова отдых реке. И тем более каждый месяц престольные праздники: Троица, Иванов день, Петров день, Ильин день и т. д., когда на реку идти просто немыслимый грех, да и в непогодь никто мужика не толкал насильно. Он поднялся весною на дальние озера, взял сига, щуки, леща — и на все лето уже с рыбою. В осеннюю путину обеспечивался на зиму. Ему был чужд этот легкомысленный налет, сам уклад жизни не позволял расточительства времени, и потому рыбак понапрасну, за одной лишь ухою, не лез через пороги. Нынче же потворствует доступность промысла: оседлал мотор — и поезжай. "Ветерки", "Нептуны", "Вихри" мигом доставят на своем горбу, да и помогут при нужде скрыться от надзора. Сейчас любят скорость, помешались на даровых лошадиных силах, хитро сунутых в железный кожух и не требующих овса. К чему на промысловой ледниковой реке (и тысячах подобных на Руси) заводить эти скоростные машины, возмущающие все живое в воде? Куда, к какому такому неясному сроку должен

поспеть рыбак, мчащийся с такой лихостью, словно там, за поворотом, решается его судьба, его жизненный срок? Лишь для того, чтобы после коротать долгие часы до промысловой ночи где-то у костерка, завесившись еловым пологом от лишних глаз. Мчаться лишь бы вперед и далее, гнать что есть мочи, разметав по ветру лохмы и подставив вольную грудь. Нет, как ни говори, но это не гоньба на лошадях, когда сливаются воедино два живых тела, когда два сердца бьются в ритме, когда азарт скачки наполняет тебя не только упоением движения и кипением крови, но и сострадательной любовью к преданному существу. Машина не обладает привязанностью, как бы ты ни ухаживал, ни лелеял агрегат: она всегда таит в себе коварство, некую вражду, злой умысел, заключенный в беспамятном механическом сердце.

Бывало, человек десять раз отмерит, обдумает, прежде чем попадать за тридцать верст киселя хлебать. Попробуй пехаться на шестах противу теченья по перекатистой реке да с огромной поклажей. Кожу на ладонях до мяса изотрешь, сто потов спустишь, пока до тоньской избушки домытаришься. Воистину трудником был настоящий рыбак. Я не призываю возвращаться к пехальным шестам и тягловым бурлачным лямкам, но сколько уже ратовали о душевных утратах от бессмысленных скоростей, против мощных моторов, зря изрыгающих силу и жуткий крик, сколько зажигательных слов произнесено, но воз и поныне там. Экономические выгоды и тяга к механическим скоростям, взбулгачивание жизни преобладают над всякой любовью к природе, о которой так любят нынче клясться зачастую без повода. А взвинченная душа обычно теряет меру: уже мало одного "Вихря", на алюминиевую корму плоскодонки крепят пару моторов, и сатанинский рев сминает все элегическое и кроткое, что присутствует в природе.

Рыбу надо ловить, ловить много и постоянно, из года в год, но придерживаясь строгих сроков. Прежде рыбак садился каждый на свое озеро, он был как бы в своей вотчине: чистил тину, грязь, засоры, каменья, коряги, прокашивал в осоте нерестовые тропы, облавливал сорную рыбу. Так же и река, поделенная общиною на паи, была под постоянным доглядом, присмотром, община устанавливала день лова, сроки запретов, когда и ногой не ступи на реку иль о край моря. Значит, вся вода в здешней округе была под контролем, ей не давали киснуть. Нынче колхоз может собрать звено-два на самые уловистые большие озера, где рыбак пробьется зиму с грехом пополам, а после и не знает, как достать из суземка рыбу. Рыбака одна заря красит: прозевал ее, недоглядел, заленивел, проспал, приехал попозже чуть или снялся днем раньше — ан уж и все, черпай пустую воду;

легла рыба на дно, и не взять ее, как ты ни бейся. Можешь и без ухи остаться, ешь тогда кильку в томате. Ну а прочие озера, коих в округе многие сотни? Зарастают осотой и тиной, дно пухнет от ила, который не вычерпывается неводами на берега, многие завалы, коряги и всякая таежная пропасть обселяют берега, а нажористый, нахальный мелкий частик берет в оборот все достойное население озер и вгоняет в тоску. Прежде лошадь была великим подспорьем, с нею можно было забраться в самую крепь, трактор же болотами не погонишь, а вертолет в редкости и большой цене. Потому массовый тайный рыбак-любитель весь скопом навалился на реку, он отчаянно накинулся на родимую, и душа у него не болит: ему лишь бы урвать, не попавшись. Он не озабочен здоровьем воды, тем, что куга полонила тихие заводи и напористо осаждает быстери, перекаты, поджимает камешник, что коряжник образует тайные коварные заломы, что от сотен моторов сизая пленка струит вниз по теченью. Тем и отличается любитель от истинного промысловика, что ему лишь бы взять у реки на прокорм, ему не до жиру — быть бы живу, а промысловик всегда озабочен о будущем годе, ибо и другой осенью ему быть тут же, с этих вод доставать пропитанье семье, а лишнюю рыбу чтоб свезти на базар.

* * *

В сумерках мы миновали бывший рыбозавод, кучу пустых заброшенных изб на высоком берегу, где еще в сороковых годах кипела жизнь, был свой магазин, школа, детсад и работа этого хозяйства была великим подспорьем, поддержкою для реки. Но нынче лишь пустыри напоминают о прежних избах, свезенных в другие деревни: все поросло густою травой, и только в крайней избушке, где ночует всякий бродячий люд, тускло брезжит в оконце; вот кто-то лениво, откашливаясь, спустился к урезу реки, клюковкой вспыхнула сигаретка, осветилось широкое щетинистое лицо.

Но не странно ли? Тридцать лет назад, когда страна была в послевоенных тягостях и едва справлялась с нуждою, мы могли содержать рыбозаводы, сетевязки, промысловиков (охотников и рыбаков), которые только и занимались рыбой и зверем. В каждой деревеньке, где имелось десяток детишек, стояла своя школа, был свой учитель, свой фельдшер, каждый уголок земли боялись запустошить. И вот минуло тридцать лет, мы разбогатели, и вдруг от непонятной щедрости стали налево и направо запускать под леса пахотные земли, забывать рыбные угодья, кидать деревни, а детей с малых лет отвозить в интернаты, отрывая от родителей, от коих мы и набираемся главного опыта и ума-разума. Мы разводим рыбу в искусст-

венных каналах-желобах в горячих песках пустынь и радуемся этой удаче, где-то роем пруды, запуская карпа и толстолобика (и это похвально), и в то же самое время запустошены громадные реки, заросли кугою и осотой десятки тысяч бесхозных, когда-то уловистых озер. Вот она, наша нива, вот они — истинные закрома, которые не выдадут, не предадут. Моя родная река Мезень уже вовсе обнищала, оскудела. И прежде-то не особо обильная в низовьях, она нынче запустошилась, обмелела, покрылась песчаными кочующими гривами, а ведь этой чистейшей реке тысяча верст длины, громадные плесы, омута с ровным пробежистым дном, а берега по всей длине обметаны лесом. Казалось бы, обрыбь матушку, запусти пелядь и сига, помоги реке в трудные минуты — и она воздаст сторицею.

Как случилось, что ныне нет ни одного рыборазводного хозяйства на огромной северной территории, равняющейся нескольким европейским государствам, на той самой земле, что испокон, многие века поставляла на рынок ценнейшие породы рыб: семгу, гольца, муксуна, нельму, пелядь, сига. Если Россия прежде могла без натуги кормить свои сто тридцать миллионов от внутренних водоемов, то нынче без мощного воспроизводства рыбных косяков нам не обойтись. Ясно, что нужен совершенно иной тип рыболовецких хозяйств, надо заинтересовать десятки тысяч крестьян, чтобы они из тайных любителей согласились стать промысловиками. Есть пахарь, пекарь, плотник, но почти пропал настоящий рыбак. (Те, кто плавают на траулерах, они больше рабочие-матросы, но не рыбаки, их чутье и накопленный предками опыт спят в закромах памяти, вовсе не нужные на громадном плавающем заводе, где улов зависит от капитана.)

Те самые беды, которые едва намечались на переломе прошлого века и были столь распылены, что ощутимо не угрожали природе (они были той невидимой грибницей, из которой позже взойдут бледные поганки), вдруг сгустились в огромное вихрящееся облако и стали устрашающе огромны. Но стоит ли напускать туманцу, делая вид, что враг-то пустяковый, стоит ли насущные проблемы оздоровления среды подменять одной лишь мифической борьбой с тем самым рыбаком, который и должен бы стать настоящим работником...

9

...Мы поднялись за порог, выметали поплавь. И неожиданно мрак ослаб, пробежала по струистой воде лунная колея. Вот уж не ко времени этот предательский свет, но куда отступать, коли душа на взводе. Меня посадили на греби. Лодку сносило то к середине реки, то неумолимо и властно прижимало под кряж, в высокие задеревенелые хвощи, и мне при-

ходилось скоро, упористо работать веслами, прижимая посудину нашу к той условной черте, по которой и должна следовать лодка, никуда не отклоняясь. В этом одна из особенностей неводного лова поплавью. В тени противного берега спускалась по течению вторая лодка, оттуда доносились приглушенные голоса, порою вспыхивала сигаретка, и мне за чудо казалось, что парни ни черта не боятся, вроде бы вовсе не пуганые. Поплавки рассыпались поперек реки, пересекли лунную дорожку и казались черными в голубом свете: они изогнулись луком, и надо было следить, чтобы лук этот не надломился, чтобы рыба, ежели она есть, не проскочила под нижней тетивою. Старинный русский способ лова, один из самых распространенных на Севере. Бывало, в путину такие поплавни десятками спускались вниз по течению чередою, с каждым заходом лодки менялись местами, чтобы удача светила всем попарно.

Сначала лопастные казались мне легкими, почти игрушечными, я работал с охотою истосковавшегося по заделью человека; все в этом промысле привлекало меня, но сердце не забывало, что мы беззаконники, и спина ловила каждый шорох уснувшего мира. Кровь толклась в ушах, а казалось, что где-то вдали, за излукой, напряженно рвется к нам враждебный мотор. Порой я успевал оглядываться, и в темени травянистых кряжей, за глинистыми клочами и обмысками в черной тени чудилась засада. И вдруг в сетное полотно толкнулось. Я еще не понял, что случилось, но только плавное скольжение по воде вдруг затормозилось, несколько смешалось, напарник мой свистящим шепотом приказал скорее загребать правым, и по этой легкой суматохе сердце подсказало: есть рыба.

Однажды я видел, как шла за блесною семга. Блесенка сияла заманчиво, но для меня, человека, она даже в воде казалась жестянкой, легковесным обманом, и даже не верилось, что может кинуться за нею огромная благородная рыба. Известно, что семга на икромете, пока живет в речной воде, до двух лет ничего не ест, она лошает, худеет до невозможности, покрывается пестрым попугайским рисунком, у самца отрастает кривой громадный зуб, похожий на клюв, и, несмотря на эти страдания, во все речное житье семга не ест, пока не сплывет обратно в море. И если она бросается на какой-то светлый подозрительный предмет, то с тем лишь, чтобы отпугнуть, отпихнуть от нерестилища. И тут, не подгадав, улипает на крюк. Здесь же она разгадала незадачливого рыбака и шла за блесною в полуметре, не отставая и не приближаясь. Даже в воде она виделась огромною: черноспинная, ее презрительный змеиный взгляд, каким она посмотрела на меня, был суров. Уже в тени лодки, заметив мое дрожащее смутное лицо, она колебнулась слегка, сверкнув серебряным боком, и не-

торопливо погрузилась во мрак. Это была рыба-чудо, посетившая меня из другого, недоступного мира. Сколько лет прошло уже с той поры, но я в подробностях помню ее ровный ход, вуальное шевеление нежных зеленоватых крыльев, могучую вилку хвоста, вокруг которого роилась вода, и этот высокомерный взгляд, в котором, поверьте мне, не было ничего доброго. Как странно, однако, и безжалостно устроена природа в своей борьбе за выживание: одно чудо уничтожает другое, и эта цепь взаимоуничтожений последовательна и бесконечна...

На главной лодке стали торопливо вытягивать поплавь в корму, вот я увидел, как наклонился парень и, цепко ухватив рыбину за упругую вилку хвоста, хлестко ударил колотушкой по костяному лбу и привычно кинул на дощатую столешню. Все виделось как бы в туманце, рассеянном голубоватом свете, и до того момента вроде бы полусонное, равнодушное скольжение по воде вдруг наполнилось горячкой и жаждой успеха. Она и раньше жила в душе, эта жажда добычи, но где-то в глубине затаенно дремала до поры до времени, а тут очнулась, и я напряженными расширенными глазами уже глядел на кажущуюся мне исполинской фигуру рыбака, на его умелое ловкое действо. Сама по себе добыча, даже если ты и не особенно желаешь ее, имеет свойство распалять, разжигать охотника, он уже худо в это мгновение соображает о постороннем, он как бы не в своей власти, и если именно в эти мгновения переступить ему дорогу, он может натворить чего угодно. Ведь всей работе нужен венец, итог, и даже истинный доброхот-вегетарианец, идущий в лес на фотоохоту, он и тогда надеется на успех, пусть и иного свойства.

Еще дважды наклонялся Юра, выпутывал семог, совал их в длинный клеенчатый оранжевый мешок с тугой перевязкой у горла. Я же машинально подсчитывал будущий штраф и с каким-то холодным восторгом отдавался судьбе. А луна воспаленно светила. По слегка примятому ущербному лику ее все так же бродил Каин с ведром смолы и помазом и упорно старался замазать ее. Трава на берегах залоснилась поначалу, потом засеребрилась. Рыбаки снова выметали поплавь, и я включился в работу, как раб, прикованный к галере. На третий иль четвертый замет мне с тоскою подумалось, что нынешняя ночь вообще не кончится. Как хорошо сейчас в избе на теплой печи. Голова моя налилась свинцом, а душа-безразличием. Плечи гудели от весел. Городская размеренная жизнь сейчас предательски отзывалась в каждой онемевшей жилке. Но мне стыдно было признаться в слабости, жалкости своей, и я, покрикивая на себя в душе, с упорством и ожесточением греб, ненавидя и природу, и сотоварищей моих, но прежде всего себя. Но заметы шли почти пустые, свинцовая равнодушная река

пробивала невод, ничего не даря и насмехаясь над нами. Уже было далеко за полночь, когда я почувствовал, что одежда моя осклизла и засалилась, потом захрустела на сгибах, а ладонь, скользнув по бортовине, обожглась. Лодка, оказывается, покрылась скорлупою льда. Ударил мороз.

Да, рыба посуху не ходит. Пола мокра, дак и брюхо сыто,— невольно вспомнились присловья. Но я-то, дурак, неужели мог даже на мгновение помыслить, что рыбалка — это беспечальная прогулка? Наваждение нашло, ей-ей, от безмятежной тихой сытой жизни, и стерлось во мне, потускнело телесное ощущение горячего труда. А возникло вновь неожиданно и потому показалось тягостным и вовсе лишним. Нужна привычка. Даже такая скрадчивая ночная рыбалка полна не только риска, но и тяжелой изматывающей работы.

Наш поход закончился с рассветом. Клеенчатый мешок с уловом затащили в амбарушку, вылили на подстилку: семги, харюса, сиги заиграли красками. Тут же разделили улов на четыре горки, и я, отвернувшись, выкрикнул, кому какая доля. Свою добычу, килограммов шесть, сложил в брезентовую сумку и, попрощавшись с товарищами, на ватных ногах отправился на постой. Уже совсем рассвело, золотые перья легли на востоке, выпущенный хозяйкой скот брел по деревне, чавкая грязью. Я вошел в избу, обрушился на кровать, глаза еще какое-то время бессмысленно и воспаленно глядели в серый потолок, и вдруг тело мое сладко вздрогнуло и, плавно кружась, полетело. Где-то краешком сознания я еще слышал, как заурчал за окнами Пашин трактор, включился в работу другой: начиналась дневная деревенская жизнь. Я на мгновение устыдился своего благостного состояния и почувствовал себя в чем-то виноватым перед ребятами...

Осколки чуда

...Язык народа бесспорно главнейший
и неисчерпаемый родник или рудник наш,
сокровищница нашего языка, который на
письме далеко уклонился от того, чем бы
ему следовало быть.
В. И. ДАЛЬ

Не дождался я лета, благословенной июльской парной поры, и средь зимы в самую непогодь отправился на родину в Мезень. А попажа, сами знаете, туда худая, и только диву даешься (по здравому рассуждению), какой же нечистый толкает тебя в эту дорогу. Так и хочется воскликнуть:

беспощадный человек, сам к себе злой, ну куда ты мчишься, зачем мучаешься, ломая дороги? Остановись, замри, оглядись окрест и погрузись в самого себя. Не гордыня ли мучает? Но что слова, что упреки, затосковалось, спасу нет, хотя давно ли не был дома, и это чувство душевной неустроенности столкнуло с места. А февраль — кривые дороги, снегодуй, зима с летом борется и, сидя на аэродромах, часто вылезая на заколелое скрипящее крыльцо, глядя в сторону взлетной полосы, словно бы покрытой стелющимся дымом, светящейся и крутящейся мглою, невольно вспоминаешь русский язык и от тоски и скуки вдруг ищешь то определение, которое свойственно снегу. Мы мало задумываемся о снеге, как о чуде. В феврале снег серых тонов, пепельных, тени мелкие, изредка лишь блеснет сизый металлический отлив на отроге снеговой папахи. Еще строгость, полумрак, холод. Такой покров называют саваном, но он же и чист, как платье невесты; он гибелен для неудачливого путника, но он и спасенье для всего живого, спрятанного под пеленами. Это и смерть, и рождение, девственная чистота и сиротское унынье, радость предстоящего рождения и горесть предстоящей разлуки. Пожалуй, только небо несет в себе столько же образных, чувственных смыслов, как и снег. Когда снег живой, толстым ковром, в самой зрелости — он тускл, с перламутровым блеском. Но в марте все наливается голубизною: и не чудо ли, когда снегу жить-то осталось с гулькин нос, он вдруг наполняется той радостью, от которой светлеет самый угрюмый взгляд. Вы никогда не задумывались, отчего это снегу радостно умирать? Словно бы он не хочет заступать места под солнцем тому, что ждет своей очереди. Еще кругом белым-бело, но вот за копешкой в чистом поле на солнцепеке смахните натруску, и вы найдете вдруг яркую изумрудную зелень. Нет более благородного цвета и глубокого, чем цвет снега: он таит в себе такую изменчивость красок, такую игру оттенков, коим не перестаешь удивляться. Есть ли более странная картина, чем летящий снег, самовоплощение живого хаоса, смятения, необыкновенно влияющая на самый закоренелый, устойчивый характер. Не случайно снег сравнивается с бесами, ибо он принимает самые причудливые очертания, из его гущи вылепливаются невиданные прежде обличья, из-за этой вдруг проросшей от земли до неба стены нет-нет да и выглянет страшенное обличье, от коего впору закаменеть. Именно зимою злые духи вылезают на белый свет, бегают по полям и от холода дуют себе в кулак. А когда на русские равнины ложится первая предвесенняя слабая синева, из холодных глубин являются двенадцать сестер — лихорадок, и тогда нет от них спасения слабому человеку. Самые сложные настроения вызывает в нас летящий снег. Если он хлопьистый, густой, когда каждая пуховинка вроде

бы сама по себе, четко прорисованная, со слабым шорохом сталкивается с подругою, то возникает чувство покоя, тихой грусти и ожидания грядущей радости; от завирухи же, метельного мрака падает в погибельную муть самая равнодушная к тягостям душа. Снег сам по себе вместилище многих чувств, он, пожалуй, наиболее живой из всего на миру, что не имеет крови и сердца. И не потому ли в народе столь широка образная череда слов, определяющих снег? Я отнюдь не хочу показаться многознайкой и перечислю лишь те, что в моей бедной памяти, а любой селянин из российской глуши, не особенно отглаженной цивилизацией, при желании еще во многом бы смог дополнить меня. Каким виделся снег русскому крестьянину? Падера, пороша, кура, заметь, заметель, пурга, курева, буран, снегопад, снеговей, завируха, поносуха, метель, веялица, метелица, погода (идет), лепехи (лепехи падают), вьюга, мокрядь, снеговерть, поземка, понось, поползуха, тащиха, понизовка, завитень, кутень, закутень, слякоть (сырой снег), перенова (свежий снег), завитуха, липуха, суметь, буево, перемет, перенос, сувои, завой, струи, заструги, забои, сугробы, наст, наракуй, снежура, чир, навесь, кухта, мухи, кидь, падь, крупа, пух, сечка...

Сколько отыскалось самых характерных сравнений, поэтических картинок для одушевленного снега из родного корневого русского словаря, кои нынче поставлены в убогое диалектное стойло, и откуда так нехотя выпускают их на волю наши многочисленные литературоведы и критики, чаще всего занозистые и самоуверенные охранители и охранники российской словесности. Создается такое впечатление, что стоит пропасть литературоведу, так народ русский единым днем замолчит и онемеет, напрочь позабыв речь. Откуда и кому на потребу вдруг выискался такой сторожевой пост, вооруженный до зубов циркулярами, словно без него языку смерть. Одно непонятно: от кого и кому в угоду охраняется русская речь. Не имевший литературоведческих рогаток, быть может, русский народ не мог прежде изъясняться без переводчика? Может, к каждому базарному мужику и бабе был приставлен толмач? Может, великий князь Александр Невский со своею знатью говорил иными знаками иль был из латынян? Откройте "Житие" Аввакума, и вся зрелость народного языка, его терпкость, аромат и вместе с тем метафорическая сила сразу воодушевят и восхитят ваше сердце. И не хочешь да воскликнешь вдруг: Боже, да неуж и тогда-то в досюльные старопрежние времена говорили точно таким языком, что и бабка моя, и мать? Так и хочется привесть пылкие и ныне не потускневшие мысли ратоборца Владимира Ивановича Даля: "...народные слова наши прямо могут переноситься в письменный язык, никогда не оскорбляя его грубою противу себя ошибкою, а напротив, всегда направ-

ляя его в природную свою колею, из которой он соскочил у нас, как паровоз с рельсов". И далее: "...коль скоро мы начинаем ловить себя врасплох на том, что мыслим не на своем, а на чужом языке, то мы уже поплатились за язык дорого: если мы не пишем, а только переводим, мы, конечно, никакого подлинника произвести не в силах и начинаем духовно пошлеть. Отстав от одного берега и не пристав к другому, мы и остаемся межеумками". Я не задавался особой целью проверить отмирание, окостенение, опошление языка: затяжная болезнь известна и внушает тревогу. У разного народа я спрашивал, что такое "кура" и "заметь", но всякий раз люди (учителя-филологи, краеведы, служащие, рабочие и крестьяне) с улыбкою и недоумением пожимали плечами. Но решительно все нашлись ответить: это, дескать, диалектизм, и чего ты от нас, милейший, хочешь. Само слово "диалектизм" всякий раз звучало весомым оправданием их незнанию, оно въелось уже в нашу психологию, как ограничитель, некий тормоз или черта, за которую переступать нет проку, а то и опасно. А вдруг что случится, верно? Вообще в свойстве человеческого характера иметь некоторую пачку индульгенций, спасающих от всякого рода неприятностей. И никакой напряженности ума, хотя при сравнительно легкой работе сразу понятна образная основа слова: кура, курить, куриться, дым, дымиться, в виде дыма. В наше сознание словно бы вживлен некий датчик: это устаревшее, это лишнее, это ненужное — и память отвыкает работать. Оказывается вдруг, что для нашего общения хватает трех сотен слов, из коих возможно сочинить повесть или роман. "Зачем слова? — восклицают некоторые литераторы.— Главное мысли, идеи". Но слово-то само по себе и есть образное выражение мысли, ее незаурядности. Чем скуднее мысль, тем беднее язык, тем скорее пошлеет душа, о чем еще сто лет тому пекся Даль.

Ведь не взял же я глубоко местные слова (вроде бахил, няши и шолнуши), ушедшие в прошлое вместе с укладом жизни, но спрашивал про корневые русские слова, еще столь обиходные в тридцатые годы нашего столетия во всех слоях общества: но они вот пропали вдруг, стали тарабарщиной иному уху. Слова оседают в потемках, если они не на слуху, они как бы затаиваются, прячутся, горестные и забытые, и откликаются только после долгих зовов и с трудом.

Людей обескураживало одно лишь, что "кура" и "заметь" взяты из рассказа Льва Николаевича Толстого "Метель", они долго отказывались верить, пока я не открывал томик и не показывал строки. Я, говорю им, мог бы взять у великого писателя сотни слов, кои уже забыты нашей ленивой памятью, и только величие Толстого мешает нашим литературоведам обратить свои упреки в его сторону. Нашего же современника Михаила

Шолохова они не стеснялись сечь за просторечия, а Шергина называли печатно и публично осквернителем русского языка. Оказывается, корневые слова от частого их употребления не тускнеют, но, напротив, обретают блеск чистого золота: забытье, препоны, ковы для языка куда хуже всякой велеречивости и пустословья. Когда-то начали борьбу с "кабыть" и "чаво", с рязанской, вятской и олонецкой манерою говорить, а после с водою, будто нечаянно, захотели выплеснуть и ребенка. Ведь диалектизмы — это не манера, не произношение, не севернорусское оканье иль рязанское яканье — но образная, метафорическая, характерная окраска речи, ее мускулы, отчего природа, окружающая нас, обретает свое неповторимое лицо. Эти образы не создавались по наитию ради красного словца, но пестовались столетиями: они со всею полнотою выказали бесконечное стремление народа к красоте.

Если человек скажет вместо "патефон" — "патифон", это дурно: нужно его поправить, и эту безграмотность нет нужды выдавать за особенности речи и совать в литературный текст. Но если в разговоре с вами он с легкостью, глядя в оконце, пожалуется вдруг: "Дорога-то нынче, как зеркальце заколела", тут стоит лишь восхититься и развести руками. Такой образ создается лишь душою языческой, природной.

Роясь в курганах и захоронениях, находят вдруг осколки амфоры, старинного сосуда, а после стараются склеить их, чтобы вызволить из небытия крохотную частицу исчезнувшей жизни. Нам трудно понять нынче, каким был язык наших пращуров в их далекой языческой поре, когда солнце было главным богом: но каждое слово, долетевшее из темени преданий, есть осколок чуда. Не поленимся, наклонимся, подымем его из праха, оботрем о полы одежд и полюбопытствуем, прислонив к уху: и оно вдруг зазвенит, и открытая душа готовно отзовется на эти звуки, силясь понять...

Из простой судьбы

"...Ванька принес водички озерной: "На, говорит, испей. Чиста вода". Я глотнула раза два с перерывом. И едва домой добрела. Сверху и низу вся пролилась, покатило, изошла вся. Ведро льду принесли, мне на голову да на горло кладут, и внутри будто огонь, костер разожгли. А ноги так тянет, что пятками наперед выворачивает. Я только кричу: "Бабы, гнетите ноги-то, держите". Сутки меня катало, всю вытянуло. Вышла я на улицу, идет председатель и говорит: "Ну, Юля, ты как после родин". С той поры год не могла босиком ходить, сырой земли не принимала. Только ступлю, так и начнет пятками наперед выворачивать".

* * *

Самолет не сокращает расстояний, но лишь убивает тайну пути, его чудо. Раньше ближний городок иль посад был тем открытием, тем праздником жизни, о коем деревенская баба вспоминала до смерти, не уставая удивляться. Этих впечатлений хватало, чтобы составить представление о всей земле. И потому своя деревенька мыслилась самой-то милой, самой благостной и расчудесной и подобно этой — "Жердь — Москва, Кильца — Вологда" — присказки слагались по всей Руси. И еще, помню, говорили у нас: "В Жердь-то съездить, дак как в Москву. Все есть". Хотя что за диво? Сотня изб по пригорку за двумя реками, и попажи туда никакой, все дороги оборваны. Дичь, глушь — тмутаракань, одним словом. Но и отсюда, когда замуж походили в Нижу, крохотный выселок о край моря, девки плакались: "Долотом небо протыкано, решетом свету наношено, нету звону колокольного, нету питья церковного. Птички-пташки не слетаются, добры люди не съезжаются". Дуська из Нижи с наваг домой приехала, молит: "Не дай Господь еще привестись там". И тем же днем жених из Неси приехал, посватался, и отправилась она жить на Канин в самую тундряную болотину, где полгода свету не бывает, куда черт мерил-мерил да и веревку оборвал, где за праздник русское обличье и нашенская речь.

Не нами сказано: судьбу не объедешь. ...Что ни деревня, то норов: где-нибудь стоит в лесном закуту, у медведя под боком, от мира скрылась — не достать ее, не проведать, но гонору сколько, похвальбы за свое печище, гордости сколько за свою сторонку, коей будто бы и краше нет на всем белом свете. Не случайна и повсеместна присказка: "Наша деревня Москвы уголок..." С малых лет внушалось присловье:

"В кажной избушке свои погремушки, в кажной избе свой погремок, в кажной деревне свой обиход, а везде все наше — поморско".

Пять-шесть веков тому какой-нибудь рисковый новгородский ушкуйник, соблазнившись привольем поморских мест и богатством земель, презирая одиночество и страх, рубил себе избенку в два окна, клал печь — каменицу, и с этой кушной избицы, без подворья, без росчистей и репищ начиналась деревня-однодворка: она оживляла досель безлюдный край и вносила ту духовную перемену в дикое однообразие, что совершается лишь с оседлой жизнью человека. Одинокий дым печища, вроде бы едва вздымаясь над комариной тайболою, уже лишает ее того сиротства, что более всего пугает всякого нового ходока. А завидев этот пахнущий житьем дым, невольно замедлит ход азартный скиталец, вроде бы на ночевую лишь решится, чтобы

дать отдых тоскнущим от долгого плаванья костям, но за новым утром придет следующее, когда уже не устоит рисковый путник перед красотами здешней земли и, сам себя утешив, что край земли перейден и не пора ли затормозить, примется рубить свой прислон, свою избенку.

Как и у всякого рода, у деревни есть свой прародитель, праотич, праcтроитель, основатель заимки, выселки, хутора, деревни, починка, с которого и вырастает позже богатое поселенье, украшенное церковью. И наверное, характер первого засельщика невольно остается, лишь в чем-то разбавляясь, во всем последующем долгом потомстве. А иначе как понять, что вроде бы верст через десять деревенька, и у той же воды стоит, те же пашни орает, но характер у нее "отменитый", то ли похвалебщики-гордецы, иль записные конокрады, иль гулебщики, иль модники. И ко всякому житейскому случаю свое отношение, своя причуда.

В Тулгасе, к примеру, солдаты, вышедшие в отставку, встречались родителями холодно, и в продолжение всей гостьбы не раз спросят у служивого: не скоро ли тебе обратно идти-то? В Пинежском уезде (от моря верст полтораста) солдатская шинель служила печатью отвержения. Об отставных солдатах там существовала поговорка: отставной солдат да старая девка в дом — то выходи скорее вон. Но в Зимней Золотице по возвращении со службы солдат пользовался особенным почтением, занимался, чем хотел, на сходе имел первый голос, освобождался как от натуральных местных повинностей, так и от взноса окладного хлеба в запасные магазины.

Вот и на моей родине до сих пор не только всякий житель, но и каждая деревня помнят давнее прозвище. "Азаполье — дрозды; Березник — обмараны подолы; Мелогора — катыши; Черсово — горцы; Кильца — дрыны с колоколами (модный народ был, в галошах ходили. Часов если нет, то цепочка из кармана обязательно свешивается, оттого и прозванье — дрыны с колоколами); Целегора — рекоставы. (Однажды долго река не вставала, а сено за рекой доставать надо. Догадались: веревку протянули над самой рекой и снежуру да шугу остановили, и русло смерзлось); Долгощелье-турки; Сояна — бобыли, чухари; Заозерье — кислы камбалы; Тимощелье — горшки; Никола — гулюшки; Кимжа — чернотропы (видимо, когда-то избы были кушные, т. е. топились по-черному, потому сажа везде копилась, оседала, и по деревенскому порядку на снегу оставались от валенок черные тропы); Дорогора — совы; Малая Слобода — дергачи; Мезень — кисерезы (срезали кисы — кожаные мешки, где дорожный хлеб хранился. Проворонишь — и срежут с саней). Мещане — известный народ — кофейники, кофе с калачами пьют. Позднее прижилось

второе прозвище — кофейники; Городок — французы, вороны; Юромцы — пулонцы; Жердь —кукушки; Ручьи — едома и т. д.

Деревни рождаются и умирают, как люди, только более длинно и мучительно. Нет ничего более скорбного, чем покинутый хозяевами дом, когда они сами-то живы, где-то на стороне, в больших городах, в зажитке и достатке, а родовое имение рушится, расползается на глазах, и тогда запустевшие мертвые комнаты вызывают чувство недоумения, боли и тоски. Сколько нынче на Руси покинутых порядков, выселков, хуторов и еще добротных родовых деревень, стоящих не где-нибудь на болотной кулижке, в осотной грязи иль еловой чащобине, куда порою оседал беглый старовер. Но нет же — и на горбылистых орамных землях, на горних легких пахотах увядают селенья без призору, без догляда, а новые поселки отчего-то затеиваются на посредственных землях; в низких местах, на оплошных и лежанцах, куда худо, недовольно заходил прежде крестьянин.

Если бы они сразу опадали в землю, эти кинутые избы: но они стоят, крепятся изо всех сил, как укор беглому поселянину, и их еще не скоро выпьет трава и размоют дожди, смешают с прахом. Под Мезенью на высоком берегу стоит бывшая поморская деревня Семжа (родина писателя Виталия Маслова, воителя и радетеля ее, стремящегося возродить родовое гнездо). Высоко села деревенька, и с угора взгляду видны неохватные дали. Много мореходцев, капитанов и кормщиков вышло из старинного, радостного глазу места, где во все стороны ширь неохватная и простор. И пусть тундры подпирали, но зато море, рыбное и зверное, веселит, и потому не знали здесь натуги в пропитаньи. Запросто хаживали в Норвегу, вели торговлю с тамошними негоциантами, и, почитай, в каждой избе стоял поставец с "корабельной" посудой (то бишь иностранная, покупная, тонкого фарфору, доставленная в Россию на корабле). Но вот однажды деревню признали неперспективной, убрали магазин, школу — и словно пал кромешный прошелся по ней. Теперь летами по улицам старинной поморской Семжи трава в пояс, дурнина всякая, сквозь которую трудно продраться, и редкий человек, лишь особо страдающий по родине, завернет в отпуск сюда, на высокий угор, чтобы оследиться тут и подправить могилку родителям.

Да вот Виталий Маслов с престарелыми родителями своими да домашними с ранней весны до осени летует в деревне. Не сама деревня погинула, не от старости иль непонятной хвори. А вот теперь выпестуй ее, поставь заново, вознеси посад, коли он уже похилился на две стороны, как перезревший гриб...

И высокие молчаливые серебристые избы по-над высоким угором —

как укор всем нам и горькое поученье. Но и до сей поры иному человеку, стороннему от народной жизни, ой как сладко бросить упрек крестьянину, дескать, и ленив он, и нелюбопытен, и хозяйство запустил, и земли своей не холит. Но ой, погодите хулить, ругать своего кормильца и радетеля: как бы ни худ он был, на наш погляд, но мы все из этого рода, из этой национальной, пока не выстуженной избы, и, пока существует земля, всегда будет на ней радетель, отыщется и оратай, упорный пахарь, чтобы обиходить владенья, не кинуть в запустенье. Охота к земле не пропадет, как бы ни ратовали иные: охота к земле, тяга к ней извечны, пока жив человек. Корни, коими обвито все огромное страдающее тело природы, коими опутан крохотный человечек, не дадут вырваться из этого плена здоровому душою работнику. Оглянитесь, как ни мечтал человек о городе, как ни выбивался в люди, как ни прощался с деревней, но пуповина ноет, скребет душу мучительная грызь по земле. И вот в воскресенья, претерпев всякие дорожные неудобицы, наш горожанин спешит за город, в крохотный муравьиный надел, в торфяники, в мелколесье, в кочкарники и болотины, в самую-то неудобь, хвощи и сырь, в скопища комарья и, зарывшись заступом по самое темечко, пестует свой клочок, радуясь торжественно первому хвосту укропа и первому яблоку. И ломоть суглинка, вывернутый лопатою, рождает тихую музыку в душе самого заядлого, потомственного горожанина. Нет, не выскрести нам из нутра земледела, никак не вытравить...

Как рождаются деревни? На Зимнем берегу, если идти на лодке по реке Ручьи, можно попасть на остров Кельи. Чьей щедрой рукою заброшен этот остров на холодную гладь? Нынче здесь только сосны, пьяные клеверища и могилы. На порушенных временем срубах еще можно отыскать дату рождения: год тысяча шестисотый. Новгородцы распахали на острове пашни, засеяли житом, поставили избы, накопили детей и отгородились от мира десятками болотных километров. Может, и поныне стояла бы она, да только кому-то из поселян, любившему долгие ходы, сильно поглянулось море. Не вернулся старовер на благодатный остров; поставил избу в устье речки Ручьи, не убоясь новин, церковной и гражданской власти, и сманил семью. И тогда пошел в Кельях раскол, осыпалась в землю вольная деревня. Умирая, глава общины, начетчик и учитель, повелел сундучок с золотом опустить в озеро, а цепь от него тайно провести на берег и спрятать в землю. "Кто найдет эту цепь, будет счастливым",— сказал будто бы он. Преданию на Зимнем берегу верят, могут желающих сводить в лес и показать то озеро, где захоронен клад, но сами его не ищут.

А жители, что покинули островной дом, ушли на берег. Выросло по-

морское селение подковой в устье строптивой реки. Словно извечное противоречие треплет душу деревни, и не может она порвать ни с лесом, ни с морем. Ручьи и росли-то куриными скачками, буквально выцарапывая из тайги очередную избу.

Вон там, напротив, через реку, еще стоит последний сиротливый дом. До недавнего времени жил в нем охотник Голубин с семьей. В обители леса чувствовал он себя просторно. Но однажды долгонько отсутствовал по своим охотничьим делам Голубин, и жена его, соблазнившись деревенским обществом, собрала имущество, прихватила детей и переехала через реку. Появился из лесов Голубин — пуст дом. А жена с другого берега его переманивает: "Бросай давай отшельничать, хватит букой жить". Но с год еще бунтовал охотник, один жил в пустом доме. И смирился. Вот так и выросли Ручьи: пустила корни деревня на очень трудной земле. А каков характер у местных жителей, можно судить по такой драматической истории. Однажды наступило время, когда церковные власти добрались и до острова Кельи и стали навязывать староверам "щепотную" веру. А те ни в какую. И только выпал первый снежок, ушли и замели за собой следы. Сорок черниц утопились в озере, и стало оно с тех пор называться Старушечьим.

Такова история одной деревни, сгоревшей, словно свеча. А потом из талого воска была слеплена новая, но и эта ныне едва тлеет, потому что детей стали скудно рожать...

* * *

От Архангельска до Мезени двести поприщ (верст). Земля просверкивает под грядами облаков, от жидко облесенных равнин порою отражается солнце, тень нашего самолета причудливо скользит по снегам. Двести поприщ... Ногами-то измерить — воистину познаешь их суровость. И не только ноги износишь до кости, но и сам закалишься. Тут ведь как: тело мается, а душа восходит, и норов крепчает. Нет, никакая скорость не скрадет расстояний, особенно этих, безмолвных, угрозливых, натужных. Безмолвие обычно потрясает сердце, и тогда земля становится еще пространней. Куда проник человек! По какой нужде затащился сюда новгородец? Зачем ломал дороги? Только ли за прибытком мял снега вольный боярин с ватажкой, пробивался сквозь чужой угрюмоватый народец... Хоть бы дымок завеялся, иль сверкнула оконцами зимовейка, иль пеший человек, отсюда похожий на чертополошину, остановился бы, запрокинул голову и проводил бы нас взглядом. Белая пустыня... Но здесь прежде, когда дороги еще мерялись поприщами, был пеший и санный путь, на каждых двад-

цати верстах стояли дымные избенки, топящиеся по-черному, жили бобыли-кушники, держали лошадей, давали постой, несли почтовую службу. Сотни охотников лесовали по суземкам, по лесным гривам о край болот, шли на лыжах за уходящим солнцем, били белку, гнали куницу, травили лису; где ночь застала, там и пади у костерка, похлебай мучных штей, а утром, с первым зоревым проблеском, снова впрягайся в лямку и, волоча санки с лесовым скарбом и добычею, тянись все дальше за проходным рыскающим зверем.

И так месяц, другой, пока-то не пойдут оттайки и не падут дороги.

Отсюда, с Поморья, сказывают с Пинеги, отправился на восток Семейка Дежнев в 1648 году, и только по одному списку в лодье кормщика были мезенцы Меркурьев Елфим, Семенов Фома, Иванов Роман. Семейка дружину набирал свойскую, свычную с морем, промыслами и тягостями. Надобно же было на кочах, льдами и волоками пройти о край материка в глад и хлад всю незнаемую допрежь землю, чтобы упереться о ее край. Встали мужики на скалистом мысу, дождались восхода, и благословенное солнце явилось пред очию прямо из моря. С поморских поприщ легла под ноги будущая Россия. Сколько знаний открылось сразу, сколько пало тайн. Земля становится доверчивой пешему мытарю только после долгих испытаний на двужильность. После долгих ходов отписывал Семейка Дежнев в Москву: "На море разнесло нас без вести и носило по морю после Покрова Богородицы всюду неволею и выбросило на берег в передний конец на Анадырь-реку; а было нас на косе всех двадцать пять человек, и пошли мы в гору, сами пути себе не знаем, холодны и голодны, наги и босы, а шли ровно десять недель, а попали на Анадырь-реку внизу близ моря и рыбы добыть не могли, лесу нет, и голодные ходили мы двадцать ден, ночевали в снегу, ямы копали; дошли мы до Анаульских людей и взяли два человека с боем; а меня ранило смертною раною".

До Мангазеи плыли мореходцы известным путем, ибо еще за пятнадцать лет до знаменитого похода явят нам таможенные книги, что "октября в четвертый день мезенец Мелентий Козьмин с товарищем Русиным Ивановым пришел из Мангазеи в вобласе, явил товару: 12 сороков пупков собольих, до 50 соболей да 30 пластин собольих, 2 связла лоскутья собольего..."

В 1600 году Федул Наумов ходил из Мезени в Мангазею, через двенадцать лет мезенец Шестак Иванов снова побывал в Мангазее.

В 1612 году мезенец Фома Кыркалов, толмач и рудознатец, обогнул Новую Землю.

В 1645 году мезенцы Ружниковы Кирилл и Молчан прошли от Якут-

ска на север к Чукотскому морю и открыли Чаунскую губу. Тем же путем в последующие три года шли мезенцы Меркурьев Елфим, Семенов Фома, Иванов Роман, Коткин Кирилл, Демидов Григорий, Коткин Матвей.

И еще из истории Мезени

1

Это был захватывающий поединок, где нападающие шли порою очертя голову и погибали или впадали в уныние, иные же мирно оседали на просторах диких кочевий, брали в жены туземок, плодили детей и жили местным обычаем, не позабывая, однако, русского своего корня. Здесь, в освоении Крайнего Севера были и свои герои, и свои отступники, и злодеи, и рядовые солдаты, и вожди духа, которые вынесли на себе все тяготы, достающиеся первым. Отсюда прозвучали на всю Россию имена Дежнева и Беринга, Пахтусова и Челюскина, Русанова и Седова.

Где-то у истоков арктической осады стоял не только великий помор Михайла Ломоносов, но и самые низовые мужики, которым трудная жизнь не принесла ни имени, ни славы, ни почестей, ни богатства, а память о них весьма скудна. Но все они вместе, так называемые мезенские поморы, достойно вписались на золотой памятной доске где-то в самом изначалии российских колумбов.

В 1763 году Ломоносов направил в Морскую Российских флотов комиссию свой капитальный труд "Краткое описание разных путешествий по Северным морям и показания возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию". В подробнейшем пособии для будущей экспедиции был специальный параграф восемьдесят девятый, в котором, в частности, говорилось, что "сверх надлежащего числа матрозов и солдат взять на каждое судно около десяти человек лучших торосовщиков из города Архангельска, с Мезени и из других мест поморских, которые для ловли тюленей на торос ходят, употребляя упомянутые торосовые карбаски или лодки по воде греблею, а по льду тягою; а особливо которые бывали в зимовьях и заносах, привыкли терпеть стужу и нужду". По настоятельной просьбе Ломоносова были составлены тогда же списки поморов, "кои довольно в тамошних местах бывали", но только четырех человек оказалось трудно отобрать для Морской комиссии, ибо достойных промышленников на Поморье было в преизбытке. После длительного обговора, когда архангельский губернатор лично беседовал со зверобоями, в Петербург отправился Амос Корнилов, о котором позднее Ломоносов много раз будет упоминать, как о "достойном приятеле". Вместе с ним на комиссию при-

были из Мезени Федор Рогачев, Павел Мясников и Василий Серков, которые достаточно плавали в полярных местах.

Комиссию поразил рассказ Амоса Корнилова. В 1743 году мезенский кормщик Алексей Химков со товарищи отправились на зверобойный промысел. Их судно оказалось зажато льдами у острова Малый Бурун (о. Эдж). По льдам четверо промышленников вышли на пустынный остров, где они знали, что стоит мезенская разволочная изба. Заночевав, они вернулись на берег и обнаружили, что лодьи нет, она раздавлена иль уплыла в полярную ночь — сие неизвестно. И можно лишь удивляться мужеству человеческому и стойкости, когда, уповая на господа, они сшили себе из звериных шкур одежды, благо медведей водилось на острове во множестве, и стали жить надеждою на предстоящее лето. Но те годы в истории числятся годами "полярного лихолетья", когда в течение пяти лет вблизи Шпицбергена погибло до сорока судов, и поморы ввиду постоянных бедствий отказались от тяжелого промысла. Лишь через шесть лет после приключившегося Амос Корнилов приплыл к Шпицбергену на разведку промыслов и волею случая обнаружил несчастных мезенских робинзонов, которые провели на Шпицбергене шесть лет и три месяца. Следующим годом страдальцы были доставлены в Петербург для объяснения случившегося, а их приключения были описаны в занимательной книжке академика Ле Руа.

На беседах в комиссии Ломоносов не присутствовал, но с мезенцами встретился у себя дома. Михаил Васильевич любил приветить гостей, и тогда на широком крыльце накрывался дубовый стол и пировали до поздней ночи. 8 марта 1763 года Ломоносов представил Морской Российских флотов комиссии записку, в которой говорилось о шести мореходах из Мезени: это житель Кузнецкой слободки Иван Макалев, той же слободки Иван Назаров, мезенцы Окладниковской слободки Демид Хлябин, той же слободки Яков Личутин, той же слободки Алексей Откупщиков, той же слободки Хрисанф Иньков. 13 марта комиссия прекратила опрос поморов, и решено было "крестьян отпустить в домы, дав им до городу Архангельского на две подводы прогонные деньги да на пропитание каждому по 10 рублей".

14 мая 1764 года Екатерина Вторая подписала указ об Арктической экспедиции. Главным командиром назначен капитан первого ранга Чичагов. На Соломбальской верфи были построены дополнительно три судна с двойной обшивкой, и помимо шлюпок, по указанию Ломоносова, взяли торосовые карбаски. Всего на суда зачислено 23 помора, прошедших комиссию в морском гошпитале. Двое из ранее составленных списков были

отчислены: то "мезенцы Алексей Откупщиков за отморожением руки, а Василий Серков за старостью и дряхлостью, и глазами мало видит". Вместо них взяты из Мезени Федор Рычков и Аверкий Филиппов из Олонецкого уезда. Мезенцы Яков Личутин и Федор Рычков назначены кормщиками на "Паново", а Федор Рогачев — на "Бабаево". В мае 1765 года началось плавание первой русской экспедиции северо-западного прохода, а кончилось оно, когда Ломоносова не стало в живых...

В экспедиции адмирала Ф. П. Литке лоцманом на бриге "Новая Земля" (1823 г.) был мезенец Откупщиков Павел.

В экспедиции П. К. Пахтусова (1832 г.) участвовали мезенцы Иван Гладкий и Семен Лочехин.

В шлюпочном походе на Новосибирские острова в поисках экспедиции Толля Э. В. ходили: Иньков Илья, Дорофеев Алексей, Рогачев Михаил.

На карте Арктики есть остров Михайлы Личутина, бухта Откупщикова, хребет Рогачева, гора Шарапова, горы Минкина, фиорд Инькова, озеро Иглина, река Иглинка, Шараповы кошки, мыс Рахманина, ледник Петрова, горы Немчинова, Смыслова, ледники Самарина, Хомякова и т. д.

* * *

Снега белые да глубокие
Из конца в конец полегли.
Пали ветры с ночи да полуношник,
Все дороги замели,
Малой тропочки не оставили.
А льдины идут, грохотя, скрежетя.
Темная да холодная тяжелая вода в разводьях
Плещется.
А наш-то кормилец в покрут пошел,
Зверя бить-промышлять.
Не побоялся холода да тяготы.
Не за прибылью, не за радостью.
А от бездольица, малым детушкам на прокорм,
На свою пошел на смелу голову,
Дал в покрут свою силушку да уменьице,
На мое горе, бедованьице, на мое гореваньице.
Припадаю я ко кресту на Взглавии,
Оборони, убереги кормильца нашего,

Не осироть малых детушек,
Не покрой меня платом черныим,
Не пошли жизнь тяжкую.
Ветры с океана-моря меняются,
Лед торосит да разводится.
Юровец на залежке смердит-ревит.
Дай удачи, Господи, кормильцам нашим,
Дай возврат им скорый,
Матерь Божия, прими сокрушенье мое,
Сына своего умоли, да Николу,
Рыбакам защитника да помощника,
Упроси, взглянь на мои слезы материнские.
Вспомяни слезы и горе свое.
Нет тяжельче горя материнского
Над бедованьицем детушек своих.
Без отца не вырастить одной
Семью свою, не выкормить,
Не обуть, не выучить.
Припадаю ко кресту, другой надежи нет...[1]

Сколько плачей слышало Белое море, сколько самых трагических историй забылось за давностью лет, сошло в землю, сколько еще осталось на человечьей памяти, сколько записано любителями русской словесности и таятся в домашних архивах: все они, будучи изданы, составили бы прекрасный памятник страданьям, мужеству и высоте поморской души, когда страдалец даже в самые тяжкие минуты не забывал законов товарищества, гордости, благородства. Море брало урок, дань: "Нет тому перемены, так повелось испокон веку", но оно и пестовало, и кормило, и нянькало, и вот эта восьмисотлетняя морская наука и создала особое поморское сословие.

В 1790 году священник Спасской церкви города Мезени Герасим Киприянов занес в поминальник имена шестнадцати промышленников. В метрической книге указано, что все шестнадцать погребены без надлежащего священнического отпевания, будучи на Новой Земле за промыслом. За этим же годом священник Богоявленского собора отметил кончину еще восемнадцати человек, а всего погибло тридцать четыре промышленника, из них пятеро Личутиных, дальней моей родни. Известный исследователь Новой Земли Петр Кузьмич Пахтусов через сорок четыре года после но-

[1] «Ожиданьице» записано К. П. Гемп в 1966 г. в деревне Сёмжа.

воземельской трагедии нашел на одном из островов Горбовых два ветхих карбаса длиной по сорок пять футов и могилу, в которой, по его словам, можно предположить пятнадцать человек покойников. Поблизости Пахтусов обнаружил две промысловых избы, одну на материковом берегу Новой Земли, другую на острове Михайлы Личутина. Здесь же была могила, в которой похоронено двадцать человек.

Из свидетельств историографа В. В. Крестинина известно, что мезенский полярный кормщик и судовладелец Михаило Личутин имел в 1788 году качмару и ладью "Сокол", построенные в 1783 году. В 1780 году он женился. Регистр города Мезени купцам, мещанам и их домашним, не бывшим в прошлом, 1783, году на исповеди утверждает, что семья Личутина состояла тогда из жены Ксении, сестры Ефросиньи и дочери Пелагеи. Вся семья была подвергнута штрафу в пятнадцать рублей (по тем временам очень большие деньги) за то лишь, что ряд лет не была на проповеди. Штраф этот был снижен, так как Михаил Семенович Личутин был ратманом мезенской городской думы. Брат его Василий Семенович также был оштрафован. Надо сказать, что мезенцы не отличались верностью обрядам православной церкви, ибо чаще всего были старообрядцами. Из тысячи восьмисот сорока двух жителей города семьсот семнадцать человек не исповедовались в том же году и уплатили штрафу 1349 рублей.

Судя по ведомости о наличии мореходных судов у мезенских купцов и мещан, остальными погибшими судами могли быть качмара Ивана Феклистова Коткина, качмара Фомы Калинина и ладья "Самоед". Домой вернулся лишь кормщик Ефрем Шадрин с десятью промышленниками и принес весть о кончине тридцати четырех мореходов. По прибытии Шадрина в Мезень весть о новоземельской трагедии скоро распространилась по всему уезду, и во всех церквах были заказаны поминальные молебны по усопшим мореходцам...

Неприметной жизни мезенские мореходы увековечили свое имя, не гонясь за славою, не боясь погибели и безвестности. Сотни мезенцев пропали на Шпицбергене и Новой Земле, иные же перевалили через Камень, Обью и Енисеем поднялись в глубь Сибири, настроили заимок, распахали клинья под жито и рожь, и первыми заселили пространную землю, принесли туда новгородский, северорусский язык. Александр Гильфердинг писал об олонецких крестьянах, но сие можно с полным правом отнести и на мезенского помора: "Народа добрее, честнее и более одаренного природным умом и житейским смыслом я не видывал: он поражает путешественника столько же своим радушием и гостеприимством, сколько отсутствием корысти. При первом признаке человечес-

кого с ним обхождения, он, так сказать, расцветает, делается дружественным и готов оказать вам всякую услугу". Но не то особенно впечатляет, что на берегах студеного моря обжился русский народ и за семьсот лет бытования выковался в особое сословие, но то, что распространился он по России из скудного очажка, с крохотной береговой ленты в полторы сотни верст длиною, да и сама-то Мезень в начале прошлого века едва насчитывала общим числом не более восьмисот душ. Откуда черпались силы? Как могла заштатная обитель питать мореходцами три столетия, да и к тому же хранить старую веру, мифы, былины и язык? Знать, это сословье должно было обладать богатой самородковой россыпью и широким природным умом.

История никак не запечатлелась на лике Мезени: нет даже тех постоянных российских примет — двух церквей и собора; вся минувшая жизнь при взгляде на это поселение кажется настоль далекой, таким прекрасным сказанием, в которое поверить почти невозможно. Да полноте, хочется воскликнуть, разве отсюда шли славные мужики с Семейкой Дежневым и неуж здесь нашлись люди, что добрались до края земли, перевалили океан и заселили дикий берег Америки? Сонный, летом зеленый, а сейчас заснеженный городишко в два прошпекта, несколько кирпичных домов барачного типа в два этажа. Где они, зримые пометы веков? Почему Мезень так часто упоминается в российской истории? Отчего именно из этого места, которое в середине прошлого века этнограф Максимов обозвал Мерзенью, вышло столько сильных, волевых людей?

Сама земля за семь веков выпестовала особую человечью породу. Но сохранился ли, выжил ли этот великорусский тип под натиском цивилизации иль уже давно распылился в толще иных российских слоев? Как докопаться до этой глуби? И неуж бесследно кануло славное поморское сословье? Можно ли разбавить, разжижить, растворить характер, развести водицею в дижинь — жидкую кашицу?

2

Прежде говорили, что Мезень — край земли, вход в преисподнюю, в страну полуночную, где властвуют бесы, тьма и тягучий пронизывающий ветер. За Мезенью кончаются дороги, добродетели, добрая земная жизнь и все, с таким трудом достигнутое столетиями неустанного человеческого труда. Мезень — это была не ссылка, это был конец света. Увидал Максимов сие место, ужаснулся серости, невзрачности, стылости самой приниженной природы, тусклости зимнего воздуха, багровой безнадежности закатов и в отчаянной тоске обозвал городок Мерзенью. Потом вернулся

после годичных скитаний по Поморью в Петербург и написал редкостную по любви к народу и России книгу "Год на Севере". И куда только делась под пером вся мерзость тамошней жизни? Откуда всплыли краски иные, тонкие, нежные? И народ встал в памяти добрым, некорыстным, красивым лицом и мужественным по складу души. Писал же поэт: "Большое видится на расстояньи".

Вблизи, вплотную видятся лишь собственные расхристанные чувства, тобою правит настроение, неупорядоченное течение телесных токов, дорожные неурядицы, кочевые неудобства, несварение желудка, тягости чужой избы, ломота костей, растревоженных дорожной тряскою. Дорога, особенно северная, немилосердна и к самому выносливому человеку, она словно бы испытывает путника на истинность помыслов. Стоит лишь удивляться, как местный насельщик привыкает к самому расхристанному, заезженному пути, почитая и его за благо средь дикого суземья.

Я полагаю, когда описывал Максимов в кабинетной тиши недавние приключения, то перед его взором вставал не заштатный городишко (который, впрочем, он почти обошел вниманием в книге). Какое-то иное чувство водило рукою. Мне думается, то было чувство восхищения, кое всякий раз овладевает нами, когда мы видим необыкновенное, что-то из ряда вон выходящее. Максимов встретил незаурядных людей, и с этим незатухающим восхищением он написал книгу и показал образованному столичному люду, сколь талантливый и вместе с тем неприхотливый народ населяет Русь. Да и всякий, кто позднее наезжал на Север по следам Максимова (а охочих до Поморья в минувшие полтора века оказалось множество),— он отыскивал в душе лишь самые доброрадные слова. Вот поди ж ты: мучился, сердешный, маялся, торил дорогу, терпел лишения, а как возьмется вспоминать — куда только и девается все дурное, чем полно всякое путешествие. Главное тут, с каким настроением ты попадаешь в неизвестную тебе страну, с какими мыслями, с какою душевной музыкой и сердечными наклонностями. С правдою ли ты едешь, с поклоном ли, иль с гордо спрямленною выей? Если ты едешь с холодностью и черствостью на душе, то даже летняя перламутровая северная ночь с ее незаходящим солнцем, с латунными долгими перьями зари, сам льющийся волглый воздух покажутся чем-то ненормальным, ненатуральным, что ли. И тогда в сердцах, середка ночи ворочаясь на кровати и не в силах заснуть, когда потерялись день и ночь, ты воскликнешь раздраженно: "Боже! Ну что за проклятое место!" И ты подымаешься утром с чугунной головою, уже ненавидя и хозяина и хозяйку, и весь темный неразвитый народ с его причудами, язычеством, гнусавыми тягучими песнями, с непролазной грязью дорог, с лесовым гнусом и тараканами...

Но я-то не наезжий барич, я свой и прибыл на родину. И все же каждый раз охватывает состояние некоторой растерянности, словно бы ты ошибся местом и не туда угодил, иль напрочь все перезабыл, и вместе с узнаванием приступает вдруг чувство разочарования: оказывается, есть единственное место на земле, которое не меняется, остается застывшим в веках, но вместе с тем каждый раз становится все чужее, незнакомее, и всякий приезд надо привыкать заново, прирастать душою. С волнением ты поднимаешься крутой лестницей к неказистому зданию вокзала, видишь столпившихся на площадке людей, мельком оглядываешь их, уже никого не узнавая, и только по схожести туманных, запомненных черт признаешь порою, чьих родителей толпятся парни и девушки, независимые, совсем городские и чужие. Это люди новые, они не из моего детства, они ничем не соприкасаются с прежней жизнью, значит, и тот, мой город, остался лишь в воспоминаниях. Я миную встречающих, и с каждым шагом вещее значение моей поездки линяет, и на душе вдруг проступает обида, неведомо отчего. Словно бы кто усердно заманивал меня, очаровывал, соблазнял, а достигнув своего, надсмеялся и бросил в одиночестве.

3

...Но кто же тогда творил слово и его поэтические выражения, ежели одни орали землю, другие — молились? Кто чаще всего был словотворцем, духом, словесным украшателем будней, их музыкою, бахарем, сказителем, баюнком, врачевателем сердца и желанным bралем? Кто был мастером лить колокола и строить необыкновенные завиральни о чудесах мира? Не пахарь же, с постоянно склоненной выей озирающий пашню, ждущий от нее чуда в отплату за пролитый пот? Иль шут-коробейник? Иль мрачный коновал донес до нас, вынес из тумана времен героическую былину и торжественную песнь? И неуж скоморох-побродяжка, паломник или бродячий погорелец были сохранителями и ревнителями слова? Фольклорист Гильфердинг посчитал, что мастером, отцом изустного слова был достойный богатый почищанин, не нуждающийся в куске насущном. Но так ли сие?

Кривая бобылка, старая дева из Зимней Золотицы, она же великая сказительница Марфа Крюкова помнила 80 тысяч стихов, от нее записали четыре тысячи страниц былинного текста. Одной из последних былинщиц была старица-побирушка, вечная скиталица по родимым деревенькам Марья Дмитриевна Кривополенова. Нигде не учившиеся, ничего не знавшие, нигде не бывавшие, они меж тем были вместилищами народного духа; их незамутненная память хранила те словесные богатства, коих уже не встре-

тить на Руси. Так, значит, крохотная редковолосая головенка Марьи Дмитриевны Кривополеновой была гениальна уже одною способностью запоминать, хранителям эпоса требовалась особенная память, особенный ум, особенная душа, которая бы не уставала запоминать, хотела бы помнить, хотела бы впитывать все новые строки и потихоньку слагать из них кладезь премудрости. Мы как-то не задумывались над тем, что эпос, словесное богатство могли дойти до нас из далекого прошлого лишь в том случае, ежели в этом грандиозном предприятии будут неосознанно участвовать многие тыщи народу. Значит, когда-то Марфа Крюкова была не одна, когда-то на Руси в каждой поморской деревеньке, иль на Вологодчине, иль в Олонецком краю, иль в полуночной Печоре должна была жить своя Марфа Крюкова, своя Марья Кривополенова. Ведь первые собиратели фольклора появились со второй половины прошлого века, а значит, до той поры восемьсот лет люди с особой памятью должны были не только рождаться беспрерывно в некой поэтической цепи, но и общаться друг с другом, ибо народное творчество подобно льющейся реке со множеством притоков, ручьев и скрытых родников. Только в том случае, ежели богатых памятью людей были многие тыщи и они хоть изредка, да могли соприкасаться в пространстве, то, несмотря и на их естественный уход, эпос мог перемещаться во времени и по Руси, постепенно консервируясь, отступая на окраины земли.

Когда книжное слово овладело народом, оно, записанное и нетленное, исподволь расслабляло мозг своей надежностью, отучивало запоминать, понуждало надеяться на готовые блоки, где все зафиксировано и учтено. И независимо от нас, вроде бы без особой натуги и болей переменилась память, отпала ее цепкость, уже ненадобны оказались многие тыщи народу с природным талантом памяти, и они отмерли сами собою за ненадобностью, как доисторические мастодонты. Не случайно по смерти Марьи Дмитриевны Кривополеновой собирательница фольклора Ольга Озаровская, предвидя кончину эпоса, воскликнула: "Со смертью Кривополеновой случился закат русской былины". Но он ведь случился не столько и не только со смертью крохотной старушонки-нищенки, но и переменою всего национального сознания. А если изменилась память, так неужели не переменилась наша душа, не трансформировалась, не отлилась в иные формы, облеклась в одежды еще тесные нам и непривычные, отчего мы с постоянной грустью и тоскою оглядываемся назад, в сладкую темень веков. Архаичные формы культуры (былина, сказка, русская вопленная песнь и духовный стих) уже не так, как прежде, задевают наше воображение, трогают и умиляют сердце; собранные для не-

тленной жизни в печатных томах, они потеряли меж тем прежнюю магическую силу, кою придает лишь взволнованный голос; они несут иной смысл, иную гармонию, иную чувственность, более подвластную уму, нежели душе. С переменою народной памяти непременно потускнела сердечность к нашей национальной культуре — в этом главная печаль. Эпос жил до той поры, пока была вера в чудо.

Эпос сам по себе оказался столь неохватен, что даже самые гениальные люди не смогли унести его в своей котомке,— и вот стихийно он разбился по неким потокам, обособился и в этой замкнутости смог совершенствоваться и развиваться беспредельно. Слепцы, те самые калики перехожие, сбившись в артели нищей братии, понесли духовную песнь, бесконечную жалобу по несбывшемуся счастию, унылую мольбу к всевышнему о крохотной радости. С папертей церквей и монастырей печальный зов к Богу, к отцу родимому разнесся куда как далеко по отечеству и затронул состраданием не одну православную душу, подвигнул ее к жалости. Многие паломники, скитальцы по призванию, забросив домы родные, зажиток и семью, отправились по тернистым дорогам славянских земель в поисках благодати; они несли в неизношенной памяти страшные и грозные истории судеб человеческих, возвеличивании и падений неслыханных допрежь и невиданных народов; своими сказаниями они составляли странную, смешную и трагическую историю честолюбивого мира. Рыбаки Онежского озера и зверобои моря Студеного веселили досужих людишек распевом светлых героических былин; охотники же полесовщики, коротая зимние долгие ночи, перебиваясь до мутного рассвета, забавляли себя любовною сказкой, где пройдоха малый, переодевшись в женское платье, творил самые невероятные приключения. Хаос мира усильями рассказчика обретал некую гармонию: задевала сказка иль былина чей-то пытливый ум и уже с тундряных окраинных берегов Белого моря кочевала в суземок, в тайболу, в таежные глухие деревеньки. Так покрученник пинежский привез с Поморья старины и досюльные предания, а от него услыхала чудные распевы внучка Марьюшка Кривополенова, впитала в себя без принужденья, с легкостью — и понесла дальше.

Нет, не пахарь, ум коего был занят имением своим, пашнею и столь трудным прибытком, питал эпос, пестовал его и продлял жизнь. Даже самый его вещный словарь более приземлен. Вот метафоры земли. Наволочная пожня — низменный заливной луг лучшего качества; новины — посредственные сенокосы; росчисти — лесные пахотные поля; кулига — росчисть под пашню; оплошная земля — земля в грязных местах; осота — мокрые сенокосные места; ровная — средняя земля; полевая — плохая

земля; хвощ — мокрые сенокосы близ рек и озер, покрытые хвощом; тяжелая — дурная земля; чищенина — расчищенные под сенокос росчистки; веретья — бережина, бугры; жирная земля — хорошая земля, добрая...

Тут надобен был человек, который бы мог оторваться от землицы, от семьи, от тягла, от ярма, и, взглянув в небо, в его пространства, поразился бы его беспредельности. Тут понадобился человек, который бы взглянул с открытою душою в морские равнины и удивился бы их могучей, живой и равнодушной силе. Охотник и рыбак — те вечные бездомные скитальцы оказались создателями и хранителями поэтического вещного слова, заговоров, примет, суеверий, магических картин природы. Набегались по суземку в поисках зверя, залегли в одиночестве в лесовой избушке, и какие только мысли не придут возле каменушки, лениво попыхивающей огоньком, какие только предания не вспомнятся тогда, а тем более коли ты не один, а артелью, иль бурсою, зверобойной ватагой. А ночь остудная, северная ой долга, она кажется бесконечною — и тогда бойкий на слово человек особенно ценен и любим. Норов тайги, характер студеного моря, его изменчивость и коварство, трудный промысловый хлеб заставляли примечать все малейшее, стоящее вниманья, чтобы после, в такие же минуты зряшно не сложить головы, да и товарища остеречь. Казалось бы, морскому ли камню оказывать такие почести? Всего лишь камню! Но поглядите, сколько сравнений, порою истинно поэтических, нашел помор для него.

Бакланец — камень, покрываемый приливной водой; баклыш — большой, отдельно стоящий надводный камень иль маленький крутой островок; банка — отдельно лежащая каменистая мель; водопой — мина камень, покрываемый водой при приливе; воронуха — подводный риф, где сталкиваются два противоположных течения; кипаки — крутые каменистые берега; корга, корж, корш — каменистая мель; корешки — небольшие каменистые мели; костогор — каменистый, утесистый берег; кречатый — каменистый берег острова; кречаты — россыпь крупных камней; луда — каменистый остров, лишенный растительности; лудица — крохотный каменистый островок; нилакса — длинная подводная корга; одинок — подводный камень, отдельно лежащий; пахта — каменный утес; перебор — мелководная каменистая гряда поперек залива иль реки; поливуха — камень на дне моря, возвышающийся почти до поверхности воды; середыш — камень, лежащий посреди входа в губу; стамик — камень, на котором образуется ледяной торос; човрый — мелкий скатанный камень, крупнее гальки; арешник — красный слоистый камень; лешадь — слоистый камень на отмелях...

Если для камня понадобилось столько отличий, столько красочных

примет дали ему, то можно представить, сколько образных метафор нашлось для всего живого и неживого мира, что окружал помора. Он воодушевил, вдохнул игру во все самое неприметное и незначительное, к чему прикоснулся его внимательный добродушный взор. Слово прибавлялось к слову, как скатанная морская галька к гальке,— и так вырастал несокрушимый материк русского народного языка.

Я долгое время знавал старую поморку — рыбачку Параскеву Николаевну. Ее взгляда из низких подслеповатых оконец, застланных, по обыкновению, летом цветущими зарослями иван-чая, а зимою — крутыми овражистыми забоями, хватало, чтобы знать всю прошлую, настоящую и будущую жизнь деревни. Ее язык, забористый, сочный, яркий, с постоянной издевкою и сарказмом, изумлял меня точностью портретов. Обычно она рассказывала законченными новеллами, и когда особенно вдавалась в игру, то преображалась; вскакивала на деревянный диван, рискуя свалиться с него, и изображала в лицах особенно смешную сцену, по обыкновению, ярилась и багровела широким крупным лицом. Но для деревни она была Параней Москвой, Параней, любящей завиральни, как для Зимней Золотицы Марфа Крюкова считалась пустой незатейливой бобылкой, ни для чего не способной, кроме вранья. Меня же всегда дивило, отчего народ, печищане, однодеревенцы не видят этого яркого таланту, этого необыкновенного дара, спрятанного под напускную грубость, иронию и дерзость цветистого, острого языка. В минуты грубости, весьма редкой для нее, когда прижимали хвори, заработанные на рыбацких путинах, она вдруг исповедовалась: "Есть в верховьях реки Дивись-гора, и видна с нее моя родная деревенька. А как старуха с косою наступит на пятки, сяду я в лодку да отправлюсь на тую гору. Попью чаю с богородской травкой, погляжу на родимую деревеньку с высокой горы да и помру тамотки. Вот о чем едино помышляю, коли Бог сподобит..." А померла Параскева Николаевна не так, как задумывала. Отправилась к дочери в Каменку погостить, да там и прибрал ее Господь в одночасье...

Охотница баба Дотя из пинежской деревеньки тоже полагала помереть в лесовой избушке, думала дожить там остатние дни. Для нее кушная зимовейка представлялась той самой Дивись-горой, с которой можно однажды обозреть всю минувшую жизнь и хоть краешком глаза, да выглядеть жизнь предстоящую, неведомую. А померла на своей широкой деревенской кровати, сложив рядком беспомощные одеревенелые ноги и глядя в запурженное зимнее окно, за которым ничего не выглядеть иному пустому, немечтательному взору.

Как бы ни сложилась у таких людей жизнь, но уже тем прекрасна и непохожа она на прочие, что в ней было мечтание, своя Дивись-гора, тот самый глядень, к которому испокон века стремилась широкая, неутомимая, незаурядная натура.

Так дух работал над плотью и покорял ее.

...Там чудеса...

— Верите ли вы в Бога?

— Верим не верим, но в старинушку гоним.

— Верите ли в нечистую силу?

— Наши-то родители видали. А мы не знаем, что это такое, и не видаем. Есть какая-то сила вражья, или так подвидится. Если человек не боится, так ничего не блазнит.

Из разговора

Пятилетний мальчик спрашивает меня:

— Скоро ли я стану собачкой или уточкой?

Что ответить на этот вопрос? И я пожал плечами.

— Наверное, когда я вырасту снова? — ответил он.

Из разговора

1

Были на миру будто бы вещие люди, наделенные даром предвидения и пророчества, с поэтическим даром и особым искусством целить болезни. Это лекари и травницы, чародеи, кудесники, волхвы, вещие женки, шептуньи, чаровницы, бабы-кудесницы, ворожеи, коновалы, повитухи. Травники и травницы заживляли раны, останавливали кровь, выгоняли червей, помогали от укушения змей и бешеных собак, вылечивали ушибы, вывихи, переломы костей и всякие другие недуги, они знали свойства как спасительных, так и зловредных трав и кореньев, умели приготовлять целебные мази и снадобья.

Все они окутаны некоей тайной, смутою, пеленой, недомолвками: вокруг них множество магических домыслов, побасок, завирален и бухтин. Подобных историй по Руси в коробьях не унести. В какой бы окраинный закуток ни попали случаем, в какую бы российскую деревню ни угодили — везде вашему уху и понятливой душе найдется рассказ о чудном человеке, о странном, непохожем на прочих, о коем молва не затухает во времени.

Но как бы ни были они порою насмешливы и невероятны, во всех их, однако, легко угадывается вера, некий страх, как неизжитый полностью

языческий ужас перед могучей природой, и легко видится благодарный поклон силе необыкновенной, душе невероятной. Я бы посчитал этих людей паутинными крохотными кореньями единого человечьего древа, чудом сохранившимися, коим удалось донести до нас из глуби времени некоторые подробности прежней тайной жизни, о родственной связи всего живого и неживого. Никак нельзя отказать в одном и, пожалуй, самом главном: вся эта человечья порода верно отслужила в веках свой миссионерский долг и помогла сохраниться человечеству вживе, оберегла от мора и страшных болезней. И кто бы ни рождался на свете за последние десятки тысяч лет (а может, и сотни тысяч?) — каждый прошел через руки бабки-повитухи, каждый испил нашептанной водицы из крынки травницы-чародейки, никто не миновал креста, ножа и огня, заговора и оберега ворожеи. Все, от великих людей и царей и кончая юродивыми, самыми ничтожными шатающимися людишками, испытали на себе искус чародея, его туманное облегчающее слово. Только за одну миссионерскую службу в веках, за верность матери-природе, за любознательность, за особую память, только за то, что особое знание травы, земли, и воздуха, и огня не расплескалось понапрасну по многим людишкам, а шло втайне и незыблемо по истинным поклонникам вещему слову — только за одно это травник заслуживает от нас вечного благодарного памятника.

Лекари

"Отец-то не баливал, я не видала, чтобы больно болел. Работной был, крепкий. Бывало, поясница заболит, скажет нам, девки, топчите. Мы и ходим по спине, мнем. В восемьдесят лет его угнали, и неизвестно, где умер.

А мать, та болела часто. Однажды, думали, умрет. Горло эдак распухло. Петров день, все песни поют, а мы над матерью плачем. Тут у нас Ваган был, он на водке стручок перцу настоял и дал выпить. Мать-то закашлялась, у нее нарыв прорвало, она и встала на ноги".

* * *

Примет повитуха младенца в бане, пуповину загрызет, счастья посулит. Эту старушку не гневи, поперек слова не скажи, всячески обхаживай в ту неделю, пока новорожденный с мамкою в бане живет. Осерди повитуху, она тайком такого насулит, не приведи Господь: не только счастья не падет, но того и гляди, что рог на лбу вырастет. Сколько миллиардов на

земле-матери прошло через морщинистые, усталые руки старушонок, эти ржавые, веснушчатые костомахи с обвисшей кожей: сколько приняли они, благословили на путь, высмотрев в младенце воина или побродяжку, скольких матерей осчастливили, сколько родов продлили. Александра Невского принимали эти руки, и Гомера, и Ломоносова, и Сергия Радонежского. И слава богу, уцелело человечество; под копною множилось, посреди тайболы в запоздалом пути, в морском карбаске и в застолье — там, где застало, где прижало, когда уж невтерпеж.

Явился на свет — жить надо. Ну хорошо, коли все ладно, если не оприкосил чужой злой глаз. Дурной глаз посмотрит на дерево, оно тотчас засыхает, глянет ли на свинью с поросятами — она их съест; падет ли на цыплят — и они через сутки-двое все переколеют. Вот и ребенок начал титьку зубами рвать или глаза трет, ревет по-худому. Тут малюсенький наговорец есть у травницы-ворожеи. Холодной воды ковшик наговорит, личико намоет, спрыснет невзначай и спать повалит. А если не помогло — в бане моют иль на печке и заговаривают: "Сама мати родила, сама по двору ходила, сама позору примала, сама грыжу заедаю. Заедаю, загрызаю, заговариваю, железными зубами закусываю. Пуповую, становую, киляную, головную, нутряную, ветряную, прикосну, прозорну, родимеську — все двенадцать грыж в семидесяти жилах, в семидесяти суставах у раба Божия (имярек). Этим моим словам ключ и замок. Замок в рот, а ключ в море". Пупок закусит через повойничек чуть-чуть, а после мыть и заговаривать. Три раза заговаривают, пока моют.

Баня, и заговор, и настой из трав — вот вся лечебница русскому человеку в прошлых веках. Еще на моем веку были женщины, что бабили, особенно после войны, когда с аптеками туго было, а детей голодных, рахитных — во множестве. И травница, повитуха всем была надеей, подмогой, всех ставила на ноги. И у нас по соседству была тетя Паша, хроменькая живая женщина, у которой и своих-то по лавкам десяток детишек, но она, чтобы заработать кусок хлеба, ходила по чужим баням, правила животы, убирала грыжу. Нам раньше не то чтобы чудно было смотреть на тетю Пашу, но мы както и не придавали этому значения. Ходит и ходит по баням, значит, так надо, тем более что в нашей семье знахарки не пользовали, наша мать, бывшая комсомолка и ударница, предпочитала больницу. Но ведь спрос-то был большой, к тете Паше многие шли за подмогой и советом.

Баня — особое чистилище, где единятся, ярятся и спорят три стихии, а над всем верховодит березовый веник, хозяинует над нашим растелешенным телом, так и эдак выхаживается над ним: сам себя казнит человек да и радуется этому, нажаривает, пристанывает, словно бы кожу норовит снять.

Вот старинное объяснение баням. Баня кровь полирует. После бани если лечатся, то пьют "шпунт" — смесь чая с водкой. В банях бабушки производят разминание и растирание тела различными мазями и составами — рыбьим жиром, скипидаром, салом из дождевых червей, заморенных в какой-нибудь посуде, спиртом или маслом с камфорой. Женщины особенно часто пользуются лечением массажем, который бабки производят разными приемами, "когда матка не на месте" или живот надорван. В бане производится также кровопускание, которое считается хорошим средством почти при всякой болезни и производится или приставлением кровососных банок, сделанных из коровьих рожков, или спускают испорченную кровь, просекая вену топориком. Местом кровопускания служит тыл стопы или большой палец руки...

Лекари

"...Трешь в пупу. Корочку хлеба вырежешь, чтобы только в стакан вошло, ватку зажгешь, на пуп положить и корочку тут. А потом стакан хлоп. Огонь потухает, и стакан вляпается, там и заподымается. Стакан-то худо, правда, а горшочек глиняной больно хорошо, да нет их нынче. А нет стакашка, дак валечек. Потрешь спину, хребет. Повалисся, когда голодный, маслом натер, да тот же валечек, дак и бабки не нать. Пуп-то и заекает. Валечком-то и начнешь крутить концом.

У меня живот и не баливал, не знаю, где аппендицит. Только воспалением легких пять раз болела. Другая говорит: у меня понос, а пуп вниз уронила. Пощупаешь пуп, если екает внутри, то все правильно" (А. Попова, 82 года).

* * *

Не следует ли задуматься нам, как изменилась суть травного ремесла? Прежде знахарь был в своей деревне как домашний врач, он пользовал только давно знакомых сельчан, кто и родился-то на его руках. Эта наука шла по долгому роду и близкому родству, когда травница высматривала преемницу загодя не только по должной памяти, но и по любви к работе, к травам, к скотине, к домашним своим и просто чужому пришлому люду. Передать травную науку — это как бы кровь свою перелить, как бы ополовиниться нутром, пресечь жизненную жилу и опустошиться знанием. Но главное, без чего не случалось посвящения в знахарки, без чего терялся смысл всей этой службы — надобно было в близком своем конце, в

предчувствии исхода призвать воспреемницу ко кровати и передать ей шепотом, один на один, последние, самые главные слова, которые никто никогда не должен знать, да прежде и не стремились к тому, ибо фольклорной науки еще не было. Заговор, запука, оберег, сказанные вслух иль невзначай услышанные кем-то, сразу теряли силу и смысл. Когда мне старушка с Летнего берега согласилась передать несколько заговоров, она объяснила свое согласие тем, что давно не ворожит и потеряла силу и запуки превратились просто в слова, которых не жаль.

Нынче травник — это тип человека иного, это общественный тип, чаще всего усвоивший ремесло не по родству, не по душевной неизбывной тяге, но приклонился к нему в средних, а то и больших летах — на пенсии (по печатным книгам, по общественной науке), и свое книжное знание он сразу же стремится расплескать, ему хочется известности, честолюбие не дает покоя, успех кружит голову, и он, новоявленный знахарь, пасет паству большую числом, и молва о травнике скоро разносится далеко. А где много слуху, там мало пользы: травник становится похожим на плохого участкового врача, затурканного службою, к которому постоянная очередь. Травник не знает хворых, их быта и уклада, их физиологии и психологии, он уделяет больному минуту-другую, его самого уже угнетает эта известность, эта бесконечная очередь. Он устает от необязательных торопливых слов, от непонятности исхода, ибо его неизвестный больной тут же исчезает в небытие: он иль выздоровел, иль его призвали небеса. Порою даже талантливый, в сущности, и неплохой травник становится шарлатаном по принуждению: мы все в поисках необыкновенного, в поисках живой воды мечемся по земле и развращаем, принуждаем этого неплохого человека стать обманщиком. И в другом случае, если рецепт не удался, если хворь склонна к победе, мы кидаемся в крайность иного рода и снова осуждаем травника как лжеца. Куда ни кинь — он жертва своих удач или неудач. Но страшно еще более иное — жертвой становится (и давно стало) древнейшее народное искусство, крепившееся словом, травою и землею...

И не пора ли нам задуматься над тем, что успех иль неуспех леченья раньше зависел не только от снадобья, но и от быта, уклада деревни, от воздуха и воды, от того, что ели и пили. Что таить — земля, воздух и вода были куда чище, целебнее, естественнее, народ ел много каш, постного масла, редьки, речной рыбы, остерегался мяса, часто постился, постоянно был на воздухе, жил в деревянной избе, но не посреди железобетона в подвешенном состоянии, и потому воздействие участливого магического слова, даже сказанного втайне, вера в само это ремесло и

его таинственность были порою куда сильнее нынешнего лекарства, нынешней травы, нынешней нажитой мудрости. Сейчас на лекарство работает химическая фабрика синтеза, разложения и выжимки, раньше под рукою у травника была вся природная фабрика. И нынче, прежде чем изучать рецепты травника, его школу, надобно знать, в какой среде обитал этот лекарь. Но та среда, к сожалению, очень изменилась, а значит, и травная наука в полном ее объеме уже никогда не станет известною, и даже при всем нашем видимом могуществе знаний обычное травное ремесло с годами стало тайною и великим чудом. Да и травы потеряли свою одушевленность, они превратились в нашем практическом уме в кормовую базу, в кормовые единицы, в га и центнеры, способные давать молоко и говядину. Мы смотрим на растение сверху вниз, как на нечто беспрерывное и безликое, однако способное к необыкновенному размножению и росту. Знахари же и знахарки полагали с незатухаемой верою, что в травах скрывается могучая сила, ведомая только чародеям, травы и цветы могут говорить, но понимать их дано лишь травникам, которым и открывают они, на что бывают пригодны, против каких болезней обладают лечебными свойствами.

Параскева Николаевна в разговоре нет-нет да и поминала крохотную богородскую травку, что растет на Дивись-горе, видно, вязался этот цвет с какими-то полузабытыми старинными преданиями: ей, старенькой, почему-то особо хотелось попить на Дивись-горе чаю из богородичной травки, хотя в местной лавке постоянно и безвыводно натуральный чай. Но чай грузинский иль индийский — он из чужой земли попал, у него нет родовы в далекой северной стороне, а для истой поморки крохотный сине-алый цветок соединял как бы воедино жизнь прошлую с настоящей и будущей, словно бы напившись этого чаю, куда лучше и подробнее увидится родная деревенька с Дивись-горы. Параскева-то, поди, уже и забыла особую мощь травки, почитаемой прежде в народе: "Есть трава на земле именем "богородская", растет маленькая, по земле растянулась, цвет на ней синь, мелкий, растет кустиками, и та трава добра от урона и от прикосов человека, и скот окуривать, и у которой женщины болят груди, парь и пей — милует Бог, у кого очи преют, прикладывай, и та трава, коль высушена, имеет медовый дух".

В Сояне рассказали мне, что у них под деревнею растет весьма редкая и ценная маленькая травка, именуемая изгон-травой. Обитает она в сырых темных ельниках, лепестки белые, маленькие, собирают в Иванов день, сушат. Обладает целебной силой, изгоняет хворь желудка, поносы. Койдяне (деревня окрай Белого моря) раньше специально приезжали за изгон-травой, покупали ее. Кто победнее, собирали и продавали, а на это

приобретали сарафаны, хлеб, платье. "Нынче уж редко кто знает об этой травке. Старая Павла разве, что век ходила по людям, мыла полы и потолки, руки у сердешной скрючило так, что привязывает их к груди, сама фуфайки надеть не может. Но уж каждый год ездит за изгон-травой".

Травы, как и звери, и птицы, непременно уходят из жизни, из нашей памяти друг по дружке, чередою. Они словно бы держались на матери-земле до той поры, пока были на миру десятки тысяч истовых, любящих природу знахарок. И вот с какого боку ни посмотри на прошлое России, в это мечтательное поэтическое племя обычно попадал самый бедный, неприхотливый человечек, далекий от натурального хозяйства, от прибытка, от семьи и счастья. Практической натуре, земледелу и промышленнику надобно было заниматься добытком, чтобы кормить не только себя и семью, но и тех, кто не занимается землею и морем, и ту же самую бобылку-травницу: у него и времени-то не сыщется вести побаски иль шататься по лесам и пожням за необыкновенной исцеляющей травкой. Своим присутствием знахарка как бы продляла счастие иным и этим удовольствовалась сама, по обыкновению занимая сырой темный угол и пробавляясь горбушкою хлеба, размоченной в воде. Но, испытывая постоянную нужду, эта неприхотливая беззубая старушонка обыкновенно долго жила на земле, многих принимала на свет, бабила и мыла в бане, шептала, наговаривала, спасала от сглаза и прикоса, от постылости и нелюбви, а после и помогала обмывать, когда прибирал Бог. А сама все жила, жила, как наглядная, неумираемая память деревни, все присматриваясь к народу и подбирая себе замену...

Знахарка Вальнева Вера Михайловна
(г. Архангельск)

"Жила она позднее-то на чердаке, а народ всегда в очередь стоял к ней. У нее мать лечила, бабка лечила. А Вера Михайловна увлекалась еще и живописью, живописец, конечно, дрянной. Я, конечно, хвалил ее из вежливости. Напоминала Гогена по краскам иль Сарьяна. И вот этими руками в красках лезла в открытую рану и никогда не возбуждала опасений. Было впечатление, что она всю гадость стягивала в одну точку и вскрывала нарыв. Малоразговорчивая, сумрачная, с черными густыми бровями, и суровость в голосе не проходила даже, когда разговаривала с близкими людьми. Сварливая была. Когда придешь, грубо так скажет:

"Пришли... Раньше-то не могли прийти? Запустили". Травы знала, а весь ее лечебный инструментарий-ножницы, пинцет и бинт. И не прибегала ни к какой стерилизации.

Лечила нарывы. Ее объявили знахаркой, выслали в Туркестан, она и там собирала травы. Через десять лет вернулась обратно в Архангельск и не отступилась от своих знаний. Потом у нас появился епископ Войно-Ясенецкий, профессор, знаменитый медик. А у Вальневой многие хотели узнать, как она лечит, но она ставила условие: дайте мне больных, от которых вы отказались. А профессор Войно-Ясенецкий, которому разрешили практику, пригласил Вальневу к себе и стал испытывать ее средства при ней.

...Александр Николаевич Молчанов был ее поклонником. У него было что-то со спинным мозгом, лечился он в Петербургской академии, в последний раз его отправили домой со словами:

"Поезжайте, хоть дома помрете". А Вальнева его вылечила и стала для него первым человеком.

...Кривоногов Николай Иванович был зав. кафедрой графики в лесотехническом институте, был полностью болен туберкулезом кости, у него образовался свищ на ноге, температура две недели, потом прорывало и снова все начиналось. Он лечился долго, я его знал, хорошо был знаком. И когда все от Кривоногова отказались, он приехал умирать домой. Тут вспомнили Вальневу. Она пришла, осмотрела и сказала: "Я вылечу. Но сначала будет хуже". Две недели черт знает что делалось с его ногой. Она брала перегоревший торф, как ил, потом добавляла трав и замешивала на сметане. Дальше произошло удивительное. И зажило. Прошел год, как мы его не видели, появляется в институте высокая фигура с бородой, оказывается, пока лежал, бороду отращивал. И после этого так бегал он...

Характерно, что у меня самого была гангрена правой руки, и врачи говорили: надо отнять. Рука была синяя, уже запах трупный. Вальнева лечила и спасла, свела всю гадость в один большой желвак, а после разрезала — и оттуда потекло. После только шрамик остался.

...Она честно признавалась: это я могу вылечить и вылечу, а это — не могу" *(А. Г. Гемп, кандидат наук)*.

Из письма Степана Писахова к Борису Шергину

"Умерла Вальнева Вера Михайловна. Пурга была, снег глубокий. Жила она на чердаке флигелька. Три стены холодные, а четвертая на улицу. Низко, тесно. Потолок над головой. Поп и дьякон долго отряхивались от снега — это на чердаке. Кто-то ввинтил лампочку. Между печных труб сети развешаны. Поп и дьякон втиснулись в каморку. Тускло, тесно, метель подтягивает песню, будто в прошлом, позапрошлом веке. На другой

день на дровнях повезли на кладбище. Меня Вера Михайловна два раза спасла от смерти — век продлила. Отпевал архиерей. Много было плачущих иль с трудом таящих слезы. Вера Михайловна угорела, упала на пол и скончалась" (1955 год).

2

И последняя, уже окончательно скрытая тайна: травознатство держалось на магическом слове, живом слове. Не об этом ли и писал автор "Воззрений славян на природу" А. Н. Афанасьев: "Духовная сторона человека, мир его убеждений и верований в глубокой древности не были вполне свободным делом, а неизбежно подчинялись материальным условиям, лежащим столь же в природе окружающих его предметов и явлений, сколько в звуках родного языка".

Но разве сущность быванья стала иной при Афанасьеве иль сколько переменилась ныне? Мы освободились от природы? Иль, возвеличив себя, мы менее чувствуем боль и тугие путы, стягивающие нас воедино со всем сущим? Посмотрите, всякое несчастие с природою так ранимо, с таким страхом отзывается в нас, и мы, не сознаваясь в том, уже готовы идти путем язычников, дорогою огнепоклонников, солнцепоклонников, путем верных детей матери-земли. И сегодня, в век кажущейся понятности всего мира, душа наша все так же страшится непонятного, так же робеет перед природою, пугается сумерек, проклятий, прикосов и сглазов. Сознайтесь, много ли нынче охотников темной ночью пойти на кладбище в одиночестве и прокоротать там до зари? Казалось бы, чего пугаться? Покойник не встанет из могилы, не обнимет вас стылыми руками, но даже скрип полуночной калитки, сам едва ощутимый призрак всего погруженного в потемки кладбища вызывает безотчетный страх и ужас. Не случайно раньше ребятишки проверяли свою храбрость ночными походами на жальник, и только самые отпетые не боялись ничего. Ну ладно, предки пугались, они верили, что по ночам со свечами бродят покойники, что леший подстерегает вас за крайней избою, что сонмища Врагов, этой тайной невидимой нежити, постоянно окружают, следят и подстерегают, чтобы взять в полон. А нас держит в путах сомнение: "Конечно, ничего такого нет!.. Но вдруг?.."

Борьба-то, наверное, идет внутри нас, и каждый раз, если мы добиваемся даже крохотной победы над теменью души, над сумеречностью ее, стягивающей волю тугими ковами, она, эта победа, нам дорога и незабываема. Все пережитое душою не становится последним уроком, не отбрасывается прочь, но отнюдь нам каждый раз приходится побеждать

себя в тех же обстоятельствах. Самоустроение человека беспрерывно, оно не угасает ни на миг.

Но случаен ли наш страх перед призраками, иль он нам дан природою, чтобы мы не отбросили прочь остатки жалости к ней за ненадобностью, как негодную ветошь? Поклонение перед непонятным, мистический ужас перед ним был однажды обозначен, как суеверие. Обнаружили врага, вроде бы разглядели его близко, наградили ярлыком и принялись сокрушать: и это сражение идет с переменным успехом уже две тысячи лет, а весы победы так и не склонились ни в чью сторону.

Плиний писал об язычестве и христианстве, что "расследуя дело о христианах, он не обнаружил ничего, кроме уродливого суеверия". Тацит называет христианство "зловредным суеверием". Но когда христианство овладело миром, уже оно объявило язычество "зловредным суеверием", что и явилось поводом кровопролитной, безжалостной войны. Сбор трав, главным образом, совершался в середину лета, на ивановскую ночь, когда невидимо зреют в них ядовитые и целебные свойства. Грамота игумена Памфила (1505 г.) восстает против древнего обычая: "Исходят обавницы, мужи и жены — чаровницы по лугам и болотам, в пути же и в дубравы, ищущие смертные травы и приветы червоотравного зелия на пагубу человечеству и скотам. Тут же дивия копают коренния на потворения и на безумие мужем, сия все творят с приговором действом диаволии".

В кострах инквизиции сгорели тысячи так называемых колдуний, тех самых лекарок, знахарок, ведуний, травознаток, что были особенно близки к природе. Все сразу поменялось местами, гонимые прежде христиане стали гонителями, только они не учли, что можно сокрушить, изжить богов, но нельзя совсем побороть ту необъяснимую силу, что навечно заселилась в душе. Мы все по-прежнему в какой-то мере язычники, хотя и боимся признаться в том, и, пугаясь того признания, насылаем на язычество (тем самым и на предков своих) всяческие кары. Но разве можно в чем-то винить дальних отцов своих и упрекать их? Неужели у кого подымется рука, чтобы кинуть камень в ту сторону, и, как знать, брошенный безжалостно, не вернется ли он обратно в нас?

Если взять природу за некий храм, то сонмище невидимых ликов одушевляло и населяло его, и человечество возле них не чувствовало себя униженным и одиноким. Люди не столько боялись, сколько уважали Не Наших, они знали, что в миру еще живет кто-то, непонятный и более могущественный, кого не стоит гневить, но надо жить в согласии. Если бы помор боялся всякой нечисти, то неужели бы он покусился на долгие странствия

сквозь необжитые земли, по студеным морям, испытывая нуждишку, глад и мор. На утлых кочах, презрев опасность и лишения, дошел мужик до края земли: он многое повидал, но, однако, не распрощался с той верою, что в природе, кроме нас, человеков, есть и еще нечто, которое ничего не боится, но боится лишь вещего слова.

О живом слове, о крепости его, о воздействии на расстоянии, о его способности лететь по ветру и проникать сквозь всяческие преграды было известно в досюльные времена и никогда, впрочем, не забывалось в народе, пока жило в полной силе травное ремесло. Несколько лет тому знахарка из Лампожни вылечила мальчишку от сильного заикания. Некоторая ущербность речи, однако, оставалась, и лекарка объяснила это тем, мол, "уже остарела вовсе, зубы повыпали, плохо говорить стала. А слово неправильно скажешь, оно неправильно и существует и прежней силы не имеет". Заговор травницы потерял ощутимую силу, и она простодушно поверяла об этом, нимало не таясь и не притворствуя.

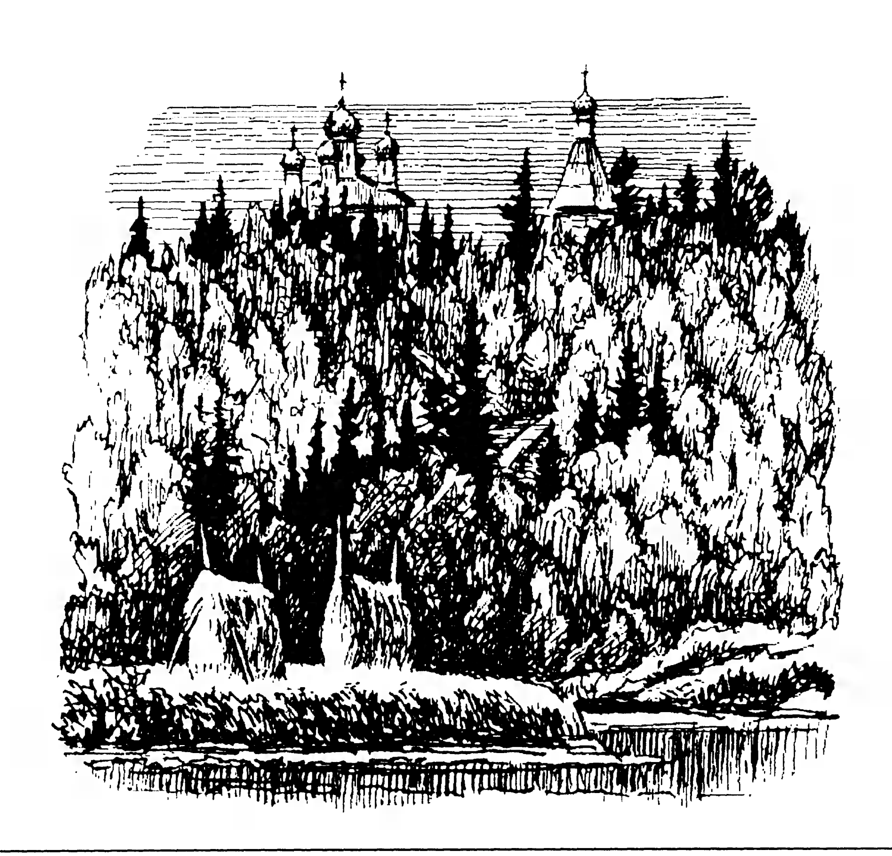
Но слово сказительницы, баюнка, ведуньи любопытно не только магической, невероятной силою своей, но и как образец красноречия, цветистости, образности: эта незаурядная порода поэтически тонких людей приложила немало сил, сама о том не помышляя, для расширения метафоричности языка, его смыслового богатства. И примеров тому тьма. Только записанные, все эти запуки, заговоры, клятвы, присухи, прикосы, призоры составят многие тома, они приоткрывают нам глубины духовной, нравственной жизни Руси, к чему прикоснуться внимательным взглядом и сердцем мы уже не сможем. Ну как не возрадуется наше сердце и не подивится изощренный ум при чтении присухи: "Во имя Отца и Сына и Святого Духа выйду я, раба Божья (имярек), из дверей в двери, из ворот в ворота, в чисто поле, в широко раздолье. В чистом поле, в широком раздолье стоит парная баня. Зайду я в эту парную баню, намоюсь, напарюсь, выйду и встану на шелков веник. Помолюсь и покорюсь трем ветрам, трем вихорям. Вы, ветры буйные, летите; где увидите (имярек), распалите его белые груди, разожгите его горячее мясо, употребите у него подпятные жилы, чтобы раб Божий не мог ни жить, ни быть, ни дня дневать, ни минуты миновать, все думу думать о рабе Божьей. На полный месяц, на ущербный месяц и на перекрой месяц, как рыба щука не может жить без воды, так бы рабу Божиему не жить, не быть..."

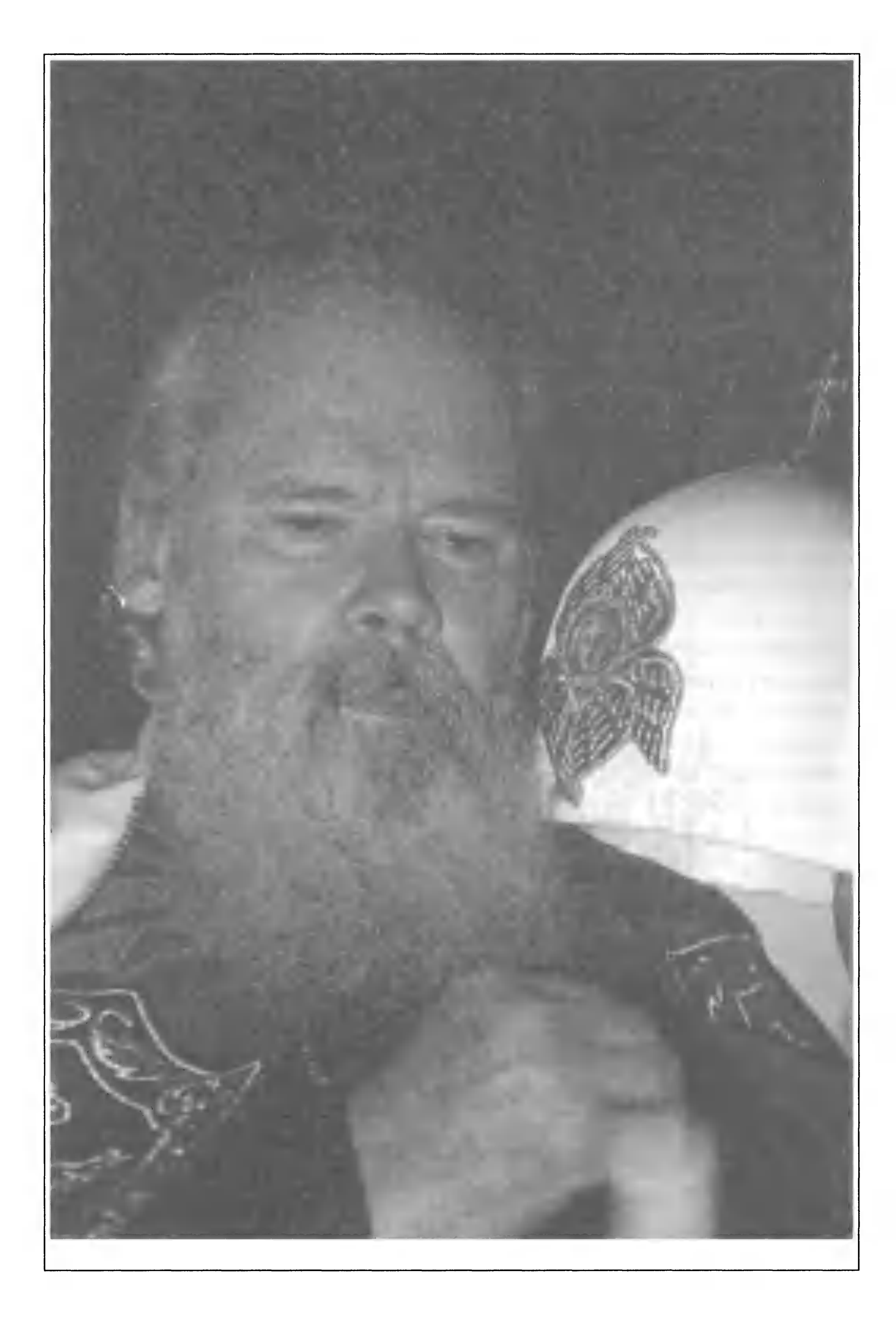
Время познается не только тем, что приобретаем мы, но и тем, что утрачиваем, с чем безвозвратно расстаемся. И, полноте, стоит ли корить нас за эту грусть; она не развращает, не портит нас, не унижает, но, напротив,

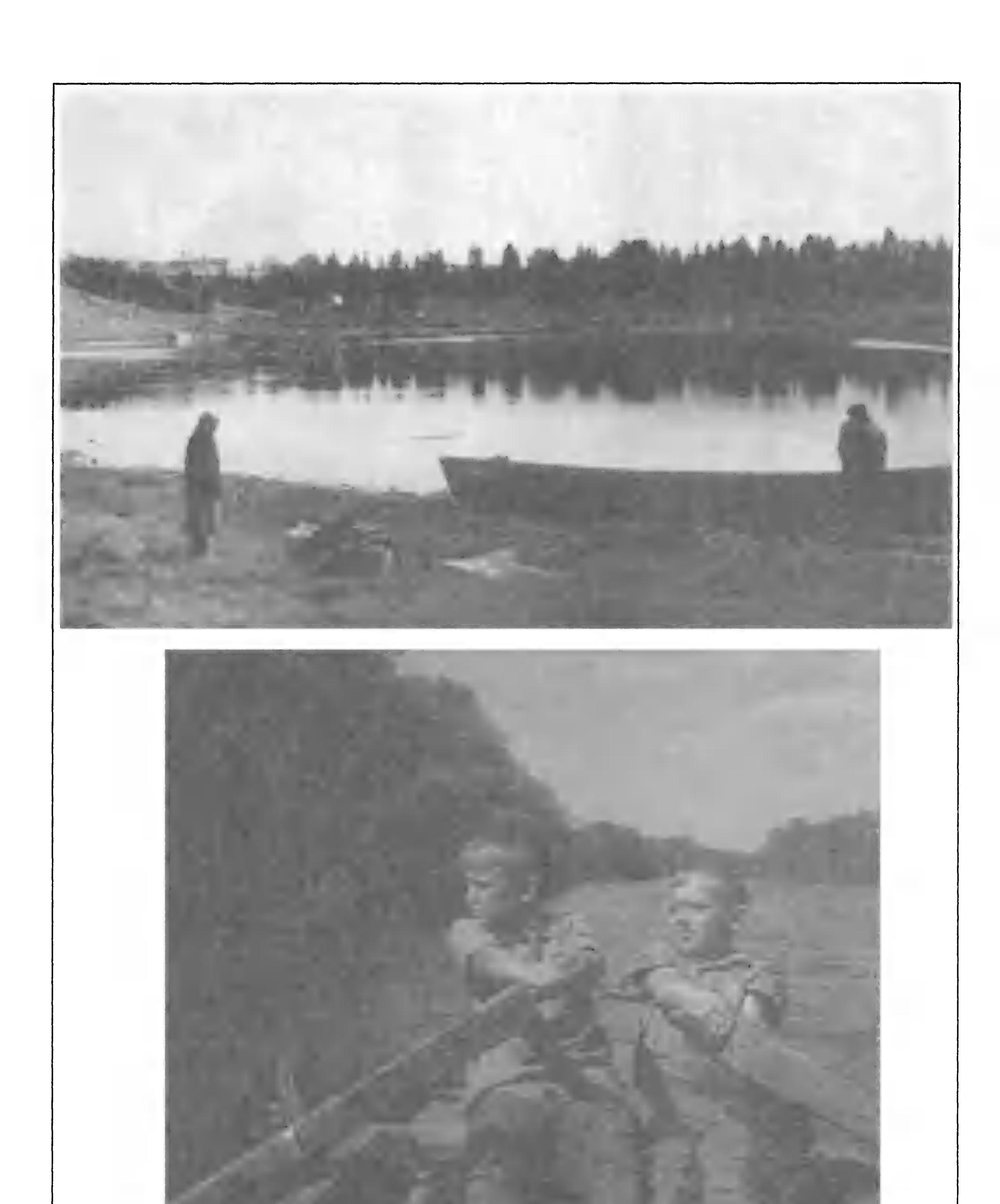
очищает, высветляет, она заставляет верить в чудо, что оно не кончилось, оно сыщется и вдруг наступит его праздник. Давно ли по северной земле с сумкою, украшенной медной бляхою, кованной в Кимже, ходил коновал с верховьев Мезени, и путь его простирался куда как далеко за Вологду, в Олонецкую губернию, в Пермь, Чердынь и Соликамск. Сколько дорог измерил мезенский мужичонко своею тростью-палкой с железным наконечником, сколько скотины излечил, а попутно и кровь пускал людям, и лечил травами. В народе коновалы почитались за колдунов, могущих напустить и снять порчу. Господи, как летит время и сколько всего уносит безвозвратно, и все меньше веры остается в чудо: а как хочется ее сохранить. Неужели на моей родине, на Зимнем берегу еще полвека назад в каждой деревеньке был свой колдун, без колдуна-вежливого не обходилась ни одна свадьба: колдуны и колдуньи призывались в дом для унятия разгневанного домового, кикимор, разных враждебных духов; они лечили от тоски-кручины, искали вора, давали советы, находили потерявшуюся скотину — и вообще они знали все минувшее, настоящее и грядущее. Какой тогда была жизнь, как понять ее? Отчего еще недавно так верилось в необычное, в чудо? Так неужели иссякает, переменяется наш духовный взор?

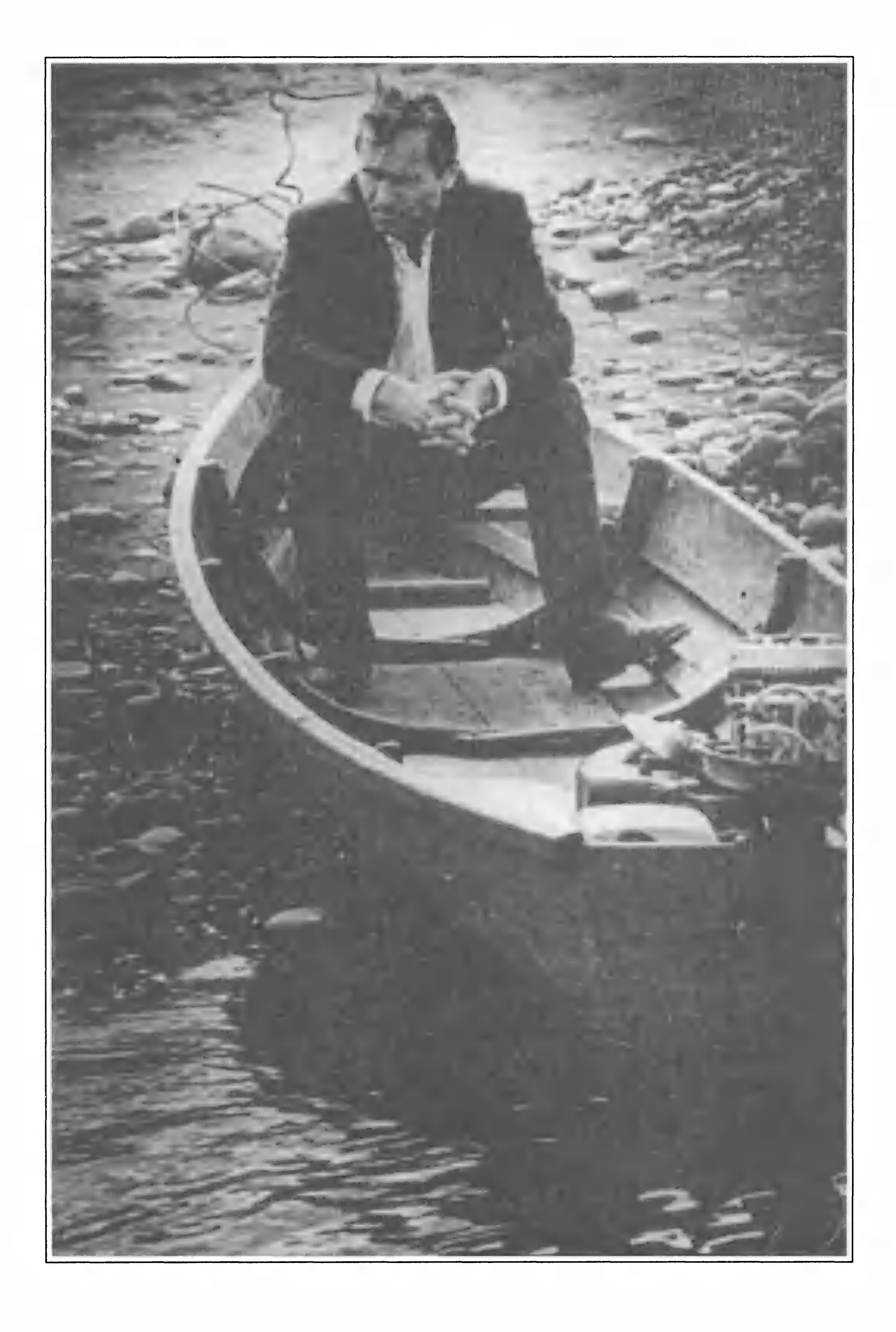
Да нет, нет, я уверен, что мир весь соткан из чуда. И только разгреби шелуху затрапезной будничной жизни, тоски, забот и неурядиц быта, как под этой половой засияет золотая сеть чудес. И как бы мы ни хорохорились, ни называли себя владыками, а все одно — похожи на того одинокого человека с керосиновым фонарем, разглядывающего в потемках с суеверным испугом углы и затайки матери-природы, но бредущего с неизбывной верою в затаенное, грядущее чудо.

ДУША ОБЯЗАНА ТРУДИТЬСЯ









"А как старуха с косою наступит на пятки, сяду я в лодку, да и подамся рекою к Дивись-горе. Заползу на тую гору, нарву богородской травки, чаю напьюся, а с нее, с тоей горы, далеко-о-о все видать, и мою родную деревеньку видать. Насмотрюся на нее, да и помру тамотки. Вот о чемедино помышляю, коли Бог сподобит..."

Из разговора

Однажды, вернувшись из командировки, я рассказал случай, в котором многие усомнились. "Да разве мог такое мальчишка сказать?"

С того времени минуло лет шестнадцать. Помню, что было сумрачно и гнетуще, над болотным берегом побережник нес песчаную пыль, и волны мерно накатывались валами, напоминая о себе. А на песчаной морской кромке играли ребятишки. Они вытягивали из лежалого песка мокрый плавник, посильные для себя деревины и сооружали подобие охотничьей хижины. Но заметив, что я наблюдаю за ними с берега, на минуту притихли, прекратили мышиную возню, и один из них, черноволосый и без шапки, грубовато, с поморской прямотою выкрикнул: "Ты откуда такой и чего на море пялишься? Наше это море, семужье и камбалье!" И он чуть дурашливо рассмеялся, кривляясь при этом, чтобы скрыть смущение. Потом его смех подхватили остальные: видно, им старая игра поднадоела, и они нашли новое для себя развлечение. Но черноволосый вдруг гикнул, махнул рукой и увлек своих приятелей в сторону деревни, оставив свои слова в моей памяти.

Наше море!.. Родина входит в душу бессознательно вместе с первыми валкими шагами по земле, с холодной латунью торжественных зорь, и мягкими белыми ночами, и плеском волны, и шорохом карбаса по песку, и

светлыми рыбами, роняющими чешую на мокрые колени, и солнечным дождем на тихой морской воде, и с громовым прибойным накатом, и с чаячьим протяжным клохтаньем, навевающим грусть. Но тогда почему человек, бесконечно любящий свой угол, вдруг покидает его? Может, сознание, вырастая из детских рубашонок, тревожит душу сомнениями? А может, уверовавший с детства в золотые тайники своего Дома, он потом раскаивается в этой вере. И вдруг заметишь однажды, что милый сердцу родной угол совсем не особенный, а просто затрапезный, серый, невзрачный и бездорожный клочок земли, а вокруг столько заманчивых мест, куда можно бы податься.

"О чем не знаешь, о том не тоскуешь". Когда-то Белое море было прислоном, а безмерная тундра — заслоном. И какие бы ветра с поветерьями ни поддували (с ночи — полуношник, весток, с лета — шелоник, обедник; с заката — побережник), какой-нибудь из них, если худа не случалось, все равно приносил обратно отчаянного человечка, доставлял в его подворье, к его животу, к его затосковавшим чадам и супружнице. Уйти куда-то на чужбину, сквозь полуночь, в иные земли — это как бы намаяться сверх меры, семь потов спустить, шкуру продубить, чтобы после желанно жилось в своей вотчине и вспоминалось. И куда бы ни заносил парус странствующего помора, он в мыслях-то не оставлял надежды вскоре вернуться: отсюда и сила прибывала в тело, и душа знала постоянную укрепу. Он-то метался, лихой побродяжка, а семья ждала, ибо гнездо было свито на вековом креневом древе. Вот где неизбывная привязка и замок для корневого человека. Может, ему бы и хотелось порою погулеванить, пойти колесом, но вера душу держала, тоска по детишкам, по родове мучила, не давала потечь, ослабнуть...

Человек привязывает себя к малой землице своим трудом: труд крепит пуще всяких корабельных цепей. Где чего схватишь в других местах, чего поймаешь необыкновенного? Попробуй перо жар-птицы выдернуть, урви на лету — обожжешься и не удержишь. Да и есть ли где на миру такое райское место, чтобы без поту, без устали, без каждодневной маетной работы текла в мошну копейка. Ах, братец мой, искивали мы такого места, такого затаенного затулья, особой сладкой воли, не одни подошвы истаскали, да что-то не открылась взору благословенная медовая земля. Есть, оказывается, лишь то обетованное место, куда ты от рожденья прислонен. Так считалось извека на миру, и тем шатунам, лихим побродяжкам, кои кидались без ума искать лихую удачу, было мало веры. "Где гриб рожен, там и пригожен".

Удача, горячий азарт (но не для сыска новых земель) стали в большой

чести у особой породы людей: шатуны, бродяги, бичи, перекати-поле, скитальцы не по духу, а едино лишь по врожденной лени, они расползлись по лику земли. И куда бы ни кинулся ты, ни поехал — на пристанях и вокзалах, на речных косогорах и возле полосатых дорожных будок, в котельных и угольных бункерах, на дебаркадерах, возле пивных ты постоянно встретишь этот отсутствующий, углубленный в себя взгляд истощавшего, отечного бородатого шатуна, коему нет прислона на земле. И отчего родной угол-то не тянет? — спросите вы; отчего мать и братья не позовут издалека беззвучным, но таким острым и больным голосом родной крови? Да потому лишь, что у этого побродяжки испеплился укромный уголок в душе, где постоянно живет отчий дом. С детства его соблазняли знатной, сытой и легкой жизнью на стороне, мать выпехивала за порог в люди, сама надорвавшись на разных работах, и не было для паренька места затрапезней и ничтожней, чем малая родина.

Сколько сдвинулось народу с корневого места: я проехал Сибирью, вдоль великой реки, и на пристанях нет прислону, негде голову приклонить от кочующего люда. И ни поесть, ни попить толком, ни поспать, плач детей, терзания, человечьи драмы, тут же закипающие и отмирающие, смех сквозь слезы; кто бросил дом, наскучившись им, кто же ищет приюта, бегут от любви и нелюбви, от алиментов, от тоски, от лени, за деньгами и чтобы растрясти их. Но если к этой жизни прирасти сердцем, то плоть удивительно скоро привыкает, и ты опускаешься незаметно, и все человеческое, внушенное обществом и моралью, легко отдирается от тебя, как шелуха. Бродячий человек не знает обязательств: он как дитя, которое живет утробою и легкими виденьями сверкающей безоблачной жизни. Неужели от заботы устал человек? Он отказывается печься о ближнем своем, ему невыносимо тяжко создавать семью, рожать детей, холить потомство, ибо тогда надо напрягаться, надо впрячься в хомут постоянного труда. Прежде с малых лет внушалось, что труд — это непременное условие жизни, труд — любовь — смерть стояли рядом, и никто не пугался двух назначений, что обрамляли утеху.

Нынче у некоторых зачастую остались лишь любовь к наслаждению. (Я хочу — не хочу, люблю — не люблю, дай — подай.) Но для разумного, цельного человека самый сладкий миг наступает, когда работою побеждаешь собственное "не хочу" лишь из любви к ближнему.

2

Крапива жжет, она суется в ноги, она окружает, полоняет сиротское житье, словно бы выпивает его. Помнится, в детстве крапива вызывала в

каждом из нас лишь досаду, её воображали мы злейшим врагом, сменившим личину, и безжалостно, сплеча рубили палками в клочья. А она не таила обиды и с первым весенним лучом снова лезла из земли, пушилась, совалась на глаза. И понадобились годы, чтобы мальчишка вырастал, седел, старился и вдруг узнавал в один прекрасный день, что пряно пахнущее, зазывное, огненно жалящее растение — наш верный целитель, дар матери-земли, ее посланец. Оказалось, что все врачующие травы чаще всего неприметны, они ютятся возле нас от рождения и до смерти. Мы, дети земли, удивительно далеко оторваны от своих собратьев, зачужели к ним и своих сродников обычно сторонимся с кислою миной. А может, мои пятки топтали траву "одолень", не зная ее особенной силы. "Есть трава на земле именем "одолень", растет при темных местах на сильных раменских высоких старых лузях, та трава собою голуба, ростом в локоть и выше, цвет рудо-желт, листочки белы клинчиками, и та трава добра для того, кого скормят смертною едою на пире; дай пить — скоро пронесет верхом или низом, а корень добр от зубной боли; а пастух пасет скот — при себе держит, скот ходит вместе; и кто тебя не любит, дай пить, и тот человек до смерти от тебя не отстанет. Хотят зверя прилучить — дай ему есть".

Природа строилась по неизвестному нам согласию. Она подавляет нас видимой мощью, но все мы, от крохотной козявки, топтун-травы и до человека — паутинные коренья единого величественного древа.

3

У каждого косача своя ягодная кочка. Две птицы не могут выжить рядом, и тогда смерть регулирует жизнь. Есть нынче шишка, ягоды, гриб, зерно — значит, много птицы, куницы, белки, зверь плодится, не ведая будущей гибели, а следующим годом бескормица, и на своей родине остается лишь жировой зверь, корневой, назначенный для продления рода, а весь молодняк покидает гайна, берлоги, норы и гнезда и валит стадами напролом в поисках пропитанья. В проходном звере сидит клещ, болячка, предчувствие гибели, он мрет от бескормицы и нужды, не достигнув благословенных мест. Проходной зверь судьбою назначен умереть, ибо он явился в мир накануне тягости. Но в наших розовых мечтаниях видится всего множество, а природа же терпит на своем теле ровно столько захребетников, сколько может прокормить. И разумный человек был задуман, как верный охранитель ее, исполнитель воли матери-земли. Вот откуда была постоянная нужда в истинном, профессиональном охотнике. Он был сохранителем элиты, жирового, постоянного зверя.

Еще в начале этого века из Мезени и Печоры уходило в столицу до

тысячи возов битой и стреляной птицы. Только с Печоры вывозили зимою до пятисот возов куропатки, рябчика, тетерева, глухаря. (Зимний воз 20—25 пудов. В одном пуде куропаток 13,5 пары, рябчиков 18—20 пар, пеструх и глухарей 4 пары, полевых тетеревов 7—8 пар.) Еще на моей, не столь давней, памяти из Большеземельской и Канинской тундры в марте с постоянностью из года в год налетали на Мезень многотысячные стаи полярной курицы. Мой сосед — старик преклонных лет — ставил под горою в калтусине силья, ходил за куропатками с легкими санками-чунками и разом привозил по восемьдесят — сто голов. Этой добычей занимались и стар и мал, первую птицу я достал, когда мне было лет девять, в канун дня рождения. Помнится, что, кроме ржаной краюшки, ничего не ожидалось к моему дню ангела, и вдруг такая удача. Мать затушила птицу в печке-голландке, и сколько было для нас тогда особой радости.

И вот куропатка пропала вовсе, в нашей вотчине на пространстве в сотни квадратных километров нынче водится одна жировая стайка куроптей в десяток голов. Но ведь в тундре, где родилась эта птица, нет леса, который можно бы извести и тем лишить куропатку поеди (так в тайге повывелся косач и мошник); нет гигантов индустрии, а значит, изменились взаимоотношения воды, воздуха и почв, нарушилось их биологическое согласие.

По исторической справке, на одном лишь острове Колгуев мезенские промышленники ежегодно в продолжение столетий добывали в июле во время линьки по сто тысяч гусей, загоняя их в сети. Но как выяснили статистики, птицы тем не менее не сокращалось, потому как мужики били только селезня.

Четыреста лет мезенские поморы ходили в море на звериные ловы, брали тюленя на палку-шишигу иль кремневкой, но стадо не убывало. Промышленник доставал только самца-лысуна, но никогда не трогал детеныша-белька и самку-утельгу. (Хотя не было государственного надзора, но руководили лишь природные инстинкты самосохранения и человечья совесть.)

* * *

Уже давно в мезенских лесах повывелся рябчик. Но вот нынче в верховьях реки Кимжи в ста километрах от глухой деревни появилась проходная птица в таком изобилии, что было ее на деревьях, как воробьев. Но кадровых охотников нет, поеди для птицы мало, попасется она возле реки день-другой и, откочевав в еще большую глушь, вымрет там от бескормицы.

***

Светил, светил светел месяц,
Ноне стал споблекать,
Любил парень девчоночку,
Ноне пришлось спокидать...
За реченькою, за быстрою фонтаники бьют,
Мою прелюбезную к венчанью ведут.
..Досталась прелюбезная иному, не мне,
Кабы мне она досталась — невестой была,
Невестушка-голубушка платком дарила,
Уж я этот платочек любя износил,
Не в шляпе, не в кармашке — на шее галстучком.

(Из народной песни, г. Мезень)

4

Все старые деревенские женщины, с которыми когда-то разговаривал я, ныне слились в один образ, и мне трудно распознать, листая блокноты, чья это исповедь. Важно одно: это живая запись.

Из простой судьбы:

"...Прожила с ним двадцать лет и словно срок отбыла. Умер — и слезы не пролила, словно Богу помолилась. Одиннадцать детей было, десять на ноги поставила сама. Он-то матюкастый был, ругатливый, некрасовитый на слова, работать не любил. Детей не любил, все ремень на руке, всем прозвище дал: Китай, Европа, Азия. Деньгами распоряжался, всегда в нагрудном кармане держал, выдавал на хлеб.

А свадьбы у нас не было. Шел солдат с войны пешком через Кучему, не добрался до Городка, где была жена и двое детей, остановился в деревне передохнуть, чернявый сам, кудерки надо лбом, грудь в медалях. Сидел у окна, пил чай, видит, на улице девка красивая. И говорит: "Моя жена будет". И засватал. А моему отцу и матери не по нраву был Андрей, с которым я ходила, и они отдали меня за этого Афоню. Чего-то напекли, чаю попили — вот и свадьба. Ночь отоспали, а наутро обнаружилось, что у Афоньки семья. Я-то и говорю: "Не буду с Афонькой жить. Он только на фотке красивый, а так худой". А мать-то мне: "Ты что, Устька, ты же ночь с ним проспала".— "Ну — и х... с ним, говорю, пусть катит, куда хочет". И все-таки уехала с ним в Шенкурск. И вдруг жена туда же из

Городка с детьми приехала и стала там жить по соседству. Афоня стал к жене похаживать. Я выследила, как он по ее комнате выступывает, да кепочку на гвоздок вешает, такой ли кобель, да и высадила поленом стекла в окнах. Судили меня, оштрафовали.

Вернулась я в Кучему с ребенком в животе, все думала отстать от Афони, но тот следом накатил. Так и не могла отвязаться. Прожила с ним двадцать лет и нажила одиннадцать детей. И вздохнула лишь, когда умер он..."

5

Угодил к ним в дом как снег на голову. Ноги через порог, шапку с головы: принимайте гостенька нежданного, незваного. Но Александра Александровна, о коей я еще минуту назад слыхом не слыхивал, лишь на мгновение смутилась, замешкалась, после и приняла как сына, кинулась чай наставлять, потчевать, не слушая отказов. Есть в натуре русского человека угодить гостю. И вот раным-рано снялась с постели, скоро и мягко зашлепала по кухне. Знать, наводит тесто. Мне блажь, а ей заботы. Лицо круглое, ясное, простенькие серенькие глазки излучают заботу, голос грудной. Лежу в полудреме, отчего-то счастливый, с успокоенной душою, будто в родной дом после долгой отлучки вернулся. Разве не чудо, что вовсе чужие люди вдруг с такой легкостью и доверчивостью принимают друг друга, как бы входят в родство, нисколько не тяготясь при этом и не досадуя. А ведь как, однако, трудно впустить в свою укоренившуюся жизнь вовсе постороннего человека; это словно бы поделиться с ним своим, глубоко личным, открыться перед ним душою.

Я слышу, как хозяйка занялась обрядней: горшки, ухваты, ведра, чугуны, стряпня, варево, парево, туда-сюда скрипит входная дверь. Скотина требует заботы и работы. Приоткрыл глаза: на улице еще темь, не развиднелось, и даже сквозь ледяную броню двойных рам ощущается стылость и мозглость раннего утра. В комнате за ночь нахолодало, лицо обволакивает зябкостью и сыростью. Как хорошо еще поглубже зарыться в перины, запахнуться с головою в одеяла и обнять подушку до самого рассветного голубого часа. Но ей, моей хозяйке, что за неволя вставать раным-рано? Кто тянет за ноги и понукает. Только ли нужда и извечная привычка приневоливают разламывать тело ни свет ни заря, хотя, казалось бы, самый сон, самая сладость. За утреннюю дрему иной человек состояние готов отдать и поступается своим честолюбием. Ну ладно, прежде иной был ритм жизни, иной отсчет времени. Свое имение, своя землица, своя нужда, свой живот: что взрастил, то и съел, ниоткуда тебе подпоры. Но душе твоей в

подмогу присловье: "Кто рано встает, тому Бог подает". Чуть заленивел, чуть дал слабину своему телу, впустил в сердце апатию, там и одолеет, возьмет в полон твое житьишко нищета запустения. Лишь дай зацепку, там и пойдет валиться, да так изопреет, возьмется трухою хозяйство, что только дай Бог в руки ноги да и беги прочь куда глаза глядят безмерной российской дорогой. А жалостливый везде отыщется, подаст краюху, не даст помереть. В погорельцы, в нищеброды, в калики перехожие, в прошаки... Скитаться тебе до скончания века, пока Бог не приберет. И вот главную устойчивость жизни придавала женщина-мать, роженица, большуха, песельница, запечальница, хороводница, косата-голубушка, молодушка, молодайка, красавушка, голубеюшка, неизбывница, хваленка, девка, баба, брошенка, гулена, распустиха, неткеиха, зазнобушка, сударушка, матушка старенькая, княгиня, добренькая, сиротеюшка, богоданная подружка. Какова женщина, таков и дом. Все рождающее она собирает воедино, не дает протечь сквозь пальцы: земля, дети, скотина — три кита земного бытованья на плечах бабы. Когда тут залеживаться, тут впору себя забыть. Тем только и успокаивала: на том свете отлежусь.

Хозяйка дает зачин жизни. Из века в век она вставала до зари, до своей праславянской матери-богини. Ежели та, розовощекая, светлокудрая, яснолицая, с умытыми росою очами, подымется над землею и узрит вдруг лежащую в безделье и томлении дочь свою, да разве будет тогда благодать в доме?

Щиплет хозяйка лучину, затапливает печь, с огарышем в зубах идет в хлев обряжать скотину, а когда солнце одним боком пробивает алые зоревые полотнища, паря и вспухая, там и хозяин сползает с кровати, чтобы начать свое постоянное заделье, а после и дед, коли в силах, прощается с лежанкой — и только детям благодать. Пусть поспят боженые, пока не запряглись в работу.

Умылся хозяин, лошадь напоил-накормил, а на столе уже яишня в сковороде, самовар парит, каша житняя, саламата рыбная на свиных шкварках. Покрепче подзаправился — да и в путь, уже сами руки работы просят...

* * *

Сосуд духовный полон, если в нем живут жертвенность и завещательность: эти два сердечных свойства, если вдуматься, присутствуют в каждом мгновении нашей земли. Эгоизм исключает, изгоняет из натуры эти качества, отсюда так много на миру одиноких людей, не хотящих заботиться о ближнем. Материнская жертвенность понятна: это природное,

свойственное всякому живому существу. Вообще, женщина более близка к земле, ее связывают невидимые родящие корни, она продлевает все сущее, за внешней тонкой оболочкой, за прикрасами, за цветистостью, лукавостью облика, за ее заманностью, игрой и жестами, однако, кроется человек твердый, волевой, могущий перемочь самое грубое, житейское,низкое, могущий перенесть на своих плечах тяжелое, лишенное малейшей красоты дело, требующее монотонности, отвергающее всякую брезгливость. Именно женщине с ее природностью, отзывчивостью, с душою, ловящей всякий зыбкий страх, ничтожные перемены, витающие в воздухе, свойственно так болезненно предчувствовать. Лишь женщины могут вдруг предсказать неуловимое: это у них постоянная тяга к объяснению снов, карт, совпадений, такая суеверность души, которую мы, мужчины, отчего-то принимаем за слабость. Но нет же: эта тревожность сердца им помогает угадать судьбу, как бы предвидеть ее, заранее приготовиться к удару, не сломиться, ведь на плечах ее дети, все древо долгого рода. Лишь женщина может воспрять средь ночи, всматриваясь тревожно в гнетущую темь: что-то вдруг позвало, завопело в ней, дало весть. И так станет тошнехонько, так заскорбит под грудью, что, не сдержавшись, протяжно взвоет баба и оросит слезами изголовьице.

Из простой судьбы

"Шестая рота была, а белые накрыли ту роту всю и растрепали. Все молодые были, и у нас молодой сын — вовсе незрелый, семнадцати лет.

А я была в Шеймогоре, у тетеньки на похоронах, ей сына привезли с того бою мертвого. А я-то не знала, что и мой сын покоен. Мы с кладбища-то приехали, у меня сердце чего-то чувствует. Сели чай пить, а я все плачу, плачу, что-то сердце уж порато болело. А это за мной и приехал на Шеймогору сосед. Зашел в избу и говорит: "За тобой приехал, твоего, говорит, сына мертвого привезли". Я тут села на кровать и запамятовалась. Тетка говорит: "Поди своих зови на похороны". Там были братья, невестки. В тот же день я и уехала домой. Приехала, сын лежит, в избу занесен уже. Приехала, раскрыла гроб, поревела, опять без памяти взяло. И с той поры поседатела".

Запас женской силы не мерен, он как бы притекает из земли-матери, и приходится только удивляться бабьему долготерпению, ее умению задубеть, отрешиться от всего, что нарушает устойчивый ритм быванья. Женщина — страж рода, охранитель, его продлеватель, устроитель, и потому

чаще всего она выбирает себе супруга в упряг, она ищет поровенку для устроения семьи. Ее многотерпение, выносливость есть один из оттенков жертвенности ради потомства, ради продления памяти. Все ее пестование, ее бесконечная работа в хозяйстве, невидная, внешне незатейливая, грязная, от коей бежит прочь всякий гордоватый мужик, кажется ей уделом, судьбой, дарованной свыше.

В Поморье был случай. Пришел солдат с войны израненный. С полгода пожил и вовсе заумирал. Отвезли его в медпункт за двадцать километров. Вот и мать к нему засобиралась. Налила в грелку молока и, чтобы не застыло оно, положила грелку меж грудей. Пришла в больничку, спрашивает сына, а ей отвечают, что сын помер и только что в морг его отнесли. Она пришла туда, сын лежит голый. Стала плакать, ой, да, ой, а я тебе молочка парного принесла, попей хоть мертвый-то. Полила ему в губы, а лицо-то у сына и дрогнуло. Оказывается, вовсе ослаб, сознание потерял, подумали, что мертв, место освободили. Выпросила она в сельсовете кобылу и привезла сына домой. И выходила его. И поныне мужик жив, и восьмерых детей настроил.

...Прежде замужняя женщина с раннего утра, пока муж и дети еще спят, размалывает зерно на ручных жерновах, частенько колет дрова, затопляет печь, привозит или приносит на себе воду, готовит еду на семью и домашнюю скотину. Днем либо ткет холсты, сукно, либо кроит и шьет одежду, вяжет носки и рукавицы, либо топит овин. Сушит, молотит, веет хлеб. Летом без помощи мужчины выжинает хлеб, косит сено, не уступая в расторопности мужчине, пересушивает, загребает, свозит и мечет его в зароды, выгребает навоз, снабжает двор сеном и дровами из лесу; ходит с мужчинами для исправления дорог, таскает там тяжести часто такие, каких не захочет принять на себя мужик, валит лес, сплавляет его по рекам, исполняя должность плотогона и повара, тянет бечевой суда, идет с извозом, а кроме всего прочего на плечах ее орда детишек мал-мала, которых предстоит поднять на ноги. Нередко поморская женщина перевозит людей на карбасах, ходит на морские промыслы, меж ними были даже такие, что хаживали кормщиками на Терский берег.

Трудна, заботлива, монотонна была эта жизнь, не ведающая безделья, созерцанья, тоскливой маеты, когда не знает человек, чем занять себя и убить время. Домашний воз, в который добровольно впрягалась крестьянка, просил постоянного движения и присмотра. Я не умиляюсь стариной, но лишь хочу подчеркнуть, как на Руси закладывалась жертвенность, соподчиненность, услужливость, без чего распался бы, растворился человечий род. От тягостей, взваленных самим бытом, укладом,

часто болела русская женщина, особенно маялась животом и икотою (падучей, нервной болезнью). Много рождалось детей, и часть из них непременно умирала, тем самым дозволяя вырасти остальным в физической крепости. Так в густом лесу — чащиннике — осыпается иглою, мертвеет тот подрост, коему не хватило света, силы, упорства и судьбы. Срок заказанной жизни, сама бабья судьба рассматривались из ее телесной крепости. Но куда же девать душу? Без души увядает до времени самая спелая, вроде бы долговекая плоть. Душа заранее печется о теле, она-то и направляет человека к быванью. На выданье, в долгом свадебном застолье, в посмотреньях и заручёньях пред подружками, отцом и матерью не только с великого горя плакалась молодица, обливаясь слезами, не только обвывала всю прежнюю девическую, такую светлую и радостную жизнь, но она как бы зачеркивала свадебным плачем все прежнее, прожитое, отрешалась от него, загоняя в область предания и памяти: в эту свадебную неделю готовилась невеста к будущей многотрудной жизни, и все впитанные с кровью навыки словно бы сейчас-то и вступали в серьезные права, переиначивая девушку. Может, она готовила себя ко кресту, который досталось нести на раменах? Нет, она осязала себя уже женой и матерью, понимая на примере старших, сколь сладок и горек бабий хлеб. И преподанный старшими урок жертвенности обычно не пропадал втуне, хотя нередко приходилось вступать в упряг с далеким, незнакомым человеком. Были драмы? Безусловно. И бегали жены от мужей, и топились порой, и драны были не раз, и биты своими благоверными. Но были и милованы, и люблены, и ласканы — ибо в немилости, в грозе и страхе не выпестовался бы столь сильный сердцем народ.

Два случая мне поведали однажды. Жили вместе он и она пятьдесят лет. Жена, умирая, в слезах, призналась, что всю жизнь не любила его. И он тут же признался, что тоже всю жизнь не любил ее. А прожили вместе так дружно, так мирно, на зависть всем. Оказалось: крестьянин думал, что жена его любит, и стыдился своего равнодушия, а потому старался угодить супруге во всем. Она же полагала, что муж любит ее, и стыдилась своего равнодушия, а потому старалась угодить во всем. Оказалось, жили по соседству две семьи. В одной однажды родилась дочь, в другой — сын. Выросли — их обвенчали, не спросясь. Отсюда и скрытая драма, и нравственный подвиг.

Другая подобная история повторилась в северной деревне. Золотую свадьбу играли. Жена — старуха, замечательная вопленница, наплакавшись, напричитавшись, сказала вдруг мужу: "Прости, батюшка, не любила я тебя никогда". А прожили век, как куколки, всей деревне на зависть.

В гуще народа всегда можно отыскать и драму и подвиг. Но подобных случаев сейчас куда реже, и они уже не воспринимаются с гордостью и умилением, но чаще с усмешкой. Распадается большая часть семей только из эгоизма, ибо пропадает благодарность и жертвенность (обоюдные). Каждый вроде бы чем-то обязан друг другу; отсюда неприятие, доходящее до ненависти, свары и склоки, бесконечные счеты и перечеты, упреки; каждый норовит ущемить душу, больнее обидеть ее по самому пустяку.

Нынешняя разведенка (уже не радуясь обретенной свободе и тайно плача) воскликнет, читая эти строки: придумал же писатель нечто из Домостроя и проповедует. Дескать, семья не терпит самоистязания, самоподчинения, ущемления; дескать, семьей надо жить, пока любишь друг друга. А коли огонь сердечный погас — крынки об пол, да и скорее по разным углам. Но отчего тогда тоскуется, отчего плачется? Отчего желанная прежде свобода уже кажется постылой и ненужной? Да потому лишь, что человеку очаг нужен, нужен другой близкий человек, которому надо угодить, поборов гордыню, а не восклицать при каждом удобном случае: "А почему я должна?" Услужением силен человек. Семья — это бесконечное жертвование. Поступись в малом, проглоти обиду и получишь огромную радость и благодарение. Говаривали: "Муж — игла, жена — нитка". Но за этим разумеется не слепое повиновение, мол, куда игла, туда и нитка: нить сшивает, скрепляет любую прорешку, крохотный изъян, не дозволяя разъехаться, нить рубцует, излечивает. Но женщина предпочитает быть ножницами, чтобы сразу резать по живому, не отмерив, не обдумав.

6

Хозяин Петр из бывших плановых охотников: толстоголовый, седые волосы густой короткой щетью, широкое лицо в светлой неряшливой заросли. Кряхтя, с коротким стоном покинул кровать вскоре после хозяйки, не залежался, как еловая плаха, сточенная червем. Сборы его короткие, на солдатскую ногу. Он атеист, не верит ни в Бога, ни в черта, потому у иконы в переднем углу, где получасом раньше молилась хозяйка, не задержался. Слышу сквозь дрему, как через минуту уже завел снегоход, подцепил железную бочку, поехал за водою на прорубь. Хозяин Петр записной враль, баюнок, в его луковичках-глазах постоянный желтоватый ехидно-насмешливый блеск, который так не вяжется с оплывшими большими губами. Таких обычно окрикивают в детстве: "Прибери губы-ти, чего на локоть намотал!" Он служил на войне, дошел до Берлина, был ездовым.

Рассказывал, дескать, однажды ехал полем, и погнался за ним немецкий самолет. "Издевался, зараза, так и эдак вылетывал, хотел меня крылом разрубить. Ну да и я не сробел, секанул его топором, только и летал он. Шмякнулся, земля сгремела". Рассказывает он суховато, коротко, но отчего-то хочется ему верить. И верят.

С хозяином Петром было чудо. Около взорвалась граната, приклад расщепило, раскромсало плечо осколком. Весь бок отек, покрылся желтым налетом, думали, гангрена. Через тридцать лет после войны заболел желудком. Стали смотреть рентгеном и обнаружили пулю в легком. Она обросла вокруг и переместилась к позвоночнику. Откуда взялась пуля? Правда, после раненья гранатой дней десять харкал кровью, но думали, что от удара. Наверно, пуля попала в то же отверстие от осколка гранаты и пробила легкое?

На Кучеме было два записных враля. Петр да Иван. Оба охотники. Вот поспорили они однажды при свидетелях: кто кого перехвастает? Петр и говорит: бывало, на Ив-горе точила добывали. Резали их. Я точило достал, с горы катнул его, оно через реку перескочило да в тайболе исчезло, укатилось. Я неделю за ним по лесу шел — не нашел.

Стал хвастать Иван. Я, говорит, смотрю в дуло пушки, а на меня снаряд вражеский летит. Я дунул — он и полетел обратно.

Но Петр победил враля Ивана, ибо тому не поверили. Сказали: ври, да не завирайся.

Петра спрашивают: Петр, ты где охотничий заряд берешь? А тогда со свинцом туго было. Он говорит: стреляют-то много, так дробь-то куда-то падает. Она как кучей летит, кучей и падает. Я хожу по лесу, где моху отдерну, там и свинец лежит. Я дроби-то наберу, сколько мне надо, и опять живу.

* * *

От мезенского рыбака Михаилы Коптякова была записана эта небылица: "Вот живало-бывало, в некотором царстве, в некотором государстве, не именно в том, где мы живем, жил-был мужик, у этого мужика было три сына. Вот жили-пожили, жилы порвали. Этот мужик помер. Остались эти три сына на возрасте все. Все они пошли охотиться, а это было давным-давно. Позабыли они огниво, а тогда спичек не было, и нигде не могли огня достать. Палась погода. И вот один старший брат выполз на дерево и там увидел огонь за лесом. Сошел с дерева и посылает брата за огнем. Вот брат пошел за огнем и видит: сидит человек огненный, перед

ним огненный костер. "Леший, дай огня!" — "Скажи сказку!" — "Не умею".— "Скажи старины".— "Не умею".— "А скажи небылицу!" — "Тоже не умею". Он взял его козлом обернул и поставил греться: "Грейся!"

Братья ждали-пождали и дождаться не могли. Пошел другой. Тоже приходит: "Леший, дай огня!" — "Скажи небылицу!" — "Тоже не умею". Леший обернул брата козлом и поставил к огню греться. Ждал-пождал старший брат, не мог дождаться, пошел сам. Приходит к лешему: "Леший, дай огня!" — "Скажи сказку!" — "Не умею".— "Скажи старины!" — "Тоже не умею".— "Скажи небылицу!" Тот и согласился, начал сказывать. Он с ним поусловился. "Ни тпрукнуть, ни мукнуть, ни пресекать. Если тпрукнешь, мукнешь, пресекешь, то я из спины ремень у тебя вырежу да и с петелькой". Вот и зачал сказывать: "Жили-пожили нас сорок братьев. Жили-пожили, у нас родился отец. Вот мать отца крестить, а у нас в деревне церкви не было, надо ехать в другую деревню. Я, как был постарше, братьев посадил на кобылицу, а сам на хлебну лопату — и поехал. Ехали-ехали и пришел ручей. Кобыла у нас скочила и пополам прервалась. Я на пятнички ее скрутил и поехал. Вот опять ручей. Кобыла опять перервалась, а делать мне нечего, кобылу свел, отца тут и окрестили. И тут стоит дуб. День шевелится, другой шевелится, сошел мужик. Спрашиваю: "Что там на небе хорошего?" — "Все хорошо, только апостолы босы. За морем мухи дороги, а коровы дешевы: за муху с мушонком тебе дают корову с теленком". Я давай мух-то имать да в мешок класть. Наимал мешок дозавязу, потом на небо заполз. На небо попал, за море ушел, наменял шкур и вот с этими шкурами к морю потащился. Бежит старуха, несет матеряшу бычью шкуру: "Нет ли у тебя какой мухи?" Я мешок-то потряс и вытряс муху. Потянулся к морю, а на море перевоза не было. И как мне попадать через море? Шкур у меня много, давай их кидать. За хвост размахну и кидаю. Все перекидал, а потом эта шкура бычья у меня осталась, я за руку обернул. Махался-махался, махнулся да и сам перелетел через море (еропланом). Потом стал сапоги шить. Всем апостолам по сапогам сшил. А в это время дуб-то сломило, мне с него спуститься некак. А у меня эта шкура больша-то осталась. Вот я ее взял, на ремешки-то выкроил, в небо шило воткнул (и теперь стоит там, осталось навсегда уж), привязал за шило и стал спускаться по этим ремешкам. Вот и спускаюсь. И сильный ветер пался, стало меня на этих ремешках помахивать. В одну сторону махнет до Киева, а в другу сторону до Чернигова — семьсот верст! А до земли все еще далеко. А у меня, шил-то я сапоги, так оставались конечки, это все я

пихал в карман. Я стал привязывать, да все ниже, да все далеко до земли. И конечков не стало. Потом у мужика затопилась баня, я этот дым хватаю и в узелья вяжу. Все ниже спускаюсь. Да по грехам, у меня развязался узел. Я и пал в болото. Одна голова видна. А у меня волосы были такие кудрявы — утка полетела, гнездо свила. Сижу день, сижу другой, не знаю, как уйти, приходит лисица, взяла у меня с головы яйцо. Я ей схватился за хвост да и заревел. Она подхватила меня, до грудей выдернула. Сижу опять. Вдруг приходит волк. Яйцо взял у меня с головы, я сумел захватиться за хвост и заревел. Он подхватил меня да и вытянул до пояса. И сейчас сижу в болоте, не могу вылезть. Вдруг приходит медведь. Яйцо взял с головы, я за хвост захватился да кругом руки-то хвост обернул. Как на него заревел, он меня подернул да и выдернул, да и хвост оторвал — у меня в руке остался. И вот я этот хвост взял, пошел домой. Этот хвост распорол и там нашел ящичек: в этом ящичке писем столько было! Я был грамотный, давай эти письма перебирать — читал, читал, нашел такое письмо, что мой батька на твоем батьке верхом ездил". Тут леший не мог утерпеть: "Тпру, стой, говорит, не попало!" Тут уж мужик и вырезал у лешего из спины ремень да и с петелькой. И братьев отвернул и огня взял".

* * *

"У каждого охотника было свое ухожье, угодье, путик. Проходного зверя били, жировых считали, сколько взять".

"Рябчиков называли "петенбуры", потому что их обычно везли в Петербург на богатый стол, сами не ели. Обозы шли бессчетные, устанешь воза считать".

"Бывало, косачей выльется на березах, как головешек. А глухаря сколько брали, о-о! Суземок узкий, лесу о речку мало, все болота, песчаны осыпи дресвяны да щельи, птица и вылетает на бережинки, где камень — серяк. Как раз по глухарю камень. За один заход я брал по тридцать — сорок голов. Дак как выносить из лесу, всех зову на подмогу — и братьев и девок. Много птицы я брал, везде побывал. А сейчас под старость ум-то рыщет, а ног нету. Да и птицы нигде нету, хорошо одна-две где. А прежде под весну тока-ти, словно гром гремит, собираются косачи... А может, уходит она на спокой, где звуку меньше?

— Тогда бы вся птица должна собраться в одном месте? Так где она?

— Один Бог знает..."

Из разговоров

* * *

Герб города Мезени: по серебряному полю бежит рыжая лисица.

Я однажды вышел на запольки, в ковыли о край поля. Трава была скошена, сметана в копны. Стояло бабье лето, дали были чисты и просторны. Лиса, наверное, мышковала у копен, она скорее почуяла, чем увидала меня и, набирая ход, кинулась к опушке. И что поразило меня: эта дикая рыжая собака не бежала, она скорее стлалась по земле, она была похожа на пламя, на катящийся огонь, и хвост широкой трубою, кажется, едва поспевал за своей хозяйкой. Гон лисы, ее намет, ее легкий, не поддающийся описанию скок по желтеющей отаве был столь прекрасен, что я невольно распахнул от восхищения рот. Это было чудо...

* * *

"Нынче след лисы редко где встретишь. Ходил за пятьдесят верст, а только три следа видел, да возле деревни ходит лиса, но уловить ее не могут, она разноследицей ходит. Она, наверное, была в слабом капкане, была на прочиках (капкан запоздал), она и испугалась, и к приваде не ходит, не идет по следам. Ходит на кладбище, все время посещает, может, от покойных запах идет, крох носят, когда поминают родителей. Даже были случаи, что росомахи и медведи вырывают гроба, когда тепла земля, осенями..."

Из разговоров

* * *

Зверя по счету, а охотников и того менее. Разрушились избушки, осиротели наследные путики, которые, бывало, шли по роду сто и более лет, и зверь был безвыводно, забываются повадки промысловиков, азбука охоты, привычки, приметы, исчезает, стирается особый уклад жизни и натура лесового добытчика, склонного к скитаниям, неприхотливого, мужественного, любящего одиночество и не боящегося его, и тускнеет, проваливается в небытие особый охотничий язык, который когда-то так приметно украшал народную речь и служил пищею для писателей. (Без знания охотничьего, рыбацкого языка уже не создать тех природных красочных рассказов, коими так славилась отечественная литература.)

Немногие, ой, немногие по складу характера еще рискуют пойти в кадровые охотники. Ведь где он, зверь-то, куда нынче кинут его ноги, где

нынче заляжет он? А у охотника семья, на лавке лишнее не вылежишь, да и самому кормиться надо.

Психология охотника, его движения души чаще всего непосредственны, без умысла, он не боится леса и зверя, он чует его житье, его пространства, его пути и исходы. Многих я расспрашивал: не боятся ли они заблудиться? Этот вопрос всех удивлял и смешил. "Но чего-то вы все-таки боитесь в лесу?" — "Мы боимся лишь на бродячего человека попасть. От него всякой пакости жди".

Ничего не боится охотник, но пугается лишь бродячего человека и хворей. Вот и у него слабнут ноги, ревматизм гнет спину, но душа-то просится в те лесные взгорья, где остались лучшие годы и рисковые страсти.

7

Хозяина Петра я встретил на излете лет, у него все в прошлом, в четырнадцать лет он уже месяцами белковал в лесу, не отставая от охотничьей артели. И, впрягшись в кережу с нехитрым скарбом и ночуя где ни попадя, но чаще у нодьи под еловым выворотнем, до самого марта он шатался по тайге следом за зверем, только под весну возвращаясь в родные домы. Но вот годы взяли свое, и ныне хозяин Петр просит меня написать "гумагу, куда следовает, чтобы разобрались и пензию назначили. С двенадцати лет горбатил, из лесу не вылезал, народ кормил, пушниною снабжал, а пензии не заробил. Только и отлучался из лесу, что на войну. Это ведь как насмешка над рабочим человеком..."

"Прежде был охотник плановый и кадровый. Кадровый охотник как встал — постоянно. А плановый — колхоз выбирал людей для охоты. Уходили в сентябре и кончали мартом. Дома уж не давали лежать, пока план не выполнишь. Охота — пуще неволи. Раз-два сходишь, потом зубы отбивает.

Раньше охота в стаж не входила. С охотой этой даже пензию не получаю, пятнадцать лет колхозу пропало, будто в колхозе не был. Оно как-то и обидно, силу-то затрачивал не для себя, для государства. А сейчас и без пензии, будто не робил, не воевал.

С этой охотой везде побывал. Уйдешь под Кимжей, а выйдешь под Лешуконьем, насколько хлеба хватало. Зимой ходили за куницей. С ноября до января за куницей гоняешься. Теперь, если охотники достанут семь куниц — пишут в газете, много, дескать, добыл. А я промышлял до тридцати куниц за два месяца..."

"...Белка отбойна, затянется в ель, дак не скоро выколотишь. Она не боится, когда колотишь в дерево. Было время: выжигали. Берешь бересто

да зажигаешь, она и выскочит. Всяко выживали. Сейчас белка не интересует, раз не видно на глаз стрелить. Красна придет к нам летом, осенью поеди нету — уходит..."

"...Куница в дуплах только отсиживается. Новой раз достанешь ее легче белки, когда куница на поеди, днем ходит. А бывало, куницу гоняешь по следу, такие случаи были, по три дня гоняешь, но все одно не отступаешься — догонишь. Взял с утра куничьи следы, стеменило, огонь разведешь, зарубишься, мало ли ветер, елками обставишься, чтобы самого не звездил ветер, тут и ночуешь. А утром вставашь к зорьке и опять погоню делашь. Жировую ту легче взять, а проходную взять трудно, пока она тетеру иль глухаря не задерет иль на приваду не наткнется. А так она нахаживает очень много. За зорю нахаживает по тридцать километров, когда ищет пищу...

— А страшно одному в лесу?

— Я не боялся этого. Я и сейчас в лесных избушках один живу.

— И никогда не мерещилось?

— Когда свои думы, тогда мерещится. Некоторых пугало, а мне не приводилось. Я не верю, что лешие есть. Меня ни разу не пугало. От стариков слыхал — есть, пугат. Но охотники тоже любят загнуть, чтобы другие боялись. В той избушке не спи да в той не ночуй, там блазнит, там навещат, там чудит. Ну и верят которы, а я не-е.

Да и когда спать? Немного у огня и вздремнешь: дрова догорают, опять пойдешь рубить. У меня был свой путик, только в длину сорок километров, а по лесу в квадрате километров на восемьдесят. Старались из избы выйти, а во второй ночевать. Петли ставили на глухарей. Много птицы было, а сейчас очень мало. Я интересовался. Когда лес заболел грибком, каких-то годов пять назад шло как опыление от леса на реку, так птица и пропала. И теперь шишка у нас ни на елки, ни на сосны не отрастат, потому и белка не держится, и боровой дичи нет..."

* * *

Мы говорим: природа — лекарь, она подвигает нас к исповеди, к самоочищенью, не дает заскорузнуть душе, она перемещает годы, возвращает вдруг детство, вызывает умиление, и безотчетную улыбку, и слезы: один лишь взгляд на нехитрый русский пейзаж вдруг переворачивает сердце с такою силою, что горло сожмет судорогою и нет мочи дышать; мы ведь и возвращаемся на родину каждый раз затем, чтобы обновить, подлечить, успокоить душу и приготовить себя к дальнейшей жизни: само существованье родимых мест помогает примириться со всеми нескладностями и превратно-

стями судьбы, и, когда нам особенно трудно и невыносимо больно, мы восклицаем: слава богу, есть у меня Мое, оно вовеки Мое и ничье более! Клочок родимой земли единит нас. Еду поездом, вдруг вижу березовую рощицу, сверкающий плес нехитрой обмелевшей речонки, парнишонку по колена в воде, занятого рыбной ловлею. И хотя место это уж как далеко от родины, но ты отчего-то сразу наполняешься грустью воспоминаний, это свою ты видишь березовую рощицу и провожаешь долгим взглядом самого себя, застывшего по колена в воде в охотничьем неистребимом восторге...

Почему так четко отложились в памяти картины природы? Ведь мы не были созерцателями, мы были скорее добытчиками, все от мала до велика старались по мере сил что-то промыслить; мы рано узнали цену копейке, потому что зарабатывали сами; мы не ведали пресыщения едой, одеждой, каждый кусок хлеба был сладким, каждая потянушка на костлявых плечах, скроенная из материнского лифа, воспринималась красивой и ладной, и ею хотелось побахвалиться перед пацанвой; такое было жесткое время, что игру, развлечение зачастую отыскивали в труде иль саму надоедную работу разбавляли игрою. Дрова волочить из лесу на чунках — что за веселие? Упираться заколелыми валенками по вязкой дороге, валить сырые ольшины в калтусине, ползая в снегу по пояс, велика ли радость? Но представлялось, какая матери будет от того подмога, как тихой мгновенной улыбкой озарится ее усталое лицо,— и этот оттаявший материн облик уже был достаточной наградою. А каждодневная рыбалка, когда нужно подниматься ни свет ни заря иль середка ночи коротать у реки, когда весь мир объят сном? И счастием для нас, как вспоминается нынче, был самый незавидный улов, а камбалка-синявка, банный листик, сквозь который просматривалось солнце, помогала позабыть хмурость предстоящей длинной дороги. Но главное — это был прокорм домашним, и рыбацкая крохотная удача наполняла наше сердчишко чувством особой гордости. Вообще поиски прокорма на стороне начинались с ранних лет, с походов на щавель-кислушку, на сладкие коренья по свежей пахоте, позже подрастал на подмогу ячменный колос, который мы добывали украдкою впотемни на колхозном поле, а после мать молола на ручных жерновах. Что удивительно: природа воспринималась нами вроде бы лишь как кормилица. Разве приходило желание, раскрыв рот, удивляться ее красотам? Да и могло ли прийти такое в ум, чтоб замѐреть неожиданно и воскликнуть восхищенно: какая красота! Но что за чудо: вот минули годы, как говорят, уже покатило с горки, но закроешь глаза, и, как живые, проходят перед тобою видения давнего детства. Воля, невиданная доселе воля скрашивала все наше существование: с ранней северной весны, когда еще проулки забиты снегом,

и до самой поздней осени, до заморозков мы впитывали животворную энергию земли через босые ороговевшие пятки. Несносимая, в цыпках и трещинах, задубелая кожа наших ног спасла стране сотни миллионов пар обутки, а бегая по колено в снегу, мы не ведали хворей и простуд. Мы росли, как зверята, наши ноздри щекотали первые признаки надвигающейся весны, первые проталины сводили с ума; боже мой, каким восторгом полнились бесхитростные сердчишки, когда после затяжной зимы мы наконец сбрасывали заплатанные катанки и выметывались на улицу босиком. Первые протайки, первые залысины на буграх, первые пряди старой травяной ветоши, первые прогревшиеся половицы деревянных тротуаров, куда можно прорваться, проваливаясь по колена в снега, а после скакать, кричать что-то бессмысленное и хохотать заполошно. Дикий восторг жизни овладевал нами в эти необыкновенные минуты, домой не хотелось возвращаться, а надвигающиеся сумерки еще пуще раззадоривали нас. А мать приневоливает к дому, бежит следом с опояскою и грозится страшно, с надрывом в голосе: вот ужо, вернись, дескать, обормот, запорю до смерти. Но угрозливость этих напуганных слов остается где-то далеко за спиною, и ты, как жеребенок-стригунок, заломив голову, уже мчишься в поля, разбрызгивая снег, кидаешь пальтюшку на черепушку обтаявшей земли, источенной мышами, и, подогнув под себя закоченелые ступни, таращишь глазенки на друзей своих, гордый подвигом. И вот костерок затуманился, огонек пробежался по сухим соломинкам, вгрызся в сухостоину, и воздух наполнился тем невыразимым, тем неповторимым запахом дыма, какой бывает лишь весною. Что делать? Что делать мне, если нем, безгласен язык, не хватает слов, чтобы выразить неумираемые чувства. А сенокосы, длинные светлые летние ночи, гоньба на лошадях, спелый запах сена, общность потных лиц и тел за длинным щербатым столом, когда дружно тянутся деревянные ложки к общей оловянной миске, и тогда нет ничего вкуснее в мире бригадного супа. Залезешь в балаган и оттуда с радостью оглядываешь длинные зароды с острыми овершьями стожаров, расползшиеся по длинному наволоку.

Эти видения детства бесконечны, сладки и завораживающи, каким бы горьким ни было оно. Какими путями вливается в душу природа, как сохраняется там под грузом затрапезного, уму непостижимо. И, всего навидавшись за жизнь, в один прекрасный день вдруг открывается нам, что красота мира вошла в нас в те далекие нищие годы, когда душа, заплутавшаяся в голодной утробе, была вроде бы слепа и неразвита, а ум весь занят поисками пропитанья. Это ли не чудо? Лишь нынче, увидев мирную картину возрождающегося утра иль тихий печальный закат, мы словно бы

натыкаемся взглядом на ощутимую преграду, вздрагиваем от внезапного озноба и в порыве расслабленности, почти слезливости, восклицаем: "Господи, как прекрасен мир!" Но отчего-то увиденное нами невольно сопоставляем с картиною, оставшейся в памяти с детства, и словно бы удостоверяемся в истинности, правдивости вспыхнувшего чувства.

Чудеса рождаются лишь однажды. И вот приходит день, когда необыкновенное становится обыкновенным. Но обыкновенное, привычное для нас остается чудом для кого-то иного, только что явившегося на свет. Не значит ли это, что чудо бесконечно? Иль оно живет, пока существует человечество?

8

...Из меня вырос никудышный воспитатель, ибо зачастую приходится вбивать в детскую головенку те истины, что должны бы распуститься в душе с первых шагов, пока ребенок под стол пешком ходит. Я не помню, чтобы нам внушали: сынок, слушайся старших. Старший был божеством с указующим перстом, его командное, повелевающее слово никогда не подвергалось сомнению. В моей памяти — бригадир, рыжеватый, хромой, тщедушный, с постоянно заветреным лицом мужичонко, по прозвищу Федя Я. (Может, он любил "якать" в своем косном полусбивчивом разговоре?) Федя Я, так Федя Я. Ходил он в полосатом пиджачишке, с орденом Красной Звезды, он распоряжался лошадями, он правил бригадой на сенокосе: от его одного слова зависело, поскачешь ты на гнедой тяжеловатой кобыле с прогнутой усталой широкой спиной, когда ты сидишь на ней, как на лавке, нигде тебе не подтирает, и лошаденка не спотычливая, не уросливая, она не подведет тебя на потайной луговой промоине, припорошенной сеном. Иль зауздаешь ты одра, сивого мерина с острой хребтиной, когда, взлезши на него, тебе почудится, что тебя посадили на кол, и твоя тощая заднюшка кровоточит сквозь порты, пока не задубеет. Но ты ездишь, ты терпишь, ты работаешь вместе со всеми, волочишь копны к стогу, хотя тебе всего лишь двенадцать лет, но ты наживщик, ты работник, ты не только получишь зимой на трудодни, но и сам себя кормишь круглое лето в бригадном стане... Кричал ли когда на нас, орду пацанвы, Федя Я? Не помню. Да и не требовалось, честное слово, мы бегом исполняли просьбы, ибо каждое слово его было решающим, оно позволяло нам быть в миру, во взрослой, такой необыкновенной и вкусной жизни...

Мир городской окраины (крохотного провинциального городка, больше похожего на большую деревню) уже разрушился, почти стерлись его вековые обычаи и правила, но он не пропал вовсе, но раскололся на очаж-

ки, озерца. Таким миром, отголоском старой общины и была сенокосная бригада иль ловческое подгородное звено, плановые охотники-отходники иль кто кормился с топора. Отголосок старшинства, подчинения, уважения и согласия невольно доносился и в житейский затрапезный мир, где уже правили бабы. И как бы ни владычествовали они порою над мужьями, как бы ни погоняли их, вечно виновных в "одной беде", как бы ни мыли голову после попойки, но наша детская душонка всегда была на стороне мужика, ибо он был из того большого трудового мира, куда вскоре попадал каждый из нас.

И как-то так случилось, что изменилось это извечное правило духовного движения от младшего к старшему, в глубь веков. Массовая культура с непонятным упорством взялась внушать нам, что "яйца курей учат", старшим-де надобно слушаться и слушать детей, ибо детскими устами глаголет истина, у младших, оказывается, надобно учиться доброте и высоким чувствам. И постоянно мы видим на экране, как самовлюбленный дитешонок-эгоист с горящими глазами учит настрадавшуюся мать, как ей жить и прилично себя вести. Откуда, каким неисповедимым образом в семейные отношения прокралась эта фальшь, это тонкое вкрадчивое начетничество, всякие сентенции о доброте, порядочности, льющиеся из детских все знающих резонерских уст. И тот житейский выстраданный опыт, что прирастает с синяками и шишками и одухотворяет наши сердца, вдруг оказывается ненужным. Ведь всякий ребенок, в сущности, ярый эгоист, но он столь наивен и непосредствен пока, что мы как-то и не берем в расчет эту самовлюбленность, окрашенную нашей слепой любовью; ребенку лишь в будущем предстоит набраться добросердия, жалости и сострадания. Старый человек — тот же ребенок с той лишь разницей, что эгоизм его — от усталости прожитых лет, а неподдельные искренние чувства лишены жестокости, наполнены состраданием, высшим духовным качеством...

Я не Песталоцци и не Макаренко, но в каждом из нас, литераторов, сидит наставник, начетчик, учитель: это одно из непреходящих качеств всей живой природы — возвращать приобретенные навыки. И вот взялся однажды воспитывать девочку: в душе накипело от ее безалаберности, от равнодушного, и в то же время черствого, проживания. Всякое живое слово отлетало от ее сердечка, как пыль от ветрового стекла. Я сказал ей по какому-то поводу (сам повод тут же и забылся, выкипел), надо-де слушаться старших. И она, черноглазая, с острыми косичками и бойким язычишком, склонным к словоблудию, не задумываясь, самоуверенно отрезала: "А что, если старший прикажет прыгнуть с балкона, то мне

надо прыгать?" — "Ну зачем же крайности? Такого никто тебе не прикажет, кроме скудоумного",— пробовал вразумить я. "Но откуда мне знать, что он скудоумный? А вдруг прикажет прыгнуть, и что мне делать. Может, он из психушки бежал? А вы говорите — слушаться". Девочку понесло, ее гибкий язычок окружил, замутил меня словами, мысль моя сбилась, и я с ужасом утопающего видел лишь ее торжествующий взгляд темных глаз.

И я потерпел крах. Но желание учительства от пережитой беспомощности не пропало, ибо душа наша мучается при виде нарушения всеобщего человечьего опыта. Так и хочется порою воскликнуть записное: почитайте старших, как родителей своих, ибо забвение этой заповеди делает натуру грубой и жестокосердной. Посреди людей всегда происходил обоюдный обмен жертвенности и завещательности. Старшие младшим благодарны за исполнение природной задачи, за удачное продление рода, они пестуют поколение, изнемогая порою, но тайно надеясь получить обеспечение в старости; от младших же к старшим передавалось почтение и поклон за науку, за опыт, за праведный дух. И потому природное, биологическое движется по времени вперед, а духовное — по длинной цепочке назад, от предка к предку, в темь веков. Так вырастало древо рода.

Не случайно же почти в каждой семье, когда появилась фотография, в огромной раме под стеклом скапливались целые иконостасы снимков, уже мутных, едва различимых, с торжественностью в лицах; окаменев, с особым почтением выкатив глаза, наши предки пытались донести себя в будущее как можно полнее. И не случайна на деревне страсть сниматься, "фоткаться", чтобы запечатлеть себя для потомства. От рождения до похорон — длинная череда лиц. И вот уже оно в гробу, заострившееся, почившее, ушедшее от нас, в обрамлении горестных лиц. Казалось бы, кому нужен покойник в гробу, похожий на восковую куклу? И откуда в крестьянской среде такое неукротимое желание сохранить оболочку, тень с живого и себя рядом, залитого слезами, скорбно опустившего голову. Словно бы эта фотография удостоверяет: член рода не скрылся в завесе лет, не слукавил, но ушел, как должно стоящему человеку, в кругу своей семьи; он сошел нынче в землю, но он может вернуться... Эти громадные иконостасы в черных простеньких рамах, проеденных жучком, валяются запыленные на чердаках иль пропали на свалках, а в нынешней чисто и холодно обставленной квартире, где простенок над кроватью завешан ковром, уже нет места для родительских снимков. В погоне за лучшей жизнью, покинув деревню и обустроившись в городах, бывшие однодеревенцы, печищане с той же охотой словно бы распрощались и с родом своим, как бы

намечая создать свой, новый и быть его родоначальником. Но как говорится: память идет по памяти. Забывший родителя своего, так же легко будет выкинут из воспоминаний сыном своим.

Это прекрасно, когда старший, поживший на миру, жертвует собою во имя ребенка: слухи о подобных подвигах зачастую доносятся до нас. В одной из повестей несколько зрелых охотников, кормильцев, у которых дома свои семьи, во время тумана гибнут ради ребенка, выкидываясь за борт один за другим. Эта легенда прекрасна, слов нет, но желание жертвенности в детском сердце, не ведающем пока страха, куда импульсивней.

На Севере в двадцатых годах был случай. Артель зверобоев на весновальном промысле попала в относ. Среди шестерых промышленников был мальчишка. Во время заполошного бега по льдам в азарте, в погоне за тюленем, он сломал ногу. Мужики погрузили мальчишку в лодку и потащили вместе со скарбом и промыслом. Он, видимо, очень переживал, что так глупо выпал из промысла, превратился в обузу, особенно тягостную сейчас, хотя старшие ни голосом, ни характером не давали знать ему о том. И вот после вечерней выти, когда мужики улеглись спать в лодке, накрывшись одевальницами, мальчишка выполз из-под покрывала, добрался до ближайшей продухи во льдах и нырнул. Подобная жертвенность случается лишь при высоком нравственном воспитании, в духовной среде, когда старший почитается не из страха, не из-под палки, но лишь из любви.

Мужество старшего запечатлевается в детском сердчишке, в его незамутненной памяти, и тому решительно хочется подражать при всяком удобном случае. Сколько таких примеров мы знаем из последней войны!

9

Время ценно лишь тем, насколько оно расходуется на сохранение и продление жизни, но не на ублажение, утешение тоскующей души, жаждущей неведомого излечения иль конца. Прежде время почти все расходовалось на самопрокорм и только редкие свободные вечерние часы уходили не на безделицу, но в праздничную красивую работу для души. Вся жизнь разделялась на работу для плоти и работу для сердца, и человек от рождения сознавал (не тоскуя и не протестуя при этом), что он приходит в мир для работы. В минуты душевной радости создавались ковры и финифть, чернь по серебру и резьба по кости, коробье и прялицы, солоницы и рубеля, детская деревянная игрушка и туесье, братины расписные и резные дуги, узорчатые рукавицы и цветные пояса, пошевни с картинками по дощатому задку и подзоры на кроватях, вышитые полотенца и браные скатерти. И на всем художестве песнь солнцу, земле и небу, где волшебная

птица сирин как знак души: и во всей рукотворной поэзии древо бесконечного мироздания и баба-роженица, родительница, продлевающая род...

Нынче жизнь рваная, скачками, в ней нет духовного устойчивого ритма обозначающего бесконечность и круговорот жизни, в ней нет знаков возврата, возрожденья, потому так страшатся умирать некоторые, с такою злобой и отчаянием уходят из жизни. На самом-то деле время неизменно, оно независимо от наших прихотей и воображения, но лишь фантазия неустойчивой души создала сказку, миф о новом необычном времени, и мы, упорно сопротивляясь, вдруг поверили в легенду об ускорившемся времени. Ведь только сознание времени, как бесконечного, спокойного, ритмичного кругового речного потока со множеством внутренних разнообразных течений, дает спокой душе. И оттого что время потеряло в нашем воображении (только в воображении) круговую законченность, мы охотно верим, поддаемся всяким небылицам об ускоренности жизни, о нехватке времени, его дефиците, словно бы народ походит на бегуна, задохнувшегося на короткой дистанции, когда надо выложиться полностью, чтобы в конце недолгого пути безвольно свалиться в пропасть. В нашей отчаявшейся душе не проходит болезненное сомнение, что мы мчимся к пропасти, и эта идея отравляет наше существование более всяких житейских проблем. А меж тем у нашего предка в его богатом сознании и воображении (которое мы посчитали примитивным) была твердая уверенность, что он после смерти вернется когда-нибудь обратно на матушку-землю пусть и в ином обличии, но вернется.

И хотя ныне упорно создается иллюзия гонки, соперничества, борьбы со временем, однако человек зачастую не знает, куда себя деть, как воспользоваться временем для самоустроения и для развития жизни, для делового, полезного быванья. И вот миллионы людей (что невозможно было еще полста лет назад) засели за доминошные костяшки, чтобы с утра до заката сражаться в отчаянном азарте, но с бессмысленным тупым взглядом, винной стопкой закрепляя видимую свободу и товарищество; и вот миллионы парней взяли гитару и транзистор и, пьянея в подъездах от чувственных ритмов, возбуждают, разжигают плоть, загоняя душу в мертвые потемки; и вот миллионы народу завели собак, находя в них верных друзей; миллионы засели за шахматы, чтобы утешить душу условными страстями и ошеломить время; другие миллионы полезли в тайгу, на быстрые порожистые реки, в непроходимые болота и пещеры, чтобы снять сердечную тоску и усладить жизнь, потянулись в горы, срываясь в ущелья и доказывая тем кратковременность и условность человечьего быванья; и вот миллионы занялись аксаковской рыбалкой, отправились с удочкой на реку

и озерцо ради пескаря иль тщедушной плотвицы, тем самым ускоряя свое присутствие на земле, словно бы жизней в запасе несколько; и вот многие миллионы, придя с работы и наспех перекусив, углубляются в телевизор, с пустою миною на лице и скукою ожидая ночи, когда бы можно с полным правом уйти в сон; и вот десятки миллионов расточают жизнь в узаконенных очередях, и только мое поколение потеряет в толкучках за продуктами, в бессмысленном стоянии за всякой мелочью не менее двухсот миллионов лет. И такое возникает у меня чувство, что ежели бы это время, потраченное на магазины, истратить на добрую работу, то на нашей земле возникло бы невиданное благосостояние. Скажите, когда прежде русский горожанин иль интеллигент (кроме вырождающегося дворянина) с такой безумностью изводил жизнь, так торопил ее, спеша на пенсию, и страдал лишь от того, что она утомительно длинна. Но меж тем человеку со всех сторон внушают критики и философы (именно в этом находящие сладкую утеху пугать), дескать, жизнь на земле становится невыносимой, времени никуда не хватает, народ задыхается от недостатка времени и не может никуда поспеть. Этим речам внимает сиделец у телевизора, запивая скуку чашкою крутого чая, отчаянно зевает, поглядывая на часы и подгоняя время, а затем отправляется на покой. Ему же вдогонку несутся слова о том, что народ задыхается, глохнет от потока информации, от ее обвального шквала. А меж тем на поверку этот поток зачастую мелок, имеет лишь видимую глубину и обязательность, он струит мимо нашего сознания, не возбуждая его, не подвергая работе, и эта словесная река, давящая на перепонки, отвлекает от самосозерцания, от самоуглубления, от внимательного взгляда на мир, от познания природы. И получается, что тело немеет от сидения, а душа меж тем тускнеет, задыхается в потоке, даже не прилагая усилий, чтобы выбраться из него. Отсюда апатия, душевная леность, когда работа становится в тягость. Не время чудное настало, но мы истолковали его чудовищно, мы покусились на его вечность. Время — не чудо, его нельзя ни охватить разумом, ни понять, ни обозреть, ни представить, как что-то близкое, родственное, объемное и зримое. Время над всем, оно само лепит, рождает и пестует в своем чреве все необыкновенное: Оно — мать и отец чуда.

10

Белое море — ковш с ручкой к океану. Море нравное, непокорное, с сувоями, коргами, кошками, банками, проливами и губами, с приливами и отливами (до двенадцати метров высотою), все время живет, не знает покоя, крутит, обмениваясь с водами Баренца, для морехода трудное, ковар-

ное, уросливое. Оно обманчиво покорное, домашнее для непосвященного глаза, ибо зажато сушею, обтянуто берегами. И для местного мореходца оно было воистину домашним, своею вотчиной, кормильцем. ("Пола мокра, дак и брюхо сыто".) Врожденный плаватель не трусил, а попав в гибельный относ, по десять и более ден высиживал на плавучей льдине под мрачным небом, не падая духом: он по памяти знал, куда отнесет его ветер с подветерьями. На востоке берега — Канинский, Конушинский, Абрамовский, Зимний, на юге — Летний, Онежский, Лямицкий, на западе — Поморский, Карельский, Кандалакшский, на севере — Терский. Одного пугались: как бы за Канин не вынесло, в океан, а там уж пиши пропало, пой отходную. Лишь с самолета Студеное море похоже на неряшливую скатерть в обеденных пятнах, желтые пролысины, серая стоялая вода чуть морщит, возле полыней, у продухов, внавал лежит тюлень, приплывший от Гренландии в извечную родилку для продолжения рода.

Но это однообразие белого, желтого и сизого пронизывает вас такой безысходностью, что невольно захолодеешь и спохватишься, и обрадуешься вдруг, что ты в самолете, и вспомнишь всякого терящего поморца, нередко попадавшего в гибельный относ.

Однажды рассказали мне, как помор из Золотицы заблудился в тумане. Случилось это незадолго до первой мировой войны; заблудился посреди моря, когда все промышленники разбежались по льдам за зверем. Только через сутки вернулся он к стоянке, но лодки уже не было: товарищи ждали-пождали, поискали для верности, решили, что терящий погиб — и отплыли домой. Для зверобойки этот случай рядовой. И заблудший еще восемь суток скитался по льдинам, ища в тумане берег, а не было у него ни еды, ни огня. Потом соорудил себе из льдин могилу и приготовился умирать, накрывшись совиком. Но только смежил веки, тут и услыхал плеск весел: пробиралась разводьями зверобойная лодка. И закричал страдалец, собрав остатние силы: "Рабы Божьи, возьмите терящего человека, вывезите куда-нибудь на мать сыру-землю".

Сколько же потерянных воплей слышали эти безразличные льды, которые неспешно протекали под нашим крылом. А сколько горестных женских плачей вторили им с Зимнего Берега. Да, хлеб насущный всегда был труден. Хотя и поговаривали поморы, мол, "батюшка-море, не на тебя надея, матушка-земля родит", и ставили избы задом к воде, однако сами всегда стояли лицом к морю, презирая опасность.

Нынче мы смотрим на прекрасное и полезное совсем другими глазами, чем наши пращуры. Все общественное усилие направлено на то, чтобы облегчить труд, уменьшить работу, но продлить отдых, развлечения,

пребывая в той сладкой иллюзии, будто отдых — и есть то желанное благо, ради коего и переделывает, отчаянно корежит землю человек. Но человек (народное представление) и рождается для работы, работа не унижает, но крепит душу, в настойчивой праведной работе происходит самоустраение души, а праздное время губительно для нее, сокрушает, слепит сердечные очи, наводит на душу немоту и глухоту. И когда мы пытаемся в чем-то уличить отплывшую от нас, неведомую для нас жизнь предков, то вспоминаем обязательно соху-копорюгу, лопату в забое, весельный карбас и бурлачную лямку, словно бы эти приметы особенно наглядно показывают всю унизительность, несостоятельность, несовершенство прошлой жизни. Но отнюдь! бурлачество не было особенным позором, ибо паровых судов еще не изобрелось тогда, не состоялось, и по всем великим, большим и малым рекам изобильной Руси надо было тащить барки, плоскодонки, баржи, шняки и расшивы вверх по течению лишь на лямке. И труд этот, за который добро платилось, не считался каким-то отверженным, унизительным, но туда с охотою шел мужик по веснам, чтобы собрать живую деньгу, и артелью, посильно (пусть и с натугою) доставить всякий груз в дальние окраины земли. Что за позор тут? в чем тут унижение простому человеку? Это дворянину с праздными руками, глядя с откоса великой реки, было за боль слышать печальную песню бурлака. Но сам-то бурлак не чуял в себе этого страдания, ибо бурлацкая ватага была куда легче для мужика, чем пахать-лопатить трудную землицу. Да и чем легче всякий земной труд ныне? Взять ли навальщика угля в шахте, иль молотобойца в кузне, иль коваля в цеху, иль рыбака на сейнере, когда стоишь со шкерочным ножом сутками по рассохи в живой кипящей рыбе; а чем легче охотнику-промысловику, комбайнеру, да и всякому, кто принадлежит труду? Но тот, кто извечно в работе, он не помышляет о ее тягости, он свычен с нею, всякая жилка слышит, как подобраться к инструменту ловчее и освоить его, чтобы выдюжить телу. У плотогонов Карпат и Севера иль у промышленников Поморья было куда больше риску, чем у бурлаков, ибо кусок хлеба добывался с постоянной опасностью лишиться жизни...

Труд с потом — всегда праведный, целительный, он не несет пагубы, ржавчины, все разъедающей соли цинизма, скуки и презрения.

Как становились морскими работниками?.. Федора Пономарева отец взял в море, когда тому было восемь лет. Он только и сказал: "Давай, Федяшка, собирайся. Нечего тебе на берегу собак гонять. Правда, и на промысле пока не работник, но хоть ухи на морском ветре похлебаешь и вкус ее настоящий узнаешь".

А были тогда на Печоре, родине Пономарева, сложные двадцатые годы. Колдунам верили. Как на промысел уходить — через невод прыгали. Наговоры колдовские в поплавки прятали, обрывки сетей в чане варили и поливали той водой снасти. Молили бога, чтобы дал он удачи. Это были годы, когда рыбаки еще жили в "буграх" — землянках, когда с тони на тоню водили слепого Ивана Ивановича Кабанича, а тот сказывал сказки. Он ничем не занимался, был родом из Пустозерска, пожалуй, последний житель покинутой деревни. Его водили от одной рыбацкой землянки к другой, и Федька Пономарев бегал сзади и тоже, забившись в угол сырой бугры, слушал сказки слепого Кабанича. Это и было духовное воспитание назад, от младшего к старшему, в глубь веков. И нравственности отец учил Федьку с малых "глупых" лет. Однажды убежал мальчишка без спросу на реку, щурят завидно наимал, нанизал на прут. Но тут гроза страшенная, пришлось пережидать в зароде сена. Вернулся Федька домой за полночь. И как рассказывал Пономарев (ныне сам в преклонных годах): "Прибежал радостный, кричу: "Гляди, батя, сколько я щук-то наловил!" Думал, что отец нахваливать будет. А он рыбу матери отдал и меня прутом хорошенько высек, приговаривая: "Мы все из-за тебя расстраивались, думали, утонул где. Пошто убежал, не сказался?" Так и получил я от отца вместо "ордена" порку в хорошую науку".

Как будто самый незаметный эпизод из длинной жизни, но как прочно осел он в памяти Пономарева. Потом была вторая засечка, когда ему, пионеру рыбацкой школы, председатель сельсовета вручил винтовку, правда, без патронов, и поставил у дверей нардома охранять кулаков. А те в малицах сидели на полу, дымили махрой (соседи и родичи) и кляли недоростка, поднявшего на них руку...

Послушание — как закон, как необходимость, входило в кровь ребенка с первыми шагами: море не терпит расхлябанности, расхристанности чувств, рыбацкая артель, будучи в море, сильна единением, почтением к старшему (юровщику, кормщику), никто артельщику не перечил, не вступал в спор, ибо море не дает послабки, оно чует любую слабину, червоточину средь людей и губит их.

Моря Белого не пугались, но и не задирали головы пред ним, смотрели на него с уважением, как на громадное, живое, норовистое существо с тайными повадками и норовом. Наверное, единственное море средь прочих, оно было по-домашнему обжито, как своя вотчина, как громадный надел, выпестованный своими руками. И потому не диво, что, выросши, помор брал в жены девку-хваленку на стороне, на другом берегу. И так вместе со знанием моря единился норов, становился общим для этих пределов.

Вот как об этом вспоминала сказительница Марфа Крюкова:

"В том году, когда мама шла замуж, закинуло ветром моего деда Ганю и отца в губу. Они промышляли на Терском берегу. Продали свой промысел Заборщикову в деревне Кузомени и засобирались домой. А ветры пали им всё непопутные. Вот они неделю и прожили в Чаваньге. Золотичан там много накопилось. Они и вздумали беседку созвать, девушек с Терской стороны посмотреть. Созвали подруг и мать мою: "Пойдем да пойдем, Огрофенушка, золотичан объедать". Они с промысла много накупили всего, конфет и закусок навезли из Кузомени-то! А наша мать пошла на посиделки не с охоты и потом сказывала: "Ходили золотичане, а я на них и не глядела. А меня девки вытолкали-попляши да попляши!" Вот она с отцом-то моим и плясала. А было уж ей полных шестнадцать лет, на семнадцатом. На красоту она была красива, чисто одета: в шерстяном сарафане, рукава белые кисейные, фартук с нагрудником, как у турчанок, а у нас больше носили фартуки с фанбарами. Вот дед Ганя и сказал:

"Женись, Семенушка, девка хороша. И природу не похулишь, живут прожиточно. А дома тебе все равно не позволят жениться".

* * *

Из старинного морского устава новоземельских промышленников

О бытии в послушании у кормщика всем рядовым товарищам

В морском ходу и во время промысла всем рядовым товарищам слушаться одного кормщика и ни в чем воли у него не отнимать, а в потребном случае, хотя и подавать ему совет, только учтиво и неспорно. Ежели кто из них дерзнет кормщика избранить или ударить, или не станет его слушаться, то на такого прочие рядовые должны кормщику дать помощь к наказанию по морскому обыкновению, потому что без наказания за отдалением гражданского суда иные впадут в безстрастие, от чего безпромыслица и разбитие судов приключается...

О нелишении в промысле пая больных и умерших

Ежели у кого на судне промышленник сделается болен и должность свою отправлять будет не в состоянии, то на такого человека с других кот-

ляных судов из промыслов пая не требовать, а из своей добычи доли его не лишать. Равным образом поступать и в разсуждении того, кому на судне умереть случится, принадлежащую ему из всего промысла долю отдавать его ближним.

О вывозе людей с разбитых судов

С разбитых судов людей вывозить без всякой платы и когда не станет у него припасу, то кормить их безденежно: в том с ним договоров не иметь и писем не брать, а хотя кто и возьмет, однако в действие оные не производить.

О приворачивании на знаки

Когда с разбитых судов люди на земле, или на море, или в карбасе, или на разбитом судне покажут какой ни есть знак, чтобы мимо идущее судно к себе их взяло, то к таковым неотменно приворачивать, собирать их и вывозить.

11

Мы знаем примеры бесконечного мужества, когда помора прижимала нужда в относе морском на выволочном иль загребном зверном промысле. Пока по Белому морю таскает, еще не терял присутствия духа поморец, надеясь на свою натуру, удачу и господа. Ну а как противным, уносным ветром отжимало страдальца в горло, и когда последние каменистые вараки стирались в зимней мозглети, и всякие надежды на помощь пропадали, то доставал несчастный из кожаной кисы смертную рубаху, умывался соленой водицей и уже почернелый, как головешка, ложился помирать. Но многие оставляли по себе письменное свидетельство о своей кончине, в надежде, что когда-нибудь доведется почитать родимому семейству о гибели сына, мужа, отца. Афанасий Тячкин на дне карбаса выцарапал о неисчислимых страданиях. Но тому довелось спастись из пучины, и об относе морском он оставил письменные воспоминания. И в тех памятных записках нет ни намека на страх перед смертью, но какое-то стоическое смирение и вместе с тем непреходящее мужество и постоянное поминание близких, остающихся в сиротстве. И более всего гнетет страдальца мысль: "А как-то останется семья его без надеи, без кормильца во всех остатних годах; как-то они будут горе мыкать без защитника, без притулья, без отцова благословенья".

Приключения в относе морском — излюбленные воспоминания помо-

рян еще в недавние времена. Мне самому приходилось слышать и записывать, и сейчас жалею, что не собирал их воедино — эту летопись народного мужества, а порастряс, порастерял в скитаниях.

Яков Елисеев и Осип Каншиев (по воспоминаниям Бориса Шергина) пять недель пропадали на острове Осинке, в десяти верстах от родного дому померли несчастные голодной смертию. Вот какие горькие строки выстрадал на дощечках Яков Елисеев своей жене Прасковье.

(1-я дощечка). "Пашенька! Как унесло нас — четвертое воскресенье и понедельник, ты не пришла; тепло было. Ходили по Осинке, дожидали вас, вы не приехали; Бог с вами! Панюшка, тощи стали! Карбас отлучился (оторвало ветром) 15 верст ниже льды; по тонколедице пришли".

(2-я дощечка). "Панюшка! Я воскресенье ходил по Осинке; вперед не знаем: долго ли живем, или коротко. У Канбалина якорь возьми и долг Рындину заплати. Ты, Пашенька, не забудь моей души грешной. Мы здесь друг другу клялись, и скажи отцу: всеми грехами грешны и согрешили, и ты поставь псалтырь (закажи читать). Панюшка! Вели Андриевной, чтоб Бога ради принялась и пусть простит. Мы один белый мох едим, и силы не стало. Простите, други и недруги, меня, грешного Якова Елисеева".

(3-я дощечка). "20 числа ходил по Осинке и домой смотрел; лед тонкий: если бы можно, еще бы ушел домой. Пашенька, прости. И всем скажи, и все меня простите. Братец Андрей, не обидь Парасковьи и другим не давай; если станут брать, прокляты будьте. Прости, Пашенька, и меня, и меня, грешника, простите, Якова".

* * *

В 1851 году государственный крестьянин из Кеми Иван Гвоздарев снарядил собственную шхуну "Григорий Богослов" и отправился в мае на Шпицберген для рыбных и звериных промыслов. Экипаж — девять человек, не считая хозяина. Через четыре месяца шхуна вернулась обратно, но на ней оставались только Дружинин и братья Исаковы. Они объявили, что хозяин и четыре товарища погибли на промысле во время бури, а двое померли.

Из шканечного журнала, который вел Мыхин, исполнявший должность штурмана, видно было, что шхуна снялась с якоря тридцать первого мая, а пятнадцатого пристала к Шпицбергену, шла вдоль острова и через неделю, обогнув Новый Грумант, пристала к Старому Груманту, но опасаясь становых льдов, вернулась к Немецкому острову и вошла в губу Коломбой. На этом записи кончались. Вера свидетельствам Дружинина была

полная, и дело тем бы и закончилось, пожалуй, но вскоре по Кеми разошелся слух, дескать, дело тут нечистое и нет ли тут проказы и умысла. Вдова Гвоздарева попросила провести расследование, но и оно ничего особенного не обнаружило: все упирались в показания вернувшихся промышленников. И лишь через год норвежские шкиперы пришли на Шпицберген для промыслов. Они случайно зашли в бухту и там, в выстроенной на берегу избе, увидели труп, покрытый оленьей шкурой. Подле него лежало ружье, на котором были вырезаны надписи ножом, тут же нашелся порожний пороховой рог и дробница, кусок дерева с вырезанными буквами и обломок весла с надписями. Невдалеке от избы найдено и второе тело; в избе и близь валялись обглоданные кости, оленья шерсть без кожи, изгрызенные рога. Видимо, промышленники умерли от голода.

Надписи были следующего содержания. На прикладе ружья:

"Простите нас, грешных, оставили злодеи, Бог им заплати. Донеси нашим семействам". На ложе ружья: "Мы двоима оплакали свою горькую участь, ушли в Рынтовку, это было в Кламбои 8 августа. Поехали за оленями со шхуны и оставлены товарищами. Здесь хозяин и два человека ходили по берегу три дня, затем приехали. Гвоздарева стрелили 11 августа. Каликин убежал, Иван Тихонов убежал, Григорий Антипин пострелил Ивана Гвоздарева. (Колуп собака.)"

Дружинина и братьев Исаковых тут же взяли под следствие, они по началу запирались, но по принуждению, видя надписи на ружье и терзаемые совестью — разъяснили: "Оставя на шхуне одного Барцевича, хозяин Гвоздарев с 8 часов отправился на промысел на двух карбасах. 11 августа пристали к берегу, поставили две палатки из парусов и разошлись за оленями. В шесть вечера шестеро вернулись к палаткам отдыхать, а хозяин с Каликиным и Тихоновым остались искать оленей. Тут настало для Антипина время исполнить давно задуманный план с Яковом Исаковым и Мыхиным: они решили овладеть шхуной. Подойдя к палатке, Антипин объявил, что не намерен оставаться долее на промысле, и сказал: "Ехать так ехать, а не то оставайтесь". И, сев в карбас, отчалил от берега. Тогда, страшась остаться, все бросились в карбасы. Сначала держались на веслах, но тут Антипин вновь закричал: "Ну что ж, ехать так ехать!" Это повторил и штурман Мыхин. Яков Исаков, обращаясь к брату, спросил: "Ты, Василий, как думаешь?" — "А народ-то как оставить?" — ответил Василий. "Уж тогда поехали,— возразил Яков,— надо ехать". Потом все спросили Дружинина и Михайлова, как они думают. Они ответили, что воля ваша, вас четверо, а нас двое, ежели поехали, то куда нам оставаться.

Так пристали они к шхуне и Барцевичу объявили, что хозяина нет. "Куда

ж вы его девали?" — спросил Барцевич. Ему отвечали, что те, которых нет, остались на берегу. Отдохнув на шхуне, все они, кроме Барцевича, отправились вечером на карбасе к тому месту, где оставили хозяина. Вызвали выстрелом из ружья. На выстрел показались Гвоздарев, Каликин и Тихонов и тотчас же догадались, какая участь их ждет. Подойдя к берегу, они стали просить товарищей не делать им вреда, кланялись в землю и умоляли не оставлять на острове. Гвоздарев клялся, что жаловаться не будет, говоря: мало ли чем бес подшутил, а раз воротились к ним, так, видно, Бог надоумил. Тогда некоторые, почувствовав жалость, хотели их взять, но Яков Исаков закричал:

"Кто возьмет, того не пощажу, хотя бы и брата родного. Горошину в спину пущу". Смущенные злоумышленники, отъехав от берега, стали советоваться, оставить ли хозяина с товарищами на голодную смерть или застрелить. Решились на последнее и вернулись к берегу. Гвоздарев и Каликин, увидев возвращающихся, снова стали просить, чтобы их взяли, на что Яков Исаков и Антипин возразили им: "У вас заряжены ружья, вы станете в нас стрелять!" Они ответили: "Ружья наши не заряжены".— "Так бросьте же их в воду",— закричали с карбаса. Едва это было исполнено, как Яков Исаков и Антипин выстрелили в Гвоздарева, и спутники его побежали. Тогда Яков Исаков, Мыхин и Антипин, схватив с карбаса другие ружья, выскочили на берег и бросились в погоню. Исаков снова выстрелил в хозяина и опять промахнулся. Между тем Антипин нагнал Гвоздарева, который не в силах уже был бежать. Он остановился и сказал Антипину: "Григорий Андреевич, стреляй прямо в сердце". Злодей приставил к груди своего хозяина ружье и убил наповал. Яков Исаков и Мыхин продолжали гнаться за Каликиным и Тихоновым, но потеряли их из виду. Тогда похоронили убитого в саженях двадцати от берега, и вся шайка отправилась обратно на шхуну. На другой день они пытались снова отыскать бежавших, но, не успев в поисках, снялись с якоря и пошли вдоль берега к Рымбовской губе, а оттуда, выйдя в море, разломали один карбас и выкинули в море, для того чтобы объявить после, что хозяин погиб в шторм.

Мыхин придумывал меж тем, как показать о пропаже хозяина, писал свои соображения, перечитывал их товарищам, чтобы ни в чем не сбились. Вскоре у Медвежьего острова произошла меж ними ссора: одни настаивали идти вдоль Норвежского берега к Дронгейму, разбить шхуну, все продать и уйти дальше за моря. Другие же не соглашались, хотели идти к своим домам. Тогда братья Исаковы, Дружинин и Михайлов тайно условились воспользоваться случаем удобным и бросить поодиночке в море Мыхина, Антипина и Барцевича. Однажды Мыхин стоял на корме, в это

время Яков Исаков, Дружинин и Михайлов подошли и неожиданно столкнули его в воду. На этот шум вышел Антипин. Подбежав к нему, они схватили и его и также бросили в море, а Яков Исаков сказал: "Ну, брат, как проливал чужую кровь, так и тебе возвращается". Через сутки, улучив момент, они бросили за борт и Барцевича.

Пристав к местечку Берлевы, продали там часть товару, купили рому и ужасно пьянствовали несколько дней. Исаковы с Михайловым поссорились, напали на него и задушили полотенцем. И вот из всего состава шхуны остались только трое, но им было трудно управляться со шхуной, и они наняли в Берлеве двух норвежцев до Варде. Там, продав еще часть груза и вещи, принадлежавшие Гвоздареву, и накупив разных товаров, отпустили нанятых норвежцев, а вместо них взяли двух кемских мещан, встреченных случайно в Варде, и при их пособии прибыли обратно на родину.

Во время следствия, терзаемый угрызениями совести, Дружинин покусился на самоубийство. Он вытянул из пазов стены пеньку, свил веревку, затянул ее на шее и силился повеситься на найденном им топорище, которое он увязил в камере меж печью и потолком. Часовые удержали его от нового преступления. Этому душегубу грезились постоянно его жертвы: он страдал бессонницей, ему чудилось, что кто-то около него ходит и все шепчет на ухо: "Удавись, что ты в руки даешься. Лучше удавись!"

...Этот случай, безусловно злодейский, в истории Поморья редкостный; именно о нем в архангельском архиве сохранились свидетельства, как о бессмысленной жестокости, исключительной для нравов Поморья. Но меня здесь интересует, чем закончилась она для убийцы, его нравственное страдание, его смятение, его невозможность жить: "Лучше удавись!" Свидетельства утаивают дальнейшую участь Дружинина и братьев Исаковых: всего вернее (тогда отсутствовала смертная казнь), им дали публично на Торговой площади в Архангельске кнутов, приковали к железной штанге и угнали в Сибирскую каторгу в бессрочную отсидку. И может, там, где-то на одном из долгих переходов, Дружинин сыскал возможность свести счеты со своей совестью.

12

Страшно совершить грех: перед ним бледнеет человеческий суд, так полагал поморянин. Ибо за грехи карает Бог, а за вину судит закон. Убийство, поджог, святотатство, клятвопреступление считались крестьянином за тяжкий грех. Эти грехи неотмолимые, за них гореть в аду, и совершившего тяжкий проступок жалели не потому, что его настиг закон, а потому что он сгубил свою душу. Малый же грех — мелкая кража, обман, ложь

встречались народом без страха, дескать, "в среду да в пятницу молока не похлебать, вот Бог и простит". Не грех взять то, к чему не приложен чужой труд: накосить чужой травы, потому как трава Божья, но взять клок сена из стога — преступление, так как сено работано. Не грех сходить на охоту в чужой лес, наловить рыбы, собрать лешевой еды — грибов, ягод. "Не барин, не купец развел леса, зверя и птицу,— говаривал мужик,— а Бог напустил в них всякой твари на пользу для всех. Как можно сказать, чья в лесу птица, если она не сидит на одном месте? Сегодня она здесь, а завтра звон где, у черта на рогах. Ты поди возьми ее, достань, наломайся, семь потов спусти. Так и с рыбой. Сегодня она у твоего берега, а завтра уплыла. Не поймай я ее, не станет она сидеть и подле твоего берега... Вот и гриб надо брать, как только он зародился. А не возьми, завтра в ем уже червь и никакой от него пользы никому".

Малый грех, по обыкновению, разрешался самосудом, судом стариков, судом старосты или третейским судом. Наибольшее доверие вызывал суд стариков. "Не захотят же старики брать грех на душу, стоя одной ногой в гробу". У вора, пойманного с поличным, отнимали похищенную вещь и учили его нещадно, чтобы "до новых веников помнил". Размышляли так: "Куда на него (виновника) жаловаться? Свидетелей-то нет, так где поверят? А сам-то он не в жисть не сознается. И беспременно отперся бы. А так-то я хоть маленько его проучу да и душу себе отведу". Самосудом решали оскорбление словами, драки, притеснения жен мужьями, кражи обыкновенные и со взломом, богохульство, растраты мирских денег, несоблюдение праздников, пьянство. Мир однажды решил с пьяницей так: когда входил он в раж и начинал буянить, к нему приходили мужики в дом, связывали и пороли. "Надо же выучить его. В волость его отправлять — одна канитель: подводу припасай да двух коней, а он просидит там сутки, проспится да вернется домой опять пьянствовать. А как взлупцуем его хорошенько, ну и помнит подоле, и пьянствует, гляди, пореже".

Чтоб отыскать вора, порою пользовались услугами знахаря или знахарки. Ведун отыскивал след вора, если сохранялся он, вынимал землю из-под следа левой ноги, забивал осиновый кол и оставался караулить. Народ верил, что виновный скоро вернется в одну из двенадцати ночей и вытащит из земли осиновый кол, а иначе захворает и умрет. Однако это таинственное средство считалось действенным, лишь когда след захватили горячим и по нему еще никто не прошел, не замыло его дождем, не затрусило пылью или снегом и не выдуло ветром.

Если у потерпевшего осталась часть похищенной вещи, то он кладет ее

под покойника или вмазывает в печь в избе подозреваемого. Последний непременно умрет, если не вернет хозяину похищенного.

Иногда знахари отыскивали вора за деньги. Потерпевший отдает знахарю свой шейный крест, и знахарь начинает водить крестом в чашке с водой и, пристально вглядываясь, говорит приметы вора. В одной богатой семье стали пропадать холсты. Пригласили Савку-колдуна. Савка велел накрыть стол белой скатертью, подложил под скатерть разрыв-траву, поставил на стол чашку с водой и опустил туда небольшую тонкую иглу, которая могла держаться на поверхности воды. Вся семья должна была по приказу колдуна поднимать чашку и приговаривать: "Рукою-твердыней я беру воду с тонкой иглой. Ежели я правдив, не лукав, то водица не взбунтуется и иглица не потонет. Аминь". У виновного дрогнула рука, игла потонула, и он сознался в краже.

Чем не психологический этюд с долгим ритуалом внушения, обставленный с должной торжественностью, когда с каждой минутой грех принимает четкие зримые очертания и душа виновного невольно начинает смущаться и мелко дрожать?

Если вора не обнаружил и знахарь, то созывается сход, и староста начинает стращать. "Кто это повытаскивал колья с огорода у Ивана? — спрашивает староста у мужиков.— И если кто виноват, то признавайся по чистой совести, не бери греха на душу, тут и делов-то на две копейки. Мы не будем тебя наказывать, да и Бог простит за признание, а то все равно он накажет и отметит этого человека, как ты ни скрывайся. А опосля уж и поздно будет, как спохватишься. Помните Яшку, который обокрал Устюху да не признался? Не утаился от Бога, наказал его Господь, заболели ноги: три года маялся, лечился, чего ни делал только, не помогало, с тем и остался жить, что обрезали обе ноги. Опосля-то и покаялся, да уж поздно было, ног-то не воротишь. Так сказывайте, ребята, кто у вас это дело сотворил? Бог грешников прощает, и мы все простим. Мало ли кого дьявол соблазнит. А коли нет, то разойдемся и оставим вора на Божий суд".

Присяге народ верил: это крайний шаг перед последним нравственным падением в содом, в объятия дьявольщины, откуда уже нет возврата. Это как бы ближнего своего, кровных родителей, ни в чем не повинных, вдруг проклясть на смертном одре, покидая родимую землю. Тут надо иметь каменное сердце, без единой кровяной прожилки.

Присяга, как всякая клятва, давалась в ту страшную минуту, когда уже ничто, никакие посулы, уговоры и устрашения не брали подозреваемого. Навета, облыжного слова, пустого наговора, который можно носить до крайней минуты, страшно боялся русский человек: прилюдная клятва, если

ты на нее решался, не боясь высшего суда, как бы снимала всяческую вину, которая для всех прочих пропадала в тот же миг. А если ты обманул мир, солгал пред Богом, то или в мыслях своих изведешься до края и помрешь, как шелудивая собака под забором, иль на том свете сыщется для тебя огненная сковорода, которую случится лизать неустанно, и один день тебе покажется за двести тридцать лет. При свидетелях подозреваемый крестился, снимал со стены икону, ставил ее на стол, зажигал восковую свечу и, положив три поклона, целовал икону и отрицал возводимые поклепы. "Не взвидь я белого свету, покарает меня Царица Небесная, почернею я, как сыра земля".

Или берет икону с божницы, ставит ее себе на голову и произносит: "Вот дай Бог с места не сойти, дай господи всех животов лишиться. Разрази меня, Господь, лопни мои глаза, чтобы свету не взвидеть". Затем снимает с головы икону, целует, ставит на место, а потерпевший отвечает: "Взыщи с тебя Бог".

В особенных случаях собирались миром в общественной избе, всей скопкой. Стол накрывался белой скатертью, ставился крест, икона и чаша со святой водой. Клянувшемуся разувают правую ногу, накрывают голову белым полотенцем и в руки дают зажженную свечу. Он подходит к столу, делает три земных поклона, целует икону и крест и кланяется на три стороны.

— Ты украл деньги? — спрашивает староста.— Кайся, пока не поздно. За ложную клятву тебя Господь покарает на этом и том свете. Грешно лгать перед обществом. Признайся, и мы тебя простим.

— Нет, не я. Видит Бог, не я, хоть сейчас поклянуся.

— Клянись, и мы сымем с тебя подозрение. Обвиняемый становится перед столом на колена, подымает правую руку вверх, держа в ней ком земли, и отчетливо произносит: "Ежели я виноват, то подавиться мне этим комом". И начинает есть землю, а народ следит, не давится ли он. После этого со словами: "Ежели я виноват, то захлебнуться мне святой водою" — пьет воду. И наконец зажженной свечой водит по руке, по лбу и ноге, говоря: "Ежели я виноват, то захворать мне и сгореть от антонова огня, ежели я виноват, то обезуметь мне, ежели я виноват, пусть ноги отнимутся у меня".

Потом он встает с колен, берет в руки крест, целует и говорит: "Накажи меня, Господь, всеми наказаниями, ежели я виноват, а ежели не виноват, оправь меня как на том, так и на этом свете. Аминь". Затем обращается к народу:

— Видели, старики, мою клятву страшную, которую я принял, иль не видели?

— Видели...

— Так ежели видели и считаете, что я теперь оправдался, то снимите с меня позор, смертельное покрывало.

— Просим у тебя прощения за сделанное тебе оскорбление,— произносит староста, снимая с головы полотенце, и люди отвешивают ему поклон.

— Бог простит, и я с ним,— отвечает оправдавшийся...

Любопытно, что на переломе девятнадцатого века нация стремилась познать себя во всех срезах. Она как бы добровольно обнажалась перед гигантским всевидящим оком, отдавая свою душу на посмотрение, нисколько не боясь со стороны наветов и клеветы. Тогда привлекало отношение корневого народа к суду и власти, к небу и земле, к ремеслам и искусству, к правде и лжи: не было, наверное, той области человеческих отношений, кою бы с уловкою обошла стороной русская нация в своем самопознании. Она спешила занести в неувядаемые списки свои характерные черты, чтобы потом отшагнуть за межу устоявшейся жизни. Сколько было этнографов, социологов, любителей словесности, патриотов, жертвователей, устроителей, искусителей, собирателей, фармазонов. Всяческого толка люди вдруг приоткрыли себя и полки полками ринулись в толщу народа, как в ископаемое полумертвое, случайно найденное тело. Зачастую они не требовали ни славы, ни почестей, не гнались за известностью, а плоды своей долгой работы пускали в свет бесфамильно. В сборниках общества по изучению Русского Севера я отыскал любопытнейший (на мой взгляд) этнографический очерк, подписанный двумя инициалами. Посвящен он воззрениям крестьян на суд и общество, теме, нынче вовсе забытой и странно звучащей, хотя именно из этих сложнейших представлений и можно выявить нравственную характеристику народа. Я позволю себе привести ряд выдержек из скрупулезной работы: читаешь ее, и из глубины времени явственно слышится живой голос народа в его чистоте, праведности, в смятении, вековечном лукавстве и осторожности.

Волостной суд

"Вестимо, мужик мужика лучше разберет. Барин больше по закону судит, а закон ведь не про нас писан. У нас что ни деревня-то поверье, что ни село-то обычай".

"В волостном суде как бы ни написал ты, что бы ни сказал — все складно, все разберут, а сунься-ка в окружной суд или еще куда далее-то держи про запас не одну корову".

"Волостные судьи не графы какие-то, такие же мужики, как и мы, не больше нашего знают, только сидят на стульях, знаки понадели на себя да бороды порасчесали, а всеми делами заправляет писарь: кому что захочет, то и сделает".

"Да уж какой тут суд? В нем не судят, а только рыбу удят; у нас кто богат, тот и сват, а кто беден, тот и грешен".

"У нас на суде писарь всему делу голова, а судьи только для мебели. В волостной суд хошь не ходи, не рука нам туда, писарь не за нас, а он ведь всем делом и воротит". "Что мне законы, коли судьи знакомы". "Без подарков и магарычей нешто можно судиться? — замечают крестьяне.— Земский там пущай приказывает свое: он барин, а мы свое мужицкое дело сами хорошо понимаем. Не поднеси-ка писарю магарыча, то он те и будет тянуть за нос, все будет откладывать дело и говорить, что черед не дошел. А уж про суд и говорить нечего: как вздумал, так и повернул решение. Известно, сухая ложка рот дерет: так баяли старики, так и нам помнить наказывали".

В случае неудачи уладить дело писарь изворачивается и говорит выигравшей стороне: "Ну, брат, совсем твое дело на провал было шло, да все же удалось настоять мне, а ты бы ни за что не выиграл его". А проигравшего уверяет: "Настаивал, чтобы дело решили по тебе, да ничего не мог сделать, уперлись те двое. Ну да ничего, как-нибудь, даст Бог, и поправим его".

Отношение народа к коронному суду

Смутный страх перед ним в народе. Считается полезным взять с собою на суд рубашку новорожденного ребенка или шкурку ужа иль повесить на шею тетрадку, в которой списан "Сон Богородицы", или сказание о "Двенадцати Пятницах", хорошо помолиться со всей семьей пред иконою Святого Николая, но только не становиться возле печки: она уничтожает действие молитвы; помогает перед судом, на самом входе произнести:

"Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его" или заклинание: "Избави меня от ужасти, от страсти, от беды и от напасти, от меча и от огня, от полымя, от зверя бегучего, и от змея ползучего, и от лихого человека. Аминь. На амине свет стоит, на моих словах крест лежит, на кресте сам Иисус Христос почивает". Полезным считается во время суда держать пасхальное яйцо в кармане и катать его там. Но особенно действенным средством признается, если кто каждый день читает по три раза 90-й и 108-й псалмы или Евангелие утром и вечером; такой человек может высудить всякое дело на суде...

Несмотря на отвращение к судам в деревне, иногда встречаются люди

"крючкотворы", "сутяги", которым только бы судиться да рядиться, а дела никакого не делать и которые из суда не выходят. Такой и до сената доходит. Иногда заставляет судиться самолюбие: "Не поддамся я ему, супостату, ни за что. Вконец разорюсь, а добьюсь своего и покажу ему, как судиться со мною. Не рассудят в волостном, в уезд подамся, там не рассудят, в окружной пойду: в губернском не рассудят, в сенат подамся, до самого царя-батюшки дойду, а не поддамся".

А выиграв дело, такой мужик начинает похваляться: "Вот, брат, дело-то как обделал. Где ему тягаться со мною".

...Деревенские адвокаты бывают оседлые и бродячие. Первые нередко занимаются мелкой торговлей, вторые в розысках за клиентом переходят из деревни в деревню. Говорильщик получает вознаграждение от 75 коп. до 1 руб. в сутки, кроме того, пользуется подводой для проезда в суд и обратно и угощением. Нередко не брезгует брать и натурою: хлебом, мясом, картофелем. Одет он в сапоги и поддевку. Опустившийся же имеет обрюзгшее от водки лицо, руки у него трясутся, одежда поистаскана, на ногах старые калоши. Это адвокат, прошедший огонь, и воду, и медные трубы. За бутылку водки наговорит в суде столько, что не даст судьям опомниться, а мужикам это и надо:

"Вот, мол, как чешет он". На волостной суд они не допускаются, но стоят у крыльца правления или в сенях и наставляют тяжущихся, как вести себя. Главное же их поле на суде у земских начальников. Приходит такой адвокат к мужику и говорит: "Не чуешь над собою беды?" — "Нет,— отвечает тот,— а что?" — "Да то, что у тебя есть враги, норовят извести тебя".— "Кто?" — "Магарыч будет, так и скажу".— "Дело не за магарычом, говори".— "Ну да ладно, только ты никому. Вот встрелся я вчерась с Демкой, разговорился, а он прямо мне и говорит: смотри, говорит, не передавай только Петрухе, а я ему покажу, как Демку не уважать. Я его живого из рук не выпущу, кожу с него сдеру, а мясо собакам брошу. А нет, так когда хлеб уберет в сарай, возьму и спалю. Говорит так, а сам весь трясется, зубами скрипит. Смотри, Петруха, будь осторожен, бойся его, да про меня не проговорись". И вот начинает Петруха таить против Демки страх и злобу.

Адвокат умеет из неправого делать правое, перевернуть дело по-своему. Адвокат — продажная душа — напишет жалобу хоть на отца родного.

"Какой уж это человек,— отзываются о нем,— коли он нашим и вашим служит? Кто бы ни пришел, прав ли, не прав, он за все берется". Говорят про адвоката так: "Сам я брехать не выучился, так занял за себя собаку".

"Беда одно слово! всех пересудил: дело не дело, а как только кто о чем сказал ему просто так — он те сейчас и подстрекает на суд".

"Ворон ворону глаз не выклюет, так и своего никогда не выдаст".

Про следователя судебного говорят: "Он что захочет, то с мужиком и сделает; заберет его под арест, закует в колодки и отправит в тюрьму. Перед ним пляшет урядник и становой. Попадешь к нему в руки-не-сдобровать. Когда следователь учнет сымать допрос, держи ухо востро, потому он мастер сбивать с толку. Ты у него, как на исповеди. Кругом тихо, муха пролетит — слышно, инда жутко сделается. Хоть бы раскричался, обругал — и то легче бы было. Это не свой брат мужик, он тя насквозь видит. Ты ему одно, а он тебя сбивает на свое, а чуть мало-мальски сбился, ну и шабаш, попал в отделку. Ты не смотри, что он говорит "вы" да "вы", после только очухаешься". Производится, например, следствие по делу об убийстве одной старухи с целью ограбления денег. Вызван старик Клинков, ближайший родственник убитой, к которому она относилась с полным доверием. Перепуганный сначала, он потом приободрился и стал давать увертливые показания, памятуя советы, что у следователя надо прятать язык за зубами, чтобы уйти подобру-поздорову.

"Что, бабка носила при себе деньги на шее?" — спрашивает следователь. "Да как же я знать-то могу, нешто можно за пазуху женщине лезть, да еще к родне".— "А может, кто-нибудь видел, как она снимала рубаху?" — "И порядку у нас этого нет. У нас бабы при мужиках рубах не сымают".— "А сколько у нее было денег?" — "Да кто ж ее знает? Почем я знать могу? Коли бы сказывала, а то нет".

Окружной суд

Крестьянина более всего изумляет необычная обстановка, робость берет при виде швейцара, курьеров, обширных приемных, лестниц, ковров и т. д.

"Идет это какой-нибудь,— рассказывают они,— а ты и не знаешь, кланяться ему или нет".

"Вот это суд так суд. Там первое дело сейчас всех к присяге привесть, значит, и не увильнешь. Хошь не хошь, а правду выкладывай".

"Суд настоящий, по закону, только уж больно много денег приходится тратить, потому живи в городе, проедайся. Там рублей не берут, а уж сотню припасай".

"Бога-то ведь не обманешь. Он все равно не тем, так другим, а все-таки накажет".

Свидетелями идут крайне неохотно.

"Сохрани Бог, если по какому делу попадешь в свидетели. Затаскают тебя, ходи то к следователю, то в суд".

"Знайку на суд ведут, а незнайка дома сидит".

"Куда вас черти несут,— остерегают старики детей.— Чтобы вас увидели да в свидетели притянули? Или на суде побывать захотели? Люди будут работать, а вы по судам таскаться. Схоронься, говорят, не смей рожи своей показывать!"

"Уж ты извини меня, хоть я и видел, как воровал он, а на суде, милый, скажу, что ничего не знаю. Рассуди сам: таперича идешь себе по деревне без опаски, хошь днем, хошь ночью, а то ведь все опасаться будешь, как бы он тебя да из-за угла-то не пристукнул. Покажи-ка ты против него, такого пса, да он тебе натворит бед".

"Ну как же я про него скажу правду на суде? У меня вон хлеб на исходе, сена нет скотину кормить, куда пойдешь? К нему же идти придется, выручай, мол. Хошь и с лихвой возьмет, но все же даст. А скажи про него всю правду, что знаю да видел, так он меня, хороший ты человек, и на глаза-то не пустит. Нет уж, лучше уволь".

"Правду на суде сказать — человека обидеть, а солгать — Богу согрешить. И выходит: куда ни кинь — все клин, куда ни ступи — все в яму попадешь".

"Избавь ты меня от этого. Вон Ваську пригласи, ему все равно что делать, на печи лежит, да и выпить любит. Покойник родитель на судах не бывал да и мне заказывал".

Свидетеля везут на лошади в суд, угощают за беспокойство иль уплачивают за волокиту. Перед поездкой в суд свидетеля принято угощать, чтобы "правду-матку резал смело".

"Вишь ты, нашелся. Пойду я так-то в свидетели без всего. Теряй свое дело да таскайся в волость да к земскому. Ну денег-то хошь я и не возьму, а без угощения, сам знаешь, нельзя. Царь и тот солдат перед войной водкой поит".

"Присягу съесть — все равно что от Бога отступиться или Христа продать... Ну съел-таки присягу, Бог с ним. Не судей обманул, а Бога. Когда-нибудь уж подавится, так ему это не сойдет".

Когда хотят отвести от присяги (если по принуждению), то заносят левую руку за спину и складывают там пальцы крестом. Присяга входит по пальцам правой руки, а по левой стекает вон".

"От сумы да от тюрьмы не открещивайся".

"Грех да беда на ком не живут".

"Хлеб да соль и разбойника укрощают".

* * *

Что за сила в клятве? Не Страшного же суда, не громокипящего ада пугался человек, когда присягал землей, огнем и водою. Ведь иному побожиться что плюнуть: и все однодеревенцы видели, что ничего с варнаком не случалось, небесной кары не следовало, сыра земля не разверзалась, чтобы поглотить нечестивца. Знать, клятва — это ответ перед душою, пред всем долгим родом, что незримо следит за нами, пред совестью, что тлеет неугасимо и не дает переступить черту правды. И проступки, все прегрешения других нам не в урок, не в правило, ибо у всякого судилище внутри, и куда страшнее оно всякого истязания.

Один неимущий мужик Василий попросил однажды денег взаймы у брата своего, но тот не дал. Тогда Василий стал грозиться на каждом шагу и клясть брата за скупость и жадность, обещал добраться до денег, а удобный случай всегда сыщется. И деньги действительно пропали. Однако Василий упорно отрицал вину, хотя все улики показывали на него. Тогда мирской сход подверг подозреваемого истязанию. Привязали к столбу и начали сечь кнутовьями, затем заперли в порожний амбар и сутки морили голодом, через сутки опять секли, а после того, затопив избу по-черному, перевязали его вожжами и подтянули к дыму. Но мужик терпел, отрицал вину. Тогда накормили ветчиной с солеными огурцами и поставили вблизи кружку с водой так, чтобы Василий не мог дотянуться. Но и это не помогло. Наконец крестьяне подогнали Василия под присягу, и только страх перед клятвой заставил его признаться в проступке...

13

Есть чувства народные, которые плохо поддаются рассуждениям, и никаких слов не хватает, чтобы выразить: их глубина, их вековечность служат той препоною, что не дает понять происхождение их, искренность и необходимость. Все внутреннее, переживательное скрыто за практической, житейской пользой. Об этих оттенках хотелось бы поразмышлять, не преследуя полной, широкой картины, которую можно написать лишь всем сообща.

Молодой лишь помышляет о будущем: он долго примеривается к жизни, соображает, выстраивает в мечтах, выбирает варианты, прилепливается гнездом к корневищу, и пока-то мыкается по земле, пока-то выбирает надежного прислону, а там, глядь — уж и не молодой ты вовсе, молодое, оказывается, неприметно заскорбело и отвердело, а значит, и ты сам на той незримой черте, когда уже твердо известно, что и ты не вечен, и рядом тот порог, с которого с такой решительностью отшагнул в будущее.

Ибо старый человек весь живет памятью: он разлучается с настоящим неведомо когда, и отныне многие приметы настоящего раздражают не тем лишь, что особенно плохи, ненатуральны, но более всего оттого, что чем-то жмут, заслоняют прошлое, пытаются оттеснить памятное, давнее, вроде бы навсегда отшелушенное. Но, оказывается, с чем в детстве и юности мы с нетерпением расстаемся, стаптываем под ноги, как заношенную одежонку, оно вдруг объявляется откуда-то из неведомого чулана, сохраненное чьей-то разумной благожелательной душою. Память — это не одежа, кою можно износить и растрясти по ветру, не шабалы, не лопатина девическая, не большой наряд девки-хваленки, что лежит впотемни сундука долгие годы и извлекается лишь кой-когда для просушки. Это, знать, что-то совсем иное, если мы природное житийное кольцо замыкаем именно прошлым, возвращаемся в него и растворяемся, тихо, покорно погружаемся в то лоно, из которого однажды изошли.

Так как же понять движение народа, его неуклонное стремление вперед, к новшествам и переменам, если судьба каждого в конце пути — облачиться в серенькое, незаметное и по цвету сравняться с осенними сумерками, ежели все духовное устремляется обратно? Это словно бы оборотясь лицом к радостному небосклону, солнечно озаренному, и вроде бы стремясь вперед, чтобы настичь ярило во всем его сиянии, однако неуклонно пятиться в сумерки, в знакомое и тенистое, в родное, в ту самую обитель, из которой с такою ожесточенностью сердечной убегали.

И если почти каждый переживает подобное, то и весь народ, значит, душою-то если и перемещается вперед, то на несколько поколений запоздалее, чем всякий энергический расчетливый ум, руководимый расслабленной плотью. И происходит то духовное естественное запаздывание, которым и пользуются полные расчета и комбинаций прогрессисты, чтобы столкнуть живую землю в пропасть и подсмотреть, что будет с нею в гибельных корчах. А когда очнувшейся душою осознает человечество, что под ногами пустота, серный удушливый провал, полный огня, то поздно будет молить о помощи и взывать к памяти...

* * *

Жизнь каждый раз убеждает всякого из нас, что вовсе и не стоило убегать от порога, но мы спешим, больно ударяемся и все в синяках, изрядно поуставши от науки, возвращаемся обратно.

Помню деревенский обед: стол в переднем простенке, тщательно выскобленный ножом и дочиста промытый. Но речь не о столе, как бы речис-

то, со вкусом ни был устроен он, тут дело мастера, но не крестьянского побыта. И не в том сейчас интерес, за каким столом елось-пилось. И не примусь я описывать, какой поварней занималась хозяйка, об этом я упоминал ранее. Но ведь зачастую прошлое понимается нами так, будто в минувшем, в прожитом не нами все было не так, как у настоящих людей, и лишь через многие годы с трудом доходишь своим умишком до той истины, что в общежитейском распорядке (быт, навыки, обычаи, умелость, обряды) ничего нового со временем не приобрелось, но зато заметно утратилось, поубавилось из буднего круга жизни.

Я уже упоминал о "заборной книжке" моего деда по отцу Петра Назаровича Личутина. Роясь в блокнотах, я нашел и саму перепись того документа, чрезвычайно интересную для меня. Вот это понаименованье браного в лавке купца Шевкуненко товару в шестнадцатом году. (Кстати, из этой купеческой фамилии вышел главный терапевт Советской Армии, генерал-лейтенант, профессор Шевкуненко.)

...Валенки, изюм, мука картофельная, масло, нитки, иголки, сахар, треска, харьюзы, керосин, орехи грецкие, огурцы, сушки, конфеты, щуки, печенье, мясо, пеляди, резина, бумага, толокно, цикорий, шоколад, крахмал, сиги, наваги, калачи, стекло, пастилы, пикша, оленина, кнопки, крупичатка, бумазея, ситец, полотна, варенье, кукла, греча, монпасье, закуски, кружева, сало, козули, ленты, языки оленьи, коленкор, колбаса, клюква, чулки, тесьма, пудра, открытки, квас, горчица, орехи сибирские, пшено, халва, гольцы, кофе, желе, гребень, рис, сосиски, горох, капуста, холст, морошка, грибы, сухари, сельди, батист, сатин, мадаполам, солод, овсянка, яйца, брусника, бусы, свечи, галоши, сыр, заедки, сургуч, мука ржаная, шелк, масло русское, вафли.

Судя по перечислению обиходных вещей, семья дедушки не была ни раздетой, ни голодной, и многое, что стоит в этом, теперь музейном списке, давно уже пропало из пользования нынешнего провинциала. Но помимо этого, несомненно, было брано и покупывано в окрестных деревнях и с ярмарочного торгу, и с губернского городу привозилось, и прямо с промыслу речного и морского приобреталось, да и от своей коровенки и овчишек, которых держала семья дедушки, тоже был свой толк.

Поведение человека не в последнюю очередь строило и застолье. Ела семья по обыкновению из общей миски: поначалу мужчины и дети на выросте (если большая семья), потом хозяйка-большуха, невестки, дочери — женская половина. Ели, соблюдая, очередность: ребенок никогда не тянулся к миске поперед отца, обязательно подставлял под ложку кус хлеба, чтобы было опрятно. Никто не забегал вперед, не тянули мяса, не рыскали во щах, загребая погуще и пожирнее; ритм еды задавал хозяин (отец или

дед). Потом он командовал: "Мясо доставать!" — и все ловили мясо, уже загодя нарезанное хозяйкою на куски, с тем расчетом, чтобы никто не оставался в обиде. Ежели и находился озорник, разбитной малый, такой оголец, что на ровном месте дыру вертит, то он получал иль окрик от отца, иль деревянной ложкой по лбу с весьма ощутительным намеком: "Когда я ем, то глух и нем".

На Севере много ели рыбы: обычно пекли щуку иль камбалу печерского засола в глиняных ладках, запекали много, сразу на всю неделю, и она хранилась на мосту в шкафу на полках. Во время выти щуку макали из одной ладки, подливая к рыбе воды и постного масла, всяк знал свой уголок посуды, не лез под чужую руку, не елозил понапрасну пальцами в подливе. Трапеза сближала, соединяла семью еще теснее, вот почему где бы ты ни был в данную минуту на деревне, но дело отложи и иди к выти.

Голодный ли ты встал, иль настроя к еде не было, но с куском на улицу не ходи. Помню, как бранили нас старшие, когда мы бежали на улицу с куском: не от скупости ругали, но из обычая, чтобы мы не нарушали извечное правило. С молитвы трапеза начиналась и ею же кончалась, и с последним молитвенным словом ты как бы сполна отдавал дань утробе, напитывал ее вещественным, а теперь черед творить заделье, иль слово молвить, иль думу, иль игру, но не бегать с куском, слишком заботясь о бренной плоти.

Все эти правила относились к этике жизни, они наследовались с младых ногтей, и перечить им, переиначивать как-то не было нужды. "Не нами заведено, не нам и менять".

С куском на миру был немощный иль побродяжка, сиротея, попрошайка с зобенькой на животе: люди без основы, без земли, без кормильца, без надеи.

Я помню сенокосное застолье: длинный дощатый стол, сколоченный из тесин около озерца, на пригорке, чтобы обдувало ветром и не так донимал комар. Тут же было и огнище, поварня, невдали ставили коновязь, где потные лошади в такт нашим скоркающим ложкам всхрапывали и сочно перетирали сено желтыми, уже не молодыми зубами. И мы, всяк оголец, отвлекаясь от блюда, с особой любовию взглядывали на мерина иль кобыленку, доставшуюся по наряду от бригадира на нынешний день. Мужики были все заветренные, почти черные, с выгоревшими до белизны бровями и глазами, а мы притуливались на скамье к их жарким бокам, обсыпанным сенною трухою, как молодые боровики, не смея что-то громкое сказать. Повариха ставила дымящуюся чашу человек на шесть, и мы, оголодавшие, дождавшись негласной команды старшего, его ободряющего взгляда, спешили со своей

ложкой в варево, обжигаясь полевым супом, с птичьей жадностью заглатывая хлеб. Вкуснее этой трапезы, этого сенокосного кулеша, пожалуй, и не едал я с той поры. И люди-то обочь чаще всего незнакомые, некоторые и вошли-то в согласие лишь здесь, на пожнях: но за столом, за трапезой, все как родня. И никакого чувства брезгливости, никакого недоверия к чужому здоровью, их скрытым хворям, которые, безусловно, донимали уже пожившую, изработанную плоть, словно бы сама сенокосная страда, это травяное, напоенное полуденным жаром царство исключало всякую ловушку для здорового и всех уравнивало в телесной крепости.

И вообще на Руси средь народа не было знакомо чувство брезгливости: из общей посуды пить было за обыкновение, хлебать щи из одной мисы с вовсе незнакомым человеком иль доставать руками из блюда мяса и рыбы. Только старая вера, если строго стоял в ней поморянин, вынуждала мужика иль бабу сторониться общего котла. Да еще городская жизнь, напрочь отлучающая человека от общины, заставляет как-то особенно болезненно относиться к собственной натуре и воспитывает то чувство брезгливости, недоверия к ближнему, что вовсе чуждо и непонятно человеку с земли.

14

И поныне жалею, что развел меня досадный случай с Параскевой Николаевной, той самой старой рыбачкой, что в детстве ходила к колдуну на поклон, чтобы тот простил и помиловал, пособил вылечить отца. И не только досада, но и печаль не оставляют меня, ибо усопшую уже не воскресить, а мне никогда не услышать ее присловий и побасок; столь талантливых, речистых женщин, может, прежде было и не в редкость на Руси, но ныне они в диковину. Она держала в памяти всю жизнь деревни прошлую и настоящую, но, правда, насколько доподлинно передавала иль привирала, того не скажу, но, знать, не без того было, ибо прозвище ее было Параня Москва, но я лично охотно верил каждому ее слову, добровольно отдаваясь во власть ее обаяния. Вся старуха была присадистая, как бы сбитая молотами, прежде чернее вороньего крыла волосы сбелели вовсе, но желто-коричневые глаза не тускнели и были налиты постоянной живостью. Характера она была грубоватого, вернее резкого, на язык прилипчивая, да и как не быть тут характеру, если одна выпестовала, подняла на ноги большую семью, с реки не вылезала, добывая рыбу на прокорм, а труд этот отчаянный, вовсе не бабий, возиться с неводом да шестом на столь своенравной реке, как Сояна.

Я угодил к ней на постой случайно, лет пятнадцать тому, прожил три дня и написал очерк о жизни вдовы-рыбачки, о цельности и крепости поморской бабы, вынужденной ради детей колотиться, как рыба об лед, но

при этом не теряющей живости натуры. Пересказал ее судьбу с любовию и почтением, а очерку, скоро появившемуся в газете, был чрезвычайно рад. И когда следующим летом ринулся снова в Сояну, то еще на аэродроме был окачен студеною водою — иль кипятком ошпарен? — сейчас трудно и выразить то мое неожиданное состояние, настолько я был огорчен и ошарашен. Знакомый на летном поле сразу огорошил меня, сказав, что Параскева тебя проклинает и обливает помоями. Я посчитал известие за ошибку и пошел немедля отыскивать старуху на деревне, ибо у двери ее избы был пристав (метла) — знак того, что хозяйка в отлучке.

Застал я Параскеву на почте, отправляла посылку —дочери. Я поклонился ей от двери и сказал: "Здравствуйте, Параскева Николаевна". И услышал отчетливое, прилюдно выкрикнутое хрипловатым застуженным голосом: "Пошел на..." Но я сделал вид, что ничего не случилось, дождался, когда женщина освободится, и хвостом поплелся следом, думая еще, что ошибка какая вышла, что старуха смилостивится, рассмеется и снимет с меня тягость. Но Параскева, переваливаясь, шла молча, лишь косилась изредка и надувала губу.

"Параскева Николаевна,— прервал я затянувшееся молчание.— Вы за что на меня сердитесь? Чего я вам плохого натворил? Я ведь о вас с таким почтением писал!" И вдруг ушам своим не поверил, когда огрызнулась старуха: "А пошто про меня написал? Пошто про других не писал? Ведь все эдак жили! А пошто про меня писал? Я што, просила? Ездят тут..."

С последним общеизвестным словом я понял, что примирения не состоится. Дулась старая на меня четыре года. Уж как уговаривали ее товарки, пробовали смягчить при каждом моем приезде: "Паранюшка, да што ты дуешься? Уж больно хорошо про тебя Володя написал. Ты помрешь, а память о тебе будет. О нас бы кто эдак написал". Но Параскева лишь косилась ореховым глазом и гневно боршала[1] нечленораздельное и явно непечатное. Простила она меня как-то неожиданно, незадолго до смерти, смилостивилась и пригласила заходить. Но больше откровенных разговоров у нас не случалось...

Что же вышло со старою? Отчего она прокляла меня? Я перебрал свои вины, но промашки не нашел, ибо деревенская этика мне, человеку из районного городка, молодому журналисту, была пока недоступна: я брал внешнюю сторону случая, не касаясь тех сложнейших общинных связей и обычаев, что несомненно присутствуют в любой русской деревне.

Я предал огласке внутреннюю, скрытую от чужого глаза крестьянскую

---

[1] Боршала — ворчала.

жизнь, то, сугубо деревенское, житейское, что могли обсуждать лишь в своих избах иль на завалинке, в узком семейном кругу. Я нарушил этику умолчания...

В очерке я написал и про внука Параскевы, о его любви, о том, как он ходил свататься к любимой, а она отказала парню: тогда, угорелый от любви и отчаяния, парень решил повеситься. Я-то писал с открытой душою, видя в этом поступке лишь откровенность и высоту человеческого чувства, мне хотелось преподать сомневающемуся горожанину, что и внутри народа умеют переживать и чувствовать, что глубине их страсти может позавидовать любой литературный герой. То есть помыслы мои были чисты, видит Бог, но из пожеланий, непродуманных душевно, и вышла промашка, обидная для многих. Мужики под хмельком иль на перекуре стали парня травить вполне дружелюбно, но привязчиво, как случается в народе: де, расскажи, как ты на бабе сватался и как веревку искал, чтобы задавиться. Ну и довели парня, припечатали, извели сердце: он пошел к бабке своей и ей "наобещал" за ее болтливый язык.

И меня он после не раз донимал, однажды пробовал осадить мою лодку на реке, пытался перевалиться через борт: он был изрядно пьян, глаза его горели голубым огнем, и в остром, обветренном лице была особая, ничего доброго не предвещающая решительность. А ведь в сущности это был простой и мягкий парень, без всяких шальных наклонностей, и мы действительно с ним после сошлись, и всякая недомолвка меж нами развязалась. Но я не представляю, если бы я появился в деревне сразу же после очерка да попал парню под горячую руку, то какой беды можно было бы ждать? — не мне ведать о том.

Неосторожно вторгаясь в размеренную чужую жизнь, в ее круговорот, бойся в ее течение бросить шальной камень по игривости характера, иль от скуки жизни, иль по душевной лености, ибо круги от него могут выхлестнуться широко, а отраженная волна поразит и твою судьбу. Ведь до сих пор крестьянин читает книгу, как картину жизни, искренне и непосредственно принимая на веру каждую строку, не понимая и не принимая в расчет ни вымысла, ни образа, ни обобщения, ни метафоры. И всякое разночтение с теми картинами, что его окружают, и с коих, как он полагает, и списана книга, возбуждают в его сердце несогласие, удивление и неприязнь.

15

Уж кой день нет дождя: истомилось, иссохло все не только на матери-земле, когда трава побурела и поднялась не выше карандаша, а желто-серый череп земли заголился, жаркий, костяно-жесткий даже на погляд. Но я чув-

ствую, как и каждая моя телесная волоть, каждая жилка жаждет влаги небесной, оттого и душа-то полна неясных, почти нервических мрачных предчувствий. Кто там сказал, что мы из космоса, что мы закинуты из вселенной? Каким таким неведомым путем заброшена сия тварь на клоч земли и почто именно его, отломок планеты, выбрали пришлецы из сонмища ликующих звезд? Да нет же, по тоскующей утробе своей я чувствую, что ниоткуда мы не прилетели. Человек — та же трава, и как траве, худо ему, когда долго нет дождя. И тот же косец с безжалостной косою ходит по просторам земли и подбирает злаки, осыпавшие семя, чтобы по новой весне сквозь жесткую прошлогоднюю ветошь проклюнула иная поросль человечества.

В полуночь я вышел во двор, чтобы узнать погоду. Трава, покрытая росою, обожгла босые ноги. Но небо было низкое, облитое особенно яркими звездами: тревожно горел Марс, а из черного таинственного прогала доносился неясный шорох неведомой жизни; там, в занебесье, в чертогах незримых сил вспыхивали внезапные сполохи, и какая-то волна пробегала из края в край, возбуждая светила. К этому, зорко дозорящему за мною небу я не испытывал никакого родства, но чувствовал себя жалким человечишком, самой последней тварью, лишенной каких-либо особенных примет, отличающих меня от всех ползающих, плавающих и летающих. Пожалуй, я был самый никчемный из всех обитающих на земле, ибо настолько оторвался от природы, настолько отшатнулся, удалился из нее, что позабыл всякое родство. И чтобы выжить в ней, как-то сносно обитать, человек положил на то всю силу и ум, собрался в неисчислимые скопища, оделся бетоном и камнем, настроил всяческих запретов и препонов, изобрел неисчислимое множество никому не известных законов — и все только для того, чтобы сносно просуществовать уготованные лета. Какой же я царь, если я самое бессилое существо из всех видимых и невидимых тварей, если и научился чему-то, то лишь подглядывая за природой и строя себе жалкие подобья; если мне надо закрыться от солнца, воздуха и воды, настроить от них всяческих укрытий и преград, чтобы страждущая моя плоть могла бы тешить себя, истачиваемая невидимыми хворями.

...Небо втягивало в себя, как черный, слегка парящий проран зимней речной проруби. Но почему оттуда не доносилось светлого чувства иль зова? и не было оттуда обещания блага? Космос каждою чертою своего незыблемого, но и смутного лика лишь подчеркивал свое торжество. Вот почему черствый, рассудочный, трезвый умом и расчетом человек пугается оставаться наедине с небом: он боится почувствовать свою малость, ибо с внезапным гласом из пространства прочь отлетит, как кожура с весенней березы, всякое самомнение и любование от ложных, красиво изукрашен-

ных идей, которым отдано и чувство, и душа. С холодным умом и расчетом человек пугается ночного черного зеркала, тех небесных очей, что пытливо и казняще разглядывают тебя из иного, навсегда недоступного мира...

Но в этой откровенно распахнутой карте, огромном гадальном атласном листе, испещренном космическими знаками, есть и воистину что-то пророчащее, отчего невольно возникает согласное поклонение небу и вера в необычность, верховность этого гармонического создания. Ночное обнаженное небо, пожалуй, более всего родило чувств и великих идей; всяк смертный, от смерда до великого князя, не однажды возводил очи горе, чтобы проследить предначертанный свыше путь до самого рубежа и попытаться проникнуть дальше зримого, за невидимое, за неясно брезжащие врата, в надежде когда-то войти туда.

Помню откровения слепого старого рыбака из Долгощелья. Знать, сердечными очами он не раз всматривался в небо и старался прочитать его, услышать не то чтобы глас, но хоть какой-нибудь намек. Но ведь был-то вполне неверующим. Он говорил мне: "Ежели бы сыра земля не родила да не вскормила, то и никому не бывать. Кормит, поит, потом к себе возьмет, а сама все жива будет. Такие мои мысли. Помрем — мати приберет в свое место".

Но этот сугубый язычник, поклонник земли и солнца, отчего же он ждал вести с неба? Ему-то какой толк в присутствии Вседержителя, если он давно отказался от него? Да, отказался, но в уголке сердца хранил ожидание чуда. Я спросил слепца о Боге, и он искренне ответил: "Был человек хороший, народник. И его прозвали Богом. Бога-то никто не видел, и теперь найти не могут, я так считаю своим умом. Но если есть на земле такой человек, кто видел Бога, то надо найти этого человека... Хотя я считаю, что Бога нет. Есть мать сыра-земля и воздух над ней, и не Бог творит, а природа. Я ее только и признаю".— "Но во что-то должен верить человек?" — "В совесть",— коротко ответил слепой.

16

Семен Виссарионович Маслов (отец писателя Маслова), восьмидесятишестилетний старец, увидал сон. В чем заключался сон, какую весть, знак получил иль кто явился в сновидении средь ночи, старик не сказал, но лишь признался супруге своей, что через десять дней умрет. Случилось это в конце февраля. А до того еще крепок был, ходил в магазин, и ничто не предвещало конца.

Я виделся с Семеном Виссарионовичем летом: это был хлопотун, каких поискать, он ни минуты не оставался без дела, все о чем-то пекся по двору, ходил по сетки и к рюже, порой и удача выпадала ему, и старик

радовался, как дитя (этот потомственный рыбак), когда в сетчонку улипала красная рыба. Много-то и не надо семужки, но как хорошо разговеться, запечь в ладке звенышко царской рыбки иль завернуть в кулебяку. Подымался старый ни свет ни заря, но валился спать по старинному завету рано, лежал на деревянном диване плоско, призадрав в потолок длинную седую бороду, дышал бесплотно, и зайдя в избу из сеней и глядя на острый бледный профиль, на неколебимое иссохлое тело, я всегда сомневался, жив ли хозяин. В ту неделю, пока я жил в Семже, Семен Виссарионович любопытно обхаживал меня, нового гостя: он неожиданно появлялся в боковушке, ласково извинялся за беспокойство и пытался что-то рассказать, а может, хотел исповедаться. Это сейчас запоздалым умом я понимаю его нерешительность, как сердечную смуту, что происходила в душе. Он знал, по-видимому, множество тех походных, солдатских, поморских и всяких скоморошных песен начала века, которые пелись в становьях, в зверном бою и на рыбных ловах. Чаще эти напевы скоромные, имеют мужскую соль и тот перец, который придает ходовой песне особый окрас. Он спел про разбойника Яшку, я записал на магнитофон; хозяйка же, слыша, как старик охотно поет, самому себе радуясь и подхихикивая, осекла его негромко, но властно, сказав: "Хватит петь хулиганские песни!" А чего там было хулиганского? Суть в том, что разбойник украл девичьи рубашки, когда девицы купались, но одна, не убоявшись, погналась за мужиком голая. Так вот старенькой эта песня показалась срамной, и она принялась стыдить хозяина, тот застеснялся и умолк. И вот сейчас, при недолгом прошествии времени, лишь эта песня напоминает о моем приезде в Семжу и чистом, таком ласковом и обходительном старике...

Так вот, Семен Виссарионович молвил, что через десять ден помрет. А пред тем он завещал похоронить себя в Семже, на родине, хотя из Мурманска (где жили) до деревни путь долгий, не торный, да в самую-то весеннюю распутицу. Жена сказала, де, погоди, старый, помирать, вот сын с моря придет, тогда поглядим. Старик дождался сына: потом всей семьей заехали в родимую (ныне пустую) деревеньку. И ничто не предвещало о близком исходе. Достали из погреба картохи, наварили, но старик не поел, лег на кровать. И хозяйка поняла, что мужу воистину худо, он приготовился. Старик повалился на кровать, отказался от картошки, отказался проверить двор и усадьбу по приезде: он неожиданно охладел к родной избе. Потом сбродил на кладбище, посмотрел место, обговоренное с сыном заранее, и слегка изменил прежнее намерение, сместил место метров на пять, с тем чтобы лечь в ногах у маменьки. Потом вернулся домой — и умер.

Десять дней, уготованные знамением, лишь волею своей он растянул

вдвое, чтобы хватило сроку помереть при родных и близких и лечь на своем погосте.

В чем тут исполненный дедов завет? Есть две хлопотных тягости: свадьба да похороны. И вот старик не хотел досадить близким, приносить им лишних хлопот. Он знал, что близкие завещание отца исполнят и в гробу на двух самолетах (с пересадкой), а после на тракторных санях отвезут родимого на заброшенный погост, где лежит весь род Масловых. Но ведь с живым-то куда будет проще сыновьям. И Семен Виссарионович напряг натуру и растянул предсказанный сновиденьем срок ровно настолько, чтобы одолеть путь до окраинной поморской деревни.

Лишь из необозначенной в узаконениях этики, из общинного распорядка и устава жизни всякий доброрадный человек загодя готовил себя к исходу. Я полагал, что этот обычай забылся. Но нет: соседка моя по деревне, еще в силе женщина, недавно говорит мне: "Надо кубометр досок купить". Я спрашиваю, дескать, строить решили? Да нет, отвечает. Гробы надо присмекать. Мне шесть тесин да мужу шесть. Хозяин подготовит, на подволоку складет, пусть лежат, места не унесут. А помрешь коли, так где искать досок?

Все это объяснила ровно, как о чем-то обыденном, и в ее глазах не было ни грусти, ни отчаяния. Нет, она не будет обсекать свой срок, укорачивать его, она проживет ровно столько, сколько завещано, может — и до ста лет. И дай Бог, чтобы это случилось. Но как бы там ни вышло, сколько ни протянет на белом свете, а шесть тесин, однако, лежащие на подволоке, никогда не помешают.

17

Веснами и осенями в избе всегда устраивалось мытье стен, потолка, шорканье полов и лавок: терли с яростью и усердием, подоткнув подол, босою ступнею упираясь в веник-голик из березовых вичьев. Праздник ли то был? Да пожалуй, и нет, ибо стоила та работа больших усилий и долготерпения, а для нас, пацанвы, всякое мытье — печаль и лишняя забота (таскать воду, ходить бочком и не попадаться на глаза), да и мать в те часы скора на бранное слово; всякая хозяйка в минуты большой уборки не терпит помех и чужого глаза, ведь вида она тогда неурядливого, некрасовитого да моет внагинку, вся ухвостанная грязью и зольною пеной. Загодя для этой нужды заготовлялась дресва: камень-гранит пережигался, дробился в песок, и с этой дресвой драили половицы, вынимая из них белизну и шелковое тепло. И все углы подметались, где к тому времени за долгую зиму пауки раскидывали свои силки. Вот тогда и наступал праздник с пирогами, самоваром, всеобщей чистотой, баней, и радость источала всякая душа.

Вообще к пауку, как помнится, было странное внимание. Когда вечером он, бывало, спускался по паутинке к столу, то мы смотрели на него, затаив дыхание, как сучит он лапками, смело спускаясь в мерцающее пятно света от керосиновой лампы: словно бы эта тварь понимала свою нужность, изъяв откуда-то долгожданную весть, и сейчас, как гонец, явившись, подготавливала людей, еще ничего не ведающих. "Письмо спускалось, паук письмо несет". В эту примету свято верилось, как и верилось в то, что пузыри в чашке с чаем к деньгам.

Еще лет сорок тому неколебимо верилось во все приметы, пришедшие к нам из тьмы веков, хотя усердно втолковывалось нам, что вера в приметы — суеверие, детство человечества; но не странно ли, думаю я ныне, что детство это затянулось на тыщи лет, а вся последующая "взрослая" жизнь, будто бы умная, истинная и сокровенная, уместилась в полвека. Благо ли сие, что мы с такой необъяснимой радостью стоптали старые одежды, как достойное лишь забвения и осмеяния? Но ведь и я еще не так давно верил, что паук — к письму, а пузыри в чашке с чаем — к деньгам, и те пузыри с жидкого чаю торопливо мазал на волосы, вроде бы подсмеиваясь над самим собою и этим смехом упреждая чей-то невидимый упрек в косности.

Так давайте смеяться привычкам наших родичей сообща, дружно! И смеялись, и тешились, находя в этом забаву, упражнения для острот, уже в самом осмеянии чуя некую силу и могущество пред ушедшими в землю, такими темными, забитыми, запуганными и косными. Смеялись десятки лет и вдруг споткнулись неведомо от чего, задумались, остолбенев (пускай и не все), недоуменно протирая помутившиеся душевные очи. Над кем же смеялись мы, находя потеху? Над отичем своим, над дедичем, от коего пошли в свет? Я не поверю, что человечество, смеясь, расстается со своим прошлым. Это как мать и отца своего зарезать прилюдно, не зазрясь и не отводя налитых кровью глаз. Кто-то скажет: эко ты замахнулся, сидючи за машинкой; незрелыми мыслями полнится твоя стареющая головенка. Но ведь и разбойник, самый такой отчаюга, который и кровью-то чужой умылся, знать, за жизнь свою татьбиную, да и тот не решится на мать свою плюнуть походя и стоптать ее могилу. Лишь чужестранец иль каменная душа могут вышучивать старинное предание народа и пометы его, так глубоко вкоренившиеся в душу.

Смех вызывает слезы. И мы всплакали. Но плач наш не тот, облегчающий и исцеляющий, что вызывается грустью по прошлом, но сухой, почти истерический.

Да и то молвить: до сей поры мы без приметы ни на шаг от дому. Через порог не здороваются, чтобы дружбы не терять; полы по отъезде ближнего в тот день не подметают, чтобы дорога не нарушилась; черта не помина-

ют, чтобы душу не забрал; желая удачи, говорят: "ни пуха ни пера"; покойного выносят ногами из дверей, чтобы не навещал; крошат яйца на могилу; завешивают зеркала, когда мертвец в дому; правят девятый, сороковой день и годовщину; нынче, правда, не сплевывают трижды через левое плечо, отгоняя вражью силу, но зато стучат по доске (видимо, обычай латинян); в комнатах не свистят; варят поминальную кутью; носят по мертвому черный плат; обмениваются обручальными кольцами; говорят "спасибо" и "совесть". Да мало ли стародавних примет, коими весьма и весьма обозначена нынешняя жизнь и без которых мы буквально шагу ступить не можем, хотя вроде бы и не придаем особого значения и исполняем больше по привычке. Но привычка — это дальнее присутствие верований.

Прав был историк Голубинский, когда писал, что "христианство не сильно было уничтожить самой веры в прежних богов, и запрещенное, оставшись во всей своей целости, прибегло к покрову и защите тайны".

Я не пытаюсь навести сусальной позолоты на все минувшее, да и далек от мысли видеть в пережитом одну лишь радость, но верно, что утрата исторической объективности и уважения, взгляд на прошлое лишь через нынешнее субъективное чувство, неминуемо влекут за собою нигилизм, скепсис, пошлость и неуважение к отечеству.

* * *

Паук — весть, но в то же время паутина в углах — примета обнищания, сиротства, нежити, скорой пагубы, неминуемого тлена и разрухи. Паук как бы заплетает человечью мощь, окутывает ее, каждодневно дозорит за человеком, представляя неведомую силу. По поверию, с убившего паука снималось сразу сорок грехов.

Вообще-то гнус всегда не любили. К гнусу относили не только оводье, мошку, комарье, но и лягушек, змей, мышей, крыс — всю ту нечисть, что плодилась в подземном царстве, имела самую тесную связь с вражьей силой и несла урон.

Жуков же и пауков к гнусу не причисляют: от них нет видимого худа, зла, урона. Родница моя, семидесятилетняя старушка, собирает пауков в тряпочку, ласково приговаривая: "Вчера мати твоя забрела к нам в гости, а сегодня ты, голубеюшка, знать дочка, заблудилась иль мати потеряла, так поди ищи". И выносит тварь на улицу. Так же и каждого жука, угодившего в избу, старенькая с ласковым словом выпроводит на волю. Я спрашиваю: чего-де ее жалеть, тварь, нечисть же это, подручница нежити. На такую образину и глядеть-то страшно, дрожь берет. На что родница не-

возмутимо, без укоризны отвечает: "От нее ни худа, ни добра, от животинки-то. Так и пускай живет".— "Но ведь корова иль овца вас кормит-поит, а вы ее под топор. Как понимать?" — "Так и понимай, сердешный, что без нее никуда. Вот и приходится резать".

Вот и в срединной Руси не злое отношение к всяческим жукам: я редко видел, чтобы их давили иль брезгливо морщились, но чаще выпроваживают на волю, выбрасывают в окно. И лишь колорадский жук, этот неисчислимый враг, свалившийся на русскую голову как подарок зарубежного жильца, не находит в нашем народе ничего, кроме проклятия.

* * *

Если бы не было кошек, то мыши одолели бы нас. Но ежели бы кошкам дали волю плодиться, мы превратились бы в их пленников. Потому и топят котят, пока они слепые.

Соседка рассказывала по случаю: у нее кошка принесла, приплод утопили, но одного котенка, когда женщина зазевалась, кошка прямо из рук выдернула, утащила и спрятала где-то на сеновале. И сейчас соседка, сидя со мною на крылечке, размышляла вслух, где может быть спрятана та животинка: время идет, скоро зима и подросшей бродячей кошке некуда будет приткнуться, ибо многие избы опустеют, разъедется народ по городским квартирам.

"Однажды пасу коров,— рассказывает она,— и слышу — плачут. Навзрыд ревут у леса. Котята уже большенькие. Кто-то принес и бросил там. Я стороной, стороной — и бежать прочь. Они, твари, учуяли ведь — и за мной. В деревню прибежали, давай реветь да плакать. Старуха с верхнего края, оказывается, унесла к лесу и бросила. Я к ней: ты что, старая, наделала? Да вот, говорит, внуча не отдавала топить. Говорит: баба, я буду с ими играть. Я, старая дура, и послушалась девки, оставила на грех. И вот внуча уехала в город, а мне куда с котятами? И что делать с има?.. Хоть плачь.

...Вот и я говорю, что с има делать? Как глаза-то откроют, глаза-то человечьи. Чья рука подымется убить? Живая душа. Вот и следишь за кошкой, как отяжелеет. А она прячется. Чует, скотина. Теперь ходит, кормит, дитя как-никак. А поди уследи за ней. Живая душа.

Потому и топят, пока слепенькие..."

* * *

В отношении к природе человек земли исходит из полезности и целесообразности; подобное свойство горожанином, а тем более интеллигентом,

давно утрачено иль приобрело самые болезненные формы, когда жестокость выдается за милосердие, а эгоизм — за любовь. Забавы с собакою привели к тому, что в городах утрачивается не только смысл ее и природное назначение, но и стремительно исчезает породность и свойства животного. Ее легче приласкать, уход за нею не так угнетающ, как за ближним, жалость к домашней животинке ни к чему не обязывает, ее можно и выкинуть прочь, когда надоест она и прискучит иль будет в тягость. А то сострадание, то вековое милосердие к ближнему, к несчастному, что веками накапливались в народе и передавались по эстафете, рождая новое сострадание, новые искренние чувства в душе, сейчас, перерождаясь, не излившиеся, уже угнетают жизнь, оттого и надо жалость на что-то обратить. Для этого сыскалась кошка, томящаяся в городской квартире, как в заключении, и собака, воистину разнесчастное существо, созданное природою для воли, для промысла, для простора, для услужения и работы, но вот прихотью человека превратившееся в некий манекен для примерки неизрасходованного чувства любви и тоски. Тепло, так необходимое ближнему, затворившемуся в броне одиночества и отчужденности, отдается ныне бессловесной скотинке. Случилась странная перелицовка чувства; перевертыши поселились в наших квартирах, и мы, успокоенные ложностью отношений и привязанностей, уже не представляем истинного соседства, содружества земных существ. Я уж и не вспоминаю даже, что при сем том нарушаются природные законы этики, морали, гармонии: дитя воспитывается не в любви к ближнему, не на уважении и поклонении старости, но на ласкании, эгоистичном потреблении безмолвного существа; собака и кошка превратились в некие приложения к доморощенной городской философии любви, оселком, на котором теперь проверяется истинность сердечных отношений. "Если ты любишь собаку, значит, ты добрый человек". Воистину мир сходит с ума...

Собака же всегда была служивым, работником, дармоеда не терпело крестьянское подворье, ибо скотиний двор, поле и усадьба и без того требовали постоянных телесных усилий и душевной крепости. В избу ее не пускали, кормили по обыкновению чем придется, но вместе с тем помнилась постоянно услужливость преданного существа, ее верность. Из этой благодарной памяти, чтобы подтвердить извечное содружество, жила в народе легенда, записанная Афанасьевым: "В старину незапамятную рожь была не такая, как теперь: снизу солома, а на макушке колосок; тогда от корня до самого верху все был колос. Раз показалось бабам тяжело жать, и давай они бранить Божий хлеб. Одна говорит: "Чтобы ты пропала, окаянная рожь!" Другая: "Чтобы тебе ни всходу, ни умолоту!" Третья: "Чтобы тебя, проклятая, сдернуло снизу доверху". Господь, разгневанный их неразумным ропотом,

забрал колосья и начал истреблять один за другим. Бабы стоят да смотрят. Когда осталось Богу выдернуть последний колос — сухощавый и тщедушный, тогда собаки стали молить, чтобы господь оставил на их долю сколько-нибудь колоса. Милосердный и сжалился над ними, оставил собачью долю".

Здесь собака не просто слуга двора, прислужница, но и спасительница рода человеческого. Вспоминалось ли о том когда? Навряд ли. Но в душе крестьянина всегда не меркнет чувство особой дружбы, хотя внешне особых излияний не проявляется; нередко когда и пнет за проказу иль за ворчание, чаще окрикнет грозно, чем приласкает, кормит обычно объедками со стола, а то и выпроваживает на вольную охоту. И нынче в северных деревнях собак в изобилии, они особой поморской породы, хорошо крытые мехом, с широкой добродушной мордою и маленькими зоркими глазками; они вечно голодны, промышляют где придется, но при всем том верны хозяйскому двору и привязаны до смерти. На чем завязана эта крепость чувств? — нам, горожанам, не понять. Ни сладких особых кусков, ни парного лучшего мяса, ни ласки, ни ухода, ни мытья с шампунем в ванне, ни коврика в любимом хозяйском кресле. Полуголодная бродяжья жизнь — и вот поди ж ты, какая верность дому. Потому что есть воля, а каторгу, цепь и сладким куском не задобришь. Хотя мужик до глубокой старости не держит собаку: участь дряхлеющей собаки, как и верной лошади — кончиться на живодерне.

Но когда собака на промысле, охотник сам оголодает, но помощницу накормит. Без собаки он пропащий человек. Мой добрый знакомый, природный охотник, сварив в суземке супу из свежины иль дичины, поев сам, из того же котелка кормит и своего пса. На мой недоуменный вопрос он ответил, усмехнувшись: "И что такого? Не котелок же особый таскать? Да и чем человек чище?"

Собака, как бы ни маялась в подворье промысловика, каким-то тайным, неведомым нам чувством не только осознает свою необходимость, но и уверена, что хозяин не кинет ее в трудную минуту. Отсюда и посмертная привязанность.

Городская собака, квартирная утешительница человечьих прихотей и предельно развившегося эгоизма, этой обнадеживающей крепящей ее жизнь уверенности часто и не испытывает, не разумеет ее, как не помнит уже природного смысла своего обитания на земле.

* * *

В чем наглядно проявляется любовь и привязанность к домашней скотинке? — редкий хозяин сам забивает ее, чтобы не видеть меркнущих,

таких человечьих глаз. Сердце тогда переворачивается от жалости, как бы дитя свое предал. Но после, когда голова отрублена и туша теряет живые очертания и прежние приметы, тогда хозяин освежует сам, и шкуру очистит от сала, и вымоет, и распялит сушить. Но душу вынуть из скотинки — на это решится не всякий...

Женщины часто даже мяса не едят от своей коровы, а помнят ее, кормилицу, всю оставшуюся жизнь, как помнят рано усопших детей.

Из простой судьбы

"Корова у меня бодучая была, опозорилась я с нею. Молока давала ведро, но доить — наплачешься, такая проказа. Вот и забрела однажды к соседке в огород. Осень уже была, на замежках отава. А старуха давай ее гнать и палкой промеж рог. Та в два прыжка подскочила и пырнула. Одного раза старухе хватило. Титьку почти оторвало. Вот идет старуха ко мне и говорит: "Зина, твоя корова меня забодала". И грязной-то рукой раз титьку — и прилепит. А там рана, ужас один. Оторвала и опять прилепила, как лоскут, как капустный лист. Заляпала и дальше пошла по деревне. Кого встретит, снова рассказывает и грудь-то, как олабыш, отдерет и снова: тяп-тяп грязной ладонью. А кровища хлещет.

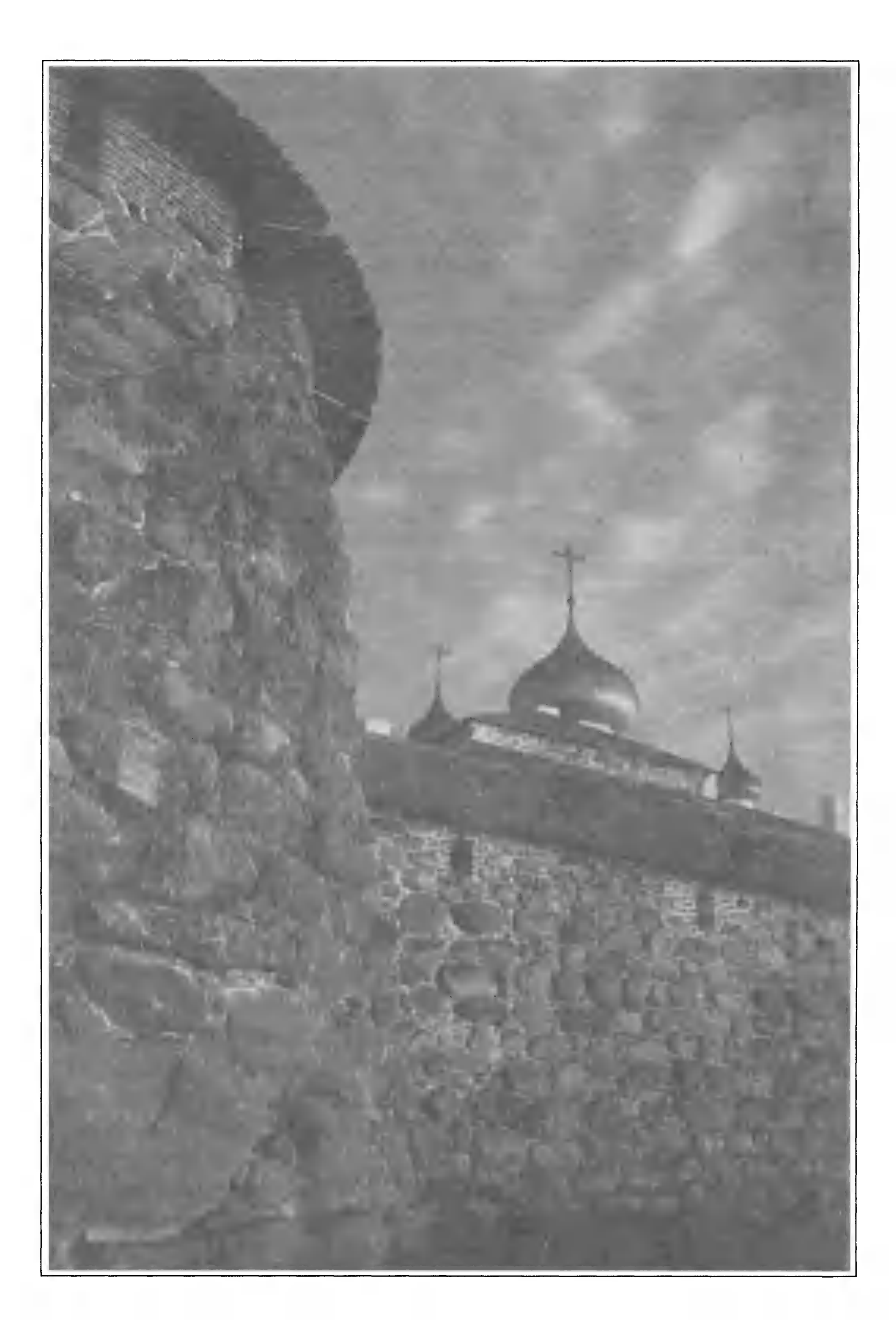
Что делать мне? Корова моя забодала, мне и отвечать. А ну помрет. Надо старуху везть. Простынею грудь замотала, повалила в телегу и повезла в участковую больницу. Наложили ей тридцать швов, она хоть бы охнула. И говорит: если выживу, то долго еще поживу. И ей хоть бы хны. И жила после, а было-то восемьдесят девять лет. Потом, правда, какой-то рак привязался, так померла. До сей поры у меня на памяти, как старуха Храброва грязной рукою грудь свою раз, как тряпку, откинет и снова прилепит: тяп-тяп.

Ну, повела я корову продавать. Думаю, раз обошлось, другой — не миновать беды. А с нею, дурною, нет слада. За тридцать верст повела в поселок, воскресный день был. В деревню одну зашла, а там старушка попалась, спрашивает: куда корову ведешь? Я говорю: продавать веду, бодучая коровка, сладу нет. Старуха и заторговала. Сама маленькая такая. Обошла корову трижды, сплюнула, погладила скотину по лбу и говорит: "А ты, моя пестравушка, с места не шевелись. Не дай Господи ни ножного ляганья, ни хвостова маханья, ни рогова боданья. Стой горой, а дои рекой, озера сметаны, реки молока".

Взяла корову за веревку и повела за собою. Та идет, как собачка, и головы ко мне не повернула. У меня и глаза на лоб. Вот тебе и бодучая..."

ВСЕ ПОД БОГОМ

Крестъ надъ мѣстомъ келіи подвижника Дорофея, предшественника Препод. отца Серафима.



ОТ МНОГИХ ЗНАНИЙ — МНОГАЯ ПЕЧАЛЬ

"Не пристало единому делиться.
Всякий народ, разделившийся в себе, не устоит".

Только теперь представляю я, насколько тернист путь к Богу для умственного человека, чтобы, сбив до язв ноги, наконец-то приткнуться хоть на край лавицы в горенке, зовомой "Православие". Это для простого человека, для селянина, лишенного подобных терзаний, хватает бумажной иконки в переднем углу, чтобы однажды уверовать сердцем сразу и навсегда без душевной натуги. Будто дверь в избу распахнется воскресным днем, когда вся семья за трапезой, и на пороге появится дорожный мужичонка со струистой бородой и прозрачным взглядом, с торбой на загорбке и с ключкой подпиральной. "Будете здоровы, — скажет случайный гость. — Хлеб да соль". И поклонится образам и осенится крестом. Хозяева глянут с теплотою и неожиданной робостью на пришельца и с восторгом торопливо воскликнут: "Садитесь с нами за стол хлеба рушать да щей покушать".

Вот так же и Спаситель входит в открывшееся сердце крестьянина.

Христос для деревенского близок, как сосед неотлучный; от него веет чистым дыханием, он свой в доску, с ним можно погутарить, спросить совета, повиниться, поплакаться в жилетку, позвать за помощью. Рожденный от земной матери, Он и молочко пил из титьки, и хлебца зобал, а после и винца не гнушался помалу. Это сродник, печищанин, что за страсти свои, за непорочность был пожалован воскресением, вечной жизнью и

принят одесную Господом. Старайтесь, сказал Бог детям своим на земле, любите друг друга, лепите доброе гнездо, пложайтесь, будьте милосердны, немстительны, творите добро ближнему, при случае постойте за меня и в конце дней ваших будете приняты мною в небесный Иерусалим. Я выстроил Дом, а в нем места хватит всем.

Помню еще из юности случай. В Ленинграде зашел в Никольский собор из любопытства; смутился, обробел, оглушен был нездешней красотою, но от внутренней неловкости еще более отстранился от молящихся, числя себя человеком иного, более высокого разбора. Возле меня стояла поклонщица уже пожилая, но с глазами жалостливыми, понятливыми, чисто промытыми до самого донца, и не было в них никакой грешной лукавой затайки. Почему-то я спросил: "А вы как сюда попали?" И прихожанка вдруг с восторгом заговорила, будто и до меня многим так исповедовалась и тем признанием залучала в церковь.

"Ой, миленький мой! Во время войны случилось, в эвакуации. А я неверующей была, да-да, в Бога не верила, смеялась. Муж погиб на фронте, я осталась одна с дочкой крохотной на руках. Едем через Урал. Все помню, как сейчас случилось. Все помню. На остановке выскочила из теплушки, побежала за водою и не успела вернуться. Поезд тронулся. Я догонять, ухватилась за поручень последнего вагона. Миленький, а куда деваться? Ведь в поезде доченька моя осталась. Где бы искать, а? Зима. Мороз под тридцать. Вишу. И вдруг что-то меня надоумило. "Господи, — взмолилась я, — если Ты есть, дай силы доехать!" И так, вцепившись в поручни, провисела я весь перегон до следующей станции. Едва потом пальцы разжали... И с той поры верю, голубчик, и внука в церковь вожу".

Так горожанки приходят в веру чаще всего. Им нужен сердечный взрыв, чтобы сорвались душевные скрепы немоты и свалились засовы. Городской человек, вырванный из живой природы, живущий в каменных сотах, лишен того чистосердечья, того наива, той простоты, с коей протекает быванье на земле-матери, где знание Бога перетекает по наследству, как усадьба, клок земли, скудное житьишко и память родовы. Горожанину, искушенному сомнениями, обманутому кишеньем толпы и ее черствостью, нужно очарованье, обязателен особый знак, зов, примета, случай, восторг необычный, который может сотворить лишь Спаситель. И тогда, освобождаясь от внутренней тягости, извечной неуверенности и сердечной сумеречности, удостоверенный необычным могуществом Его, восклицает: "Слава те, Боже. Господи, помоги".

Крестьянке же надо просто дожить до того возраста, когда пора надевать смирное, серенькое платье, и она уже без чужой науки, если нет в

селе церкви, едет в район на перекладных, ставит в храме свечки за упокой и во благо, будто век делала, причащается и исповедуется, будто со дня рождения не уклонялась от обряда и во все дни прилежно вела правило. Она и "Отче наш" не знает частенько, но церковные праздники, особенно престольные, чтит обязательно, ходит на Красную горку к могилкам, обряжает усопших, ставит поминальные обеды и, всуе не поминая Бога, меж тем, отходя ко сну, уже осенится пред крохотным образком и всяко выкостит мужа, который никогда лба не перекрестит.

Городской же бабе, напротив, нужно видение иль что-то явленное, ибо, если не случилось сердечной перемены, она неутомимо сражается с возрастом, не хочет, бедная, стареть, отгоняет всякую мысль о неизбежной кончине и не знает остановки в утехах и гульбе и часто, отталкивая от себя годы, мечтает о плотском и рядится в зазывные одежды. Из русского вроде бы сословия люди, но такие разные по искренности, по терпению и православному сознанию. Горожанки взвихрены, ибо камень и асфальт иссушили тончайшие нервные свитки; они зачастую вспыльчивы, истеричны, ибо, стремясь сохраниться в этой толчее, всячески вышелушиваются из сот, пытаются всплыть на поверхность текучей человеческой реки.

С одной знакомой студенткой был случай, ставший для нее преображением. Она с детства собирала чертей всякого вида, а их в прежние годы выпускалось во множестве: из меха и дерева, чугуна и бронзы. Толпа чертей заселила квартирку. И вот однажды девушка оказалась на осенних полевых работах. Жили они в монастырской келье.

"Как это случилось?" — после спросила мать. "Сама не пойму. Сидела с подругой за столом, разговаривали. Вдруг оглянулась на дверь, стоит у порога женщина, выше среднего роста. Я сразу поняла, что это Богородица. На иконах же видала. И вокруг нее такой свет разлит. Меня ужас охватил, язык отнялся. Как вошла? Сама не знаю. Через стену, что ли? Но дверь не открывалась. Постояла, ничего не сказала и растворилась. Я оглянулась к подруге, а та остолбенела. Я спросила: "Ты видела?" Она говорит: "Да".

Девушка смахнула всех чертей в мусор и пошла в церковь. Ныне и через пятнадцать лет она усердная прихожанка, и ничто уже не выбьет ее из православной веры.

Наверное, это видение нельзя отнести к особому чуду; если поразговаривать в городской церкви, то окажется, что со многими случалось нечто подобное. Значит, Богородица обитает возле, как искренняя заботливая мать; она не может покинуть домы, осиротить своих детей, ибо без Матери мы станем кукушатами, подброшенными в чужое гнездо. Во все труд-

ные минуты Богородица являлась на Руси, и ее развевающиеся от быстрой ходьбы пелены подобны прозрачным крылам. Особенно чуткие видят не только ее по-девически чистый лик, колышущиеся тонкие волосы и серебристый задумчиво-кроткий взгляд, но и следы ног, в которых скоро прорастают лазоревые мелкие цветики. Мать Богородица держала Русь в скрепе, не давала рассыпаться, овевала немеркнущим чувством душевного родства. И ведь не случайно в любой укромине нашей земли, на любой окраине, куда бы ни заносила судьба, можно было в деревенской избе сыскать согрева и приюта. Как нынче помню, что сердобольная чуткая деревенская баба, встретив тебя, путника, не спросит, кто ты и зачем явился на ночь глядя, но прежде накормит, напоит, отогреет на печи, а после в долгие вечера найдется время и для расспросов. Ведь много разных вестей носят странники, эти сердечные вестники, что невесомую почту слухов неустанно носят по весям.

Многие вольно иль невольно, по зову иль наитию, но оприючивались в православии, отогревались в нем, сыскивали себе верной дороги, а я, пасшийся всегда средь народа, чувствующий родственные токи, по какому-то странному чувству противился церкви, ждал от нее кощун.

Я всегда знал, что Бог есть, он правит нами: он разлит в каждой частице матери — сырой земли, но отчего-то боялся подпятиться под власть его (хотя был в Его власти), угодить в плен, повязать душу и лишиться свободы. Какой же такой свободы я боялся утратить? — я и сам себе не мог бы ответить.

А в мире вещном, стоит лишь захотеть, отыщется много оправданий твоей шаткости, много тех соблазнов, внешне невинных, которые укроют тебя от той натуги, с которою придется жить в истинной вере. Да и вся разболтанность жизни, нестесненность ее вносили смуту. Думаешь, глядя на иного согбенного мужичонку: ведь не молится, а в каждой мелочи справедлив, не ущемит, не унизит, не обидит ближних, живет по неписаным заповедям, и Господа-то ему не надо страшиться, ибо не пьяница он и не мот, и труждающийся в каждый час, и на земле не наследит, и родину защищал, проливая кровь, и в семье довольство. А другой вот человеченко спину в поклонах сломал, жестоко постничает и все праздники блюдет, а из церкви выйдя, как бы стряхивает все заветы, и уже скряга он, каких поискать, и склочник, и в семье тиран, и к рукам прибирает, что плохо лежит, и гордынею-то обуян.

А сколько зла понасеяно вокруг, и с каждым годом не убывает оно, но как бы гордится своим могуществом и похваляется своей силою безнаказанно; а Господь лишь потворствует, не обрывает злодея, не лишает жизни.

И грешат, и каются, и отмаливают, и снова грешат, выставляя всю никчемность и подлость свою напоказ.

...Ум мой метался, цеплялся за каждый случай, за увиденную обнаженную картину, чтобы ею оправдать мои шатания.

Но никак не мог забыть я того странного случая, что крайне смутил меня у мощей Сергия Радонежского. Я тогда впервые перекрестился вдруг, приложился губами к ковчежцу и, опустив долу глаза, чтобы никто не увидел в них невольной слезы, торопливо вышел из храма. Я тогда еще ничего не понял умом, но что-то во мне уже случилось, и я затосковал по Богу.

Это было двадцать два года назад.

Но сейчас, оглядываясь в молодость, я вижу, что все случившееся нанизывалось, как узелки на четках.

I. ВОССТАНИЕ ДУШИ

1. Заблудший у дороги

Однажды певец Иошка повез меня в монастырь: тамошним кузнецам была заказана кованая ограда на могилу таборного князя. Сияющий, несмотря на крутое застолье накануне, с ослепительной незамирающей улыбкой, говорливый цыган, чистосердечный, как природное дитя, он и машину-то вел по наитию, навряд ли видя дороги. Держал он руль, будто перебирал струны гитары.

Но ехать с ним было надежно и спокойно, хотя что-то во мне кисло, как пиво на худых дрожжах; вроде и запах хлебный, но нету бодрящей силы. Зачем, куда попадаю, для какой нужды? — думал уныло, провожая взглядом отлетающие в сторону серые утренние деревеньки.

"У цыган, Владимир, все есть, — хвалился Иошка. — Им не хватает лишь знамени, значка и гимна. Цыгане — птицы небесные, нас Господь кормит и хранит. Вон, воробьи-то, не пашут, не сеют... А почто нас Бог любит? — поймал Иошка мой мысленный вопрос. — Цыгане куют лошадей на пять гвоздей. Когда Иисуса распинали, цыгане выковали пять гвоздей, четыре воины Пилата забили, а пятый, который назначался в лоб Христа, кузнец проглотил. Вот Бог-то и помнит наше добро..."

Иошка запел, и его печальная протяжная песнь была похожа на тот страдный путь, который прокочевали в кибитке вековечно блуждающие по миру эти вольные беспечные странники. Но вот и им Господь понадобился.

Когда Иошка играет в застолье и поет, его мать, красивая старая жен-

щина, вдруг плачет, сует руку за лиф, достает сотенную и говорит, утирая слезы: "Хорошо, Иошка, играешь". Цыган прячет деньги в карман. "Мама, посвящаю тебе", — и снова ударяет по струнам. Старая цыганка говорит: "Худо, сынок, играешь". — "Мама, ну тогда хоть четвертную дай", — Иошка самовольно лезет за лиф. Цыганка бьет сына по рукам, они оба радостно смеются, и после недолгого раздумья над застольем снова царюет пронзительно-распевная печальная таборная песнь.

"Иошка, — спрашиваю я попутчика, — ты знавал в жизни счастливых людей?" — "Я счастливый, я очень счастливый, что живу. И везу тебя к счастливым людям".

Еще издалека открылся древний монастырь, его золотые шеломы соперничали с полуденным солнцем. Наверное, в такой обители и могли жить люди, сыскавшие земного покоя. Но вблизи, когда въехали в ворота, обнаружился весь застарелый неустрой памятника, охраняемого государством: никакого кишения строителей или неспешной монашьей жизни, полной молитвенных трудов. Двор порос травяной дурниной, кругом хлам и груды щебня, храм обставлен полусгнившими лесами, монастырские службы и деревянные келеицы давно пропали и пошли на дрова; сияющие купола казались странными посреди всеобщей разрухи. Какие же силы нужны, какая страсть, чтобы вызволить обитель из небытия, вдунуть дух?! И где те стозвонные колокола, то медное петье, что не давало заблудиться паломнику и несчастному путнику и все православное смиренное стадо поднимало на утренницу?

Я отыскиваю взглядом счастливых людей, но вижу лишь прах и тлен. Но кто-то же выковал тончайший золотой пергамент и облек в новые одежды прохудившиеся, истонченные дождем главы? Цыган, как монастырский служка, знающий все схороны обители, потащил меня узкой стежкой средь чертополоха и кровавых осыпей битого кирпича в дальний угол монастыря. Из распахнутой двери, откуда вырывался сердитый дух жженой окалины и угля, послышался перезвон молота и наковальни, тяжкие вздохи горнушки. Вытиря руки о закопченный фартук, из кузни вышел высокий, с аскетическим лицом послушник, на голове войлочная еломка, посекшаяся черная борода посыпана пеплом, на ногах громадные рыжие сапожищи, но взгляд его светлых глаз был благожелателен и кроток. Следом показался подручник его, под два метра ростом, этакая придорожная выскеть, в плечах сажень, русая борода окладом, прожаренное у горнушки простоватое лицо, просторная шарообразная голова едва припорошена черной щетинкой.

Вот они, устроители, сиднем сидящие безвылазно в обители, трудники, ма-

лая дружина, взвалившая на себя тяжкий обет созидания, то послушание, что дается людям лишь глубоко верующим. Несносимая ноша? — да, но лишь для слабых духом; но терпелив русский человек, он поначалу охнет, недоуменно разведет руками, рассмеется неведомо чему, потом напьется, а проспавшись, впряжется в хомут и ровно, безунывно потянет лямку огромного воза.

Пока шли до постоя, бегло познакомились: Иван прежде был ювелиром, потом отошел от дорогого промысла, стал кузнечным мастером и вот закрылся в монастыре и, несмотря на скудость поддержки, решил поднять обитель из руин. Нашелся и сотоварищ, Валерий, бывший коваль на бегах: в детстве его украли молдавские цыгане, он жил в таборе три года, пока-то нашли его.

По тесной крутой лестнице, истоптанной поколениями иноков до корытца, поднялись в жило — просторную тусклую келью, где студливо было даже в жаркий полдень. Наверное, прежде тут был ветчаный погреб, иль стояли рыбные кади, иль висели скотские туши. В крохотную зарешеченную оконницу едва пробивался косячок света, и в пыльном тонком луче прояснивали длинные досчатые полати вдоль стены со свалявшимися матрацами, набитыми соломой, посреди житья стоял самодельный стол из горбылей с краюхой ситного и солдатскими кружками, коричневыми от крепкого чая. Вот уже двадцать лет минуло, а я помню все до мелочей, чтобы поведать об истинном подвиге безвестных трудников, не гонявшихся за деньгою и славою, но давших обет устроения. В сводчатом потолке торчали всевозможные крючья, свисали цепи, будто здесь располагалась пыточная, куда заталкивали монахов для смирения. Послушники сразу раскочегарили буржуйку, ополоснулись, прочли молитву.

Цыган и здесь смотрелся своим в доску, наверное, в келье ему чуялось что-то от кочевого шатра. Не снимая со смуглого, словно бы обмасленного лица располагающей улыбки, сияя карими глазами, Иошка скоро обговорил свое дело и, заради зачина и встречи, выставил темно-вишневую бокастую бутыль, рассудив, хихикая, что этих помоев и в церкви принять не грех. Выпили из кружек, и та зачурованность, что обычно овладевает человеком на новом месте, сразу прошла, все стало свойским, близким сердцу: ведь и сам-то я не из барских покоев, а вылеплен из ржаного теста, и всякая неловкость скоро пропадает, когда слышишь ответное дружелюбие. Но кузнецы едва пригубили, им не терпелось вернуться к работе; они напялили войлочные колпаки и с томлением ждали конца скудной трапезы.

Мне от вина вдруг почудилось раздраженно, что это и не Божьи люди вовсе, но простые калымщики, живущие в стороне от чужих глаз, в затворе, чтобы сшибить деньгу. Захотелось уличить их в неискренности:

— Я знавал одного мужика, он булыжную дорогу мостил от станции к своей деревне, — с намеком сказал я. — Жена подвозила камни на тачке, а он пятился на коленях десять верст. А умер, не дотянув этой дороги, за сто саженей от дома. И кормился тем, что подавали.

— Знать, Божий человек, — коротко рассудил Иван, не удивившись.

— Он ни копейки не брал. Кто по дороге проедет, всяк невольно помянет. Вот уж память-то...

(Нынче закатали ту дорогу под асфальт, но бывальщину расскажут каждому, кто впервые в этих местах).

— И мы память строим. А по нас памяти не надо, — поддержал Валерий.

— Но ведь не за так же куете?

— Не за так. Живые же, кормиться надо, но по душе. Разве мало того, кто будет оживлять святыни? Темный человек или светлый?

— А не проще ли не ворошить? — подзуживал я, желая поймать страдников во лжи. — Пусть канет в тлен, негодность. Ведь все не вечно. И монастыри рождаются когда-то, как люди, и пропадают во прахе. Зачем оживлять трупину? Ведь покойников с погоста не ворачивают.

— Когда-то, может, и все истлеет. Но то уже не нашего ума дело. Но пока мы живы, должны радеть о памяти, — нехотя отвечал Иван, задумчиво вороша прихваченную у горнушки бороду. Тонкое, меловой бледности лицо, смолевая борода и червленые губы, — какое странное иконописное обличье с непотушенными приметами земных утех, от которых усердно пытается отбиться этот своевольный человек.

— Но это же внешнее: суета, мишура, одежды. Веру в душе надо лелеять. Церковь не в бревнах, а в ребрах. Вере истинной не нужны ухищренья и пестрота золота, — зачем-то нудил, притеснял я трудников, нащупывал прорешки в душе, принуждал открыться. Но не вино же так подействовало на меня? — Вот почитаешь челобитья монастырской братии, так там все одно стенанье: что свещ нет, церкви обветшали, монахи пьют и проказят, иные босы и наги замерзают на службе, печи не топлены и мучицы нет, чтобы штей пустоварных сварить да брюхо согреть. Так зачем же сейчас, когда народ вовсе откинулся от Бога и взирает на него как на причуду, печься нам о забытых храминах?

— Не о вере печемся, но о памяти, — стоял на своем Иван. — Вера сама себя хранит. И вы небось тщитесь поверить в Господа нашего?

— Нет-нет! — неведомо чего испугался я, но в душе-то ойкнуло. — Нет Бога на земле, но нет и выше. Мать — сыра земля нас спасет.

— Тогда зачем явились к нам, коли не уповаете на Бога?

— Писатель ищет счастливых людей, — засмеялся Иошка.

Позже, стоя на паперти, уже разделенные стеной отчуждения, молча наблюдали, как выезжает с монастырского подворья цыган. Иван вдруг спросил меня скорбно и тихо: "Зачем вы подначивали меня?" Я недоуменно пожал плечами. Да и что мог ответить, коли в душе моей отчаянно боролись два человека и не было меж ними перевеса.

Трудники исчезли в кузне; натужно зачуфыкала, захлюпала горнушка, весело завыстукивал по наковальне ручник, подзуживая молоту: "Поддай, еще наддай!" Шипело в лохани с водой раскаленное железо, облачки белесого пара выпархивали из кузни. Светило солнце, плыли над головою золотые шеломы, давно ли еще обглоданные, с обводами ржавых ребер и стропильника. Далеко от земли в самом небе, как муравьи, ползали недавно Иван с Валерием и покрывали храм радостной паволокой...

Кузнецы вернулись поздно вечером намаянные; едва поднялись крутой лестницей, приходя в себя, под тусклой лампой с жестяной тарелкой долго пили черный как деготь чай, окунали черствые краюхи в крупную серую соль, оттаивали лицами, и мне, бездельному и маятному скитальцу, было неловко выспрашивать о сокровенном. Да и кто я такой, чтобы копаться в душах? Следователь? Сродник? Архимарит? Иль странный дознатчик, посланный в обитель судьбою? Корил себя, что не уехал с Иошкой: сейчас бы уже катил по Москве, сразу бы подался в писательский буфет и средь родной братии опрокидывал бы за шиворот рюмку за рюмкой, заедая хлебом с селедкою, изводил бы себя бестолковой болтовней, задыхаясь от табачного чада. А к столу, к стае непустеющих стаканов подсаживались бы все новые добродеи, сбилась бы ватага, затеялся бы ор, когда всякий бы норовил перекричать, поведать свою крайнюю истину. А все бы закончилось, как всегда, ночной прохладой удивительно тихой в этот час Поварской улицы и тупым вопросом, заданным кем-то: "Ну, Володя, и это жизнь?!" — "Да, это жизнь! Так было до меня, так будет и после!" — воспаленно закричал бы я, упорствуя. И это было сущей правдою. Каждый прозябает ту жизнь, с коей может совладать.

Буржуйка скоро раскалилась: наварили картох, открыли кильку в томате. Обжигаясь, перекидывая с ладони на ладонь, торопливо облупливали картохи и, макая в крупную соль, насыпанную горкой на голую столешню, жадно наглотались, как утки, утоляя голод и смиряя азартный блеск в глазах, и сразу осоловели, расплылись по лавке, давая отдых намаянному телу. Подумалось: все мы чего-то хотим и куда-то рвемся, искрутились в бараний рог, и пуповина, вяжущая к родовому огнищу, истончилась до паутинки; и Бог один знает, чем только и крепимся воедино, не рассыпаясь в прах

по лицу земли, как вовсе чужие и ненавистные. Не из этой ли боязни помертветь душою и помчались эти дюжие молодцы в поисках избранного места, чтобы утишиться и окротиться? Чего бы им в городах-то не жить, верно? Один при ювелирном деле, когда золотая пыль, хочешь того или нет, невольно пристанет к пальцам и нальет мошну; другой — при ковке лошадей на бегах, где нет отбою от мохнатых, ловящих легкую надувную деньгу. Но вот поперлись в монастырь...

— Себя спасаете иль других? — вдруг спросил я, словно бы кто подтыкивал меня неведомый, не давал спокою. — Вот не верили, служили мамоне, и тут на тебе, как проснулись. Посты, молитвы. Ребята, откройте тайну...

— Но можно ли поделиться тайной? Ее каждый открывает сам для себя, — ответил Иван. Валерий заполз на полати, откинулся к стене, сможив глаза, дозорил за мною. Я спиною чуял его пригляд. — Открой сердце, распахни и объяви: "Входи, Боже, принимаю!"

— Так и было с тобою?

— Почти так... Однажды мне приснилось. Будто бы я в глубоком овраге, пропадаю совсем и нет мне пути наверх. Смотрю, кого бы позвать на помощь, и вдруг глас: "Теперь ты веришь, что Бог есть?" Вверху ослепительный свет и вроде лица что-то. И закричал я: "Верю, Господи, верю. Прости грехи мои и помоги". И с того дня все так постыло в городе стало и свою работу я возненавидел. Казалось, еще день и от золотой пыли задохнусь. И пошел искать уединенья...

— Видишь, тебе показало. Иль сейчас насочинял?

— Я не писатель. Чего сочинять-то. Вы во всем отчего-то сомневаетесь. Надо сомневаться, без этого никуда. Но не для того, чтобы сокрушать каноны, истины и апостолов. Их просто принять надо в себя — и все.

— Но если апостолы тайные, то они уже не апостолы.

— Они явные, они в трудах своих вечно живы, но только мы блудим. Это мы — заблудшие у дороги. Нам руку протягивают, а мы ее отпихиваем, — смущенно отвечал Иван. Он не спорил, не уверял, не втолковывал истин, не заманивал в свою ватагу, но говорил просто, стесняясь, что надо вот убеждать, как ребенка, в таком понятном. — Вас зовут, а вы бегаете. А чего бегать, коли зовут? Я где-то прочитал: "Если бы люди знали, как хорошо жить в монастыре, то все бы кинулись к нам". Вот так же и с Богом...

Помню, мне привиделось. Уже здесь, в монастыре. Я и не спал, так на нарах лежал, с кузни пришел. Вдруг вижу, старец. Как вот ты сейчас, только не сел, а стоит у скамьи. Борода длинная, в пояс, черная, помню, что лицо

строгое, худое, но не сердитое. А я будто его и дожидался, совсем не удивился. Взмолился: "Отче, помоги мне освободиться от греха". Старец взмахнул, и появился юноша, он держал в руке что-то вроде скорпиона, зеленое ужасное существо. "Вот, — сказал мне старец, — твой грех. Будешь вести себя благочестиво, грех твой засохнет, как струп". И с этими словами они пропали. А я до утра заснуть не мог.

Иван встал, помолился перед образами, копьецо лампадного огонька вдруг вздрогнуло и загнулось. Иван перекрестился, прошептал: "Чур, изыди... Крестом гражуся, крестом боронюся". Свет от керосинки неровно падал на высоколобое лицо, глаза в проваленных обочьях сейчас жестко, проницательно глянули на меня, как на тайного искусителя. Валерий тоже перекрестился, с него и сон слетел. Заговорил басовито:

— Тут вадит... Я было один оставался, Иван в город съехал по делу. Ну, значит, заснул, и вдруг по ноге, по бедру кто-то бац! Я проснулся сразу, сел, прижался к стене. А темно. Волосы на голове поднялись. Спрашиваю, кто тут? Молчок. Я к двери, значит, а дверь нараспашку. А ведь была на ночь скамьей приперта. Я вниз по лестнице, и там дверь открыта. А была заложена на огромный крюк. Вы сами видели...

— Вы с двух сторон навалились на мать землю: одни с машинным богом, другие — с распятым, а оставляете после себя лишь развалины. И бесы торжествуют на пустырях...

— Это гордыня в вас. Отсюда и мука, вы потому и здесь, — насмешливо укорил Иван, но тут же спохватился и переменил тон. — Если бы воистину не верили совсем, так не страдали бы и не мучились, жили, как все. Потому и мучаетесь, что Бог-то возле, он стучится в ваше сердце. Так впустите его. Чего медлите? Идет последний бой меж Христом и антихристом, и надо быть на чьей-то стороне. Не пристало ныне двоиться и таить личину.

— Старо все. Сном лишь живем и сказкою.

— Неправду говорите. И вы сами знаете, что неправда, и за нее цепляетесь из последних сил. — Иван огляделся вокруг, словно бы отыскивая явленную смуту, тайно проникшую в келью. Он догадывался, что это со мною пришла она во спокой затвора, но не решался прогнать меня, ибо и это был бы грех. — Мы все вроде бы хотим устроить праведную жизнь, а упрекаем друг друга в желании погибели. Это и есть бесовское наущение. Бесы всех нас хотят перессорить, а после и загубить поодиночке.

Иван замолчал. Валерий, вроде бы слушая нас, вдруг резко качнулся от стены на тюфяк и тут сладко захрапел. Я был растревожен запальчивым разговором, вошел в то состояние, когда сон кажется кощунством. Иван понял меня, пожалел:

— Если не спится, пойдемте со мною...

Он запалил толстый свечной огарыш в бронзовом стоянце и, заслоняя трепещущий слабый язычок посекновенной в кузне тонкой ладонью, двинулся на выход. Стояла парная комариная ночь и, после жарко натопленной кельи, поначалу показалась прохладной. Иван зачем-то повел меня на монастырскую стену. И посейчас помню, как долго блуждали мы в темени; я порою высовывал голову в бойницы, пытался нашарить взглядом что-то живое на воле, хоть крупинку огня, но мир деревенский спал беспробудно, даже собаки не брехали. Темь была настолько вязкая и глухая, что, казалось, можно было потрогать ее руками, скатать в свиток, скомкать в тестяной шар.

...Иван открыл тяжелые скрипящие ворота, громыхая сапожищами по чугунному полу, вошел в собор, поставил свешник у колонны. Подтащил лестницу, прислонил к паникадилу, висящему на толстой цепи, и запалил еще три свечи. По ловкости, с которою свершилась затея, я понял, что она не внове. Мрак раздался, со стен проступили лики святых угодников, едва видимые, побитые оспой, изъеденные временем. Сколько заботы предстояло проявить тут, какое усердие надобно, чтобы вызволить из праха и забвения старинное письмо. Для чего привел гостя в ночь глухую? Пустынный храм чисто выметен. Иван остановился у левого клироса и вдруг достал из голенища дудочку-жалейку, или сопелку, легкую тростниковую самоделку-волынку. Он заиграл что-то жалобное, сквозное, с тонким подвывом, вознес простенький голосишко жалейки в черноту купола, где сполошливо перелетали ночные голуби. Я не знал, куда деть руки, такими они стали вдруг грубыми, неуклюжими, и сцепил их на животе. Захотелось осениться крестом, но я пересилил желание. Но вдруг прослезился и впервые мысленно сотворил знамение и попросил прощения за содеянные грехи.

Музыка смолкла, но собор еще отзывался, подгуживал, мерк, угасал, звук долго источался через верхние продухи. Кузнец обтер дудочку, сунул назад за голенище. Он ни о чем не спрашивал, я не отвечал. Стояла глухая ночь, посреди камня стало зябко и грустно, очарование сникло, я невольно зевнул. Подумал, нельзя долго быть там, где все давно покинуто.

Иван загасил паникадило. Мы вышли. Дверь протяжно, с неохотою закрылась.

— Знаете, отчего вам так тяжело? — с жалостью спросил Иван. — Вы — перебежчик, туда-сюда. И потому вам тягостно.

— А кто из нас не перебежчик? Ты, что ли?

— Ну... я. Я блудный сын, вернувшийся в родные домы.

Мы как-то скоро вернулись в келью, я даже не понял обратного пути, потому что был занят собою. В каморе керосинка едва дышала, нестерпимо пахло гарью. Иван прибавил огня. Валерий спал на примосте, весь в испарине. Я разделся, вытянулся на матрасе. Еще постучал по отволглой стене:

— А там что?

— Да мы только что оттуда, — ответил Иван, укладываясь возле. Я смежил глаза, но сон бежал от меня, мучило недосказанное. Я, писатель, так и не мог понять, для чего эти двое бежали из города, подвизаются в бесконечном невидном труде и терзаются, изводят себя уже второй год.

Рядом, как младенец, посапывал Валерий. Иван что-то тихо, меркло напевал, рокотал глубинно, самим нутром. Видно, и ему не спалось. Я впился в его душу, как клещ, и сейчас из ранки сочилось. Я почувствовал себя виноватым. Иван вдруг странно так, вовсе не чинясь, возвысил голос.

— Ты чего поешь? — спросил я удивленно.

— Я думал, что это ты поешь, — ответил Иван.

Мы прислушались. Может, блазнь, наваждение, ток крови в ушах? Я приложил ухо к стене: пение доносилось из собора. Страшно? Ну конечно. В подобных случаях говорят: шапка на голове поднялась. Хор звучал многоголосо, можно было разобрать отчетливо: "Господи помилуй, господи помилуй, гос-по-ди помилуй нас". Кто-то тенорил, кто-то подгуживал, выводил подголоском, рокотал бас. И что ухо прислонять, коли пенье уже разлилось по келье. Иван не выдержал, зажег керосинку; подумалось, что наваждение источится враз, но хор не замолкал, а, передохнув, начинал каралесить снова.

Иван разбудил друга.

— Магнитофон, что ли? — спросил Валерий, тряся лысеющей головой, глуповато улыбаясь и силясь что-то понять.

Думал, что его разыгрывают.

— Поют, ты слышишь, поют, — все повторял Иван.

— А я не верил. Женщина-реставратор до нас тут жила... Говорит: тоже слышала. И больше не смогла спать в келье, перешла на постой в деревню...

Мне бы поверить, согласиться смиренно, что голоса не истекают по смерти в занебесье, но таятся до времени где-то возле нас. Но я стал суматошно одеваться, торопливо сбежал по лестнице вниз, с великим трудом откинул из проушины крюк. На воле было уже светло. Крадучись, смиряя дыхание, смеясь над собою с той иронией, коя настигает неверующего в подобных случаях, я взошел на паперть, прислонил ухо к кованым воротам. В висках токовала кровь, и я не мог разобрать, что творится в соборе.

Я решился, вынул из проушины замок, приоткрыл скрипящую дверь и, перемогая страх, просунул голову в притвор. Меня обдало сыростью пустого храма, тленом, всполошливо взлетела птица, умостилась на карнизе.

В приделе стояла гробовая тишина.

Видит Бог, не помню, как бежал я из монастыря: днем ли то случилось иль под вечер, попрощался я с кузнецами иль тайком убрел? Ни в памяти, ни в записях не осталось о том ничего.

* * *

...Не странно ли, но почти каждый, с кем встречался, видел во мне набожного, глубоко верующего человека, и я, смущаясь, внутренне кляня себя в скрытности и неискренности, был, однако, рад этому заблуждению и не опровергал его; оно было патокой для сердца, каким-то благодетельным снадобьем, несмотря на первый мгновенный стыд. Всякий раз было какое-то отступничество от самого себя, от моей желанной внутренней свободы, но этой измене я невольно потакал, еще не чувствуя в себе новин. Но что-то, значит, прорастало во мне чудное, коли я даже свой мысленный идеал выстроил, более похожий на приговор для себя, ибо он-то и привязывал меня к новому пути: "Кто во Христе, тот в Истине, кто не во Христе, тот в диаволе".

С меня как бы списывали образ, увидев который, мне бы по совести отказаться, признать его несходство, но я отчего-то упорно малодушничал, что-то неизбежно вязало язык, и я находил схожесть портрета с натурою. И так, постепенно, я как бы прирастал к измысленным покровам, к иному обличью, и новая кожа срасталась с моею. Мне стыдно стало называть себя атеистом.

В общем, был я, как та девка на выданье, про которую в простонародье говорят: "И хочется, и колется, да мамка не велит". Только с годами я уразумел, что все прекрасное и доброе, что творил русский человек еще до православия, уже было благословлено Богом и сотворено не без его участия. И когда погружал Русь великий князь Владимир в Иордан, народ уже был тайно крещен задолго до того дня, вернее, сердечно приготовлен, еще не сознавая в себе глубинных перемен...

Эта двойственность всего сущего не только заставляет спотыкаться о каждую кочку, но и струнит наше чувствилище, подвигает к созерцанию жизни и притягивает наш взор к небу, откуда текут к земле неиссякаемые благодатные ручьи, в которые постоянно окунается всякий любовный доброрадный человек.

...Рылся в бумагах и случайно наткнулся на открытку из Парижа. На ней Христос с картины Эль Греко: распятый, но благодушный, какой-то удоволенный, любопытно взирающий на людскую толчею у подножья креста, и никакого страдания не найти в его полуопущенном прощальном взоре. Да и поклонники Иисуса деловиты, и в их лицах сквозит не столько молитвенное, сколько ханжеское; они то ли держатся за древо, чтобы отнестись от земли вместе с Христом? Иль выталкивают его из подземелья, полного гадов? Иль как спопутчики, оказавшиеся на одном суденке, уже несутся сквозь кипящее небесное бучило, ухватившись за мученика, как за последнее спасение?

Открытку из Франции когда-то прислал причетник Николай, что прислуживал в церкви протоиерею: он сообщал, что отец Александр (Туренцов) умер. Текст наполовину выцвел, потерялся, и странно было читать эти обрывки слов и фраз из глубины времени. Отец Александр по возвращении, оказывается, прочитал мою книгу и что-то хотел передать через служку в напутствие, отрядил в Россию какую-то весть перед смертью, силясь унять мою сердечную сумятицу. Половина послания исчезла, а другая, сохранившаяся, потеряла силу, но приобрела тайну...

Однажды по приезде в Москву отец Александр пригласил меня отобедать. Помню, как при встрече он, пригорбленный, с шаркающей походкою восьмидесятишестилетний старик, подал крепкую ладонь, возгласил: "Нет веры вымыслам чудесным, рассудок все опустошил". Меня поразило с первого взгляда, что в его плотной фигуре, в живом ухоженном лице нет ничего святого, отшельнического, иноческого; если бы я не был предупрежден, что иду к трапезе с протоиереем, я бы ни за что не догадался, что вижу священника. Седые бобриком волосы, жесткая борода клином, глаза большие, расплывчатые, изжелта. Он мне сразу напомнил знаменитого французского актера Жана Габена, в лице которого постоянно таилась усмешка хорошо пожившего человека, знающего всему истинную цену. Отец Александр долго пожил, сам из бывших дворян, жена умерла десять лет тому, но протоиерей по-прежнему любит ее; предлагали епископство — отказался, ибо и поныне чувствами привязан к земному и к постригу не готов.

"Ведь я кончил курс университета еще в четырнадцатом году, — сказал он мне, чуть пригубивши красного вина. — В четырнадцатом году, — удивленно протянул снова, прислушиваясь к своему голосу. — Да-да... А после семь лет не слезал с седла, воевал".

Я выпил рюмку белой, закусил красной икоркой, приготовясь слушать. Отец Александр принялся поначалу поучать меня и говорить о том, о чем я давно уже передумал сам, читать из Фета, и Баратынского, и Тютчева,

словно бы рисуясь, как образован и много знает; он подавлял меня своим многознанием. Я всегда теряюсь перед людьми, способными к схоластическим рассуждениям, умеющими вовремя подпустить в поддержку себе из чужих стихов иль из копилки мудрости. Бог не дал мне крепкой памяти, и я могу говорить лишь о своем наболевшем, передуманном и испытанном. Чужие знания никак не укладываются в мои переметные сумы и сразу вываливаются из поклажи. Чего таить, внутреннему моему ветхому человеку тоже, наверное, хотелось напустить туманцу, навести флеру, расшить косную речь свою кружевами и шелками. Вот и бесился я. Иль выпитое вино сразу сказалось во мне и заговорило своим вздернутым языком? Но видя, как протоиерей постоянно подмигивает мне левым глазом, и лицо его от нервного тика становится мефистофельским, я завелся, стал перечить, обрывать батюшку, — короче, взвинтился.

"Вы ратуете за пустоту? Я понял вас правильно? Но на острие пирамиды всех противоречий где-то в занебесье не пустота, а Бог", — сказал протоиерей.

"Природа не терпит пустоты, и потому я за пустоту не ратую. В вершине пирамиды, составленной из неудовольствий и мечтаний, не пустота, а то, во что мы хотим верить. Мы верим в сочиненное от тоски и одинокости. И тут вовсе не важно, аллах там, Христос или оловянный солдатик. Вот почему многие кинулись к сатане".

"Так, значит, Там что-то есть?"

"Лично по мне, пирамида — это солнечный луч, несущий жизнь и смерть. Это хоть реально и зримо. А что такое Бог? Один "чижик" летал к нему в гости, рассказывал мне, что Бог сидит на седьмом небе в прозрачном скафандре".

Разговор шел порывистый, состоял из каких-то обрывков, я чувствовал, как нас поджимает время; плотные скулы батюшки покрылись склеротическим румянцем. А я забыл про его почтенный возраст, его воздержание, что он ничего не ест. Я разочаровался, не найдя перед собою нарисованного в мечтаниях образа. Мы как бы говорили на разных языках, — церковный человек и человек, заблудший у обочины, с сердцем, полным тоски.

"Ну так что же есть Бог?" — порывисто переспросил я.

"Иоанн говорит: "Бог есть любовь; пребывающий в любви — в Боге пребывает, а Бог в нем пребывает". Любви ради и Господь сошел на землю и распял себя за нас, грешных..."

"Но как же тогда понять: "Страх Господен — слава, и честь, и величие, и венец... Полнота премудрости — бояться Господа; венец премудрости — страх Господен".

"Вы хотите понять, не поступившись, а надо принять..."

"Но я не хочу принимать Ничто..."

"Тогда, если Бога нет, то зачем столько людей борются с ним?" — батюшка снова мягко улыбнулся, он как бы увещевал малое дитя.

"Не с Богом борются, а с неустройством жизни, с гниением ее. За вечность ратятся, никому не хочется умирать. Бог это судия, верно? Но если он не судит праведно, то на кой он нужен?"

"Он сам и не будет вершить до Судного дня. Он ждет, когда мы образумимся, он лишь грозит нам будущим судом, чтобы мы опамятовались..."

"А если страх, то откуда любовь?"

"Молодой человек... И отца боится ребенок, наказания за грехи боится. Но ведь как любит... Вы страстный человек, и это хорошо, — вдруг опростившись, перестав со мной бороться, сказал отец Александр. — Вы сомневаетесь и думаете — это вдвойне хорошо".

Он мягко, по-отечески улыбнулся. И в ту минуту, когда пришла пора прощаться, меж нами открылось родное и близкое. Я уже полюбил батюшку.

"Несмотря на ваши 86 лет, вы не менее страстная натура".

"В разговоре со страстным человеком я вынужден быть страстным. Но вы не знаете, каким я становлюсь, когда остаюсь наедине с собою. — Отец Александр потух, ушел в себя, а помолчав, вдруг добавил: — Счастливый вы человек. У меня ничего впереди, у вас — все".

"Почему он так сказал? Отчего такой неспокойный ум, и вроде бы какая-то гнетея живет на сердце? — подумал я тогда ошеломленно, как простец-человек, впервые вставший в притворе и при свете свечей и слитном пении хора увидевший в церкви нескончаемый праздник. — Ведь впереди у него рай и вечная жизнь. Не значит ли это, что и его душу терзает хворь?"

Я смущенно приклонил глаза и долгое время не мог взглянуть на полюбившегося мне человека, которому уже крепко поверил. И вот откуда ни возьмись, впился в мои надежды нечаянный червячок сомнений, чтобы я остыл, охладел, разуверился чуть в знакомстве, не подпал под скорое обаяние. Отец Александр навряд ли почувствовал мои страдания, да и слава Богу.

У ресторанной вешалки мы застоялись, будто ловили последние минуты, дарованные судьбою; как у всякого русского, при расставании возникает вдруг столько приязни, так распахивается душа, столько сыскивается верных слов, которые необходимо высказать именно сейчас и больше никогда, ибо времени иного уже не будет.

"Простите, что с Вами так разговаривал, — повинился я. — Но я спорил не с Вами, а с самим собою".

"Я видел, что вы в споре с самим собою, и это хорошо".

Мы обнялись на прощание и по-русски трижды расцеловались. Протоиерей Александр вернулся в Париж и вскоре умер, а я остался на ростани при своем смятении.

Я много раз рассматривал пасхальную открытку, пытался прочесть исчезнувший текст. Потом пришла мысль нагреть ее над свечою, будто вестка была написана симпатическими чернилами. Картонка прикоптилась, и в одном месте я смог разобрать: "...Я просмотрел всего Клюева. И у него я заметил вертикаль. А у Вас пока ее не нашел. Помоги Вам Бог и простите... за вмешательство".

2. Убить скорпиона

Я не умею дорожить знакомствами.

Мне бы тогда сразу прилепиться к отцу Алексею, и, как знать, многое бы, наверное, переменилось в моем душевном складе. Может, лишь чудится так?

Судьба случайно свела меня с деревенским священником, слухи привели; среди московских умственников и людей грустного сердечного лада отец Алексей был человеком известным. Обволакивающий негромкий голос, умение слушать, взгляд, проникающий любовно в душевные пустоты, где теснятся боль и отчаяние, — притягивали поклонников к откровенным беседам, а от долгих исповедальных признаний и отчаянных слез он будто и не уставал. Да и весь вид священника — крупное дородное тело, сановный постав головы с копною волос, большие серые глаза, окладистая русая борода, — все говорило о натуре добродушной и добросердечной.

Какая же судьба подвигла этого заметного русского молодца на церковную стезю? Да Господь позвал... Я не расспрашивал батюшку о терниях на пути, но с чужих слов знал, что тот еще в юности бросил "физтех", ушел из дома, был служкою по церквам, после поступил в семинарию, женился и получил приход. Родители, до того убежденные противники православия, поддавшись обаянию сына, оставили мирскую жизнь; отец стал сторожем при церкви, мать — просвирницей. У батюшки шестеро детей. Сам в себе выпестовал, без чужой подсказки, мечту: до конца земного срока быть пастырем в деревне. Отремонтировал церковь, своими руками привел в Божий вид, поставил домок для семьи и наладился жить. И вдруг новое испытание: в патриархии предложили поступать в духовную академию. И значит, данное слово, выстраданный обет послушания пустить в распыл?

Отец Алексей отправился к старцу в Сергиеву лавру, и тот посоветовал: де, поступай, как велит душа. Молодой священник вернулся в приход, неделю постился, молился, и душа ответила: де, нет ничего на свете дороже слова чести. Но мирские власти оказались сильнее: по доносу узнали они, что к священнику наведывается много московского люда на исповедь, он как бы подбирает под крыло скорбных и сирых, заблудших и хворых, становится их духовником и тем самым сбивает отчаявшихся в дружную ватагу. И батюшку неожиданно сняли с сельского прихода и поставили на другой, подальше от этих мест.

...Отец Алексей пригласил меня однажды на Пасху, еще не подозревая, что дни его в дорогой сердцу селитьбе уже сочтены. Церковь была заштатная, с нелепо размалеванными голубыми куполами и невидным поповским домиком возле забора. Из скудных денег, на сиротские приносы бедного прихода едва огоревали храм, скрыли старинные прорехи заплатами: главное, чтоб под крышу зайти, да чтоб поселян созвать на молитву. У порога встретил церковный сторож в толстой суконной тужурке на подкладе, сухое обвисшее личико подпирал овчинный воротник. Это и был отец батюшки, бывший ученый-физик, доктор наук. Он молчаливо проводил меня через холодные сени в дом и, низко поклонившись, вышел.

На кухне толпились какие-то люди, видимо из клира, они стояли сонно, вяло, уставшие от долгой поститвы, но внутренне возбужденные. Стрелка на часах приближалась к девяти, батюшке пора было собираться на службу. Запоздало топилась печь голландка, в куту за цветной занавеской возилась черница, у порога возле рукомойника навалом лежала всякая провизия, доставленная прихожанами для праздничной трапезы, тот самый принос, старинная дача, коей селяне помогали батюшке кормить семью. Длинный, хорошо выскобленный стол, обставленный лавками, да киот с зажженной лампадой и завершали все убранство скромного житья. Я словно бы входил в древний, давно покинутый мир, частью которого, его необходимейшей составною был священник; во мне жило не столько любопытство праздного человека, сколько желание приобщиться к быту и через его мельчайшие подробности слиться с моим будущим, будто и мне предполагалось по истечении срока, глубоко уверовав, пойти на приход. Я еще и лба не перекрестил, а во мне уже бродило что-то смутное, вроде бы похожее на предназначение, но чему пока не было определения. Наивный странный человек еще у притвора церкви, на паперти уже сочинил свой путь, как чудную сказку, и вполне поверил в нее.

В избе царила та сосредоточенность, коя случается лишь в канун великих праздников, когда весь дом священника полон тайн и предчувствий;

он как бы замирает, все творится в нем истиха, насельщики бродят, как тени, боясь нашуметь, и словно бы невидимый палец приложен к губам, а всякое ухо обращено в сторону домашней кельи, где сосредоточенно склонясь над Бытийными книгами, думает батюшка, торжественно проходит по ступенькам весь грядущий Светлый праздник. С каким чувством ты войдешь в храм, с победительным или несчастным, такое же настроение и вселится в прихожан, в твоих духовных поклонников, в коих ты ныне пробудишь великие надежды на грядущее Воскресение.

Отец Алексей вышел из крестовой палатки, заметив меня, поклонился, сказал задумчиво: "Прошу быть моим гостем, Владимир Владимирович... Простите, но мне надо побыть одному".

И не чудно ли, но я в который уже раз обробел и стал нелепым прошаком, остановившимся у порога. Да и не был ли я воистину милостынщиком, но вымаливающим не хлебенную кроху, но куда большего — Духа святого, чтобы укоренить, сделать необходимым и важным само мое бытование на грешной земле. Увы и ах! Я примостился на край лавки и стал тупо, упорно дожидаться службы.

...А дальше все происходило, как во сне. Я-то ехал в сирую деревеньку постоять в гуще людской, в жарко дышащей молитвенной толпе и что-то неясное понять, залучить для себя и поиску моему дать ясного пути. Но перед всенощной передо мною вдруг предстал кудрявый голубоглазый отрок и через северные двери провел в алтарную. Перед входом мальчонка истово осенил себя троекратно, и я коснулся лба непослушными перстами. Я пересилил себя, готовый обманывать и дальше, но вместе с тем уже тайно страшась неведомой грозы за притворство. Мне бы повернуть назад, на левый клирос, где стояли мои знакомцы, но я, не зная, зачем волокусь за отроком, уже покорно тащился за ним, как агнец на заклание.

Священник был сосредоточен и бледен, он был настолько погружен в себя, что навряд ли и видел мое состояние, по крайней мере, так казалось мне. Ибо позднее обнаружилось в разговоре, что батюшка услышал мою тревогу, но не мог понять причины ее. Отец Алексей объяснил нам, что предстоит делать, троекратно обвел вокруг престола, вручил мне, как почетному гостю, выносной образ Христа на древке и занялся требою. Кудрявый мальчик встал по другую сторону престола с образом Богородицы, он-то чувствовал себя, как дома, и с радостью оглядывался, с детской непосредственностью примечая происходящее. На клиросе тоненько пели: "Воскресни, Боже..." Батюшку облачили во все светлое. Он то появлялся в алтаре, то исчезал, окаждая престол, и нас обдавал клубами пахучего дыма. Образ Спаса наливался свинцом, пригнетал долу, скоро я словно

бы перестал существовать, превратился в сплошной ком укора, угрызения и вины. Я бранил себя, что не открылся священнику раньше, пошел на невольный обман и по нерешительности, скрытности натуры угодил, как кур в ощип. Я чувствовал себя нелепым, нагим, выставленным у позорного столба на всеобщее осмеяние. Ведь не любопытство же привело меня под образ Спаса, как под некое священное знамя, под которым невольно уверуешь в сокровенный смысл предстоящего действа. Мне оковали руки и ноги, повесили на грудь тяжелые вериги, облачили в жесткую власяницу, но при этом я должен был казаться веселым, искренним и свободным. Казалось, чего мучиться? Поставь образ в угол и ступай себе прочь; никто же не погонится следом, не закидает каменьями. Так отчего ты упрямо мнешься с ноги на ногу, маешься, чувствуя, как немеет тело, превращается в треснутую глиняную куклу...

И я, еще не признаваясь себе, в какую-то минуту вдруг стал ожидать неминучей кары, возмездия за обман, что невольно должно обрушиться, как случалось в старинных преданиях: вот разверзнется небо, и появится оттуда разящая десница. И неожиданно левая рука, держащая древко, стала неметь, огненная боль протянулась через предплечье и ключицу прямо к сердцу и тонкой иглой прошила меня насквозь... Я уже со страхом прислушивался к себе, помышляя эту боль за сигнал близкой смерти. Мне казалось, что надо немедленно признаться в обмане, чтобы спастись, и я не спускал с батюшки тревожного умоляющего взгляда, подгадывая удобный случай. Наплывы духоты и боли мутили меня, и когда по команде смуглого дьякона я спустился в церковь к притвору и повернулся лицом к амвону, дожидаясь, когда распахнутся царские врата, я неожиданно забыл и о тяжелой ноше своей, о вине и раскаянии, и о ложности положения, в кое угодил по случайности. Я лишь об одном думал сейчас, как бы не опозориться перед народом, не насмешить. Древко с образом покачивалось над головою, вдруг придав мне особой силы, и я наполнился торжеством и гордостью, что и я перенес хоть и малую муку, не оступился. Толпа запела: "Воскресение Твое, Христе Спасе..." и полилась на улицу. Я невольно оказался во взглавии крестного хода, как и полагалось по чину, и двинулся вокруг храма, уже не смущаясь и не робея. А змеистое тело, испятненное сотнею свечей, как светящейся чешуею, покорно потянулось следом за мною, учащенно дыша.

За пасхальной утренницей, когда прихожане покинули церковь, я вышел вслед за священником и причтом. Тут свинцовая утренняя пелена на востоке лопнула, растеклась в туманном синеватом разводье, как бы окунаясь в небесную иордань, показалось тускло-желтое светило. Я скосил взгляд на отца Алексея. Священник был как-то по-юношески светел, мя-

гок лицом. Он вдруг низко поклонился солнцу, троекратно осенил себя крестным знамением, воскликнул: "Здравствуй, отец наш родимый!"

"Христос воскресе!" — воззвал, обратившись к причту. Тот радостно, слитно отозвался:

"Воистину воскресе!.."

И не знаю, что случилось со мною, но я вдруг громко, без всякой робости и смущения открылся:

"Отец Алексей, простите меня, но я невольно обманул вас. Я ведь не крещеный".

Батюшка лишь на миг неуловимо замешкался, на усталое красивое лицо приопустилась серая пелена и тут же пропала под улыбкой. И он мягко, без тени испуга или упрека сказал:

"Ну и что..? Я знаю, я все видел. Как сказано в Писании: "И назову людей не моих моими людьми".

Смуглый, не русского вида дьякон оскалился, и с отвращением сплюнув, отвернулся. На черной кудрявой голове, как свежая желтая репка, светилась плешь. Батюшка же, неотрывно вглядываясь в мое лицо, как бы проникая в душу, неожиданно предложил:

"Владимир Владимирович! Пасха сегодня, Великий День. Пойдемте в церковь, я вас окрещу!"

"Нет-нет", — испуганно отказался я и пошел из ограды.

"Хорошо подумали? Не уходите", — позвал отец Алексей.

Во время утренней трапезы батюшка усадил меня рядом с собою. И когда испили вина, дьякон, сидевший напротив и не сводивший с меня взгляда, вдруг перекосился в лице, будто сжевал жменю клюквы.

"Как вы можете, отец Алексей, впускать за стол неверующего?"

"А он больше вас верует", — отрезал батюшка, не колеблясь. Дьякон вспыхнул, побагровел, хотел что-то резко вскричать, но под взглядом священника сдержался и выскочил из-за стола. Мне бы смолчать, пережить свое ложное состояние, а я, раздувая в груди мстительное чувство, коварно подсказал батюшке:

"Многие поклоняются Богу лишь из желания грядущего блага. Отнимите это обещание блага, и они готовно отвернутся от Бога, забросают его каменьем".

"Мы не волхвы, — ответил батюшка помедлив, испив багряного вина. Он будто не заметил выходки дьякона. — Мы не обещаем блаженства на земле. Вспомните, Владимир Владимирович, князя Глеба Новугородского. К нему подошел смутитель волхв, уверенный в своей силе, и говорит, дескать, я все предвижу и все знаю... А у Глеба под плащом был топор.

"Ты все угадываешь? — переспросил князь. — Тогда скажи, что будет с тобою через минуту?" — "Чудеса великие сотворю", — ответил тот, похваляясь. Глеб же, вынув топор, разрубил волхва, и пал он мертв".

"Но ваше слово разве не волхование? А красота храма — не прельщение и не обещание блаженства? Я маленький человек, мне тяжко, мне всякое прельстительное слово на душу — бальзам. Я ныне в церкви чуть в обморок не упал. Думаю, вот сейчас накажет Он, вот сейчас накажет..."

Священник улыбнулся, не теряя благостного расположения духа, но выждав мгновение, когда я умолк, поднялся и, сотворив молитву, отпустил гостей. Меня же позвал в келью, устало опустился на узкий деревянный диванчик, напротив жарко сияющего иконостаса. Смежил глаза, сказал с хрипотцою, но жальливо, с внутренней опаской, как бы не отпугнуть, не обидеть заплутавшего:

"Борьба за душу — путь долгий. В вас смута, вы больны смутой, вы ищете лекарства. Но исцеление лишь в ваших руках. Я ведь не принуждаю вас верить, я не покушаюсь на ваши воззрения. Я пожалел вас, приоткрыл сокровенное, я повел вас к чертогу, где можно предчувствовать иную жизнь. Но вы в страхе отшатнулись. Мне вас жалко..."

Батюшка поднялся к образам и стал молиться.

Я тихо, виновато приоткрыл дверь. На улице заненастило, вовсю полоскал дождь, порывистый тугой ветер шерстил и гнул деревья, сталкивал меня с дороги.

* * *

Воистину, любая, даже красно украшенная и обильно позлащенная и умащенная благовониями храмина со временем ветшает; даже самое-то намоленное место вытачивает с годами шашель, поедает плесень, побивают дожди и сокрушают ветры, ибо годам подвластно все; и только душа вещь непременная, ее и гниль не ест, и жук древесный не буровит. Однако даже при всей порядочности всякому мирскому человеку отчего-то нужно соборное место, где можно сбиться в единое стадо, слить голос в единую стихиру. Нет, братцы, как ни усердствуй в почитании Спасителя, но нельзя остывать от церкви, иначе душа меркнет, как уголь под покровцем пепла; шает вроде бы, и мерцает, и горячо пока от нее, но уже и как не живая, не возжечь от нее другой души; уснет вдруг невзначай, а ты и не спохватишься.

Но и другое молвят древние старцы: не переусердствуй в поклонах, не трать пустых воздыханий, не будь слезливо-умиленным, ибо церковь не любит стенающих, но труждающихся; не уподобляйся монаху, ибо у миря-

нина свой путь по жизни. Но и не бегай от церкви, почаще заглядывай на службы, стой часы, томи плоть постами, ведь без храма твоя душа уподоблена боярыне, сидящей в чужом углу; и знатна и угожлива, и урядлива, но уже не руководит чувствами, все реже обжигает ум.

Худо, когда человек ни тепл, ни холоден; он вроде и бесстрастен, и ум его схватчив, но уже нет внутри той искры, что украшает бытование, делает характер особенным, помеченным Божьим перстом. Но есть и мера тепла, и мера холода, есть мера тому отстоянию, на кое возможно "отодвинуться" от церкви, чтобы всегда чуять ее благодатные покрова и при этом оставаться мирским...Староверцы когда-то, забывшись в своем неистовстве и яром отторжении "щепоти", отшатнулись от церкви, презрели ее, стремясь сохранить отцово предание и, долго борясь с новым уставом, остыли внутренне и так, сердешные, затаились в себе, что невольно создали новый религиозно-мистический мир, опираясь на Бытийные книги и лишь в них находя оправдание своему все разрушающему спору. В этой неугасимой пре, самих себя сжигая на костре истины, уходя к Господу с непоклонной выей, православные не только усугубили трещину, выкопали непреодолимый ров, но и незаметно подвели родимую землю под сокрушимый урон и гибель. Никониане же побрели иным путем. Чья сторона более виновата? Уж судить трудно, но всякий раз, размышляя о старине глубокой, приходишь к грустному выводу, что мы сами себя съели, сами себя высмеяли, сами себя предали в угоду коварникам и честолюбцам, вовремя не спохватившись. Если в прошлом веке сорок миллионов христовеньких скрылись в расколе, если церкви запустошились, если священник стал предметом насмешки и хулы, если дегтем были обмазаны ворота как синодальной церкви, а пуще того староверческих моленен, то можно понять радость той нечисти, что расселась по нашим торжищам, веселье ростовщика, что опутал нетями все углы православного мира.

Мои далекие предки еще в допетровские времена скинулись в поморское согласие. Из истории известно, что мезенский полярный кормщик и судовладелец Михайло Личутин имел в 1778 году качмару и ладью "Сокол". Регистр города Мезени купцам, мещанам и их домашним, не бывшим на исповеди, утверждает, что семья Личутина состояла тогда из жены Ксении, сестры Ефросиньи и дочери Пелагеи и была подвергнута штрафу в пятнадцать рублей (по тем временам большие деньги) — за то лишь, что ряд лет не была на исповеди. Штраф этот был снижен, так как Михаил Личутин был ратманом городской думы. В том году в Мезени не приходили к исповеди семьсот семнадцать человек и уплатили штрафу 1349 рублей...

Мне удивляются порою, и почто ты не был крещен с детства? Да те

редкие церквушки, что стояли на взгорках о край Белого моря, были порушены до единой в тридцатые годы крещеными же людьми, у кого шея еще не забыла веревочный запотелый гайтан. В Поморье помнилось, как гнали староверцев, как сгоняли их в Сибири, сбивали по тюрьмам, обкладывали непосильной налогою. И не только безусые юнцы, и девки на выданье, но и мужики солидные катались с ледянок, подкладывая под подушки иконы, ибо те образа были нечестивые, "из вертепа", лишенные древлей истины. Так случилось, что вся северная Русь, хранительница устоев и культуры, вдруг осталась не помазанной освященным елеем, лишенной благодати и "обновленной жизни".

То оказалась месть самим себе. Русь с петровских времен усердно порушала соборное тело, испятнывала проказою когда-то согласную душу и спехивала себя в яму.

Вот и мой-то отец, сельский учитель, любимец деревенской детворы, был крещеным, но для какого-то примера, чтобы раскрыть крестьянам глаза на грядущее светлое будущее, спилил с церкви крест. Бабы-старушки, уливаясь слезьми, вопили в небесную высь: "Будь ты проклят!" Но молодые парни похихикиали и с радостью тянули за веревки, чтобы обрушить взглавие храма. В тридцатых повторялось то, что случилось в семнадцатом веке, когда Петр лишил Русь патриаршества, сронил колокола и вырезал церкви язык. Крещеный же Ульянов погнал на Соловки и "под вышку" десятки тысяч священцев и подложил под державные опоры огромную фугаску, потрясшую основы России.

Отец мой погиб на фронте. Еще за год до войны он писал жене из армии: "Грядет великая война, которая наделает много бед, чувствую, мне не остаться в живых на той войне, и если родится сын, то назови его Владимир". Он, сокрушавший церковь, разве лишен был православных заповедальных черт, что и делают человека христианином, для кого государство, земля родимая дороже собственного живота. Его любили дети, он не чаял в них души; он видел грядущие несчастья и не бежал от них, но встретил с открытой грудью. Сумятица, внешний хаос, разруха, где в лесах созидания едва угадывались очертания будущего Дома, не затмили все же тех национальных родовых черт, что выковывались в столетиях: жертвенность, нестяжательство, любовь к ближнему, поклон радигостю. От гибели моего отца откатилось уже пятьдесят шесть лет, а его ученики, что и сами превратились в глубоких стариков и старух, до сей поры вспоминают бывшего учителя с любовью: "Ой, кабы в живых-то остался наш Владимир Петрович, то на какой бы вышине он числился, ой-ой! Быть бы ему министром культуры, сидел бы он в Кремле".

...Слава Богу, что долгий неустрой, несмотря на всю его тягостную сокрушающую однообразную силу, и за триста лет не повредил коренным образом национальный характер, не иссушил его родников, не исказил, не заилил родовой матницы. И не странно ли, но русский человек даже и вне крещения ощущает себя под Богом, слышит его и невольно к старости стремится ко Христу за укрепою. И не денег просит у Сладенького, не гобины, не житьишка, но лишь прощения за грехи, чтобы на том-то свете, коего не избежать, оказаться купно, рядом с родичами и праотичами. Сама обитель православная была воздвигнута на русском возвышенно-созерцательном настрое и, хотя временно померкла вроде бы, но не потеряла корневых связей с душою народа. И только пришедший нынче к власти ростовщик, меняла, процентщик и плут может, как клещ, впиться в сердцевину нации, чтобы впрыснуть яду и, устроив там гноище, потиху выправить исконный норов. Процентщик со свечою у алтаря, заставив образами все домашние углы, готов выпить последнее тепло из груди русского человека, чтобы в том месте гудела черная дыра. Процентщик, как первый пособник беса и блуда, станет пострашнее любого зла, что понасеял сатана на земле-матери. Русь внутренне жила по православному чину, пока не впустили менялу в храм.

3. Возвращение блудного сына

Русский человек живет мечтою. Без нее он, как туес берестяный без дна: сколько ни лей в него, а все впусте. Безрадостна, тускла жизнь без мечтаний, и даже из крохотных грез, из неясных задумок, что мерещат впереди, и выстраивается вся грядущая дорога.

Помнится, бабы сетовали после войны, сокрушались на завалинке: "Господи, хоть бы белого хлеба наестись". Пришло время — наелись. Девки, что на выданье, пели под всхлипы гармоники: "Вот кончится война, пойдут солдаты ротами, а я милово свово встречу за воротами". Да где они, милые-то? Война схоронила. Восемь миллионов парней остались в окопах. Но 27 миллионов калек отпустила война восвояси, и хоть милого не встретили многие девки, но подобрали калек; пусть в избе мужиком пахнет. Жальлива русская бабья душа: нарожали детишек. За байстрюка, за сколотного Сталин давал пособием пятерку, круто, под страхом тюрьмы, запретив аборты. И наплодились. К восьмидесятым сыто стало на Руси, деревня вздохнула. Мой сосед, со своих ногтей, выращивая бычков и продавая мясо, плотничая в отходе, собрал на книжке двадцать шесть тысяч рублей. Все думал: слава те, Господи, вот и старость будет безбедная, спо-

койная. Но пришел к власти ростовщик и в один день, почмокивая, похрюкивая, съел потные денежки, отпустил в свое ненасытное брюхо.

Но перед тем, как появиться повальному процентщику, когда ставропольский фармазон под всхлипы диссидентов-шестидесятников въехал в Кремль через Спасские ворота, всю страну заставили гостевыми столами; тут вино полилось рекою, звон орденов затмил церковные колокола, и какое-то марево беспричинной вроде бы тоски поопустилось на народ. Стало тогда душно в России, непродышливо, хотя грозы еще и не мнилось; но сальный анекдот про генсека под рюмку "Столичной" стал главной агиткой за грядущие райские времена для избранных, о коих не догадывался почти никто, кроме дельцов. "Мафинозии" уже тогда захватили торговые точки, а евреи, почуяв неладное и устав ждать колбасной благодати, стремительно побежали в Израиль. "Культурный же слой", душою испытывая ту гнетею, что принаваливалась на них, потянулся по монастырям и храмам, прислонился к батюшкам, чтобы освободиться от внутренней хвори и сыскать смысла жизни. У меня же при всей душевной разладице вдруг загорелось сердце написать о расколе, о той гибельной черте, что однажды раздвоила Русь, и тень его вдруг грозно объявилась над околицей. Еще солнце светило вовсю, гудел неиссякаемый хмельной праздник над всем Союзом, но беда уже стояла у ворот, и душа, чуткая к тревогам, могла трезво объяснить, откуда наваливалось несчастье и что сулило оно беспечным. Так я с неспокойным сердцем в очередной раз оказался в Псково-Печерском монастыре в гостях у архимандрита Зенона, известного иконописца. В затворе у монаха мне хотелось сыскать истины, разрешить многие мучившие меня вопросы, через монастырский покой разведать старинную потаенную правду, о которой, как мне мыслилось, умолчали историки. И отец Зенон сразу ожег мои чувства, заставил прикоснуться к тайне смерти. Монашьей скрытной тропкой, приотдернув доску потайного лаза, мы спустились в пещеры. Опираясь рукою на истлевший гроб, где сквозь щели издряблой домовины просвечивали нагие кости, слыша, как осыпается под ступнями песок, вслед за чернецом я проскользнул в дыру, как в могилу. Мы оказались в длинном стылом коридоре с множеством керамид по стенам, за которыми покоились усопшие. Тускло светились лампадки, холод обнимал тело, но воздух был чист, не опахивало тленом, хотя мертвые были не погребены, но лишь помещены в скудельницы. Но не за этим же вел меня монах? Вдруг открылась взгляду огромная подземная камора, гробы были свалены горою, нижние домики провалились под тяжестью верхних, торчали руки и ноги, истлевшие лохмотья одежды, пергамент свалявшейся закаменевшей кожи, смуглые черепа с куделью слип-

шихся волос. Прах человеческий возвышался под самый свод и самим видом как бы унижал чувства живых, подминал высшей правдою о никчемности, мгновенности земного быванья. Наверное, только военный похоронщик и чернец могли равнодушно, с таким спокойствием взирать на бренные останки, где стерлось всякое упоминанье о бывших отличках, характере, чувствах и мечтаниях. Я отвернулся, не в силах долго, вплотную смотреть на свидетельства смерти; я как бы побывал в тех подземных странах, куда утекают мертвые, оставляя свидетелей за плотно захлопнутыми дверями. В лице же монаха ничего не дрогнуло, лишь легкая улыбка, нет, скорее усмешка приклеилась к тонким губам, припорошенным жесткой темно-русой бородою. Я, земной человек, увидал вдруг то, что, казалось бы, невозможно лицезреть; я повстречался с теми, кто умер давным-давно, может, лет триста и более, когда царил на земле Иван Грозный, когда латиняне и литовцы приступали под Плесков. Эти усопшие уже тогда молились за Русь, ратовали за ее счастие, а значит, плакались и за тех, кто еще не народился.

И что же привело меня сюда, взвихренного и мятежного? Каких истин пытался я сыскать, каких мостов перекинуть в давно утекшие времена? Говорят, нельзя дважды вступить в одну реку, значит, нельзя окунуться в одно время и увидеть его приметы. Псковские пещеры опровергают утверждения.

Собственно, монастырь на зазывает, его ищут, когда жизнь земная претит, когда невмоготу исполнять земную долю. Вот тогда-то, наверное, и разыскивают обитель. По той тоскливости ума, по той обреченности настроения, когда, вроде бы, уже ничто не красило мне в миру, ничто не утешало, я и должен был сыскать себе приюта: я, некрещеный, безотцовщина, одиноко бредущий по скользкой дороге...

Монастырь — это не соблазн, не удовольствие, не временное отвлечение от пережитого, не запруда для скопа новых переживаний, — это отказ от всего, что связывает нас с миром. Это истинное чувство скоро посетило меня; хватило нескольких дней уединенной жизни. Монастырь — это полное освобождение от семьи, от утех, от знакомых, от наслаждений, от чревоугодия, от затейливого быта, от скопленной гобины, от семейного родства, — от всего того, что незаметно, но пуще всяких цепей оковывает нас по рукам и ногам, чтобы мы забыли дух, созерцание, небо и Бога. Войти в монастырь — это значит все разрубить разом и навсегда, это умереть, как ветхому временному человеку, и родиться нову. Много ли подобных людей сыщется на миру? Одно дело поддаться моменту, порыву, тому безоглядному чувству тоски, одиночества иль отвращения к земной грязи, что толстым одеялом окутывает нас, и кинуться в затворы. Таких-то преизлиха на

земле, почти всякий из нас в минуты отчаяния готов побаловать, но способных к этой жизни, столь самоотверженных по естеству, отмеченных перстом монашества, схимы — очень мало. К этому уроку подвигаются шаг за шагом, постом и молитвою изнуряя себя.

Помню, как в Михайловском монастыре я разговаривал с послушницей. Ей было лет под пятьдесят. Сестра Настасья, отвлекшись от послушания, взглянула блестящими, серыми, по-птичьи выпуклыми глазами; лицо ее было того странного неповторимого оттенка, который бывает лишь у человека воздержанного, постящегося, кожа на впалых щеках тонкая, натянутая на скульях, без той рыхлости, какая часто встречается у людей сладострастных, похотливых, любящих вкусно поесть. Я спросил послушницу, сколько лет она в монастыре, и оказалось, что живет в келье уже двенадцатый год и все еще не знала пострига.

"О-о, — ласково протянула она, и в лице Настасьи появилось что-то загадочное. — Постриг, это знаете?.. Этого достигнуть надо. Это когда никакого соблазна. Это большое дело, когда постригут. А я готова, я давно готова, а пока, говорят, нельзя. Не готова, уверяют, а я чую, что готова. Но матушке виднее. Трудно здесь, монастырь — это тяжело, это каждодневная работа, молитва с четырех утра и сна часа четыре, а то и меньше. А мне хорошо". — Послушница говорила медленно, но без робости и натуги, как бы исповедовалась, соскребала с себя остатки земной слизи и той грязи, что навидалась в миру.

"А вас не навещают соблазны?"

"Не-е, я не знаю соблазнов. Я никогда не знала соблазнов..."

"Я думал, постригают сразу, ну, через год-два".

"Нет-нет, что вы. Это же все. Это такой почет, постриг. Но это все. До того можно уйти, если что, а тут все. Тут с Богом только".

Послушница заметила, что к ней направилась морщиноватая изможденная монахиня, оборвала разговор и снова занялась работой...

* * *

Во всем скрыта высшая Воля, в каждом времени иль случае таятся свои особые обстоятельства, что и приуготовляют скрытно саму историю, вроде бы вовсе непредвиденную.

В прошлые приезды я жил невдали от иконописца, иль в его мастерской, иль в чулане, где хранились заготовки икон, иль в соседней келье. Но в этот раз отец Зенон меня отчего-то всунул на постой в бывший погреб, где раньше хранили капусту. Была та конура в крепостной стене, и спус-

каться надо было через дощатый люк по лестнице, и если бы не тусклый колеблющийся свет от лампады, то можно было подумать, что тащили меня в тюремку, в то скрытое юзилище, где прежде прятали особо опасных преступников. Полноте, может, сейчас насочинялось мне и во всяком шаге вдруг по истечении времени открывается особый умысел? Тогда же я с любопытством неофита спустился в подклеть. Стены побелены известкой, ползают большие темно-бурые усатые мокрицы, продухи на волю заткнуты клочами пакли, и волокна ее угрозливо шевелятся под дуновением невидимого сквозняка с воли. Небольшой столец с шенданом, икона Спаса Грозное Око и две раскладушки — вот и весь уклад моего грядущего житья. На одной постели сутулился бородатый, краснолицый, с крючковатым носом мужик. Мастерового пригласил в монастырь отец Зенон. Трудник отливал для обители кресты и образки, едва ли зная свободной минуты. По благодушности нрава видно было, что послушник любил свою долю, не тяготился ею. Увидев, с какой брезгливостью я уставился на гнус, мужик усмехнулся и сказал:

"Были и мне эти козявки пренеприятны, пока я не крестился. А после и полюбил. У меня с ними контакт и никакой вражды, хотя мне и говорили, что они ужасные существа. А теперь контакт".

Я посмотрел в глаза совсельника; они были нормальны.

"А у меня отвращение. Как из адского подземелья, из тартар налезла гнусь. Боюсь их и вообще насекомых боюсь, — вдруг признался я. — Они мне мистически отвратительны".

Наруже было тихо, ничто не доносилось из монастыря, и наш странный разговор для стороннего уха, наверно, показался бы больным.

"Это оттого, что в тебе агрессия. Надо подавить, и тогда всех возлюбишь", — советует сосед по каморе, усаживаясь плотнее, отчего из-за стола виделась лишь длинная голова редькою с неряшливой копною жестких волос. Вот гнездо, так гнездо.

Где-то на воле промчался мотоцикл, и в бойницы сквозь паклю шум его просочился, как дробь травяного кузнечика. "...Странные люди живут на белом свете; едва познакомились случайно, а уж, судя о встречном, не зная его, распечатывают чужие чувства, меряют на свой аршин, — с внезапной досадою подумал я, уже тяготясь соседом. — А может, провидец он и что-то коренное сразу различил во мне по повадкам и прихотям? Есть и такие душезнатцы, для кого и слов не надобно, чтобы открыть человека".

Тут над распахнутым люком раздалось: "Христос воскресе!"

"Воистину", — отозвался мастеровой.

На лестнице показались полусапоги, подол подрясника, кроткое улыб-

чивое старообразное лицо в скуфейке. У гостя была неряшливая бороденка, грустноватые глаза и толстый нос. Монах извлек на Божий свет бутылку монастырского вина, не спрашивая, хочу ли выпить, разлил по чаркам. Ювелир удалился, и мы остались одни. Потом-то я понял, что все творилось по вышней затее, оттого и гость-то незваный появился, как бы на разведку, игумен Таврион, духовник Псково-Печерского монастыря. Заговорили о вере, я с дотошной настырностью стал допытывать инока об обители и насельщиках ее. Потом я сметнулся на пракультуру, на язычников. Инок слушал внимательно, не перебивая, но как бы и проникал серенькими глазенками сквозь и пробуждал во мне тревожное чувство. Зажгли стоянец, затрещали свечи, и в колыбающемся блеклом свете лицо монаха потеряло мужиковатую грубость, в нем вдруг появилось выражение счастия.

"Только Бог дает счастие. Я уверовал, и каждый день лишь укрепляет меня в этом чувстве. Я самый счастливый человек, — вдруг открылся отец Таврион. — Я жалею тех, кто в миру и не отряс прах со своих ступней, живя в суете. Я и сам, бывалоче, суетился и о чем-то жаждал, пока не прожгло. Господи, все суета сует, и только одна радость существует — в Боге. Вы думаете, все просто было со мною? Был мирской, а стал монахом? Не, всякому овощу свое время. Я было год пожил в монастыре в послушниках, не могу более, нет жизни, сосет в груди. Тревога, смута. Отпросился в отпуск, уехал на родину. Лето побродил, осень, так год минул. Чую, нет жизни в миру, монастырь не идет из ума. Вернулся обратно и постригся".

И вдруг монах спросил меня, плотно воззрясь в лицо:

"Вы, наверное, давно крещены и не были у причастия?"

"Я не крещен. Хотя мне был недавно сон: я стою на коленях в церкви, меня хотят крестить, но чей-то неведомый глас тут раздался: он уже крещен! И с этими словами я проснулся".

"Это враги вас отвращают. Это вражье попущение. Они хотят вас отвратить. Чего же вам мешает прийти в церковь?

"Я хочу понять, что есть Бог. Хотел умом постичь, но понял одно, что головою нельзя пробить стену. Я два романа написал о исканиях русского человека".

Тут голос мой предательски дрогнул, задрожал в предчувствии близкой слезы. Я смутился и отвернул взгляд.

"Вот-вот, Бог зовет вас, — мягко подсказал монах, — а вы ершитесь".

"Но я бы хотел, да-да... Но чем так проклята Русь, что из беды ее да

снова в беду. Чем так провинился народ наш, что в одних несчастиях проживает годы свои. Ну, пусть-пусть... Я поверю. Бог наказует испытаньем тех, кого любит. Но должен же наступить праздник?"

Я уперся взглядом в монаха, желая ответа.

"Ну и что с того, что на Западе сыто? Да, они насытили утробу, но разве они счастливы? Они потеряли ту самую душу, что оставляет человеком. Они потеряли страх Господен. А им туго придется после".

Отец Таврион видел будущую жизнь, и в той надвигающейся великой мистерии уже всем сыскалось места. И я тут впервые, наверное, почувствовал, что День близок, и меня как бы отодвигает от народа, обрекает на одиночество. Я как бы остался на холме, откуда далеко все видать, и народ, покинув меня, отшагивает в бесконечность, нисколько не беспокоясь, не жалея о сироте. Я его жалею, а он, оказывается, и не нуждается в моем сострадании.

"Я дважды собирался креститься и не мог. Что-то останавливает меня. В церкви суета, злость не покидает. И это меня в самое сердце жалит. Но я им завидую. Они искренне поверили. Они верят — и все. Есть Бог-то, есть. Им чувства хватает", — вдруг признался я.

Свечи горели трепетно, колебалось пламя от токов воздуха, пробивающегося в бойницы, пакля шевелилась, как борода схоронившегося насельщика. Глаза Иисуса Грозное Око были строги и памятливы.

"Ну вот, видите. Это стена. Да, многие сокрушаются, де, святые все евреи, евреям, дескать, поклоняемся, и де, в церковь войти страшно. А вы не бойтесь: это не мы подпали под евреев, но наиболее совестные евреи подпали под Христа и пошли с нами. Христос ведь сын Божий, он не может быть ни эллином, ни иудеем. Он принес нам любовь, но подпасть под нее можно лишь в церкви. Только в церкви истинная любовь, и в ней обогреется каждый", — мягко увещевал монах.

"Я подступаюсь и не могу преодолеть стену".

"Вот-вот... Вы насильно эту стену и преодолейте. Вы стену одолейте, силою принудите себя. И после все само собой будет. Вы увидите, как все переменится".

"Но я не помню молитв. — Я вроде бы искал уловки, чтобы отвертеться, иль, наоборот, ждал тех весомых крайних слов, после которых всякое отступление будет перекрыто. — Молитвы проходят сквозь меня, как нож в воду, не запечатлеваются во мне. У меня памяти никакой нет, я совершенно беспамятный человек".

"И хорошо, и хорошо, что не помнишь. И не надо помнить, надо чувствовать. У души своя память, бессловесная. То и будет истинная вера. Вы

хотите поверить, это желание вас мучает и гнетет. Надо от гнета освободиться".

"Да, гнетет, — признался я. — И честно сказать, ехал нынче сюда с тайной мыслью креститься. А вы прочитали мое желание. Доколь убегать, а?"

"И давай! — вдруг решительно предложил отец Таврион. — Я поговорю с отцом Зеноном. Он вас покрестит в реке. Вы готовы?" — спросил меня монах, как о деле решенном.

"Готов", — ответил я твердо.

И те сутки, что текли до крещения, мне казались бесконечными. И даже какая-то лихорадочность овладела мною. Сосед мой не появлялся в затворе, и я одиноко сутулился на раскладушке в сыром угрюмом подземелье, едва ли чуя затхлый воздух, не видя усатых въедливых мокриц. Какой-то послушник однажды принес еды (макарон и картошки), но я не притронулся к тарелке. Склонившись над листком бумаги, вспоминал нажитые грехи. Их было много, они просились под перо, чтобы запечатлеться, но я вроде бы сортировал по степени важности, какие-то оставляя на потом; гордоватое непоклончивое сердце мое еще отказывало им в такой вроде малой, ничтожной милости. Я впервые был судиею над самим собою, и скалки весов отчаянно шатались в обе стороны, никак не находя равновесия. Для того, чтобы хоть как-то приуспокоить чашки, понадобится вся оставшаяся жизнь... Я туманно догадывался об этом. Значит, груз, который взваливал добровольно на рамена, требовался моей душе, коли я подставлял под него плечи. Оказывается, в "леготку да впотяготку" было тяжче идти, чем под ношею...

* * *

...И вот без пятнадцати четыре я на ногах. Сна ни в одном глазу: дремал ли сколько, кто знает, но зорок не только очьми, но каждой мясинкою. Встряхнулся с постели, как был одетый, поднялся лестницей из чулана на крепостную стену. Было еще сумеречно; как стога сена, едва протаивались из темени лохматые черные дубы, сквозь ветви проблескивали золотые шеломы соборов. Густая роса, обещая добрую погоду, лежала на лопушатнике, в обрызганных листвою деревах возилась беспокойная недремная птица. За монастырскими стенами в долинах глубоко почивала Русь, еще заря-утренница не ударила в стекла, и крестьяне беспечно добивали ночь. Монастырские колокола молчали, еще монахи-звонари не разошлись по службам. И тут звонко ударил соловушка, защелкал, засвиристел с пристрастием, заполошно, как ночной сторож-будильщик; дескать, братия

милая, хватит валяться по постелям, отлеживать боки, а приступайте-ка, христовенькие, вслед за мною подголашивать утренней стихирою. На соловьиный бой вышел из своей кельи отец Зенон с кадильницей и новой корзиной из драни, где лежало необходимое для требы. Вытаился из сумерек отец Таврион, появился мой приятель Валентин, он мне станет за отца крестного. Не побоялся, вон какой груз поноровил взвалить на плечи, а забот-то о крестнике не на одно утро, а, почитай, на всю оставшуюся жизнь. Сердобольный, он в монастыре давно за своего, и здесь же сыскал для себя добровольную тягловую лямку: меня тащить по новому пути, чтобы не спотыкнулся, не ударил носом в грязь...

Зябко было, весною каждая ночь морозцем сулит. "Май, коню сена дай, а сам на печку полезай". Но я нарочно оделся свободнее, вольнее, чтобы озябнуть, и тогда текучая вода станет теплее. Мы гуськом пересекли, как заговорщики, монастырский двор к скотской башне, откуда на пастьбу выгоняли монастырское стадо. Припахивало навозом, сладковатый парной дух не угнетал утренних луговых запахов. Искренняя природа цельна в каждой мелочи. Из сторожки высунулся старый монах-скотник; он нынче пас выход.

"Во имя Отца и Сына и Святаго духа. Открой, брат", — попросил отец Зенон.

"Аминь, — отозвался сторож и готовно, без расспросов распахнул ворота, выпустил нас на волю. — С вами Господь".

Мы вышли на росистый луг. Тьма совсем раздалась, затаилась лохмами и клочьями ватного тумана по ляговинам, на востоке пробрызнуло лимонной желтизной, из перламутровых постелей выпростался краешек солнца, и первый парящий холодный луч его скользнул по бережине. Мелкая неотросшая трава, густо унизанная водяным бисером, разом вспыхнула, заиграла тысячью цветных каменьев. Отец Зенон навряд ли заметил перемены в природе, он шел впереди сосредоточенно, не оглядываясь, как небесный неведомый ратник, подол длинной мантии волочился по земле, оставляя серый след. За ним поспешал отец Таврион, слегка сгобенный, в черной поддевке на вате, в том монашьем зипунишке, в кои, наверное, прятались монахи еще лет триста тому. Ряса полоскалась по разношенным ржавым сапогам, обвивалась вокруг колен, не скрывая мальчишеской худобы инока. Но даже сейчас от невзрачной фигурки игумена надежно, ощутимо истекало на меня искренней ободряющей жалостью. Так ему, чернцу, никогда прежде и не слыхавшему обо мне, хотелось устроить мою судьбу. За отцом Таврионом задумчиво тянулся Валентин, равномерно помахивал кадилом, чтобы не затухло пахучее уголье. Пряный дымок, как

из парового утюга, выпархивал из кадильницы, разбавлял благовониями студеный, еще безвкусный утренний воздух. Я плелся последним, вроде бы всеми забытый, и тянул мысленно молитву: "Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй мя грешнаго". Эко понудило меня, сердешного, что Иисусова молитва так и текла, как из родника, не пресекаясь и на шаг. Знать, тоска изъела все нутро, и стало оно как сито, все в дырьях. Так мыслилось, что впереди ждут лишь объедки жизни, угрюмые и бессердечные в своей черствости и заунывности, а счастливое, праздничное уже все пережито и так далеко отшатнулось назад, будто и не мое, и не со мной случилось. Все был молодым, все взбирался на горку, и склон этот, с вершины которого ожидались лучезарные дали, мыслился бесконечным; и вот незаметно для себя поднялся на облом горы, на глядень ее, и вроде бы поскользнулся и кубарем покатился вниз. И неужели всех навещает ужас конца? Почему это чувство настигает так поздно и так мало времени свыкнуться с ним?.. "А, припекло, — сам о себе подумал я со злорадством, — ожгло пятки-то, ожгло!.. Эх, какой же ты неспокойный... Господи, дай мне утешения. Ты воистину последнее мое прибежище. И как догадался о моей нужде отец Таврион? Я был вне Христа и как бы вне народа русского, кой пребывал в церкви. И какой же после этого я русский, если отринул веру отцев? И как, наверно, им трудно, и обидно, и больно дозирать нас заблудших, и сколько печали по нам в той загробной жизни. И они прошли моею стезею отчаяния, но путь их был куда легше. Их Господь обручил с церковью, еще бессмысленных, трижды погрузив в купель..."

Возвышенные мысли путались, а земля подбивала пятки, ноги спотыкались о кочкарник и невольно возвращали меня от горнего к дольнему. Соловьи били на всю округу, такие выделывали коленца, что диво брало, умытая раздольная земля истомно парила, дальние всхолмья, уставленные лесами, и вершины ближних деревьев были присыпаны золотой пылью. Завопили, опомнясь, петухи, всхлопал кнут пастуха в ближней деревенюшке, взмыкнула коровенка, и с каждым живым звуком земля обретала какое-то особое наследование, немеркнущее очарование, отчего еще больше вскипало сердце. Все приготовились на званый пир ко мне, и никого тут не было лишнего.

"Господи, как хорошо-то на нашей земле. Братцы, да есть ли где краше-то?" — не раз выпевалось и вопрошалось во мне при виде побуждающейся Руси; много раз за жизнь испытывал подобный восторг от красоты Родины моей, и каждый раз он оказывался внове и не никнул в своей силе.

Архимандрит Зенон шел споро, мантия волочилась по траве, оставляя на острых травяных перьях серебристый след. Монах не оборачивался, он

знал, что за ним следуют, что не надо никого образумливать и укреплять в духе. Мы миновали ложбину, выскочили на бережину неприглядной луговой речонки, больше похожей на иссякающий ручей. Но по весне и эта струйка ярилась, набрав силу, она гнала пенную, в бельках и в белых кружевах воду под уклон, подмывая глинистые кручи. Зенон разобрал ковчежец, образовался столик для требы, куда выложены были сосуды с миром и елеем, всякие кисточки, помазки и губки, разложил всю стряпню, необходимую для службы, раскинул на траве холщевое полотенишко, что добыл из коробейки, велел раздеться. По тому, как вел себя инок, по той деловитости было видно, что он тут не впервой, многих он привел к берегу ручья и ввел в лоно церкви. Кощунно ли то было, не нарушало ли церковного правила? — у меня и на миг не зародилось сомнения, ибо я верил отцу Зенону в каждой мелочи и верно знал, что всякое его действо не станет для меня ущербным. Я доверился власти монаха и откровенностью, безраздельностью чувств происходящее со мною лишь приобрело большую силу. Я разделся, скинул ботинки, утренняя земля обожгла плюсны. Но я стоял недвижно, не ерзал, не выказывал слабости и удивительно скоро привык, ибо разгорячил себя возбужденным сердцем. Земля стала теплой и радостной. И как тогда в церкви, я снова ждал Гласа, но уже не карающего иль полного укоризны, но милостивого, отцовского, и нисколько бы не удивился, если бы Он сошел с пробуждающихся небес, по окоему которых на востоке плавилась прохладная утренняя заря. Луна потускнела вовсе, и Каин, отныне извечно торчавший на ней с помазом и ведром смолы, утонул за серебристой чешуею бесплотных облак. Мне сердцем стало так покойно и кротко, но тело мое от зачугуневших пяток до непокрытой головы внезапно охватил озноб. Отец Зенон велел мне повернуться на запад, где за всхолмьями пласталась угрюмая туча, и сказал: "Отрицаеши ли ся сатаны, и всех дел его, и всех аггел его?.." И я ответил: "Отрицаюся". Ответил без сомнения, с удовольствием, ибо за той смолевою грядою, кою не могло пробить даже утреннее ярило, воистину увидел дьяволий зрак.

"И дуни, и плюни на него", — велел монах, и я с искренним удовольствием дунул и сплюнул в ту сторону. Это мне было велено отречься от самого себя, стряхнуть ветхие обольстительные одежды грехов и гордыни, но навряд ли в то мгновение, охваченный ознобом, я понял смысл вещих слов. Я дунул и сплюнул в дьяволий облик, полный спеси и гордыни, ибо из этого бучила с огненным зраком истекало на Русь извечное зло. Монах призвал меня бороться с тем злом, и мое чувство вдруг сошлось с евангельскими заповедями, и все крещение стало не только осмысленным, но и получило главное направление. Я как бы вступал в ополчение на войну с нежитью.

Ежели бы отец Зенон еще сто раз приказал плюнуть на гнилой запад, я бы сделал это с удовольствием. Иеромонах дунул мне в лицо и на грудь, дух был ароматический, пряный. Потом мне велели вступить в протоку. Оскальзываясь на глине, я вошел в весеннюю вздувшуюся реку, живая крестильная купель готовно прислонилась ко мне, обласкивая, подмывая подошвы, будто торопила, чтобы я не медля погрузился в Иордань; живые косицы сплелись вокруг голяшек, как опутенки на ногах сокола; с взбульканьем, ярясь, теряя по глинистым бережинам клочья пены, мчалась вода, и от взгляда на нее хмельно вскруживалась голова. Что говорил монах? — Я плохо слышал и подчинялся его воле и бережным его прикосновениям уже по наитию. Я опустился на колени, и отец Зенон, взявши меня за волосяной клоч, решительно и вдруг властно трижды утопил меня в реке с головою.

"Во имя Отца... и Сына... и Святаго духа... Ныне и присно, и во веки веков. Аминь".

Я выбрел из воды, и меня облекли в монастырскую белую рубаху до пят с тесемками на груди. Обряд шел долго. Уже солнце вовсю встало над миром, уже соловьи ударили бои со всех сторон, защелкали, окружили меня звонами. И вдруг неизъяснимая радость полилась с небес, и телесная дрожь сама собой улеглась. Отец Зенон надел на меня медяный крест на толстом капроновом шнуре, отлитый в погребице тем самым горбоносым трудником, поздравил и трижды расцеловал. И все поздравляли с радостью, целуя, видя, как воскресло новое чадо Божие, явился на свет причастник Света Невечернего. И только я пока не мог понять, что случилось со мною, и надеялся лишь на помощь Господа, чтобы вновь не затворились сердечные очи и не остаться бы мне впотьмах. Потом были долгое стояние в церкви на службе и первое причастие. Я разогрелся телом и был как новенький грошик, но крест, еще не сжившись со мною, словно бы прожигал мою грудь насквозь.

II. В ЧАС ОТЧАЯНИЯ НЕ ОСТАВИ НАС, ГОСПОДИ!

1

Наверное, каждого из живущих когда-то навещали мысли о самоубийстве.

Помню, как в детстве, напроказив и получив от матери выволочки, я убегал из дому на улицу, насунув на босые ноги подшитые валеночки и стоя под вечерними окнами, глядя на изморось таинственного неба, испрошитого блестками звезд, мстительно думал, скашивая глаза на заиндеве-

лые окна, сквозь накипь которых едва пробрезживал скорбно-желтый свет от крохотной керосиновой пикалки: вот сейчас упаду в снежный забой и замерзну насмерть, а ты, мама, спохватишься, выбежишь за ворота и, найдя меня, закоченевшего, станешь рыдать и убиваться, а я, услышав твой плач, и глаз-то не открою... Вот как ты еще пожалеешь той нахлобучки, захочешь назад вернуть свои слова, да и уж фига тебе...

Откуда в ребенке желание отомстить за обиду ценою собственной жизни? Ведь никто не научал. Это же не внушенное, не наговоренное и не блазнь, не чьи-то посулы, но позыв души из пратемных, прадревних глубин человечьего проживания. Я — ребенок, но уже и человек — Бог, могу умереть, но тут же и воскреснуть и заново продлить жизнь. Воистину дитя бессмертно, оно не чает смерти, и жизнь для него вечна: ибо весь коловорот быванья, все кипение страстей — это лишь игра в зрительную трубку, в которой прихотливо, стихийно сбиваются в причудливый рисунок цветные стеколки.

В самоубийстве таится какой-то искус, очарование, сладостная отрава, что вовлекают несчастного в свои лукавые тенета, опеленывают сетями отчаяния, как паук муху; мыслями о добровольном уходе выпивает эта замануха всякую волю к жизни. Человек, вовсе не сознавая о сатанинских уловках, поддается этому пьяному меду, упивается его сладостью, и к той минуте, когда сводит счеты с жизнью, он уже полностью во власти чар смерти, он уже внутренне устал душою, одряб каждой жилкою и вовсе обезволел. Он похож на ту древнюю старуху, что перед иконою шепчет в ночи: "Господи, и когда же ты приберешь к себе. Батюшко, призови к себе, чужой век загрызаю".

Кто же эта затравщица, что невидимо стоит за плечом и нашептывает отчаявшемуся горемыке, де, решися, милок, хватит тлеть на миру, кончай тянуть волынку, рви нить жизни сразу, не робея руби якоря, уходи в бесконечный сон, ведь ничего ты нового не спознаешь, одна лишь канитель на земле, суета сует и никакой тебе особенной радости. Иль девка-чертовка хоронится возле? иль берегиня с налитым телом? иль обавница-чаровница с косою до пят, что опутывает твое костье и жилы, пригнетает их долу и томит.

На Новой Земле к помору, пожелавшему пережить долгую северную зиму впотяготку, не слезая с лавки, неслышно подкидывается такая порчельница; однажды ветровым темным днем вдруг в сполохах незатихающей пурги с воли открывается дверь, и в становую избу входит спелая девка с огняными очами; приваливается под бок налитым телом и принимается жарко целовать в губы, нашептывать всякие блудные слова, и в этой страсти с берегинею, в неистовой беспамятной любовной

игре скоро истаивает промышленник, теряет всякое здоровье, и в недолгое время ложится под крест.

Сводят счеты с жизнью в минуты отчаяния и тоски, гнева и обиды, безысходности и любви, от хвори и ненависти, от усталости и мерзости жизни, от нищеты и скаредности; всяких причин сыщется человеку в услугу, если он захотел подвести последний итог. В мире кончили самоубийством, наверное, столько же народу, сколько сгинуло в великой войне, и те армии добровольцев пополняются с каждым годом, и нет им извода.

Между самоубийством и внезапной смертью мало отлички, настолько тонкая черта, когда трудно распознать истину иль сыскать причину гибели. В Поморье было за большую редкость, когда насельщик решался на такой страх. Бывало, что кто-то под забором замерзнет по пьянке иль от вина сгорит, не добредши до дому, иль в кушной охотничьей изобке угорит ночью, рано закрыв трубу, иль в тайге пропадет, задранный медведем, иль утонет на перекате быстрой реки, вывалившись из лодки, иль, плотничая, с избы свалится вдруг, испроломив себе хребтинку, иль с сенного воза упадет на ледяную зимнюю дорогу, иль угодит под нож строптивого обидчика, иль сгинет в морском относе посреди океана, в одиночестве скончав земные дни, иль под плот угодит на сплаве, иль под дерево уноровит подгадить на лесоповале, иль саньми затрет в долгом обозе от Мезени до Петербурга: ой, братцы, много смертей случалось на веку с поморянином, но редко кто приговаривал себя, осердясь на жизнь, крепко лютуя на нее, ибо всегда помнился суровый церковный остерег: де, кто утопнет нарочно, иль повесится, иль кого саньми затрет с умыслом, иль угорит в недобрый час по своей задумке, тех умерших по православному чину в церкви не отпевать и на кладбище деревенском не хоронить, а прикапывать где-нибудь осторонь возле скотского могильника, как падаль, ибо на тех людях креста православного нет.

* * *

Но, положа руку на сердце, спросим себя трезво: разве во всяком рисковом деле, которому мы отдаемся порою со всей страстью, понимая, что впереди обещается смерть и возврата уже не будет, и от этой мысли лишь опьяняясь, — разве нет во всем этом оттенка самоубийства? Но коли сама жизнь не обходится без риска, без самоутверждения, если она заквашена и настроена на риске, то не есть ли, пусть и скрытое, самоубийство самой формой земного существования, без чего не обойтись?

Защита отечества, без сомнения, есть дело соборное, каждый из на-

ции, как бы ни квасился он, но должен взвалить часть этого сурового бремени себе на плечи, такова участь. Крестьянин, чья судьба копытить землю, узнав, что забирают его на войну, смиренно соглашается: такова доля, от призыва не убежать. И те редкие попытки увильнуть обычно кончались плачевно тяжелой драмою и долго помнились на селе, как предание иль недобрая память. И без особой охоты, но с внутренней покорностью неизбежному тянется наш мужик на передовую, где понапрасну не подставляет грудь под пулю, зря на рожон не лезет, любит и голову поклонить под куст, но солдатскую лямку меж тем тянет с усердием, как тому поноровляет крестьянская жилка, а случается, что и доблесть выкажет самому себе на удивление. Таков человек доли.

Человек же фартовый, у кого сердце во всякую минуту готово на розжиг, кто сам себе пан, кто при любых превратностях готов козырнуть громким словом, он всегда тешит в себе тайное желание выделиться средь прочих, лишь бы был к тому повод; он чурается всякой принудиловки и притужаловки, бежит от нее прочь, но коли прижмет, то вскипает натурою и может натворить дел как добрых, громких, так и дурных. Таков человек долга.

Участь — доля — долг — подвиг... Откуда же подвиг-то внезапно берется? из каких таких кладовых в скромном человеченке, в эдаком-то воробушке, прежде не блиставшем особыми заслугами, и вдруг набирается столько отлички от прочих, что он, будто новоявленная звезда, вспыхивает на гражданском небосклоне, чтобы сиять долгие годы. Вот был скромный солдатик Александр Матросов. По сравнению с генералами, кого Иосиф Сталин в первые же месяцы войны поставил под вышку, он был просто птичкой-невеличкой в сером, безликом на первый взгляд, военном скопе, эдаким оловянным грошиком в россыпи, и вдруг в один день значение имен и эполетов потускнело, померкло от сияния солдатского имени. Мог бы, чудак, отсидеться в окопе, не лезть напропалую, а он вот, сердешный, сломя голову кинулся на амбразуру, подставил грудь под свинцовую струю. Его же никто не понуждал бросаться на пулеметы. Матросов был обязан пойти на войну, исполнить соборный долг или долю, как тому соответствовала натура, и не празднуя труса встать на рубеже. А он вот совершил подвиг. Александр Матросов повторил на своей непокорной судьбе противостояние Челубея и Пересвета: этому поединку света со тьмою, добра со злом не станет конца. Значит, истинный подвиг, в коем, без сомнения, есть неизбежный оттенок самоубийства, — это жертва, освященная церковью, это заклание себя ради других.

Но и во всяком самоубийстве есть несомненная черта подвига, но со-

вершенного за "я", и потому мы так завороженно вглядываемся в каждый случай, словно бы примериваем к себе, к своей воле.

Можно ли было Пушкину снесть оскорбление иноземца, не поддаваться порыву бретерства, той странной забавы, привезенной из Франции, и не вызывать своего обидчика на пистоли? Попритухло ли бы его имя во времени, если бы поэт не принял вызова? Всякий может примеривать ту национальную трагедию к своему норову и сетовать, поощрять иль негодовать. Пушкин совершил завещанное судьбою. Хотя в самой дуэли, в ее сердцевине, в самой коварной задумке, в этой игре со смертью, в этом вызове старухе с косою таится нечто зловещее, скрывается насмешка над жизнью, как высшей благодатью, дарованной Богом, и над самим Господом, которому лишь и возможно обрывать земные деньки. Не случайно церковь запретила дуэли и назвала их кощуною, трезво разглядев в них черты самоубийства и самосуда.

Почти во всякой дуэли живет несоразмерность силы, неравенство сторон. Умелец, жестокий сердцем, отличный стрелок принимает вызов заведомого простака и убивает его с хладнокровием, как бессловестную скотину. Он — убийца. Но и тот простец человек, что заполошно нарвался на дуэль, разве не самоубийца? Ибо при всяком раскладе, когда в жизни и пистолет-то едва ли он державал пару раз, ему мало светит удача, тут для выигрыша у него крохотная случайность; и зная исход, но принимая роковой вызов, он заведомо становится смертником и самоубийцей.

* * *

...Один мужик у Белого моря убеждал меня, что кончают с собою лишь те, кто Бога не боится и семью кормить не хочет.

...Господь даровал во владение людям цветущий благодатный мир, но человечество, однажды вкусив от яблока греха, пустилось во все тяжкие по пути сомнительного познания, как отчаянный самоубийца, превращая землю в вертеп. И чем скорее все общество скатывается в бездну, тем придирчивее оно вглядывается в каждого самоубийцу, будто тот без дозволения вырвался из их рядов и опередил в замысле.

Средневековая церковь, предполагая присутствие сатаны в науке, встала на ее пути кострами и плахою и, рискуя авторитетом, замедлила ускоренное падение человечества; по прошествии веков мы запоздало увидели пронзительную правоту древнего христианства. Неужели в затяжном поединке падший ангел облукавил Господа?

* * *

Многое поменялось в земном царствии: плоть скоро устает от тягостей, она прельщена удобствами, оскудела усилиями, мышцы ее поиздрябли. И чем дальше народ отходит от земли-матери, тем больше надо измышлять всяких прихотей для тела, этой грешной временницы, чтобы бесконечно тешить ее, загоняя вечную душу в нети забвения. Сатана подпустил человечеству всяких кудес в виде машин и коварных измышлений и сейчас, похохатывая, спроваживает обезумевшее человечество в ад... Вот и душа-то наша, несмотря на видимую поклончивость Богу и желание без тягостей, искренне прислониться к церкви, однако взбудоражена сатанинскими уловками и скоро поддается прельщениям и игре ума, да и саму икону с лампадкою принимает лишь за индульгенцию от грядущей расплаты.

Народ самовольно пошел с земли косяком, и даже, оказывается, сытая жизнь и все приобретения ее, умасливающие плоть, все богатства мира не могут остановить от ухода. А что уж о русских сказать в этих невзгодах, когда без войны, но хуже, чем на войне: лишения всяческие одолели, и ложь тлетворным чахоточным туманцем окутала и малое подобие правды, и скверны стали за чистые измышления, а извращения за цельность натуры. Забылись прежние наставления иерархов, и почившие в бозе ныне покоятся рядом с неотпетыми, но мы не догадываемся, какие речи они ведут меж собою, какие препирают тяжбы и за какие истины ратятся. Хотя простец-народ уверен, что и в землице люди повязаны нерасторжимой вервью. Одна баба из нашей деревни завещала себя подле мужа не хоронить, ибо и без того на этом свете настрадалась от него, чтобы и на том собачиться до скончания времен.

* * *

Раньше самоубийство было за редкость, ибо почиталось за грех. На моей памяти, пока я жил в Мезени до семнадцати лет, был один случай, по соседству: бухгалтера одолела многодетная семья, и он, не снеся бесконечных забот, поднялся на чердак и там вздернулся. Мужик-то был смирёный, правда, когда жена наступала на любимую мозоль, надоедала своими причитаньями, он хватал вожжи и гонял бабу с печи на полати.

Обычно на северной Руси вешались на чердаке иль в бане, чтобы по смерти не принести особых хлопот. Застрелишься, будут родичей по властям тягать, де, откуда ружье; ежли "утопнуть", то мешкотно родным и всему селу, надо идти на речку неводить, шарить по ямам. А тут как бы

при доме усоп, в своей избе почил, а там уж Господь разберет на своем суде, великое ли станет на шею ярмо; Сладчайший-милостивец, он рассудит и авось смилуется, попеняет лишь, зачем, де, сыграл такого дурака.

Я вырос у пространной северной реки. Поморец с воды кормился и возле воды строился; его непогодушкой не выпугать, он и в самую-то штормину может кинуться в море потехи ради, и тут сам черт ему за брата. Ходил помор на карбасах и шкунах на долгие гибельные промыслы на Новую Землю и на Шпицберген, поклонившись лишь Господу, старинным заповедям да компасу-матке, а сам, отчаюга, спокинув матерую землю, перенеся морские невзгоды на хлипкой посудинке, не умел даже плавать. Вода — темный погреб, каких кудес только и не подгадает, если поддашься соблазну; вода заманчива, нежная, как девка-любодеица, вот и подхватишь ненароком хвори, с коей веком не расхлебаться; вода сурова и неотзывиста, если решишься поякшаться с нею; проглотит, а после и выплюнет на берег со ртом, набитым травою, раздувшимся и посинелым, как бревно. Жуть! В воде, как и в земле, много всякого гнусья; разве кто под землю добровольно пехается? лишь Христовы братцы, кто уж от мира отказался, могут жить в кладбищенской ямке. Да и голому в воде не на что опереться, нет той державы, чтобы спасла при случае.

Мы, дети нового поколения, некрещеные, не ведали прежних страхов и напропалую лезли в воду, наверное, едва начав ходить. Хотя и для нас река текла, как блистающее неприступное чудо, таящее соблазн и опасность. Мы начинали плавать в шарке — глубокой ручьевине, отвилке реки, и никто из взрослых за нами не дозорил, не нес вахты; тогда, после войны, было не до нас, мы росли на вольном выпасе, как дикие звери, росли, как удавалось, во всякой травине и живулинке прежде всего видя пропитаньице. И было какое-то разительное отличие от старших, кто уже сходил на войну и отличился там; если в сеностав мы купались в прогретых речных заводях, ощущая материнскую ласку воды, то мужики, закончив первый упряг, потные, обсыпанные сенной трухою, скидывали заскорбевшую рубаху и забродили в реку по колена, плескали парной водою на лицо и шею, фыркали, как кони. Потом садились под копешку покурить. Бабы же омывались чуть осторонь за первым кустом, где поотмелей: подтыкали юбки и бережно, млея, обливали ноги повыше колен, прыскали на щеки и, пристанывая по-голубиному, припускали горстку влаги за ворот ситцевой кофтенки на жаркую грудь. Потом, задумчиво постояв, вглядываясь в обрызганный солнцем разлив реки, слегка покачиваясь от протекающего меж пальцев песка и ежась от щекотки, возвращались на стан, где повариха собирала на стол.

И эти же мужики с багром иль черемховой палкой-хвостягой на вешнем промысле бежали с берега в море к тюленьему юрову, чтобы зашибить зверя, окоротить его на лямку и спешить с добычею назад; иной раз и за версту угодят по льду за промыслом, а на ту пору падет отдорный ветерлетник и отобьет лед от горы, и кто припозднился иль зазевался в горячке, тут же попадали в относ, частенько отправлялись на гоститву к старухе с косою. Недели с две и более носит христовеньких в море, да хорошо, коли выкинет на Летний берег иль Терский. А часто было, что и от стужи и глада кончится промышленник на льдине, как перст. А баба его поплачет-попричитает, закажет поминальную панихиду, да и перестанет больше ждать.

Эти же вдовицы, заменяя погибших мужей, ходили на карбасах в море на сельдяную путину и на зверной промысел, за навагой и камбалою, иным же случалось и в штормягу, и в относ угодить и смерть принять. Такова уж бабья доля.

А тут вот в страдную пору забредет голубушка в воду по колена, ино и присядет чуток омочиться, вздрогнет, вскрикнет заполошно-радостно, а поглубже-то отшагнуть уж и страх долит: вдруг русальница полонит, зазовет в хоровод.

* * *

Мою мать, школьницу четвертого класса, полюбил сельский учитель восемнадцати лет; подождал, когда станет девчонке пятнадцать, и пошел сватать к ее родителям, деревенским лишенцам.

"Да что ты, опамятуйся, сердешный, сам на ноги не встал, и девка-то вовсе ребенок", — отказывала мать. Но учитель был настойчив, и на третий год они согласились. Когда возвращались из сельсовета после записи, жених выносил юную невесту из лодки на руках, да на ту пору запнулся, и обнесло его в реку. На берегу бабы зашикали: де, не к добру, не падет невесте счастья.

Отец погиб в войну, оставил молодую жену с тремя дитешонками на горбу. Ни хорошей крыши над головою, ни зажитка, ни работы, ни подмоги со стороны; как перст, одна на юру вдовица, неоткуда державы ждать. Помню, как спать ложимся в крохотной боковушке вповалку на полу, то матери и ступить некуда. Крепилась, несла крест, но однажды вдруг поддало сердечко, такое отчаяние охватило, что мать моя средь ночи приторочила веревку к перекладине кровати, вздела петлю на шею и обвалилась на пол. И как только старшая сестрица очнулась от сна? А было ей лет двенадцать. Подскочила, взвопила жалобно, несчастно: "Мама, а мы-то куда?

Мама, не оставляй нас". Вцепилась в веревку и давай сдирать с шеи петлю. Мать, помнится, не шибко и сражалась, но только пустилась в плач и несколько дней после ходила как окаменелая. И снова впряглась в тягловую лямку. Бабье горе заплывчиво.

И надо ж тому подгадать? Родилась она в семнадцатом, на заре новой жизни, в день февральской революции, и все тягости века, мятки и валки, все лихолетья прокатились по ее хребтинке. Господи, какое же немилосердное ярмо вздели на русскую женщину, и надо было безропотно тянуть его восемь десятков лет.

И вот новая революция пришла по нашу долю, нас, простаков, в очередной раз "обули", оставили с носом, окутали нищетой и босотой, оковали лишениями, распехали по мусорным свалкам доживать, всю родимую землю располосовали, размежевали невидимой колючей проволокой, истерзали на зоны, разбили семьи.

За восемь лет, что не был я дома, много воды утекло. Прежде, когда дважды в год наезжал в родные палестины, когда каждое лето мечталось пташицей полететь на Помезенье, думалось, что и года не прожить без гоститвы, чтобы не переступить родимого порога. И что вы думаете? притерпелось по нужде, и сияющая северная земля потускнела как-то, отодвинулась на край окоема, как некая блазнь, и чую, что и в душе-то стали меркнуть близкие лица и дорогие приметы отчего края. И вот огоревал дорогу, спасибо добрым друзьям. Знал, что мать худа, совсем плоха, с кровати не встает, а все больше лежит.

Но оказалось, что мать моя утерялась. Нет, она не заблудилась в глухом лесу, не пустилась с посохом по Руси во все тяжкие, подыскивая монастырскую келеицу; она лежит в постели, утонув под одеялом, уже бесплотная, вся в белом, как засыхающий цветок, щеки туго обтянуло на вытончевших скульях, и когда-то властное лицо ссохлось, но взгляд стал младенчески бестрепетным и безвинным. Я взял ее за тонкую костяную ладошку, мать внимательно вгляделась и резко как-то, капризно-жалобно сказала: "Генечка, ты почто так долго не был? Я тебя заждалась". — "Мама, — отвечаю, — ведь Геня только вчера уехал". — "Я постоянно пою: Генечка, дружочек, не ходи ты на лужочек".

Она засмеялась, принялась подниматься из подушек.

"Мама, — говорю, — это я, Володя". — "Нет, ты — Генечка, ты никогда не ходил с бородою, ты носил усы, и они тебе так шли". — "Я не Геня, я — Володя..." — "Ой, Володя, — восклицает мать, на мгновение задумывается, но так и не вспомнив, спрашивает: — А где ты живешь?" — "В Москве..." — "Ой, дак ты в Москве живешь?"

Мать сухо, резко засмеялась. Прежде мать часто, беспричинно плакала, раздражалась по мелочам, вздорила, впадала в смуту и тоску. Нынче она смеется, ей весело, и оттого, что мать так странно смеется без нужды, на душе моей еще горше. Она снова утопает в перине, уплывает от меня, теряется, покидает, так и не узнав? Я снова пытаюсь пробиться к ее памяти, в неожиданных пустотах ее сердца отыскать себя. Спрашиваю: "Мама, как ты жила?" — "Ой, я жизнь-то хорошо прожила. Я жизнь-то хорошую прожила..."

* * *

Мезень потускнела как-то, состарилась за эти годы, заплесневела, редко где сквозь серые избы мелькнет новизною; московский ростовщик и отсюда стащил те скудные крохи, что прежде перепадали северному городку для подновления жизни. Все пущено на самотек, на самовыживание, в разор и запустение. На почти заглохшем аэродроме разговорился со знакомцем и вдруг узнал историю, что днями случилась на побережье Белого моря. Один мужик (назовем его Григорий) покончил с собою. Лет десять назад он сошел с деревни на отшиб, срубил себе избенку о край моря и стал жить в одиночестве: ловил рыбу, зимой бил птицу и зверя, добывал на пропитаньице. А много ли одному надо? В деревне появлялся редко, полюбилось ему одиночество. Я знавал нескольких таких людей, кто добровольно бежал от многолюдства на северные окраины, в леса, чтобы в тиши, в созерцании мира, в самой этой отторженности от кишения толпы находить усладу. Вот и Григорий, счастливо-нет, но коротал деньки в одиночестве, никому не мешая. Но в один несчастный день прибрели к избушке два отпетых самодовольных недоросля и стали рушить немудрящее бобылье хозяйство, несмотря на уговоры мужика, в молодые годы бесшабашного парня и отчаюги, а ныне смирёного, как овечка. И чем больше Григорий взывал к душе и совести пришлецов, тем круче забирало их веселье, тем большей отвагой над безответным играли их замшелые сердца. И наконец-то вывели из себя хозяина, довели до последней точки; достал мужик ружье с подволоки и убил одного бесталанного, а другой, вопя, утек в деревню.

Приехала милиция. Пока разбирались на взморье, пока осматривали да прибирали труп, искали свидетельств, Григорий, до того покорно сидевший на камне-баклыше, попросился за кустик: де, приспичила нужда, спасу нет. Сам же забрел по колени в Глухое озеро, что вольно расстилалось за избенкою, схватился за куст багульника, уткнул голову в воду и утонул. Спохватились дозорщики, кинулись к озеру, ан ответчик уж Богу

душу отдал. Знать, увидел несчастный свой грядущий путь, допросы и суды, и многие волокиты, этапы, тюрьмы да лагеря, — то и не стерпел грядущего позора и наложил на себя руки.

Вот коротко и вся бы незатейливая история, каких ныне по Руси предостаточно, кабы прежде не знавал я покойного, когда и сам был молодым журналистом, много ездил по глухим окрайкам Поморья. Захотелось вдруг припомнить и те времена, и себя самого, еще дерзкого в мечтаниях, легкого на ногу и житье в самых затрапезных условиях, когда любой прислон — копенка ли луговая иль еловый шатер могли оприютить меня, а жизнь впереди мыслилась бескрайней.

Подумалось вдруг, а в судьбе-то моего знакомца были ли хоть какие-то намеки на грядущий исход? характер ли его вольный выковал этот крюк трагического исхода, иль глухая, воровская, пущенная на самотек власть погубила очередную несчастную душу?

2

В последний раз я видел Григория четверть века тому назад на тоне Подсувойной у Белого моря.

Поначалу он показался прежним: та же крупная кудрявая голова, редко знавшая гребень, туго насаженная на короткую воловью шею, торопливо вылепленное лицо, носатое, губастое, с толстыми складками на плотных щеках и крохотными глазками, полными постоянного голубого хмеля. Григорий встретил меня на угоре, наблюдая пристально, а кого это Бог несет о край моря? что за незваный гость плетется по заплескам, спинывая носками сапог ржавые плети водорослей? Дождался, не колыхнувшись, пока вскарабкаюсь по глинистому рассыпчатому склону, а узнав, вроде бы потерял всякий интерес, выстрелил окурком под ноги, буркнул в сторону: "Проходите. Гостем будете". И повернул к становой избенке, стоявшей на юру, чуть сутулясь и подволакивая ноги, как ходят по земле мореманы и рыбаки, привыкшие к тревожной зыби под собою.

— Сашка, хватит жир копить! Уху заваривай. Гость до нас, слышишь? — приказал кому-то в сумеречное затулье у стены, где на нарах на двух ярусах лежали рыбаки. Второй раз повторять не понадобилось. Сверху с лежанки готовно соскочил зуек, парнишка лет пятнадцати, длинный, с костлявыми прямыми плечами, выпирающими, как лопасти, из розовой майки, еще не успевшими заматереть, принакрыться мясами. Он был большеглаз по-девичьи и белокур, светлый волос скрутился на шее в косичку...

В крохотное оконце, завешенное цветистой тундрою, было видно, как разживлял Сашка огнище, уставясь коленями в канаварник и дикий пух,

как деловито, сноровисто дул в отсыревшие за ночь уголья, сыскивал в них теплинку, живой огонек и не отстал, пока не заярилось над кострищем кудрявое белесое пламя. Парень принялся за котел, стал усердно охаживать его нутро вехотьком из осоты, потом на разделочной доске распластал рыбину. Семга лежала подле, в пристенье избы в лопушатнике, явно добытая только что, еще с каплями морского рассола на костяном лбу и темной веснушчатой хребтине. Под ножом ало разверзлась мякоть, обнажились черева, брызнули в ладонь оранжевые ягоды: рыбак запустил пальцы в брюхо и вытащил из нутра добрый куль икры. Оглянулся радостно на оконце, увидал отца, показал большой палец и оскалился. В глазах Григория появился слабый интерес, они оживели на миг.

— Твой, что ли? — спросил я о кашеваре, чтобы затеять разговор. Было как-то неудобно молчать в сумрачной рыбацкой изобке подле оконца, пестрого от надавленных комаров. Тишина угнетала. Словно бы ты, незваный, заявился в самый неурочный час, и хозяева становья только того и ждут с нетерпением, когда ты прикроешь за собою дверь. Но я понимал, что первое впечатление обманчиво; у поморян свои манеры, свои привычки и похмычки; да и дальней памятью я не позабывал, что в моей котомице лежит заветный бутылек "Московской", и под уху эта стеклянная подружица станет в самый срок и скоро развяжет язык, отгонит прочь всякую хмурь.

— Старшой...

— Спористый парень, — подольстил я, чтобы не разрушить затеплив-шийся разговор.

— Ага, спористый! Скоро загудит, как пароход: хо-чу! — с нижних нар легко поднялся мужичонка в клетчатой рубахе, лобастый, клешнятый, с подбородком, битым оспою, и вывернутыми розовыми веками. В сереньких глазках постоянно играло озорство. — Скоро мамке с папкою запоет: "Все ходил да лапти плел, себе Анюху приобрел... Все хожу и нюхаю, не пахнет ли Анюхою".

— Ты бы, Петр Степанович, попридержал бы язычок-то...

— С моим языком ни одна баба больше недели не выдерживала. С языка дам соли, со штыка подброшу перцу, она и дё-ру... Один мужик, бывало, на старости женился на молодой, а любить уж и не замог. Придут в баню, он на нее голую как глянет, погладит ее всю, да как заплачет. Ой-ой... Нам как примется об этом рассказывать — слезы ручьем... А гость-то пусть нам ответствует, откуль они и с каким заданием?

— Из Мезени...

— Ишь ты, из Мезени, значит? — нарочито удивился мужик. — Ну, ближний сосед лучше дальней родни. Как растет там лесок суковатый, как

растет там народ зубоватый. Мезенцы-кисерезы, мещана, известный народ, кофеники, кофея любят пить с пирогами да пышками. Это не про вас еще поют: де, вы дрыны с колоколами, любите носы задирать?

— Нет, не про нас, — невольно рассмеялся я и тут же поддел:

— Это про вас говорят, что вы, ручьевские — едома узкоглазая, от ненцев недалеко ушли.

— Мы-то едома, да всюду ведома. На край света хаживали, из топора суп варили, да чести не теряли. Так-нет, Григорий?

— Степаныч у нас человек не простой, заговорный. Без бутылки заговорит. И в газетке было про него писано в прошлом годе.

— Сфоткали даже, сказали — дадим. Подписался, год курил вашу газетку, а так и не увидел себя. Может, прозевал?.. Я было с пальцем в больницу ездил. А как получилось-то? Во сне увидел войну, будто немец ко мне тянется, задушить хочет. Я как двинул ногой. Метил-то в морду егову, а угодил в стену и сломал себе палец. Корреспондент ваш пронюхал, да мой сон и пропечатал. Читал-нет?

Я промолчал, перевел разговор.

— Ловится рыба-то?

— Есть немножко, небольшой процент есть, — ответил Григорий и снова замолчал, брякая по столу короткими толстыми пальцами. Я вглядеДСя пристальней в давнего знакомого и только сейчас увидел, что шесть лет, минувшие после первой нашей встречи, оставили на нем отпечаток усталости и угрюмости. Помнится, что прежде он был речист и кудряв, он ловко обхаживал на заулке бревно, обтесывая его топором, и в россыпях свежей щепы еще в груду, но уже лежал новенький сруб. Григорий тогда строился и был по-человечески счастлив, что вот удачно сплавал на тральщике, жена его любит и скоро будет свой дом. Нынче же голубые глаза были присыпаны ранней пылью, прежний кудрявый волос поредел, свалялся в клочья, и что-то неухоженное, сиротское было во всем этом сильном и когда-то удачливом человеке.

Сашка принес котел с ухою. На рыбацкой тоне щерба за эти века тоже не претерпела перемен, как и сам промысел: никаких специй и добавок, которые могли бы притушить золотистый семужий жир и легкий особый дух, — только кипящая вода из родника, соль и рыба толстыми звеньями, и голова с черным костяным лбом, и студенистые с зеленью глаза с радужной каймою, и песчаного цвета крупная печень, и зебры. Все это, настоявшись на медленном огне, куда как вкусно, даже приятней самого рыбьего мяса, которое неожиданно линяет в крутой воде, становится мутно-желтым и сухим.

Уху хлебали из большой чашки, ели долго и сытно, укладывая костье горкою, потому, как поешь, так и поработаешь, а едят на тоне раз в сутки, но зато раз пять на дню пьют чай, порой и середка ночи, и под утро, потому что здесь у моря на промысле все часы смешались; тут не зевай, впотяготку да вполеготку никакой рыбы не добудешь. Море нравное, кудесное, потайное — темный погреб. Море-поле, да море и горе.

Я подцепил ложкою рыбьи щеки, и Григорий заметил вдруг:

— На них белое птичье мясо...

Я подыграл рыбаку, нарочно удивился.

— Да ну? У рыбы и птичье мясо?

Все застолье готовно заулыбалось, всем хотелось пришлого человека удивить; де, у моря сидит народец тоже не лыком шитый, сам себе голова, искусный в своем деле, и городскому гостю местного сидельца учить особо нечему.

— Раньше рябчик был величиной с корову. Бог шел, значит, а рябчик возьми и взлети из-под ног. Значит, выпугал Бога. Тот в отместку сделал рябца малеханным, с кулак. Того и мясца, что в грудке, а все остальное белое мясо раздал рыбам и птицам. У каждой рыбы с той поры в щеках иль жабрах есть белое мясцо.

Григорий улыбнулся мягко так, и с этой минуты его уже веселило все: и наваристая, нажористая уха, и черный как деготь чай, и рыбацкий фарт, да и сам гость уже не казался гвоздем в камаше, не давил на пятку.

— Была корова ударница, а пришла в колхоз и пролила много слез. Вот так и наш рябчик. Каково ему было, когда Господь разделывал его на части? Ой-ой!

Степаныч молчать не мог. Задвинутый в сторонку, он как бы тускнел и превращался в незавидного мужичонку пожилых лет. И во время ухи он кепки-восьмиклинки не снимал, а только сдвигал к затылку да вытирал тряпкой вспотевший лоб и крупный пористый нос. А сам зыркал на гостя, примечал его повадки. Видя, что я ем как-то малохольно, едва перетираю зубами семужье мясо, тут же заметил:

— Ой, Владимир Батькович... Не больно вы едок. А каков за столом, таков и в работе. Ежли едва ложку тянешь в рот, да и застынешь так, будто челюсти вывернуло, такой человек и в труде не подвинется, мало с него толка... Нет, сплошное переменене света, скажу вам. Чего ни коснись, хоть опять же погоду возьми иль саму стихию, — ну все не так, как на моей еще памяти. Раньше, скажу вам, и морозина-то не эка была, сорок-сорок пять за обыденку, работаешь — пар валит, как у лошади потот, горстями обираешь. Фуфаек не было и в помине, шили пинжаки до

колен на вате. Дак две волочуги сена накладешь по пояс в снегу. И руки-ти, знашь ли ты, холоду не чуяли. Рукавицы за пояс заткнешь и давай наяривать. Да и ели-то раньше, брат, не химию, не атом. Супу-то наваришь, а мяса — оковалок, да нажорешься от пузья, да редьки натрешь, да с квасом, а квас-то ядреняший, рот дерет, родименький. Это нынче квас-от вода одна. Раньше, Владимир Батькович, консервы не знали, и здоровье оттого было. — Петр Степанович вздохнул, надвинул на глаза рыжеватые бровки, уже взявшиеся в щетинку, посмотрел на клешнятые, раздавленные работой руки. — Это война нацию сокрушила, скажу тебе. Будь она неладна, она больной народ навела. Нынешнее-то поколение — слабаки, ленивы на работу, уж лишний раз не повернутся. А уж еще-то дальше и вовсе народ слабый пойдет, хилый, пока вовсе не окоченеет.

Мужик вздохнул, вроде бы закручинился, сгреб костье в горсть, кинул под порог собаке.

— Будет тебе, Степаныч, панихиду-то петь. Мы ли пальцем деланы? Гляди, чай-от простыл, — напомнил Григорий. Он сидел боком к оконцу и постоянно приглядывал за флюгаркой. Та крутилась лениво, вперевалку, не зная, в какую бы сторону вильнуть, кому подсластить.

— А что мне реветь? Я и сладко ел и горько пил. Помню, в Будапеште было. Ворвались на вокзал, видим, вагоны стоят. Написано — яд. Из автоматов раз, по цистерне. Посикало во все стороны. Эй, братцы, кто смелой! Одинова живем, блин гретый. Помирать, дак с музыкой. Я рот подставил, в брюхе ожгло. Не кипяток, не-е. Спиртяга. Видят — не помираю, еще дырок понаделали. Вот уж вымя коровье, всем титек хватило. Упились... Нет, ребятки, раньше народ сильный был. Разве бы слабаки немца свалили? Ножа ему в сало. Помню, раньше редьки-то натрешь, да квасу напьешься, так только воздух спускаешь. Раньше-то было ранешнее, а ныне — нынешнее, да и мы не прежние молодцы. А не унываем, верно, Григорий?

— Верно, Степаныч... Гляжу, ветер на сток. Паскудный, скажу тебе, ветришко. Сток — реку плавит, сток — реку ставит, сток — реку морозит: весною теплый, зимою холодный... А нам бы ветер с горы нужон. Наш, русский ветер нужон, с горы. А тут со стока на полуночник заворачивает, а тот и вовсе худой ветришко. Он рыбу-то не только в котел загонит, но и из котла выдернет, такой паскудливый. А рыба в море есть, есть рыба-то, — бормотал Григорий, не сводя взгляда с флюгарки, словно бы она атаманила на промысле и давала команды, а не он, опытный звеньевой.

— А почему бы не быть? Она сейчас в берег, в волну идет, капшаков со спины сбивает, — вторил Петр Степанович.

Сашка стал убирать посуду со стола; видно было в оконце, как обрывком сети мыл посуду в озере. Даже в солнечный день оно антрацитово темнело, не пуская свет даже за верхний пласт воды; листья куги, толстые, жирные, казались вырезанными из малахита, и ни одного всплеска не нарушало спокойствия озера, будто всякая живулинка избегала его глубины. Даже жук-плавунец, обычный житель болотных вод, и тот не чертил лапками аспидную плиту. Потом Сашка зашел в избенку, взял бинокль, чтобы с берега взглянуть на ставной невод. А через мгновение он уже кричит отца:

— Есть, ульнула... В завеске висит. Я думал, кокора...

Рыбаки, не мешкая, отправились к тайнику. Мне одному сидеть не хотелось, и я выбрел следом; с горы рыбацкая троица казалась слабосилой, крохотной на длинной песчаной косе. Ловцы столкнули карбас и запрыгали на рассыпчатой отбойной волне, трудно выгребаясь к ловушке. А мне вдруг стало так просто и легко, словно век свой я жил средь этих простых людей. Наверное, чтобы услышать себя, нужно хотя бы раз побывать наедине с морем и почувствовать его стихийную, вечную, необоримую силу.

С одной стороны полуденная тундра пахла пряно и сладко, вся розовая от нежной клюквенной завязи и белая от холодного морошечного цвета и гусиного пуха; тундра пряно пахла багульником и тонко ныла на одном неумирающем вздохе, словно в огромном баяне запала самая нижняя клавиша, рождая вместе с этим звуком все новые черные волны комариного гнуса. Но совсем рядом против тундры жило море, и чудилось, что в глинистые осыпи бросают из пушек чугунные ядра, чтобы встряхнуть громами дремотный покой тундры. Я скатился к морю, и оно обнесло меня запахом водорослей и легкой водяной сырости, которая постоянно висела в воздухе. Море растворилось в небе и стояло выше моей головы. Темносизое марево закрывало его дальнюю кромку, казалось, там навесили непрозрачную кисею, чтобы скрыть за нею рождение новых ветров.

Рыбаки учили меня: "В голомени, в открытом море, если стена поднимается, темно так, значит шторм будет. Она сначала маленька така, потом все выше и выше. За нею плохие для нашего брата ветры живут".

Но пока было тихо, из густого прозрачного неба тянуло теплом и синью, легкий ветер крутил с севера на восток, а сизая стена над морем становилась все гуще, как бы располовинивая его, и волна рождалась будто из ничего, из едва заметной морщинки на морском челе. Здесь кругом жила вечность: и в стихийной силе моря, и в рыбацком уставе, где каждое действо и правило выверены веками и равны закону, и во всем неторопли-

вом беге жизни от чая до чая, от воды до воды, как остались неисповедимыми тайные ходы семги, ее золотые тропы. Вот и поныне море — темный погреб, чтобы на тоню садиться — надо хлеба амбар. Весною рыбаки без вари сидели, на тоню картошку да треску носили, да "Завтрак туриста", чтобы как-то себя прокормить.

И в прошлом веке выпадали столь удачливые годы, когда самый проклятый Богом рыбак и тот не сидел без рыбного пирога; но приступали к горлу порою такие лихолетья, когда с голодухи зубы на полку, снасть волною по кусочкам развеет, а море словно бы сиротело, и тогда цедили попусту воду от июня до Покрова, до густой черной воды. В эти-то времена и проверялись рыбацкий Бог, его глаз и сглаз, удача и суеверье, колдовские наговоры и запуки: "Я здесь, рыба тут есть. Море святое, дно золотое, ловитесь и попадайте, меня не забывайте". И начинают невода через дым костровой окуривать.

Мне было видно, как закатился карбас в тайник и его качало там навалистой волною. Рыбаки долго возились у ловушки, наверное, выезд был уловистым, и вот, отряхнув сетчатую стенку, покрытую илом, вытолкнулись по белой россыпи волн на берег. Григорий шел впереди, неся на откинутых руках, как дар волхвов, погрузневшую семгу с остекленевшими зелеными глазами, похожую на русальницу, и белое ее брюхо светло отсвечивало на солнце; следом попадал Петр Степанович с такой же лобастой рыбиной, подслеповато смаргивал слезу с обметанных красниною век; последним, внагинку, упираясь и пыхтя, тащил брезентуху, полную семог, младший из артели.

— Ну как рыба? — крикнул я еще издалека.

— Ничего, небольшой процент есть, — скупо отозвался Григорий, боясь сглазить удачу.

* * *

Под вечер на тоню приступил туман, призавесил крохотное оконце становья. Мы вышли на волю. Море, казалось, лежало под пуховым одеялом и едва просвечивало сизым сквозь редкие прорехи. А над тундрою еще светило незаходящее солнце. Глухое озеро как бы отволгло, принакрылось легким румянцем, еще резче обозначились кочки с обвисшим над молчаливой водою канаварником. Вдруг резко плеснуло в дальней заводи, в наш берег пошла волна.

— Такое уж это Глухое озеро, — готовно подал голос Петр Степанович. — Молчит-молчит, а после и выдаст. Помню, еще до войны неводили. А тут

говорить нельзя. Вся рыба будто в ил уткнется, и не добыть, а дна-то палкой не измерить, дна в ем нету. Зимой ловили-то, зимою, значит. Тянут это мужики невод, так в крыльях-то виснут эки мякухи, окуни-то по локоть, каждый по два кило свесит. Один старик-от и ляпнул сглупа: "Ну, слава Богу, черта омманули". Едва тащили невод, так рыбой забит, а тут сразу полегчало, матицу, кошель-от, будто кто ножем полоснул. Ни одной рыбины не взяли. Так старика того чуть до смерти не прибили. Нет, на этом озере говорить нельзя, тут только рукой абы головой кивнут — и все...

— Зачурованное место, притягливое, — почти шепотом отозвался Григорий и как-то сурово, тревожно глянул на сына, всем видом показывая, де, без отцова разрешения к озеру ни ногой.

Туман уже опеленал избушку, едва протаивалась сквозь молозиво кирпичная кривая трубешка на крыше да вертушка флюгера. Где-то далеко в морской голомени тревожно прогудел пароход, подождал ответного зова и снова прокричал в белую муть.

— Туман, он ничего, он волну придавит. Он шторму не даст разыграться...

Григорий поскучнел, заугрюмел, нахохлился, побрел на стан, завалился на нары, не снимая резиновых сапог с раструбами. Петр Степанович сразу уснул, как бы в омут свалился. Сашка заполз на свое лежбище и, подперши ладонью щеку, поблескивал на меня большими влажными глазами, словно я был гостем с другой планеты. Григорий поворочался на лежаке, снова спустил ноги на пол, сидел сутулясь, сырой тяжелой глыбой.

— Скучно тут... Ну что за неволя? Как прикован. Уйду на тральщик снова. А пошто не плавать, Владимирович? Другой раз рыбы-то полно выймешь, темная сила рыбы-то, не примают ее двое-трое ден, вот и загораешь кверху пузом. Обед, в четыре чай, в семь опять же ужин. Нет, там жить можно. Сходишь в море на полгода, огребешь деньги, на хлеб есть и на "Солнцедар" хватит. В Мурманск-то прибудешь, штиблеты надраишь, брюки-клеш в четыре ладони. Отвали, худая жизнь, привали хорошая! Еще тверезый сам, а в голове-то уже хмель, будто чакушечку для разгону принял. Деньги в схоронке... А какая схоронка? По пачке десяток в носки под штанины сунешь да резинкой прижмешь, чтоб в драке не выпали. А остальное на пропой. А на причале девки уже вьются, одна краше другой, музыка, ресторан. Деньги есть, и девки любят, денег нет — кутак отрубят и собакам отдадут... Я было подцепил одну, бракована. Ну, хохма. Лежим, значит, на кровати, все по делу. Приходит муж, встал подле, кричит мне: а ну слезай, это моя жена. Я ему — отойди, значит, не засти света, за работу уплочено. Он за милицией, значит. Вернулся с ментом. А мы уж отдыхаем, у нас шампань

в кровати. Мент спрашивает у мужика: твоя, что ли, баба-то? Тот ему: моя жена. Дак чего, говорит, смотришь? Действуй! И ушел, значит. Ну мне стало жалко, пошли на мировую, бутылек распили. Дрянь мужичонка, чего там...

А тут, Владимирович, как флюгер на ветру: ни дня, ни ночи. Нет, что ни говори, а большое-то море — это большое горе, но и великий клад. Черпанул раз ложкой, а за неделю не разжуваешь. Слушай, а ты же про клад, кажись, писал, дак знаешь ли что про то? — Григорий коротко засмеялся.

— А мне местные рассказывали...

— Мы искали было у Глухого озера, а нас как выпугало, — впервые подал голос Сашка. — Мы лопатами копали, а над нами как завопит.

— Не там искали. Старики говорят, что дубовый бочонок в озере, а в нем золота двадцать пуд, — сказал Григорий. — Слушай, Владимир, пойдем с нами искать, хоть ровно делить будет. На четверых как раз по пять пуд станет. — Григорий помолчал, удивляясь этой цифре, потом долго прикидывал, сколько выйдет, если перевести на деньги. — Нашли бы, дак куда и девать-то? Немного бы, дак. Обзавелся бы чем по дому, а остальное на пропой... Нет, уйду осенью в море. Там простор, там фарт.

Его мысли витали по своей орбите, тайной для нас, и Григорий вдруг поворачивал разговор с какой-то новой стороны, видно, что-то мучительно тревожило его.

— Вот, говорят, люди засыпают надолго, а их живьем и захоронят. Вот бы мне так-то уснуть, а? Понесут на кладбище, а я бы тут и сел да ближнего рукой за волосье хвать: "Эй, дай закурить". Бросили бы меня на дороге, а я скорей домой, там водки наготовлено, с покойником бы никто пить не стал, разбежались бы со страху.

— И неужели бы все выпил?

— Есть немножко, небольшой процент есть... Вот скажи, ты много ездишь, везде бываешь, почему так ведется, а? Подумать если, зрелого-то возрасту совсем мало жить, а пошто-то миром не можем, все делим чего-то. А зрелого возраста так мало. Мне уже тридцать пять накапало.

Тут подал голос из своей норы Петр Степанович. Оказывается, уже давно не спал и все слышал:

— Ты зря, Гриша, себе смерти сулишь. Твои года самые зрелые, разовые, у тебя еще все в горку... Вот расскажу случай. Пошли три мужика о святки на росстань судьбу гадать. Сидели-сидели, двое-то застыгли, иль выпугались чего, но не стерпели и домой ушли, а третий-то обчертился и остался на распутье. Ага, значит. И вот к ему вышла смерть. Он бежать, она за ним и в пяты бьет. Заскочил в избу, а она осталась за порогом. И вот надо

было ему ударить в стену триста раз. Он решил испытать себя. Первый раз брякнул в стену и вновь смерть в белом показалась в окне. Три раза и бомбнул всего, и умер. А ведь в разовых годах был человек. Жить ба да жить... Не, Гриша, со смертью не шутят. Живи, милый, Господь с тобою.

Григорий не отозвался, снова повалился на нары лицом к стене и так долго лежал, упершись в нее взглядом. К ночи туман истаял так же незаметно, как и появился. Тихо было, но вдали, где в полдень обычно проходят пароходы на Мезень, полные музыки и впечатлений, опять выросла сизая маревая стена, за которую, наверное, и утянулся недавний туман.

В белую ночь на кроткой воде рыбаки выгребли на карбасе ко второй тоне, чтобы выставить новый тайник, а я бродил по песку, разглядывая обглоданных солнцем крабов, от которых остались лишь большие хищные клювы. Белая ночь была тихой и пространственно прозрачной: она походила на матовое зеркало, чуть присыпанное серебристой пылью, и казалось, можно было вглядеться в нее и запечатлеться навсегда. Рыбаки вывезли в море высокую скамейку, и Григорий, забравшись, деревянной кувалдой-киюрой бил с плеча по тонким шестам, на которые, чуть позднее, натянут переметы и грузами-пяндами прижмут ко дну. Это была коварная работа; того и гляди обнесет вместе с кувалдою, а после и полощись в отбойной рассыпной волне, пока-то сотоварищи вывалят тебя в карбас, мокрого и хлюпающего, как медуза. Лишь издали эта картина казалась прекрасной и четкой, как тонко исполненная акварель: черный карбасок, тонконогая скамейка, осыпанная у подножия мелкими обрывками волн, и на ней человек с киюрой.

Ветер повернул на обедник, пошел с горы, с болота навалил заполошный комар и загнал меня в избенку. Внутри было сумрачно, мыши непугливо шныряли возле ног, а под нарами неожиданно вздрагивала, чесалась и зевала лохматая рыжая сука с узкой мордой, похожая на шотландскую колли. В этой тишине сидеть было грустно, все напоминало о той драме, что однажды случилась здесь. На опорном столбе, подпирающем потолок, еще сохранились вырезанные ножом инициалы "АРЕ" — Афанасьев Рудольф Ефимович. Сказывали, это был сильный, удачливый рыбак. Но случилось однажды, что когда во время шторма он отвязывал с кольев хвосты тайника, нос карбаса выбило из-под пят. Афанасьев повис на коле, а карбас откинуло к берегу. Плавать мужик не умел и висел на колу, пока хватило сил, а потом очередной накат подхватил его и, корежа о донные камни, выкинул на берег в полуверсте уже мертвого...

Рыбаки вернулись под утро, где-то часов в пять, пили чай и плотно ели, как пьют и едят хорошо поработавшие, здоровые плотью люди. К

тому времени изба походила на комариный питомник, и оконное стеколко стало розовым от крови раздавленного гнуса. Бедная собака была серой от комарья и страдала так же, как и люди, но покорно и молчаливо. Спать не пришлось, просто не сыскать было места, где бы можно затаиться от напасти; правда на часишко, наверное, провалились в тяжелое муторное забытье и встали уставшие, словно измолотили на нас добрую тонну зерна — столь мы выглядели несчастными.

К вечеру море опять запоходило, вскидывая волны в самое небо. Решили невода снять. Я попросился четвертым на карбас, но мне отказали, сказали, что стану мешать, что вытянуть ловушки — дело пустяковое. Море почернело, гребни волны были оторочены ослепительно белыми кружевами, словно бы загорелись они игривым пламенем. Рыбаки долго не могли поймать отходящий вал, чтобы на его склоне отбиться от берега. Но вот удалось, и посудинку в считанные минуты кинуло к ловушке. Григорий, стоя на носу карбаса, отвязывал веревочные хвосты, за которые крепилась длинная сетчатая стена. Было страшно смотреть, как проваливался карбас в пустоту, и очередной поток воды скрадывал Григория по плечи, и только мокрая его голова едва виднелась из-под яростного наката. Однако, несмотря на мою тревогу, дело шло своим чередом, гребцы сидели на веслах, сеть ловко укладывалась на телдоса, настолько ловко, насколько позволял шторм. Мотаясь по гребням волн, карбас каким-то чудом забрался в тайник. И тут волна высотой с хорошую деревенскую избу неожиданно подобралась сзади, она вспучилась, будто гриб, она была молчаливая, покрытая россыпью белых петушиных гребешков. Казалось, ступи на нее ногою, и по этой кружевной оторочке можно спокойно и надежно бежать до самого берега. Карбас ушел в провалище, будто его затолкнули в затхлый погреб, а когда вал сместился ближе к горе, я увидел вдруг, что Григорий висит на коле, который посреди этой сумятицы и толчеи воды, ветра и грома казался не толще вязальной спицы. Тут по небу стекла молния, и следом на своей телеге громово прокатился Илья, высекая из небесных булыг искры. Потом ударил ливень, косой, молочно-белый, словно выросла до неба густая непролазная рожь. Набегала очередная волна, проглатывала несчастного, выглядывали лишь голые по локоть руки. Думалось, что вот-вот все кончится, Григория нет, его поглотила стихия. Все повторялось в жизни, и мне уже казалось, как через неделю или чуть позже выкинет его где-нибудь верст за пять на пустынный берег и чайки будут суетиться возле крикливо и выклевывать глаза.

А карбас все прижимало к берегу волною, но Петр Степанович не терял надежды поставить посудинку носом. И когда казалось, что все на-

дежды тщетны, рыбаки поймали отходящий вал, как бы вскочили на него верхом, а еще через мгновение Григорий был уже в карбасе. Он вышел на берег, пропитанный морским рассолом, задубевший, волосы сосульками свисали над ушами, обнажая просторный круглый череп, но голубые глазки светились восторгом, и серая пыль усталости перегорела в пережитом азарте. Его бил озноб.

— Ну как, вымок? — невпопад спросил я.

— Немножко есть. Небольшой процент есть...

— Разыгрался штормина-то...

От моих слов рыбак будто очнулся, оглянулся на море.

— Надолго, кажись, прижало. Степаныч, надо карбас-то повыше подтянуть.

...Это лишь издали лодка казалась игрушечной, аспидно-черной на зеленой кроткой воде. Прежде у каждой рыбацкой избушки стояла бабница — рукодельный вороток с толстым канатом; подцепив посуду, легко втягивали ее на гору, латали, смолили, пришивали новые набои, заменяли кочета. Со временем бабницы поиструхли: машинный век изгнал прочь приметы уходящего быта. А он вот постоянно напоминал о себе. На укос берега, куда не доставала хлопьистая мыльная пена, накидали склизких бревешек, вцепились в карбас-трехтонник, облепили, как мураши, его развалистое грузное тело. Степаныч вскрикнул:

— Гузно — не грузно. А ну, детки, наддайте пару... — Запел визгливо. — Федорушку-то похвалим, да на Феколушку повалим...

— Эй, дубинушка, ухнем, — подхватили мы, невольно щерясь в улыбке, багровея от натуги.

— Золотой-то нашей роты, эй-эй, нету легонькой работы...

— Эй, дубинушка, ухнем, эй, зеленая, сама пойдет, подернем, подерне-ем...

— Стало солнышко садиться, на шабаш надо сулиться...

Карбас со скрипом, притираясь к морскому песку и камню-арешнику размочаленным килем, трудно взбирался в гору, волны приплясывали вокруг сапог, утягивали ноги в наводяневшую кашу.

— Наши девки не робейте, эй, своей силы не жалейте, — подвизгивая, с каким-то вдохновенным счастием вопил Петр Степанович.

— У начальства рожа красна, эй-эй, не жалейте, девки, масла...

— Шабаш, — оборвал Григорий и, хлюпая сапогами, полными воды, поплелся к стану. Степаныч, затухая, прокричал вослед:

— Девка, беленький платочек, поцелуй один разочек... Ну, Сашка, живы будем, не помрем, а? Когда девку-то цалуешь, то жми, чтоб сыворотка потекла.

Парень промолчал, забуровел девчоночьим лицом.

Скоро растопили печуру, и как тут пригодилась бутылочка белой, и с какой же лихостью Степаныч сковырнул с нее бескозырку, отбросил к порогу.

...Да, уж такие-то на войне не пропадали.

* * *

Пятницу и субботу непогодило. По деревне носило водяную пыль, чайки сидели нахохлившись на охлупнях крыш и кивали пятнистыми головами. Грусть поселилась на улицах, смешанная с короткой хмельной радостью. Топились бани, безумолчно всхлопывала дверь магазина. Я шел по деревне мимо нового дома Григория. Мужик одиноко сутулился в своей комнатенке. Посмотрел через распахнутое окно в упор на меня и, наверное, не признал. Вдруг уронил голову на руки и запел: "Вы не вейтесь, черные кудри, над моею буйной головой..."

Голос его был слышен далеко; мне было искренне жаль этого человека, и какую-то виноватость и бессилие чувствовал я; куда, думалось, подвинется его жизнь, по каким извилистым дорогам, и так хотелось, чтобы все сложилось хорошо.

...И вот закруглилась она самым неожиданным образом на Глухом озере.

* * *

Конечно, об этих старушках нужно бы писать высокой прозою, ибо сам стиль очерка не дает размаху; зато все правда, ни слова вымысла, и в этом есть особое впечатление для ума и сердца...

У бабушки я жил года четыре. Иль слишком мал тогда был, иль память с годами отшибло, иль еще не подкатил на перекладных к тому возрасту, когда пережитое встает в воспоминаниях, как в зеркальце, — но только моя бедная пустая головенка почти ничего не хранит о бабушке Нине. Хотя, как знать, может, из тех мозаичных осколков, что сверкают неизбывно в душе, когда-то еще и составится живописная картина, полная теплых впечатлений.

...Однажды, когда мне было года два, баба Нина пришла к нам в боковушку, где мы ютились сиротским семейством, и пока не было матери, унесла меня на свою половину. Украла, значит. Мать воротилась с рабо-

ты, увидела пустую кроватку, поревела, поговорила на высоких тонах со свекровью, да с тем и смирилась. Не в приюте мальчонка, не в чужих руках, не в постылых краях, почитай, за стенкой, откуда с утра до вечера каждый звук слышен. Но все легше тянуть вдовью лямку, а она, эта упряжь, ой и каторжная.

Вроде бы мы все ютились в одной избе, разделенной просторными сенями, но по наивной малости, по глупенькому своему несмышлению я так вжился в новый быт, что стал почитать его своим, а черноглазую, чернявую, как цыганка, одноглазую бабушку принял за мать. Мне и в ум не приходило, что моя горюшица-кокушица прозябает в боковой комнатенке. Я так глубоко сроднился с бабушкой, что, когда мать однажды погналась за мной с ремнем, чтобы проучить за выходки, я, улепетывая в чисто поле босиком по плешинам уже вытаявшей из-под снегов земли, вопил на весь околоток: "Не трогай меня, ты не моя мать!" Мать споткнулась о мой крик, заплакала и ушла в дом. Тем же днем приехал из Жерди дедушка Семен, ясноглазый, востроносый, с загнутыми кверху рыжими усами, с заломленной оленьей шапкой, из-под которой свалился на лоб русый чуб. Дедушка стянул с себя малицу, остался в пиджаке, осыпанном оленьей белесой шерстью; порылся в санях-розвальнях и достал из-под полсти буханку желтого, как сердечко ромашки, соевого хлеба. А я был отрезанный ломоть, и дедушка (все ж таки гость в доме) как-то виновато посмотрел на меня, пострела, и вроде бы худо признав, не позвал за собою. Велика ли буханешка в руках, на один прикус, а надо делить на четверых. Эх, братцы, сейчас вспоминать-то не столько горько, страдательно, но сладко до слезы, аж сердце пощипывает; а тогда, помнится, я как завороженный поплелся следом за рыжеусым дедом. Мое воображение распаляло грядущее застолье, эта гоститва, что наверняка затеется по приезде деда Семена. У меня стоскнулось в черевах и распалилось в груди. Я помедлил в сенях и, уже забыв недавние свои проделки и приговорки, и угрозливые обещания матери, боком протиснулся в комнатенку, как пришибленный кутенок, и застыл у порога, не проронив ни слова. Да и какие слова надобны при этой горестной картине? Дедушка хватко, но и бережно пластал рассыпчатую буханку на толстые пухлые ломти, прижав ее к груди. А в чужих руках кусок всегда толще. Мать взглянула в мою сторону, переломила себя, молча поднесла краюху; слаже этого хлеба, братцы мои, я не едал до сих пор. Уже дедо Семен давно упокоился на деревенском кладбище, и могилка его едва ли больше луговой кочки, да и мать моя лежит недвижная в постелях, как восковая кукла, а...

Да Боже мой, чего и вспоминать столь невзрачное, житейское, чем

полнится любая незавидная сиротская жизнь? И неужели ничего особенного не случилось с той поры, чем бы можно занять читателя? Да и вообще отвлекся я от самого сюжета моих рассуждений, для чего и затеялись эти записи. Но именно бабушка Нина послужила мне толчком к размышлениям о русской старухе, как свечечке на семейной божнице.

По нынешнему разумению она не была тогда ветхой, изношенной, немощной, хотя и подкатило под шестьдесят. Родом из вологодской купеческой семьи, вышла замуж в Мезень за мелкого чиновника и невольно записалась в мещанское сословие, "в кофейницы". Бабушка долго служила в почтарках, я еще помню ее письмоноской с большой брезентовой сумкой на боку. Гарчавая была, крепкого голоса, любила смеяться гулко, взахлеб, запрокидывая голову, и не смущаясь выставляла напоказ единственный оставшийся ("сахар колупать") длинный желтый клык. По старинной привычке и по заведенному не нами порядку, поклоняясь Радигостю и Пирогоще, она любила по гостям ходить и к себе зазывать. А прежде праздничным столом хвалились, в гости зазывали; уж на что война жилы на кулак мотала и от голоду пухли, но застолья были незабытны. Бабушка моя месяц-два копит провизию по чуланчикам и скрыням, по кринкам и ладкам, нам в семье рукодано давала, откусив щипчиками от глызы мысок синеватого сахара; а сама, мастерица, ночами корпит над шитьем и вязаньем, оставляя последнее зрение, а после, сложив рукоделье на чуночки, бредет по зимней дороге в окрестные деревнюшки, чтобы обменять работу у тамошних поселян на сметану и молоко; а то и мясца приволокет, иль мешочек житней мучицы, иль лепешку сбитого деревенского масла. И собрав всякого продукту, наварив жбан браги, два дня печет, варит и жарит всякую снедь; уморится вся, мотаясь из избы в сени, весь дом кувырком, все домашние под пятою, чтобы не опозориться перед гостями, да кабы что не забыть в хлопотах, и русская печь двое суток пышет жаром. Это про мою бабушку говорено: "Скачет баба задом и передом, а дела идут своим чередом".

И вот, чу! Все уряжено, лампа под абажуром натерта до блеска, и ее свет падает желтыми осколками на крупичатый, лиловый от луны снег. Слушаем с замиранием сердца, когда заскрипят под валенками и бурками выметенные морозные мостки, когда настуженно взвизгнет входная дверь. Стоим в жарко натопленной кухне, пахнущей корицей, и тмином, и шафраном, ждем гостей, и я рядом с бабушкой (мамой) в новой матроске и бескозырке, в штанишонках с лямкой. Боже мой, сколько тут суматохи, всхлипов, целованья, коротких слез; ведь на Руси война, и от многих родных нет вестки. И вот все в сборе, рассаживаются за длинным столом:

родницы и свойки под фикусом и пальмой, красной и белой чайной розой, пролезают на свои места, оправляются, ощипываются на венских гнутых стульях, а сами ревниво, придирчиво прицениваются к столу, каково напечено да каково уряжено. А мужики, степенные и как всегда деловито-стесненные, усаживаются в нижнем конце стола, второго приглашения не ждут, но сразу скоренько закидывают по граненому стакану морошечно-желтой браги, да вдогонку и по другому тяпнут, пока не остыло, и чтобы разгорячить натуру. И не замедля баба Нина уже чай несет в фарфоровых тонких чашках, зорко дозорит, чтобы не окривел кто второпях, ведь с морозцу коварная брага скоро ножку подставит. А там и под стол кувырк. Вот чайчаище и не дает дурного разгону, усмиряет пыл. И долго ли вилкой звякнут, осадят хмельное закускою, а уж и песня занялась, будто кто в распахнутую фортку с морозной пылью дохнул: такой шелестящий, простуженный, неверно-робкий тот голосишко. Пока не умер он, тут и подхватят боевые на глотку мужики, высоко поведут старинушку, аж потолок крылом воспарит в черное морозное небо, и керосиновая лампешка под потолком пугливо вздрогнет и шатнется. Я малой был, голова едва из-за стола видна, но и я участник дружины, застольный воин, и мой тонявый голосишко не толще коньего волоса, оказывается, тоже нужен для подтягу, чтобы заливистей, с выносом выпевалось: "Когда девчонке лет шестнадцать, то всяк старается об-ня-ять..." И никто спать не выпроваживал, но всяк старался незаметно подсунуть кусок послаще да приласкать вихрастую головенку с приговором: "Хороший, Нина Александровна, у тебя сынок растет!" А бабушка, вроде бы не обращая внимания на прихвалки, зорко, по-орлиному сверлит застолье взглядом, чтобы не упустить, кого бы не обнести закусками. И вдруг подхватит песняку высоким фальцетом, всхлопает руками, как ночная птица, и снова бегом на кухню.

Ночь-заполночь какая-то из старух в коричневом шелковом салопе с оборками и в повойнике с кустышками вдруг встрепенется, встопорщится, будто ей приспичило, невтерпеж домой, где ждут дюжина короедов по лавкам, и давай двигать стулом да ворчать на мужиков, де вовсе ум пропили, хозяев не жалеют. И с какой-то неохотою, вроде бы век собрались сидеть за столом, выпьют гости походную-отвальную и засобираются от стола. И снова горница пуста, а в кухне невпродых, сряжается народец, хлопочет, как бы чего не забыть, а хозяйка каждому сует гостинца, ибо так принято: с гостьбы с пустыми руками не уходят, чтобы домашние, стар и мал, кому не довелось праздновать, отведали печеного.

А мне с белой матроской, сшитой бабушкиными руками, так трудно расставаться, и потому я не сдаюсь, готов всю ночь коротать, выглядывая

смутным взглядом бабушку, как хлопочет она на кухне, прибирая после гоститвы, тяжело шаркая валяными калишками-басовиками. Уж и не помню, как оказываюсь на печи и чья рука вздымала меня под потолок, но проголосная песня и во сне, не замирая, живет в ушах.

Один глаз бабушка Нина выплакала по сыну своему (моему отцу), погибшему на фронте. Другой глаз позже высох, потиху источился сам, но старенькая не смирилась с убогостью, не села на лавку, но как большуха, не желая расстаться с хозяйством, в слепости своей не только привыкла к дому, но и все работала сама: и стряпала, и пекла, и стирала, и шила немудрящую одежонку на всех, особенно когда от младшего сына посыпались дети, и сама писала письма. Сложит, бывало, лист бумаги в линейку и, помогая левой рукой, чтобы не заблудиться, не убежать на столешню, карандашом печатает посланьица. Мне казалось, что она все чувствует ушами, выпроставшимися из поредевших волос. Я был у бабушки поводырем, сам маленький, как батожок, прибитый морозами, и до сих пор помню жар ее сухой цепкой ладони. Любительница шастать по гостям, она и в немощи своей не оставляла своей привычки и почти через день всяческими уговорами и посулами умоляла меня сводить ее, калику перехожую, несчастную старуху, до родниц, своек и товарок, коих на Мезени было во множестве. И это была не просто бездельная бродня для времяпрепровождения, но и то попутье, когда решались важные для семьи дела, до коих она была и в старости охочая во всякое время. Я не помню ее слезливой, опечалованной иль досадливо-угрюмой: бабенька была выкована для долгой практической жизни, но, увы, судьба подстерегла ее в неурочный час. Но до последнего дня, пока не слегла, она водила широкие столы не только в церковные праздники и красные даты, но и во все дни рождения.

Жизнь бабушки Нины закруглилась самым печальным образом. Но это уже другая история.

...А нынче вот без войны, да как на войне; в гости зайти стыдятся, стесняются, чтобы не обременить, не объесть. Забредет кто ко мне в деревне, будто невзначай, усаживаешь за стол, а рука у гостьи тянется за конфеткой так робко, как у прошачки за подаянием. Боятся сердешные, как бы в разор не ввести. А ведь застолье — вековечный русской поклон богу Радигостю, это похвалебная черта русская, что разительно отличает нас от многих племен. Немцы нас расточителями и безумными звали за то многопированье; они, скопидомы, каждую копейку учтут и притянут к себе в прибыток, в завещание потомству. А мы воистину наивны и чистосердечны, ибо искренне полагаем, что Бог без пропитания не оставит нас и в обиду никого не даст, и ничего Сладенькому от нас не надо, кроме чистой

спасенной души. А вот в таких-то застольях и очищалась, ограничивалась и хранилась гостеприимством радетельная отзывчивая русская натура. Усталость от стола, тягость от праведных трудов скоро сольется и потухнет, но радость от доброй трапезы долго будет жить на сердце.

3. СТАРУХИ. У ЧАСОВНИ

Из простой судьбы

"Жила в деревне Часлово бабка по прозвищу Волчиха. На Крещенье каждый год купалась и в Велик Четверг. До зари еще лед прорубит и до трех раз окунется. Сразу в шубняк и домой. А там уже стакан с водкой приспет. Выпьет — все горит в ней. И так всю жизнь. А жила сто десять лет. Правда, не родница была, детей у нее не было".

* * *

Народ разлит в пространстве, как схлынувшая полая вода; заполнив лога, лощины, калтуса, болотца, промоины, овражки, прыски, каждую впадинку приречных лугов, она уже существует дробно, раздельно, и надобны новые усилия небес, чтобы заново слить в море разливанное.

Трудно писать о народе, как и трудно его любить, ибо он при ближайшем рассмотрении не так казист и любит на пробку наступить, и косноязычен почасту, и плюгав, и по жизни чрезвычайно прост, без затаек, и непритязателен в быту, откровенен в речах и вовсе не таков, каким нарисовали его столпы отечественной словесности. Нет, паркетному патриоту всегда хочется приотвернуться от народа, призакрыв нос надушенным платком. "Навозцем припахивает-с..."

1

На родине в Поморье я давно не живывал и как бы зачужел вовсе. Старухи моего детства почти все из памяти выпали за малым исключением, а нынешние бабки на моих глазах — все из среднерусской деревни. Помимо тещи, пожалуй.

Это, конечно, сумасбродство показать русского человека во всей полноте. Да и как осмыслить его, успеть очароваться, не остынув, побродить в потемках души по всем закоулкам, если он вроде бы в настоящем, вот, перед очию во всем естестве, но уже и в прошлом; исчез без шуму и гряку,

как просверк безгромовой августовской молоньи, растворился на запольках деревни, откуда незарастаема дорога на кладбище; да, пропал, навеки отошел, но и невидимо, неосязаемо и несознаваемо перетек в нас.

Вот горбатилась бабенька, волочилась по деревне, христовенькая, опираясь на отглаженный сучок иль ножку табуретки, вызывая досаду и неясный упрек, своим горбом наводя тоску на лучезарную бескрайнюю жизнь, — и в какую-то одну минуту никем не оплаканная сиротея спроважена местными старушишками на Красную горку; не отпетая попом, уложена в ярые пески о край голубого кроткого озера, похожего на церковный потир, и тихо так растворилась, уплыла в Никуда, выпала из жизни, не замедля ее течения, не оставив вешки иль иной приметы, словно бы век не рождалась, не навещала белый свет. И неуж можно кому о той бабке тосковать и вывести из той судьбы какой-то науки?

Но я сподоблюсь...

...Там, где в войну еще были капустища, и репища, и картофельники, овсы и гречиха, ныне стоят ельники да березняки, и наезжий гость навряд ли угадает, что прежде вкруг деревни расстилались поля. Кажется, до чего же бедна рязанская земля: всего годящего слоя — на палец толщиной, только на хлеб намазать, а далее во всю глубь, до самого сердца, лишь ярый песок; в нем столб огорожи не выстоит и пяти лет, съест его насквозь, в труху. Но стоит кулижку иль польцо запустить года на три, как тут же обметывает его самосев, и поначалу мелкий, в карандаш, березняк невдолге становится рощею. Где военные вдовы колотились над льнами, ныне там заготавливают дрова. Что за родящая сила у здешних супесей? Хлебом не объешься, а березу да сосну гонит. И, глядя из окна избы на подступающие к усадьбе рощи, мне часто думается с грустью, что стоит замолчать, осиротеть русской равнине, и она скоро, непроглядно зальется лесами, погребая в себе всякое напоминание о прежде жившем народе.

Но вместе с лесом припадает к деревне и "лешева еда" — гриб. Околица, замежки, ближняя опушка — старушьи места, туда ходят за лешим гостинцем, за даровым пропитаньицем преклонных лет женщины, бобылки, старицы, вдовы-колотухи. Как говорится, живому — живое, пока дышишь да на свет белый смотришь, все чего-то хочется: душа просит. Я часто видаю одну старенькую, ей уже давно за восемьдесят, годы искрутили бабку Лёничку, пригнули к земле, сложили вдвое, и ключкою служит ей ножка от венского стула; идет, сердешная, по лесу, почти прижимая лицо к траве, выискивая сыроежку, и нажитой ее горб словно бы вмещает вселенскую скорбь. Вот уж воистину: старость не радость, гроб не корысть. Старенькая подбирает в коробейку то, что другие пропустили, и тем кро-

хам рада, и осеннему небу рада, и лесу рада; живет в своей изобке о два окна, горбатой, как и сама хозяйка, не сетуя и никого не проклиная. (Это не на ее ли голову призывается сатана?) Глядя на искривленную спину, обтянутую черной ряской, всегда вспоминается мне детская забава. По спине неожиданно хлопают и спрашивают: "Чего в горбу?" — "Денежки". — "Кто наклал?" — "Дедушко". — "Чем черпал?" — "Ковшичком". — "Дай-ко мне!" — "Ох те мне". И начинают мальчишку всеми трепать да волтузить, вроде бы отымая из горба нажитое: "Ах ты, скупердяй, скупердяище!"

Игра эта — отражение какого-то древнего магического действа; горб — это трудно, громоздко, несчастно, но он не только отметка хвори, но и признак долгого старательного труда, схорон нажитого клада. Тут несомненно видится связь: труд—горб—достаток, нажиток, прибыток, ибо закоим ломаться весь век, вить жилы, мотать сопли на кулак, если нет доходу. Но вот я, проходя деревнею, минуя изжитое, едва уряженное имение старенькой, ее покосившийся домишко о два окна над насыпной завалинкой, вижу, горб есть, а капитала нет.

Соседка моя Лина с внучкой шла к лесу, девочка впервые увидала горбатенькую и, широко распахнувши от изумления глаза, спросила: "Ой, баба, это кто?" — "Баба Яга, внуча..." — "Ой, Баба Яга. А это у нее что на спине?" — "Горб". — "А в горбу чего?" — "В горбу, внуча, денежки". — "Ой, денежки. Сколько много денег. А куда она пошла?" — "У нее в лесу избушка на курьих ножках. Вот она и пошла деньги складывать".

Внучка призадумалась, вытаращив глазенки, усиленно соображает: "Баба, а ты Бабу Ягу одолеешь?" — "Да где мне, уже песок сыплется". — "А дедо одолеет?" — "И дедо не одолеет, в нем одна труха". — "А дядя Вася одолеет?" — "Дядя Вася, может, и одолеет, он помоложе". — "Вот бы хорошо. Дядя Вася одолел бы палкой по горбу. Там денежек много".

Доняла внучка бабушку, у той язык отнялся от вопросов.

Магическое заклинание, которое я слышал в детстве в Поморье, нынче я встретил на Рязани; в вольной бабьей побрехоньке можно легко уловить следы старинного предания.

Прежде, входя в дом, желали хозяйке: "Жить да богатеть, да спереди горбатеть" (забеременеть). Еще говорили: "Горбатого к стенке не приставишь", "Горбатого могила прямит", "От работы не будешь богат, но будешь горбат". Когда встречаешь ныне поселянина на деревенской росстани, вылезающего из автобуса с рюкзаком на спине, то он кажется именно горбатым, тяглецом, все денежки умотавшим в столичном магазине в эту горбину. Нынче живет присловье: "Не лепи горбатого". Всем замутив-

шимся устройством жизни мы невольно лепим горбатого мужика, горбатую бабу, которым уже и родная деревенька кажется той горбиною, кою не износить до погоста. И когда я гляжу на эту расстроенную жизнь, на застарелый непорядок, на какое-то изгойство, ущемленность русской деревни, то мне чудится, что и я, и еще многие миллионы подобных мне уселись на спину крестьянина, свесив ноги, да еще и недовольничаем, что так тихо, так натужно и непрокормно тянет нас на себе одногорбый верблюд.

"Велик горб человечества, велик горб человечества... Идет, кряхтит с голым черепом, с этим огромным горбом за спиною (страдание, терпение) великий древний старик: и кожа на нем почернела, и ноги изранены. Так что же тут молодежь танцует на горбе?" Мы последние, все — "мы", все — "нам". Ну, танцуйте, господа" (Василий Розанов).

* * *

Из простой судьбы

"У одной бабки что-то голова шумела, и носила старая зимнюю шапку-ушанку и спала в ней. А сама — ой! Все ей нипочем. Ветер ли на улице, дождь ли, морозина ли со снегом, а она, почитай, голая выскочит на улицу, бежит к болоту с тазом вехти полоскать. Раз десять на дню. Ветер на голову юбку задирает, в голую задницу лупит, насквозь сифонит.

"Бабушка, ведь продует", — внучка-то ей, значит.

"Продует, продует, голубушка, вот шапку-то зимнюю и ношу на головы".

Придет хромая сестра в гости. Бабка на нее напустится: "Ты что, хромоножка, заявилась? Что тебе нать? Ты почто не околела, да почто не помираешь? На кой ляд и живешь-то?"

Задерет у сестры юбку, заголит штанишонки.

"Вон какое рванье носишь, а у самой в сундуках сорок сарафанов. Для кого хранишь-то? С собой не утащишь. Помрешь, дак девки на помойку выкинут, не станут твою потину носить, старбеня такая".

И вот костит бабка свою сестру за то лишь, что та однажды сарафана пожалела в гости сходить".

2

Лишь на первый взгляд все деревенские старухи одинаковы: обветшалость телесная, крайняя изношенность, жизнь затрапезная, неухоженность земляная никого не скрасит; и годами-то, кажись, бабенка давно ли из молодок выпала, а уж беззубостью, корявостью рук, заветренностью жух-

лого лица и морщиноватостью — ну совсем бабка. Никак ее в один ряд с городскими старухами не поставить. Но при случае посидишь рядом с деревенской бабицей да поговоришь ладком, и в эдакой старбени вдруг такая судьба откроется, столько нравоучительного сыщется, что и веком бы не подумал.

Нет, в городских куда меньше затеи; они простоту утеряли в каменных вавилонах, их выпил настуженный воздух камня и асфальта. Деревенские — искреннее, они не обтесались, они в чувствах откровенней, в них больше детского, они не теряют своего кровного замеса, с каким проклюнулись на свет Божий. Распахнется вдруг, откроется старушье сердчишко, и оказывается, та молодая и нравная, у кого характер — огонь, никуда и не делась, она лишь попритихла и попритухла по возрасту, ее годами придавило, невзгодами поприжучило, но вся она, бабуня, сохранилась от прежних лет, как в старинном сундуке, как в родительской скрыне с немудрящими ухорошками.

Всякая баба свое кольцо жизни загибает по судьбе и своему произволу, стараясь, чтобы замкнулось оно счастливо в Боге, но не у каждой оно золотое, но чаще медяное да оловянное.

* * *

...Сначала появляется на свет младенчик. Для молодки девочка — это ее ангельский образ. Молодуха безмерно счастлива; свекор чаще недовольничает; всякая девка бабой станет, землицы ей не нарежут, приданое готовь; рости-тяни на чужую долю, ибо девка — чужой ломоть. Свекровь же, если прабабки нет, станет ляльку тешить, в зыбке качать, баиньки выпевать. Характером станет мягче, невестке кроме попреков и сладкое что станет перепадать. Муж чаще табашничает и вечером, загибая лапти на всю семью (а сколько пар надо сплести, кочедыком все ладони смозолишь, завивая лыко), все больше хмурится, скрипит на жену, сварливо скрипит-нудит, что не парня принесла. И в бане ли, за копною ли на сеноставе, иль на ягодных борах крепче жмет бабу, чтобы ладнее зачала, чтобы распоясался поясок и выпал парничок. Сын-помощник, надея, костыль отцу, подпорка дому, всякому заделью голова и руки. И пока о наследнике мечтают, пока пашню копытят, наша льняная головенка косою обросла и уж матери во всяком деле подружия: бросила деревянную куклу уряживать лоскутами, но подхватила и вехотек, и веник, и бадейку, и стирку, и стряпню, и веретенце, и прялицу, уже села за кросна портище ткать. А коли мал мала по лавкам как гороху насыпано, наша Маша от скудости житья уже и в няньках какой год пестует чу-

жую ораву. И вот девчонке лет шестнадцать, у нее давленая клюква на щеках, черные бровки серпом, губки-вишенье, в глазах голубень-вода. Она — хваленка, косата голубушка, княгинюшка, песенница и хороводница; у нее коса до пояса перевита атласной лентою, у нее ночами сердце сбивается истомою, ей ночь не в ночь, она на посидках до утра, на гулянках в большом хороводе завивает юбкою и стреляет взглядом по табунку парней. И вот подхватили в кошеву, под бубенцы, да и в церковь под венец. И вот она молодка, на сносях, в свой срок разрешилась от бремени. И хорошо, коли в добрую семью угодила, где косо не глянут, грозно не рыкнут, а все говорят с шуткою да прибауткою. В таком дому младенчик за ясное зеркальце, куда каждый хочет посмотреться с улыбкою и вспомнить себя. С милым рай и в шалаше, а ладно, если этот шалаш о пяти стенах да с теплым скотиньим двором, да с надежным заплотом, да с образами во весь красный угол. И вот свекровь остарела, едва волочится по избе, и наша Марья уже большуха, голова дома, у нее в руках хлебная квашня, сундуки с лопатиною и закрома, и кубышка с деньгою, нажитой от продажи молока, сметаны и пряжи; все невестки под ее рукою, а сыновья в совете. Когда и покуражится большуха, так из любви лишь, да чтобы прежде времени не списали со счетов. Это хозяин хватается за ремень или кнут, чтобы поучить молодяжку, а ей, бабушке родименькой, лучше слыть потаковницей, угодницей да шептальницей. И все в избе уже кличут большуху в глаза мамой, маменькой, бабенькой, бабуней, а за глаза — старухой, вековухой, старицей, бабкой. И уже трудно хозяйке каждую неделю таскать корчаги с тестом и валять хлебы, силы покидают тело; немочно водить скотину, ездить на базар, перетряхать сундуки и следить за разросшейся семьей, чтобы ни копейки не уплыло сквозь пальцы. Все! Наша большуха становится старьем, и уже мало кто просит ее советов и слышит увещевательных слов, и отныне старшая невестка не подпускает ее к важному делу, чтобы не напартачила, не нанесла порухи. У бабки остался лишь угол в избе да лежанка в запечье.

Хорошо, коли до правнуков доживет она, не познав горьких бед; но вот и она, ветхая, садится к зыбке и, смаргивая непрошеную слезу, выпевает баиньки. Скрипит очеп, трещит лучина в светце, падают огненные капли в корытце с водою и, шипя, гаснут; мороз стегает на воле, садит избу на все углы, в горнице старший сын уже улегся спать, а на полатях кипят неизбывные страсти: это мелкота не может утолочься в темени, затеивает игры и мгновенные разговоры.

"Ах вы, непути, ах вы, шалапуты, нету на вас угомону!" — грозит, осердясь, устав от криков, старушка и, выдернув из подпечка рогач, тычет в сумерки полатей, разгоняет орду, как тараканов, по щелям. А то и

плеточку самодельную схватит и, прискочив на приступку, давай стегать, охаживать слабосилой рукою, куда хватит веревочная погонялка. Внучата на миг угомонятся, начнут, прыская и давясь смехом, выдирать друг у друга окутки, немудрящий прикров да неожиданно все разом и уснут. Пиликает под образами лампадка, выхватывая грустный лик Христа и участливые материнские глаза Богородицы с младенцем; на печи стонет, всхрапывает муж богоданный, старыми костьми гомозясь на гольном жарком камени, чтобы до самого нутра прокалить хребтинку. На широкой лавке под иконою спят середний сын с женою, у порога на кровати младший сын с молодайкой.

"Бай-бай-бай, ты, собачка, не лай..."

Вот и замкнулось серебряное кольцо жизни. Скоро бабе Марье съезжать из родимого печища на Красную горку на вечный покой. Взглядывая на божницу, шепчет бескровными губами старушка Иисусову молитву, благодарит Господа, что даровал такую ровную счастливую судьбу; и коли случались на веку какие-то зарубки и шероховатинки, так разве они встанут в ряд с теми несчастьями, что выпадают на род людской. Испроливана-то земелька слезами людскими, орошена кровцою безвинной да потом на семь сажен вглубь. Но вот и младенчик, слава Христу, угомонился, еще почмокал тряпичкой с жамкою хлеба, да с тем и затих.

Едва разломав поясницу, кривенько плетется Божья дочерь в свой закут, в схорон за печь, где так угревно; только слышно, как кряхтит старик, шелестят тараканы в пазьях да поскоркивает в подполье неугомонная мыша. Поправила, сердешная, ряднинку, встряхнула наволоки, перевернула сголовьице и села, еще не решаясь лечь. Жутко в ночь-то уходить, страшенно как-то; вроде и смерть не отвратна, почти желанна, да все мнится, будто ляжешь — и не встать больше, не проснуться. И батюшка не исповедует, и с семейством не проститься. "Свят, свят, прости, Господи, старую безумную старуху. Совсем из ума выпала горемыка. Мох в головы-ти завелся: в одном ухе скребется, в другом ветры воют".

Чу! Да не помстилось ли? Будто бы в горнице шаловливо вскрикнули, скрипнула кровать, и рассыпался горохом придушенный смех.

Ах, баловни. Им-то и грешно бы, инда за полвека утянулись. Знать, последние сливки сымают, сметану заскребывают. Ой, грешны — и мы все. Будто вчера молодухой была и в той горенке царевала с муженьком; строжилась, боялась разом всю расплескать, зажимала в себе котовье, что так и просилось из сердца. Утешно ли было? да кто его знает. Сугревно ли жилось? Да вот детей наваляли, слава те Господи, сын к сыну, как чеснок в заплоте. Кряжи, голова под матицу. А как старшой-

то привел молодуху в дом, так родители из горенки в избу переехали, на широкую кровать у порога, чтобы хозяйке легче и бестревожней было вскакивать ранним утром скотину обряживать да стряпню вести. А после и на печь с мужиком поднялись: парко там, сугревно, но жар костей не ломит. С печи легче внуков сторожить, да стало тяжко всползать. И вот старенькая в последнем прислоне в избе, за печкою. Отсюда путь один — в могилевскую; там покои широки, постели урядливы, тишина нетревожная...

Такова доля нашей Марьюшки, если не выпало ни войны, ни хвори, ни глада, ни мора.

Замыкается серебряное кольцо жизни.

...Дитя, младеня, чистая душа; отроковица; девица, хваленка, княгинюшка, косата голубушка, голубка, песенница, хороводница; молодка, молодушка, невестушка, хозяюшка; баба, бабица, бабенка; большуха; бабушка, баушка, бабуля; старуха, старье, старбеня, старка; душа чистая, божий одуванчик, Христова невеста...

3

Из простой судьбы

"...Расслойка шла людям в тридцать шестом году. Он — начальник МТФ. Весна, скот запропадал. А забивать не давали. Шестьдесят голов пропало. И по сталинской конституции его осудили на шесть лет. Беломорский канал. Жена его досадилась, упала с лошади. Подтягивали легкое ей, и неудачно. И умерла. Сына взяли в приют шести лет. Он заревелся до смерти. Он ревет — его тиранят. Отец вернулся с отсидки — дом занят под фураж. Ему все сделали, подъемные, говорят, дадим. А он огрубился и ушел из деревни. Дом продал, и ушел. В нашу-то деревню явился, мы с ним и сошлись.

Он плотник был да пильщик. Пилорам-то не было, дак он вручную пилил. В сорок первом в начале февраля я забеременела, а в июне война. Ну что. Был праздник у нас съезжий. Мы пошли в гости. Сидим, самовар согрели. Ну ладно. Хотели чай пить. Иван Кириллович пришел: "Товарищи, говорит, приглашаю вас на митинг". Я была смекалистая. Говорю: не война ли? Он посмотрел на меня и говорит: "Да, товарищи, о международном положении". Посидели, бутылку или две выпили, чаю попили и пошли: так все на столе и осталось. Ну, говорят, война, дак все, худо дело будет...

В сентябре я родила, а в октябре и повестку принесли. В кухоньке муж

поносил сына на ладони, я реву: ну что, куда я с има в войну. Он говорит, ну ладно, Нюра, не расстраивайся.

Оставили мужа в Архангельске, и они два года не могли нигде бывать. Я приехала к нему зимой, дак они не могут ходить, ботинки едва живы, ноги в обмотках, сами замерли все от голода. Говорят, пойдем с нами в столовую. И пошли. Я по мосткам, а они по дороге строем, как мерзлы тороканы идут. Их ветром шатает, вояк. Пришли в столовую, принесли мы по тарелке бульону из рыбы, да по колобочку из мойвы в этом бульоне, да чаю стакан с сахарином. Закрытая столовая. Я поревела, поревела над има. Был поросеночек маленький выращен, целиком ему свезла, да спасибо тете Саре покоенке, она давала тюлений жир, да я с дому сухарей насушу да натолку. Дак мы, говорит, по ложечке в чай клали, добавляли. А Раиса Алексеевна да Маша своим ничего не спосылывали. Я поехала в город, ко мне Раиса-то пришла и никакого гостинца, хотя знала я, что у нее хлеб был. "А взяли, говорит, на войну, дак пусть и кормят. У меня своя семья".

Ее муж-то с моим вместях служили. Я приехала, так он не мог усидеть на месте. Неужели, говорит, жена ничего не послала? Неужели не могла колобок какой послать? Так и не смела я сказать, как она ответила, мол, взяли на войну, дак пусть кормят. И говорю, де, она сама собирается приехать. Дак он маленько приуспокоился. Муж-то мой стал рыбник ему давать, так он не берет, говорит, ты сам голодный. Кое-как навязали кулебячку...

Я в войну-то рыбачила, хватили тоже соленого рассолу по завязку. Вот было: из ловушки сайку вычерпали. Звеньевой-то пересел в другой карбас и говорит: гребись давай, Нюра, в берег. Карбас-то трехтонник, рыбой налит до краев. Я и погреблась, кукушица, сирота горькая, запобедная головушка. А тут и пади из голомени шторминушка, откуда ни возьмись. Карбас-то у меня и развернуло, поставило по волне. Я вижу, девятка идет, страшенная гора, варака такая, зеленая вся, а поверху шипит. Откуда и сила во мне взялась, повернула я карбас носом в берег, меня и выкинуло. А мужику-то не видно с моря, что со мной. Он видел только, что меня на отмели развернуло, а после девяткой накрыло. Он и испугался, думает, погибла баба по его вине, дети осиротели. И так ему горько сделалось, так досадилось сердце, что он сплыл на берег, забрел домой и повалился на кровать в худых душах. Надо было его по бабкам повести, какой-то призор бы сделать, сняли бы тягость с души. А его как-то не сворохнули с кровати, он и помер, сердешный, с тоски. Может, и смертка пришла, чтобы помереть..."

* * *

Иная бабка скажет: "Как меня ни обзови, только в печку не ставь".

Старуха, старушенция, старушка. Так старку кличут, когда годы ее далеко под горку покатились. Вроде бы и слова возле стоят, а сколько в них разного свойства.

Старуху отличает от старушки не столько внешнее, телесное, сколько духовное, энергическое. Иная женщина, лишь на пенсию выйдя, едва шелестит голоском, она — божий одуванчик, на ее и дунуть-то опасно, улетит; она не ходит, но будто несет на голове кувшин с водою, боясь расплескать; и вот таким образом тлеет и никнет к земле еще лет тридцать, так и не побывав в старухах. Из них часто бывают вопленицы, причетницы, они духовных песен знают, они детишек байкать любят и сказок в их головенках уйма.

Старуха же — бой-баба, она вся врастопырку, порывистая, властная, годы ей не управа; она гарчавая голосом, крикливая, норовистая, неугомонная, ей тошнехонько под годы подпасть, она норовит все делать бегом да вприскочку. Такой была моя бабушка Нина: ой как тошнехонько было ей сознавать свою слепоту, и как ни готовилась к ней, а тайным умом верила в Божье провидение, на авось, что все вдруг обойдется, Господь милует; но ведь все понавыкла делать сама, и этой-то деловитостью, непреклонностью в повадках отодвигала годы от себя, и вдруг рухнула средь ясного дня, как подточенное великанье дерево под ветровалом, пала на кровать и лет десять провела в беспамятстве, пока-то прибрали небеса.

Старухи и в церкви-то себя иначе ведут; у них локти вострые, манеры хваткие и бесцеремонные, они пытаются сразу к алтарю пробиться, поближе к батюшке, особенно не чинясь с молитвенниками: одергивают прегрубо, за всеми дозорят, как поклонник ведет себя, верно ли кладет кресты да вовремя ли бьет поклоны. И, найдя грех, тут же сурово одернут.

На деревне старуху и палкой не уколотить, она долго ведет хозяйство, и дом, и скотину, и огород, и в лес по ягоды-грибы убредет ни свет ни заря, а за столом ест за мужика, со всех тарелок большою ложкой. Вся порывистая в движениях, она в разговорах с товарками несдержанна на язык, кастлива, не чует, что и обидеть может, но и к себе крепких слов не примеряет, долго зла не держит. Во всякой деревне много старбеней, старушонок, ветхих, но хорошо, коли живет три-четыре старухи; они слывут за колдуний, знахарок, бабят в бане, принимают детишек, заговаривают зубы и лечат грыжи. Старухи без мужика тоскуют, но чаще из-за своих манер доживают вдовами, бобылками. По Руси это особое безвыводное воин-

ство; они так отчетливо походят друг на друга, но с той же степенью и отличны; их беда не роняет на колени, но закаляет.

Они и в монашенах, если угодят в монастырь, не теряют своего водительского норова, соборную площадь пересекают не вперевалку, но вприскочку, и своими повадками, суровостью и неприступностью удивительно напоминают ворон, которые так любят обживать святую обитель.

Про двух старух я и хочу особо поведать, чтобы подкрепить досужие размышления.

* * *

...Королишку никто не выбирал, но она за старосту в деревне, без нее никакое дело не сварится, она всякому начинанию советчик, толковщик и судия. Ино выйдет на передызье, лицом бурая, в платке, сбитом черным кулем на мохнатые густые брови, обопрется тяжело на клюку и, разоставя ноги в валенках с калошами, слегка покачиваясь, как бы в полудреме, долго озирает распах полусонной улицы, кучерявые облака толстокорых разросшихся ветел, рябь светленьких прозрачных лужиц, все сметливо примечая; издалека кланяется прохожим, окрикивает, де, куда идешь да зачем, требовательно подзывает пальцем, строгая, как деревенский сотский. От Королишки крепко припахивает самогонкой, и несмотря на свой далекий возраст, на тяжелую операцию, она своей привычки не оставляет, чем дает повод злословить за глаза. Да она и сама-то сводница-переводница, мастер пули лить; из одной избы сор вынесет, в другую перекинет, да еще и лишнего наколоколит, чего веком не бывало. Королишка долгие годы возилась с колхозными лошадьми на конюшне и вышла на жалкую пенсюшку. Может, от обрядни с лошадьми ее норовистый характер? Но прежде коневалы, кто скотину лечил, блуждая по Руси, все были чернокнижники и носили с собою в суме переметной вместе с инструментом запретную книгу, а на сердце колдовскую силу.

Королишку долго не трогала седина, и мне казалось, что Королишку никакие житейские ветры не сокрушат, не сронят с ног.

...Старуха помялась в нерешительности, куда бы направить стопы, и вдруг направилась к нам; вошла, не постучавшись, как будто только ее и ждали, уселась подле на лавку; плотная, с темно-сливовыми продолговатыми мерцающими глазами, шальная, громогласная без удержу, с выступистой грудью и твердым большим животом, обтянутым синим казенным халатом, сохранившимся с той поры, когда была скотницей. Королишка соблюла его в свежести и теперь носит захорошо, когда по гостям идет. Не

долго молчала, жуя пятнистые губы, и давай приставать ко мне, подшучивая; играет грудным дребезжащим голосом, а во всем тоне сквозит плохо скрываемая неутоленность. Муж на войне погиб, и с тех пор она вдовеет; осталась дочь, с которой приязнь не берет, живет та в городе, а как явится на выходные, тут сразу война, сразу на ножах...

Королишка надвигается на меня вроде бы шутейно, но с каким-то напором, елозит по лавке, искоса взглядывая на жену и подмигивая ей, а в темных-то глазах черти, ей-ей, бесенята так и прыгают. Будто маленькому, достает из бездонного кармана горсть шоколадных конфет:

"Экий ты постный. На, подсластись. Ишь ты, горюн. Не пьешь, не куришь, от тебя и мужиком-то не припахивает. И за что тебя девки любят? — Старуха испытующе взглядывает на жену, отыскивает в ней сообщницу. — Да нет, чуток, кажись, припахивает. Ну, не тоскуй. Все в город-то ездишь, так небось красавицу на стороне завел? Все вы кобеляки, знаю вас. — Королишку развозит прямо на глазах, лицо побивает красными пятнами, толстые губы в какой-то белесой шелухе, как бы в простуде. — Слышь, Владимер, дай поцалую. Чай не убудет. Смотри, какая я. Не баба, а спелая стыкла, со всех сторон круглая. Меня так просто не обоймешь, двух рук не хватит. Но ты спробуй, не робей, я не кусаюся".

Королишка прилипла, как собачий репей, не отвадить ее. Может, стопкой вина отвлечь? Придвигаю к ней бутылку, граненый стакашек, но она и не смотрит на соблазн: в ней бродит самогон на чесноке. Королишка уже втянулась в игру, она упрямо пытается притянуть мою голову к выступистой груди, норовит поцеловать в губы. Рюмки четыре грохнула старуха, никак не меньше, закусила яишней с салом да миской пшенной каши на шкварках — и вот распалилась, не знает удержу. Я отворачиваюсь от самогонного густого духа, Королишка будто бы обижается, мерцает глубоким взглядом. Наверное, думает: обидеться иль нет?

"Ах ты какой, ну вот ты какой, — выпевает низким грудным голосом с хрипотцой. — Фу ты, ну ты! Он не хочет. А я хочу! Владимер, напиши книжку про любовь. Хочу, чтобы там любили, крепко любили. И подари мне. Хочу книжку про любовь. Думаешь, старуха, дак все во мне умерло? Может, старухи-то больше молодых хотят".

Шутит иль взаправду говорит, но только нижняя губа вдруг начинает капризно дрожать, будто старуха зажимает слезу. Я не отзываюсь, чувствую, что лицо вспыхнуло жаром. Жена пристально переводит взгляд с гостьи на меня, будто подозревает в чем, и ухмыляется. Королишка никнет — и вдруг прочь из гостей. Вижу в окне, как остановилась старуха на заулке и, будто дозорный, пристально оглядела деревенскую улицу в оба

конца, на которой проясневает солнечно поясок песчаной колеи. Помедлила и спорым шагом направилась к избе напротив, где под ветлою на лавке гомозился народишко.

Я тоже вышел на заулок; бесцельное домашнее сидение для души обуза, а для брюха — горб, все время невольно тянет приклонить рюмку на лоб и закусить.

Под ветлою шумно, Королишка уже бузу устроила, задирает одноглазого Толю. Мужик не обижается, крутит плешивой головою, как цыплак, в зеленом оке расплывчатый задор. В деревне говорят, что дед возил его куда-то под Рязань и там что-то такое сделали с парнем, чтобы он не плодился. Но он женат, и крохотная, как ребенок, ушастая женушка любит его очарованно; она не выходит на гульбище, но видно в окне напротив ее старушье некрасовитое лицо.

Королишка задирает мужика, теребит его за отвислое толстое ухо, гладит по могучей обветренной шее, где сизо-бурою сливою красуется бородавка.

"Толька, пойдем Ленку сватать, — кричит старуха. — Ты далеко не ходи. Ленку засватаем, и Марфушку, чем не невеста, и Леничку, да Коляхину Таньку из Гаврино. Девок-то, Толя, девок. Ты не смотри, что одной восемьдесят четыре, а другой семьдесят шесть, они боевые, сами на горшок ходят... А меня, Толя, куда денешь? Ведь я пред има молодуха, мне шестьдесят семь еще", — напомнила о себе.

"У тебя чухчень большой", — бурчит мужик.

"А, может, я рожать собралася. На, пощщупай, слышь, шеволится?"

"Лягушка там шеволится, вот кто", — бурчит Толя и довольно хохочет. И весь народишко смеется, радый шутке: да, дурак-дурачина, а ума-то полата, откуда чего и берется.

"Сам ты фельетон, а не человек, вот ты кто", — пуще всех заливается Королишка. У широко разоставленных ног в резиновых блескучих калошах свернулась кренделькам черная сучонка-двоеглазка; от шума она вздрагивает и подозрительно уставливается на знакомцев лупастыми злобными глазками с белыми надбровьями.

"Помирать нынче. А жить бы надо", — грустно вздыхает Марфушка, на которой только что для смеху сватали кривого Толика. За толстыми стеклами очков ее глаза выпучились, как у ратана, прескверненшей рыбешки, завезенной из Америки. Про старушку говорят, что она каждую ночь поднимается в три часа, будит внучку и восторженно шепчет: "Внуча, встань, посмотри, какая нынче луна". Или: "Внуча, посмотри, какие необыкновенные звезды". А ей ведь под девяносто.

Моя теща сухо возражает. У нее на все свой резон, она любит гнуть

свою линию, когда надоедает слушать бабьи сплетни. Дома не раз говаривала мне: "Не могу поверить, что я старуха. По душе-то я все молодая, мне старой-то не хочется быть". Но тут перед товарками гнет свою линию:

"Почто надо жить? Кто велит? Долго жить не надо, да".

"А сколько тебе лет?"

"По паспорту-то восемьдесят два. А годов столько, насколько здоровья. И вовсе не надо знать, сколько лет. И думать не надо. Родился когда-то, потом рос, а вот и умер. И все. Стары люди мешают. Такой закон жизни. Пока ходят, они не должны мешать".

Теща поджала тонкие в нитку губы, снова ушла в себя. Мне было удивительно, что она вдруг разговорилась на людях, открылась в самом сокровенном, о чем, наверное, долго думала. Пока старухи судачили, Королишка сбегала к себе в избу и, наверное, снова приложилась к стопочке, потому что еще пуще забурела щеками; поверх синего халата она повязала цветастый передник, голову покрыла пестрым полушалком. Ну, прямо цыганка из табора. Уцепилась за край разговора, вскричала раскатисто:

"А я жить хочу. Толик, возьми замуж. У тебя зубы, как у лошади".

Мужик рассмеялся самодовольно:

"Железо могу кусать. Хоть проволоку, хоть гвозди. А ты, бабка, что навеселе? Иль праздник какой?"

"Праздник, Толя, праздник. Последний зуб торчал, как шило, ести мешал. Два раза привязывала за веревку к дверной ручке и не решусь дернуть, страх долит. А сейчас хватила стакашек, петельку надернула... Вот и праздник".

Королишка порылась в кармане передника, достала зуб.

"Будешь, Толенька, мне кашку манную варить да с ложки кормить".

"У меня своя такая-то есть".

"А мы не раздеремся. Ей кисет, а мне трубка..."

Старухи загалдели, их повлекло на грешное. В боковом окне неотрывно торчало блеклое личико с голубыми нагими, без ресниц, глазенками. Во взоре светились тревога и жалость. Жена поманила Толика пальцем, тот послушно встал и поплелся в избу.

А уж сутемью стало запотягивать деревню, на западе в гнилом углу над болотом приглушенно запотряхивало в небесах, покатилась громовая телега с каменьем, молонья вспорола тучу, трава потемнела и сникла. Ласточки деловито стригли над землею, сбивая опавшую мошкару. По улице, низко склонясь долу, проплелась с горбом рюкзака Настюха, единственная дочь Королишки. С автобуса вечернего попадает сердешная,

пять километров протопала с поклажею; худенькая, остроплечая, носатая, смуглая, как черкешенка, она миновала посиделки под ветлою, вроде бы и не заметила матери и, что-то буркнув, лишь искоса сверкнула черными, как вар, глазищами. Королишка хмельно воскликнула: "Доча-а... родимушка ты моя. Кот-от нынче гостя намывал". — "Уже пьяная, тьфу", — сплюнула Настюха. Старуха никло, потеряв всякий гонор, засеменила следом.

"Нынче напьются вместях, и опять война грянет", — проронил кто-то. И верно, минут через десять грубо отмахнулась дверь, выскочила на крыльцо Настюха, выплеснула воду из ведра, вскричала нарочито громко: "Знаю тебя, колдунья. Ты эту воду закляла!" И, чмокая галошами, побежала к колодцу.

"На дурных да чиканутых бабах черти воду возят", — протяжно вздохнула Марфушка. У старенькой бледное, как картошина, лицо, битое оспой, седые кудельки на впалых висках, а толстые очки, как два перископа. И всех оглядела старушишка из самой глубины души:

"Раньше-то церковь на горы была, пока не сгорела. Народу-то в праздник нальется, ой, как рыбы в невод. Вот и не давала церковь спотыкнуться. Немного, но держала в памяти. Ты-то, Владимирович, веришь в Бога? — Все разом повернулись ко мне, что-то ответит писатель. Я смущенно кивнул. — И то, как не верить? Надо верить, душою верить, а не кричать. Но чем раньше подойдешь к вере, тем лучше. Раньше надо, спешить надо. Я ночью-то встану, внучу бужу: подымайся, де, доколе спать, гли-ко, сколько звездочек на неби изнасеяно. Сколько ягодок спелых назрело. И кто кроме Господа такой красоты наследит? Ведь что-то такое есть в мире, чего мы не видим, но Оно есть, — воскликнула Марфушка с восторгом и неколебимостью. — Вот муж мой не верил. Я ему-то: Гриша, послушайся меня, поверь, и все будет хорошо. А он смеялся. И вот заболел, бабоньки, да. Повезли его в больницу, он встал на холмушке, поклонился деревне и как чуял, что не вернуться более, заплакал. Дак слезы-ти были, как чурки..."

Свято место под ветлою пусто не бывает; у Фониных под ветлою всегда жизнь кипит, будто вина да меду бесплатно давают. Только Королишка сбежала за дочкой, как тут же заскрипели глухие ворота высокого заплота из толстых горбылей, и появилась плоскогрудая рослая старуха в черном плюшевом жакете и длинном темно-синем переднике. Она с тщанием заперла выход, будто отлучалась надолго, и пересекла дорогу размашисто, как гвардеец на плацу. Августа, по прозвищу Курша, поклонилась товаркам и неожиданно визгловатым голосом, с высоким протягом пропела:

"Ну что, девоньки, яйца парим?"

"Куда нам, уж шорстка седа. Напарили синепупых, а нынче не знаем, как обратно запехать, — отозвалась Лина, бойкая на язычок старбеня, на чьей лавке и заседало деревенское старье. — Их бы заставить огняные сковородки вылизывать. Ум-от весь пропили, околетые". — Лина смотрит с веселеньким прищуром, безо всякого гнева на распахнутое окно на кухне, возле которого в привычной меланхолической позе сутулится с сигареткой ее сын Ванек.

"А и что, девоньки, и в писании такочки. И всякому по делам его, сказано. Вон Тоньку-то убили в Гиблицах. Господь дал знак, де, остерегись. Ей, дуре, запонадобилось ехать, а тут курица всхлопала крыльями во дворе и закукарекала. Тонька и говорит матери: имай куру, потрогай лапы. Если холодные, то к покойнику. Мать поймала курицу и говорит: холодные лапы-то. А Тонька не послушалась, поехала, значит..."

"Ворожить не надо. Себе худа наворожила", — сказал кто-то, и вся лавка дружно оборотилась к дому Королишки, где, судя по бессвязным крикам и мятущимся теням, действительно разгоралась битва.

Августа так и не присела, стояла у палисадника прямо, сурово поджав губы. Ее длинный орлиный нос скатился вниз, а острый подбородок бодливо подался вперед; на старуху бы баранью выворотку напялить да пустить на Святки малых детишек пугать по избам, вот было бы страху да реву. Вдовица, она уж давно выпестовала детей и внуков, спровадила их по городам, но и нынче, в преклонном возрасте, не знает угомону; с четырех утра она на ногах, внаклонку да на коленях пестует свое польцо, у нее грядки всегда под линейку, каждая пустяковая былка выдернута с корнем; ползает по родной землице, будто клюет ее, обихаживает родненькую в белых перчатках, чтобы не занозить пальцы, а после из лесу волочит охапками сушняк, такое бремя навьючит, кое под силу только дюжему мужику. У нее изба под краской, во дворе чистота, ни соринки, убрано под метлу, все уложено в штабеля иль спрятано по сарайкам, ограда за два метра, чтобы стороннему глазу не увидать, над чем корпит хозяйка. И тихо так на усадьбе, будто вымерли все; правда, иной раз просочится на волю тонкая запашистая струйка, значит, христовенькая направила самогонную машинешку свою. Эх, сердешная, угомонись-ка в летах своих; горела дважды, овдовела с войны, детей подымала, потом рак съел одну титьку. Оклемалась. Вроде не жизнь, а житуха пропащая. А ей, вот, несгибаемой, износа не станет. День-деньской в праведных трудах, но вечером обязательно облачится во все чистое по достатку своему и, опрокинув стопку самогонки, закусив тяпаным грибком и яишней,

она с чувством праведника покидает подворье, чтобы показаться товаркам. И вот стоит у ограды, сплошной укор всему миру, повесив нос на губу, а впечатление от вида, будто руки девать некуда бабке, а в глазах такая тоска, что вот стоит возле переводниц-колокольниц, а время-то зазря идет.

"Садись, Курша, в ногах правды нет. Что ж ты как пчелка. Ладно бы для себя. От детей доброго слова не услышишь", — подъедает Лина, толкает плечом соседку, и товарки сбиваются плотнее.

"Ой, девки, и что напрасно сидеть? Завтра праздник, вот и насидимся. От пустого сижанья проход-от завсе болит".

"Ох-хо-хо... Как не болеть-то? Чего едим? Грыб да огурец кислый. Зимой брюху тяжело, летом — спине. Работа дураков любит", — заскрипели бабени, тут же завспоминали о своих нескончаемых трудах и разом, будто им подпустили в юбки горючих угольев, разбежались по деревне.

"Христос воскресе, смертию смерть поправ", — загнусавила Августа и ускоренным шагом направилась к своим воротам. "Слава Богу, — наверное, подумала с облегчением, — можно со спокойной душою за кросна сесть да половики ткать. Все какая копейка в дом".

Тихо было, меркло на деревне. Чуть покрапывало. В гнилом углу посветлело, гроза перебралась за Оку, там поливало вовсю. Я постоял во дворе, глядя на освещенное стекло веранды. Старуха моя стояла в окне, отрешенно глядя в темное небо, и навряд ли чего видела в это мгновение. Пришлось вот христовенькой в конце лет покинуть родное поморье и переселиться в чужие срединные земли; вроде бы и тут родимая Русь, а уж все не свое, и как тяжко на склоне жизни добивать судьбу вдали от родного погоста. Волосы у старенькой плотно зачесаны, скручены в тощую косичку; свет от ночника падал искоса, и потому скулы вылупились, как яйца, и тонкое лицо вдруг отуземилось. Не видя меня, бабенька, вроде бы нечаянно, попробовала голосок, приглушенно запела; но в открытую фортку было слышно разборчиво.

...Мой муженька работяшенька,
работал, работал работяшенька.
Поехал муж на мельницу,
позабыл, позабыл, позабыл мешки.
А я млада не ленивая была,
не ленива, не ленива, тороплива, все догадливая.
Схвачу мешки да за ним в бежки,
да за ним, да за ним, да за ним на мельницу.

Мой муженька работяшенька
работал, работал, работяшенька.
Поехал муж за водой,
позабыл, позабыл, позабыл бочку.
Я млада не ленивая была,
не ленива, тороплива, все догадливая.
Схвачу бочку да за ним вскочку,
да за ним, да за ним, да за ним на речку.
Поехал муж боронить,
позабыл, позабыл, позабыл борону.
Я младая не ленивая была,
не ленива, тороплива, все догадливая.
Схвачу борону да за ним...

"Ой, кто там?" — вдруг споткнулась старенькая, испуганно бросила петь.

"Это я, Володя... Чего тоскуем, Мария Семеновна?"

"Да как не тосковать-то. Молодым везде хорошая жизнь, а старым везде плохо".

4

Из простой судьбы

"Было старуха испугалась милиции и всю барду самогонную вылила гусям. Двадцать их было. Они съели барду и пали. Соседка увидала и говорит: ой-ой, пали твои гуси. Склади их под поленницу, хоть отеребишь на подушку. Ну, милиция приехала, самогонки не нашла. Что делать? Поплакала бабка, отеребила гусей, думает, после зарою в яму. Сходила в деревню по делам, вернулась, а гуси все у кормушки голые стоят, жрать хотят. Пришлось гусям головы рубить".

* * *

В ночь на Ивана Крестителя случилось светопреставление. По окнам металось пламя, словно бы полыхала в огне вся деревня, и камнепад сыпался с оглушительным грохотом на нашу бедную избенку. Такой грозы я не видывал во всю свою жизнь. Но дети, воистину Божьи создания, спали блаженным сном, не ведая о конце света. И лишь под утро укатились громы и пошел ровный, успокаивающий душу плотный дождь.

Едва встали в полдень, как заявилась Королишка, осунувшаяся, без постоянного багрового румянца во всю щеку. Пыталась казаться веселой; уселась на край скамьи, отполированный до блеска батожок просунула меж широких колен.

"Ну, как спалось, Владимирович? Я-то до утра глаз не сомкнула. А грозы-то боюся, дак бочкой из-под комбикорма накрылась, сижу-дрожу. Глаз не смею казать. А доча-то кругами вокруг меня вьется, орет: "А, ведьма, спужалася?" Скажи, какой комар укусил? Может, давление повлияло, на грозу отдалося? Вечор всё платье из сундука выметала на пол, давай рвать в клочья. Щи были сварены, дак вон выплеснула, давай свои готовить. Я за водицей полунощной сходила на три колодца, хотела сбрызнуть полоумную, дак орет на меня: "Колдунья ты..." Владимирович, ну скажи, какая я колдунья? Такую жизнь перетерпела, и лютому врагу не закажешь. Сгорели, в бане жили десять лет с бабкой втроем; на конюшне до пенсии горбатилась, тяже работы не сыскать, килу нажила, метр кишок вырезали. Срубец купила в Мамасево, на тачке волочила через пески за пять километров по бревну. Пока дом ставила, чуть не умерла. И чего я худого исделала кому? Иль украла чего? иль ославила зря? иль чей-то путь заградила? Колдуньей кличут. Ох-те мне. Ну ворожу когда, от смерти отбиваю, хвори сымаю. А врач где? За тридцать верст врач-от, попади к нему. Чуть что, бегут, Дуся, помоги, Дуся, спаси. А как не помочь? Из дальних городов едут, деньгами тратятся, спасения ищут. Ой, Владимерович, ну как понять? Я ли зазываю, я ли приневоливаю? Было из Москвы приехал мужчина, прослышал где-то про меня. Экзема у него. В коросту оделся человек до самой пипки. Эх-ма. Везде лечился, врачи отступились. Говорят ему, ищи бабку. А ему уж жизнь не мила, значит хотел покончить с собой. Белье льнуло, отдирал с кровью. Подсказали меня. Неделю жил, отчитывала, как рукой сняло. До сих пор посылки шлет. Пишет: ты мне жизнь спасла...

Владимерович, почто доча-то на меня звереет? Я ведь за чужую иголку не запнулась. Жалко людей в горести, вот и ворожу им, счастья желаю, молюся за них. Ну, если Господь милостив, он мне простит. Худого людям я никогда не накликала. А приходили ко мне с разным. Приходили и сулили злато и серебро, и всякие подарки, на порчу хотели меня приклонить. Нет, родимушка, этого я никогда не хотела, и Господь на это меня не благословит..."

Королишка прослезилась, и жена моя внезапно всплакнула. Не с руганью явилась старуха, не сплетки вить, но с горьким сердцем; и от ее недоуменных слов, от внезапного покаяния и у меня в груди защемило. Эх, мужичонко, знать и у тебя ныне глаза на мокром месте. Пряча взгляд, я

захлопотал вокруг стола, не зная, как ловчее усадить старуху, да чем бы особенным усластить, чтобы воспряла Королишка.

"Ты поплачь, деушка. Слезы — дело хорошее, это Божья роса, — успокаивала гостью теща ровным голосишком, будто рассказ вовсе и не тронул ее. Окуная корочку в блюдце с чаем, без спешки пережевывала хлебец, катала в беззубом рте. — Мы, деушка, народ старый, прожитой, никому не нужный. Наше дело не мешать молодяжкам, вот и весь сказ. Молодым молодое, они далеко от нас укатились, в своих годах живут".

Королишка промокнула глаза углом плата и вдруг резко выкрикнула:

"Я чужого века не заедаю. Я, Семеновна, свой век живу".

Сверкнула скоро просохшими жаркими глазищами под толстыми бровями и покинула избу, ничего не отведав от стола.

"Мир-от не берет, дак худо жить. Это уж не жизнь, коли мира меж има нет, — сокрушенно сказала Марья Семеновна, обидевшись на гостью. — Нашла коса на камень, и никоторому не одолеть, пока смерть не приберет. Такой мой сказ".

Я молча уставился в окно. О ночной сполошливой грозе уже мало что напоминало, ярый песок скоро выпил воду, и от бескрайних луж на дороге осталась лишь плесень с крохотными проблесками влаги. Мир притих, успокоился, но небо оставалось набухшим, рваные слоистые облака застыли над деревнею и никак не хотели сдвигаться за окоем. Словно бы приказывали селянам: де, берите грабли да ворошите небесные валы. Иван Креститель с усердием напоил родимую землю и ждал от христовеньких благодарности за доброе дело. По улице брели от часовни ранние богомольники, тащили жбанчики, склянки, бидоны со святой водою; бывший водолаз вез на тележке целую канистру литров на двадцать. Надолго хватит старому услаждаться божьим нектаром. Из калитки напротив выскочила бойкая старушишка в голубой нейлоновой куртке с сыновьего плеча и в платке кульком, в руке посудина. Значит, и наша подружка обрядилась по дому и нацелилась к часовне. Огляделась вокруг себя, поощипнулась, заметила непорядок на заулке и, не откладывая дело в долгий ящик, тут же сгребла сучья и ветви, насоренные с ветлы ночной бедою, и оттащила в яму.

Вот и спопутье, — скоро решил я, сунул в сетку трехлитровую банку и поспешил на улицу. Вся нацеленно подавшаяся тельцем вперед, с низко опущенными плечами и тонкими ножонками, обутыми в резиновые зеленые сапожишки, Лина удивительно походила нынче на травяного кузнечика. Но лицо не праздничное, нет, осунулось у сердешной, мешки под глазами налились, губы горестно опустились. Эх, старая, и тебя, знать, укатали крутые горки. В прежние-то годы ускакала бы, не оглядываясь, и

не догнать, только ветер бы парусил в подол. А тут, хлябая просторными голенищами, поплелась старенькая, увязая в наводяневшей песчаной дороге. Я догнал Лину, окрикнул:

"С праздником, крестивая! Поди, пирогов да пышек настряпала?"

"Какие пироги, какие пышки, Владимерович. Едва отпышкалась с ночи. Щупаю себя с утра: жива-нет? Да вроде живуща, зараза такая. И молонья-то не прибьет, — бабица засияла простиранными светло-голубыми глазенками. — У вас-то все ли ладом? Спали-нет?"

"Спали-нет? Еще толком не пойму..."

"Ой, сколько живала, на веку такого не знала. Прямо конец света. По писанию. Молнии одна за другой подгоняют. Глянула в окно, а напротив порядок деревенский в огне. Охти мне, пожар. Как в сорок первом. Я Сережка толкаю, вставай, говорю, смерть пришла. Обычно он брухливый, развоняется, а тут вскочил, обос... со страху. Ну, одела я все смертное, и он одел. Сидим, ждем смерти. Внука привели с веранды, на него рубашонку чистую одела, говорю, давай вместе помирать, а то где тебя буду на том свете искать? С час, наверное, гроза шла, а потом ливануло. Вышли мы на улицу, смерти ждем. Вся деревня на улицу вышла к своему концу. Вот так-то в останний денек и явится Господь нас судить. И с какою душою мы встанем пред ним?"

"Себя-то, Лина, не кори. Ты по жизни своей прямо в рай".

"Ага, в рай, туалеты чистить... Эхма, пятна на душе светлого нет, — казнила себя старушка, меж тем прибавляя шагу, будто бы спутним, невесть откуда взявшимся свежим ветерком подбивало ей пятки. — Сегодня из Колесников матушка будет, а мы, заспанцы, в грехе закоснели. Иван-то хорошо земельку помыл, грех на него жаловаться. Всех верующих и неверующих окрестил в одной бочке. После него и грыб пойдет, и ягода нальется, и на огороде все подымется".

Лина помахивала пластмассовым красным кувшином, с которым по землянику ходила. Сосновый бор от дождя настоялся сладимым духом. Ручьи проточили на покати лесной дороги причудливые волнистые следы, словно бы ночью ползли на свой сговор десятки великаньих улиток. Под горкой, возле мрачного чернолесья, тележница развязалась на четыре путика; на этой росстани всяк, кто пробирается к часовенке, невольно замедлит, чтобы отыскать верную тропу.

5

Раньше в нашем лесном захолустье стояли две часовни: одна в середке деревни напротив моей избы, другая — в чищере, в глухом куту, в

скрытне у болотистого ручья, почему-то в достопамятные времена ставшего святым.

Ведь в каждой округе обширной Руси много родников, студенцов, гремучих ключей, отворяющих каменистые кручи иль выпадающих из моховой рады, из чахлой ворги, из-под клюквенной кочки иль из-под еловой выскети. Прежде у всякой чистой, ломящей зубы неиссякаемой живой струи стояла лавочка для отдыха, висел рукодельный берестяной корчик иль липовая посудинка, кою спроворил неленивый добросердный путник; хожалые люди то живое сердечко обихаживали, давали источнику постоянно, ненатужно струиться, расчищали руслице, убирали лесной палый мусор и валежник, копали подобие скрыни, природной чаши, где бы скапливалась тихая прозрачная влага. Но ведь не у всех же тысяч родников рубили часовенки, но лишь особенные чем-то ручьи вдруг обзывали святыми, к ним издалека ходили на богомолье, и тогда от рода к роду не зарастала вещая тропинка; потом слух кружил по деревнюшкам, оседал в душах, и от многих людных мест по случаю и без, по престольному празднику иль просто за попутьем попадал сюда народец, чтобы испить животворной водицы. Вот и Августа, когда заболела грудью и напрочь отрезали одну титьку, не желая помереть и осиротить детишек, стала бродить по святым родникам и пить намоленную воду. Тогда, наверное, и в Бога стала верить.

И наш святой источник (здесь в тридцатые годы пытались поставить мельничную запруду, но доброе дело в одночасье рухнуло) непримечателен внешне; он струит в бородавчатом ольшанике и растопыристом осиннике, да в седом бородатом елиннике, по берегам его жирный папоротник в пояс, здесь торфу наслоилось на десятки сажен вглубь; вода почти коричневая, смахивает на крепко заваренный чай, но прозрачная в каждой своей быстрой косице; по ней кротко сплывают в вечность кораблики сухих свернувшихся листьев, палая древесная шелуха, черные причудливые трубочки ручейника. Говорят, в прежние времена сюда захаживала с озера матерущая рыба. По берегам родника много березового трупья и сухостойника, что рухнул от ветровала и под напором молодняка. И все это царство дикого запустения и дремы густо перевито калиною, черемхою, хмелем, забито хлесткими кустами волчьей ягоды. Неба над головою почти не видать, лишь там-сям просверкивают сквозь лесной шатер пятонышки голубени, похожие на рыбий клецк; под ногами пузырится торфяная зыбь, прыскает бурой жижей. И вот неожиданно ручей, блудя по сырой калтусине, разбивается на множество протоков, заводей, и на крохотной осотной кулижке показывается невзрачная часовенка, набранная из тонкомера, с кривой луковичкой во взглавии.

Есть же сильный ключ на юру возле прозрачного Гавринского озера, куда все местные насельщики ходят за водою; родник хрустальной чистоты, пить из него — не напиться, над ним стоят осиянные сосновые боры, тут сам воздух напоен медом; но часовенку в незапамятные времена воткнули именно тут, в сырой чащобе, как бы спрятали от лихих глаз.

Святой источник обязательно освящается легендою, преданием, житием, чьей-то судьбою, чудом.

"...Под Норино (от нас километров шесть) прежде жил в часовне на святом роднике отшельник Ермила. Он носил вериги. К нему шли на поклон издалека, несли деньги, просили исцеления. Приходской поп был в обиде: блаженный отбивает прихожан. Говорят, Ермила до святости своей был разбойником, а после посвятил себя Богу, раскаялся в содеянном, стал замаливать грехи. Ермилу убили в двадцать втором неизвестно кто, но слухи есть, что из-за денег. Дед Пушкин, что жил в Норино, пошел однажды к роднику за водицей и увидел на пороге часовни мертвого Ермилу. После говорил всем: "Враки, что святая вода. Был разбойник Ермила, после обманом наживался, и разбойником его прикончили. Вот и вся правда".

Новое стояло время на дворе, и даже дед Пушкин считал себя отрезанным от церкви. Но сам в доме имел полный угол икон и два раза в году в главные праздники вставал на колени и долго молился..."

"...В часовенке по тракту (от нас через лес станет километров девять) жил свой отшельник. Он держал дюжину кошек и столько же собак, обихаживал их, но богомольники за столь странную заботу на блаженного не обижались".

"...В Вельково на кладбище у часовенки тоже жил один человек. Это было уже после войны. Знал церковную грамоту, ходил в шабалах невозможных, жил в старой могиле, крытой сверху дерном. Отпевал, причащал, пел каноны. Когда подносили, одну рюмку выпивал, а другую тоже принимал угощением, но уже не выпивал, а выливал в бутылку, которую держал за пазухой. "Потом выпью", — говорил, извиняясь. У него брат жил в Москве, занимал высокий пост. Но про этого человека говорили, что он умнее московского братца, хотя грамоты такой не знает..."

Но про нашу часовенку предания пропали в темени времен; неказистая нынче, раньше она, как сказывают, имела вид пригожий. Известно лишь, что невдали, за километр отсюда у Глухого озера стояла на берегу церковь, и она в один страшный час провалилась, ушла под землю.

...Но, видимо, святой родник должен и исцелять; ведь не молиться же тащатся христовенькие издалека, вернее, не только поклоны бить, но и с

желанием немедленного чуда, избавления от немощи, для духовного обновления. Значит, и подобное случалось на веку, кого-то подымала чудесная вода на ноги, кому-то жизнь продлевала, кому-то кровь поновляла, омывала душу, снимала не только ломотье иль сухотку, но и сердечную тягость, с коей и свет белый не мил.

...Пришли. Лина медленно окстилась по-старушьи, подбила ковыльные прядки под плат, зыркнула по сторонам на поклонников и, ни на ком не оставляя долгого взгляда, молча, чтобы не нарушить благоговения, сразу юркнула в часовню к колодцу, зачерпнула воды, напилась и плеснула на шею. Тут же в небольшой заводи под старинной шатровой елью бабы мыли головы, брызгали в лицо, украдкою поливали грудь, отвернувшись, протискивали кружку со святой водою за ворот, за приспущенный лифчик, но не охали, а мужественно сносили озноб, веря в цельбу источника. И здоровые кто, то и те следовали за прочими, уже без всякой нужды и причины, лишь на всякий случай, чтобы заручиться благодатью на будущее. Откуда источался ручей, из какой расщелинки выбивался в мир, кто благословил его на битву с грехами? — никто не знал, да и догадываться не желал. Струит из века в век из гущи папоротников по воле Господа, — вот и радость и утеха. И я уже лет двадцать прихожу сюда, и ни разу не возникло мысли узнать место рождения святого ручья; казалось бы, достаточно нырнуть в елинник, и в сумеречности леса метров через триста можно отыскать крохотную пещерицу, устье под валежиной, откуда и сочится неиссякаемый родничок. Но зачем? — сразу возникает сомнение; для какой нужды нарушать старинную тайну? она, эта тайна, тоже принадлежность святочтимого места. Течет водица из ниоткуда в никуда и прямит христовеньких, ставит на ноги с Божьей помощью. Иль этого мало?

Сыро было в этот день, глухо шумели ели под ветром-верховиком, шерстящим вершины; папоротники намокли, низко толокся надоедный комар. Богомольницы несли еду — сушки, колачи, батоны, конфеты, подавали деньгами. Подношения складывали на край столика, прикрытого черными, давно не стиранными пеленами. В глуби часовенки на краю срубца теплились тонкие восковые свечи, припасенные загодя для такого случая. У проема стояла начетчица в сером пастушьем плаще по щиколотки; черный плат надвинут по самые брови, нос ястребиный; что-то в лице каменное, недвижное и вместе с тем решительно-властное, почти мужское. Начетчица поливалась тут же у колодца, опрокидывая за пазуху кружки со студеной водой. Потом уселась у часовни прямо на сырую землю и стала есть принесенное, запивая святой водою. Ела она медленно и долго, вовсе не интересуясь приходящими. Женщина была неопределенного возраста,

из той самой породы людей, что прежде становились монашенами и оседали в керженских скитах, коих и пламя-то не страшило, коли нужда приневолит шагнуть в костер.

Удивительные лица в народе, и всех их окрашивает природа и то настроение, что овладевает человеком в подобные минуты. Встреться бы мне эта женщина в городе, и я бы, пожалуй, не обратил бы внимания на нее, серую, неприметную, скудно прикрытую заношенными одеждами.

...Чуть в стороне от часовни за розвесью кустов таился явно рукотворный копанец, крохотный прудик, болотце для купания. В нем воды по колено матерому мужику. Вокруг на ветвях деревьев и кустов развешаны пелена, полотенишки, старое белье, уже прополосканное дождями, — это живые приметы поклонения святому источнику.

Нынче привели сюда женщину из Малахова. Она страдает припадками. У нее вялое, востроносое лицо, потерянные безжизненные глаза, тонкие серые волосенки убраны в две тощие косицы. Они торчат в стороны, как бодучие рожки, и оттого женщина как бы потеряла свои годы. Старухи уговаривают ее раздеться. Верховодит Августа, моя соседка. Болезная теряется, стыдится чего-то, ей страшно растелешиться, но и хочется выздороветь. Она поймала меня мерцающим взглядом, я смутился и отвернулся. Старухи же не отступали, содрали кофтенку, юбку и поношенную тельную рубаху, вернее, длинную мужскую майку. Комары сразу впились в несчастную, окутали ее серой шевелящейся марлею. Бабенка сгорстала крохотные грудки, навострила плечи; ее подтолкнули, и она решительно вошла в бурую, как пиво, лесную воду. Августа принялась окачивать припадошную из ковшика; больная стиснула зубы, вздрагивала голубоватой хребтинкой, но молчала. Верила, что святая водица ее омолодит и выпрямит. Тьфу-тьфу, — плевалась Августа, прогоняя вражье воинство. Всем было жаль хворую, но чтобы скрыть настроение, старбени весело подбадривали женщину, выкрикивали псалмы, перескакивая с пятое на десятое, нещадно перевирая слова. Наконец отступились, накинули майку на ближний куст, принялись вытирать богомольницу полотенцем, дали горячего чаю из термоса.

Августа разошлась, раззадорилась, увидев меня, тоже позвала мыться: ей хотелось перелечить весь мир, прогнать через купальню. Я отказался, и глаза старухи блеснули пронзительным, как молонья, пламенем. Нет, сейчас старуха вовсе не походила на ту, что вечно копошилась на своем огороде, переползая, как гусенка, с грядки на грядку и взрыхливая их; она обнаружила сейчас в себе нечто такое, властное и решительное, что сразу выделило Августу из прочих. Спорить мне не хотелось, да и бабицы

насмешливо уставились; я смирился и без особой радости плеснул на ворот рубахи и в лицо. Августа и этим осталась довольна, зашамкала беззубо: "Ну что, суседушко, хороший мой, сподобился? Это ведь святая водичка, не простая. Мне-то без нее не жить".

Народ у часовенки не иссякал. Далекий от церкви сельский житель и дачник и в будние дни, а особенно в престольный праздник, будто по зову, торопился в эту укромину, чтобы во святом ручье зачерпнуть воды на питье и отнести домой; говорят, и чай-то из нее особого вкуса. Конечно, редко кто из девиц и парней лба перекрестит, но на миг всяк задержится возле убогой часовенки, осторожно, с неким пугливым чувством заглянет внутрь, где на шаткой столешне стоят бедные образки, и что-то ласковое мазнет по сердцу, и в душе родится пусть и краткое, но благоговейное чувство. Смиренно зачерпнет девица из колодезя и, обязательно отпив глоток из кружки, осмотрится вокруг, чтобы запечатлеть в себе этот серо-зеленый прогал, темный поясок ручья и луковичку часовни с бледно-желтым деревянным крестом, вокруг которого вроде бы разлито кроткое размытое сияние...

Я еще потолокся на богомолье, но, затурканный комарьем и духотою под подолами елей, чавкающей тайной тропинкой направил ноги к деревне. Дорога из низины подымалась в гору, в светлые сосновые боры, и я, выбредя из чищеры, вдруг наткнулся на Августу; старуха попадала медленно, внаклонку, как бы принюхиваясь к земле крюковатым носом, и что-то выцеливала средь голубовато-розовых кудрявых мхов. Осенило: не грибы ли ищет старая? Но вроде бы и не время пока. Хотя колосовики на подходе, и на счастливца бугровой боровик, этакий бодрячок-скороспелка, может вынырнуть из-за можжевелового куста прямо под ноги... Вдруг старуха решительно нагнулась и безо всяких церемоний выдернула из кипени мха рядом с тропинкою белый грибище с кулак, с бурой ядреной головою и ногою бочонком, приосыпанной рыжеватой шерстью. Тут же достала из кармана халата нож-складничок и торопливо очинила корень, будто карандаш, сунула боровик за пазуху, а шелуху от гриба захоронила под иглицу, чтобы не осталось от находки никаких примет. Августа воровато оглянулась, не заметил ли кто, на лице ее вместе со смущением сияла неприкрытая, почти детская радость. Господи, как мало надо человеку для счастия.

"Праздник... Господь без подарка не оставляет, — сказала старуха. — Владимирович, возьми гостинцем, детишкам супчика сваришь".

Она сделала робкую попытку добыть гриб из схоронки, но я торопливо отказался, чем очень обрадовал Августу.

"Селянки сжарю. В капусту кислую грыба настрогаю, да со свининкой. А то все чего-то кабыть не хватает желудку, в рот не лезет, на кислое отдает".

Я плелся за Августой, не перебивая ее охоты; не утишая ее задора, стараясь сделать свое присутствие вовсе незаметным. Разве какой истинный грибник любит спопутье? даже вздох сторонний ввергает его в уныние и печаль и тут же усиливает желание мгновенно исчезнуть за ближним деревом, чтобы остаться в одиночестве. Августа так и шарила мышиными острыми глазками по всякой шероховатости, спинывала носком калоши неровности и бугорки, всякие моховые торчки, где мог бы затаиться новорожденный. И вдруг остановилась, как бы чего-то устыдившись:

"Я ведь, Владимирович, с грыба живу. Если бы не грыб, где бы копейку достала? Я на грыбе детей подняла и дом построила".

Я было хотел подкусить старую, де, таратайку-то наладила, старая? да смазала ли колеса, чтобы не скрипели? Но эту язву сглотнул с языка. Неизвестно еще, как примет старая мою пусть и безобидную шутку.

...А бабка действительно ходит по грибы с тележкою, да в день-то раза по три, и тогда над банькой до полуночи курится дымок, и во все пазья, откуда по старости повысыпался мох, струит сладким густым духом прикопченной лешевой еды. О, стоит лишь раз увидеть, как Августа прибирает грибы, то эта картина уже никогда не изветрится из памяти. Пылает печь, в бане не продохнуть от жары и грибного настоя; кругом корзины и коробья, мешки и кули. На полу у шестка стоит шеренга старых чугунков с песком, куда воткнуты проволоки, вязальные спицы, березовые сучья. Старуха натыкает грибы и ухватом мечет эти горшки в самое пламя, наклонившись, зорко глядит в огонь, чтобы не пропустить момента и выхватить из жара свою добычу в самое время. Как в преисподней шурует; седые пряди повыбились из-под повойника, крюковатый нос загнулся к губе, подбородок, как кочедык, в мышиных глазках алые просверки. Ну чисто Баба Яга. Выхватив чугуники из печи, иглой-парусницей нанизывает добычу на нити и развешивает перед челом на просушку; большие грибы тут же обрезает ножницами, крошево будет продавать отдельно; к шляпке белого пришивает ножку подберезовика. И устали-то не знает старая, болезни и хвори; лишь в полуночь очнется от азарта с сожалением, когда уже все лесные дары оприходованы, глянет в темное окно, хватит стопку самогона, похлебает остывших щей и тут же в предбаннике, прикурнув на один глаз и с трудом дождавшись, когда посветлеет чуть-чуть небо, без шуму и гряку украдчиво откроет

заднюю калитку и с таратайкою снова в лес по своим путикам, по своим природным садкам, по выводкам, где уже выпер из землицы только ее и больше ничей гриб. Августа не шастает понапрасну по борам души ради, она ходит в лес на уборку урожая, как в свой огород, и каждая минута этой страды у нее на счету. С собой в лес никогда никого не зовет, ее места потайные. И лишь по кучкам тонко обрезанных кореньев, захороненных под иглицу, случайно узнают, что здесь побывала Куршиха.

* * *

Креститель шел по напоенной земле неспешно, своим чередом, притупляя душевную черствость, пригнетая обиды, приглушая сердечную горесть. Как ни повадно ныне всякой нечисти на Руси, но не бойся, крестьянин, распахивай ворота для праздника; скоро сеностав, потная страда и там уж станет не до блажи. Да и ягоды на носу, уже земляника назрела, черника на подходе, после ливня полезет на усадьбе всякая дурнина, только отгребайся, колорадский жук развесился на картофельниках алыми гроздьями, с хрумканьем пожирает крестьянский труд... Но сегодня пей-гуляй, родименький, по достатку, конечно. В каждой избе нашлась заначка белоголовой.

Казалось бы, так и день мирно доживет без всякой напасти. Но не тут-то было. Вдруг народ засуетился по деревне, забегал под окнами. Что-то случилось? опился кто? иль зашибся? иль угораздило утонуть заради праздника?

Да нет: ребенок-годовик обварился кипятком, зашелся в крике, помирает, уже и глазки закатил. Молодая мать не доглядела, заварной чайник поставила с краю стола, ребенок ухватил для любопытства и опрокинул на себя. Что делать? как спасти дитяти? Побежали к Королишке: "Тетя Дуся, помоги, заговори от ожога".

Старуха под хмельком, заупрямилась, вспомнила старые обиды: "Не пойду, они меня колдуньей величали. Какая я колдунья? Я людям помогаю".

"Приди, Дусенька, на твоей совести будет грех", — умоляет Лина. Старбени скопились у крыльца Королишки, уламывают, совестят. Старуха облокотилась об ободверину, кусает пятнистые толстые губы, раздувает ноздри, лицо в багровых пятнах. Бабке ой как хочется поереститься, ей сладко слушать уговоры, обида теснит грудь, но и мальчонку жалко. Дитя ведь, его-то какая вина?

Наконец сдалась Королишка на уговоры, пошла к пострадавшим в дом,

прижала ребенка к высокой груди, начитала шепотом от ожога. Что случилось с ним? — но он тут же затих и уснул. Спящего положили в коляску, повезли лесом до тракта; там поймали машину до больницы.

...Вечереет. Бабеньки стабунились на лавочке под ветлою, будто собрался государственный совет; переживают несчастье, клянут Ельцина, власти, пропащую жизнь и тут же вспоминают покойничков, что-то шальное из молодых лет, хихикают, визгливо поют:

Я свою соперку Веру
посажу на небеса.
Ты сиди, сопера Вера,
не выпучивай глаза.
Ох соперка моя,
коротенькие ножки,
голова, как у мыша,
голос, как у кошки...

В ПОТЕ ЛИЦА СВОЕГО

Архангельскъ.—Archangel.
Сѣверное мореходство, отправка рыбы.
Navigation du Nord. L'expédition des poissons.

1

Век не забыть, как взял я с охоты первого куроптя. Многое уже потухло во мне иль тлеет, киснет внутри, как плесень, не давая ростков, но это мартовское пуржливое предвечерье не позабыть никогда. Пережитый азарт так и не меркнет, взбудораживший тогда детское сердечко.

...Дядя Костя, давно уж покойничек, царствие ему небесное, от нужды и по бессилию вздевший на себя петлю и нашедший свой конец на подволоке (чердаке) своей избы, однажды научил меня ставить волосяные петли на дичь. Хотя своих-то ребятишек была орда, но меня, сиротею, пригрел и постоянно призывал для науки, показывал, как крутить махорную сосулю из газетного лоскута, насыпая в раструб бумажной свертки крупной запашистой махры из двугорлой солдатской табашницы; учил смотреть на солнце через осколок коричневого бутылочного стекла, точить на оселке нож, делать топорище, скручивать силья на голом колене, истирая кожу до дырьев, смолить дратву и зашивать катанки, ставить кожаные обсоюзки на переда, выбирать рябиновые отвилки для рогаток и черемховые отростки для луков. И вот в один из январских дней он взял меня с собою на чахлые болотистые ворги на свой охотничий путик. Мне показалось, что водили меня на край света, и тогда мир впервые распахнулся на все четыре стороны света. Ведь до

того, куда бы ни несли меня детские ножонки — к оврагу в лопушатник и заросли корянок иль на моховой кочкарник за ягодой сихой, но я спиной постоянно ощущал близкое родное присутствие дома; пуповинка постанывала, напрягалась, но не рвалась, мой испуг куда крепче каната привязывал к родимому порогу. И вот открылись моему сердечному взгляду глухие суземки с розовыми пролысинами снега на пухлом снегу, причудливая вязь птичьих узоров, того куропачьего наследа, что приводит в восторг любую охотничью душу, всполошливый перебор уловленной птицы, застрявшей в петле, испуганные агатовые глазенки куроптя, алые ягодки крови, выпавшие из разбитого клюва.

Сосед ловко выпутал добычу из западни, как-то неуловимо призагнул куриную головенку под крыло, и болотная птица смирилась, затихла, прощаясь с жизнью, пропала в бездонном охотничьем мешке, куда провалились и другие куропти. Это был улов, пропитаньице; я с завистью мальчишки провожал взглядом исчезающую в лузане дичь, представляя как бы висела она на поясном ремне, оттягивая бок, вселяя в меня совсем иной дух. Я бы не спеша вкатился на лыжах в нижний конец городка, и не сразу к дому, но с угора, чтобы весь околоток видел мою удачу. Я — охотник, мужик, кормилец, хозяин, на которого уже можно положиться многодетной вдове. Ведь одно дело воображать себя охотником, скрываясь в зарослях ивняка с рогаткою из красной резины, выцеливать серебристо-серых и черногрудых птах; и совсем иное — притащить в дом добыток. Не все же из материнской горсти смотреть, верно? И тот вечный недостаток, то постоянное безденежье и скудный кашный горшок без особой тоски и тревоги, без слез и причетов, но как-то невольно понуждали постоянно озираться окрест, чтобы наискать себе пропитаньица.

Тогда в лазоревом детстве все в природе разделялось на годное в еству и несъедобное; право, все, что росло, плавало, шевелилось и бегало, имело неиссякновенный запах еды; корянка ли то была с пышными горьковато-душистыми зонтами соцветий, иль толстостенная, обросшая мелкой шерстью луговая мясистая пучка, иль жмень клюквы, иль камбала-синявка, прозрачная, как стень (еще называли ее банным листом), иль развалистый лопух гриба моховика. И когда весною пахали плугом сырую маслянистую землю, мы, словно галчата, шли в борозде следом, выискивая в ломтях отвала светло-желтые коренья, похожие на крохотных человечков; они имели легкий пряный запах весны, земли и водянистой сладости. Корень из матери земли — это примета уходящего детства.

...Шевельнулось ли тогда что жалостливое при виде заполученной птицы? иль сердце упало в нети? иль от горя слеза заволокла глазенки и тут

же смерзлась в сосульку на заиневших щеках? Да нет, милые, ничего присочинять, как водится в таких случаях, не буду, ибо куриная смерть не только не смутила, но и ничего не ворохнула в груди. Лишь на миг загорелось желание вечно пропадать на лесовых путиках, скорее заматереть, курить махру из здоровенной сосули, скрученной наподобие самоварной трубы, и спокойно (хотя бы внешне) собирать дани на леших ловах.

Нет, это не война делала нас кормильцами, добытчиками, но весь строй минувшей заповеданной жизни, коий еще не отскользнул от меня, не принакрыл надежным плащом; мы были детьми матери сырой земли, и коли приветила она нас, приютила, попустила на свет Божий, то и мы, как вольные звери на вольном выпасе, не должны были пропасть. На Руси не случалось легких времен, каждое было по-своему суровым, неотзывчивым, и чтобы племя северной страны не растворилось, не иссякло, как случайная плесень, оно сызмала впитывало весь навычай ушедших в иной мир поколений. С издержками, конечно, с безусловными утратами, уже с налетом инфантильности, пришедшей от перемен в самом бытовании. Мы не только обязаны были выжить, но и дать приплоду, чтобы не осиротилась Селянинова пашенка.

Уже в апреле, когда на пролысинах крутогорий пробивалась к солнцу рыжая селетняя трава, а на высоких теплинках проступали сквозь снег маковицы земли, мы складывали поднадоевшие за зиму, будто чугунные, валенки и мчались на выпас босиком, как жеребята-стригунки, выкатив от радостного безумия восторженные глазенки. Проскользишь сахарные искрящиеся снега от заулка до замежка польца, выскочишь оттуда на угор, кинешь на оттаявшую кулижку запашистой земли заплатанную кацавейку и давай скакать на ней гусиными ножонками, выбивая из-под пальцев ошметья снежной крупы, похожей на соль. А матери наши на заулках: ох да ох, как хлопотливые курицы, беспокойно хлопают себя по бокам, грозят ремнем да острасткою. А нас хоть бы хворью какой прихватило; только как бы промоет свежестью по самое горло; это родная земля своими соками поновляет детскую плоть.

Нет, что ни говори, но до куроптя, этой всполошливой нервной тундровой курочки, надо было еще дорасти, дотянуть до того возраста, когда и капканчик на горностая тебе не в чудо, и одностволка уже не цепляет прикладом о луговую стерню. После отчаянной стрельбы из рогаток по воробьям скрадывание пулонцев, белесых тундровых пташек, было уже занятием почти отроческим. Пулонцы чуть больше воробья, но уже годились в еду. Притом надо было изготовить ловушку, добыть конского волоса, строить петли, сыскать черепушку отопревшей от снега земли и так скрыть

снаряд, чтобы пробежистое пугливое существо не открыло подвоха; иначе сорвутся птички в небо серебристой стайкой, похожие всполошистым мерцанием крыл на клинышек света, и скоро откочуют на другие, нетревожные поляны. Пулонцы в начале апреля косяками налетали на Мезень из печерских и канинских тундр, где еще лежали завальные снега, скрывшие еру (мелкий березовый и ивовый кустарник); как скворцы в срединной Руси, так на севере пулонцы были верной приметой двигающейся с юга весны, предвестником пробуждающихся ручьев и скорых великих разливов. Вот натрусишь на плашки зернеца для приманки, скроешься где-то в затулье, подглядывая за охотою, и с нетерпением ждешь, когда угодит в петельку небесный посланец, а после, трепеща от удачи, мчишься скорее в дом. И там ни у кого ни доли смущения иль тревоги за наше будущее душевное состояние, ни укоров, ни брани; лишь мать деловито ощиплет жидкий пушок и сунет пташицу в кипяток, настрогает туда картофелину — вот тебе и жидкий супчик с перламутровыми тончайшими блестками жира.

В житейском уставе в нашей простой среде понималось извечное, что каждый мужик — это добытчик, кормилец, если не заглох в нем до времени от барской жизни иль по болезни этот древний зов крови. Худо ли это? привносит ли в ребенка жесточи? лишает ли благородства к меньшим братьям своим? отзывается ли на душевных струнах? огрубляет ли сердце? — один Господь знает, но мы никогда не задумывались о суровости наших забав, да и ныне, пожалуй, не сыщется возражений к тому опыту жизни, с какой бы придирчивостью ни копался в своем прошлом...

Иной спросит, де, зачем с такой дотошностью и мелочностью, с таким многословием я делаю эти заметки? может, из праздного времени? так ли уж важно всем знать, де, чтобы уловить пташицу, нужна плашка, а это обрезок доски длиной в полметра, в коей гвоздем выколачиваешь дырки и деревянными пенечками укрепляешь в них петельки толщиною в один конский волос. И т. д.

Нет, братцы, это не этнографические подробности для вящего ума филологов-любителей, но опыт моего военного поколения, как выживал наш народец в тугие годины на суровых русских пространствах, где не растет хлебное дерево и не падают с неба бананы и кокосовые орехи. Пригодится ли знание жизни простеца-человека в будущих летах? — нам не дано предугадать. Но нельзя вовсе отрицать, что оно может стать наукою выживания в грядущие времена наступающей всеобщей жесточи. Ведь только из свода мелких черт и вроде бы лишних подробностей и познается характер поколения, его умение обходиться ничтожно малым, его поведенческие свойства, из чего можно судить, насколько передались ухватки предков в их детях и

далее по роду. Каким образом идет угасание национального норова, привычек, искажение физиономии, этики и эстетики. Из знания, как добывается хлеб насущный, в отношении к нему можно понять взрывы этноса, его упадки, вялость и распыленность, себялюбие и душевную широту.

Если бы не было родового опыта, то как бы мать моя, молодая вдова, выпестовала нас четверых в крайней нищете. Однажды вспомнила, что бабка ее молола, бывало, жито на ручной меленке, и мать, напрягшись, где-то раздобыла этот древнейший снаряд, я же украдкой проникал на колхозное поле с корзиною и под покровом темноты настригал житних колосков, чтобы в ночь вдова перетерла их на жерновце в муку и к утру испекла колобы.

* * *

...Что скрывать, в охотничий промысел я так и не ударился, не хватило зажига, риска, хватки и того крайнего опрощения, слияния с матерью природой, каким обладает лишь истинный охотник и рыбак. Мать сыра земля постеля ему, а небо —полог. Вот и не появилось у меня никогда своедельных санок-чунок на длинном узком полозу, ни длинной лопатки для разгребания ловушек от снега, которую используют промышленники на лыжне вместо державы (подпорки), ни широких лыж, подбитых лосиными камусами, ни шапки оленьей с длинными ушками, ни пиджака по колена на толстом ватном подбое, — то есть всей той сряды, которую обязательно имеет неутомимый лесовик, вставший на охотничью тропу.

Правда, я добро научился скать (крутить, вить, вязать, прясть) силья из конского волоса иль из белых ниток десятого номера. Где брали мы прядено? да скрадывали, где могли, пасущихся лошадей, а то и воровски забирались на конюшню и, выглядев спокойного мерина, бестрепетно выстригали из его хвоста добрый пук волос толщиной с руку или нещадно кромсали челку, за что нам доставалось от конюха. К лошадям мы были свычны, с малых лет пропадали в лугах, возили на ужищах сенные кучи к зародам, поначалу истирая подушки свои до кровавых язв, отчего ходили, раскоряча ноги, и в первое время не могли сидеть. Как сладко и вольно было скакать на кобыленке, захлебываясь горячим июльским воздухом, подложив под заднюшку с два кулачонка, на широкую, как избяная лавка, спину лошади лохматую кацавейку, которая постоянно сползала с хребтины и норовила утащить за собою и мальца. Сколько было падано, не счесть тех ушибов и царапин, и каждый такой полет через лошадиную голову на землю мог окончиться печально; но ведь никто из старших не строжил за скачки, вроде бы мы были заговоренные от смерти, иль сам Господь хранил нас от порухи.

Было нам лет по десять и менее, скидки на молодость никакой не искали, мы были впряжены в крестьянский труд, встроены в страду, как винтик в машину, без чего сеностав с налаженным в веках ритмом тут же бы и споткнулся. Отсюда возчиков ценили, старшие особо выделяли усердных, отмечали похвалою, звали на пожню; сам бригадир приходил с уговорами. За праведный труд на земле нас не только кормили, но и начисляли трудодни, как и взрослым; зимою мать ходила в правление колхоза и получала невеликие деньжата, но и они были подспорьем для бедного нашего живота. На пожне мы, как губки, впитывали все мужицкие похмычки, учились материться, курить мох и сенную труху, искали чинарики и, выбив из них на газетный лоскуток остатки махры, скручивали одну на всех самоварную трубу. Ни разу не видел я средь взрослых никакой похабщины иль прилюдного мордобоя и дикой свары; при всей простоте крестьянских привычек существовал какой-то вековой стыд, совестность и ничего худого, что запрещал деревенский мир, не выпирало наружу; а если что и случалось запретного, то вдали от постороннего глаза.

Все мальцы особенно ждали обеда; и не оттого только, что были постоянно голодны, но притираясь к старшим за столом, мы как бы составляли одно дружное многоликое и многорукое счастливое сказочное существо. Не было на полдните за трапезою никаких стычек, укоризн, воплей и напрасной говорильни; на пять человек большая миска с пшенным супом, и каждый, подставляя под деревянную ложку кус хлеба (привезенного из дому), тащил горячего варева, насыщал утробушку. Ели супу досыта, и кашный котел всякий раз казался мне бездонным. Потом старшой, что был нам за вожатая, стучал ложкой по краю блюда и отдавал команду: “Мяса таскать”, и первым зачерпывал кусок говяды. Повторять нужды не было: шматки жилистого мяса исчезали в птичьих горлышках мгновенно, будто проваливались в бездну, не касаясь зубов. Но тут, сознаться, я оказался не мастак: суну в рот кусманчик жиловатый и давай его елозить зубешками, а проглотить решимости никак не хватает; так и застревает еда в горле. Незаметно выплюну в ладонь, кину под стол, где вьются лохматые северные лайки, потянусь ложкой за второй добычей — ан миска-то уже пуста, вроде бы в ней ничего и не ночевало. Ну, да что там горевать! По кружкам разливают черный, как деготь, чай, и глядишь, чья-то сердобольная рука придвинет к твоему локтю глызку сахару иль подушечку монпансье...

Да, только нынче я понимаю умом, что еда, трапеза — дело молитвенное, сосредоточенное, оно не терпит разладицы и нервов; после трудов праведных это второе, данное Господом благовейное занятие, как бы умиряющее, облегчающее тягость земного быванья.

Земля-матушка любит поклоны. Как поработаешь, так и полопаешь. Ленивый человек посреди зимы на своей печке замерзнет. Пашенка крестьянская от поту солона, и оттого кормилец, хозяин, большак, прижимая ковригу к груди и руша хлеб, собирал крошки в горсть и кидал в рот или в пойло скотине. Оттого смирный молитвенный работник никогда еды не хулил, пусть хоть и прокисла она, иль пересолена, ибо всякая ества от Бога. Конечно, крутой вспыльчивый мужик крякнет ино, грозно сведя брови, пронзит взглядом бабу, готовый ее сокрушить насмерть, шумно выйдет из-за стола и, не глядя на жену свою непутевую, убредет на поветь, иль в денник к лошади, иль на завалинку пред избою, скрутит цигарку и постепенно, смиряя гнев, затихнет душою, разгладит лицо, повеселеет взором, глядя на родимую сторонку. Ино и баба, переждав мужнюю смуту, приткнется подле хозяина, поправит благоверному ворот рубахи иль стряхнет с волос сенную труху и примиряюще прожурчит в ухо: "Соленого-то не поешь, дак и чайку не попьешь. А чайку не попьешь, дак и не поработашь". А если горелое иль кислое выпадет, и тут жена сыщет тихих, но подковыристых слов: "С горелого хоть не утонешь, с жирного не замерзнешь, а с кислого заворота кишок не будет, все пронесет с ветром".

Чванливый же человек без Христа на сердце, найдя трапезу не по вкусу, обязательно примется нудить да попрекать, да тонко язвить, чем непременно доведет бабицу до слез, размолвки, до сердечной гнети, смуты и разладицы.

Еда, братцы, дело святое, вот и просим мы Отца Небесного: Господи, дай нам хлеба насущного. У стола за едою различим и распахнут человек до самой мелочи, как открытый ларчик с бабьими ухорошками. Вот и в работники прежде нанимали по еде: кто нажорист, ест без проволочки и тягомотины, кому лишь поднаваливай в чашку, все споро смечет да и залижет, — тот и в труде яр от упряга до упряга, хоть рубаху от пота выжимай. Никогда зря не присядет, спины не распрямит, не боясь ее сломать, грыжи не стережется нажить и устали не знает. Этот человек — золотой, цены ему нет, такому-то работнику настоящий хозяин и платит вдвое против остальных, ибо всегда остается в барыше, как ни крути уса.

А кто за столом ест впотяготку, рот распахнет для ложки с ухою, да вроде бы так и заснет, пока не толконешь его под локоть, — тот и в трудах ленив и неуряддив, с тем каши не сваришь, тесного товарищества не поведешь и дела не справишь толково. Нет, хлебушек не так прост, как подвидится с первого взгляда, ибо он с благословения Господня и пронизан Его духом; ествяному да рукодельному безделье — сущая смерть, его тоска беспричинная тогда загрызет. Такому человеку хлеб, как иному молитва,

он жилы крепит, дух поновляет и позывает к трудам праведным. А про ленивого-то и сказать особливо нечего; он умом капризен, духом смутьян, сердцем глух и неотзывчив, ибо прежде всех себя любит сверх меры.

* * *

Эх, когда ум вразбежку, то слова колесом, строка строку в пяты подбивает; и память, как тот ястребишко, что сметывает с небес в кущи да на пашенку за каждой мелочью.

...Да, когда я впервые за Плоским болотом поставил силья на тундровых курочек, было мне годков близ двенадцати. Но удачи мне ничто не сулило: иль снегом забьет ловушки по самые верха березовых стенок, то сило затянется, то ветром собьет петлю со сторожка, и как обидно было смотреть на обильную птичью жировку, когда куропачья стайка прямо на глазах снимается с самой-то западни, всю истолча ее лапами. Шумным серебристым клином вспорхнет прямо на твоих глазах и, обдав лицо ледяным вихрем, скоро упадет за ближнюю березовую гривку.

Напрасно я топтал ноги и мозолил пятки в худо прошитых валенках на тонких лыжонках с едва загнутыми носами, почти плоских, изъезженных задолго до меня и потому втыкающихся коварно в каждую потайную кочку, в сплетенье березовой еры иль в горбушку смерзшегося снега. Помню, падешь, растопыря руки, в снег, уткнешься мордашенцией в студеные бездонные хляби и, путаясь в лыжонках, как-то несчастливо, неукладисто скрутившихся вокруг ног шиворот-навыворот, во всей веревочной упряжи, долго освобождаешься из этого плена. И смех и грех. Домой бы повернуть, да норов долит, велит двигаться вперед. Городок пропал неведомо куда, заслонился небесным пожаром, словно бы сгорел в нем дотла; крыша родимой изобки уже запала за рассыпчатый гребень снежного забоя, по которому весело прыскают змеистые вихорьки; а впереди, куда глаз схватит, лежит мерцающая предвечерняя равнина, уже притрушенная серой пылью, безо всякого намека на живое.

...Вот так-то и попадал я однажды на ловы по своему путику, уже забитому переновой; поземка была, низовая поносуха, к темному лесу скатилось багровое, быстро тускнеющее солнце, а на болоте, куда ни глянешь, крутят снежные хвосты, иль вдруг, стелясь по целине, быстро сорвутся с гривки и помчат пепельно-серые ящерки, ткнутся в мои катанчишки и замрут, обвившись вокруг ног. Де, куда ты бредешь, безумный мальчонка, охолонь и уймися! А я уже вновь распалился, рожа моя счастливо горит заревом, я ору песняку в мартовское синь-небо, сам удивляясь пронзи-

тельному голосишку, которому, кажется, нет предела, настолько высоко и безотказно льется он из груди. А глаза-то, между прочим, все схватывают, все примечают, ибо в груди под пальтушонкой постоянно живет придавленный страх, который предстоит обороть; ведь эвон куда умчал от родного порога на ночь глядя, в свой день рождения.

...Вот зайчонко протропил, от кого-то мчал косой, потеряв голову? Ба... да вон, по лыжне недавно протрусила лиса, еще коготки не стерлись под снежным куревом; не иначе сгадывала беляка, понуждала того петлять и строить скидки. Вон лось пропахал сквозь болото, и два высоких искристых отвала налились глубокой мартовской синью. За ним пристроился узкий, в шнур, волчий деловитый след; лапа, как блюдце, тащится с протягом, с ленцою, знать, скрадывал сохатого, а этого матерущего бычину в одиночку даже волку не завалить. А там и тетерева набродили: под ночь, нажировав, упали в пуховую постелю и, угревшись в лунках, прокоротали до утра. И к ним не без охоты настелил следков горносталька, прямо на лежбище взял на зуб тетеру, да тут же и отеребил; понасеяны рубиновые бусинки крови, понатрушено пера. Сколь смелой разбойник; сам с карандаш, мордка с карамельку, а сколько строгости и дерзости в натуре. Возле же настрочила мышка, вроде бы возьми поживу, самая такая, по зубам, так ведь не польстился, прокурат.

И мне бы спешить, а я вот иду вразвалку, едва протаскивая лыжи сквозь завалы. Эх, это лишь издали кажется, что земля пустынна, все съежились, занорились, заберложились, уклались по дуплам и скрытням, под валежины и лесное трупье. Нет, голод не тетка, заставит и из жаркого пламени голоручьем уголья таскать, позабыв страхи. Вот и бьется лесная скотинка живота ради. И меня-то, мальчонку, не голод ли нудит в лес на ночь глядя? Притужив страх, тащусь, вот, на край света за промыслом. Брюшишко мое стоскнулося, присохло к хребтинке. А что удивительного? почитай, с маковую росинку и спущено в утробушку. Хорошо младший братец приболел, в сад нынче не водили, и я после школы сбегал с тормозком за его порцией: супу поварешка, каши ложка, великая ли тут снедь для ребенка малого, а ежли эту долю разделить на троих, то и вовсе воробью на поклевку. Но и то сколько радости было! Молодец, братишка, взял да и заболел к моему дню рождения, добыл в семью праздничного угощения. Ну, а к вечеру мать картох в мундире наварит.

...Наконец переволокся через Плоское болото, обогнул березовую рощу, где и были у меня наставлены силья. Три дня не был на путике. Наброду-то сколько куропачьего, Бог ты мой, эк нажировали по морозцу тундровые курочки, знать, полные зобы набили почками, лакомой для них снедью. Я

до слезы в глазах еще издали всматриваюсь в ловушки, дыханье мое замерло, а сердце застучало пуще. И неуж и на этот раз удача обошла стороною? Вдруг запоздало взлетела птица и опала в кусты. Подбежал, не веря глазам своим. Куропатка забилась, стараясь вырваться из петли; угодила, несчастная, за лапу, и быть ей теперь в ощипе. Трясущимися руками схватил дичину, выпутал из сила, ощущая в ладони сквозь прохладное шелковистое перо тщедушную теплую пупырчатую шейку. Глаза куроптя, аспидно-черные, смотрели как-то сквозь меня и были непроницаемы; иногда птица смаргивала и покрывала взгляд тонкой пленкой, будто засыпала, сморенная. Сердце ее билось так же часто, как и у меня. Но что делать с птицею? Меня трясла лихорадка азарта, но как усмирить дичину? Я видел, как дядя Костя засовывал птичью головенку под крыло, и птица сразу умирала, как бы засыпала. Я повторил этот прием, но куропатка лишь пуще забилась. Тогда я стал выкручивать шею, пока куропатка не лишилась головы. Руки мои покрылись липкой горячей кровью. Я вытирал ладони о кацавейку, плохо понимая случившееся. Потом сунул оторванную голову в карман, улов же подвесил за сило к ремню, как делают настоящие охотники. В другой западне лежала уже смерзшаяся курица, я ее тоже приторочил к поясу. Это уже была добыча, не шутейная удача. Ну-ка, такой пацанишка и уловил двух птиц; приварок в дом и матери, поди, в радость. Мое сердце наполнилось неиспытанным прежде ликованием, лоб покрылся испариной. Хотя на болоте владычил хиус, пронзительный северный низовик, обжигающий щеки, счастье мое было куда сильнее стужи. Я даже не заметил обратной дороги, так спешил, и уже в полной темноте добрался до избы.

В комнатушке нашей горела керосиновая пиликалка, шевелилась за шторкою тень матери, из трубы лениво, завивая сивые кольца, курился дым. Смерзшиеся валенки на ступенях крыльца гремели, как чугунные песты, заколелая одежонка стояла коробом. Я протиснулся сквозь узкие сени, вошел в боковушку. Мать месила колобы на столе, взглянула на меня. Испуг в ее глазах скоро сменился покоем. Я не видел своего лица в эти минуты, но можно вообразить, каким был мой взгляд, полный достоинства, мальчишеской гордости и взрослой уже снисходительности к женщине. С охоты вернулся хозяин, мужик. Я снял улов с пояса, опустил возле порога. Мать засмеялась, увидев безголовую куропатку. Меньшему брату я вручил головенку; из подсохшей шеи торчали обрывки белесых жил; мальчонка сразу же стал деловито дергать за них, но птица смертно сомкнула глаза, уже не хотела подымать веки. Мать живо отеребила куропатку, промыла от крови, опалила на угольях, разделила на две части, половину сунула в чугунок, нарезала картошки и сунула в топящуюся печь.

Жаркое в мой день рождения украсило праздничный стол; запах тушеной птицы не только заполнил житье, но выбился через сенцы на волю. В тот вечер, наверное, на весь околоток пахло дичиной.

Лапками завладел братец; он дергал за тугую подсохшую жилу, и пальцы, как живые, вдруг растопыривались, показывали черные загнутые когти. Крылышки достались матери; окунув в растопленный маргуселин, ими смазывала противни и маслила пироги и шаньги, вынутые из печи. Перо же пошло на подушку.

...Четыре года спустя после атомного взрыва на Новой Земле куропатка под Мезенью исчезла вовсе и уже не возродилась. Отныне крохотная жировая стайка в десяток голов уже сорок лет кочует по огромным пространствам северной земли, уже не находя в себе силы расплодиться; и с канинских, малоземельских тундр никогда не прилетят к Мезени огромные станицы в десятки тысяч голов на вековые кормные пастбища. Птица вековая пропала, и считай, что этот старинный промысел совсем угас. И не потянутся на Москву и Питер длинные обозы с мороженой дичью, упакованной в рогожные кули, плетухи и дерюжные мешки.

* * *

В чем нравоучительность подобной жизни, кою наследовало от предков все мое поколение? И неуж в этой грубости, обыденности и приземленности сыщется каких-то прелестей, способных очаровать нынешнюю поросль, отравленную заокеанскими картинками? Ведь по всему ряду и складу прожитых лет, припудренных глянцем воспоминаний, так похожему на быт самых-то низов народа, мы могли бы, казалось, угодить в любую воровскую спайку, заразиться ее законом, привычками и хворями; но, несмотря на схожесть отдельных наших повадок, никто из нашего круга отчего-то не подпал под пяту урок, под власть “низменного жестокого союза”, хотя многие из нас имели характер самый отчаянный, вольный и взрывной. Но для нас, к счастью, не было вокруг примера к худому, ибо взрослые, не отчаиваясь от тягостей быта и постоянного голода, не отвергали в себе человеческого, христового обличья, несмотря на весь свой атеизм; они не поклоняли душу дьяволу, не молились мамоне, не падали перед ним на колени. Несмотря на всю убогость и нищету послевоенных лет, душа ценилась куда выше не только гроша ломаного, но и неразменного рубля; оханья и аханья не сокрушали сердца, но понуждали с неизбывной верою смотреть вперед и пестовать своих младеней, коих спосылывал для утехи Спаситель. Постоянный стыд был тем замком, который накрепко

закрывал народную душу от соблазна; и малое худо сотворял кто, так подушка под головою всю ночь крутилась, и не раз до зари краской стыда обольется человек, жгуче вспоминая ту провинность. Да не сыщется на свете той драгоценной гривны, коя сможет заместить глубину и богатство христовенькой русской души.

...А вроде мы, мальцы-огоряи, и в деньги в пристенок играли, и в кон, и бились на самодельных копьях и мечах, повергая противника в бегство и посылая вослед струсившему остро заточенный ивовый дрын; игры были жестоки, как немилосердной была та война, прокатившаяся от нас где-то за тридевять земель, но забравшая наших отцов. Мы ползали по чужим огородам, причиняя урон, таскали из проходящих машин жмыхи, сбрасывая на снег огромные черные плиты из подсолнечникового жома, что везли на скотный двор. И не было, казалось, слаще той еды, что мы промысливали набегом. Бродили по околотку ордою в подшитых катанках и заплатанных пальтушонках, на которых не было живого места, с цыпками на гусиных руках, ибо подобие смерзшихся варег всегда чудом висело на пальцах, с наледью под носом и с волчьим блеском в глазах.

Но я не помню, чтобы мы огрубились старшему, подкузьмили старбени, обозвали кого неприличным словом иль залезли к кому во двор. Самой проказливой выходкой, несмотря на вольный азарт жизни, была покража у спящего ненца четвертинки водки. Помню, как с приятелем заскочили на нарты к самоеду, сморенному вином: олешки-важенки знали свое дело, трусили середкой прошпекта. Пьяный тундровой мужичонко беспечно спал, зажимая под локтем ненужный сейчас хорей. А из другой руки торчала вот эта злополучная бутылешка. Мы покрали ее, забежали в наш огород, где под папахой снега торчала копешка, вырыли с исподу нору, забрались в сено и выпили холодное вино прямо из горлышка. Я не помню вкуса той водки, забрал ли нас хмель, испытывали ли мы чувство вины за проступок, но помню, как покатывались мы над пропившимся самоедом, который проспал все свое богатство; представляли как подъедет он к стану, очнется, забредет в чум и будет искать косушку вина, чтобы опохмелиться самому и угостить бабу, что возится у поварни, варит ему оленью ляжку в котле и радостно тащит из схорона мороженую мясину. И ненец, не найдя злополучной четвертинки, будет цокать языком, наверное, налупцует нерасторопную жену, и оленья строганина, присыпанная солью, не полезет в горло. То крохотное человечье горе, что мы доставили невзначай, проскользнуло мимо сердца, ибо за долгими лишеньями это происшествие воспринималось как забава. Но оно могло бы стать начальным звеном в цепи злосчастий, что привели бы меня прямым путем к душевной черствости.

Раньше в книге я писал, что прежде не считалось за вину иль проступок взять что из казенного леса, наловить рыбы из реки иль забить зверя, ибо все за пределами деревни представлялось Божьим, а значит, всеобщим, лишенным чьей-то личной власти. Но страшным грехом считалось залезть в соседний двор и утащить хоть самую малость; этот проступок, несмотря на всю малость его, считался грехом страшным, за него мир нещадно судил на площади иль в съезжей избе, разложа на лавке; и тогда повинному сурово преподавали науки, исписывая спину батогами, палками, розгами, как то постановят староста и сотские. И мы тогда покусились на чужое, но сам проступок выглядел как бы шалостью, игрою, баловством беспечного глупого мальчишки. Но от этой шалости до греха стоял тот водораздел, коий мы переступить боялись, ибо нами неосознанно правил стыд.

Нет, нам не читали проповедей, и батюшка не внушал с амвона, чтобы пробудить дремлющего в нас Бога, да и отца возле не было, чтобы выходить нас вожжами иль ременной опояской. Но через старших в нас неслышно вливался вековой заповедный устав, как бы некая верховная команда: "Так делать стыдно, так поступать нельзя". Как стыдно отнять кусок хлеба у мальца, нашпынять младеню, что не может дать сдачи, подкузьмить рыбаку в его промысле, испакостить ловушки и стащить рыбу иль самоволкою в лесу взять из западни иль петли дичину.

Словесно не учили Божьим заповедям, но мы тайной наукою безусловно понимали, что так поступать грешно. Нельзя — и точка! Чего объяснять? У самого на плечах голова, а не щаный горшок, и не тыква, и не березовая баклуша, чтобы только шапку носить. Мы не боялись, что поймают, налупцуют, накидают лещей, расскажут матери, наябедничают в школе. Все это не стало бы остановкою в прокуде. Но в сердце постоянно жил остерег: нельзя! Нельзя брать чужого, хотя бы оно сгнило, иль пропало вовсе, иль испортилось за смертью хозяина иль за всякими проволочками. Не тобою положено — не трожь!

И по стольких прошедших летах, когда уж серебро в бороде, угожу случайно на реке на чужие снасти, и голос за левым плечом тут же и искушает, нашептывает: де, оглянись, браток, нет ли кого поблизости, да запусти руку в сети, полюбопытствуй, каков улов, а то и снастенки сыми, пригодятся. Вот он, коварник, в душе неустанно живет в соседстве с ангелом, пусть хоть и святым будь ты. Но та детская наука, та заповедальная школа всегда дает остерегу; и даже щеки загорятся, когда лишь подумаешь-то грешно. Да, природа испытует человека бесконечно, и только от тебя зависит, совладаешь ли с соблазном, иль рухнешь под тяжестью греха...

Мы, и верно что, были лишены каких-то услад жизни, она не была

украшена довольством, ели мы скудно, одевались убого, но эти потери не ощущались болезненно, потому что дитя земное безунывно, потому что все вокруг жили по средствам, никто не выбивался в особые счастливцы, и даже наша худосочность и рахитичность не казались признаком беды, ибо были как бы всеобщими. Потому я и малорослости своей болезненно не переживал, но во всяком мальчишеском соперничестве старался извернуться, поклонить победу на свою сторону. И даже после лета пятьдесят четвертого, когда пришел в восьмой класс и увидел странно переменившихся сверстников, будто они не бегали вместе со мною (у многих даже пух над губою выметался), а я остался прежним недомерком, метр с кепкою, хваченным на морозе корешком, и когда меня вдруг впервые на линейке поставили замыкающим, — так вот и тогда я не унывал, ибо оставались еще моя воля, улица, где в пылу азартных вылазок я все равно оказывался сверху; и это чувство победительности, ловкости и звериной цепкости замещали мне уныние, поселившееся с того времени.

Я отчетливо помню, что не было во мне, несмотря на всю жесткость жизни, ни капли горечи, обделенности, тоски, обиды и зависти к тем, кто обитал в праздничных больших городах, ел каждый день мороженое и безвыводно имел на столе хлеб с маслом и сахара глызами, носил штиблеты и крахмальные воротнички. Помню, когда дядя мой вернулся из Ленинграда из гостей, где жил у родственника (академика), и рассказал, какая у него шикарная дача, а на той даче служанка и две коровы, то эти воспоминания не вызвали во мне никакой зависти (как не вызывают зависти небесные миражи), но удивили, почти потрясли эти две коровы, которые каждый день дают много-много молока, которым, наверное, можно опиться, и что эти коровы живут на какой-то городской даче. С той дядиной поездки минуло полвека, знаменитый академик давно умер, и дети его (тоже академики) поумирали, не вызвав ни разу желания встретиться с ними; и если я когда-то и вспоминаю не виданных мною родичей, то не в их научной славе, но с теми двумя коровами, запавшими отчего-то в мою детскую безлукавную память.

Потому мне и поныне непонятна астафьевская ущемленность прошлым; обида на сиротское детство живет в знаменитом писателе Астафьеве, как грыжа, которую страшно вырезать, как жаба, которую не выплюнуть. Мучается, христовенький, давится гадою, которую сам взлелеял и вынянчил, да и сжился со временем, как с горбом. Вроде бы пирожными и икрою с маслом, что получил от государства (которое проклял), можно залечить все военные язвы, если бы они были только телесными; но увы, душевные мороки, оказывается, нельзя изгнать всем благодушием властей; всякие награды и потворства лишь разжигают новые охоты, а увещевания потрафляют горды-

не. Эх, сорвался человеченко с тормозов, да и поехал прямиком в трясину, где благодушно квакает лягушье, переменчивое к погоде племя.

А ведь миллионы военных сирот жили скверно, печально, плачевно, вроде бы хуже и некуда, ибо вся-то русская земля казалась вместилищем вдовьих слез, когда смех на просторах мог показаться кощуною; но умели русские всегда находить радость в малом, любить и рожать детей, не считаясь с бременем жизни, но как велят природа и Господь, петь раздольные с протягом песни и не таить на сердце обиды и мести. А может, с годами, когда заматерел литератор, оброс жирком славы, и пролилась из души горькая изжога от той душевной грыжи и заместила собою всякий сословный и родовой заповедный устав. А обида за детское сиротство вдруг стало той горкою, с которой разымчиво и смутно, почти враждебно нарисовалась отчая земля. И светлый образ бабушки внезапно стушевался с годами, принакрылся словесной проказою последних повестей...

Да нет, вовсе не суровое детство виною в той жесточи сердца, а тот особенный склад характера, который всякое обстоятельство просеивает сквозь мелкое себялюбивое сито. Хорошее как бы само собою выпадает в мусор, труху, мякину, пелеву, а всякая скверна разглядывается сквозь мелкость обиды, как золотинка в лотке со шлихом.

* * *

Борьба за хлеб наш насущный в поте лица своего научила естественного человека прикрывать взор внутренний на грубость натуральной жизни, чтобы напрасно не обжигаться душою, не каменеть сердцем и не потрафлять диаволу. Чтобы выжить в той же русской деревне, надобно исполнить столько приземленной тяжелой работы, от которой душа невольно отворачивается. Но что делать, жить-то надо, семью поднимать надо; жизнь требует и барашка кастрировать, и коровку покрыть, и кобылу осеменить, помогая в том сугубом деле жеребцу своими руками, и бычка, и боровка заколоть, которого год выпаивал со своих ногтей и почти полюбил, а после опалить его, оскоблить от щетинки шкуру, вытряхнуть брюшину, и то, что недавно было живым, дышало, хрюкало, чавкало и внимательно вглядывалось в нас темными, почти человечьими глазенками, вдруг превращается под топором в груду мясища.

Помню, как несколько лет я держал кроликов, выхаживал мелкую скотинку, выкармливал из своей горсти, но вот приступала на порог осень, и сколько усилий душевных требовалось от меня, чтобы охаживать эту милую скотинешку, с которой сжился, палкою по затылку, а после свеже-

вать, еще теплых, парных, с непотускневшим мерцающим взглядом. У женщин нутро мягкое, они от смертоубойства прячутся в избе, а то и плачут; но ты, как хозяин, исполни вот работенку, и хорошо, если все ладно завершится; но бывает и так, что стукнул неладно по загривку, и животинка смотрит на тебя так умоляюще, только что не может сказать укору, и этот взгляд после долго мучит в ночи. И эта кровинка, что каплею выпадет из носа и оросит снежную перенову, тоже нейдет из памяти.

А крестьянину, что бьется ради живота нашего на землице, надо и овечек лишних пустить под нож, умалить в зиму стадо, и навоз из хлева выметать на гумно, и заход выгрести лопатою, чтобы с удобством коротать до весны, и котяток иль щеней притопить, пока слепые, если не ко времени притащила гулящая животинка. Со скотиною на деревенском дворе греха не оберешься, так понимает человек-простец свою судьбину; и оттого баба от своей забитой коровки мяса зачастую не ест; а мужик, прежде чем колоть поросюху, примет на грудь стопарик водки, чтобы ослабить напряг в груди, да и после дела, как ведется, ожгет сердчишко под жареную печенку, осоловеет от вина, а следующим утром уже деловито, нисколько не страдая, пустит убоину под навостренный топор. Конечно, все это смертоубийство, но дозволенное Богом для продления живота своего.

Что сказать: городскому человеку, которого кормит деревня, вся эта работа в душевную судорогу, она до тошноты противна, до желчи и каприза, ибо он привык к магазину, где лежит убоина охладелая, не несущая на себе никаких чувств. Горожанин привязался к небрезгливости вовсе иного рода: кого бы объегорить, обвести вокруг пальца, объехать по службе, вытряхнуть у ближнего деньгу из мошны, взять радетеля своего на нож ради легкого прибытка, ославить, свести счеты через неправедный суд, гулко вытряхнуть ресторанное содержимое в италианские фаянсы иль поставить золотые сидюльки в уборных. То есть пестуется небрезгливость такого свойства, от которой у деревенского жителя, как у православного по своей сердцевине, и наступает внутреннее оцепенение. Размахнуться такому пороку не дает совесть и стыд.

Да, люди из крестьянского мира внешне как бы покрываются коркой черствости, источаемой из телесных пор, разговоры их просты, приземленны, без словесного разносола и упираются зачастую в обыденку, и нередко прегрубый матерок разбавляет расхристанность чувства. Порою и сам быт укорачивает многомыслие, заставляет замкнуться в себе.

Охотник в одиночестве своем на леших тропах навряд ли перекинется за день парою слов со своей собакой и становится бирюком, молчуном; да и опять же вся работа по добыванию хлеба ведется на стуже, в глухих су-

земках, где до ближайшей деревеньки нередко верст с полста, в погоне за зверем; и тут опять же преследование, убийство, кровь. Вроде бы все ангельское отлетело от простеца, как вешняя тонкая кожа с березы, и осталась на посмотрение лишь почерневшая болонь. Но путь до сердца, оказывается, несмотря на всю внешнюю грубость, наиболее короток, и всякий случай переживается мучительно остро.

Вспоминается промысловик Викентий, в нравах своих вроде бы наиболее открытый. Без собаки он лесовать не мог, держал их несколько под лося и пушного зверя; испытывал два года, и если на третье лето не шла по следу, то, чтобы зря не кормить, отводил за деревню и вздергивал на дереве. И это была не жестокость, а житейская целесообразность. Но зато на охоте животинка была за верного друга, если добро ходила. Сварит ушицы иль супцу из дичины, сам попьет варева из кружки, а после из той же посудинки накормит и псишку. Помнится, эта небрезгливость при первой встрече особенно поразила меня; два существа как бы стояли на крайней степени тварной близости. В последние годы Веня обезножел, по путику ходить стало тяжело, и он скрадывал зверя по реке на моторной лодке. В это время сучонка бежала берегом, отыскивая дичину.

И вот однажды слышим, как собака взлаяла истошно где-то в глубине леса, по пояс забитого папоротником, мхом и таежной трупниною. Ну, взвыла и взвыла: небось почуяла что-то, — спокойно решил я. Но как тут взметнулся к лесу взгляд моего приятеля. Викентий резко вырулил в берег, выскочил из лодки и, задыхаясь, вопя в голос от боли, на бессильных ногах помчался с такой стремительностью, что я, молодой, не мог угнаться за ним. Собака еще провыла, захрипела и смолкла. Оказывается, угодила в волчью петлю, и согнутая наподобие лука деревина, за которую была приторочена проволочная удавка, вздернула сучонку в небо. Я прибежал, когда охотник уже вызволил свою помощницу из ловушки. Голова собаки лежала на коленях моего друга, он нежно гладил ее по черному взъерошенному затылку. Уже после на руках отнес сучонку в лодку и во всю дорогу не сводил внимательного взгляда. Через три года, когда собака остарела и перестала служить, охотник отвел ее в лес за деревню...

И я, грешный, пожил в столицах, пообтерся, не один пиджачишко поистратил на локтях в бесконечных кабацких говорильнях и язык стер тем словесным наждаком, а внешнего лоску так и не нажил, но попритух взглядом, заморщинел и поседател, и ничего взамен не приобрел, не восполнил, а только попритушил в себе притягливость земли-матери, такую цепкую в детстве, и даже поискривился в чем-то, поизлукавился умишком, пораструсил природные навычаи, родовую сметку и ловкость, ко-

торые так пригождаются, чтобы выжить при самых сволочных обстоятельствах. Город почти изгнал из меня природные свойства, и я, как и многие из интеллигентствующих, так гордящихся своей мнимой, часто никчемной умственностью, во многом утратил животный инстинкт выживания, столь крепко встроенный когда-то в русскую натуру. И, пожалуй, крепко всем аукнется от той забывчивости, когда жизнь прижмет человечество в крайние дни бытия.

Истошный вопль уже слышится из грядущих времен.

* * *

Род продлевается по непрерывной цепи от старшего к младшему; духовная же речка течет в обратном направлении в глубь давно утекших времен. Только осознание двойственности человека и дает миру крепости, забвение же даже в частностях сулит черствость, неотзывчивость, немоту и полную духовную омертвелость.

Мне кажется, что в том послевоенном бедовании мы, подростки, еще упорно, пытливо вглядывались в утекшее и в этом огромном, припорошенном пылью веков зеркале выглядывали себя, свое повторение; скользя взглядом по жизни натуральной, нисколько не помышляя о будущем, а полагаясь на авось, де судьба не оставит, внутренними же очами, даже не представляя о том, постоянно оглядывались в потемки, перенимая нажитой опыт старших, поклоняясь ему и тем самым невольно сохраняли священный природный союз во всем его церемониале.

Конечно, в воспоминаниях грубые резкие детали пропадают, просеиваются как бы в нети, но четкий контур бытия все же сохраняется даже в капризной памяти. Тогда еще ничего корневого не сломалось в русском человеке, несмотря на все лихолетия и долгую войну, он не чувствовал себя изгоем на земле-матери, но всячески изворачивался, искручивался из кулька в рогожку, чтобы поднять детей, и своей смышленостью, терпеливостью перетирал всякие козни, облукавливал все рогатки и засеки и даже исхитрялся в том подневольном нищенском существовании сыскать себе радости.

Городок Мезень, моя родина. Русь провинциальная, тихая уездная обитель безо всяких претензий на изыски; деревянные домишки, прилепившиеся близ тундры на высоком угоре. Сам край, подпертый лесами и морем, напоминал монашью обитель. Да, собственно, и всякий уголок России в те дни обустраивался, как крепостца, сам себя обносил невидимыми духовными оградами. Казалось бы, только тут и гнездиться пороку, ибо до Москвы и за месяц не ускакать, власти мирские своих кровей; сколько своеволия, ата-

манства, лихоимства должно бы взрасти на тех неохраняемых пажитях. И всякий бы гонорливый человек, восхотевший власти, мог бы перехватить ее. Но отчего не случалось экой беды, кою перемогли еще в семнадцатом веке, когда каждый волостель был за владыку? отчего же всякий своеволец, наточивши нож и изготовив плетку, не лез в верхушку? И вообще убийств не было, и воровских похмычек не знали, никто не садился на плечи ближнему, не норовил исхитриться на вдовьих слезах. Замков на дверях не знали и в помине. Если метла (держава) в дверной ручке, значит хозяйка надолго убыла, а может, уехала и в другую деревню; если батожок приставлен к ободверине, значит хозяйка ушла в магазин иль по гостям и скоро будет. Один этот знак уже говорит о том сердечном запоре, что накрепко замыкал многие грешные притязания на чужое; это свидетельство нравственного здоровья, которое, увы, мы основательно порастеряли. Я этим неписаным законом был сопровожден в жизнь, и многое из него даже на ухабах тряского пути не повысыпалось из груди, не позатухло.

...Сам труд для хлеба насущного — это не ярмо немилосердное, но благо для человека, ибо сохраняет его натуру и не дает душевно порассыпаться. Да, она заунывна порою, даже любимая каждодневная работа, и для нее нужна притужаловка, она угнетает частенько, будто плеть управляющего, она лишает здоровья, отнимает уйму сил, вселяет в сердце тоску, а в ум скепсис, она замыкает человека в обыденку, как тупо бредущую по кругу лошадь, — но стоит лишить вас этого проклинаемого занятия, и само время, поначалу удлинившись неимоверно и обретя новые черты, вдруг станет бессмысленным и никчемным, как старая изношенная вещь, коя хранится лишь для вящей памяти. Не стоит жалеть детей, работающих не в тугу рядом со взрослыми, в почитании к ним и в обоюдном уважении; но стоит пощадить оторвышей, кто как бы загнан в шакалью стаю и сам, как шакал, готов урвать у бессильного и униженного последнюю кость; недолго побарахтавшись в этом омуте с нечистотами, он, конечно, душевно сгинет.

Почему мы в послевоенном детстве не выпали на дно? да потому, что мы были постоянно среди труждающихся, вокруг не было праздных, кто мог бы пошатнуть соблазнами, не было упивающихся властью, кто бы мог подпятить под себя и сокрушить волю. Мы были впряжены в трезвое колесо жизни и соблюдали его правила.

...Раньше парнишек рано втягивали в работу. В Поморье подростков брали на Мурман на тресковый промысел. А это верст с пятьсот пеши, по бездорожью тащится такой мальчишка вместе с артелью; рядом, впрягшись в лямку, тянет кережку со снастями и с харчевым запасом отец, сзади подталкивает санки старший брат. А оглянувшись, видит мальчонка,

как длинной цепочкой бредут промысловики, и сверстники его, словно крикливые кулички-зуйки, отделившись от обоза, гомозятся, сбиваются в стайки, затеивают забавы, чтобы скоротать дальний путь. И усталь-то их не берет, суетливых, непоседливых, и все-то на миру дивит, и чувства в душе, как брага в лагуне. И вот, умаявшись, прибредут на скалистый дикий берег к становьям, разобьются по лодкам, и тут наш зуек будет за кашевара и уборщика, он на становой избе поваренком, прислужником, варит кулеш иль щербу, чему научил его тятька, а в промысле подросток идет за наживщика четвертым в карбасе, насаживает на крючья ярусов мойву и сайку, прибирает посудину, таскает улов в берег и шкерит рыбу, подносит дровишки и помогает отцу топить из максы тресковый жир. Такой мальчишка всегда у дела, на озорство он зря времени не тратит и сна ему доброго нет, и покоя; когда-то выправит минуту, доберется до лежбища, да тут же мертвецки и пропал, пока взрослые кемарнули; а то и не дойдя до становой избы, свалится, сердешный, у костра, подсунув под бок край окутки, да тут и возьмет свой сон.

Но много попадало в зуйки и тех сирот, у кого отец пропал в морских походах; таких мальчишек брали на промысел с собою дядья и шурины, старшие братовья и братаны, да и просто соседи, у кого добросердечная душа. И те зуйки, всегда помня свое место, вились вокруг обеденного стола, не решаясь приткнуться без дозволения к артельной чашке, но и рыбаки не забывали зуйков, всегда оставляли на дне котла каши иль ухи, ведь много всего наскребется, когда шибко стараешься. А охочие до еды подростки, особенно нажористые, те и рыбы сволокут из бочки и, затаившись в распадке вдали от чужих глаз, крохотный костерок затеют, и рыбы напекут, насунув трещину на сучок, а после и мха накурятся. Из этих зуйков часто получались поморцы отбойные, бедовые, кто ничего не боялся; из них вырастали со временем промысловики, кормщики, юровщики и капитаны, мужики стоящие, готовые и у черта веревку стащить.

Тут, на Мурмане, и весь мир открывался подростку во всей суровости и шири; и море-то нянькало его, подкидывало в самые небеса, когда настигал внезапный шторм, или коварно скрадывала отбойная волна. И хоть натерпишься тут страху, не раз мамку вспомянешь, но спрячь тот испуг подальше, не выкажи кормщику, а то засмеет и чего доброго больше не возьмет с собою в карбас работником. А это значит, что зря мял долгую дорогу, зря сапоги посбивал и харчом поистратился. Вроде бы и вольны были бедокуры в своей затее, но и они без глаза не оставались, и для них сыскивались артельщики, кто по своей сердечности добровольно дозорил за ними и не оставлял без острастки и науки.

Но лишь кончался промысел, и тут же наскакивали приказчики из Архангельска и Вологды, Великого Устюга, а то и из самого Питера, скупали тресковый улов, и от того прибытка доставался пай и нашему зуйку; свой капиталец мальчонка укутывал в тряпицу и страшно далеко, насколько хватало детского ума, скрадывал от чужих глаз, чтобы доставить деньги матери.

Хоть и стосковался по родине, мочи нет, но попадать домой уж вовсе другой резон, особенно если с промыслом подфартило. Карбас попутный подгадает, так под парусом в несколько ден примчит отрок под родной угор; старшие, те под хмельком, конечное дело, сияют заветренными рожами, их и морской ветер-полуночник не ознобит. Кто ли очнется в казенке, вылезет на корточках и будет долго глядеть из-под руки в домашнюю сторону, не покажется ли вдали на буеве луковка церкви и позлащенный, призывно сияющий крест. Эвон, домы-ти, эвон! — загалдят вдруг и увидят уже полный угор людей, будто сорока вестей принесла, белые платы баб, сивые стариковские бороды, темные зипунишки староверов и синие костычи старбеней, опирающихся на клюку. Стар и мал вылились на угор. Счастье-то какое! И баньки-то дымят по краю реки, пускают белесые колачики дыма в бледно-голубые небеса. И тут мальчонку-то нашего, зуйка, подпирает неожиданная слеза, он, не стесняясь старших, всхлипывает, нашаривая взглядом родимое маменькино лицо. Господи, да куда же ты запропастилась, и не случилось ли беды? Да разве разглядишь сквозь мутную пелену в зеницах, сквозь липкую морось слез.

И вот мужики позаковыристей, подороднее уже спрыгивают во взводень, в береговой накат и, упираясь, по грудь в воде, заводят карбас в берег носом, тут и селяне спохватываются, кидаются в волну, тянут посудину в берег, подкладывают под днище чалки, заносят якорь. И наш зуек ловко соскакивает через борт, уже с сухим бесстрастным лицом, в новых сапожонках, со связкой баранок, купленных на Мурмане у маклака, и кашемировым платом в сундучке (подарок матери), и с заветным, заработанным в поте лица своего капитальцем, припрятанным на груди, пришитым суровой ниткой к исподу рубахи. И мать бросается к степенно вышагивающему сыну и едва узнает его, так переменило мальчишку на стороне. Господи, да неуж это он? заматерел, затвердел скульями, и над верхней губою уже шерстка проклюнулась.

Слава те, Господи, незаметно мужик вырос...

От той артельной жизни на мою долю перепали малые крохи, лишь отблески общинного труда, которые мог я почуять иль на сеноставе, иль на заготовке дров и сплаве леса, когда каждый в гурту, как пальцы в кулаке; один лишь полезет на своеволие, врастопырку, — тут на реке ли, в море ли сразу быть беде.

И вот уже и мы состариваемся, жухнем, переживаем пору увядания под осенним ветром-листодером; поколение военной безотцовщины заступает на последние рубежи. А я вот все завидую тому зуйку, что куда плотнее меня породнился со стихией во всей ее полноте и накрепко врос в нее; в той слитности с природою нельзя и тончайшим щупом пробраться, чтобы наискать прорешку, какой-то разъем и разлад. Словно бы мне не хватило полной слиянности с матерью-землею, и пропустил я что-то особенно важное, не пережил чувствами. Да, все-таки были мы мещанского сословия, и сам уклад провинциального городка обрезал нам вольницу: мы не бродили по суземкам, не ночевали в кушной изобке, не преследовали на гону зверя, не попадали в морскую передрягу, не засыпало нас снегами в долгие метели, не замерзали в буран, сбившись с дороги. Нам не выпало доли зуйка, чтобы еще в отрочестве испытать всю суровость и грубость крестьянской жизни...

2

...Приотправился любезный,
милый во дорожечку.
Ой-да не во дальнюю,
любезный, — во печальную.
Жаль дружочка, тошнешенько.
Воротись, мой ненаглядный,
осенью ранешенько.
Да не воротишься,
я ин-то умру с тоски,
с горюшка, с кручинушки...

Из простой судьбы

“Мы собрались, нас девять было человек, зверя бить. Доехали до Жижгина, утром встали, тихо. Потянулись по льду, по воде, до Соловков оставалось километров пять. Вечером вытянулись на большую льдину. Декабрь. Только повалились спать, как пал шторм-побережник, нас и понесло. Утром встали, а островов не видать. “Ну, ребята, понесло”, — сказал кормщик. Хлеб склали вместе, выбрали старшего. Хлеба набралось на всех килограммов двадцать. И давай носить нас от Терского берега к Зимнему. И носило девять недель, никуда пристать не можем. Хлеб по норме вешали, я вешал. Питалися тюленьим мясом. Уху хлебали по сорок ложек, считали, но зверя били, не тушевались. Сорок тюленей убили и двенадцать нерп. Понес-

ло нас к Зимнему берегу. Шел ледокол "Леваневский". Подходит к нам. "Что?" — "Спасите", — кричим. А мы от земли верстах в десяти. Капитан говорит: "Людей отвезу и вас возьму". А тихо на море. Решили сами идти к берегу. А лодки стало жать. Не растерялись, сало тюленье выкинули на лед, лодки выворочали. А темень глухая была. Один-то и говорит: "Я пойду на берег". Взял веревку с собой, чтобы мы подтянули, если окунется. Вскоре возвращается, берег близко, говорит. Стаскали все на сухое, надо бы еду варить, а ись-то боимся, как бы не зажало с голодовки. Пошли искать жителей. Отошли от Кедов с километр, едут навстречу три лошади, два мужика и баба. Они из Майды. Наказали им баню. А следующим днем, кто помоложе, пошли в баню. А мы все черные, в саже, больше двух месяцев не мывались, сколько-то снежком пооботремся — и все. Думали, деревня рядом, а оказалось, до нее восемнадцать километров. Ну, доползли, стали мы как новенькие. Попросили в Майде лошадь, говорим, зверя пожертвуем на церковь. Ну, поехали в Ручьи, сало надо сдать. К нам подходит человек один, хорошо одетый, порядошный, ну, сало принял, две недели прожили еще, хлеба напекли, вот и поехали из Ручьев домой. Порешили: кто хочет — берегом, кто морем. И стали на веселках попадать о землю и тут попали в Лопшеньгу и сказали: "Слава Богу, спаслись".

Две недельки передохнули и снова на промысел" *(д. Дураково)*.

* * *

Вспоминал об этом злоключении поморец Дионисий Бронин, из тех зуйков, что с отцом таскался на Мурман по треску, а после уж и сам запоходил в бурсе и был за кормщика, не раз попадал в передряги, и каждый раз Бог сподобил вживе остаться. Я-то застал старика уже в больших летах: глаза голубые до пронзительного блеска, нижняя губа ступенькой, волос льняной, нос катанком, рожа зажарная от ветра и солнца, как голенище; был Дионисий страшный матерщинник и записной баюнок, каких поискать, и на промыслах его чтили не только за сноровку, но и за умение веселить; за сказочность вранья и веселый нрав к паю добавляли артельщику долю. Это он, Дионисий, толковал мне: "Ум-то рыщет, а ног нету. На море-то ходил, раскатись сине море — не боюся. А на оленях еду, тряхнет мал-мале, и уже волосы дыбом".

Значит, старость одолела. В мыслях-то везде побываешь, почитай, на край света слетаешь, не видя препон; по всем вершинам знакомых тундровых рек набродишься, и на Колгуев сплывешь на гусиные бессчетные пастбища, и на Моржевец сбегаешь с артелью за зверем; но это уже в памяти

лишь, хоть и задор долит, и в глазах небесный блеск. Эх, близок локоть, а не укусишь, укатали сивку крутые горки. Дионисий не раз повторял старинную поморскую присказку: "Кто в море не бывал, тот и смерти не видал и Богу истинно не маливался".

Вспомнил старик эту быличку, вернувшись с берега Белого моря и оприходовав косушку вина; и хоть бы что с ним, лукавым дедком, сделалось, в сердце ворохнулось, иль душу ожгло слезою. В годах ведь, а у стариков глаза всегда на мокром месте. Нет же, сиял до меди обгорелым лицом, и все приквохтывал, как кочет, и пускал за каждым словом матерки, такие игривые прихаханьки, от коих даже спутница моя не прятала взора, а ответно улыбалась сухим бледно-призавядшим лицом.

И вот по прошествии многих лет я вернулся к этой записи в дорожном блокноте и как-то по-новому вдруг растолковал случай с поморцем. Батеньки, воскликнул я, да ведь в рассказе том сама обыденка, вот так же истинные герои вспоминают войну: де, пошел за окопы, взял немчуру, завалил на плечи, приволок и получил орден. Ни слова нытья, иль испуга, иль ужаса, а ведь у страха, казалось бы, глаза велики, и после пережитого да после стольких лет можно бы таких чудес наворочать высотою с колокольню, что после бы и сам дивовался, что так ловко отбоярился от старухи с косою.

И хоть я в море на подобных артельных промыслах не бывал, но особенной сердечной памятью родства с многими утекшими поколениями Личутиных понятно мне, каких страстей испытала та зверобойная лодка, кою носило в Белом море девять недель. Ведь декабрь на дворе, мороз палит, кругом ледяная пустыня, на которой и водицы-то не выжать в эту пору, хорошо, коли полижешь смерзшегося снежного припека (наракуя); чуть развиднелось — и снова темь непробойная, кажется, встанешь и лбом ушибешься о невидимую стену. Куда, в какие морские углы, в самую голомень, а может, и в океан, зажавши лодчонку во льдах, влечет судьбина бедолаг? откуда еще ждать ответного ободрительного гласа и протянутой дружественной руки? Вот и запас дровец почти закончился, только-только лучинок настрогают от полешка, чтобы нагреть водицы; и пашенцо, пусть и сорное, притухлое, что взято было на крайний случай, уже приедено, и хлебца ситного позабыт вкус. Добыв из дорожной кисы последний сухарь, разделят его на всех, и, растопя тюленьего жира, выжарят, и через тошноту пососут житний тот осколочек, покатают по кровоточащим деснам, чтобы заморить червячка, а после настрогают мороженой нерпичьей почки, отдающей рыбьей максой (печень), и отправят в тоскнущую утробушку.

Лишь свычный человек, кто всю жизнь провел в походах, способен принять в себя такого несъедобного мясца. Вроде бы голод не тетка, при

нужде заставит и кирпич грызть; но если с души воротит, такому человеку смерть краше. Людей, кто сырком тюленя ел, знавали на всех берегах Белого моря до Мурмана. Ибо такому находальнику смерть от голода не грозит, куда бы ни затащило его несчастье. Жил на Летнем берегу артельщик Тимоха Глот; хлеба в промысел никогда не брал. Сала тюленьего отрежет и сырком, без соли ест; почки вырежет и съест.

Вспоминают и поморца Степана Бугра. Его носило по Белому морю тринадцать суток. Он с Моржевца попал в относ: на льдине сидел и ждал, когда вода понесет и ветер будет спутний. Бил тюленя, пил молоко утелег (тюленьих мамок) и ел почки. И все держался. Мимо маяка несло мужика, и увидали его с берега. Столкнули лодку, поехали выручать. Бугор увидал лодку и сразу силы потерял, упал на лед. На носилках несчастного выносили на гору.

А сколько таких терящих пропадало в относе морском? Хоть закричись — не услышать. В погребе сыром в потемни просиди сутки — и то волком взвоешь. А тут во льдах, в безвестности, в одиночестве держи сердце в кулаке, строполи натуру, чтобы не потерять духа. Ну да хоть бы и в скопе утянуло, артелью: и тут свои беды. У каждого характер, у каждого норов. Один в лес, другой по дрова. Один норовит мчаться в неизвестность сломя голову, только чтобы спастись, да в лихорадке в иордань окупнулся, столько и знавали горемыку. Другой же поморец норовит в печаль уйти; к нему не подойди, его не тронь, он помирать собрался.

Опять же одному хочется нажраться от пузы, а там хоть трын-трава; такой человеченко одним днем живет, своей черствою утробой; он все под себя тащит, как кротишко в свою нору. Другой же совестливый артельщик каждое просяное зернышко иль ложку толокна разделит на паи, размысливая, что худо-бедно, но можно, притужая себя, тянуться до победного дня. И вот в таких случаях староста, артельный голова, кормщик и юровщик в особенной чести, от них зависит судьба погибающих...

Да, Поморье — это не Кубань и не Украйна; там оглоблю воткнул — вырос тарантас; можно и под соломенной крышей, натомя в чугуне свеклы иль кукурузной мамалыги, прокуковать зиму. В Поморье же с усильем, через огромную волю выдирался из суровых обстоятельств каждый кусманчик. Зажав на сердце страх, не распуская нюни, положившись лишь на Бога и свои силенки, бьется поморянин для себя и своей родовы, не только не утрачивая гордости и совести, но и не позволяя себе окаянной печали. Хоть и в уносе морском, хоть и дежурит за плечом накрашенная белилами девка Невея с наточенной косою, похожей на закуржавленный серпик луны, но ты, молодец, плюнь в ее настывшие очи

и взбодри в себе раздольную северную песняку, выкрикни в темень неба, чтобы подавить тоску, желчь и жесточь.

Да, в Поморье, в этой северной стране, веками шла тонкая, упорная выделка особой человеческой натуры, которую после стольких лет выковки стараются свести на нет, согнать в могилу преж времен иль сселить с праотеческих мест. Варяг, злоимец, ростовщик, нахлебник, перекупщик, у кого в кармане колесом нечистая деньга, доставшаяся не трудом, но пронырством, обманом и воровством, пытаются завладеть теми исконними приморскими землями, каждый клочок которых пестовался русскими насельщиками.

Умея обходиться малым, добывая хлеб насущный в смертельном риске, прочитывая мать-природу, как огромную настольную книгу, дарованную Господом, и запоминая ее в самых-то мелочах, обитая в неотзывчивых и коварных условиях, поморец сумел приспособиться к мрачным, порою и невыносимым для прожитья условиям жизни, и не только сблизиться, но и оттеплить мрак своим нескончаемым трудом, найти в нем лучезарность, радостность и душевность, без чего не стоит ни один прикров, ни одна изба. И, наконец, полюбить. Северная страна стала домашней, родимой, единственной.

Хлеба же в Поморье и прежде худо рождались; то зябели, то замоки, то снег на Петровщину, то мороз на Ильинки. Редкий мужичонко решался копытить землю, не зная ни дня, ни ночи, и Господь на третий иль четвертый год вдруг насылал погодных милостей; тогда закрома наполнялись житом и овсецом, и можно было лишнее продать на базаре иль обменять в деревне на рыбу. Например, в деревне Сояне был лишь один земледел, лишь один мужик держался за землю. Осип Усан. Он не знал предела своим трудам, он был больной, зараженный на работу. Верующий, он даже церковных праздников не вел. Боясь прослыть безбожником, он появлялся на гульбище в престольные праздники якобы с бутылкой водки, тут же распечатывал ее, выпивал, валялся на угоре, показывая всем, вот-де как напился, до положения риз, в лежку, в стельку, а после на четвереньках уползал во свой двор, накрепко запирал ворота и принимался за труды. Вся деревня, конечно, знала, что Осип Усан и капли вина в рот не бирывал и что в бутылке у него ключевая водица, но охотно подыгрывала всякий раз, прилюдно не раскрывая тайны.

Северному человеку не прожить байбаком, ленивцем и трутнем, иначе на своей печи от стужи окоченеешь; сами условия понуждают труждаться во всякую пору, оставляя малое время для сна, чтобы выжить самому и продлить родову.

В тридцатых годах на Мезени был любопытный случай. Одного ста-

рика раскулачили (было ему семьдесят шесть лет) и сослали на Пинегу в суземки валить матерый лес. Крестьянин был стар и стоять под деревом с пилой-лучковкой не мог, не держали ноги, и потому приспособился пилить на коленях. И вот этот-то невольник стал первым среди лесорубов, его фотографию поместили в областной газете "Правда Севера". И не жалкая пайка хлеба была побуждением в его рвении. Этот седатый, с долгой поясною бородой поморец потому и стал передовым, что по складу характера он не умел плохо работать; вразвалку чтоб, с перекурами, протяня время, кое-как отбыть невольные часы, а после заползти в шалаш, крытый берестом, полный лесового гнуса, и протянуть немощные, отказывающие служить ноги. Видите ли, и в преклонных летах этот мужик не мог быть последним; он был хлеборобом, пестователем родимой земли.

...Вот и в войну каждый клочок землицы был распахан и взрыхлен жонками и бабеньками. Эти крохотные польца я застал еще под Мезенью, прямо за околицей, отчего и выездные ворота стояли в те времена в верхнем и нижнем концах прошпекта, напоминая седую древность. Лежали под городком колхозные капустища и репища, заманчиво для ребятни тянулись морковные гряды; вся овощь росла ядреная, хрусткая, сочная, присахаренная ранними заморозками. (Нынче тут репейник, сурепка да куртины иван-чая.) Наверное, у всякого городского мещанина был свой надел, своя чищенка, взятая у леса с топора, у болота — с лопаты, у многих бродила по поскотине коровенка, выедая пахучие жирные травы. Молоком Мезень была далеко славна. И у моей бабушки тоже был надел, поженка за веретьем, близ водяной хлюпающей калтусины, заросшей ольшаником, была и своя кулижка под жито недалеко от дома.

Помню вкус ячменных рассыпчатых воложных колобков и картофельных шанег на тонкой поджаристой корочке, политых сметаною, помню и крупеники, и житние колачики на сале, тающие во рту, но оставляющие по себе на языке едучие волокна мякины. Макали те дижинные и картовные шаньги в кипящее масло, сбитое в своем куту, напирали на печеное с азартом и вдохновением, чтобы после с полным животом и счастливым сердцем уйти в скитской сон. Но от житнего колоса, от крохотного хлебного ядрышка, смолотого на ручном жерновце, до пирожка с грибами и воложного колоба сколько труда проложено; и поныне полагаю, что нет на свете большего прилежания, зараженности к работе, чем у крестьянина, черпающего в размеренных буднях и азарт, и вдохновение. Кончится такой прилежный мужик, запустошится деревня, и, несмотря на все буйство и украсы городских вавилонов, скоро прикончится прежняя искренняя и нестяжательная Русь.

...Если труд столь никчемен в своей заунывности (скажет иной), если он и нужен лишь для продления живота своего временного, то ему грош цена в базарный день, ибо от бессмысленного скотского труда и сам человек превращается в бессловесную животинку. Но труд на земле, к счастию, даже самый заунывный, пестует не только натуру и вырабатывает в ней много качеств, но и порою роняя здоровье, сохраняет душу во всей полноте.

От трудов праведных не наживешь палат каменных; от многих трудов не станешь богат, но станешь горбат. И денежки, будто утренняя синичка-теньковка под окном, появляются в горсти, радостно позвенькивая, и тут же упархивают на базар, иль в ближайшей продлавке, иль шмуточном магазине, не оставляя на ладони даже напоминания, крохотного следочка о былом прибытке. У совестного человека память о деньгах коротка: были и сплыли. Вареному-печеному не долог век. Были бы кости, а мясо нарастет. Господь не без милости, не оставит голодным. Живут деньги у некорыстливого человека, как утренняя роса: взошло солнце — и высушило. Это у ростовщика и менялы, перекупщика и заимодавца деньги за идола; он молится им, страдает и живет для момоны; для процентщика золото — алтарь, возле которого он по капле истачивает душу.

Можно ли легко прожить, не труждаясь в поте лица своего, но лишь облукавливая ближнего на кривой, подстерегая его в трудный час, подставляя ножку и забирая последнее? Да... сладко, упивно и объедно. Лишь продай душу дьяволу, и все у тебя станет клеиться, и деньги будут плыть прямо в руки неиссякаемым родничком. А всего и потрафить-то малость, как говорит народное предание: выйди за околицу и крикни во весь голос: “Дьявол, возьми мою душу!”

Вроде бы всех-то потрат: по смерти твоей явится дьявол и заберет твою душу в ад. А кто видал ее? кто тешил в горсти, как голубицу? кто оценивал ее на праведных весах?

3

Из простой судьбы

“...Назначили нас на Кеды на зверобойку семь человек. Побежали в море напешу на живой лед, только шум шумит. Нас пять человек побежало. Две женщины и паренек майденьской. Один мужик в шубе, другой в малице, а мы в фуфайках.

Вода-то идет по часам, море ведь. Надо знать, когда обратно на берег вернуться. Я на море первый раз. Бригадир убил хохлушу и отдал Марфе:

“Марфа, тащи”. Она потянула тюленя, а уже разводья, от берега лед отодрало. Мужики-то, что на берегу оставались, вытащили бабу, а мы остались вчетвером. Бригадир кричит нам: “Идите вместе”. Бежим, бежим, где жидко, так на брюхе, на четверицах переползаем. А нас уже отнесло, ветер с горы, берег едва виден. И льдина-то небольшая. Парень малой да я в море на зверобойке и не бывали. Натаскали ропачков, чтобы от ветра скрыться. У меня слез не хватило. Хлеба нет, и замерзли. Я уйду на другой конец льдины, плачу. Сашка-бригадир говорит: “Не плачь. Ты наверное плачешь? Вода назад принесет”. И вдруг кричит: “Вон Васькина лодочка тянется”. Мы-то не поверили сначала. Потом видим, действительно лодка к нам, а по краям люди волочат ее. Радости уж и не знаю сколько.

Это случайно народ с Кедов поехал на Майду, по льду тянутся, вот и угодили на нас. Ихний бригадир на веслах, говорит, ну-ко, бабы, посмотрю, нет близко зверя где. Посмотрел в бинокль, значит. А у него были ноги отрезаны, он на коленях ползал. Вот и говорит: “Бабы, в море народ уносной”.

После-то нам рассказывал. Думаю, зачем сказал, теперь волей-неволей спасать надо. Бабы все равно проскажутся. А они сами были с большой кладью, лодка пятерник, борта вровень с водою, чуть не заливаются.

Они подъезжают к нам, осподи, мы-то плачем от радости. “Не ревите, — бригадир-то говорит, — теперь-то уж спаслись”. Сели едва в лодочку. Сколько-то подъедем, снова на лед вытаскиваемся. Так и достигли матерого берега.

Случайно спаслись. Ветер с горы, льдину несет в море, и нам бы самим не выйти. Смерть-то первый раз на веку, и какие неприятности.

Вернулись на Кеды в ставную избу, а другим утром опять в море за зверем, но уже с лодкой.

Когда унести, так я во снях видела столько ягоды сихи и будто утеряла черный плат с головы. “Ой, мужики, такой сон видела, наверное окупаюсь”. Как сон в руку положило. Ведь сиха-то к слезам.

Сказала, хоть замру, хоть через два дня на третий буду хлеб ись, но больше в море не пойду. Зареклась. Через ропаки-то с лямкой ползешь, зверя волоком тянешь. Да зря зарекалась. Дома пятеро по лавкам, кричат: ись дай.

Ну, хохлушу-то я домой приволокла, дети-то ись хотят. На ремне притащила. У крыльца свекор сидит. Посмотрел на меня, глаза отвел. А я и внимания не обращаю, детишек надо кормить. Так и ночь прошла. А наутро-то мне свекор и говорит, мол, мужик-то твой на войне погиб. Уж неделю, как извещение в сельсовете, всё боялись тебе сказать”.

* * *

Рыбака одна заря красит. И надо так подгадать, так извернуться, приглядывая за водою, и луною, и небесами, считывая природный календарь, и родовые заметы, и рассказы бывалых, чтобы не упустить эту зорьку, встать вовремя, не полениться, изнуриться до кровавых мозолей, чтобы свой улов взять. Да, хлеб со своего польца суров, ячменный каравашек непроглотлив; закаменев в походе, он не раз в глотке встанет, пока-то протолкнешь кусок в утробушку. Но и рыбка, без которой северянин не жилец, тоже требует от работника многих трудов. Это на золотой крючок (у кого колесом шальная копейка) хорошо ловится и белорыбица, и семужка, и икорка всяких посолов и сортов; хочешь, стерляжьей ушицей ублажи душу, иль севрюжиной с хреном ошеломи брюшину под студеную водочку, иль кулебяку с палтосиной, еще жаркую, из печи, распотроши под сладкий чай-чаище.

Но трудно, ой хлопотно выдернуть рыбку из воды.

На севере и до сего дня в чести приговорка: "Трески не поешь, чайку не попьешь, дак и не поработаешь". За треской ходили на Мурман, иль покупали привозную на мезенской ярмарке, иль в Архангельске на рыбном торжище. Но в неменьшем почете всегда была и щука. Про нее пели: "Ой, рыба щука, белая белуга..."

Из трески всякой готовки было; эта постная еда не угнетала, но благотворна была для желудка во всякий день; блюд из нее не счесть, может, и под сотню. Особо любима треска по-поморски, соленая, отваренная в воде, с картошкой в сметане иль под молоком. Это жарево никогда не прискучивало. Особые тресковники даже сырой ели эту рыбу иль заливали из самовара кипятком и макали под постным маслом.

Долго описывать те жарковые из морской рыбы, что прочно и навсегда уложились в крестьянскую повседневную трапезу. Треска, пикша и пертуй стали для насельщика-беломорца за второй хлеб. Но все же на треску надо было тратиться, гонить деньгу из своего кармана, брать в лавке на заборную книжку иль мотаться в губернский город на торжище. Потому второю рыбою, что безвыводно жила на поморском столе, была вековечная щука. Ее тоже присаливали, много ели сырком, запекали в ладках на всю неделю, иль закатывали в большой ячменный пирог, с которым и ставили нудный сенокос, иль ходили на работы с топоришком. В воскресные дни заворачивали кулебяки со щукою из жилого белого теста; крутое щучье мясо тоже было ненадоедным, нажористым.

За щукой хаживали обычно на истоки реки Пезы, в те места, где она

поворачивает к волокам на Ижму-реку и на Печеру; этот путь потный, маятный, от нашего городка станет километров в сто пятьдесят. Прежде тащили карбасишко на лямках иль пехались на шестах вдоль берега, а где струя потише — садились на греби. С неделю и более попадали в один конец, ладони собьет до кровавых мозолей. В той стороне много висок, суземных речонок, болотных ручьев и озерин; в тех диких безлюдных лесах лежат знаменитые Варшинские озера, с которых исстари кормился весь наш край.

Ведь чтобы в зиму уйти невпроголодь, надо на семью несколько бочек рыбы закатать. И вот только лед сошел, мезенский мужичонко, найдя себе подельника, товарища по походу, сряжает многую кладь: сети, рюжи, неводишко, всякую одёжу, покрывальницы и хлебину, — и того скарбу соберется полная лодка. И, натянув бахилы (сапоги с высокими голенищами, пропитанными ворванным салом), накинув на плечи фуфайку иль толстый пиджак по колена, чтобы прикрывало задницу, отпехивается христовенький от родного прибегища и на прибылой воде по шару спускается на реку Мезень, чтобы после повернуть вверх, в полуночную сторону. Гуси над головою летят косяками на Новую Землю и Колгуев, пристанывая, кургузо, истомно тянутся вереницы лебедей, порою толстым белоснежным одеялом укрывая вешний разлив, хлопотливо мчат табунки всякой утицы над вспухшей, нетревожной водою. Все живое спешит угодить в родные палестины, чтобы дать потомства. И только наш рыбак впрягается в весла и начинает попадать в верховья рек, в таежные укромины, изредка приставая к берегу, чтобы разживить костерок и сварить похлебки, ибо без горячего душа поморская не живет.

И вот доползет по Пезе до последней верхней деревушки Сафоново, остановится в знакомой избе иль у родичей, напечет свежих хлебов, купит легкую лодочку-осиновку и уже с новым интересом потянется в глухие ручьевины, забитые коряжником, палым древесным трупьем, и станет деньденьской прорубаться сквозь завалы, волоком тянуть суденко со всей кладью, не раз переваливая ее с плеч на плечи, пока-то угодит в становую избу. А в лесу еще снегу по колена, глухари томятся в любовном ератике, под самым слюдяным окошечком токуют, распушив крыла, и в озеринах только-только лед оттянуло, и в тех заберегах пошла кругами остроперая щука-икрянка. Но до озер-то надо тащить снасти и легкую лодочку (вот где пригождается она); а лед уже посинел, издряб и плохо держит человека. Не раз окунешься в коварной промоине, да и едва Богу душу не отдашь, пока-то выставишь сетчонки и бросишь рюжу в иордань. А тут, как назло, ветер-сиверик потянет, выстуживая такой сладкий вешний воздух, и снег посыплет с неба сырыми густыми лепехами, устилая белым тестом

все вокруг и погребая вспотевшего трудника; замешкайся — и околеешь, аки березовый окомелок. Спеши, родненький, проваливаясь по рассохи в болотины и ручьевины, попадай скорее в избенку, где на твое счастье ждет у натопленной печуры напарник, уже вернувшийся с промысла, а иначе, милый, тебе край.

А утром, едва пробрезжит, разломав кости, ступай обратно; и хорошо, если подфартит, подымется из глубин щучонка и угодит в сети, а иначе с пустыми руками надо бить обратную дорогу, и тогда она покажется бесконечной. А если и улов украсит твое быванье, то за шесть километров через болото надо вытаскать рыбу на горбине в пестерях пуда по два за ходку, да не в один раз, пока вовсе не стемнеет, да после на стане надо выпотрошить улов и промыть, и засолить в бочонки, пока не заилела она, не заклякла. Дня два, хорошо три, бойко ходит щука, льет молоки на икру, а после и прощай завидная удача: как и не бывало рыбы, вернулась на глубины до нового случая, до новой зари. А наш поморец уже затеивает новое место: там закидывает на пробу сети, ставит вентери по коряжистым речушкам, мнет путики на незнакомые уловья иль заводит невод на пробу на приглубой тоне, угадывая подход сига. И так с месяц, почитай, бьется наш рыбак в суземках (хорошо, если единожды спроворит баньку): в таких работах одичает, как леший, обрастет волосьем, остамеет костьми, исхудает обличьем, и взгляд-то у него появится затурканный, квелый, растерянно-ищущий; словно бы человек корит сам себя за то, что не унюхал где-то, не опробовал иное место, упустил счастие, не поймал жар-птицу за хвост, а она, верно что, пролетела мимо. Эти мысли упрямее всего досаждают, они спать не дают, заставляют сидеть на озерах и ждать чего-то необычного. Хочется малому все ухватить, ничего не упустить, да не в человеческих возможностях все обнять.

И в какой-то день, выйдя поутру за порожек избы и увидев, что березняк уже опушился клейкой листвою, комар народился и река вошла в берега, махнешь рукою на бродячую жизнь, такую вдруг ненавистную, и заспешишь со сборами в обратную дорогу. И вдруг странная лихорадка овладеет тобою: так захочется поскорее вытаскать в лодку кладь, закатить бочки с рыбою и оттолкнуться от берега; спешишь, будто в пяты кто подбивает иль торопит с погонялкою; и пока не подымет посудину вода, все стоит в очах родимый дом, любимая жена, дети...

И три века назад добывалась щука на Варшинских озерах, и ныне подобным же чередом, будто не прошло столько сотен лет, собираются поморцы за хлебом насущным, почти в мелочах повторяя беззатейный устоявшийся порядок промысла, с той лишь разницей, что раньше подымались к истокам на шестах и веслах брюшинным паром, а нынче на бензиновых моторах.

У меня есть знакомый рыбак Александр Коткин, мужик молодой, красивый, фартовый. Когда-то его предки хаживали высоко на Канин, сидели на рыбацких становьях, вели промысел, жили зажиточно, домовито. Сами-то мужики уж, почитай, все давно в могилевской, а широкогрудые избы еще стоят на суровом канском берегу, и ни ветер, ни пурга, ни дождь не могут сокрушить вековые домины.

Вот и Александр после школы и армии учился на телемастера, работа не пыльная, уважаема на селе: прибытка особого нет, но и голодом не насидишься. Но парень вдруг стал рыбаком-отходником, купил за гроши заброшенную дору, своими руками отдраил ее, отладил мотор и, вроде бы не имея навыка, ни моряцкой учебы, стал бесстрашным мореходцем. С весны и пока дороги не встанут, Коткин в пути, он в рыбацкой маете. Так в чем же зачурованность такой лешевой жизни? иль кто манит? — спрашивал я у ловца.

"Рыбацкое дело притягливое. Это страсть. Это воля, которая пуще неволи. Воля манит. Душа воли хочет. Не нами сказано: охота пуще неволи. Сильнее, значит. От неволи можно освободиться, сбежать куда иль отсидеться на худой конец, уйти в другую жизнь. А зараженный на охоту и рыбалку, он навсегда в добровольной клетке, пока здоровье позволяет и ходить можешь. А здоровья ой много надо. Это для меня образ жизни. Нравится заниматься. Живешь свободно, сам себе хозяин. Куда еще лучше, чего еще искать? Жизнь суровая, бродная, физически тяжелая, это все так... Но отчего-то зима для меня — истинная мука, жду весны, как птица, не знаю, куда себя деть. Планую, как заберусь по весне в реки, поставлю там новую избу; иль мечтаю опять, как под осень уйду морем на Канин, подымусь к северу, куда никто нынче не ходит... Там есть рыбацкое становье, возле кладбище, и на крестах только две фамилии: Сахаровы и Коткины. Это о чем-то говорит? А избы стоят с тридцатого года, но в них еще можно жить, нисколько не осели, не пропали..."

Послушал Александра и понятнее стала натура древних мореходцев, что двигались встречь солнцу и вроде бы ни за понюшку табаку складывали головы в чужом краю, где лишь волки воют, да песцы тявкают, да полярная сова зырит очами по бескрайней тундре. Свободы мужики искали, заповедального места, где сердцу хорошо, вольно, где теснот нету, ни налоги. Это внешнее лишь, де, шли мужики за удачею, за промыслом, за дуваном, за ясаком, чтобы обменять у самоедцев котлы и бусы на пушнину. Если бы так все просто было, если бы не обнаруживалось в русских полярных походах какой-то сокровенной тайны и высшего замысла и Божьего благословения, то все бы староверцы из слобод, и починков, и поречных деревнюшек от Архангельского города до Устюга Великого побе-

жали, сломя голову, походом за лихим животом. Ан нет: срывались с насиженного места только особые люди, отмеченные природным перстом, кто волю носил в сердце и неясную тоску о прекрасном.

Один старик с верховьев Мезени рассказывал мне: "Вот иду по лесу, птицы поют, утки в озерце плавают, на поляне трава по пояс, медуницы по ней лазиют. И мне вдруг становится так хорошо. Прямо не высказать словами. Я засекаюсь на том месте, рублю избу, баню. Живу, значит, поживаю, пока к душе не приступит. Примелькается все, опять тоска как бы загрызает, немило все становится. Иду дальше тайгою. Вдруг встречаю новое место краше прежнего, опять рублю избу и новую жизнь там живу..."

...Я полагаю, что поморам с задубленным сердцем, с корыстовым умом и с мелким расчетом, как бы поднаживиться, не дойти бы пеши до края материка. А ведь били дорогу по местам диким, своеобразным и чудным, каковых прежде и не видывали, где на каждом шагу можно было принять смерть; и никто нашего мужичонку не ждал как бы по ту сторону света, где живут безголовые люди, что на всю зиму ложатся спать в берлогу; и каждый уголок на долгом пути, прежде чем миновать его в добром здравии, надо было прочувствовать душою, чтобы не оставить за своей спиною západни, чтобы не нажить врага. Я думаю, что теснины Лены и Индигирки, Вилюя и Анадыря, Сахалина и Чукотки не были столь утешливы к рисковым мужикам, чтобы сразу кидаться в их фартовые дерзкие объятия.

* * *

Коли о хлебе насущном мое повествование, то надо вспомнить навагу и камбалу.

Навагу ловили по морозам на Канине, в тундровых речках, облавливали рюжами великие стада, заходящие с моря плодиться. Долбили пешнями иорданы, скоро замерзающие проруби, куда и ставили ловушки; по утрам мужики их подымали, выливали улов черпаком на лед, и веселая, светло-золотистая рыбка с голубоватым нежным брюшком остывала прямо в прыжке. Я помню эти громадные вороха заиневелой рыбы; ее сгребали в копны деревянными лопатами, как зерно, потом затаривали в рогозные кули, мешки и ящики и везли санным обозом в Питер и Москву. Ходу того был с месяц; санный путь был наторен веками, вдоль его стояли кушные избы, там жил мужичонко-конюх, тот самый бобыль-кушник, что топил печь, ставил самовар, обряжал лошадей и привечал поезжан. В долгий ход этот в Россию отправлялись и молодые бабенки, и спелые девки, коих революция вдруг выдернула из недр крестьянской семьи и дала во всем слабину.

До столичных лавок, лабазов и торжищ навага доставлялась в сохранности за тысячу верст, несмотря на все тягости пути; она не заиливалась, не клекла от дурнот дороги, цвет оставался светло-золотистый, крапчатый. Качество наважки всегда легко проверить: у доброй рыбы (если ее по дурости и лености не пускать в оттайку) мясо белое, крутое, хребтинка светлая, не счерневшая в позвонках. Канинскую навагу русский люд уважал с древности, ею потчевались по столицам все — от мещан и ремественников до любящих потешить брюхо московских купчин, малокровных барышень и великих князей.

Обычно в Поморье навагу готовили в ладке; залив молоком и подкинув кусманчик коровьего масла, ставили в печь на уголья, после вытягивали на шесток и давали приостыть. Тогда навага, окутанная молочной пенкою, набирала особого духа. Простонародцы на Севере обычно не ели навагу вилкою, но макали куском ржанины, особенно любя подливу. Наважка тем хороша и безотказна, что никогда не давит на брюшину даже хворобому утробою человеку, не угнетает черева. Своей деликатностью к человеку, нежностью мясов она никогда не надоедает, не приносит тревоги, если только в дороге на рыбу по небрежению не подпущена порча.

Нынче наважий санный путь от Канина на Москву изрядно призабыт, хотя по скудости новой жизни и заброшенности северного края он может возродиться снова. Ведь надо мужику как-то укореняться? И поморец бывалый, выуживая из памяти и разговоров уже призабытое, восстанавливает в новом быте старые черты, хватается за прежнее, чтобы вытянуть себя и семью из того провалища, куда с упорством заталкивают поселянина новые неистовые власти.

Есть рыба-ненаеда, и есть — еда. Семга — это баловство, лакомство, ее в затрапезный стол не пустишь, по ладкам не раскидаешь. Семга идет в закуску, особенно малосолая, под сладкий чай иль под косушку, когда надо быстро и легко заесть.

Навага — это еда, она дает силы работному человеку. Навага живет стадами, когда подымается с моря плодиться, то аж вода вспухает. Ее ловят в морозы, когда вся другая рыба стоит у дна в полудреме, сгрудившись по ямам.

Наважку зимами ловят стар и мал, когда косяки рыбы заходят в устья тундровых речек. И начинается страда: народ вроде бы и не сходит с ума, но живет как бы в легком похмелье, когда голова кругом идет; хочется ухватить побольше, пока есть удача, наморозить амбар, чтобы после сдать приемщику. Вот тебе и живая деньга, как бы даровая копейка, полученная в азарте, когда никто не понукает тобою, не неволит, и вроде бы сам Господь дарует для жизни легкой украсы. В эти дни ходят от избы к избе со своим интересом: вроде бы случайно заскочит женоченка по заботам, при-

сядет на минутку и все-то выведает: каково ловилось, да в каком омутке, под берегом иль ближе к руслицу, днем иль при луне. Хозяйка-то прихвастнет, конечно, раззадорит гостью и себе сердце ожгет крохотной радостью, похожей на случайный праздник. Но иная, боящаяся сглаза, сто раз за левое плечо сплюнет, чтобы открыться в удаче: наболтаешь, а после и отольется на тебе же, как у приговоренной, откинет прочь всякий успех. Вот тебе и соперками стали подруги, что в обычный день не разлей вода, и легкая зависть невольно притравит душу, когда у соседки фарт.

...Поздно вечером с угора далеко видна в морозной темени россыпь едва мерцающих по реке огоньков, заблудившихся среди ледяных ропаков. Тут и мужичонку можно найти, кто в колхозе без дела, и старичишку, и бабу-перестарку, такую старбеню, из которой песок уж сыплется; ей бы, бабене, ночь коротать на жаркой печи, прокаливая бока, а она вот, как истукан, проводит время у майны, шьет удою туда-сюда, будто чинит старый парус иль сетное полотно. Отгородилась фанерными щитами, иль поставила положек из парусины, иль ледыхами загородилась, водрузив их стоймя наподобие чума, и, завернувшись в тулупец, оставшийся еще от покойного мужа, иль в оленью малицу, удит наважку на прокорм. Возле подшитых валенок иль собачьих унтов, насунутых на ватные штаны, торчит заиневевший керосиновый фонарь-баенник и освещает горку надерганной рыбы, шелуху начерпанного из прорубки свежего льда, похожего на слитки серебра, шалевый в коричневую клетку плат, завязанный на спине, и крюковатый приопущенный нос с капелькой влаги от усердия.

Шамкает что-то сердешная, сама себе наговаривает, может, и взбадривает, считает улов десятками голов, сводит его в килограммы и пуды, и тут же старым умишком прикидывает, сколько денег ей отвалит кладовщик на рыбоприемном пункте. Прорубку-то старухе и не одолеть бы, метровый лед не просадить пешнею, надо с полтонны крошева выгрести черпаком, чтобы добраться до чистой, черной, как чугунная сковорода, водицы, в которой ясными ночами отражается небесная звезда иль серпик желтой луны. Тут старухе явно подгадал иль внучек, иль сын, живущий на особицу, иль постарался суседушко, что порою чувствами добрыми куда ближе и почестливее кровной родни. А как займется, расплещется заря по окоему, навесит малиновые бархатные портища под нежно-зелеными шелками, тут и старье все, смертно иззябнув, отчаянно зевая, неловко собирают негнущимися руками улов в короб и тащат на чунках к себе во двор. Наставит старенькая медный самоваришко, напьется, одинокая, чая, окунув корочку хлебца в кипяток, помачет наважки из ладки, беззубо смакуя рыбье звенышко, да и покряхтывая под каждый шаг, чуя всеми мослами про-

житые годы, завалится на вдовью свою настылую кровать, пришептывая себе в помощь Бога...

Но река-то не пустеет, нет, в утренней памороке, опустившейся на севера. Где-то во хлевище промычала скотинка, сбрякало у колодезя ведро, это чья-то молодуха обряжается; вот из печной трубы сошел последний парок, значит, наша бабица закрыла трубу, обрядилась, накормила мужа, и пока детки еще спят, она, скрипнув воротами, вытаилась на заулок, огляделась, не скрадывает ли кто, и натоптанной стежкой, подметая снега полами шубы, спешит к своей уловистой прорубке, тяня на санках короб со всем рыбацким снарядом.

А какие тут особенные снасти у бабы? Да ровно никаких. Есть самодельная уда, перешедшая по наследству еще от деда, отполированная ладонями за долгие годы. Рукоять уды, если досталась от раскольника-староверца, вырезана в виде ладони, персты которой изображают истинное крестное знамение; ежли дед был зверобоем, любил дальние ходы, то рукоять выделана в виде девки-русальницы или бабы-береговини. На Новой Земле зимы промысловые долгие, конца нет сплошной долгой ночи, и в этой потемни при скудном свете сальницы, под вой пурги что только не привидится православному. А раз делать-то нечего, вот и давай волю вымыслу, сочиняй умом и ножем скуки ради, чтобы не впасть в гибельную тоску. На верхнем конце уды есть мотовильце, куда наматывается леса: раньше была конопляная, иль из коньего волоса, иль из того прядена, что привелось под рукою, нынче же из толстой жилки. На конце поводка тяжелая свинцовая плашка, к ней привязаны три поводка с красными тряпицами. В петли всовываются куски рыбы кореха. Свинцовое грузило опускают в лунку, и пока оно опадает ко дну, жадная навага хватает приманку, присасывается к ней, и уже никакая сила оторвать не может голодную мамку, спешащую на нерест, от этой сладкой еды. Косяк велик, наподобие большого облака, он живет, крутит под водою, и пока тянешь наважину наверх, за ее хвост цепляются и вторая, и третья, и потому перед самой поверхностью воды эту живую гроздь подхватывают лопаткой или обыкновенным ситечком и решительно выкидывают на лед. Навага, еще резвая, пружинистая, вспыхивает на морозе и падает на лед уже закоченелая.

Охота эта удивительная, почти сказочная, когда без крючка, как бы на вещем слове рыба сама спешит из глубины по воле человека на сковороду.

После школы ребятня приворачивает к матери и сменяет ее у прорубки. Так длится путина, пока, отметав икру, стада не скатятся из верховьев тундровых речек обратно в океан.

* * *

А теперь стоит сказать несколько поклончивых слов о камбале. Без этой еды ни один стол на Севере не стоял: ни крестьянский, ни мещанский, ни чиновнический. И всякий барин, по приезде побрезговав трапезой, после, по времени, так проникался камбалою печерского засола, что уже не признавал никаких возражений и наговоров на столь примечательное по своему вкусу кушанье.

Камбалу редко жарили свежей, загоняли в уху или закатывали в пирог. Но чаще всего потребляли камбалу печерского засола, кисловатую, с особым острым духом, коий не спутать, братцы, ни с каким другим запахом, залив простой водицей, запекали ее в ладках на угольях в русской печи. Обычно готовили впрок, на седьмицу, после хранили в сенях в настенном шкафу. Густой дух от рыбы для стороннего человека иль столичного гостя был несвычен, нос воротило на сторону; в избе стояли такие ароматы, что хоть святых выноси вон из дому.

Но для нас, северян, не было еды краше, камбала все рыбы перевешивала дешевизной и вкусом; помакать, повозить в ладке картошиной иль куском хлеба в подливке — это ли не утеха черевам? Камбала печерского засола при готовке почти разваливалась, растекалась в посудине, превращалась в кашицу; но вид этот нисколько не угнетал, не вызывал острот иль насмешек. Не помню, чтобы кто-то отравился кислой рыбой иль заболел животом: для утробы эта трапеза оказывалась самой полезной, она разжигала аппетит, позывала к еде и никогда не портилась. Да и в приготовлении камбала печерского засола была неприхотлива, не просила многих трудов. Принес из сеней ладку с загодя запеченной рыбой, подлил из самовара кипяточку — вот тебе и кушанье первый сорт. После чего чаю чашек шесть выдуешь с монпасье и можешь с успехом натягивать фуфайчонку, подпоясываться кушаком потуже и отправляться на работы в лютый мороз.

Промышляли камбалу у Канина. Сбивались мезенские мужики в артель, самый имущий давал карбас и снасти. Кто победнее, бабы-колотовки, иль мужики, слабые здоровьем, — доползали на посудине до устья Мезени и там ловили рыбу бреднем на мелких песках или ставили рюжонки. Люди же с закваской, ядреные, у кого в груди много задора, те ходили вдоль Канина морем на Кию, Чижу и Торну, осенями ставили большие рюжи и невода по устьям рек. Прежде стояли там тоньские избушки, мезенский народ колготился постоянно; бочек с камбалою закатывали так много, что улова того хватало на весь поморский край. Помню, что после войны самая-то последняя сирота могла испечь этой рыбешки и утолить

голод. Постепенно год за годом хирел старинный промысел; иль неоскудная прежде рыба повывелась, иль сам характер жизни переменился, но только все меньше становилось охочих страдать по насиженным ловам. И лишь в последние годы, когда поприжали столичные власти народ, кинули в разор, забыли его в суровом краю, оставив на самопрокорм, тут и зашевелились мужики, вспомнили, что не лаптем шиты, снова потянулись в море, принялись рубить избы по Канину и добывать камбалу.

И мой знакомец Александр Коткин, еще молодой годами, стал похаживать на Канский берег. Вот несколько страниц из дневника промышленника; по отрывочным записям можно судить, какую тягловую лямку тянет рыбак, польстившийся на ловецкую удачу.

"9/IX 94 г. Вышли в 7.30 с соседом Мишей Карташовым. Вечером в 20.00 были в Ореховой. Ходили за озерной рыбой на оз. Каменное. Добыли по бочке. Приключений и трудностей выпало немало. Поставили обетный крест на устье реки Каменки. Были очень сильные шторма с 27 сентября.

4/X. Хотели идти домой. Но начался дикий шторм. Карбас утопило, бочки с рыбой раскатало по берегу.

9/X. Штормит. Но пошли домой на ночь глядя. Стемнело. Волна большая, мотор работает плохо, идет снег сырой. Ночью остановились у берега. Сначала его потеряли, потом нашли.

10/X. Рассвело, стоим за устьем реки Несь. Мотор не заводится, магнето отсырело. Волна большая, но не крутая, поставили парус, помогает. Ветер не сильный, но оттягивает на запад. Вышли в море, волна, бортовая качка, снова забарахлил мотор, без подкачки не работает. Миша молодец, сидел на корточках, качал руками час целый. Волна очень большая, решили вернуться. Едва развернулся. Волны, как горы, иду и жду девятку (девятую волну). Миша меняет руки, пальцы устают, но качает, мотор работает с перебоями, едва зашли в устье. Стали на якорь на отлив. Ушли в деревню, ночевали у долгощел.

...Штормит третий день. Ветер-побережник усилился. Печку топим уже вторые сутки подряд, избу продувает. Заклеили щели на окне изолентой. Рюжу проверить не удалось, воды ушло мало, держит ветер. Дособирали банку морошки, руки замерзли, ветер, дождь. Насобирали грибов, сварили грибницу.

21/8 98 г. ...Понедельник. Штормит четвертый день подряд. Идет дождь. Сможем ли посмотреть сегодня рюжу, днем увидим. Вода идет на прибыль, завтра будет полвод больших, потом рыбачить уже бесполезно, будет много грязи, да может и рюжу порвать, такое уже было. Вынужден-

ное безделье, читаю книгу. Рюжу посмотрели полтретьего ночи. Камбалы попало мало, кг 10—15 за двое суток. Шторм продолжается. Рюжу переставили, попало 100 кг с лишним.

С утра убрали рыбу, туман, небольшой дождь, ветер ослабел. Неделя, как из дому. Днем ветер снова раздулся до шторма. Погода холодная, на осень перешла. Рыбы, наверное, ждать нечего. Завтра надо переставлять рюжи. Что-то устал сегодня. Шторм уже начинает надоедать.

...Рюжу вечером посмотрели, попало мало, переставили опять в другую режму. Тяжело таскать по няше. Копится моральная усталость. Заколотим сегодня бочки с камбалою. Воды хватит, ходит много, 29—30 будут самые большие воды, потом пойдут на убыль, тогда надо рыбу ждать. Большой водой раскидало рыбу, так старики говорят.

...С завтрашнего числа воды будут малеть, поживем еще с неделю, рыба должна ловиться. Утром проверили рюжу, попало 140 кг. До двенадцати ночи убирали рыбу. В избе холодно, топим два раза, все выдувает. Конопатил углы. Одеваемся по-зимнему, даже крепче, но вроде бы простыл, болит что-то под сердцем, не могу сделать резких движений, брожу едва.

Ночью был сырой снег. Утром смотрели невод. Его замыло песком полностью, только открылки остались. Добывали из песка два часа, откапывали лопатой, сломали, потом добывали руками в воде, едва откопали. Переставили ниже. На вечерней воде попало 80 кг камбалы, тоже ладно. К вечеру ветер стал подтихать, а на ночь совсем стихло...”

4

У поморца жизнь бродная: как говорится, кусок хлеба достается не только со своих ногтей, но и со своих подочв и горбины. Земледел, тот как бы ни выпотел от трудов праведных, но он всегда близ родимого порога, близ затулья, в заветерье под бабьим прикровом; при любой хвори жена хоть кружку воды подаст и очи закроет, когда Невея приступит к сголовьицу.

Поморец — ходок, почитай, половину жизни он проводит не в своей избе; его скитальческой судьбе может позавидовать лишь вольный сердцем человек, вынужденный по обстоятельствам торчать у окна. Найдешь поморца иль на рыбацком становье на пустынном морском берегу, иль у артельного лабаза, накиданного на скорую руку, иль в лешей изобке в суземках, откуда начинается его охотничий путик, иль по веснам в шалаше, иль в травяной кочке посреди вешнего разлива, когда гуси, гогоча, летят, иль в артельной хиже на лесоповале, иль в балагане в сенную страду, иль под еловым шатром у нодьи, когда зверя гонит по следу, иль в бугре — земляной яме на семужьих ловах, иль в лодке под буйном середка моря...

Избушку ставит поморец по своей натуре и норову. Иной непритязательный промысловик, свычный с суровостью жизни, кто на себя и минуты лишней пожалеет и приобвык спать под любой выскетью, как мыша, — тот собирает свое жило наспех, даже не пропазит и не промшит, а накидает дерева кой-как, в угол, покроет лабазом, настелит корья елового да дернины, вот тебе и крыша над головою, лишь бы не мочило. У него и камелек из десятка каменьев-голышей топится по-черному, головы в изобке не поднять, и потому ползает такой христовенький на коленях, спит на закопченных полатях, и хорошо, если входная щель призакрыта парусиной, чтобы не набилось гнуса. Такое жилье оправдывает промысловик тем, что меньше дров надобно, чтобы натопить. Живет охотник в берложке с октября, когда зайдет в тайгу за пушниной, по март. И ведя угрюмый образ жизни, он и сам порою вызверивается нутром, как бы покрывается куржаком, не боится ни Бога, ни черта, сам с собою заговаривается, молится пню, ест, что ни попадя, на скорую руку и из той же поваренки накормит верного пса. Товарищей по охоте чурается, да и его самого всяк обходит за версту, чтобы лишний раз не встретиться, ибо эта встреча ничего доброго не сулит. Возвращается мужик с промысла обросший по самые глаза, черный, как леший, и отмывшись, соскоблив грязь в бане, запивает горькую, пока хватает здоровья. Дети у него растут как трава и обычно застряпываются в дни возвращения из леса.

Есть же промышленники склада противоположного. Прежде чем в лес отправиться на страду, он долго Богу молится в прибрежной часовенке иль в сельской церкви, если не столкнули ее. Веря Христу, не чурается и стародавних заповедей, окуривает снасти через костерок, с луною сверяется и заклинает ветры, и всякие обереги носит на груди под сердцем.

Накануне, прежде чем уйти в тайгу, справляет отвальное, ублажает родичей пивом-брагою, наряжает стол. Намывшись в бане, совершенно трезвехонький молится и отходит в лес со спокойной душою. Обычно держит путик длиною верст с тридцать и на нем две изобки: одна становая, другая — для ночевой, если темень застанет в лесу иль нужда задержит и нет времени вернуться. Избу обычно такой охотник рубит основательно, из толстых кряжей, на потолок засыпет земли, крышу выстелит на два ската, печурку собьет из глины, навесит полки для провианту, окосячит оконце, полати скроит двойные, чтобы при случае было где заночевать гостю. И полы такой лесовик сгонит гладкие, хоть и с топора, сенцы прирубит, где можно держать пушнину, скарб и припасы, а подле избы еще и амбарчик поставит на длинных ногах, чтобы съестной припас не заели мыши и всякий лесной зверь, охочий всегда до крупы и мяса.

В хиже у христовенького есть и нехитрая посуда: миска, кружка, деревянная ложка, на полке стоит солоница берестяная, огарок свечи иль жестяная керосиновая лампа; тут же хранятся спички (прежде кресало с огнивом и трутом), кисет с махрою и стопка бумаги для закрутки. Под полатями у промышленника ждут басовики — валяные калишки, обычно отрезанные переда от катанок (это для зимней поры). У порога для сырой погоды торчат опорки от резиновых сапог, иль лапти, плетенные из бересты, иль галоши, иль мокроступы, сшитые из протектора. На печурке хранятся закопченный чайник и котелок. Весь этот скарб не уносится с собою, не прячется, но остается для путника, попавшего в лесу в беду. Дверь на замок не закрывается, лишь захлопывается на щеколду, чтобы не залез медведь-шатун. Для доброго гостя найдется на полке мешочек со пшеном, заварка чаю, куль сухарей, у печуры — растопка. Попал в избу, разводи огонь, вари кулеш. Найти такую изобку для путника — это спасти жизнь. Живи, сердешный, сколько надо, только не безобразничай, не твори развалу — и Бог тебе пособит. Есть (а особенно много нынче) такие ухорезы, что и половицы сожгут, и потолочины выломят, и дверь переведут на щепу, хотя тут же у порога стоят сухостоины; готовь дров, сколько хочешь, только не ленись.

Такой мужичок, что себе на уме, он в одиночестве долгом во всю зиму не забудет лба перекрестить, у него и книжка под рукою иль Святое Евангелие, чтобы прокоротать длинный зимний вечерок, пока-то сон сморит. Он и брюху своему потатчик милостивый: супу наварит сохачиного, мяса натушит, из рыбы сотворит добрую жареху, когда дичина уже встанет в горле. Он каждую неделю баню заводит, чтобы не завшиветь, и бороду подобьет перед осколком зеркала, у него под порогом и самодельный рукомойник найдется и лохань под ним.

Вот уж под руку присловье: "Одна мучка, да разны ручки". И пусть будет проклят тот, кто такое любовное житье спалил, иль разорил по жестокости сердца, иль по младой глупости. В прежние поры такой беды не случалось, а ныне, когда много шляющегося непутевого народа развелось, то и не уследишь. Только Бога и молишь, чтобы не оследился в твоей изобке пустоголовый негодяй.

...Лет пятьсот, почитай, идет размеренная мужицкая работа по заведенному уставу; и мало в нем разнобоя иль какой-то новизны, и даже машинный век не нарушил этого режима. Как всегда, с осени бродят камбалу иль ставят рюжи и живут в береговых становьях, завезенных еще дедами и отцами. Только повернулись в домы, в бане намылись, глядь, уж собирайся по навагу, и тогда живут по Канским рекам в больших артельных избах, ибо крохотные зимовьюшки скоро забьет завальными снегами, задохнешься в них.

Навага отплодилась, вернулись в домы, с бабой неделю намиловались, а уж пора собираться на зверобойку на зимнюю стрелебну, а после и на вешний путь. Сбивались в большие артели, бурсы, ромши, со всего Летнего и Зимнего берега сбегались за зверем в феврале на Моржовец, а под весну на Конушин. На зимнем пути в начале февраля жили в становьях.

В каждой избе семь человек, столько артельщиков составляет промысловую лодку. Становые избы рубили из плавника, коего множество на морском берегу. Нары общие, на них лежат сухие шабалы, оленьи постели. Есть печка с плитою, за нею возле дымохода повешены шесты, куда накидываются на ночь для просушки ватные штаны, пальтюхи и фуфайки, пиджаки на вате, рубахи, порты. Печка из кирпича, под вымощен гладко, ибо хлебов с собою не везут, а выпекают здесь. Хлебопека выбирают из своих, у кого руки пришиты по делу. Есть окосяченное оконце; прежде затягивали его рыбьим паюсом иль осколком слюды, что добывали тут же, на Зимнем берегу. В начале века уже вставляли крохотную стеклянную шибку, и того света хватало для будничной жизни, коя затеивалась вдали от деревни на довольно большой срок. Под оконцем меж полатей на укосинах иль на своих ногах устраивался стол. Над столом подвешивались полки, куда каждый промышленник складывал из дому по вкусу и зажитку. Если баба — хорошая стряпуха да мужа шибко любит и чтит, то не отправит родимого с пустыми руками, но обязательно напечет колачей и житних колобов на сале, пирогов с грибами да шанег картовных и творожных, завернет кулебяк с палтосиной и щукою, настряпает наливных олабышей-сметанников и ватрушек с брусеницей — той "кажноденной" стряпни, без которой не стоит ни один северный дом. И сахар у каждого мужика свой, по глызке к чаю, шибко сладкого не крутят. А кто побогаче, тот и маслицем коровьим побалуется иль куском соленой щуки и семги на верхосытку, под чай. Вся еда у каждого в своем углу у сголовья, но не под замком, чужого никто не тронет и рыться не станет, стыд заест. Если захотел чего и слюнки текут, а баба ленива и неурядлива, и не положила ничего вкусного в подорожники, то попроси у сотоварища, и тот, конечно, не откажет. Но просить стесняются, ибо вышли к морю на долгие труды не на один день, и у всякого свой рот есть просит; и если с пустыми руками прибежал на промысел, то и пробавляйся тем, что Бог послал. Голодным не останешься, ибо становая стряпня общая и один поварской котел.

На полу под полатями у каждого киса подорожная из нерпичьей шкуры, перетянутая под горлом, иль торба парусиновая (вещмешок), иль родовой сундучок с проушинами, куда просовывается деревянный пенечек; в нем хранится пара нательного белья, кусок мыла, пачка махры, карты и

домино иль шашки и шахматы. Для игры внутренняя сторона походной скрыни расчерчена на квадраты, фигуры резаны из березы в долгие зимние сидения, когда настигает непогода и нельзя носа высунуть из изобки. А солнце на северах рано садится. Встал впотемни, едва на носках повернулся, и уже снова темь. До утра чем заняться? Плошку с салом запалят и мечут карты в дурака. Иль в домино бьются. Только стукоток идет. Надоест играть, расползутся по постелям, ох да ох; от плошки ворванной запах дурной, угореть можно, скорее сгасят свет, а сна ни в одном глазу, хоть и намаялись, бегаючи в море за зверем. И тут хорошо, если сыщется памятный человек и начнет рассказывать бывальщины, и конца краю им нет.

А за окном февральская вьюга беснуется, хлопается в стены, сотрясает избенку, выстилает переновами прибрежные тундры и припайные льдины, вставшие торчком под напором воды и тихо подгудывающие в лад ветру.

...На зимней стрелебной много зверя не схватишь. Тюлень еще не сбился в стада, лежит в одиночестве. Едва с утра прояснит, смотрят на воду; если лед прижало плотно к берегу приливом и ветер спутний, то в одних рубахах, мороз не мороз, бегут в море с ружьем иль черемховой палкой-хвостягой. Спешат за удачею налегке, как бы завороженные, даже без хлебов, не боясь, что вдруг настигнет какая неминя (неминучая беда), а за нею и вовсе край. Этот промысел всполошливый, азартный, словно бы жизнь на кон ставишь, так загораешься сердцем. Видишь, черновина вдали виднеется, это зверь выполз на свет божий, вот и летишь к нему, как на крыльях. А много тюленя не возьмешь; одну-две утельги уложишь, освежуешь, завираешь лямкою, завернув сало в шкуру, и бежишь уже по живому льду обратно в гору, к становью, пока не разошлось море; чуть зазевался, дал промашки, пропустил отдорный ветер иль увлекся на свою беду лихим промыслом, утеряв чутье, тут и поминай, живая душа, как звали. Считай, повезло, если выскочишь от избы километров за восемь; вот и прешь добычу волоком по снегу, весь упреешь, как конь, стужи не слыша. Удачно напромышлял, вот тебе и новый зипун, бабе шнурованные полусапожки и душегрея на лисах, а дочкам штофные сарафаны в приданое.

А лед и снег — страшное дело, его не пососешь, сразу простуда. А пить-то хочется, губы спекутся, пока бегаешь, и воды нет, высохла под морозом. Кругом один рассол. И тут не только задор нужен, и сила телесная, и удача, но и та самоотверженность, коя бывает лишь при ясном уме и природной приглядчивости. Приволок юрово к стану, и вот где пригождается натопленная становая изба. Потную рубаху сразу долой, надел сухую, накинул на плечи полушубок, налил в мису горячего супу, похлебал, и вот ты уже новый человек с ясным безмятежным сердцем и осоловелыми

глазами. Басовики с ног сбросил, кулем повалился на полати, благо никуда идти не надо, и, даже не зевнув, проваливаешься в короткий здоровый сон...

* * *

Вешний промысел уже иной. Собираются основательно; лодки смолят и чинят, грузят на сани, сбиваются в бурсы человек по сто и более, выбирают артельного старосту, опытного кормщика, хожалого человека, у кого всякого лиха бывало за плечами, но он никогда ума не терял, труса не праздновал и постоянно с удачею возвращался в домы. Тут и сряд иной, потому что в студеном море долго быть и нет избяного согрева, где бы можно телесную силу приобновить.

Еще в тридцатые годы, да и на моей памяти, собираясь в море, укладывали в путину одежду плотную, непробойную для ветра и стужи. Брали малицы легкие с опояской и сюмой (капюшоном), сшитые из оленьей шкуры мехом внутрь, к малице пришивали лоскуток меховой, чтобы грудь была теплой; была фуфайка на вате, длинный с подбоем пиджак, чтобы когда сядешь, под задницу попало и не поддувало, шили его из малескина (хлопчатобумажной материи), шею обматывали шарфом, голову покрывали шапкой-ушанкой иль поморкой, скроенной из оленьей шкуры, с длинными ушками, чтобы можно было завязывать под бородою. Особым шиком считалось откидывать ушки назад, чтобы они полоскались по спине. На ноги загодя готовили бахилы — пришивные голяшки; переда тачали из тюленьей шкуры, сшивали навыворотку льняной ниткой, и тогда швы оказывались внутри. Если сапоги на гвоздях, то сплошное убийство на льду.

На каждую лодку-семерник (на семь человек) брали постели, общую одеяльницу из продубленных козьих шкур. Сряд был долгий, мешкотный, не в один день; после поклажу долго снашивали на возы. Море не любит легкомысленных, уросливых, непоклончивых и торопыг; поспешил, не поклонился Богу — и поминай в святцах. Конечно, Бог-то Он Бог, да и сам не будь плох; головой надо думать, она не для того дадена, чтобы только шапку носить. Море не шутит, там не от кого ждать подсказки, приговору или оговору; там кормщик самый высший начальник и командир; вперед перед ним не выскакивай, но и шибко не горячись, сам смекай разумом, что нужно срочно сделать. Если кормщик указывает, что делать — это грош цена тебе как работнику. И свою сноровку, быстрый ум надо показать еще на берегу, в деревне, пока поезд не тронулся. Еще тогда кормщик прицениваеться ко всей ватаге, решает, правильно ли сбилась артель, нет ли в ком подвоху, лодки разоставляет в пары, чтобы там, в море, не остаться в оди-

ночестве. Семерым поморцам трудно вытащить креневую лодку на льдину, а сдвоенная сила уже подъемна.

...Вот эта приготовка к промыслу, если христовенький поморских кровей да вырос на буеве, а не в тихомирном затулье, не терпит мелочей и нескладицы; мил человек, сто раз присядь на лавку и прикинь умом, не позабыл ли чего, ибо там, в ледяной пустыне, где только ветры полуночные воют, некого скликать в помощь. И вот в лодки затаривают дрова кряжами, треноги и сковороды, на чем костерок заживить, котлы и оружие стрелебное и нерпичьи лямки и ремни, пестери с едою и сундучки походные с бельишком. С вечера намылись в бане, помолились и, уже забыв о всяком вине и озорстве, собираются на берегу, где выстроился поезд, дожидаясь команды юровщика. А мартовский снег искрит, налит густой пронзительной синевою; дорога через просторную поскотину натоптана и провешена, хотя и плохо видна из-за ночной пороши; снег, будто крахмал, визжит под ногою и полозом. Ой, бродно попадать лошадям и промышленникам, что пеши пойдут за саньми, изредка прихватываясь за обвод розвальней, чтобы дать роздыху. Мужики, что с верховьев Мезени и Пинеги пришли наниматься в покрут, сбились наособицу, не мешают дорогорам, мезенцам и жердянам проститься с роднею. Тут кормщик, взглянув на солнце, дает отмашку: вперед. Тихо истаивает бурса вдали, истончается в нитку, пока-то пропадет за снежными увалами и за речными торосами. Кажется, им никогда не перейти равнину, чтобы окунуться в темную гриву елинника; скрип саней, крехтанье лошадей и голоса седоков еще долго живут в мартовском воздухе, как бы сами по себе.

Бабы и девки прольют короткую слезу по мужьям и суженым — да и по избам: домашняя обрядня не терпит волокит. Только старики-поморцы, опираясь на батожок, смаргивая влагу с полуослепших глаз, будут долго смотреть с высокого угора на окоем, на другой берег реки, где растворился поезд, вспоминать былые походы, пока старухи не позовут чай пить и макать кислую камбалку. В избе без хозяина как-то пусто, сиротливо, студено, жильцы боятся громкого слова молвить, сор не подметают, ведь ушел голова в ближнюю сторону, но в дальний поход, исчез надолго, и надо не сглазить его опасного пути. Но скоро эта пустота рассосется, и дурные предчувствия сами собой истлеют в домашних работах, ибо некогда поморке понапрасну печаль тешить, хозяйство рук требует.

* * *

И вот без проволочек, если палась на то время погода без метели, переночевав на Конушине в становой избе, уходят мужики в студеное

море всем гамузом, огромной ватагою пускаются на промысел. Коли ветер отдорный, то лед с отливом далеко и дружно отымает от берега, расслаивает, и по чистой воде верст пять идут христовенькие на веслах иль под парусом до стародавних родилен, где каждый год по весне плодятся тюленьи стада. В марте мамки-утельги уже покинули своих детенышей (бельков) и снова гуляют с лысунами, гоняются друг за другом, выливаются в любовном ератике на лед, греются на солнце. А малыши, отплакав и отгоревав свое сиротство, уже на двенадцатый день от рождения позабывают о родительнице, скоро линяют, роняют белую шерсть и уже повторяют повадки взрослых. Тюлень зорок, он боится всякого шума, лежит у продухи, чтобы при малейшей опасности вернуться в родные воды. Везде по краям лежки разоставлена у них сторожа, матерые старые лысуны часто и нервно вскидывают голову, вглядываются, не грядет ли откуда опасность.

А наши зверовщики тем временем вытягивают лодки на матерый лед. Собираются кормщики со всех лодок на совет, велят связать семь-восемь весел и сделать мачту. В старые времена всползал наверх молодяжка и из-под козырька ладони вглядывался в голомень, выглядывая звериную лежку. С тридцатых годов завелся бинокль и стало проще отыскать тюленя. Если нет вблизи юрова, то во все стороны света отправляют в разведку по два человека; они брали с собою компас и продукты на двое ден (мало ли какая настигнет неминя). Разведка возвращается, и тогда вся ромша (артель) двигается по матерому льду в боевом порядке. Сначала идут стрелки в белых рубахах, потом черновая бурса, кто будет шкерить, свежевать зверя. Набивали обычно сколько можно взять с собою (по шесть голов на человека). Маток обычно не трогали, но забивали лысуна-самца.

И тут начинается настоящий бой: пальба откроется, оглохнуть можно, крики зверя, отчаянные вопли детенышей, возбужденных шумом; стадо отсекают от чистой воды и продухов, сжимают в один груд, чтобы не разбежались. И тогда кровь льется рекою, по колено скапливаясь в лужах. Звериная душина забивает чистый воздух. Но голова идет кругом от этого азарта, все хмелеют, будто опились вина; тут некогда послаблять себя, страдать сердцем, но всякий спешит, чтобы подгадать время, пока стоит нужный ветер, пока не развело плотные льды. Радость успеха забивает всякую усталь, горячка туманит ум. Но над всеми дозорят кормщики, они не дают бурсе распылиться, расскочиться во все стороны; упаси Боже, вдруг какая неминя и тут же угодишь к морскому владыке в гости. Потом зверя свежуют, вырезают сало, оставляя мясо

на месте, заворачивают в шкуры, связывают лахтачьими ремнями в юрки и плавят водой за лодками.

Но все ладно, коли на лежку скоро напали. Но другой раз и непогода застигнет средь моря; иль снеговей, такая падера, что носа на волю из лодки не высунешь, иль опять же лютый мороз ударит, что все закоченеет, воды не напиться. И тогда, чтобы скуку разбавить, после утренней выти давай в палки (городки) играть. С обеда уйдут в скитской сон, а после примутся за лавочное домино биться. А если не привелось покупного, тут же на промысле, чтобы скоротать время, из свинцовых пуль выколотят плашки, как настоящие.

Да, в море шутки плохи; тут всяк друг за дружку держится. Но случается и по-иному, когда прижмет. Мне рассказывал койденский промышленник об одной охоте: "Берега не видно, так далеко ушли. Последний год тогда промышляли ромшей, настреляли мы на две лодки четырнадцать зверей. А лодки далеко остались, и за работой в горячке вдруг скоро стемнилось. Хорошо, двое костер жгли на тот случай. Начались тут большие подвижки льда. Грохот, торосье до неба. Бог мой, конец света. Побежали спасаться, кто как может. Лед несет, и костер вроде бы видно, а попади к нему. Нас мимо гонит. По живому льду бежим, через сьема (разводья) прыгаем. Мне семнадцать лет было. Где ползком, где на брюхе, где как, далеко обходить пришлося. Пить хотелось. В апреле ропаки выветрились, лед рассольный, а воды с собою не берешь. И наракуя, верховой наморози, уже нет, истаяла. Пить шибко хотелось. Днем-то свежун начинал капать, и лужицы на льду. Напиться можно. А к вечеру пристыло, и свежун замерз. Припадешь губами, свежун сосешь, так все губы изранил. К своей лодке едва выбрался, а там уже все наши были. Обрадовались, что вернулся. Не емши, затянулся в свое место и скорее спать".

* * *

Креневая лодка на промысле, что родной дом. До вечера, загодя, на ночевую готовятся, ибо глухая темень рано в море садится и в этой непрогляди недолго в продух иль в разводье угодить.

Лодка на семь зверобоев, каждый знает свое место, каждый расправляет постель. Застилают общей одеяльницей из продубленных козьих шкур. Под нее зарываются, когда пойдут в сон. Поверх суденка натягивают буйно (брезент), подтыкают со всех сторон плотно, чтобы не поддувало. Лишь с одного борта оставляют лаз для поваренка и чтоб до ветру сходить.

Кухарят вблизи ночевой. Железный лист кладут на две березовых чу-

рочки, ставят над ним треногу, к ней подвешивают котел. Дрова кряжами тут же в лодке; их разделывают топором на поленья, берегут, зря не переводят. Ибо без теплинки в море — смерть. Но самое трудное — нагреть воды. В море не сыщешь родничка иль озерца, не зачерпнешь в реке иль болотной луже: на десятки метров вглубь сплошной рассол. Потому рубят топором верховой снег-наракуй и эти спекшиеся куски свежуна растапливают. Потом варят суп или кулеш. Мясо берут из дому. Хлеб ковригами тоже везут с собою и едят во все дни промысла. Когда вовсе зачерствеет и зубы обломать можно, тогда натапливают тюленьего сала, пахнущего люто рыбой, и в нем выжаривают куски ржанины на всех. Суп, мясо каждый день, вечером каша пшенная и чай. Прежде, когда чаю не знали, то пили квас или брусеничный морс.

Мужики усаживаются в лодке лицом к лицу, ноги просовывают меж ног, чтобы уместиться всем. Воевода посередке, спиной к корме: ему надобно всем править. Поваренок подает снаружи суп в двух мисах, мясо. После залезает сам. В лодке горит сальница, смутно освещает сосредоточенные лица. Пусть ветер подгуживает за буйном, пусть черти тешатся, пусть Невея скребется в буйно, а нам не страшно. Нагрелись от дыхания, от сальницы, от горячего супу: роса выступила на лбу, скинули шапки, расстегнули пиджаки, развязали кушаки. Еда любит нажористых, ярых людей, у кого ложка не застоится. В брюшине тепло, тогда и каждый уд измаянного за день тела живой, мосолики не тоскуют, и кровь легко струит по жилам. Э, что там! еда ставит человека, прямит его, возвращает к жизни. "Не поешь — не поработаешь". Потом кормщик стучит деревянной ложкой по краю блюда, де, пора мясо таскать. Бычатина иль коровятина на промысле за первую еду; мясо нежеваное проваливается в черева. За долгую ночь сопреет и уляжется, как ему надо.

Поев, поваренок нехотя вылезает, не дожидаясь команды кормщика, перемывает посуду, чтобы с утра была чистой. Грязной в ночь нельзя оставлять, плохая примета. А что дальше делать мужикам? До рассвета долго, спать устанешь; от сальницы душно, дышать нечем, а отпахнешь край буйна, сразу стужа юрк в лодку, и кто-то из старших, кто жизнь провел в бурсах, уже ворчливо нудит на молодяжку: де, живо закрывай парус, не выпускай тепло наружу. Кто-то зевнул, кто-то потянулся, кормщик прочел "Отче наш". Темень на воле, дел никаких, все при свете улажено до каждой запятой; кряхтя, заползает кухаренок; кто-то сунулся на волю по нужде, ему вслед кричат, чтобы не наступил на свои погадки, да не окупнулся. Кормщик настороже; хоть и не малой народ на промысле, смышленый, в нужде верченый-крученый, но береженого Бог бережет. И вот все

в сборе. Облегченно вздыхает старшой, ползет под одевальницу, шапку завязывает под бородою иль накидывает на голову меховую сюму, нос упрятывает в малицу; от оленьего меха жар струит. Да хоть в снег ложись тут же — не заколеешь. И все другие, чтобы не сердить кормщика, через неохоту укладываются в постели. Ночь-то ой долга! Притиснулись друг к дружке, не повернешься лишний раз. И как хорошо, если в лодке привелся свой баюнок, свой сказочник, у кого на промыслах открылся такой нужный зверобоям талант. По путинам да по морям хаживаючи, понахватались у хожалых людей всяких вестей и бывальщин. Известны были в Поморье своим талантом Александр Федорович Анашкин, Андрей Иванович Нечаев, по прозвищу Онюшка, тот же Шуваев-баюнок, он всё сказки про царей и царевен заводил, всех усыплял. Рассказчики в цене были, каждый юровщик норовил его в свою лодку заманить; давали баюнку за свое пристрастие особый пай.

И вот такой мужичонко, взять к примеру того же Дионисия Бронина, начинает лить колокола, вить завиральни, в каждой из них отголосок правды.

"Вот рассказывал мне один мужчина. Зимовали они в больших Карманкулах на Новой Земле. Скука там одолевает. Ну вот, был у них один парень, Ондрей звать. У него из жил была сделана литара. Он играл. Вот он играет, а в темноте кто-то пляшет. Сальничек засветил — никого. Огонь затушил, снова кто-то пляшет. Тогда он придумал; на сальничек горшочек надел. Так ловчее смотреть. Заиграл. Он горшочек-то сдернул, увидал девку и схватил ее. Та кричит: "Пусти!" А Ондрей-то ей: "Я увидал, так мне и владеть тобой".

Вот и стала девка бабой ходить. Это русалка, значит, была, такое дело.

Тут еще вранья есть. Она и обрюхатела. Тут суда пришли за промышленниками. Ондрей у кормщика совету просит: оставлять бабу иль с собою брать? А кормщик был не промах, слыхал подобное на веках, и говорит: "Ее оставить надо, уйдем потихоньку".

А она уже родила, ребеночек у них.

Ну вот, они запоходить сряжаются. Тросики занесли за гору и якоря выкатили. Стоят за горой, повитери дождались, тросы обрубили — суденко и понесло. Баба увидала, выбежала на гору, ребенка разодрала, половину себе оставила, а другую свись на судно! Корапь бы овернулся, да она не попала, только одна капелька крови задела борт. Стало судно опруживать: ну, стесали топором кровь — оно и выпрямилось".

Этой быличке все верят. Знают, что в пустом месте вадит, мерещит, блазнит; рядом с диким местом всякая нечистая сила живет. Сопят мужики, притихли. Баюнок слушает, нет ли храпу, и если не заснул народ, заво-

дит долгую сказку про бабу-изменщицу, что решила ради любовника мужа известь, иль про царя-дурилу, коего Ивашка-простец мимо носа водит. В памяти у сказочника целый ворох небылиц, рассказывает он их тихо-мирным голосом, со всякими матерками и сладкими подробностями, чтобы все было, как по жизни. Втянутся ночевщики в сказку, и она вдруг покажется заманчивее всякой быличкм иль житейских приключений. И вот потиху дрема наплывает, смеживает веки: спать, спать...

А с рассветом, если напромышляли зверя, наши покрученники собирают клади, причаливают к корме юрова на лахтачьих ремнях (по два юрка за лодкой), передний весельщик впрягается, как бурлак, в лямку, остальные, проложив поперек лодки греби, напирают на них; и так артельщики друг за другом волокут суденки с большим грузом по льду. Добрались до широких разводьев православные, спустили посуду в чистые воды и поплыли в берег.

Обычно вытягиваются на мысе Воронов, сдают зверя приемщикам и на лодках подле берега попадают домой. К деревне своей подходят, то издаля палят из ружей: встречай, де, родная семья, бегите, детки, на гору встречать, ваш тятька с промыслу заворачивает. Выходят мужики на берег грязные, иной раз и месяц в бане не мывались, завшивленные, но то счастье, что живы возвернулись к своим чадам. И слава тебе, Господи! Банька все тягости смоет, кости выпрямит, из гроба подымет. На то она и баня по-черному с березовым веничком.

* * *

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Н. Д. АНАШКИНА
(его мать будет мне дединкой):

“23 декабря 1953 года мы с Юрьевым Александром Акимовичем спустились в устье реки Пёши в море, чтобы добыть (отстрелять) из винтовок морского зверя.

Где-то быстро мы достали пять нерп и пошли за морским зайцем. Он-то и заманил нас в самую губу. Нас незаметно забрало и понесло в море из губы. Лодка была Юрьева. Грести невозможно было. Нас быстро зажало в лед. Нерпы вначале были в лодке. Пришлось на веревке спустить их по бортам, чтобы не так быстро лодка обмерзла. Нас на берегу никто не видел, и все были, как потом выяснилось, уверены, что мы оба опытные зверобои, сами выберемся на берег в лодке. А получилось не так. Лодку и нерп стало давить льдом, а вскоре все раздавило. Мы с винтовками и веревкой, к которой были

привязаны нерпы, выбрались на льдину. С нами только тушки зверя. Они-то и выручили в такую стужу: разрежем и в сало толкаем руки. Рукавицы у Юрьева обледенели, а мои остались в лодке, так как был я в легкой малицехорице. У нее к рукавам были пришиты немудрящие рукавицы. В них у меня хранились патроны. Так прошли сутки, вторые, третьи, четвертые... Самолет Ли-2 над нами пролетал в поисках. Мы слышали гул. Над морем стоял туман. Был сильный мороз. Юрьев Александр, хотя и был сильный мужик, разведчиком служил на войне, стал падать духом. Он предложил мне и сам хотел привязаться к тушам нерп. Нерпы зимой не тонут. Если бы льдину раскололо, то мы тут бы и погибли. Он говорит, что хотя мертвых с нерпами к берегу принесет. Саша постоянно засыпал, я толкал его, хотя оба лежали на нерпах. Льдину вовсю стало колоть, и наших нерп мы упустили. Все, думаем, приходит конец. Нас стало заминать, и мы оказались на высокой стамухе (сопка из битого льда). Стамуха оказалась на мели. Вода вот-вот должна прибывать. На берег выйти нельзя. До берега оставалось метров тридцать. Юрьев Александр бросился в одежде в море и поплыл. Я плавать не умел. Саша увидал рыбацкую избу. Это был участок Сувойный, но там никого не оказалось. У поморов такой обычай: в избе у моря оставлять после себя спички, растопку, соль, хлеб и веревки. Пока Юрьев ходил в избу, я лежал на винтовке, положив ее поперек. Вода стала прибывать, и мою льдинку стало шевелить. Александр, мокрый и обледеневший, забрел в воду и бросил мне веревку от юнд (от сетей на нерпу). Я быстро подвязал ее под мышки, и он меня потянул, как морского зайца. Я весом был за сто килограммов. Барахтался и только ухал: ух-ух. Студеная вода через малицу заливалась к телу. Да, на льду мы вначале питались почками нерпичьими. Вырежем горячую, разрежем на кусочки и заморозим. Так меньше пахнет и легче в мороженом виде эту еду проглотить. Это мясо нас и поддержало.

Выбравшись на берег, мы, как на войне, поддерживая друг друга, как раненые, тихо побрели к избе. Саша обморозил пальцы у ног и обе руки. В избе, как только истопили печку и разогрелись, нас обоих зашибло. У Саши начались галлюцинации. Поднялась температура, а потом и у меня мурашки в голове пошли. Руки распухли. Стало казаться, что под окнами избушки ходит жена, т. е. ваша матушка Мотря, шаркается по стене, но не заходит. Тогда я понял, что у нас обоих высокая температура, а под окном ходит наша смерть. Я взял топор, который лежал у печки, постучал в стену и воткнул в порог. Так до утра и проспали.

Утром с рассветом надо было как-то добрести до д. Волонги, до которой возле моря больше десяти километров. У Александра пальцы на ногах распухли, а у меня руки. Так и тянулись до поселка. В Волонге сразу же пошли

к фельдшеру Прохорковой, которая только что ходила на почту и сообщала в райисполком (в Пёше), что нас искать бесполезно, признаков от нас нет. Увидев нас, она так и села. Нас осмотрела, спиртом растерла, но уже обморожение было страшное. Мы оказались вскоре в Пешской больнице. Юрьеву отрезали несколько пальцев на ногах. Молодая врач Нозикова В. И. сразу и за мои руки взялась, хотели оставить две култышки. Но спасибо опытному фельдшеру Анне Игнатьевне Кокиной, которая посоветовала мне, чтобы от операции я отказался и не давал отрезать пальцы. Так я и сделал. Два месяца ходил в повязках. Смазывали руки гусиным жиром. С рук потом слезла бурая кожа, как перчатки. Теперь вот только чуть-чуть мерзнут пальцы и похуже гнутся, когда топором работаю.

Вот сынок, какие в жизни моей случаи бывали. Тогда ты учился в школе в Нижней Пёше. Совет тебе — никогда и нигде не падать духом, надеяться всегда на лучшее, на себя и хороших друзей, как, например, Александра Юрьева, он ведь родом из Ручьев Мезенского района. Он не бросил меня на льдине. Жертвуя собой, меня спас. Приехал до войны в Белушье. Брат старший на фронте погиб. Когда Александр пришел с войны холостым, то принял на воспитание двух детей брата, оставшихся без отца. Вот только умер глупо — угорел от печки, рано трубу закрыл, а жены тогда дома не было.

(Со слов отца записал сын его Федор Анашкин. 24.12.84 г.)".

5

По всему укладу жизни видно, что в Поморье на "авось" не особенно полагались. Это тебе не знойная Африка, кипящая гадами и прочим съестным, где всякий гнус сгодится в трапезу: сушеных акрид (саранчи) наелся, погрыз змеиной хребтинки, запил кокосовым молоком, завалился под пальму, накрылся древесным листом — и спи-почивай.

Если бы на Севере, как внушают кощунники наши, мы полагались лишь на авось и небось, то русский народишко скоро бы вытлел и изредился, и неоткуда бы ждать приплоду. Любопытно, что в середине семнадцатого века мы с Францией имели равное народонаселение, а к концу девятнадцатого века, несмотря на их благодатный климат, перегнали почти вдвое, притом одержав десятки крупных и мелких военных побед.

А укоренились в северной стране лишь потому, что имели характер остойчивый, расчетливый, дружественный, брюшишко неприхотливое, ум приглядчивый, глаз точный, душу верную и нестяжательную. В чужих краях, в мыслях наших недоброжелателей, в устах ревизоров русского быта наше авось стало не то укоризною, не то бранной печатью на челе, дурной характеристикой в глазах "просвещенной Европы": де, мы, русские, этим

авось раскрываем собственную расхристанность, разгильдяйство: де, все что ни делаем, замышляем без ума и расчету, да и сам русский народ бестолков и ненадежен, с ним каши не сваришь, ибо он толком не знает, чего хочет, и надеется лишь на случай. Вот я и попытался вразумить, с какой толковостью поморец приступал ко всякому делу, как он рассчитывал каждый свой шаг и со всех сторон примерялся к будущему замыслу, верно полагая, что "семь раз отмерь, один раз отрежь".

Но вместе с тем, почему же на всей Руси прижилось это самое "авось", над коим посмеивается меркантильный западный ум, засохший в своих расчетах?

"Авось" — вдруг, может быть, станется, сбудется, с выражением желания и надежды; авось — счастье, отвага, удача" *(В.И. Даль)*.

Так и хочется думать, что Авось — это древнее праславянское божество, забытое под давлением христианства, но все же сохранившееся в остойчивой народной памяти и ставшее впоследствии тотемным знаком, обозначающим некую невидимую могущественную силу. Это, конечно, еще не Бог, но что-то иное, неподвластное нашему разумению, чему нет точного обозначения. Бог понятен, у него седая борода до пояса, проницательный взгляд; он седяе на небеси и зорко караулит народишко. У Авось же нет обличья, нет места, где он бы восседал, нет своих хором, но он, невидимый, живет возле и все видит. В народе про авось говорят: "Авось не Бог, но пол-Бога есть. Авось великое слово". Он на стороне маленького человека, но к нему обращаются и великие мира сего, подпертые властью, казной и армией; Авось поощряет дерзость и отвагу, он указует в любом деле, что русский человек не одинок, у него есть заступа, которая даст державы в рисковую минуту. Авось — это не просто реплика, красное словцо, сказанное, чтобы успокоить родичей перед походом. Ибо как бы ты ни укладывал предприятие, как бы ни размысливал, как бы ни планировал его на долгое время, но события всякий раз говорят, что все предусмотреть, увы, нельзя, всегда сыщется какая-то прорешка, проточина, язва и скорбь, которые могут расшатать даже самую благополучную затею. И вот тут на помощь, в поддержку в самый последний момент приходит Авось. Он не подменяет и не отменяет всех забот, но дает дополнительной духовной укрепы. "Авось повезет, авось не пропаду", — говорит мужик ближним, отправляясь на промысел. И добавляет: "С нами Бог". Авось — это внешняя мина, чтобы не выказать внутренних колебаний и сомнений, показать свою безудержную храбрость и рисковость. И еще: когда угодил русак в пренеприятнейшее положение и нет никакого отступления, и все меры, кажется, исчерпаны, — тогда и остается лишь надежда на Господа. А за ним видится и Авось, который не дает вовсе упасть духом, и Небось, — который велит не робеть.

* * *

Но дети воистину живут лишь на "авось" по незрелости и неосознанию своего духа. Пока что-то зарождается внутри, такое, что станет руководить в будущем; но брезжит так неясно, так неотчетливо, что ребенок и не придает этому неопознанному чувству никакого значения. И тут больше влияет "Авось-полубог"; он почти родня своей опрометчивостью, жертвенностью и азартом. Мы, военное поколение, не помышлявшие о Боге, сугубые материалисты, одушевляли авось, он был для нас неким невидимым покровителем, постоянно дозорящим возле. Авось повезет, авось мать не узнает, авось не поймают и не прижучат, авось что попадет (на рыбалке), авось не заблужусь (в лесу), авось не потону, авось не спросят на уроке, и т. д. "Авось и рыбака толкает под бока". Авось позволяет не умеющему плавать бросаться в быструю реку — и спасает. Авось — чудо? Да. Но чудо может сотворить лишь Бог. Смеясь над русским авось, мы невольно ставим под сомнение самого Господа.

...В добывании хлеба насущного Авось — не последняя спица в колеснице, и надо к нему относиться с поклоном. Когда помор пускался на зверобойку, зачастую не умея плавать, и хотя имел большую морскую практику, но надеялся на авось: авось не будет шторма, пронесет, авось на тюленье юрово угодим быстро, авось не настигнет отдорный ветер, авось суденко не обвернет и т. д. Судьба, забота о хлебе насущном, благополучие семьи заставляли пренебречь вероятным риском.

Полагается только на авось самый ленивый человеченко, никуда не годящий, кто около родника от жажды изнемогает, кто возле леса в своей изобке от стужи околевает. Но эти-то людишки всему народу в насмешку и не делают ему национального обличья, какими бы хотели видеть нас чужебесы и кобыльники.

* * *

Когда я подрос, то стал ловить луговых крыс. На севере их называют кротами. Это нынче все луговины, поскотины, польца, прибрежные навины и приречные угоры, и замежки изрыты кротовинами; мелкий гнус, набравши сил при всеобщем безразличии, кочует от поля к полю, перебирается на огороды и в сам дом, и вроде бы нет спасения от этой напасти.

Раньше же охота на луговую пакостную животинку пользовалась большой славою. Она давала пропитание. Шкурки, высушенные на пялах, принимали в конторах "Заготживсырье", их отоваривали сахаром, мукой и

крупами, за сто меховых лоскутов вместо съестного товара можно было получить дробовик шестнадцатого калибра. Потому, улучив всякую свободную минуту, мы сбегали на приречные пожни. Найдешь кротовину, земляной холмик, длинным ножом нащупаешь кротовий ход, и давай вгрызаться в землю не хуже доброй собаки, прямо руками выдирая дерновину, пока не доберешься до распутья, развилки. Тут и ставишь капканчик-нулевку, закрываешь подкоп травой иль тем же дерныхом. В твоем запасе капканчиков восемь-десять. Помню, еще не успеешь ловушки выставить, а уж слышишь, как щелкнули за спиной дуги. С восторгом спешишь к маскировке, а там уже прихлопнута зверюшка. И тут же, не вдаваясь в жалостливые чувства, с каким-то особым охотничьим переживанием бритвочкой снимаешь шкуренки. И если проголодался (а в запасе всегда кусок хлеба и луковица), едва скользнув пальцами о траву, не пугаясь подхватить заразу, начинаешь заглатывать ржанинку. И нет в тебе никакой брезгливости, отвращения от кровавых подтеков на ладонях, от раздетой багрово-синюшной тушки, валяющейся возле ног, от мехов, спрятанных в карман пальтюшонки, спроворенной из материных юбок. И забыты красочные ужасные плакаты в конторе "Заготживсырье", вещающие, чтобы охотники оберегались от заразной болезни тулерямии. Помнилось лишь одно: шкурка луговой крысы стоит рубль двадцать.

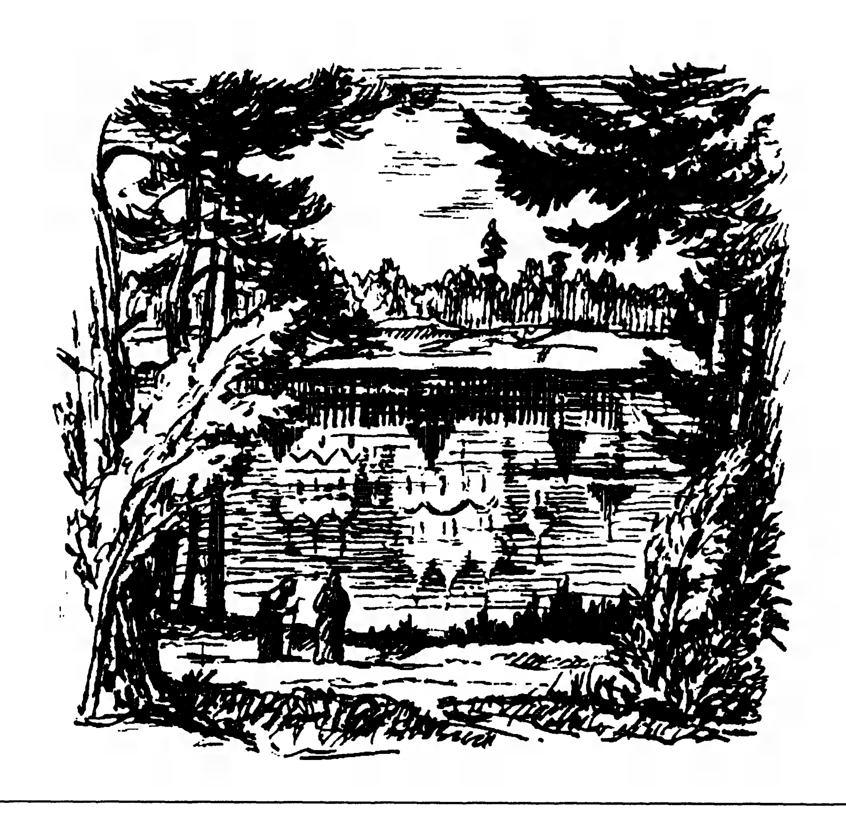
Лицо задублено ветром и дождем, жарко горит ввечеру, будто рядом костер; быстро, как-то разом все меркнет вокруг, благословенная глухая тишина опускается на приволье; редко где в околотке тявкнет собачонка, напоминая о доме, матери, ждущей сына; моркотно накрапывает с небес, гонит пацанву прочь, но ей все хочется урвать лишнюю минуту свободы и все мнится, что вот еще минута-другая — и обязательно услышишь щелчок капкана и вновь переживешь ненасытное желание охотничьей удачи.

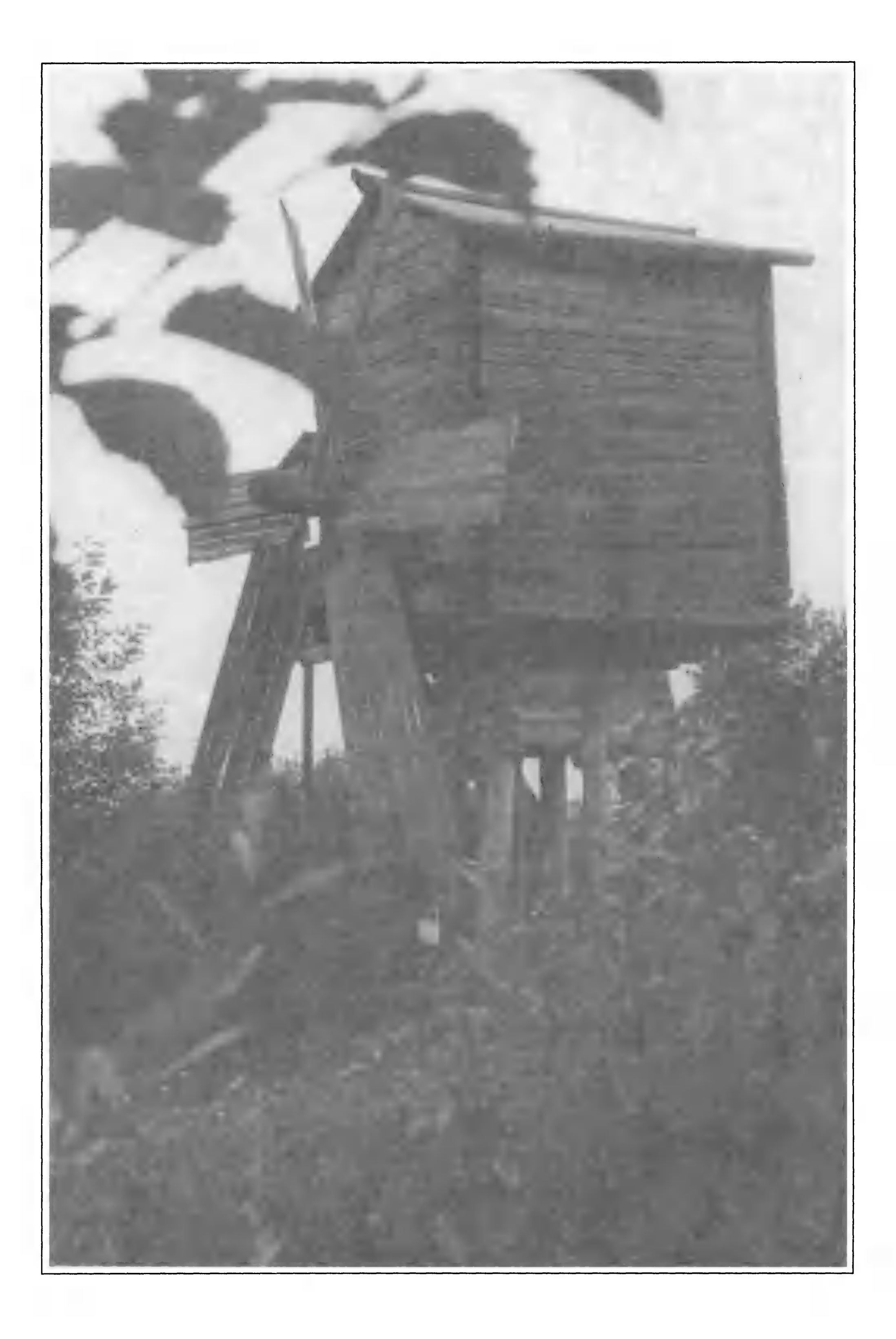
Последний раз я занимался этим промыслом уже перед отъездом из дома. Школа кончилась, и как-то отстраненно, смутно воспринималась жизнь грядущая. Улов, странным образом забытый мною, так и остался в кармане кацавейки. Как-то мать моя, через много лет перебирая ветхую одежонку, наткнулась и на мой заплатанный зипунишко, сунулась в карман и нашарила комок засохших кротовьих шкурок. И заплакала.

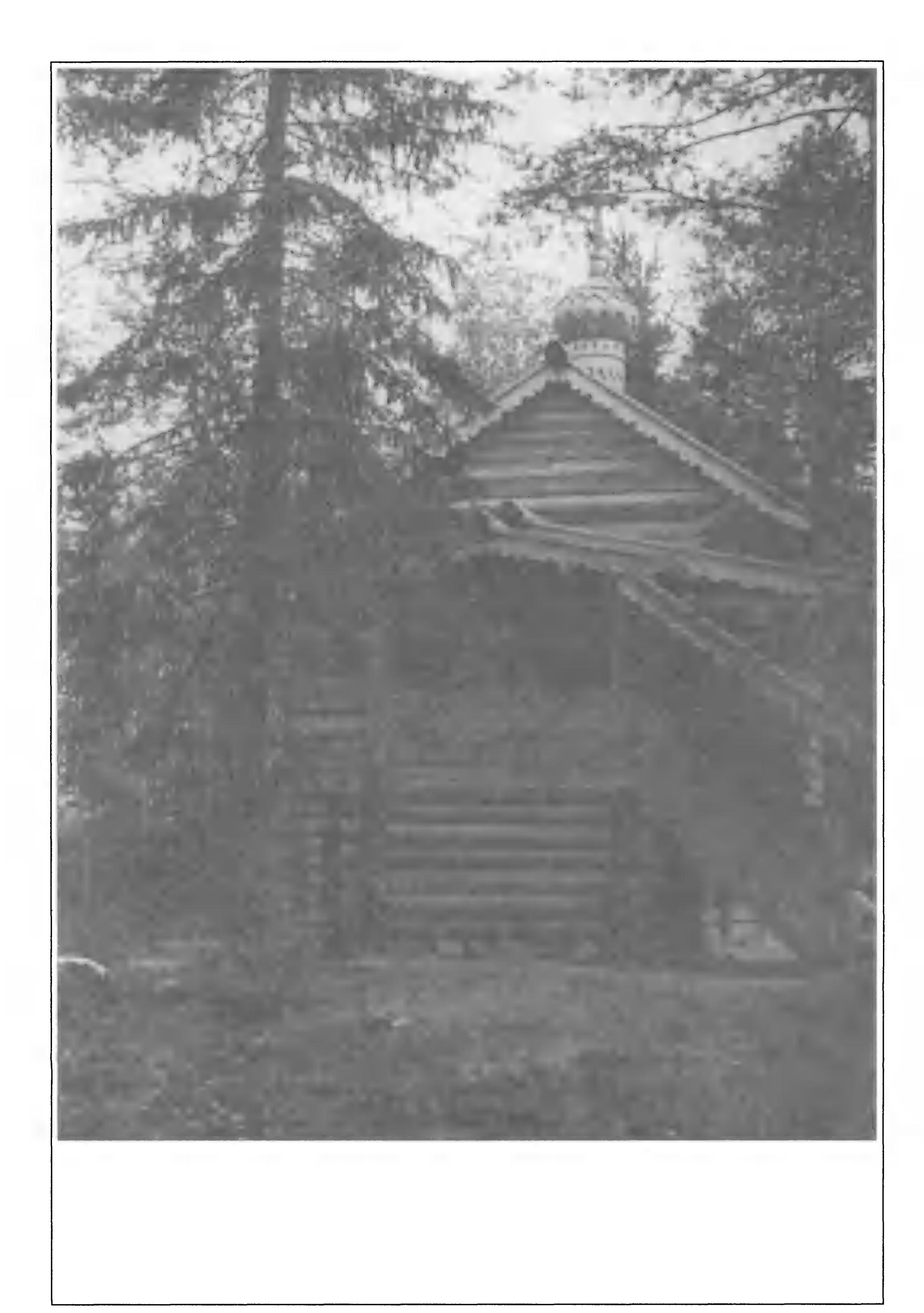
Я уже жил к тому времени в больших городах и потиху позабывал родное приволье. Душа моя еще ныла по матери-сырой земле, но чувство слиянности с нею тускнело в повседневных заботах, истончалось и готово было вот-вот замереть навсегда, чтобы возвращаться лишь во снах и в угрюмые минуты тоски и печали.

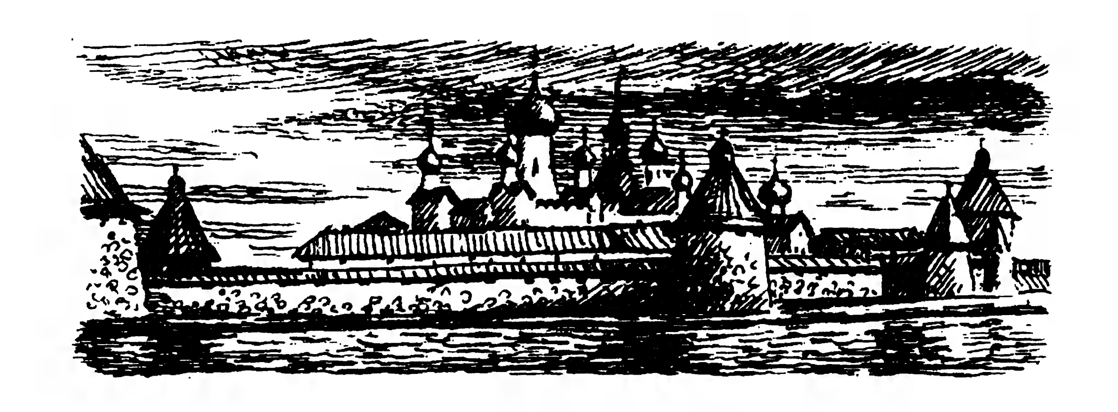
...Я стал добывать хлеб наш насущный из черниленки.

О ГОРЕ-ЗЛОСЧАСТИИ

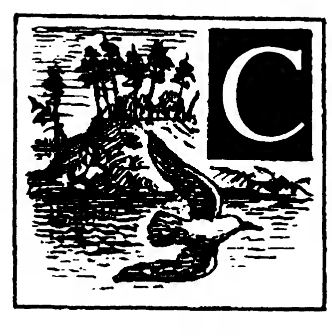








1



Само название размышлений уведомляет, что впереди много слов грустных, чувств печальных, мыслей тревожных. Хотелось бы напомнить о том сокровенном, неясном, гнетущем, что мы чаще всего умалчиваем, когда рассуждаем о своем народе, его обличии, и рисуем прежде всего апостольский лик с очами, взведенными горе. А он всяк, народ-от наш: молодец-песельник, но он и в рубище блаженный; он и шиш подорожный, оторви да брось, коему чужая головушка дешевле репки, но и заступник, что за честь ближнего друга своего готов выю склонить на плаху под секиру; он и забубенная голова, коему все трын-трава, обреченно роняющий на дно хмельного стакана осоловелые зенки свои, но он и отчаюга, сам себе атаман, когда смерть прижмет от чужого штыка; он, сердешный, и чертоломит на пашне за пятерых, не выпрягаясь из ярма, и тогда землица, орошенная потом, родит ему золотой колос, но он же и поленится при готовых дровах посреди лесу избенку протопить, хотя волосяная грива за ночь прикуется морозом к изголовью — но зато воля, зато сам себе господин, чего хочу, то и ворочу. Глубока и пространна душа народа, любит она в саму себя окунуться и там потомиться в гордом одиноком молчании. После того раздумья и родилось отчаянное слово — "злосчастие"...

Работая над романом "Скитальцы", я много размышлял над русскою

натурой, и кое-какие заметки, написанные по следам поморской жизни, но оставшиеся без призору, сейчас мне кстати.

Обычно раздумья самого неожиданного толку возникают в русском народе, когда он временно не у дел, уставшая плоть отдыхает, и тогда какие только мысли не придут в голову.

В общем, несколько мужиков-паломников попадают на богомолье в Соловки... Ветер был попутный, русский ветер. Студило от воды, наносило того мозглетья, которое обычно пробивает до кости, но тут иль толстая одежонка спасала, иль душа, настроенная к встрече с обителью, была так терпелива, что и не мерзлось вовсе. Сзади лодки болталась на привязи лодчонка-душегубка, она порскала по мелкой волне и невольно притягивала взгляд.

— Вот смотри ты на экое чудо. Кому страх, а нам самое обыкновенное дело,— начал одутловатый помор, очередной раз оглядываясь на душегубку, виляющую на привязи.— Наш-то брат помор ухитрился плавать на экой лодчонке на море-акияне, да ежели случись, так и вдвоем, значит, да под полный груз, когда вровень с бортами, за нашвы-то чуть не льется. Сиди и не дыши, чуть маленько на сторону колыбнулся, голубушка и черпнет, что ложка ухи. Ну а потом известное дело куда — ко дну за рыбой. Обыкновенно в тихую-то погоду, да коли близко, так она ничего, голубушка, она своего не выдаст,— говорил помор о душегубке, как о родном близком человеке.— Ну а в непогодушку-то разве отпетый да шальной какой, примерно, сунется, а тому, как известно, море-акиян по колена, такой он отчаюга и беспримерный к подвигу человек.

Помор замолчал, зевнувши, закрестил от полудницы рот, чтобы не попала в утробу нечистая сила, и с некоторой тоскою, столь необычной для умудренного человека, оглядел сына, растерянно упершегося взглядом в небо: тонкая шея встала из глубокого круглого ворота холщовой рубахи, и видно было, как по упругой жиле течет напряженная больная кровь.

— А всякого народу есть,— поддержал другой, морщиноватый старообразный поморец с бельмом на левом глазу.— Всякого народу на миру. Другому-то лишь бы кочет не сдал, он и плывет. Такой затем и человек уродился. Он плывет и плывет. Затем и сказано, что помор — отчаянный шибко. Для него своя жизнь копейка. Ему скажи — надо; он и все, коли надо... Я, бывало, плавал с Андрейкой Титовым. Было, мы вот такочки шли вдоль берегу, и ветер-то порато разгулялси. Вот он мне и говорит: Акинфий, говорит, ветер-то неладно разгулялси, не ровен час якоря запонадобятся, так поди, наладь, голубчик. Ишь, говорит, белки-то больно зачастили, словно паруса. И вот увидали, мористее двое тонут, повернуло

христорадушек, и Богу душу, значит. Андрейка-то и не мешкая: спасать, говорит, надо. А я ему: Андреюшко, ты куда, к черту ведь в руки. Ты вспомни, у тебя жена, двое детушек малеханных, ты пошто задаром на гибель-то просишься, ведь ничем не пособишь, сам задаром погинешь. А он не слушает, крутехонек мужик, с Дорогой Горы сам. Белую рубаху одел, в душегубку вот эдакую же топор бросил да багор, три веселка, сухих поленцев, да ковригу хлеба, да огниво с кресалом за пазуху. Ну, перекрестился как следует, меня обнял. Спустили мы эким образом душегубочку, да и толкнулся он. А я вослед молитвой: "По водам плавающим, правитель буди и иже в потехе шествующим исправи и поспеши". А он ведь, Андрейко-то... Водяному царю, знать, с ним не под силу тягаться. Прости нас, грешных, и не оставь нас своею молитвою, господи... Смотрю, выловил и того, и другого, да и на берег. И после-то мне и говорит: "Вот подиткось, Акинфий, совсем бы загинуть двум душам христианским. Так не судьба, значит, помиловал владыка многомилостливый да Никола, угодник божий".

— Известно, Божия воля,— вдруг снова вступил в разговор одутловатый мужик.— А вот со мною прошлым летом случай был, не дай господи ворогу испытать. Рассказать и то волос дыбом. ...Ох, неровен человек на сем свете, ох, неровен, братцы. Иной уродится вроде бы и православный, а душа у него, как варака, каменная гора. Летось, слышьте-ко, шел я на своем суденышке, ну шнячонка, право дело, на тысячу пудов. Шли мы с парнишонками под парусом, вот и Павлушка этот был. В те поры напромышлял дивно рыбы, Бог пособил, и с ценою не пролетели, дородно получили в Архангельском. Хлебца затем прикупили, припаску всякого, по хозяйству кое-что. От берега в верстах сорока и несло нас попутье, ветер ровный такой, не паркий. Разморило нас иль как, но только прозевали мы угрозу, а старшой-то мой сынишко на рулю сидел. Вихорь такой налетел, такой торок, ну и опружило нас коргой вверх. Больший-то сын оказался подле, сам на днище вылез, а Павлушку я едва из-под кормы вытянул, едва Богу душу не отдал. Вот и сидим, как твари поганые, что станешь делать. Сидим, Богу молимся, чему быть, того не миновать. А вихорь как налетел, да тут же и укатился, как не бывал. Ну глядим, лодья большущая в нашу сторону. Знать, Царица Небесная не оставила нас без догляду. Спустили оттуда карбасок, ударили в весла — и к нам. Кричит этот, каменна-то душа, хозяин лодьи: живее, мол, садитесь, мне недосуг с вами валандаться. Я-то ему и скажи: "Батюшка родимый, век за тебя молиться буду, смилуйся, причаль, Христа ради, с судном. Повернуть недолго мою шнячонку. Затем и идите с Богом, а воду сами выльем. Возьми, говорю,

за хлопоты, чем хошь, хлебом или чем иным, только не оставь в разоре". Ведь в один час, не боле, завернули бы суденышко — и все, почитай, спасли бы. Ну подмокло чего, так не беда. Так нет, наладил одно, орет: "Коли идете на судно — идите, а не то оставлю вас середка моря". Неча и делать, не погибать же, переплавились на лодью. Поглядел я в остатний раз на свое суденко да на ребятишек. А они ревут, а они плачут. Пашка-то особь, ревом ревут, сердешные. Ну и я не сдержался, заплакал, забрало слезами, ажно горько стало в глазах. А ведь подумать: трудно ли человеку отдать нам какой-то час, послужить Господу — и все бы спасли. Бог ему судья! Спасибо и на том, что нас-то самих не кинул на погибель.

— Кто же хозяин лодьи, эта каменная душа?

— Да не наш он, с мудьюжской стороны, а прозвища не упомню. Да и к чему? А сынка вот оприкосило. Везу Зосиме и Савватию в услугу. Может, сымут тягость? Одна надея. Ты слышь, Павлушко, лягь половчее да растягни ноги. Что же ты уперся и молчишь, как немтырь, ох ты, немушко мое.— Он со вздохом погладил сыновью голову, и все, кто были в лодке, вздохнули и виновато потупили головы.

* * *

На миру и смерть красна. Рыцарство не смогло бы окопаться на Руси, явить свое знамя, ибо не красования ради, удальства и бахвальства шел на вражью пику "боевой холоп", княжий сын или самый распоследний смерд, призванный в войско, но прежде сохранить свой живот и чада свои, а значит, чада и поместье ближнего своего печищанина, а значит, и землю родимую с ее приметами, и все то, что обустроено на ее теле, что вмещает на себе земля русская вместе с долгим трудным обзаведением и порядком, и храмом, и водами, и безвестным сельцом по-за темным елинником, и небом, объемлющим всю отчину. Но чтобы подняться на защиту живота своего, нужно было переступить через страх, оглянуться окрест и, увидевши лишь плечо соседа на многие-многие поприща пути, понять ответный взгляд и ощутить его соучастие, его безмолвную поддержку, а увидевши согласный зов, уже нельзя было отступить, ибо совесть заест, загрызет... Ведь даже все старорусские богатыри, все эти "сидни" и "увальни", о ком не сникала заздравная былинная песнь, так даже они-то сымались со своей избяной лавицы не за-ради почести, имени иль похвальбы, но чтобы по совести живот свой сложить против ворога, ибо всякий такой молодец являл собою на порубежной земле не славное имя свое, но безвестную хоробрую дружину, о которой не сохранилось памяти. Илья Муромец, Доб-

рыня Никитич, Алеша Попович — это стяги, иконы добродетели, хоругви явленный пример. За спиною Пересвета, дожидаясь неминучей участи своей, стоял "Большой полк", коему пасть мертву через несколько часов; и он лег под татарскою тьмою безымянный, хотя на каждого смерда и холопа, и стольного боярина напирал свой Челубей. Но Пересвету было трудней всего "лечь под святых": он был первый в череде, когда все еще оставались вживе, он как бы добровольно шел на заклание, чтобы смягчить, преуменьшить трагическое несчастье всей Русской земли. Ему страшно было опозориться, худо недостойно выглядеть — и этим навести тень шаткости и слабости на все православное воинство перед лицом нехристи. Синодик святых имен, со тщанием накопленный за историю, что провозглашался по всей Руси с амвонов и папертей почти тысячу лет — это драгоценный ларец, это бесценный ковчежец, вместилище исторической памяти, ее средоточие, по которому при желании можно представить всю особенную натуру моего народа...

Русскому человеку свойственна ватажность, компанейство: из этой смычки, подпорки соседского плеча родилась позднее русская общинность, та самая крепостца среди равнинных лесных поприщ, коей постоянно досаждал порубежный вор, коварный тать и злой подорожник. Сами пространства, полные злых и добрых стихий, выпестовали со временем ту самозащиту, тот общинный мир, о котором нам осталось лишь догадываться. На самоценности мира, его достоинствах сломала копья за минувшее столетие вся общественная русская мысль, но она так и не пришла к единому выводу о значимости "мира", как глубинных корней всего национального древа. Раскол религиозный, болезненно сказавшийся на русском общежитии и повлекший за собой долгую беду, скорби и несчастья, породил и раскол национальный, когда из родовой неприязни люди отказались понимать друг друга, и этого непонимания более достойные и глубоко чувствующие после стыдились, как затяжной некрасивой болезни. Лишь в Поморье сохранились дальние отголоски прежнего старорусского согласия и добросердия, когда мужик называл свою хозяйку "боярыня", "княгиня" без тени малейшей ухмылки...

"Горе-злосчастие", "на миру и смерть красна". По воле самой физиологии жизни они очутились рядом, столь противоречивые, неразрывные и многозначные метафоры, заключающие в себе глубину общинных взаимоотношений. Но это колосья одной родящей пашни, имя которой — душа русская. Казалось бы, чего там красного, то есть радостного, светоносного, счастливого в смерти, с которой замирает навсегда все начертанное прежде замыслом и промыслом, это ведь затаиться под дерновину и бо-

лее никогда не прорасти в прежнем обличье. Но она красна тем, что на миру, на пригляде, на призоре: коль падешь от вражьего умысла, то не где-то в потае, в закуте, в гнилой канаве, как пропадина, но при благословении сотоварища, родича, однодеревенца, печищанина, пусть и не услыхав последнего бодрящего слова, напутствия перед крайней дорогой. Ведь всякий раз помышлялось доброму человеку: пусть и грянул срок истечь кровию, но зато великая радость сердцу, что ближний останется под солнцем, он будет жить после тебя, принесет весть родным, сохранит память, имя, честь.

Самое невидимое и самое дорогое приобретение человечества — это совесть; она и пагуба, ибо из гордости за честное имя толкает на гибель, но она и охрана любому народу, она не дозволяет безмерно развиться греху и окончательно заглушить пустоцветом душу. Собственно главная борьба во все сознательные времена идет в душе меж совестью и бесстыдством, меж совестью и страхом перед смертью; незримое, но бесконечное поле брани нередко выхлестывается наружу и творит уже на миру великое имя и черное побоище, подвиг и позор.

Мир — это не только подмога, но и всеобщая совесть, постоянно вопрошающая к тебе, не дающая закоснеть во грехе. Ведь не только церкви клялись, но и миру, возлагая ком сырой земли на главу, искренне веруя, что перед матерью сырой-землею и ближним народом нельзя солгать. Мир нужен был, чтобы призреть бобылку, старицу, одинокую вдовицу, ожидающую смерти, всей деревней доглядывали солдата-инвалида, погорельца, помогая ему последним, горбухой ситного продляли быванье горемыки-нищенки, нуждающейся в приюте; пугнуть ее прочь от избы, пожалеть ночлега, приюта, обогрева на русской печи почиталось за великий грех (побирушка-нищенка, великая сказительница Марья Дмитриевна Кривополенова скончалась на чужой печи); и о блаженном, коли заводился такой на миру, пеклись всем народом, не давая в обиду, и только мальцы, еще полные темной дурости, могли шпынять и честить беднягу. Редкий из деревни бобыль попадал в богадельню на казенный кошт: сами печищане обихаживали, не давали замерзнуть горемыке иль пропасть с голоду. Ну а иной, кто заранее готовился к сиротскому концу, трезво ведал о неминучей смерти и не хотел быть тягостью и обузой соседу, да коли имел доброе обзаведение, то весь нехитрый пожиток свой завещал монастырю, по немощи и преклонным летам заселялся в келье, и тогда монахи обихаживали старца.

Да и помор-то мог так далеко удаляться от родимых мест, лишь сохраняя негласные уложения общинного согласия — это и была главная охранительная сила. Почитай кормщика, старшинку бурсы, ромши, артели, коча,

как Бога — в нем лишь, в умудренном человеке, твоя надея, твоя сохранность, благополучие личное и семьи.

Борьба совести со страхом смерти — это вековечная рознь, противостояние духа и плоти; словно бы дух постоянно готовится к ответу, он жаждет чистоты, его страшит неведомый суд, пред которым придется предстать; ведь земная жизнь — мгновение, а там, куда предстоит долгая дорога, и откроется истинное, высшее быванье. Но плоть почитает земную жизнь, ее приметы, прелести и утехи, ее наслаждения и блага — высшее, чем пить — не напиться, и поэтому она ловит светлые денечки и страшится сократить их. Не случайно же о плоти утверждалось, что это "вран и нечистая свинья". Простой народ стыдился угождать утробе, всячески притеснял ее, и даже сугубый, такой твердый, почти монастырский, неукоснительный, общежительный порядок крестьянской жизни — это раннее вставание со вторыми петухами, это страдательный труд (страдание — старание) — все пригнетало утробу, ее обольстительность и леность.

Собственно, прежде на Руси к смерти относились спокойно, готовились загодя; присматривали место, чтобы по возможности лечь подле отца-матушки, очищали от корья и каменья, да чтобы сухо было лежать, некоторые и гроб загодя ладили, и он никого не дивил; женщины берегли "подвенечный лоскуток" к смерти (подвенечное платье или венчальную рубаху), а если не было свадебной лопатины, то заранее шили смертную рубаху, плисовые или суконные башмачки, ибо в кожаных лежать грешно, укладывали смертное стопочкой на дне сундука, тут же поверх лежали заготовленные подарки на помин души, полотенца и деньги на похороны. Деньги, те и поныне старые люди прикапливают, откладывают копейка к копейке, чтобы не вгонить в трудности ближних по смерти своей. И это одна из примет совестливости, что по-прежнему бытует на Руси. Не случайно из этой неловкости быть обузою возникло в народе присловье: "Человек на горе родится — на работу да заботу; умрет — так ишо на три дня работы оставит".

Ложась спать, многие женщины ставили в чугуне воду в русскую печь на всякий случай: постель та же могила, а сон — смерть, и неведомо, придется ли встать поутру, и вода теплая может запонадобиться обмыть покойника. А коли проснулся да живешь, то вода пойдет на мытье посуды, на обрядню. Прежде сохраняли и очески от волос и ногти от рук и ног: волосы на подушку во гроб, а ногти в узелочке клались с умершим в домовину, чтобы тому легше было карабкаться в рай по ледяному склону страшной горы, у подножья которой провал с кипящей серой, а там черти денно и нощно мешают котлы с расплавленной смолой, купая туда грешников...

У знакомой мне старушки до ста лет зубы были свои, только съела их

до десен, но и в старости нитку в иголку сама вдевала. К смерти задолго готовилась. Уже ходить далеко не могла, свозили на саночках на кладбище, посмотрела место возле двух дочерей своих и говорит: здесь, мол, мне тесно. В декабре просит вдруг снова: свезите-де меня за реку, хочу по наволоку погулять. А дочь говорит: "Мама, какие луга, зима ведь". Через два дня повалилась старенькая: душно мне, говорит. Раздели догола, а ей душно. Потом говорит: "Агриппина, ты почто у порога-то, как чужа? Коли пришла, так проходи и садись. Доча, дай ей табуретку". А дочка-то ей: "Мама, ты чего? Ведь никого нету". — "Ну, значит, смерть за мною пришла", — сказала спокойно, с какой-то радостью.

А ночью и померла.

Про тех, кто легко помер, говорили: счастливый, легкая смерть. Считалось, что смерть можно объегорить, провести вокруг пальца, надуть, отсрочить, лишь не робей, укрепи натуру, не давай проклятой старухе спуску. И некоторым это удавалось. Один мужик увидал свою смерть в избе, не мешкая кинулся за ней, чтобы ухватить, она прочь, юркнула в подполье, мужик за нею. Смерть превратилась в голик (метлу). Мужик вытащил ее из подполья за бороду, выкинул на огород и после еще долго жил. Считалось, что смерть можно отпугнуть радостным сердцем, веселой неунывающей душою, крепостью духа — тогда-де смертушка не знает, как подступиться к человеку, робеет, боясь получить урон.

Из простой судьбы

Помню я деревенскую северную избу: было это лет шесть тому. Я лежу на русской печи и с любопытством наблюдаю за старухами. Они нет-нет да и заговорят с веселостью во взоре о смерти. "Нам-де на том свете уже давно паек идет, а мы все меж честного народа путаемся, жить не даем".

"У нас невесты на любой вкус: от пятидесяти лет и до ста",— это уже мне говорят. Сидят четыре вдовы, смеются, и смех их заразителен. Нина говорит тетке: "Если ты решилась жить до ста лет, то и мои годы забери, я так долго жить не хочу". А тетка Мария отвечает: "И буду до ста, если завтра не помру". У нее удивительно моложавое лицо, высокий постав головы, быстрая поступочка, хотя ей восемьдесят. "Я пришла в больницу,— рассказывает она,— зашла, где зубы куют, говорю, вставьте мне зубы. Я хочу до ста лет жить. Мужик, что зубы кует, как захохочет и за полтора часа зубы сковал",— "Наверно, думает, вот старуха, сколь глупая" — говорит сест-

ра.— "А чего не жить, буду жить. Брат любит сестру богату, а жену здорову. Один-то мужик любил горбату, ноги, как спички, и не стеснялся, везде ходил с нею под ручку, в кино обнимался, двое детей. Сам красивый. Восемь лет прожили, как куколки, а сейчас бьет по-худящему и любовницу завел".

* * *

В чем отличие меж добром и злом? Когда зло совершают, то прежде замышляют, думают о нем, как бы недругу подпустить яду, отравить жизнь: зло, видимо, совершается не столько сердцем, сколько умом, ибо там нужна хитрость, механика. А в изначалии добра лежит совестливая простота: вдруг что-то оттеплит в груди, и ты делаешь добрый поступок непроизвольно, как-то само собою, несказанно радый, просветленный своей щедростью, миролюбием, открытостью. Добро лечит душу пуще всяких лекарств. Нет нужды приводить сотни пословиц о доброте, все они записаны в книгах. Скажу одну, нашу, мезенскую: "Кинь добро назад, оно очутится попереди".

И что есть вся наша жизнь, как не оправдание пред собою, пред душевным неизъяснимым, постоянно мучающим нас зовом? Откуда, из каких глубин течет этот нескончаемый глас, так мучающий нас? И человек праведный, совестливый тем и занимается, что виновато оправдывается пред невидимым судьею честным трудом. Но зато он умирает без тягостей, во спокое.

Из простой судьбы

Недавно старик помирал, мой сосед, худой, длинный. До последних дней все колотился по хозяйству, бродил с топором, пытал натуру. Помню, пришел ко мне и вдруг заплакал: "Ничего не могу боле. Голова болит, таблетки горстями ем". А было ему восемьдесят шесть. И вот однажды говорит после обеда: "Старуха, помирать буду". Достал деньжата, какие-то скоплены были, рублей семьсот. Дочери велел: "Вот тебе четыреста, это на мои похороны. А остальное, бабка, спрячь кудале подальше, это на твое погребение". Лег и сказал: "Дом расписан по детям, сами распоряжайтесь домом". И еще бабку позвал ко кровати, сильно ей руку сдавил и долго не отпускал, прошептал только: "Живи тут без меня, бабка".

И умер.

Но тяжело "ложиться под святых", когда совесть гнетет. "...Отца-то за килограмм масла забрали в тюрьму. Да он заболел, бат, а домой не спустили. Он и помер, за ушами заклало. Повалили его в церковь, дома не положили. Я плакала на печи, плакала, да и заспала. Проснулась, а уж все поминки проспала.

Давно это было, как и не было, как приснилось. Вот и брат нынче помер. У него рак был. Десятого умер, а еще девятого к окну попросился. Говорит жене: "Сделай сестре подарок". Она пошла, принесла сверток. А маленький сверток. Он попросил развернуть. Жена развернула, а там четыре черных платка. Это при живности-то. Он увидал черные платки и как заплакал и стал прощения просить, что сестре ничем не помог. Дак так плакал, что все заревели, всех заставил плакать.

...Все перед смертью вспомнил. Руки-то, говорит, у тебя мягкие, добрые. И все-то ему у меня показалось иным. Дак я ведь сестра тебе, говорю. А у тебя, Ваня, глаза-то какие голубые, я никогда таких глаз не видала. А он говорит: у меня-де материны глаза.

А жена его, Маня, скряга. Он ей и говорит: "Ты не плачь, тебе до смерти всего достанется... Мать-то волочили вот в экую комнатушку туда-сюда". И брат несколько раз просил меня: прости за мамку, что мы ее волочили, не успокоили старость. Говорит и плачет, говорит и плачет. И я уревеласъ. А жена головой трясет — и все, ни слезинки не выронила. Я-то возле не могу сидеть, слезы бежат. Я скорей из избы, вся уплачусъ.

И вот схоронили. А ни одной фотокарточки ныне нету, ни отца, ни матери. Собрала она со всех стен и в печку кинула. Бросила, бросила. Вот сколь каменный человек".

2

Любимые разговоры в крещенские, святочные вечера еще в пятидесятые годы — о проказах "нежити", о творимых ею козням, о том, как играет с нечистою силой здоровый духом человек, если он при своем уме и не слишком пьян. Последнюю быличку о лешем, как он стеганул копытом в поветные ворота, так что след отпечатался, я записал в году шестьдесят пятом. Нынче старый народ говорит, что нет в Поморье нечистой силы, вся ушла в иные места, а в "нашем диком, пустом месте никто не балует более". Дескать, старикам нашим виделось, а нам не блазнит, не подвидится, не играет. Значит, и кладбища северные уже не светятся странны-

ми блуждающими огоньками, не собираются на посидки покойники в белых балахонах, не встают в полуночь над могилами голубые сполохи, не летает кроткая голубиная душа сорок ден вокруг родимого дома прежде чем покинуть навсегда: не ждут ее, не привечают в горестном окне, не ставят на подоконник чашку с водой, не подкладывают еды, чтобы попила горемычная душенька, поела.

Несмотря почти на поголовную грамотность, Зимний берег — моя отчина, обитель, родина до сороковых годов не живала без колдунов, в каждой деревне, почитай, мирил и ссорил, заводил козни и суд свой ведун, без него, без важливого, на свадебных коней не саживались и застолья не правили, чтобы сберечь молодых от сглаза и порухи. Но нынче лишь в преданиях редко кто старый поведает о силе бывалошных колдунов, о их темных и добрых затеях. Много рассказывала о колдунах Параня Москва, ныне покойная: в ее голосе была такая прочная убежденность, что и мне невольно передавалась ее вера в силу запуки, наговора, прикоса, призора. Это же ее отца покарал обидевшийся колдун, и маленькая Паранька ходила по наущению старших к нему, уговаривала всесильного, чтобы тот пощадил ее татушку; и старик помиловал, излечил недужного от неожиданной сухотки за килограмм масла. Это таинственное чувство от поверий Парасковьи Николаевны владело моей душою, когда я писал одну из ранних повестей "Обработно — время свадеб".

В семьдесят четвертом я расспрашивал о ведунах на Летнем берегу. И лишь в Яреньге смущенно, недомолвками, скоса сослались на одну из старух, де, она может навести сглаз на людей и порчу на скотину.

Самое любопытное, что веру в "нежить", в таинственную силу, могущую играть, повелевать нами, я обнаружил неожиданно в серединной Руси, невдали от столицы. Я уж и не говорю, что в громадном городе, где с бору по сосенке всякого народу, где сплетения судеб и характеров самые невообразимые, где каждый Божий день сочиняются драмы и комедии,— самым азартным и бередящим сердце являются застольные исповеди о всяческих силах, могущих предвидеть, смотреть сквозь нашу бренную плоть, летать меж планетами, далеко удаляясь от родимой земли, ну и... пить нашу силу, истощать духовную и физическую энергию. Всякий раз на переломах веков, когда как бы всеобщая жизнь приходит к нулю, чтобы возродиться вновь и начать отсчет новому времени, нация начинает испытывать некую тревогу, раздражение, безотчетный мистический страх, с тайным ужасом вглядываясь в грядущее столетие, как в некое провалище, полное призраков. И вдруг эти призраки являются ровно бы ниоткуда в реальном обличье, они меж нас, за одним гостевым столом, едят и пьют, ведут со-

блазнительные разговоры — но они словно бы иной природы, других возможностей, они наделены тайной, особым могуществом, которое передается нам, подавляет и угнетает. На земле, в пашенной деревне такого человека называли колдуном, он мог тоже испить нашей силы (навести сухотки), он мог предсказать, охранить, оберечь, подвергнуть испытанию, наслать зло. Видимо, нынче язык не повернется вернуть в техническую усовершенствованную жизнь колдуна, тот захлебнется от машинной гари и вопленного гула сотен тысяч машин, он даже свою собственную энергию растеряет от бесконечных очередей, толкучки, всяческих нехваток, неутоленных желаний и пустого времени, которое нельзя убить ничем. И тут появились экстрасенсы со своими манерами и честолюбием, и гибким мудреным языком, с философской подкладкой, болезненным взглядом и постоянным подозрением на "дьявола", который победит и выкачает всю энергию. Куда там допотопному колдуну до нынешних мастеров искуса; может, потому и пропал ведун, что не знал ничего, кроме потной работы, родной природы и нескольких запук, доставшихся в наследство от предков. То, что появились новые "колдуны" с иными задатками и запросами, чуда нет; они случались в больших городах (а прежде всего в столицах) на переломе каждого столетия, ибо громадные скопища народа в этих несусветных вавилонах невольно окутываются разноречивым чувством, мы всегда под колпаком разлитого над нами, исторгнутого всеобщего чувства, как под невидимым, но ощутимым облаком. Хмарь приближающейся грозы мы едва видим, но она пригнетает каждую жилку нашего тела, и бесформенная неведомая душа наша поникает и тревожно ждет чего-то. Так и здесь: энергия, скопившаяся на столь малом пространстве, невольно подвигает людей ко всякому мечтанию, потому как сжато, подавленно, скученно чувствует себя человек в подобных обстоятельствах постоянного контроля и самоограничений, ему как бы невозможно широко раздвинуть плечи, глубоко вдохнуть воздуху, которого постоянно ощущается недостаток,— и отсюда в душе невольное желание перемены, полета, видения, фантазии, явления, чудесного. Сам камень в невозможных нагромождениях, когда клочок земли, не политый асфальтом,— за чудо, невольно подавляет душу, словно бы холод бетона проникает в нас и морозит. Оказывается, тесная близость к земле и невозвратная удаленность от нее рождают близкие чувства, образы и фантазии. Фантазия рождается там, где зябко, неуютно, одиноко: это может быть и посреди тайболы, когда до ближайшей деревни сотня верст, и посреди людской толчеи, где человек так же одинок...

О воззрениях славян на природу написаны достойные труды. "Невидимая жизнь", воспетая мировым народом, это даже и не зеркальное

отражение реального бытия, что повторяется в вещих снах, но скорее зазеркальная картина, которую нельзя ни увидеть, ни повторить, ни представить; но тот мир, оказывается, живет в нашем сознании не менее полно, несокрушимо и противоречиво, чем наш, и не имеет он конца, а продлевается вместе с течением рода человеческого. Давно ли убеждены мы были, что с саморазвитием личности, с ее расцветом сами собой потухнут уголья суеверий, и наши потомки будут рыться лишь в золе языческих представлений и диковинных образов, сочиненных "диким" нашим предком.

Но нынешнее профессорское (сугубо атеистическое) иль артистическое застолье не только повторяет затеи петербургского салона графини Р. Изощренное многознание вдруг решилось "оживить" зазеркальный мир, и весь невидимый персоналий расселило меж нами, наделив человечьим обличьем. Ныне про такого-то человека шепчут, что он-де сам сатана, а тот — вампир, уже не одного выпил, а этот подручный дьявола... Если ранее были колдуны — печищане, однодеревенцы, коих стоило озираться, но и зазирать их, беречь, как необходимый, постановленный природой порядок, то нечистую силу (праликов, чертушек, бесов, кикимор и всякую нечисть) видели лишь на мгновение — и только посреди живой природы, живущих, как считалось, только до крестного знамения. "Зазеркальный мир" не имел постоянного человечьего воплощения, но мог только представляться, надевать личину, и к тому же всегда имел противу себя несокрушимое воинство ангелов и архангелов, побеждающих проклятого змия. Георгий Победоносец — богатырь бесконечной битвы в "Зазеркалье", когда огнедышащему дракону выпала судьба постоянно подыхать с разверстой пастью, изрыгающей яды. Потому и не боялся русич всякой нежити, ибо был в природе не один, но всегда сыскивалась ему подпора в крестном знамении, этом воплощении для него ангельских добрых чинов, коих призываешь молитвой и крестом. А деревенский обавник никогда не вносил в деревенский мир тревоги и смуты: к нему даже обращались порою за праведным судом, как к провидцу. Колдун был знаком невидимой природной власти, как старшинка, писарь и сотский пристав являли собою лицо государственное. Теперь же появилась воплощенная "нежить": орда литых, резаных, сочиненных чертей из шерсти и соломы, из чугуна и дерева, меди и гипса расселились по Руси и служат украшением нашего жилища. Кто-то в чугунном черте держит соль — постоянную ёству, и тем как бы невольно причащается, нуждается в "нежити". А давно ли слово "черт" нельзя, грешно было произнести вслух, а не то лепить и резать его обличье.

* * *

Года три тому в ночь под рождество в рязанской деревне я невольно подглядел, как ребята скрадывали колдунью, которая должна была явиться на росстани в образе кошки. Сначала они стерегли окна крохотного, сутулого домка, затаившись в сарайке и дожидаясь, когда вспыхнет там свеча, и примется обавница в полуночь варить свое чертовское зелье. И вот дверь, скрипнув, чуть приотворилась, оттуда скользнула пятнистая кошка; парни выскочили из схорона и с криками принялись охаживать ее дубьем. Но она, изворотливая, явно "нечистая" по облику своему животинка, ловко ушла от расправы под заколоченный на зиму соседний дом. Этого веселья ночным гулеванам хватило до трех ночи, под предлогом святочного гулянья они еще долго будоражили уснувшую деревню. В ободверину "ведьмы" они воткнули иглу: по поверью, колдунья должна завтра захромать...

В той деревне еще верят в покинутого хозяйнушку, что живет в заброшенной избе у озера, потому в окнах будто бы видят блуждающий свет. Якобы над кладбищем на мертвой горке витает голубой дух. Все встречи с "ненашими" обычно случаются возле святого ручья, что метрах в трехстах от жальника. Когда рассказывают, в голосе женщин убежденность, мужики же не верят, все сводят на шутку: де, от нервов все видится, по бабьей слабости. Обычно повести такого рода: "Настя шла из Тумы в Гаврино, заморилась, сил нет. Села отдохнуть, ее в сон кинуло. А зима. И вдруг откуда ни возьмись старичок. Вставай, говорит, деушка. Пойдем, деушка, давай домой. Настя оперлась о старичка и пошла. Ко святому ручью подходят, Настя и говорит: пойдем, дедо, ко мне домой. Куда ты отправишься на ночь глядя? Хорошим чем не накормлю, а картохой накормлю и спать повалю. А старичок-то: не, не, говорит, я в Омляшево пойду. И как ни уговаривала Настя, уперся и пошел прочь. Настя глядит: идет, идет ко святому роднику под горку — и скрылся. После спрашивала, нигде в деревнях этого старичка не видали, не слыхали".

Другая история: "Ехали бабы на лошади. И вдруг откуда ни возьмись мальчик, дитешок, руки по швам. Идет около лошади. Дуська и говорит: "Лампея, смотри, мальчишка". А он белый, прозрачный почти. Лампея-то и говорит: "Идет раз, и пусть идет". Он какое-то время шел возле лошади, а как поравнялись со святым родником-то, он в кусты — и пропал".

И еще было: "Шел мужик, пьяный, правда. Вдруг лошадь откуда ни возьмись. В кошеве девка молодая. Садись, говорит, мужик, подвезу. Он и сел. И тут скоро так поехали. Сани-то о дерево р-раз. Очнулся мужик,

один в лесу, в самой чищере возле святого родника. И ни саней возле, ни лошади, ни девки..."

Таких историй, видно, множество знают еще не старые женщины; они рассказывают о чуде, которое случалось именно с ними, как им виделось, как настигали с шумом на окраине деревни невидимые, то окрикивали, то водили в лесу, то блазнило, то маниха крутила. Я не фольклорист, у меня не возникало желания записывать "чудесное", но по той святой простоте, с какою тут, в центральной России относятся к невидимому миру, мне стало ясно, что с "машинизацией" общества вера в диво не пропадает, не иссякает и интерес к нему, приобретая особый чувственный окрас.

Одна из самых грандиозных досюльных фантазий народа — Святогор, богатырь старорусский. Помните, калики перехожие вразумляли Илью Муромца: де, смерть тебе в бою не писана, но только не выходи драться со Святогором-богатырем, не бейся и с родом Микуловым, его любит матушка-сыра земля. Но погиб-то Святогор, однако, от Ильи. Шутейно хотел языческий богатырь испытать судьбу, повалился в домовину, поворочался — в самый раз, надвинул на себя крышку и стал задыхаться; бился-бился, силился, а сронить не мог. И попросил он названого меньшого брата разрубить крышку. Ударил Илья дважды мечом-кладенцом сначала вдоль, потом поперек, и от того заковался гроб железным крестом. Под ним и погиб старорусский богатырь Святогор. Он не просто в домовине задохся, играя с судьбой, но он рухнул под крестом, выкованным православным Ильёй. Но коли пал Святогор-исполин, то и причинилось Руси великое горе, ибо Микуле Селяниновичу куда как тяжко пришлось после.

Так кто же такой Святогор, что мыслилось народом за ним? Заветы, старинное нажитое предание? память? навычаи? дружинность и согласие? братолюбие и милосердие? Как распечатать нам облик Святогора? Ведь выглядит он по былинам благороднее Ильи: тот и соблазнитель, и велеречив, и хитер. Лишь однажды, задыхаясь, хотел отмстить Святогор из-под крыши гроба Илье, но тут же и повинился, благословил православного богатыря, изросшего из новой веры, которую вдохнули в "сидня" калики перехожие, эти страннические носители православия. А из щелочки домовища великого и широкого пошел мертвый дух...

Значит, все эти былички, что я слушаю в деревенской избе, вера в магию и вампиров, и сверхчутких людей, которые видят сквозь и на расстояние, умудряясь жить в городском вавилоне, что это,— мертвый дух Святогоров, потухающая весть от минувшей славянской природы, откуда доносит лишь легким зоревым отблеском от дыхания уснувшей души? Иль Святогоров дух жив, сочится в нас из дальнего времени, из "широкого и великаго" гро-

ба, препоясанного железным крестом... Вот и другой богатырь досюльный Самсон погиб "от суда Божьего", от развратной дочери Луки. А уж какой силы невиданной был Самсон; если бы было кольцо в небе, за которое бы можно взяться, то и небо бы перевернул. И с ним, Самсоном, не советовали калики перехожие ратиться, дескать, он силы неизбывной.

И так случилось, что новая застава богатырская после крещения Руси как бы осталась бескорневой, не стало у нее поддержки от отичей-дедичей, не к кому пойти за советом, не с кем попечаловаться-порадоваться, испить чашу меду хмельного.

Хоть и достался Илье Муромцу меч Святогоров, и пробовал досюльный богатырь, умирая, вдохнуть своей силы "сидню муромскому", да много ли тому передашь ее, коли весь Илья умещался в кармане кафтана Святогора. В преданьях и старинах крещеная Русь с жалостью и грустью смотрит в минувший мир, в коем сила таилась безмерная, там было не страшно жить, если в охране были такие башни, как Святогор, Самсон и Микула; и не было в той жизни ни лукавства, ни хитрости, ни обмана, все они, рухнувшие опоры народа, были искренни в признаньях и простодушны, широки в поступках и милости, как широко все, свободно и правдиво было и на всей матери-земле. Ведь и рухнули-то досюльные богатыри не от большей силы, не в равном поединке, не в ратях с ворогом, но от лукавства вражьего и хитрости: погинули наши праотичи от чистоты своей и простосердечия. Земной поклон новой заставе, новой богатырской троице, но прежней славы им уж не имать, коли коня Святогорова некому обиходить и совладать, и оттого темь пошла на Русь, почуяли злыдни слабину, разведали проемы и бреши, и полились исхитра на славянскую землю. И мира, что был при Святогоре, уже не стало, и нашло на Русь новое время. Ведь и ангела-то Господь засылал на землю, чтобы изведать силу Самсонову, лукаво предложил испробовать сумочку с мировой тягостью; и мировую тягость взнял Самсон до пояса, но сам по колена в землю ушел. И тут пропал ангел, как и не было, умчался с вестью в занебесье: де, не сладить нам с Самсоном, но надо известь богатыря иным путем. И тогда наслали на него лукавую девку развратную, что выкопала у Самсона очи ясные...

Один из вариантов баллады "Горе" кончается тем унынием, что вообще не свойственно было русским сказаньям, сказкам и побывальщинам, где всегда нашему герою отводилось счастья и света еще на сем свете. Единственно, когда погибал добрый молодец, то от похвалебщины, от игры с судьбою завещанной. Но тут молодцу полный край, а гореванье его не-

избывно, беспросветно, некуда человеку деться от своего злосчастья, прописанного на веку, везде достает его горюшко, сидючи на горбине. И грызет беднягу, и донимает.

Видит молодец: от горя деться некуды,—
Молодец ведь от горя в гробовы доски.
В гробовы доски, во могилушку.
Во могилушку, во сыру-землю.
А за ним горе вслед идет.
Вслед идет со лопаткою,
Со лопаткою да со тележкою.
"Уж ты стой, не ушел, добрый молодец!"
Только добрый молодец и жив бывал:
Загребло горе во могилушку,
Во могилушку, во матушку сыру-землю.

Ведь не случайно в былине о Святогоре наезжает Святогор на великий гроб, а на нем, на крышице, подпись: "Кому суждено в гробу лежать, тот в него и ляжет". Этим кому-то надобно было оправдаться в гибели Святогора, дескать, мужик по бахвальству своему помер, кончился по судьбе завещанной, но, де, нет тут лукавства и вины ничьей. Но ведь гроб-то Святогору был готов заранее, неведомые силы с богатыря уже и мерку сняли, и вырубили колоду, только время улучивали, чтобы заманить досюльного богатыря в западню.

Но отчего собрался Святогор испытать свою судьбу: может, ему и деться было некуда? приперло его самою жизнью? уже и свету белого невзвидел он, несмотря на всю силу небывалую? ведь даже мать сыра-земля его худо носила; знать, брали его приступом, осадою, и, примеряясь ко гробу, он прицениваелся к будущей предстоящей жизни, и поняв, как худо ему придется и неоткуда ждать подмоги, опал духом, и силы покинули его. И тут "пошел из щелочки мертвый дух". Бес всегда действует искушением, а к искушению досюльный, дохристианский богатырь еще не был готов.

Собственно, русский народ в изустной поэзии размышлял над тремя главнейшими спутниками земной юдоли. Горе — судьба — смерть. Они в понимании крестьянина почти срослись: это как бы три главы драконовых. Но тут странное: горе и смерть головы темени, подземелья, теснин адовых, где царствует антихрист, но отчего срослась, примкнула к единому вражьему телу и судьба? Ведь это перст, знак Божий, и дозорит-то за нею ангел в небесном окошке. Значит, и в самой-то судьбе — искус, не подпо-

ра духу, но некий червь, подтачивающий душу изнутри, выгрызающий самую середку. В русском фольклоре горе можно объегорить — это не беда еще; горе один мужик придавил камнем, воспользовавшись туповатостью того; другой — забил горе в тележную втулку и тем освободился от лиха. Оказывается, можно и смерть обвести, облукавить. Но судьбу даже на коне в чистом поле не объедешь. В наших старинах многие добры молодцы находят конец свой от судьбы; они пытаются опровергнуть божественный промысел, и Всевышний карает их за неверие. Значит, душа народа в постоянном раздвоении: с одной стороны славянин принимал судьбу как божественный дозор, но и сомневается в ней, полагая за лукавство, за хитрость. Каждый раз пытается богатырь иль молодец прижать, обнажить, раскрыть лукавство рока — и погибает. Но и народ не зря же уверовал в судьбу и, прижаливая добрых молодцев, искренне любя их, через несчастливую неожиданную смерть дает поучение всяким гордецам и властолюбцам, чтобы они зря чести своей не роняли, силой по-пустому не баловались, над слабыми не измывались, властью не хвалились, гордыню не тешили. В признании судьбы, как досмотрщика, судии, зрячего, всевидящего Ока, заложен добрый, пока никем не опровергнутый урок. Судьба — суд Божий, так понималось народом. Дескать, за всякую неправду, похвалебщину ждет неминучее мщение... Ведь как ни славен был Василий Буслаев, но вот нашел он на Сион-горе косточку сухояловую, да и стал, пересмешник, ее попинывать, а косточка тут и провещись человечьим голосом: де, не пинай-ко меня, Василий сын Буславьевич, и тебе лежать со мною рядышком на матушке Сион-горе век от веку. А Василий плюнул походя на косточку: "Сама спала, себе сон видела!" И скакнул задом через белгорюч камень; скакнул, похваляясь, да и расколол буйную, кудреватую головушку, как грецкий орех. Столько и было его жизни.

Судьба, вера в судьбу — одно из самых прочных, туманных, странных явлений мирового чувства, необъяснимое логикой. Простая жизнь всякий раз разрушает наши представления, наше сопротивление судьбе, как непредсказуемому року и чистому случаю, призывая на помощь действительные истории. Эту, к примеру, историю я знаю от матери внезапно погибшего мальчика.

У ребенка был кроткий, ясный голубой взор. И однажды, когда ему исполнилось пять лет, он сказал матери: "Мама, я скоро умру". Но увидя, как изменилась она в лице, добавил: "Но ты, мамочка, не переживай, я зиму-то еще проживу". И после этого, время от времени, как бы играя, ложился на диван или пол и, скрестив на груди руки, говорил: "Я умер". Взрослые одергивали мальчика, но было странно: ведь он и мертвых-то

никогда не видал. А когда мать наказывала за провинность, он горько плакал: "Мама, ведь я же скоро умру". Кроме таких причуд, в ребенке никаких перемен не виделось, лишь слегка похудел он. Но мать теперь часто вставала ночами, смотрела, как он спит, и так жалко было его отчего-то, что женщина плакала.

И вот весною он бегал с мальчишками на улице; они оказались возле котлована близ соседнего дома. Лужи были на улице, мальчик промочил ноги. И говорит он: "Ребята, я пойду домой". С этими словами он поскользнулся и упал в котлован, полный воды. Ребятишки так и остолбенели у края, нелепо смотря в яму. Не мистика ли? Мальчик сказал: я пойду домой — и упал.

Если по представлению простого народа здесь, на земле, мы временные, то он, пятилетний, как точно выразил его тайную надежду, что там, в занебесье, Дом вечный.

Отец одного из ребятишек пошел искать сына, чтобы затащить домой, видит, малолетки стоят у котлована и смотрят вниз. "Что там?" — спросил мужчина. "Там Димка упал". Мужчина сразу прыгнул в воду, не думая, что там глубоко. Потом нырнул и достал мальчонку. Но он был уже мертв.

Тут невольно поверишь, что судьба есть и предчувствие смерти есть, которое живет в человеке, незнаемо когда и по какому поводу поселяясь в душе.

3

Был на Светлояре в тихий сумеречный денек, долго блуждали проселочными дорогами, пока сыскали после расспросов. А оказалось озеро невдали от тракта, под самым носом. Лежит оно в западинке, в чищере и, как всякое святое, по народным поверьям место, в схороне, чтобы его искать пришлось, чтобы зряшный народец лишь любопытства ради не толокся по берегам, не тащил всякую мерзость с собою в заповедное место. Оно должно открываться, коли сильно пожелаешь, если нужда припрет; и потому не всякий насельщик укажет тебе святыню, но прежде оценит всего взглядом...

Есть святыни на Руси драгоценные по сохраненному, завещательному труду наших предков; безусловно старинные храмы, часовенки, всякое светское и военное строение, крепости и монастыри, подворья, ряды торговые, но и ремесленные поделки и утварь, бесценные не столько и не только материалом (золото, серебро, редкие камни, жемчуг, скань, кость, чернь, резьба, финифть, письмо кистью и пером), но и отраженным,

высоким, незамирающим светом давно отлетевшей человечьей души. (Пусть простится мне за высокий штиль.) Ведь все материальное, сугубо произведенное старательной рукою, ценно первоначально по практической необходимости, а во времени-по завещательной красоте. Ибо красота завещательна. И когда сам предмет источается, ветшает, то красота его передается по наследству и течет во времени. Вот солоница, к примеру: взял жестянку, насыпал соли — и куда с добром, живи да радуйся. И зачем тут причуда нужна, перевод времени? зачем особое старание? Но крестьянин долбил баклушу с длинным хвостом иль утицу, а после наводил резьбу иль расписывал земляными красками, чтобы горело яркое пятно на столе средь снеди на белой холщовой скатерке. (Без скатерти не саживалась за выть крестьянская семья.) И вот такая солоница становится со временем "тем крохотным кусочком просвиры", вместе которые и составляют национальную духовную красоту, то есть святыню, и от которой причащаться возможно всем, нет тут препоны, запрета. Но эта солоница есть и вешка на долгом пути боренья плоти с душою... и единенья.

А есть святыни на Руси, дорогие нам не по сохраненному труду и красоте, но по памяти, по отраженной в них судьбе, доблести и горе-злосчастьицу. Такие сладкие простому сердцу места рассыпаны по всей нашей земле, и они меркнут лишь с угасанием народа, с запустением земли иль с переменою привычек и нравов. Нет смысла перечислять, да и нет возможности называть всяческие горки, гремучие родники, ключи, колодези, озера, оветные кресты, наволоки и пожни; нет того застоpонья, того родимого закоулка на пространном лике Руси, чтобы не сыскалось подле святого особенного места. Это летописная книга невидимых письмен, памятный свиток, по коему сверялся человеческий род, чтобы не растерять во времени добродетельных людей и всяческие исторические события, связанные с судьбою отечества. То есть опять от судьбы деться некуда: это глубоко врезанное, но невидимое слово отпечатлелось в сознании, пожалуй, всякого человека, и даже самый закоренелый реалист не может отказаться от двух слов: судьба и душа.

Таким святым местом для всякого русского остается Светлояр. Когда-то, по преданиям, здесь стоял град Китеж. Батый преследует князя Юрия и убивает возле стен града, но Китеж не достается татарской орде. По одним легендам он проваливается и образуется озеро, по другим — скрывается под землею; иные убеждают, что исчез, стал невидимым. Как всякое святое место, оно овеяно быличками, поверьями, легендами, тою "правдою", что открывается лишь искренним и честным. Кто видал на озере свет, кто слышал молитвы, дозоря на берегу озера в полуночь, кому-то открывались стар-

цы-монахи. Но до недавних пор еще отправляли по глади озера горящие свечи, утвердив их на дощечках; по сю пору тянутся на Светлояр немощные и убогие, по обету за родных, кто выздоровел вдруг, чтобы испить водицы и впитать благодати; уже нет столпотворенья, уже не река паломников, но жидкий ручеек едва змеится к святыне, но и его достаточно, чтобы не замирала высокая легенда, повествующая нам о гибельных для Руси временах (о татарве, о расколе), что взошли на нашу землю...

С одной стороны Светлояра травяные холмы с редким сосновым бором. У каждого холма заветное имя: гора Николы Святителя, гора Благовещенья, Покров гора. Успенью гора, гора Девицам девственницам, гора Избиения младенца. Дальше берега скатываются, озеро утопает в мелколесье, в чищере, в осоте-резуне.

Вот откуда-то накопилось женщин, все больше преклонных лет. Они выстроились о край воды, и плотная старуха с багровым лицом и водительским характером начала пение прегрубым резковатым голосом. Женщины подхватили вразнобой, всякая на свой манер; сквозь хмарь проступило солнце, и озеро заиграло в лад духовному стиху: "Прошу тебя, Угодник Божий, святой великий Николай, прошу тебя меня спасти, ты руку помощи подай... Проси у Господа прощенья за душу грешную мою" (я записал весь духовный стих Николаю Святителю, но здесь нет места полностью приводить его). Женщины подпирали бас начетчицы столь тонкими голосами, зов их был столь немощен, что у меня, стоящего в стороне соглядатаем, не высеклось в душе волненья, что бывает обычно в таких случаях. Разве донесется столь мерклый глас до того уха, куда назначались мольбы? Да и что они могли нагрешить, эти старицы, эти бабицы, что за век многотрудный по темечко наломались, сладко не едали, вольготно не сыпали, не одну реку слез выплакали по ратникам своим, такого лиха хватили с этими войнами и всеобщими бедами, что не приведи Господь другим испытать подобную судьбину. Они вот жаловались, посылая зовы в занебесье, просили прощенья, но не к милости взывали, не умоляли прибытка себе, приварка, особых земных благодатей, достатка и почестей, здоровья и долгих лет. Просили они прощенья "за душу грешную мою". А единственного-то греха, быть может, что слишком пеклись о работе, о родичах, о детишках, чтобы поддержать жизнь свою бренную, а вместе с ней и родины, и мало думали о душе.

Попев псалмы, поклонницы умылись водою из святого озера и ушли в ближнюю деревню, остались лишь горбатая старушка с клюкою и начетчица. Тропою, когда-то набитою и торною, а ныне уже съежившеюся, они пошли вокруг озера, совершая древний обряд. Прежде особо богомоль-

ные, истовые, ползли на коленях. Трижды обойдя озеро, можно получить исцеление или облегчение: такое случалось по преданию, и есть даже новые, последних лет былички, повествующие о внезапном исцелении недужного. Богомолыцицы двинулись близ Светлояра; горбатая старушка подкрепляла себя клюкою, и перемещались женщины едва, часто останавливались и пели псалмы, оборотясь к светлой воде. Где были проточины, ручьевины, седкое болотистое место, там оказались перелазы, переходы: знать, путик хоть и немощно, но соблюдался. Меня долил интерес, мне все хотелось услышать необычное, но вместе с тем и совестно было вмешиваться в интимное, то духовное, что творилось сейчас в сердцах женщин. Я стыдился своей назойливости, и когда старухи останавливались, то отворачивался и делал вид, что занят собою...

Но вот горбатенькой-то, с клюкою, чего еще пытать от судьбы? За детей ли пеклась, о ближнем ли, сердешная, исстрадалась, заветы ли какие снесла к Светлояру? Знать, судьба в народе касалась лишь смерти, кончины; лишь погоста не объедешь на кривых оглоблях, уж где суждено пасть, там и протянешь ноги своей ли смертью, иль чужою. А во всех остальных житейских обстоятельствах человек пытался и со судьбою спорить, он не мог ей довериться полностью, то есть прекратить в себе всякую волю, силу к сопротивлению и безвольно отдаться в руки неизбежному. А вдруг спуталось что? не так сыгралось? не те козыри брошены? Нет, человек не мог так просто довериться судьбе, и только когда приключался с кем-то внезапный уход, скорый, неожиданный и невероятный (утонул ли, отравился ли, иль задавило чем), то говорили: знать, судьба, судьбы не минуешь. Самое любопытное, что человек помнит о роке, о предопределенности как-то смутно и лишь в обстоятельствах, связанных с другими, а сам живет так, будто не властен судьбе, у него особый расклад жизни, и всеобщее устройство мира его не коснется. То есть судьба не живет постоянно в мыслях, не тяготит в текущей жизни, она как бы затаивается, как хозяйнушка иль баннушко, овинный хозяин и т. д. Судьба получила свой персоналий "в невидимом мире" и даже некий одушевленный реальный образ, но не имеющий примет. Я не слыхал в народе, чтобы говорили об обличье судьбы. Судьба жива вроде бы, но и невидима, как реально, но неощутимо само время. Судьба-момент времени, верный слуга его. Значит, есть мир зеркальный ("невидимый мир"), как бы копия с натурального, но есть и зазеркальный мир, куда можно бы отнести и время, и судьбу. Нынче даже и метафоры появились во всеобщем обороте: живое время, боевое время и т. д.

Судьба надевает маски, чужие личины, и может жить сразу в трех мирах: "зазеркальном", "зеркальном" и земном...

***

...Это витое-то гнездышко
Понизу не обложеное
Посередочке не мошеное,
Поверху не шеломчёное;
Нет брусовых белых лавочек,
Нет косивчатых окошечек.
Как были бы, у беднушки,
У мня денежки лежалые...
Я бы съездила, горюшица,
В города бы я во дальние,
На заводушки стеклянные,
Привезла гробы хрустальные.
Положила бы жалобного
Я во комнаты в особые,
Я на леднички холодные,
Чтобы телушко не тратилось,
Бело телушко не портилось.
Когда стоснется да сбиднется,
Я сходила бы, горюшица,
К своему мужу законному
На совет да думу крепкую!
(Из плача по мужу)

Отношение русского человека к кладбищу, прежнее и нынешнее, тоже немаловажная сторона национальной духовной жизни, пусть и покрытая черным крепом, грустная, но имеющая свою странную, тревожную притягательность. В русском слове неминуемо отразилась двойственность к новому состоянию, что настигает человека. Останется от всего трепещущего, живого, страждущего лишь косточка сухояловая, мертвые телеса черви выточат, дожди вымоют, травяные коренья изопьют, через сердце на белый свет у праведника пробьется береза. В русском фольклоре нет уважения к плоти, как требухе, "свинье грязной", чему-то временному; и вся любовь сердечная, вся нежность, все сладкозвучное слово обращено к душе. Она и голубка, и пташица, пуховое облачко белояровое; о ней, о душе, и забота, ее не забывают поить-потчевать сорок дней. И в то же время, уходя, человек украдкою брал с собою деньги, просил в домовину положить иль зашивал в подушечку, что кладут в гроб в изголовьице. Ну ладно —

язычник, у него были другие понятия о природе, о будущем быванье, но православный и по ею пору сряжается на тот свет, как в долгий путь. Ему и деньги-то в могилу бросают, чтобы было чем заплатить за перевоз через реку мертвых.

В понятиях загробной жизни до сего времени есть какая-то отстраненность, намек, смута. Да, лишь косточка остается сухояловая, ничего более, но вдруг?.. Это от других лишь прах и тлен, но я (имярек) обойду всеобщую стезю стороной, найду ту росстань, тот отвилок, который уведет меня иною дорогой. Ведь когда два старших брата ездили за живою водой и молодильными яблоками, то на пути пались им провалища и болотища — и они вернулись ни с чем восвояси, оставив престарелого батюшку в горе. Но младший, Иван, поехал иной дорогою, он отворотил в сторону, его глазу сразу палась та тропинка, что скрыта от черствого сердца, но является добродетельному искреннему взору. Так вот каждый из живущих тайно, быть может, полагает, что он меньший из трех братьев и лишь ему откроется заветный путик; но странное дело, своей жизнью, праведностью поступков и добродетелью он нимало не заботился обеспечить себе будущую награду...

Когда мертвого кладут в могилу, то заботятся, чтобы ему лежалось хорошо, сухо: забота, как о живом. Потому и погосты обычно на высоких местах и называют их "мертвой горкой", "поклонной горкой", "святой горкой". Особо верующие, стойкие стараются не плакать по родичу, не орошать его слезами: де, будет сыро лежать. Причитывать, вопить можно, но без слез чтобы. Бытует даже такая легенда: "Вот несут покойника. Жена плачет над мужем, причитает. Бог открыл окошко своего дома, посмотрел и сказал: "Корова о быке плачет". И скрыл окошко.

Несут другого покойника. Муж об жене плачет. Таким же родом Бог отшатил окошко и говорит: "Бык о корове ревет". Несут опять покойника. Мать плачет над ребенком. Открыл Бог окошко, посмотрел и сказал: "Корова о теленке плачет". И скрыл окно. Ишо покойник. Несут мертвую мать. Плачет ребенок. Бог открыл окошко, смотрит: "Дитё об матери плачет, горюча слеза".

Так сколько же ему лежать: год, сто, тыщу? Если остается от родича лишь сухояловая косточка, то зачем этой косточке деньги, что бросают в могилу, зачем сухое место, дубовый иль лиственничный гроб? Дух же через сорок дней улетает, ему не надо земной капитал для судилища: там будут судить по его земным делам. Кто по повериям народа встает из могилы? Что за третья ипостась, кою обретает человек по смерти? Почему истекший, растворившийся мертвец может по поверьям вызволяться из

земли в прежнем обличье? И сколько лет он не утрачивает этой способности? Из памятной могилы, о которой заботятся, может являться покойник или из всякой, уже задернившейся, похожей на луговую кочку? На эти вопросы народ своими понятиями не отвечал. Он просто верил, что косточка сухояловая это одно, но блуждающий мертвец средь ночи до третьих петухов — это совсем иное. Если во сне к нам приходят давно умершие, живут с нами, улыбаются, ведут беседы, то отчего не думать, что навестил нас близкий человек, прошел, невидимый, сквозь все препоны и, взявши за руку, увел в "Зазеркалье". Ведь во сне мы проживаем не то лишь, что случалось с нами, но и то, о чем не ведали раньше, не слыхивали. Бессознательные, мы совершаем путешествия в самые неведомые миры, где обитают давно ушедшие от нас люди.

Что это за "тот свет", о котором столько поверий? Если говорить о душе, то по народным представлениям она попадает или в рай, или в ад. Ну если ей угодить в ад, то кипеть ей в котле со смолою иль лизать сковородку до судного дня. Ведь черти не отпустят православную душу из своей власти, они с удовольствием помучают христовенького, коли сам Господь отдал на растерзание грешника. Ну из рая Вседержитель, я полагаю, тоже не дает спокойного хода. Так что же это за "тот свет", где доведется быть усопшему? Это какой-то странный мир, то самое "Зазеркалье", которое народ внятно иль не мог, или не решался объяснить. Но "тот свет" народ полутуманно, с намеками, недоговоренностями отделил и от рая, и от ада. О "том свете" много легенд, поверий, сказок, быличек. Это тоже "свет", но отделенный от нашего, земного, невидимой, но непроходимой для смертного стеной; это не отражение нашей жизни, но вовсе иное состояние, куда уходят лишь после смерти. Чаще всего он представлялся где-то под землею, но не в занебесье, не в горних вышинах, куда ведет лестница. На тот свет молодец попадал обычно через колодец, через провалище в земле, через лаз, через пещерицу, долго блуждая мрачными переходами, преодолевая заграды и препоны.

С. В. Виноградовым была записана легенда. "Одна мать долго плакала о молодой умершей дочери. Приближался великий праздник. На исповеди мать сказала священнику: "Грешна я, батюшка, тем, что через дочь забываю молиться". Затем прибавила: "Я хоть сейчас бы рассталась с жизнью, только бы увидеть ее". Священник ей сказал, что свою дочь она увидит, если останется одна в церкви ночью перед праздником Пасхи. "Только может случиться смерть от сильного испуга",— предупредил священник. В великую субботу вечером пошла мать в церковь, спряталась там за печь. Стемнело, наступила ночь. Мать терпеливо ждет свою дочь.

Вот вошли покойники в алтарь. Все идут поспешной поступью, позади с трудом поспевает девушка с двумя ведрами воды. "Это ты, доченька?" — спросила мать, выходя из-за печки. "Я, мама".— "Что же ты, хуже всех, что несешь такую тяжесть?" — "Не хуже, а твои, мама, слезы сберегаю".

Дочь просила больше не плакать: "А то тягостно жить на том свете от материных слез".

Именно загробную жизнь так расчленил, зашифровал народ, ибо он, приняв православие, в душе остался язычником: ему было непонятно отрываться в занебесные выси, в какой-то неэнаемый рай, пусть там и плодоносный ухоженный сад с молочными реками и кисельными берегами. И туда крестьянин отправил душу свою, серебристое облачко, пар, эфир. Но возросший из матери-сырой земли, росток ее, дитя непослушное, он не мог вот так просто отказаться от земли по смерти, остаться лишь сухояловой косточкой, которую каждый сможет через века попинывать небрежно. И тогда человеку открылся "тот свет", он оказался куда ниже могилы, в самых недрах земли, окруженный неистовой "бесовской ратью", всякими чудищами и скверною, гнусом, жабами, насекомыми, змеями, всякой ползущей, пресмыкающейся тварью, кусающей обычно тайно, исподволь.

Почему человек "тот свет" поместил в самом гнездилище мерзких тварей? Ведь туда неминуемо угодят и праведники и злыдни. За что славянин уготовил себе такое отвратительное "будущее житье"? Да опять потому лишь, чтобы обуздать, наказать "смердящую плоть" свою, от которой столько на миру греха и скверны, и самое ей место с бесами рядом, ибо вся эта орда была исторгнута похотью и всем тем низким, на что побуждает ненасытная утроба, ради своих инстинктов, сладострастия, посягнувшая на мать-сыру землю.

Именно в отношении народа к смерти, в мировоззрениях его на жизнь будущую больше всего неясностей: здесь-то и сохранился нетронутым мифологический, предавний мир, мир нашего всеобщего детства. Новые понятия наложились на прежние, создав запутанный клубок сложнейших чувств.

Волшебная сказка чаще всего отражение "того света": потому "сказка — вралья, песня-правда". В загробный мир верили наши предки искренно, отчетливо представляя его, как сознают свою пашню, укос, жену с приплодом; но в то же время сказанья о "том свете" называли выдумкой, а бахаря, баюнка — вралем. Волшебная сказка хранит с языческой поры лишь память о перевертышах, оборотнях, тот костяк, мясо вокруг которого всегда наворачивается новое, и шкурой обертывается становая кость всякий раз иною, и фантазия зависит не только от времени, но более всего

от живости натуры рассказчика, от текучести его души, коей свойственно витать Бог знает где и забываться от умения лить колокола, крутить всякие завиральни, вить словесную паутину не только по легкости непостоянного сердца, но и от мистичности, суеверности всего существа, склонного к предчувствию, видению, гласу, зову. В сказке "Волшебное кольцо", записанной в двадцатых годах нашего века, на сцене те же расхожие маски: король с королевой, их дочка, сын бедный Ванька — "дураково поле" с матерью. Но ведь сказка начинается уже с того, что Ванька пошел в город за пенсией материнской в одну копейку и повстречал мужика, который собаку давит: и так мало в сказке того стародавнего голосу, когда предок наш поклонялся богам.

И все же это волшебная сказка, и все случающееся в ней — потустороннее, увеличенное чудовищным стеклом иль перевернутое наоборот. Только в сказке Иванушке-дурачку может помочь колдун с "сивой буркой-вещей кауркой", змея и баба-яга, оборотни, с легкостью меняющие кожу и личину. В сказках люди живут как бы в "Зазеркалье", душа у них вынута, изъята; и даже все несомненно добрые и щедрые поступки случаются на уровне плоти, чрева, личного богатства, чисто житейских моралей, когда обязательно присутствуют оборотни, нечистая сила, бесовщина, с которой наш герой вступает в легкий бесхитростный сговор. В них редко бывает совесть, сочувствие, сострадание, ибо для бесовщины главный враг — совесть. Помните, в сказке "Волшебное кольцо" все богатство Ваньке — "дуракову полю" приносит змея Скарапея. Но даже и за принесенное богатство у матери Ванькиной нет к змее благодарного чувства, она не могла подавить отвращения к "змеиного царя дочери". "Мать этой Скарапеи не залюбила. К обеду не зовет, по отчеству не величат, имени не спрашиват, а выйдет змея на крылечке посидеть, дак матка Ванькина ей на хвост кажной раз наступит".

Значит, в размышлениях народа присутствует могила, а с нею и косточка сухояловая, "тот свет" с тварями и чудовищами, рай с ангельским пением и ад с огненными банями, где мучаются прелюбодеи, отцеубийцы и клятвопреступники. Для плоти — два состояния и для души — два мира. Но, видимо, еще возможны переходы из одного мира в другой со всеми злоключениями, и не в этих ли мытарствах всевозможных и заключена философия нашей сказки.

Если посчитать "мир невидимый", населенный нечистою силою, за потусторонний, то нельзя не принять орду призраков, рожденных народной фантазией, за человечьих оборотней-злыдней, за тех жестокосердных людей, что надели по смерти новую личину и даже теперь не оставляют доброго человека, вторгаясь в его живую жизнь.

* * *

Мы не знаем истоков этого суеверного ужаса, но одно верно, что библейский змий-искуситель был в колене родства каким-то дальним родственником того чудища, что населял родимую землю в достопамятные времена и всячески измывался над дальним нашим предком. Но как же случилось, что "змеишшо", "идолишшо", "горынишшо", самые немилосердные враги русского народа, вдруг оказались в помощниках, благодетелях несчастненького христовенького? Ведь с незабытных дней, уходящих в детство народа, не было милосердия к тайно ползущему, исподтишка жалящему гаду, насельщику гнилых болот, колодин, каменных расселин и черепов. У змеи нет чувства признательности за кров и еду, она отличает средь прочей живности лишь свое отродье, она расселилась тайно, но как бы над всем, и потому жалит и своего благодетеля, если припрет такая нужда. Даже волхв, древний кудесник, живший по природным урокам, ничего не мог поделать со змеею и, упредивши обреченного, лишь покорно дожидался исхода, как неминучей судьбы. Вещий князь Олег Святославович, покончивший с хазарами, нашел венец мученический от змеи, схоронившейся в черепе коня. Это была как бы явленная, давно уготованная кончина, о коей Олег наслышан от кудесника, но словно бы путами опутанного и безвольного приневолили неведомые силы посетить останки любимого коня. Мгновенный удар змеи — это будто бы не только рок, судьба, но и месть, неизбежная от хазар, попавших под безжалостный меч князя. Хазарин — обавник, оборотень, чаровник, его колдовская сила куда сильнее воли и знаний нашего волхва, и против его змеиной личины бессильно будто бы всякое доброе сердце. Змея в исполнении своего замысла использует и любовь.

Огнедышащий "змеишшо" как кровный враг, как демон черного плаща вошел в русскую былину. Коварный ли хазарин, иль безжалостный печенег, иль стремительный половец, немой к состраданию — все они по отъявленной лютости, видимо, и коварству были сородичами змию и для русского народа шли под одной личиною змия, которая позднее стала карнавальной маскою. А возьмите народный театр Востока и Африки, где легко угадывается тот же инстинкт древнего страха перед драконищем многоголовым.

Сраженный копьем драконище, этот гад ползучий — есть побежденная тьма души своей, некое достижение света и мира внутри себя после долгой борьбы за устроение себя.

Когда на выручку язычника (по религиозному сюжету) явился Геор-

гий-змееборец, народ уже исстрадался от Горыныча, уже конец ему настал, полный край, ни управы не сыскалось, ни сил, ни защиты, черная темь опустилась на светлую пречудную землю. В одной из легенд сообщается о несчастье так.

Был в древние времена один город, под названием Гевал, в стороне палестинской, и был он очень большой, и множество людей в нем жило; и все поклонялись идолам, почитая их согласно преданиям и по царскому повелению; отвернулись они от Бога и Бог отвернулся от них.

Около этого города было великое озеро, весьма полноводное. По вере и делам их воздал Бог: появился огромный змей в этом озере и, выходя из озера того, жителей этого города поедал. Некоторых свистом своим умерщвлял, других же, удушив, утаскивал в озеро. И была скорбь великая, и плач неутешный в городе из-за этого зверя...

"Напустил Господь страсть великую, Страсть великую, змию лютую. Стала змия просить по головы, По головы по скотининой. Ай скота во граде мало ставится, Мало ставится да приедается. Ай стала змия брать по головы, Ай по головы да по лошадиныя. Ай кони во граде мало ставится, Мало ставится да приезжается. Ай стала змия да жать по головы, По головы по человеческой. Ай народа во граде мало ставится, Мало ставится да оставляется..."

Но тут появляется Егорий Храбрый и заклинает змия. По воле Георгия царевна ведет змия на своем поясе в город, все в ужасе разбегаются. Тогда Георгий-змееборец предлагает горожанам-идолопоклонникам: или они тут же уверуют, примут христианство, или же он напустит на город змия. Горожане выбирают христианство вместо погибели, Георгий убивает змия и в пятнадцать дней крестит сорок тысяч человек.

Я не буду вспоминать об этике, с какою внедрялось христианство: карающий меч рыцаря-крестоносца поразил не только старинные капища, но и несметные головы. Ведь жители города, сдавшись на милость Егория, сохранили животы свои, но предали душу и нрав, и обычай предков. Но вернее, они затаились в немоте своей и раздвоились, ибо измена преданиям не проходит бесследно...

Любопытно, что змея, как символ неистребимого, ненасытного чудища-горыныща, искусителя и совратителя, перекочевала из храма языческого в православный.

Бой Пересвета с Челубеем есть схватка света с тьмою, есть нескончаемый поединок внутри нас, и трудно взвесить на чаше весов, чья победа перевесит, и миг торжества, подготавливаемый всею жизнью, бывает зачастую очень краток.

Челубей (в народном понимании) — змеищо-горынище в человечьем обличии.

Змей-искуситель столь текуч, коварен и искусен, что неприметно с мировых побоищ он ускальзывает в грудные крепи, прободает там незримую нору и заселяется, исподволь точа и жаля нас.

Змий — это и целый храм мрака, некоего противного свету темного духа, так представлялось народам, и переменчивые, злоискусительные слуги его часто незримы, и вся скверна на миру наступала лишь от них.

Странно, но вместе с православной наукою, с церковным знанием и Егорием-змееборцем перешли в Русь через порубежные земли и "отреченные", "отметные" книги из Византии (средоточия веры), и от еретиков-латинян всякие астрологические сборники астрологов, звездочетцев, родословий, сновидцев, чаровников. Проникли к нам "Зелейники" — описание волшебных и целебных трав; "Путники" — приметы и предзнаменования о встречах в пути; "Трепетники" — истолкователи примет, основанных на трепете различных частей человеческого тела (аще верх главы потрепещет, лицо или уши горят, во ухе десное и левое пошумит, длань посвербит). Всеми этими толковниками, в основе которых была всяческая бесовщина, требовалось доказать, что жив "курилка", не свергнут змеище-драконище Егорием-храбрым, и не будет ему кончины во веки веков.

А что сказать о язычнике? Ему христиане всяческих собак навесили, каких только грехов не насчитали, злобясь и нескончаемо помня о прошлом, и теша в груди своей месть; какие уж там Христовы заветы о прощении заблудшего, о смирном пути его в лоно церкви, всякая заповедь добра позабыта мстительным сердцем. Вот коли не окрестишься, то будешь пожран змием, и не сыщется тебе, заблудшему, схорона и защиты. Церковь не освободила человечество от змия, но всеобщим вниманием к нему, неустанными проклятиями по нему как бы приковала слабого человека к чудовищу, и так они не столько борются, но, пылая ненавистью и обоюдно страшась друг друга, тянут в разные стороны, силясь порвать цепь. Им бы разминуться, расплеваться, разбрестись по сторонам земли, но куда денешься на тесном пространстве собственной души, обуреваемой сомнениями и муками. Деться некуда. Одна надежда на свет, что он растопит тьму, рассеет мрак, под покровом которого так празднично всякому содому.

Но неуж наступил ныне мир? Нынче "чаша, обвитая змеею",— знак телесной радости, исцеления и благополучия, врастающий в наше сознание исподволь, как истина; сотни книг о всяких гадах, змеях, крокодилах; черти и бесовское семейство, все родичи великого змия уже не сходят с экрана; перед нашими детьми змей рисуется, как источник миролюбия,

добродетели и мудрости, и весь живой мир (мартышки, попугаи и слонята) с любовью взирают на очкастую; по длине ее распластанного тулова измеряют собственную значимость на земле.

Русскому сознанию куда ближе кормильцы — корова и лошадь, спутники — собака и кот. Источником же жизни, духовной и телесной, всегда был цветок. Цветок над чашею, отдающий нектар...

Нельзя же ради чаши со змеею, испускающей туда яд, уничтожать Егория-храброго, поражающего копьем змия, гада, покусившегося на всё святое.

Но, о, нравы! Мать Ванькина (сказка "Волшебное кольцо") еще была полна отвращения к змее Скарапее и терпела ее в своем доме только из русского сострадания к обездоленной, сироте, брошенке, несчастной; но сын ее уже с бездумной легкостью пользуется подачкой змеиного отца, этого сатанинского слуги, продает ему с легкостью душу, чтобы добыть земные блага без труда и забот.

* * *

Клад и кладбище — одного корня, как одного корня слова хоронить и хранить, скрывать и сокровище. В многозначности их и кроется вся сложность иной жизни, что открывается, по представлению наших предков, усопшему за вратами гроба. Гроб — это домок, домовище, изба, колода, терем, сруб, а позднее — тесовая "одежа", "бушлат".

Кладбище в чувствах русского народа не только и не столько место захоронения — какой уж тут клад в покойнике, которого надо схоронить, погрести. Но может, "сухояловая косточка" истинный клад? Клад памяти, нерасторжимости, единства человечьего древа. Это мой сугубо писательский домысел, некая красноречивая метафора, особенно прилегающая к сердцу в наши годы, когда мы залюбили рассуждать о единстве человечьего древа, почуяв шаткость почвы и странную податливость его корней, способных сдать под ветровалом. Для нашего предка "красная горка" была и погостом, и жальником, и местом воспоминаний в родительские дни, но она была и кладбищем, ибо возврат родича, который на долгий отдых повалился, обратно на землю, в родимый дом, мог случиться только отсюда, из ямки, из погреба, из могилки, ибо здесь покоились его останки. "Покажись, приди, надежна мне головушка, хоть с-под кустышка приди да серым заюшком, из-под камушка явись да горносталюшком... Ты по-старому приди да по-досюльному, большаком ты в дом приди да настоятелем".

"Сухояловая косточка" должна была, по поверью, каким-то неиспове-

димым образом слиться с тою тенью, что обитает на том свете, и с душою, что белым голубем слетит на землю с горних хрустальных вышин. Потому все эти ямки, могилки на мертвой горе и были бесценным кладом, куда большим, чем сокровища мира, на которые нельзя, невозможно состроить, повторить, слепить родного человека. Из них, из этих ямок, встанут праведники в день второго пришествия Спаса: таково поверие смирной и мечтательной русской души.

Я понимаю всю уклончивость, ненаучность моей метафоры, а потому нет нужды оспаривать ее; вероятнее всего, клад, как схорон презренного металла, явился куда позднее в сознании народа в сравнении с кладбищем; схоронить надо награбленное, утаить его столь же навечно, невозвратимо, надежно, утайно от чужого завистливого глаза, как погребают усопшего. Он тут, в полуверсте от печища лежит в белояровом песке, но уже невозвратен, недостижим. Этот образ вероятен и конкретен, но мне не хочется думать, что слово "кладбище" появилось от действия "складывать", относить прочь, как что-то лишнее, ненужное, вовсе бросовое для живых... Ну да пусть простится мне такая вольность в истолковании метафор.

Приукрылся нонь надежная головушка
Во матушку ведь он да во сыру землю,
В погреба ведь он да во глубокие!
Призарыли там надежу с гор желтым песком,
Накатили тут катучи белы камешки!
Позабыла я, кручинная головушка,
Допроситься у надежной у державушки:
Когда ждать в гости любимое гостбищо?
Во полночь ли ждать по светлому мисяцу?
Аль по утрышку да ждать по красному по солнышку?
Аль по утрышку да ждать тебя ранешенько,
Аль по вечеру да ждать тебя позднешенько?
Не утаи, скажи, надежна мне головушка...

К погосту в русском народе отношение противоречивое. Казалось бы, коли родич должен вернуться в лоно дома из ямки, то и пестуй могилу, ухаживай, прибирай, доглядывай за нею?

В Поморье есть кладбища прямо на болоте, средь тундрового стланика (Койда, Семжа, Мезень и т. д.). Прежде ставили кресты саженные, из лиственничных плах, строго выверенные по компасу-матке; далеко видимые с моря, они служили и вехою в долгом пути. Чаще на кресте ни фами-

лии, ни изотчества, редко когда иконка выговского литья иль половинка складенька. Самые старые намогильники — полуметровые столбышки, затесанные в вершинке как бы под крышу, под скат; эти меты скоро трухлявели, опадали, могила превращалась в моховую кочку, ее обметывало ягодником-сихой, брусничником; порою болотина проваливалась — и зияли под ногою черные торфяные провалища, в темени которых смутно желтели останки поморянина. Ни ограды вкруг могил, ни скамеек, ни жестяных венков, ни бумажных цветов. Если где повыше место, то сразу зарастал жальник высокой травою, смородинником, тут же наступали грибы и малинник; ягоды и грибы обрывать было грешно и страшно, как бы что красть чужое, недозволительное. В Семже много староверческих крестов в виде весла, покрашенных в голубую краску.

Не в русском обычае было в старину ухаживать за погостом, благородить его, словно бы каждая могилка была в особом секрете, ее знали лишь родичи, а им не требовалась письменная подсказка. Деревни были крохотные, в десять-двадцать изб, росла она по времени от одного насельщика и редко когда сиротела вовсе, разве что пожар вчистую сводил селенье; но тут же строились заново, не изменяя погосту. И потому он помнился долго по изустной памяти, как помнилось всякое древнее сказанье. Всякий раз находилась спорядовная столетняя бабка Кычка, которая помнила не только старины, но и всех, кто лег в погребицы. А как было не помнить, ведь каждому из живущих тяжело было подумать, что придется лечь где-то вдали; но всякий полагал лечь непременно рядышком с родичем иль в головах, в ногах, по правый, по левый бок.

Мы часто обычаи и верования предаем сомнению, как нелепые привычки стариков. А ведь всякий обряд укоренялся сотни лет, у него были свои уложения и справы, позволяющие поддерживать обычай в силе и согласии. Куда легче почитать себя мудрым, чем прислушаться к прошлому времени и уловить в нем отзвуки родства и единомыслия. Еще во второй половине прошлого столетия две Руси, так далеко разминувшиеся от росстани в своем взрослении, вдруг почувствовали нетерпение природного родства и желание возродить его; и с лихорадочной поспешностью образованные кинулись в земляную Русь, чтобы понять общую прародину, и восхитились ею. Но всегда в таких случаях возникает сувой, встречный поток, два течения смешиваются, затевают возню, кто кого осилит, и в том морском месте постоянно живет беспорядочная волна-толкунец. Суденко, попавшее в сувой, в эту болтанку, нередко теряет руля и гибнет. И вот второй-то поток образованных сограждан, потерявших всякую слитность с Русью, подогреваемый ущемленным честолюбием и туманными пока

идеями грядущего братства и добра, принялись ругать все вековое, народное, традиционное, предавая Русь охулке, пересмешке, издевкам. И не было, не оказалось ничего такого, что бы не перевернули они изнанкою, не перетряхнули на всю Европу, тем самым гласно ограждаясь от своего народа, из коего вышли. И даже кладбища, те самые погосты малой земли своей, куда стремилась по смерти попасть под крыло родителей всякая православная душа, так даже русские погосты своей извечной неприбранностью возбудили в этих интеллигентах отвращение, и они снова увидели через эти приметы все: "вырождение, леность, апатию, невежество и беспробудное пьянство русского человека", коему будто бы было невдомек понятие памяти и чести. И что греха таить — эта встречная волна непонимания характера русского народа, его традиций и обычаев, достигла и нашего времени, и поныне слишком много по большим городам ревностных и нетерпимых оценщиков Руси, подвергающих ее всяческой "праведной" хуле...

А ведь действительно, не принято было чистить кладбища от павших древних крестов, от всякого древесного мусора, бурьяна и травяной ветоши, той чертоломины, что нарастает на жирной кладбищенской земле. Но ведь не от лености же не убирали, не от беспамятства, но из боязни, что на деревню обязательно кинется страшный мор иль зараза какая и выбьет народ дотла. И приводят примеры, когда случалось не раз подобное, и даже уговоры священников не достигали разума паствы, стоящей на своих вековых убеждениях. И новое кладбище потому не затеивалось, что обязательно в этом случае кинется на починок пагуба, сатанинское поветрие и выкосит печищан. Но уж коли прижимало и требовалось затеять новый погост, то прежде хоронили кого-нибудь чужого, пришлеца, что отдал на деревне Богу душу.

Сейчас нет нужды бороться с привычками прежней Руси: наши погосты, как полки пехотинцев, подобранные по ранжиру, вывеске и покрасу, словно перекочевавшие с иноземных земель, уже ничем не напоминают ни славянского, ни крестьянского, ни православного захоронения своею холодностью, казенностью и устроением; видно, упорядоченная государственная машина обеспечила и здесь должный порядок; как и во всяком учреждении, на нынешнем русском погосте свой ряд, свое место, высота и роскошь намогильника доведены до каждого; даже на место вечного покоя, на мертвую горку по большим городам попадают лишь по регламенту, штату и персональному чину. И всюду ограды, решетки, окровавленные от ржавчины пики, будто каждого по смерти не отпустили на волю, но навечно заперли в надежную клеть. Да чинный нрав поначалу перекочевал к нам на кладбища, ну а после...

Был я в деревне Мериново (Горьковская область), на старообрядческом кладбище, куда свозили по завещанию со всех сторон России. Кладбище на крутом берегу Керженца. Как-то глухо, сумрачно, печально на этой горке, обнесенной деревянною оградой. Над головами вековые сосны плывут в занебесье кудрявыми папахами, щеглы поют, травой закидало жальник: ни частокола железных оградок, ни венков, ни прочей кладбищенской мишуры, ни натоптанных глинистых, запутанных тропинок, когда не знаешь, как протиснуться меж клетей, ни иконостаса фотографий. Какая-то особая тишина здесь, даже мало похожая на кладбищенскую, тишина покоя, вечности и еще чего-то надземного, когда всякая суета слетает шелухою, и не бренность нашей жизни вдруг встает пред тобою, но надмирность, некая вечность освобожденной, уже не томящейся в грудных крепях души. А где-то глубоко внизу, в буераке, в лощине, поросшей мелколесьем, мерно шумит река, та самая река мертвых, отделяющая мериновский погост от прочего мира. Но самое любопытное — намогильники. Порою обычные восьмиконечные кресты, сбитые из плах, но чаще — словно бы веретена точеные, с обязательной крышицей; и вот эти-то веретена издали так похожи на языческих идолов. Может, в них отразился дальний, почти забытый памятью отголосок языческой веры? Не хватает лишь неискусно, грубо врезанных ножом глаз и подобья носа, и длинного узкого рта, обмазанного кровью. Есть кресты-столбушки, что в частом быванье у меня на родине, а то и просто колышек с покрышицей, чудом держащейся на тонкой верхушке. И ни имени, ни даты, ни фотографии; кругом безмолвно, безгласно, покорно, тихо, и только по кладбищенской ограде с добротными двустворчатыми воротами и набитою дорогою к ним можно понять, что сие место в постоянном призоре. Сколько тут крестов, шеренги крестов — и более ничего: все прочее, суетное, всякая бренная шелуха позабыта в миру. Пахнет прелью, землею, желтой водою Керженца и тем сладким, муторным духом тления, что роднит все кладбища мира. Некоторые кресты упали, едва проступают сквозь траву бесформенные могилы, поросшие земляничником. За рекою чащинник, черный спутанный лес, и из-за него, как из другой жизни, возвещает петух. Вот и все...

Пожалуй, нынче на нашей земле это единственное истинно русское кладбище, своими обычаями уходящее в далекую глубину веков. Так как же осознавался моим далеким предком печальный погост? И как понять мне русскую, так ускользающую от взора душу? Когда-то на погосте пели и плясали, провожая сородича, чтобы слеза печали и горя не прожгла ему тела, не принесла скорби и непокоя в замогильной дороге.

Теперь мы все плачем и стенаем, а погосты наши меж тем похожи на бетонные молчаливые города. Тщанием и обиходом за могилою мы словно бы снимаем с сердца тяжкий грех.

* * *

Из простой судьбы

Потонул рыбак Василий. Был у него друг Михаил. Перед тем как утонуть Василию, Мишка двое дён выгулял на гостьбе, все на гармони играл: игрун был и плясун. А как узнал, что друг утонул, то ушел в лес и двенадцать дён бродил... Его утеряли, искали всем народом, звонили в райцентр и оттуда вертолет на поиски посылали — и не нашли. Он вернулся сам на двенадцатый день, и не узнать его было, настолько выхудал парень. Мать спрашивает: "Ты откуда взялся?" — "Из лесу". — "А чего ел?" — "Ягодой питался". Мать позвонила в больницу, и его положили в палату. Через два дня Василия нашли. Виснет в берегу на кусту, ульнул за еловый выскорь, и ничего с ним не переменилось. В нагрудном кармане в целлофане сохранились документы. Пришли в больницу и сказали Мишке, что друга нашли. И с ним стало худо, и принялся он буянить. На него надели смирительную рубашку и отвезли в город.

4

Есть на Севере креневое, свилеватое дерево, растущее обычно чуть накренясь, в обособицу, с закрученной винтом болонью: такое дерево долговеко, неизносимо, и пользовали его поморы обычно для кокоры (киля) на карбас, ведь каков становой хребет — такова и посудина.

Федор Абрамов был росточка не особенно видного, как говорится, слегка прибит северным морозом, суховатенек, как бы припален изнутри постоянным огнем, жиловат, с черноволосой победной головушкой, но отчего-то при виде его мне постоянно вспоминалось креневое долговекое дерево, ибо какой-то неистрачиваемою силою веяло от мужика. И когда до меня доходили вести, де, Федор Александрович приболел, де, хворь его точит, то я по обыкновению сомневался, полагая, что это блазнь, сказки несведущего человека, иль сам Абрамов насочинивает на себя по той старинной примете, что живет в народе — "Бог любит, когда плачешься".

А ведь была какая-то хворь, точила, выедала нутро, но по привычке, свойственной русскому мужику, все откладывающему на силу "авось",

Абрамов, видно, полагал, что авось перебьется, переможется, сам недуг как-то выльется вон, если не думать о нем, если задать себе высокий градус работы, с этим жаром сердечным и выгорит телесная болячка.

Несмотря на всю ученость, Абрамов и "говорей", и "похмычками" (повадками), и походкою, и вспыльчивостью (натурою) оставался мужиком, но не тем мужиком, что с головою ушел в пашню, не видя неба, не замечая всех особенностей и прелестей жизни. ...Он больше походил на деревенского философа из Тверской губернии Василия Сютаева неутомимостью в делах, мыслях и чувствах. Такие мужицкие философы по обыкновению водились по всей Руси, их и нынче, коли глубже копнуть, найдется во всяком уголке обширной провинции; он обычно живет в обособицу, как бы отстранившись от печищан, слывет чудаком, с которым нет-нет и захочется излиться всякому, затомившемуся душою человеку. Мужицкие философы не были побиваемы камнями, как пророки, их не затачивали в земляные ямы, не садили в каменные мешки, не испытывали крепость на костре. Но сама одинокая, полная размышлений жизнь, на кою подвигают себя эти люди, есть медленное пожирающее пламя, ибо муки, коими живут они,— это муки за всех, им так хочется порадеть близкому человеку, видеть радостным его лик, чтобы родной однодеревенец разогнул наконец плечи и всмотрелся в себя. У деревенского философа много иллюзий, когда он пытался отыскать Закон Правды, и мир, в котором он обитал, зачастую был непонятен, а то и чужд народу: ведь не всяк хочет, чтобы к нему в душу лезли со своим, пусть и благодетельным уставом. Мужицкий философ всегда старается задеть мирно дремлющую душу, уязвить ее, возбудить к беспокойству и мыслям.

Абрамов — уникальное явление в русской литературе, по всей интонаций прозы он воистину народен; неисповедимыми путями он уловил ту музыку, что разлита над землею, что роднит нацию, соединяя ее в монолит, передаваясь в слове от души к душе. Всяк русский человек, от кухарки до генерала и министра, читая его романы, найдет строки, где умилится душа, где вознегодует, а где и восплачет, рыдая, ибо в написанной книжной жизни многие увидят отголоски личной судьбы. Абрамов запечатлел всеобщую и личную память; сладкое и горестное, оказывается, не отшатнулось с годами, не заросло забыть-травою, не задернилось; оно вот, рядом, стоит лишь открыть романы пинежского черноволосого мужичка с горящими и тоскующими глазами. Как паломник, пилигрим, калика перехожий, оветный странник, постукивая посохом, Абрамов проследовал по национальной судьбе от истока до кончины; и эту литературную судьбу многие из народа восприняли как свою, глубоко личную, настолько точно она оказалась запечатлена.

Но на родине, на Севере, напечатали книги Абрамова, когда земляк стал славным на все Отечество, когда уже ни с какого боку нельзя было поджидать окрика и оговору, а до того больше шпыняли писателя, учили публично, как вести себя, чиновничий люд, прикрываясь именем народа, писал доносы, ставил на ковер и пытался публично уломать корневого, креневого человека. Но Абрамов не гнулся, сознавая себя со временем как становую хребтину российской державы; из мужицкого философа исподволь прорастал пророк и радетель, он горел нетерпением переменить бытие, до отвращения наскучившее своей неправильностью. Абрамов не дождался последних перемен, но он далеко до нынешних устроении предвещал их; он устал от той "неспустихи и неткеихи", что воцарились по всей земле русской, а потому возбужденно требовал "глубокой вспашки" от всех и разом.

Мы с ним "лаялись и собачились" не однажды, характер наталкивался на характер, горячка доходила до той степени, когда казалось, нам больше и не дружиться, и не видеться более. Но проходило короткое время, и, наезжая в Москву, увидав меня еще издали, он с открытою душою, раскинув руки для объятия, чуть враскачку шел навстречу и горячо обнимал, целуя по-русски, не помня былой при. Как понимаю сейчас, Абрамов был отчаянно одиноким человеком, несмотря на такую пространственную славу и почет; ему хотелось единомышленников, хотелось отогреться сердцем у искреннего, радушного камелька, у честной души, не занятой лишь собою. Он искал, он "вербовал" союзников, дружинников по мыслям и устремлениям.

Видимо, что-то не устраивалось в работе, когда однажды нашел я Абрамова темным, злым, с желчно опущенными углами рта, с волосами, рассыпанными по лбу; он тыкал вилкою по блюду, не замечая, что ест. Принялся яростно упрекать писателей, что они заелись, ушли в скорлупу, обожрались икрою и сливочным маслом, когда народ вот так худо живет, народу невмоготу и т. д. Я кинулся с горячностью защищать писателей, ибо судьба нынешняя русского литератора не так благостна и сыта, как кажется иным, говорил, что писатель ныне — изгой, а зарплате поэта не позавидует и дворник. Что он и пьет-то порою потому, что живет кое-как, не видя к себе участия и заботы, и что всякий русский писатель не растерял искреннего сострадания к народу, несмотря на все личные неустройки. Но Абрамов меня не слышал, его душа томилась, наверное, от своих раздумий, ему хотелось прилюдно кричать и звать к переменам. Тогда мы холодно распрощались, но через месяц, при встрече, он был снова иным, внимательным, участливым и предлагал помощь...

Тверской философ Василий Кириллов Сютаев обратился к народу с проповедью, видя, как пропадают извечные заповеди: возлюби ближнего, как самого себя, лишь любовь спасет отечество от разрухи. А Федор Абрамов воскликнул в горячке, видя неустройство: "За что любить тебя, народ!" И осудил. Написал письмо землякам из добрых побуждений. И вместо того, чтобы, как всякий философ, себе самому задавать вопросы и пытаться ответить на них, он стал задавать вопросы всему народу, ожидая — ответа? иль покаяния? иль признания? Как в той песенке: "Стань таким, как я хочу..." Многие восклицали сей призыв иль каприз, но душа народа — это не конская сбруя, кою можно шить и украшать бубенцами и бляшками по своему усмотрению, а после натягивать на лошадь, любуясь поначалу, как выглядит справа, но после погоняя скотинешку по бродной рухнувшей дороге. Душа народа необъяснима и неизъяснима, она может погружаться в спячку, но даже и в это мерклое время пытливо и внимательно горит ее недремлющий зрак, стерегущий от пагубы. Как там сказано было поэтом: "В Россию можно только верить..."

Письмо к землякам я прочитал, помнится, с глубокой горечью и обидою. Вспомнилось сразу, что никто из великих русских писателей прошлого не поучал народ, обвиняя его во всех грехах, но пытался понять; всяк из мыслителей пытался осознать себя частицею великого народа, из всех смут вышедшего окрепшим и державным. Обвинить народ во всех грехах — значит поставить себя над ним, так подумалось мне. Из народа изошло всё — герои и убийцы, святые и фарисеи. Количество их зависит от обстоятельств. Бытие определяет сознание. Как говорится: "Поел бы горячево, да нячево". Государство создает обстоятельства, народ же отзывается на них иль немотою сердечною иль всеобщим участием. Как сказал мне один шофер: "Русский народ немного приласкай, так он горы своротит. Только давить на него не надо". Живет же присловье: "Потчевать можно, неволить — грех".

Терпелив русский человек, долготерпение спасало его с честию из самых сложных переплетов. Ныне некоторые принимают долготерпение за холопские привычки и рабьи повадки. Стало хорошею манерою в застолье упрекать народ во всех грехах: де, он и пьяница, и лентяй, и раб. Нет, долготерпение — признак сильной, зрелой, нравственной души; другое, что используют это качество порою с дурными замыслами.

В великую смуту шестьсот двенадцатого года, казалось, вовсе пала ниц Россия, уже и ворог наш (разбойник и латинянин) праздновал победу, вся земля была жирно удобрена телами павших, и редкая живая душа, чудом сохранившись, попряталась в лесах; и вот откуда-то с Севера, с заповедной

стороны явились Минин и Пожарский, и душа России воспрянула. Значит, она попритухла лишь, затаилась в себе и ждала праведного зова, требующего, но и ласкового, проникающего до самых глубин. Тому примером и последняя война, когда Сталин обратился к народу: "Братья и сестры, друзья мои". Ужаснувшись беде, что хлынула в пределы Руси, он трезвым рассудком политика понял и оценил особое качество русского человека — всепрощение и долготерпение. Он как бы покаялся вдруг в своих грехах, конечно скоро позабыв о минутной своей слабости.

...Абрамов спросил меня, как, де, я отношусь к его письму. Я ответил, что отношусь очень плохо и мне непонятно, как оно могло появиться. Абрамов лишь на мгновение вспыхнул глазами, но тут же и потух, помрачнел, коротко бросил: "Значит, и ты?.. Эх!.. А я тебе хотел роман "Дом" подарить".— "Подарите, Федор Александрович. Это же роман".— "Нет-нет. Там всё то, что в "Письме". Он резко повернулся и, не попрощавшись, ушел.

Я и ныне полагаю, что в том письме к землякам был некоторый неверный тон, который невольно настораживает всякого мыслящего человека. Если народ так дурен, откуда взялся сам Абрамов, откуда берутся миллионы добросердечных работных людей? все те идеи, мысли и замыслы, коими кормится нация, о чем радеет и беспокоится? Ведь всяк из нас из толщи народа, а значит, и наше личное неудовольствие есть неудовольствие глубинной России, которое она не может явить вслух и сообща. Человек ныне обезличен, а его душе нужны простор и услужение, в которых не нуждаются, но требуют лишь отдать покорливую воловью силу.

А впрочем, ничего с мужиком и не случилось; он всегда радел о своем пахотном клине, о своем рыбном лове, о своем суземке, где был охотником, о репищах и капустищах за усадьбою, о скотиньем дворе. Потому и радел обо всем, ибо земля была его, река — его, лесная нива — его; крестьянин распоряжался всем по своему усмотрению, был и работником на своей десятине и устроителем. Сейчас же он безгласен, ибо не могут быть все коровы деревенского стада его личной заботою; не станет близкою река, куда не пускают на ловы; леса, куда не ступи с ружьем; улица, где он лишь прохожий; он не волен дать команду делать то-то и то-то, строить там-то и так-то, назначать сроки сева и лова и отменять их, судить печищанина за малые провинности и отпускать грехи и т. д. Крестьянин полностью зажат узаконениями, над всем воля и надзор государства, которое мыслится где-то, верховно, непонятно и всесильно; и коли оно, государство, все знает, все понимает без мужика, без его ума и векового опыта, то пусть и управляет всем само. И мужик переключился на свою усадьбу, на картофельники и двор, где пока он хозяин, управитель и работник без чужого глаза, окрика и упре-

ка. Всевластная устроительная рука государства постепенно подавила всякую волю и мысль работника, огородила его ничейными полосами и запретными зонами, куда ступить недозволено и опасно. Везде мерещат надписи: стой! нельзя! вход и въезд запрещен! предъяви пропуск! Они порою подразумеваются даже там, где их нет, ибо они уже отпечатались в душе человеческой, в его разуме и поступках, стали инстинктом.

В общем хозяйстве, когда все уравнено — трудяга с лентяем, горячая душа с байбаком и лежунцом, рассудительный ум с откровенной глупостью, природный талант со скудоумием — человек невольно замыкается в своей обители, как в крепости, переставая пускать к себе в дом, чтобы не разрушить иллюзию недоступности. Началась пора мифов и воспоминаний. Бытует же в народе присловье: "Кому война, а кому мать родна". Иные (из городских) тоскуют по пятидесятым годам, когда были на прилавках всякие колбасы, а черная икра стояла в бочках, но они вроде бы не знают, что крестьянин получал за труд свой "лежачую палочку", изворачивался из последнего, сдавая налог почти бесплатно и молоком, и мясом, и шкурами, и маслом, и яйцами, и чтобы иметь живую деньгу, чтобы справить кой-какую разнесчастную одежонку, последнее волок на рынок. Вот почему городской прилавок ломился от продукта, который не мог есть деревенский собрат. Кто сейчас помнит о драме русской деревни на громадных пространствах, которую растащили, разодрали по городам. Один писатель, почти плача, исповедовался мне о счастливой той жизни, когда, приезжая по командировке в деревню, в любой избе он был неким благодетелем, если платил за постой рубль, и тогда вдовая женщина готова была ноги целовать и ублажала, как могла, за этот рубль. А нынче-де и трояк предлагаешь, так и на ночлег не пустят, разговаривать не хотят. И он, конечно, в глубокой и праведной обиде за это "падение" Руси, за ее "рабью и холопью сущность". Что ему, чиновному человеку, былые тягости Руси, о них ведь можно было и "не знать", "не понимать"; это же так легко осудить, окаменить сердце к чужому несчастью, если ты на земле проездом, по случаю, да и смотришь на нее с высоты, как на доходное место. Ему, чиновному человеку, и поныне невдомек, что мы, знать, дождались отместки и глухоты за прежнюю нашу сердечную черствость. Но зато он тоскует по той бочке с паюсной икрою в продуктовой лавке, из которой лишь он мог черпать ложками, ибо сто миллионов крестьян в то время по крайнему недостатку денег даже и не слыхивали о "рыбьих яйцах". Правда, он и ныне, мой знакомец, вкушает "рыбьи яйца", утверждая, что плохой продукт дорого не стоит, а коли икра стоит таких денег, то тем более икру надо есть.

Иным в тридцатые годы привольно жилось, другим — после войны, когда буханка хлеба стоила пятьсот рублей, но зато в коммерческих магазинах за великие деньги можно было купить все, что душе угодно. В ленинградскую блокаду "волци в человечьих шкурах" умудрились нажить богатства, дожидаясь у постели, когда умрет несчастный, чтобы завладеть его хлебной карточкой; они тащили в свою нору золото, бриллианты, книги, картины, старинную мебель и утварь, что особенно ценится в мирное время. Война — простор для воронов и крыс. Так разве не благодатью становится то минувшее для благополучно выжившего "коммерсанта", дети которого ныне учат нас нравственности и милосердию. Разве тот трупный запах, которым овеяно все их благополучие, не пропитал и душу? Что говорить, люди, как деревья в лесу. Одному хочется редьки с квасом, а другому — редьки со щами. И когда мы в пылу переустройства искренне восклицаем с самыми добрыми намерениями: "Стань таким, как я хочу", тем самым разве не видим всю нацию на одно обличье, словно бы покрытое противогазами? Ведь тогда не видно тоскующих человечьих глаз, через которые укоризненно смотрит на нас мучающаяся душа. Вся трудность даже самых разумных перемен в том, что у всякого свое благодатное "жизненное время". У одних оно в прошлом, как воспоминание, у других — в будущем. Есть лишь прослойка нации, у коей перемены совпали с их ожиданием счастья: эти люди будут искренне рады новинам и затеям в перекройке общества. Их-то и нужно разглядеть, не отпугнуть, не пропустить...

Поговорить тогда о "Письме" с Абрамовым не удалось: он закрылся наглухо от разговоров. И, пожалуй, я не стал бы сейчас вдаваться в эти воспоминания, если бы с новой силою не вспыхнули ныне городские хулы о якобы "холопской и рабской русской душе, не способной постоять за себя".

* * *

Смерть человека каждый раз неожиданна, хотя бы ты подстерегал последнего вздоха ближнего, наклонившись к его изголовью. Абрамова же я считал кремневым человеком, назначенным для столетней жизни. И вдруг позвонили: умер Абрамов, надо ехать на панихиду в Ленинград, после лететь на Пинегу, где в родной деревне его и похоронят.

Мы прощально ехали к Абрамову, еще не зная, как осиротели, какого пылкого сердца, искренней верной души лишилась русская земля. Всякие суетливые мысли навещали нас, говорили в поезде о постороннем, вспоминали Абрамова редко, будто упоминанием его имени мы окончательно утверждали смерть писателя, отправляли его за рубеж жизни. Скупой на

утехи, такой прозаический писательский быт вдруг воспротивился, встал стеною, отгородив нас от старшего друга. На одну ночь, но Абрамов оставался живым.

Панихиду устроили в Доме литераторов. Какие-то узкие коридорчики, теснота, длинные переходы, таинственность поворотов и комнатенок, место, больше приспособленное для заговоров и интриг, чем для прощания с русским писателем. Суетились какие-то странные молодые люди с крепкими руками, командовали нами, порою цепко перепровождая по лабиринту; мы вдруг попали в чью-то непонятную, но уверенную власть, не терпящую разброда и переживаний. В одной из комнат нас наконец столпили вокруг властной женщины с непреклонным лицом. Людмила Владимировна (жена писателя), на время потеряв себя, возбужденно кричала ей: "Дайте слово Василию Ивановичу Белову. Почему его нет в вашем списке! Он самый близкий друг Федору! Дайте слово!" — "Успокойтесь",— уверенно остерегала ответственная за панихиду, в голосе ее я даже расслышал нотку угрозы, словно бы сейчас по короткому кивку головы несчастную вдову выпроводят прочь, на улицу. "Дайте слово Белову! Я буду жаловаться...— настаивала вдова.— Если нет, я выступлю сама и выскажу все, все! Вы этого хотите, да?" — "Успокойтесь, без истерики",— монотонно отвечала начальница и цепко хватала вдову за плечо. Белов крутил головою, коротко хмыкал и жамкал седую бороду, маленькие глазки его, казалось, прожигали пол.

А мне-то мыслилось все иначе: где-то в просторной зале лежит наш Федор в последнем своем домке, еще без крыши, и люди текут к нему рекою, чтобы прощальным взглядом поймать тень навсегда уходящего человека. А тут спрятали гордость нашу в духоту, за жесткие засовы и преграды, за цепкие властные руки непонятных, вовсе лишних здесь молодчиков, наверное, прежде и не слыхавших об Абрамове. Потом меня пригласили постоять у гроба. Я с трудом решился и взглянул на Абрамова: и не узнал его. Он был черен, как-то сразу усох, пожесточел всеми чертами лица, и скорбь, вселенская скорбь и страдание застыли на челе. В горле моем засаднело, комок горечи непроходимо застрял в груди, и я заплакал. В этом Федоре ничего не осталось от веселого, неутомимого, такого страстного человека: он вроде бы обманул нас, сам скрылся куда-то заранее, чтобы не видеть плачущих, а заместо себя подсунул копию из папье-маше, окрашенную в такой отталкивающий цвет. Абрамов умер, не приходя в сознание, умер в мучительной борьбе с кем-то, и это прощальное, последнее сражение и отпечаталось судорогою в его чертах: даже последний вздох не испрямил, не высветлил лика.

С той поры несколько дней с короткими перерывами я плакал и плакал, непонятно за что коря себя, наверное, за скверность своей натуры и за черствость сердца.

Выступил Белов. Его ждали с нетерпением, он не мог сказать ложного и высокопарного. Обсекая слова судорогою горла, он сказал, что виделся с Абрамовым совсем недавно, у них был сложный разговор о переброске северных рек, и проект этот покойный ныне Федор Александрович назвал неслыханным цинизмом.

Белов не сдержался, заплакал, и многие в зале тут не стерпели, завсхлипывали, не стыдясь слез своих. И чем проще говорил Белов, тем больше нарастало горести в нас и тем ярче и больнее воспринималась утрата.

* * *

И вот в последний раз Абрамов прилетел на Пинегу, в родную вотчину, на край Руси, в засторонок ее, когда-то с такими тягостями обустроенный новгородцами, в комариную тайболу. Май был, весна в зачине, грязь кругом стояла. Но тыщи народу встречали земляка своего, родника, потом пошли провожать через весь городок Карпогоры. Кто сзывал их? каким кличем? и не любопытства же ради тянулись они дорогою, волоча детей, а малых младенцев несли на руках, и в каждом сердце, наверное, запечатлелся этот печальный день. Я не видал еще, чтобы столько вовсе постороннего народа с такою грустью и болью провожали писателя в его смертной дороге. Да и сам-то писатель мог ли помыслить подобное, неся в глубине сердца крохотную, но такую неловкую обидку на земляка, когда-то якобы предавшего писателя анафеме за нелюбовь его к русской земле. Что народ? Разве он, тянущийся за гробом и искренне плачущий, точил прежде Абрамова, не принимая его сострадания за всех? Может, один из тыщи хорошо если читывал "Вокруг да около", занятый таким трудным добыванием хлеба насущного, до книг ли было ему? Да разве носит русский человек обиду в душе за праведное искреннее слово? Немтыри есть, черные и черствые души, оборотни и фарисеи, что с легкостью творят иль заговор молчания вокруг благого дела, иль ставят препоны и рогатки, иль от имени народа, ничего не ведающего, ведут на плаху и скрытное судилище. Что же ты, Федор Александрович, спутал лукавое слово "жонглера" и "перестройщика" с народным? Какая такая обида застила твое сердце? Да полно, можно ли держать душу на малую свою родину с ее насельщиками, какой бы несправедливой она ни казалась. Минутной пеленой принакрыло твою праведную душу. Ждешь от них покаяния? Так вот они, покаяв-

шиеся в несвершенном, с горем и плачем тянутся с тобою до пристаница, до вечного твоего городка. Ты ж над ними нынче, Федор Абрамов! Тебе сейчас так далеко виден звездный мир, твоя душа, расставшись с бренной плотью, воспарила над родною землею, и ей, наверное, радостно, как никогда... А эта музыка медных труб так рвет сердце, будто тупым ножом его вынимают из грудных крепей. Боже, есть же на миру такие особые несчастья, такая человечья смерть, которую можно сравнить, наверное, лишь с уходом самых родных людей...

По весенней распуте, по хлябям, в самую полуночь добрались до Верколы. Грузовик с гробом, раскачиваясь по вселенской топи, едва вполз на окраину села, как там завопил, всплакал невидимый во тьме женский голос: "И на кого же ты нас поки-и-нул, родный братец..."

Федора занесли в его дом, который он так недавно обустроил, мысля работать в нем долго и прочно. Внизу плескалась на перекатах Пинега, дышала прохладно. Все мы, провожающие, остались как бы временно не у дел, расползлись по селу. Люди являлись ниоткуда и растворялись в темени беззвучно, будто лишенные языка. В ушах все еще стоял протяжный воп плачеи. Засветились оконца в доме Абрамова, притянутый каким-то магнитом, я вошел за калитку, встал подле распахнутого настежь дверного проема. С улицы в освещенной комнате отчетливо виделась каждая подробность; или взгляд мой был так обострен? Вся в черном, вдова стояла, слегка наклонившись над покойным, сосредоточенно разглядывая его лицо.

Следующим днем Федора Александровича хоронили. Ветрено было, грустное сиротское небо низко обложило тучами. Нахохленные, с красными то ли от бессонной ночи, то ли от слез глазами, стояли мы возле свежевырытой могилы на крутом берегу Пинеги. Напротив, за рекою, маревил Веркольский монастырь. Толпы народу стекались отовсюду, многие приехали из Архангельска, яблоку негде было упасть. Прощание с отчей землею у Федора затянулось, и все сроки похорон минули. Говорили простые, незаемные слова, они так вязались с серой толпою, тесно обступившей гроб. Были, нет старухи возле? Бог один знает, но я как-то неотчетливо воспринимал лица, в груди стоял непродышливый ком, и я боролся с этой тягостью, опустив глаза. Была бы старуха возле, она бы обязательно сказала: "Суха могилка-то, хорошо будет лежать Федору Александрычу". В памяти стояло обугленное лицо Абрамова, искаженное смертной мукой. Таким было оно еще час тому, когда лежал Федор в сельском клубе. Я поднял глаза, прощально взглянул на старшего друга. Лицо его улыбалось, все складки отмякли, потеплели, какая-то долгожданная облегченность легла на обличье. Я тронул Белова за плечо и, пораженный увиденным, сказал: "Смотри,

Федор Александрович улыбается". Белов всмотрелся в покойного и молча, отрешенно кивнул. Тут из-за той стороны от Веркольского монастыря через реку прилетели два гуся и, достигнув нашего берега, повернули обратно. Что за вестники? что за нужда была лететь им на угрюмую толпу людей на высоком берегу, видимую издалека?

Потом близкие стали прощаться. Белов поцеловал друга, пристально вглядевшись в его уходящие черты; Солоухин театрально встал на колени; я боролся какое-то время с собою — и не поцеловал Федора. Я поклонился лишь низко. Я никогда не целовал мертвых, и мне было страшно прикоснуться к остывшему лбу . После-то я корил себя за эту суеверную боязливость своего рассудка. Потом домок покрыли крышею, застучал молоток...

* * *

Роман "Дом" Федор Александрович мне подарил с надписью: "От души желаю построить свой дом".

5

Видел дезертира. Рыхлый, с шадроватым лицом и носом запойного пьяницы, он сидел на бревне, поглядывал на мужиков, звонко плюмкающих топорами, и подсказывал, как лучше тесать дерево. Несмотря на палящую жару, он был в широких мохнатых валенках, похожих на огромные из шерсти носки, и в тужурке. А ведь мужик-то не старый, было ему тогда едва за пятьдесят. В войну он бежал с призывного, скрылся в домашних лесах и более года жил в землянке; братовья носили ему поесть; вся деревня, пожалуй, знала, что в бору живет дезертир, и эту памятку молчаливо носила в себе. Дезертир был свой, почитай из родни, никому не насолил, не проказил, за домашней скотинкой не гонялся, бабье не притеснял — и хоть этим да был хорош, что не досаждал. В войну и было-то всего мужичья — один сельсоветчик, может, он и донес после по властям, ибо через год дезертира взяли в полон, но война к тому времени кончилась, и парня сослали в отдаленные места, куда "Макар телят не гоняет". Сломав срока, парень вернулся на родину — и стал жить.

Я смотрю на него, перевожу взгляд на мужиков: хоть бы косой взгляд в его сторону, небрежная ухмылка иль дерзкое слово. Плотники все помоложе на пяток лет, но у них почтение к старшему за его знание рукомесла. И навряд ли забылось, у всех, поди, на памяти событие. Но с кем беда не случалась: пережил, перенялся мужик, окантовался, не сломал холку, детей поднял, так за что казнить его? Так, наверное, думают мужики и ста-

вят себя на его место. "От сумы да от тюрьмы не отвернешься". Судьба-злодейка; снова она, судьба. Как осуждать ближнего, коли выпало ему, и он свое выстрадал, он как бы дальнейшей участью очистил и себя, и будущую жизнь.

Вообще у мира свое отношение к герою и трусу, мертвому и пленному, вольному и тюремному. В этом отношении к несчастненькому и раскрывалась вся широта души славянина. Лежачего не бьют: пожалей несчастного, его и так судьба покарала. Мертвый-то пал на поле брани, так он и настрадался уже, он свою братину смертного хмеля испил; а этому-то, что искалечен иль в плену, ему еще долго терзаться, ему долго родимого солнышка не видать. Вот его-то и помилуй, подай Христа ради, не пожалей утешного слова. За это отблагодарится тебе не где-то там, в небесах, на грядущем судилище, но душевным покоем. Каждое доброе дело сымает с души коростину, отбеляет, вымягчивает чувства...

Вот и дезертир был на Руси страдальцем: не странно ли это чувство, оно так противоречит всему общественному укладу, всему спасательному чувству мира, должному себя отстоять. Но крестьянином понималась внутренне и бессловесно та тончайшая грань, что проходит меж героем и трусом: сегодня ты трус, а завтра пересилишься, взыграешь душою, переломишь себя, что-то нахлынет на тебя такое непонятное, когда все трын-трава — и ты уже совершаешь поступок, невозможный и неподвластный своему разумению. А после-то как очнешься да встряхнешь головою, пережидая заморозный холод меж лопаток, неожиданно омывший, и невольно подумаешь: господи, да я ли и сотворил такое, я ли себя за шиворот из позорной ямы кинул да смерть перемог?

Занимаясь в архивах, я натолкнулся на прелюбопытный случай: одного парня рекрутили "под красную шапку" девятнадцати лет. Он из полка бежал и в родных лесах скрывался до девяноста двух лет, и вся деревня знала про то и не выдавала властям, искавшим беглецов по волостям. Но один наушник средь крестьян нашелся и выдал престарелого беглеца. И тогда деревенские мужики этого доносителя утопили в озере...

Но тут надобно разделить отношение к трусу воинства и тылового мира: это две разные жизни со своими уставами, где уже нет ничего общего. Уйдя на войну, человек как бы полностью исключает себя из прежнего быта, из обычных чувств, привычек, вместе с армейской одёжей он встает не только под иную дисциплину, но и под другой воздух. Этот новый воздух напитан не трудом, не спелою землею, хлебом, детьми, женою, подворьем, устоявшимся побытом, но смертью, неопределенностью, тленом, погребанием, кровью, вшами, голодом, пулями — всей той удушливой ат-

мосферой временности, осквернения, униженности, что приносит побоище на бранные поля. И потому у ратника, у солдата безусловно иное отношение к дезертиру: тут ты для него не страдалец, но подлец, негодяй, ибо подставив врагу спину, тем самым ослабил плечо соседа, лишил его опоры, подпоры, надеи, надежного чувства товарищества. На войне чувство единообразно: друг — враг. И коли струсил в трудную минуту, ты оказываешься сразу в стане врага, за ничейной полосою, в чужом окопе; ты сам на себя поставил несмываемое клеймо. Уж какое там могло быть прощение? Ведь коли я не изменил, не навострил в тыл лыжи, не прикрылся бумажкою, формой и званием, а удержался в самую кромешную минуту, значит, и в аду устоять можно, хотя бы и лежа пластом в топкой грязищи, заливаясь по темечко водою, стреляя в белый свет, как в копейку. А раз можно пересилить натуру, если я себя перемог, такой же человек из костья и плоти, и страждущей неведомой души, то и ты мог бы удержаться, быть вторым патроном в обойме. И тут нет понимания ближнего, тут нет прощения и сострадания, ибо на поле брани погибает прежде всего всякое чувство понимания чужой слабости, приведшей ко греху. Я представляю зыбкость своих рассуждении; если от человека, побывавшего под пулями, трудно понять, в чем ужас войны, ибо он не может ни вспомнить своих чувств, ни разумно объяснить событий, то как мне, сугубо штатскому, вникнуть в психологию тех безумных страстей, что овладевают живым, но уже и мертвым полем, с которого смерть с тупою жестокостью собирает свой богатый урожай. Вы видите, даже слово во мне, постороннем к этим страданиям, заскорузло, съежилось сразу, и в нем (слове) появилась та пугающая литературность, что возникает лишь при рассмотрении дела чужого, случившегося где-то заглазно, отчего и пропадает из языка та естественная кричащая боль, то искреннее чувство метафоры, которое-то и может возбудить к со-участью, к со-страданию любую постороннюю душу. И одно меня утешает, что я не претендую на полноту изъяснения, на пророчество и силу мысли, но пытаюсь объяснить себе то, наиболее сложное в национальном характере, что не терпит утайки...

Говорят, солдат на войне о смерти не должен думать: де, только подумает, тут и кранты ему. А как не думать? если смерть внутри человека гнездится с самого рождения и ест его поедом? Даже на миру человек непременно думает о смерти, но от этого обыкновенно не тоскнет, не чахнет, не падает духом, но загодя готовится к ней, сначала мыслью, памятью о смерти утверждаясь о неотвратимости конца. Ведь чтобы спокойно "лечь под святых", надо всем сердцем понять свое предначертание: отсюда столько спокойствия на Руси в разговорах о смерти, столько природного

юмора, сначала непонятного, кощунственного даже юмора для молодого уха, но к которому с годами привыкаешь. Так и случается исподволь, постепенно приготовление духа, хотя тело всячески сопротивляется, вопит, вопрошая, скуля, желая бесконечных утех.

Вот и на войне, знать, понимает солдат о неминучести смерти, но душу не отдает ей на растерзание. Душу-то коли подточит невея[1], то до утробы ей куда легче добраться. Одно дело думать не думать, другое — заполошно отдаваться настигающему мраку, бессловесно и безмолвно смотреть расширенными глазами куда-то вдаль и вместе с тем вглубь себя, откуда и приступает тот темный ужас, что сковывает от борьбы каждую жилку. Отсюда и возникает трусость и дезертирство, как бегство от страха смерти. Может, где-то в пути опомнится солдатик и не раз себя исказнит, если душа его не вытлела вовсе, но после и смирится с тем, что пути назад отрезаны, ибо предстать пред законом ему куда тяжельше, мучительней и горше, чем быть в окопе. Он, может быть, и в окопе-то рад очутиться снова, но и туда-то ходу нет. Человек в ту пору ограждает, окружает себя самыми невероятными домыслами, он как бы в диком лесу потерялся без куска хлеба и до того окружился, что позабыл всякую память о себе и о жизни. И дезертир, как волк, офлаженный со всех сторон, уходит в буераки, в лесные лощины, забивается на болотный остров, в чищеру, в тайгу и тайболу, чтобы подальше быть от неотвратимого возмездия, уповая на русское авось.

Тут всякие варианты испробовала судьба, всяко намешала, накрутила с таким драматизмом, что не здесь и разбирать эту многотонную летопись человечьего падения. И стыда тут было премного, и плакания, и обновления, и исповедей, и падения до края, и горя материнского, и крови, и того многолетнего, выжигающего насквозь страха, к которому не притерпеться, с которым не смириться; воистину, когда живешь на чердаке родимого дома десятки лет, как волчина, стесненный в яру, и воздуху-то глотнуть лишь в самую полуночь на задах своего дворища, чтобы не увидел чужой призор, когда мать на твоих глазах стареет, превращается в старуху и ты не можешь ничем помочь ей, а единственно думаешь, чтобы продержалась еще, не слегла — так каких только сердечных и телесных мук не вынесет тот скрытник, заживо упехавшийся в гробовые теснины, которые неподвластны нашему воображению. Но каким мукам была обречена мать иль та родня, под попечение которой скрылся беглец? Чувство матери и отца не всегда смыкается с желанием государства: пуповина матери, страсть к продолжению рода, доставшаяся в наследство от матери-земли, бывает куда

[1] Невея — смерть.

прочнее той спайки, тех уз, тех негласных обязательств, что связывают нацию в единый мир.

У бабы, у мирного селянина, отстоящего за долгими лесами от войны, душа живет моралью мирного времени, постоянным со-страданием, со-печалью, со-чувствием. Гибнут где-то там, пусть и кровные, родненькие, но этому беглецу раз угораздило пуститься в схороны, то он, поди, куда более несчастлив, чем те, кто сгинул. Начнутся дознание, поимка, судилище, позора, пуля штрафная или отсидка. А родичам-то каково? сколько пересудов, сколько косых переглядов и слов, кинутых в порыве гнева. Вот, дурачок, лучше бы ты погинул, чем поддаваться позорному промыслу. И деревня начинает прижаливать дезертира. Ты живи, мы чем и подкрепим тебя, только ты не пакости, не дичай, не ломись в деревню, не наводи слухов дурным поступком, а иначе из отверженного, несчастненького ты станешь волком, и тогда мы тебя обмечем красными флажками, заловим и сдадим властям.

Так мне увиделось это сложнейшее чувство, исполненное колебания, шаткости. Чувство страха испытывает всякий разумный человек, значит, и он бывал на той грани, на которой решается позора и доблесть. Всякий воевавший резонно может заметить мне: нашел чего расписывать, нашел о ком размышлять, о дезертире и трусе; но многие, оставшиеся в живых, они как бы позабыли то чувство неуверенности, тот критический миг, отделивший их от бездны падения; им-то уже мыслится ныне, что они всегда были безусловными храбрецами и гордой натурою своей никогда не колебнулись. И чаще всего резонерами, судиею выступают те, кто и в атаке, быть может, не бывал, а еще на подъезде к фронту попали под бомбежку, иль в первом же бою свалило пулею, иль в штабах отсиделись. Эти нравоучители — особая порода удивительных людей, закаменевших в своей нечувствительности к человеческой слабости, обычно это городские, из чиновной, получиновной прослойки. Но не знавал я резонера и осудителя средь деревенского мира: на эту тему там и не рассуждают вовсе и не осуждают, ибо время отмыло всякую накипь, да и погибшего вспоминают чаще не в связи с тем, что погиб человек, но каким он был до войны хорошим хозяином, мужем, работником и т. д. Что там говорить, двадцать миллионов павших уже не расскажут о своей судьбе, не поведают о муках: они пали на поле брани и как бы овеяны светом чистоты. Своею кровью они частично покрыли чей-то грех, победа подчистила мерзости войны, но они остались в наших душах.

Скажите, куда мне деть из памяти последнее письмо погибшего под Оршей отца, где он пишет, как их полк окружили танки, и кто переплыл Днепр, те остались в живых, и я вот пока жив, правда без винтовки, а кто не переплыл, те погибли иль попали в плен. О каком геройстве тут речь? и

могу ли я упрекнуть отца, что он не погиб сразу, не проявив геройства, а переплыл вот без винтовки Днепр и пал чуть позднее? Что там случилось в эти часы? кто мне передаст чувство отчаяния, тоски и ужаса, что овладело людьми, попавшими в окружение? И кто ответит за ту бессмыслицу войны, когда человек вынужденно, часто без особой нужды ставился на ту грань отчаяния по чьей-то вине, как бы искушался на выносливость. Ведь те редкие солдаты, окруженцы первых месяцев войны, они после показали удивительную храбрость, они-то и стали тем нравственным костяком армии, вокруг которого наросло "мясо" будущей победы.

Именно от храбрецов я не мог добиться ничего вразумительного о войне (полные кавалеры славы). Рассказывают: пошел в тыл врага, взял языка — и все. Потом еще пошел, еще взял. Но зато они с удовольствием, с веселостью вспоминают, как где-то на станции попалась цистерна на колесах, написано яд, наделали из автомата дырок; нашелся смельчак, любящий авось, первым решился хлебнуть пойла, закричал, захмелев: "Братцы — спирт"; и как все они после напились мертвецки на той станции. Иль еще вспоминают, как бабенку закадрил, и еще много житейского, самого обычного. И только не было исповедей о геройстве, осуждения чьей-то трусости: словно бы у этих людей остался в памяти быт войны, этим они переплавили весь ужас пережитого.

Чего там: канули в прошлое те времена, когда беглеца хранила деревня, если он не отягощен безумьем и желаньем мести. Минуло время, когда Булгарин мог быть офицером наполеоновской армии, а вскоре после русской победы стать государственным писателем, почти никого не смутив тем и доходно для себя исполняя службу. Ведь он, поди, встречался с Денисом Давыдовым, героем Отечественной войны? он небось печатался рядом с кавалерист-девицей Дуровой? Вот они, превратности судьбы.

Канули в вечность те времена, когда пленный французишко за короткое время облекался не только всеобщим сочувствием, но и фраком, учил российских детишек языку и ловкости манер, споро поднимался при дворе, ловеласничал с женщинами и незаметно становился русским. Как бы разом забылась и сожженная Москва, и Бородино, где несколько месяцев павших героев расклевывало воронье и растаскивали волки, и все несчастья вдов, сирот и калек, развезенных по богадельням. Было какое-то всепрощение победителя, снисхождение к павшему ниц, и снова владело народом то вековечное чувство милости и жалости, что лежачего не бьют, не пинают, не поносят облыжными словами. Это был нравственный отзвук того закатившегося времени, когда осажденным, выкинувшим белый флаг, позволялось уйти со своими знаменами и при оружии. Другое дело, что

русские, выдерживая долгую осаду, глад и страдания, гибли, но зачастую белого флага не выкидывали, ибо чувство униженности особенно претило им. Даже монахи и монастырские старцы, коим, казалось бы, нечего было ограждать на бренной земле, и те показали удивительную стойкость духа, отстояв от полона Троице-Сергиеву обитель.

Сколько же с той поры протекло воды, сколько случилось нравственных превращений, когда былое восточное рабство полонянника заменили в Европе четко спланированными лагерями уничтожения. Так случилось, что человек, цивилизуясь, приобретая все больше благ и хороших манер, терял духовное, сострадательное. И невольно думается: а принесло ли христианство хоть какой-то благодатный отзвук в совершенствование человечьего сердца? хоть на каплю умягчило его иль наоборот придало гордыни и жестокосердия? И вдруг в случае вседозволенности порою явится миру такой премерзкий сатана, от которого покатится в пропасть добродетельное сердчишко у нашего стеснительного ангела-охранителя. Пред этим цинизмом, пред дьявольской жестокостью и фарисейством, пред словоблудием оборотня-фармазона вдруг отступает всякое сострадательное чувство, затаивается, меркнет, самоуничтожается, никнет, словно бы оно век не живало в человеке.

Нет, не случайно я повел столь сложную речь о трусости и отношении к ней русского народа. Всякие перемены в характере чреваты будущим всеобщим ожесточением иль цинизмом. Дезертир, как и герой,— всеобщий нравственный урок. Государство и родина настолько сплелись, что своими интересами, интересами всеобщности, спайки и самосохранения отобрали у личности всякое право выбора.

Время забвения и прощения намного удлинилось. Но стало ли оно другим в народе? насколько иссякла чуткость его сердца?

* * *

Писатель Виктор Калугин, узнавши над чем я размышляю сейчас, любезно предоставил мне быличку, недавно записанную им в заонежской деревне Шильтя.

"Баннушка добрый был. Без него в бане скучно. Срубил баню муж Ванюшка собственноручно. В войну это было, я баньку любила! Затопила еённу душу, баннушки не трушу. Лягу на полок и гляжу в потолок. Убит мой сынок, а за ним и муженек. Молюсь да реву, словно бы тронулась. Криком зову, так бы и вздернулась. А баннушко за каменкой себя прячет. И слышу, как маленький, со мною плачет. Моюсь вот так в субботу, колупается кто-

то. В окошко — поди, кошка. Обернулась взадки — мужик в шапке. Рожа, как на открытке, во все стекло. С перепугу обволокло. Я сразу ругнулась: чего тебе надо? Ошпарю гада! А он заходит, не заперт был крючок. А я молчок. Стою, подбочась, зла до костей на эдаких гостей. Шинель снял и говорит мне: "Танюшка, давай жить, говорит, как муж да жена. Я один и ты одна". Яшка был, дезертир. Яшкин отец с топором ходил за ним. Давай, говорит, жить, как муж да жена, мол, я один и ты одна. Наплюнь, что война, кольцо на. "Зачем мне твое кольцо? Я бы на крыльцо вовек не пустила. Медведь ты, а не человек". Тогда он неволей и так и сяк, а я никак. Тогда он сцапал меня и прет, и прет, вот, думаю, подопрет. Взяла его поперечь да на каменную печь. Телом в каменку, палю как валенки. Силы, слава Богу, хватило. Он давай отпехиваться, гад, а я его под зад, под зад. Не помню уж, как слег, смяк. Легок был гость. Манечка, его дочь, вовек не забыть ее личика, стояла под окном у крылечика. Ни упрека, ни слезинки, а глаза сини-сини. А Юрьевна, его мать, нету силушки досказать, наделала людям зла, взяла и баенку сожгла. Хороша была баенка, делал ее Ванюшка. Рубил сам и в войну погиб. И пожить не успел. А баню срубили нову, но пар этот был не мил. Баннушко меня так и не навестил".

В быличке этой отразилось все народное стародавнее чувство к дезертиру: пока где-то жил возле, никого не теснил, никому не причинял зла, то и деревня терпела, закрывала глаза, так понимая беду отца-матери. И все-таки: отец с топором бегал за сыном (Тарас Бульба), а мать своим животом прикрывала, ведь ее кровиночка, от смерти выходила, так все прочее, что взвалилось на ее сына вместе с войною, взвалилось и на ее плечи: и надо было матери сына от беды укрыть.

И худо случилось со скрытником, когда он на другую женщину положил взгляд, на вдову, у которой только что война прибрала самых родных: он в немилое время позарился на бабье тело. Он даже и не по-худому хотел взять ее, но согласен был под венец вести, только бы поддалась женщина, утешила его заблудшую душу и истосковавшееся в скрытнях тело. В иное-то время, быть может, даже и уступила бы она дезертиру, как несчастному: как несчастная, одинокая вдова прижалела бы, приутешила такого же несчастного. Но тут сердце ее спеклось от горя, она всей плотью помнила благоверного и потому сотворила пагубу со всей силою глубоко обиженного человека.

Тут навряд ли двигали женщиной какие-то социальные мотивы: но лишь отвращение, лихорадка ненависти к счастливцу, что уцелел от пули, к хитрецу, к ловчиле, что выгадал бегством в скрытню, а ее вот благоверный да сын не побежали, не показали спину — и вот легли в землю. Но ведь

после "праведной" (праведной ли?) кары нет спокойствия на душе: и не только мир отвернулся от нее (сожгли баенку), но и природа сама отторгла как бы женщину от себя, и баннушко, такой ласковый, такой утешный, больше никогда не поселится в новой бане. А без него, хозяйнушки парильни, уже мытье не мытье, будто сердце пропало у задымленной избушки, ее дух, сторожа, такой желанный соглядатай, который, лежа за каменицей, не только дышал ровно, подкарауливал, подглядывал, но и скрадывал чувство одиночества, такое невыносимое для вдовицы. И хозяина, головы, никогда не будет: не войдет он в баню, тяжело приступывая, пришлепывая жиловатыми ногами по хлюпким половицам, прыскающим водою, не замреет в серых сумерках большим, еще спелым, таким добрым телом, как бы невзначай не коснется жесткой ладонью горячей ее спины, не раздастся с полка его прерывистое хеканье. Война скосила хозяина, его живье, но оставила лишь картины, звуки, воспоминания, то лишь, к чему не прикоснуться, не ощутить, не повторить. И вот даже баннушка, свидетель ее давнего счастья, ее милой любовной жизни, бывший соглядатай самых-то счастливых, сладких нескромных минут, покинул в несчастье, и не только сам исчез, но и унес с собою в чужое житье всю красоту ее жизни. И уже не с кем поговорить, попечаловаться, некому пожалиться, лежа на полке и глядя в душную банную темь.

А Манечку, дочь погибшего, с ее синими-синими глазами, куда деть? Маленькая девочка — подсказка мира, общины, что старье — все вымрет со своей памятью, но девочка с синими-синими глазами понесет воспоминанья по роду, и никому уже не важно будет знать, что пытался сделать дезертир в бане со вдовою, но останется лишь долгое отчуждение к человеку, который не пожалел несчастного, не нашел приветных, утешных слов, не помог страждущему в трудную минуту...

Эта философская быличка, записанная в Заонежье, таит в себе огромную сердечную нагрузку, она вплотную связана с самосожжениями восемнадцатого века, с расколом, с нравственными устоями русского крестьянства. По содержанию быличка удивительно трагична. В литературе встречается лишь один подобный случай у Александра Чапыгина, когда Афонька Крень сжигает в печи родного брата Ваньку. Очищение пламенем за веру, за страдание, какое бытовало в повериях многих народов в древние языческие времена и чем воспользовались старообрядцы, вдруг странно перелицевалось: обычно пламенем очищался, уходил от греха особенно нравственный, он сам восходил на голгофу, оставляя преследователя в живых на душевное страдание и несчастие, как бы возлагая на его плечи долгую, неизбывную вину. Но у Чапыгина особо нравственный, радеющий за природу

Афонька не сам очищается страданием, но он сожигает в огне грешника, тем самым вдвойне усиливая свой грех. Чапыгин отказал в духовном исцелении не только дерзкому ухарю Ивашке Креню, но и Афоньке; писатель настолько загрузил старшего брата грехами, что тот, не выдерживая сей тяжести, тонет в болоте на пути в белый скит. Так Чапыгин отказал русскому крестьянству в нравственном очищении, возрождении, ибо две ветви народа, стихийная и мучающаяся, креневая, пахотная, сгинули от зла, непонятно кем насланного. Я понимаю, что в начале века было модно поносить русский народ, обвинять его в проказах: всякий писатель, числящий себя в демократах, так и норовил побольнее изъязвить народное тело. Уже после опомнились они, когда почуяли зыбь под ногами, шаткость, и тогда стали виниться и ломать фальшивые зеркала, подсунутые услужливым бесом.

И в этой быличке звучит тот же мотив очищения огнем: ты совершил предательство, ты изменил отечеству, не поддержал его в годину опасности, ты не отдал крови своей на алтарь родины, и вот грех твой несносим, и лишь своей смертью, через пламя ты возродишь свою душу и вернешься когда-нибудь обратно на землю уже в незапятнанной сорочке.

Но отчего нет в этих строках сквозного счастья? отчего нет достоинства в этой женщине, покаравшей злодея? отчего обуяна она тоскою? Да потому лишь, что не смела судить заблудшего, она не смела устраивать ему казни; она взяла себе чужое право, присвоила судейский жезл мира (общины). И теперь, неожиданно для себя, она стала "подсудимой" своей души.

6

Вот недавно перечитывал Гоголя и вновь укрепился в мысли, что надо писать и о самом сокровенном, самом мучительном, что нередко гнетет душу русского человека. "Будто бы легко выносить к себе презренье! — пишет Гоголь. — Бог весть, может быть, иной совсем был не рожден бесчестным человеком; может быть, бедная душа его, бессильная сражаться с соблазнами, просила и молила о помощи и готова была облобызать руки и ноги того, кто, подвигнутый жалостью душевной, поддержал бы ее на краю пропасти. Может быть, одной капли любви к нему было достаточно для того, чтобы возвратить его на прямой путь... Но все позабыто человеком... и отталкивает он от себя брата, как богач отталкивает покрытого гноем нищего от великолепного крыльца своего. Ему нет дела до страданий его; ему бы только не видеть гноя ран его. Он даже не хочет услышать исповеди его, боясь, чтобы не поразилось обоняние его смрадным дыханьем уст несчастного, гордый благоуханьем чистоты своей..."

Прочитал, так душу и резануло, будто и обо мне написано, о гордыне

нашей, если которую не обуздать, она так и прет, самодовольная, как опара из квашни. Какое-то странное, незримое перерождение не вдруг, не сразу случается с нами; оно поначалу тлеет в груди невнятно, как семя чертополоха, а уж когда разрастается и начинает теснить грудь, тогда и не всяк спохватится обуздать крапивное семя, но готовно отдается в услаждающую, дурманящую власть его.

Прочитал — и ожгло: и меня, и меня пронзил обжигающим взглядом провидца великий писатель, словно бы сказал: де, и у тебя рыло в пушку, и ты не раз миновал чужое страдание стороною, боясь хоть малую толику его взвалить на плечи себе. Одним лишь и можешь скрасить этот упрек: не закаменело еще твое сердце, как каменная варака. И невольно хочется воскликнуть: ах, кабы раньше эти слова пались взгляду, да разве такою тропою двинулось мое сердце? Но мысль-то сразу услужливо подсказывает — заповеди этой неисчислимо лет, она не раз останавливала тебя на распутьях, ты запинался о нее, не мучая себя особыми угрызениями совести, ибо душа твоя была в оцепенении, и уходил далее от росстани, стаптывая под ноги истины, как ветхие одежды.

Но разве ведомо было младенческому уму, что истины не ветшают: потому она и истина, что рождение ее "безматне-безотне" и затеряно с первым вскриком мирового человека, а смерть ее наступит лишь с последним вздохом его. Истины покрываются прахом суетной жизни и пеленою, как мутнеют древние зеркала, в которые нам надобно смотреться, чтобы видеть наши перемены, наш постепенный уход. Одна разница, что зеркала плесневеют от нашего дыхания; истины, чем чаще прикасаешься к ним духом, молодеют. Зеркала, чтобы верно в них смотреться, надо менять, а истины — повторять.

* * *

Самое любопытное в размышлениях то совпадение, что первый в жизни рассказ мой был о дезертире, скорей и не рассказ, ибо там не было ничего сочинительского, а изложение истории, услышанной мною на Пинеге. Было мне восемнадцать лет, учился в лесотехническом техникуме, и осенью нас послали в глубинную деревню помочь с сенами и картошкой. Это был пятьдесят восьмой год: перемены на земле, паспорта, пенсии както разом возбудили крестьянина, пробудили в нем охоту к перемене мест, но мужик приглядывался пока к новинам с опаскою; не веря в постоянство жизни и пользуясь первою свободою, решительно выпроводил своих девок в города, прочь из деревни, де, хватит коровам хвосты крутить, мамки

ваши навозной юбки веком не скидывали, рук от коровьего вымени не разогнуть. Помню, что на четыре деревни была всего одна девчонка: значит, затяжная болезнь, от которой до сих пор не может выправиться северная деревня, началась именно тогда, и до сего дня с невестами, а значит и с семьею, с продолжением рода, с кормильцем, на пашне туго, и перемены этому пока не предвидится. Но речь не о том...

Жили мы у старика-охотника. Уж сколько времени минуло, по прошлым нравственным меркам и я ныне старик-старичище, но все помню этот живописный облик хозяина, его нос бульбою, толстую скобку усов, и клин апостольской бороды, и крохотные, источающие необычайную голубизну, глазки. Несмотря на множество интереснейших физиономий на Руси, стариков с таким обличьем мне встречалось мало: вот, пожалуй, сказочник Дионисий из Дураково да песенник из Уны. Этот тип человеческий необыкновенен не только живописным лицом, но и веселым нравом характера, несмотря на преклонные годы.

Так вот, хозяин наш был охотником-медвежатником, взял за жизнь тридцать три медведя, потом завязал с промыслом, "потому что шкуры больно дешевы стали". Не риск устрашил, не долгие броды по зимней тайге, не опасная охота, не одиночество суземное, когда заходишь по первому снегу на путик, а уж под март вылезаешь из лесу, как медведь-шатун, обросший и одичавший,— но единственно, что не радовало, угнетало нашего старика, что шкуры больно дешевы стали.

Он многое что рассказывал тогда, в долгие вечера с керосиновой лампешкой, но запомнились отчего-то две. Одна бывальщина о том, как охотник, позарившись в лесу на добычу, сотоварища убил, а голову спрятал где-то в лесовом ручье. Второй же случай был о дезертире с первой мировой: отчего засел он так в памяти? ведь никогда не помышлял о писаниях, да и возрасту был еще того молодческого, когда больше призывает девичий взгляд и случайно сорванный поцелуй. Но тут, вернувшись с Пинеги в Архангельск, я лихорадочно засел за стол и в ученической тонкой тетрадке описал в подробностях все, что унес от старика с младенческим синим взором. Послал рассказ-быль в журнал "Юность", вскоре мне вернулся естественный, не поразивший меня отказ; работу я тут же порвал, раздосадованный прежде всего на себя, что затеял такое никчемное дело, и тем сразу освободил душу от гнета. Ибо исповедь старика произвела на меня именно впечатление груза, какой-то необъяснимой тяжести, ибо ровная моя до того жизнь вдруг раскололась, в ней встало непонятное для меня, что-то пугающее. Ужасов войны мы отчего-то не воспринимали, да и не знали, долгий голод быстро забылся, к роскоши наши телеса были непри-

вычны, мы умели тогда пользоваться удивительно малым, безотцовщина войны: прикрыт зад да плечи, лишь бы не сверкало чужому глазу, живот набит хлебом с трескою — ну и благо...

Но эта история была о дезертире и его жене, она открывала совершенно иные стороны человеческого существования, о коих мы тогда и не догадывались, она поведала совершенно о иных чувствах, о драме. Чувства и горе родной матери не воспринимались тогда с остротою, как не оглушала несчастьем жизнь соседей, их горе, повесившийся на чердаке отец, одиннадцать полураздетых ребятишек и т. д. Во второй мировой, как мы уверовали и твердо понимали, были лишь герои, победа, карточки, очереди, снесенные напором очереди ворота магазина. Все было обыкновенно, буднично, с маленькими торжествами, скоро преходящими обидами и бесконечной волею посреди природы...

А история вкратце была такова. Мне казалось, что я помню ее всю, дословно; так мыслилось, что я даже был очевидцем этой драмы, с такою четкостью виделась мне грустная картина. Я всю ее носил тридцать лет непонятно где, если голову можно считать вместилищем родовой памяти. И самое поражающее: я еще минуту тому, прежде чем сесть за стол, помнил рассказ с такою полнотой, точно все пережил сам. И вдруг история в один миг пожухла, повыветрилась, как палый, давно меркший под дождем осенний лист в преддверии зимы, от которого ныне осталась не увядающая плоть, но лишь силуэт плоти. Вся память ссохлась, оказывается, до нескольких слов, но полнота воспоминания не стала мельче, но таинственно ушла вглубь меня. Я не случайно так много исповедуюсь об этом, ибо если нашу жизнь вспоминательную воспринять как шествие назад, то я, значит, еще живу в том межвременье, когда все прошлое во мне лишь как некие знаки, пометы, обозначения, ждущие будущей расшифровки...

Конечно, при желании можно навыдумывать, вообразить невесть что, написать по этому поводу рассказ, повесть иль роман, но я передаю драму вкратце, как приготовилась к этому моя душа.

Солдат бежал с фронта на Пинегу в деревню Высокая Гора. У него были жена и двое детей. Он навестил их тайно ночью, а затем ушел в тайгу за пятнадцать верст от деревни и стал жить в зимовье. И жена ночами бегала к нему глухой зимой, носила еду, утешала. Однажды пришла в становье, а муж повесился. Тогда она сняла мужика, вырыла в подполье яму, захоронила благоверного, а вернувшись в деревню, скоро распродала свой нехитрый нажиток и, забравши детей, насовсем покинула деревню. Вот и все, если в строгом изложении, с холодною душою стороннего человека. Но стоит лишь призакрыть глаза, отдаться на волю впечатления и представить, как сквозь

тайболу на лыжах, боясь (конечно же боясь) и волков, и всякой нечистой силы, с лузаном за плечами спешит наша горемыка, еще молодая, неистраченная, в самом соку, к своему благоверному; и конечно, она думает о муже, как ему тяжко там, и он небось мается, и наверное, она поругивает его непонятно в чем, и может, радуется, что жив любезный сердцу и можно скоро увидеть его; это как бы в схороне хранить некую драгую вещицу и украдкою любоваться ею в одиночестве. Вот она распахивает дверь в зимовье, собирается что-то крикнуть, де, не страшись, это я, и еще с порога, поди, ее голос спотыкается и сипнет, ибо еще не зная о смерти мужа, она уже чувствует ее присутствие по той вкрадчивой тишине, от которой упадает в бездну даже и ретивое сердце. И она, ударяя кресалом по кремню, спешит запалить трут и возжечь лучину, и тут видит... Раньше писали в подобных случаях: и кровь ее заледенела. А ведь куда как точно, пожалуй, вернее и не сказать, ибо тут действительно не жар, а стужа завладевает человеком и лишает всякого дара к движению. Но ведь нашей вдовице надо и каменку разжечь, и воды нагреть, и обмыгь из берестяного туеска, да и плахи в полу вскрыть, и чем-то схорон выгрести в северной закаменевшей земле. Так упрятать благоверного, словно и веком не бывало его на земле, будто и не рождался он на белый свет, чтобы не пал навет, глаз и прикос на милых чад, которым еще долго мыкаться по дорогам. Не ради себя мукою изводила крестьянка душу, а после, убитая горем, едва живая, непонятно каким духом приплевшаяся в деревню, но ради семени своего, чтобы не тыкали прилюдно пальцем, не изводили насмешкою, не кинули в спину камнем.

И здесь снова встает вопрос о душевной силе. Помните о человеке, у которого вместо сердца — каменная варака. Так обязательно супротив него должен сыскаться на миру человек со взыскующей, совестливой душой.

Жалость народа, сострадание к самой малой твари, к падшему и заблудшему идет от уверенности в себе, от внутренней силы. Никто из мира не хочет расписываться в своей слабости, немощах, пороках, всячески скрывая, припудривая их; таков, наверное, и всякий народ, если посмотреть на него, как на великанье тело с великаньей душой. Он живет двумя жизнями — тайной и явной. Слабое — внутри, притаенное, со своей больной и сокровенной заботой излечиться; сильное же, гордоватое, торжественное — всем наружу, напоказ, для духовного примера, для устройства прочного уклада. Так вот, чем сильнее, увереннее в себе народ, в своем нравственном здоровье, когда он не устрашается ни косого взгляда, ни каких других утеснений со стороны, тогда он и чувствует себя просторнее, тогда душа его при всяком случае спешит раскрыться в милости, в прощении и сострадании.

Я ведь не случайно взял самую скрытую сторону всякого народа. И Русь никогда не воспевала песнь дезертиру, не праздновала трусу: она сознательно обошла падшую душу стороною и в песне, и в былине, и в сказке, словно бы Русскую землю не навещала сия болячка. А ведь она была, мы знаем по истории, когда во время смуты и холоп, и боярин метались от народного вече в отряды польских смутьянов и обратно, когда у казаков атамана Баловня было любимейшей забавою набивать рот крестьянина порохом и взрывать мужика. Но противу Баловня, как мы помним, встал Козьма Минин. Нация в здоровье живет немеркнущем, если противу всякого Баловня является Козьма. Тело любой нации растет, взрослеет, перебаливает; и от этих перенесенных мук просыпается понимание чужих страданий, без которого не выстроится совершенная душа народа. Так вот, слабый душою человек не поминался в народном слове, его, труса, словно бы обошла и молва, и память, будто Русь в изначалии сознавала, что слабое не просит ни публичного негодования, ни осмеяния. Но всякому подвигу лился торжественный помин, ибо это была нравственная наука на созидание, на сохранение, на вырост.

Но душа сильного народа постоянно и молчаливо хранила в себе милосердие к падшему духом. И не сказать точнее Гоголя:

"Может быть, одной капли любви к нему было достаточно для того, чтобы возвратить его на прямой путь..."

* * *

Из простой судьбы

"Через реку-то скачет. Замиренье, говорит. А Степан-то Григорьевич нам: чего, дурак, радуется? Еще бы с годок война бы потянулась, дак я бы и зажил.

Я-то хотела было написать, да и написала, куда следовает, чтобы прижали изменщика. А потом сыну-то и говорю: разорви письмо. Нынче Степан-то Григорьевич возьми и забахвалься. Я и говорю ему: не подымайся высоко, не пуши перья, благодари меня, что по земле ходишь. Не разорвала бы письмо, забрали бы, да и не спустили..."

7

Первым ужаснулся русский интеллигент, когда представил себя человеком без родства, этаким перекати-поле, которое мчит неведомый ветер по неведомым же землям; и вроде бы нет остановы, прибегища,

того якоря, за который можно бы уцепиться и воскликнуть с торжеством: "Я русский!" Для того чтобы провозгласить свое родство с Русью, надо было обнадежиться ею, возлюбить ее, как мать родную, и понять, что без нее, без корневого "низкого" народу, без этой безответной и "темной" толпы никуда не деться, и ничего, оказывается, не стоит даже самый изощренный ум, украшенный долголетством и величием рода своего. Только "черный" народ любое имя или подымает на вышины в награду за достоинства и добродетели, или уносит с собою во тьму, как безвестный прах. И когда понял русский интеллигент свой исход, ту пашню, в которой он глубоко и мертво увяз кореньем, тогда-то и ужаснулся той пропасти, что возникла меж ним, семенем этой земли, и Русью, кою называл он святою и незыблемою, столько последних веков не сознавая, на чем крепость ее зиждется, в чем ее становая сила. И тогда интеллигент двинулся в народ, во все окраины Руси, в деревни, на выселки, в рабочие казармы, в каторгу и раскольничьи скиты, чтобы понять свое родство с "пашнею" и суть русской натуры.

Достоевский назвал сострадательное чувство, милосердность русского сердца "всечеловечностью", способностью пожалеть самую малую тварь на всех просторах своей и зарубежной земли. Как бы ни придавливал иной притеснитель, какие бы козни ни творил, какие бы пакости ни подпускал, но даже в самом униженном состоянии у русского в глубоко обиженном сердце найдется к своему ворогу капля прощения, помилования. Об этом качестве писал и Степан Шевырёв: "Рыцарю правда выше всего; но для русского народа, называющего преступление несчастием, милость выше правды, хотя и за вину проливающей кровь ближнего".

...Жалость, милосердие, сострадание — вершинное чувство, из которого вырастает любовь. От доброты, как уверовал в нее русский народ, двойная выгода; с одной стороны, душа очищается, сымаются грехи и потому больше вероятности попасть в рай, откреститься от нечисти, коя так и норовит уволочь душу твою в ад; с другой стороны, твое милосердие всегда отплатится, пожалеть — это как бы взаймы дать, не загадывая. Ибо было необыкновенно живуче в народе присловье: "От сумы и от тюрьмы не зарекайся". То есть с какою бы похвальбою и сытостью ни жить, но ежели судьба неведома нам, то каждому из смертных может быть уготовано иль тюремное страдание, или нищенство.

А ведь как легко все нажитое спустить на ветер; это горбом наживается, копейка к копейке, каждый грошик считаешь да к делу его приноравливаешь; но пала случайная искра, иль молоньей поразило, иль какой нечестивец подпустил красную лисицу — и в считанные минуты весь живот

твой улетает дымом, и ты тоскуй тогда на голом пепелище вместе с домочадцами своими. И вот идет погорелец в мир: он уже прошак, и по всему его виду, по его скорбным глазам всякому понятно, что погорелец бредет за помощью. И как тут откажешь? И всякая сострадательная рука, помня о неминучей судьбе, такой таинственной и слепой, невольно подаст погорельцу милостыню.

И нищего с зобенькой как не приветить, не оприютить? Лишь каменная душа погонит от своего двора прочь и не даст куска на пропитание; подать убогонькому — это как бы отереть кровавый пот с Христа, накормить его, воскресшего, блуждающего по весям с присмотром, как-то ведет себя паства.

Но если в каторгу кто угодил, в тюрьму, на этап, на высылку? Страдательная душа и тут отзовется, выскочит на проселок с булками, вареными яйцами иль с гривенкой, чтобы протянуть ее горемыке, закованному в кандалы. Для русского даже убийца — несчастный человек, и коли угодил он "на зеленую улицу, в теплые края", где век коротать, то как не пожалеть его? "Ведь милость над грехом — что вода над огнем". И нету надеи, что излечится от проказы душегуб, и кровью запятнан, и всегда будет мучиться грешная душа его, но скажите, как не протянуть утопающему соломину? Ведь ласковое слово пуще дубины. Пути человечьи неисповедимы, и может, в этой каменной вараке, в этом грозно насупленном, застывшем взгляде пробудится искра человеческого? А высечься может она и от одного жалостного слова.

Если убежит с каторги, то ловят, как волка, пресекая все тропы, ибо ускочивший из-под запоров человек — страшен, и тут к нему нет милосердия. Но лишь поймают мужики, заломят руки, отведут становому иль уряднику, надавав хороших лещей, чтобы неповадно было бегать, и снова арестант несчастный, снова он страдалец, клейменный неизносимой печатью.

* * *

Олонецкий краснопевец Николай Клюев писал из ссылки в июне тридцать четвертого года: "Насколько мне известно, расправа с моей музой произвела угнетающее действие на лучших людей нашей республики. Никто не верит в мои преступления, и это служит для меня утешением... Получил от Н. А. (Обуховой) 50 руб. по телеграфу уже в Колпашеве (Нарымский край). Сердце мое озаряется счастьем от сознания, что русская блистательная артистка своим милосердием и благородством отображает "русских женщин" декабристов, "во глубину сибирских руд" несущих свет и милостыню. Да святится имя ее. Когда-нибудь в моей биографии чаша

воды, поданная дружеской рукой, чтобы утолить алкание и печаль сосновой музы моей, будет дороже злата..."

Я побывал на родине Клюева в Вытегре: сырое, низкое, какое-то чахлое место меж озер Лаче и Воже, самое Обонежье, где взгляду человечьему негде сыскать утехи. И сама-то Вытегра, откуда в девятнадцатом благословлял поэт красные отряды в поход, представляет собою место самое неустроенное; у меня создалось впечатление, будто из огромного рукава, кто-то нерадивый и скородумный, бросил россыпью избенок, и куда пали они на болотины, там и прилепились, там и огнездились на земле. Во всем виде Вытегры невольно отразилась гонимая раскольничья душа, склонная к уединениям, выселкам, скрытням и погостам, когда о соседе узнавали лишь со временем по щепе, плывущей вниз по течению. И об этой скудной земле русская народная душа Клюев писал без тени напуска и лжи: "Нет прекраснее народа, У которого в глазницах. Бороздя раздумий воды. Лебедей плывет станица. Нет премудрее народа, У которого межбровье — Голубых лосей зимовье".

Тот самый Клюев, который остерегал Блока от пагубы всех левых толков, ворвавшихся на Русь с Запада с целью затмить и разложить изнутри национальную культуру: "Многие стихи из Вашей книги ("Земля в снегу") похабны по существу, хотя наружно и прекрасны — сладкий яд в золотой, тонкой чеканки чаше, но кто вкусит от нее? Питье усохнет, золотой порфир треснет, выветрится и станет прахом. Смело кричу вам: не наполняйте чашу Духа своего трупным ядом самоуслаждения собственным я-я!"

Вот впечатление искреннего Блока от этого письма: "И я поверил Клюеву в том, что даже я, ненавистник порнографии, подпал под ее влияние, будучи интеллигентом. Может быть, это и хорошо даже... что указывает мне на это именно Клюев. Другому бы я не поверил так, как ему".

Тот самый Клюев, который по глубине философского взгляда на народную культуру куда как далеко обошел самые глубокомысленные умы своего времени: "Тайная культура народа, о которой на высоте своей учености и не подозревает наше так называемое образованное общество, не перестает излучаться и до сего часа. "Избяной рай" — величайшая тайна эзотерического мужицкого ведения: печь — сердце избы, конек на кровле — знак всемирного пути. Одним из проявлений художественного гения народа было прекраснейшее действо перенесения нетленных мощей, всенародная мистерия, пылинки которой, подобранные Глинкой, Римским-Корсаковым, Пушкиным, Достоевским, Есениным, Нестеровым, Врубелем, неувядаемо цветут в саду русского искусства..."

Тот самый русский "берестяный Сирин", который писал о себе: "Я от-

дал свои искреннейшие песни революции, конечно не поступясь своеобразием красок и языка, чтобы не дать врагу повода для обвинения меня в неприкрытом холопстве..."

И вот Клюев из своей полуподвальной квартирешки в Москве, украшенной в старорусском стиле, не по своей воле вдруг попадает в село Колпашево в Томской области. Это перемещение случилось столь стремительно, что и близкие-то друзья не сразу узнали о печальном путешествии.

Я сейчас пишу не о судьбе Клюева, не о его редком поэтическом таланте, не о месте поэта в русской литературе; я помянул Клюева, размышляя о милости, милосердии, отзывчивости, как особенном свойстве русской натуры. Полагаете, что в тридцать четвертом, когда поэт загремел по этапу, было меньше милосердных, склонных к милостыне (в высоком смысле этого слова?); или всякая родная душа уже нашла упокой? иль все скрылись по углам, боясь благородного движения души, чтобы этим не уличили, как в чем-то дурном? иль жалость оказалась в столь дорогой цене, что на нее в редком сердце хватало сокровищ? Все — нет и вместе с тем — да. Страдательные люди были так разъединены, что не виделась, не могла быть обнаружена в истинных размерах всеобщая человеческая участь, жалость и сострадание: ежели бы они прекратились, то и русской нации уже не было, и победы нашей не было бы в столь изнурительной войне, когда даже эмигрант, из любви к отечеству, в далеком Париже помогал, чем мог, русскому воинству... Думается ныне, с вершины времени, что в те печальные годы милость и жалость были приняты за дурной тон: внушалось, что пожалеть — это значит унизить ближнего, больно уязвить его. ибо "жалость — пережиток старорежимного прошлого". И всякий, блюдущий старинные заповеди, невольно полагался за противника новой нравственности; а всякий враг нуждается в укороте, и потому сострадательный человек мог невольно угодить в стан поднадзорных. И когда Клюев писал доверенному человеку о певице Обуховой, о ее милосердной, такой русской натуре и о чаше воды, поданной дружеской рукой, которая со временем станет дороже злата, то он не себя возвеличивал в гордыне, а лишь напоминал о немеркнущей цене милостыни и о том, что спешите, родные, делать добро, не скупясь...

А собственно, в чем была вина поэта? Да в том лишь, что он неустанно проповедовал о высшей нравственности крестьянина, о его глубоко национальной культуре, без познания которой, осознания ее вершинности, не смогут вырасти "прекрасные цветы", но чертополох и дурнина полонят российскую душу. Не о том ли в свое время говорили и Достоевский, и Толстой, и Даль, и Бунин, и Рыбников, и Максимов, и Гильфердинг, и Барсов, и Лесков, и Мельников-Печерский.

Клюев — человек тонких предчувствий, долго зревший на ниве религиозных страдательных переживаний, настроивших его характер на особенную непреклонную стезю. Как дитя староверческого толка, вынужденного извечно таиться, постоянно готового к страданию за веру, он и в себе с малых лет выпестовал черты немирия ко всему фарисейскому и неправому. "Отроковицей прилепилась родительница моя ко всякой речи, в которой звон цветет знаменный, крюковой, скрытный, столбовой... Памятовала она несколько тысяч словесных гнезд стихами и полууставно, знала лебедя и розу из шестикрыла, огненные письма протопопа Аввакума и много другого, что потайно осоляет народную душу — слово, сон, молитву, что осолило и меня до костей, до преисподних глубин моего духа и песни".

Как защитник крестьянского гибнущего мира, он и должен был стать в обороне на самом виду осадной стены. Стоит ли ныне ворошить нам память и плач творить по безвинным, если рука наша не поднялась для милости тогда? Тридцатые годы и война тяжелым лемехом прошлись по крестьянству; древо это пытались выкорчевать без жалости со всем корением, полагая его за досаду и помеху, уж слишком ветвисто оно, слишком тенисто своею листвою, слишком жиловато прошило всю российскую землю; и шагу некуда ступить, чтобы не запнуться о коренья, порою для умирания вылезшие под небо, узловатые, белесые, трещиноватые верви, опутавшие мать-землю. А не думали того "неистовые ревнители", что, корчуя "древо жизни", они тем самым рубили и свои подпятные жилы. После и город подчистил деревню, снял с пашни верхний родящий слой, так полагая, что лучшие умы и зрелые силы необходимее городу, а земля-де сама себя родит, сама себя и кормит. Но и поле, если его орать с нерадением, может зарасти дурниною, когда доброму злаку не пробиться сквозь заросли пырея и пустоцвета. А каково было крестьянству, когда из нескольких поколений город отбирал лучших (призыв за призывом), себе присваивал пришлые умы, полагая, что они взялись из ничего, как бы разом явили себя из камня и асфальта.

Говорят, отощавший чернозем можно восстановить через сотню лет, но сколько лет понадобится, чтобы восстановился "национальный генетический фонд", тот самый природный земляной талант, который мы с такой беззаботностью черпали, полагая его неиссякаемым. Погибают традиции, обряды, тускнеет тысячелетний опыт, и оратай, смерд, земледел, корни которого уходят в самые глуби времен, становится нахлебником, потерявшим всякую связь с землею, ее духом, ее тайнами, плотью, чувствами, с той самой землею, комом которой клялись, возлагая на голову, горсть которой хранили в ладанке на груди. Знание земли — это родовой опыт,

передающийся не каждому, и кому достался он по наследству, тот человек уже по-особенному талантлив, этот пахарь, помеченный судьбою, как отмечен перстом каждый талантливый человек. И когда этого особенного земледела отлучают от клина земли, то скудеет не только нива и крестьянский род, но ощутимо теряет вся нация разом: второго такого пахаря вырастить трудно, а может, и невозможно...

Как человек, склонный к пророчествам, Клюев задолго уловил грозящую нации беду, он остерегал от напасти, он проповедовал милость к кормильцу, пахарю, но вместо понимания нашел остяцкую худородную избу. "Сейчас за окном ливень и по обыкновению серое нарымское небо. На столе у меня букет лесных цветов в глиняном горшке. Цветы здесь задумчивые, все больше лиловые, покрытые пухом, как шубой. Это они защищены от холодных утренников. Недавно был на жалком местном кладбище,— все песчаные бугорки, даже без дерна, без оградок и даже без крестов. Здесь место вечного покоя отмечают по-остяцки — колом. Я долго стоял под кедром и умывался слезами: "Вот такой кол, думал я, вобьют и в мою могилу случайные, холодные руки". Ведь братья писатели слишком заняты собой и своей славой, чтобы удосужиться поставить на моей могиле голбец, которым я давно себя утешал, и многим говорил о том, чтобы надо мной поставили голбец".

В этом письме на Большую землю к своей духовной сестре Н. Ф. Христофоровой-Садомовой не только слезная мольба о сочувствии и помощи, но и скрытое желание, чтобы весть о его страдании разнеслась по всей сочувствующей Москве, чтобы сыскались сострадательные души, способные к милости. И добрые люди нашлись, отстояли Клюева: на какое-то время поэту дозволено было перебраться в Томск.

Я хотел было написать в том тоне, де, Клюев оказался не аввакумовского помола, де, слишком много плача у поэта на свою участь, де, проповедуя твердость духа, он сам никак не подходил под разряд сильных людей, о которых в русском языке столько эпитетов: мученики, страстотерпцы, великие мученики, преподобные, пустынножители, плотоубийцы, скитальцы, веришники, столпники, юродивые и блаженные, постники и великопостники, милостивые и бессребреники, затворники, молчальники, чудотворцы, богоносцы, праведники, славномученики. К какому же разряду можно бы отнести Клюева, прочитавши его письма? И тут же я остерег себя: разве можно судить кого-нибудь, не знавши тех обстоятельств, не перенесши и сотой доли тех тягостей, особенно чувствительных для поэта, которому всякое унижение, ущемление воли пуще телесной язвы, ибо эти запреты, ковы — будто невидимая расщелина, через которую стремительно убывает дух.

Вспомним подвиг Аввакума, с какой гордостью и неколебимостью взошел он на костер! Но письма-то его проникнуты безмерным плачем, подробными описаниями тягостей, просьбами помощи. Так для чего такие слезливые письма? Чтобы не только поведать о своих страданиях, но к этим страданиям привлечь многие иные души, чтобы они Аввакумовым страданием соединились меж собою? Плачи Аввакума нужны были для единения гонимых в расколе, они не только терзали сердце единомышленника, но и подымали его к подвигу за веру, вселяли гордость за учителя, который уподобился Христу.

А письма Клюева не схожи ли с Аввакумовыми? Он тоже обращался к жалостному чувству, чтобы на Руси не иссякла милость (милостыня), как ощутимое духовное приобретение.

В Вытегре последние очевидцы свидетельствуют, что Клюев был веселым, жизнерадостным по натуре человеком, в нем горело что-то от скомороха, бродячего артиста, коими была славна древняя Русь. Вы помните, когда-то и скомороха архиереи объявили вне закона, вне порядка, как непутевого бродягу и шута, дерзкого, непочтительного на язык, и препоручили плахе и костру. Вместе с потешными красными колпаками сгинула в пламени костров и былая культура с ее детством, искренностью и всеобщностью, а на смену пришла каноническая и элитарная.

Но по музе Клюева разве можно предположить о радостном его сердце, в нраве которого было что-то от бахаря, баюнка, сказочника, потешника, деревенского враля, мастера лить колокола, самые нелепые бухтины о похождениях весельчака-пройдохи. Да что там: пять лет тому писавши о Клюеве, о его расхристанной якобы душе, зная лишь стихи поэта, но еще не читавши переписки с Блоком и Есениным, его последних сибирских вестей на Москву, как глубоко, оказывается, ошибался я, приняв поэта за личность не только трагическую, но и мрачную, склонную к уединению и беспричинной грусти. А ведь именно из клюевского редкого ума со временем вырос бы всеохватно размышляющий философ...

Вот и в Томске записано известие, что Клюев являлся в люди как утешитель, с радостным сердцем и ласковой улыбкой, даже если хвори одолевали поэта и он слышал надвигающуюся смерть. Клюев готовился к худшему. Он еще ходил в Томске по гостям, но уже внутренне прибирал себя, настраивал к такой кончине, чтобы "не дать врагу повода для обвинения в неприкрытом холопстве". В помощь себе, чтобы утвердить волю, он призвал русских подвижников, страстотерпцев. В сутолоке жизни человек едва узнаваем. Его сокровенная жизнь сокрыта в этой чаще. Когда же вторгаются страдания, мы узнаем избранных и святых

по их терпению, которым они возвышаются над скорбями. Одр болезни, горящий дом, неудача — все это должно содействовать тому, чтобы вывести наружу тайное... У некоторых души уподобляются духовому инструменту, слышному лишь тогда, когда в него трубит беда и ангел испытания. Не из таких ли и моя душа?"

Как же легко мог обмануться я, приняв плачи Клюева за его слабость; именно в те дни, усмотрев укрепу духу в древней истории, он был готов к достойной смерти. Беда протрубила не в распахнутые ворота, поэт приготовился к многотерпению, точно угадав суллящие испытания.

В тридцать седьмом году след поэта затерялся. Была последняя весточка из тюрьмы: "В розовом апреле оборван твой предсмертный плач".

Помните, он писал прежде: "Я долго стоял под кедром и умывался слезами: "Вот такой кол, думал я, вобьют и в мою могилу случайные холодные руки".

Где нашел смерть свою Клюев: на пересылке? в этапе? на тюремных нарах? в казенной больничке? в скотиньем вагоне в гуще обездоленных арестантских тел? в тайге под кедром?

Остались одни легенды. Ходят слухи, что скончался он то ли на вокзальной скамье, то ли на улице под забором. Но вот будто из небытия весть от бывшего священника: дескать, на этапе он случайно познакомился с арестантом, и тот в разговоре поведал, что знавал в тюрьме человека, обличьем схожего на батюшку. Все звали его в камере Николаем. Он уже едва ходил, опухли ноги, но постоянно всех веселил, смешил, изображал всяких животных, рассказывал сказки, читал стихи. Однажды арестантов повели в баню, и этот Николай, поскользнувшись на мыльном полу, головою ударился об угол скамьи. Была зима. Несчастного вынесли на улицу, и он тут же, возле бани, скончался. По описаниям, умерший в тюремной бане очень походил на русского поэта Николая Клюева.

Такими провидческими видятся сейчас его слова: "Многих я веселил в жизни — и за это плачусь изгнанием, одиночеством, слезами, лохмотьями, бездомьем и, быть может, гробовой доской, безымянно затерянной".

...И это будет раным-рано,
Без слов дырявых человечьих,
Когда на розовых поречьях
Плывет звезда вдоль рыбьих троп,
А мне доской придавят лоб,
Как повелося изначала,
Чтоб песня в дереве звучала!

* * *

Русскому человеку очень важно было достойно умереть, подвести черту; и не от того только, что он ужасался предстоящей кары, судилища, которого не избежать, всех тех мучений, что поджидали грешника на том свете, но было в душе особое чувство завершенности жизни, которую надобно было закончить достойно; ведь после-то смерти уже ничего не поправишь, не подлатаешь, не повинишься, не покаешься. И эти последние отпущенные сроки надо было прожить начисто, без помарок. Об этом свойстве русской натуры, через свои личные переживания, хорошо исповедовался писатель Борис Викторович Шергин: "У меня часто теперь такие ощущения, что круг жизни завершается, начало моей жизни с концом сходится. И вот-вот спаяются края оного таинственного. Старость с детством радостным таинственно сольются. И оттого, что начало жизни и конец ея уже близки к слиянию, оттого, что магнитная сила неизбежная стягивает конец и начало в бесконечное златое кольцо, так как уже проскакивает искра от концов кольца,— оттого и я чувствую сладко и радостно, как в детстве, таинственную жизнь, силу, пребывание праздника на земле. Только достойно надо конец-то жизни-кольца из того же из чистого злата, каким было младенчество, ковать. А то и не соединятся концы-ти для вечности-бесконечности".

Без праведно завершенного житийного круга был заказан вход в вечность, в новую неизведанную жизнь, которую предстояло начать после долгого отдыха. Златое кольцо отгоревшего земного бытия — лишь звено в цепи, похожей на Млечный Путь. Так полагал Борис Шергин, верный сын своего народа.

Может, потому так задолго и готовился прежде всякий русский к исходу. И встречал его без страха, как некий рубеж, который надобно преодолеть.

8

Как ни покажется чудным, но главка о "кумовой кровати" возникла случайно от воспоминаний о послевоенном детстве. "Кумова кровать" по народным представлениям — огненное ложе, которое ожидает грешника по смерти. По старинной легенде первоначально это наказание было придумано для самих чертей, чтобы они исправно несли свою службу, не волынили, не обманывали сатану, и потому черти страшно боялись "кумовой кровати". Кроватью этой пытали не только чертей, но и их сродников, сватов, кумовьев, тех, кто продал душу дьяволу: кровать вся огненная, на колесах и кругом вертится.

Собственно, "кумова кровать" — это потеря некоего жизненного рав-

новесия, смена действия: день — ночь, небо — земля, земля — подземелье, жизнь — смерть, рай — ад, этот свет — загробный мир и т. д. Видимо, это языческое понимание природных весов, когда все в мире держится на весьма зыбком равновесии, и при каждом поступке, черном замысле, нерешительности характера это состояние равновесия будет нарушено, и случится тот коренной поворот бытия, чреватый самыми дурными последствиями. И это не столько нравственное, умственное и духовное, сколько биологическое ощущение зыбкости, качельного существования всей природы. Это чувство, наверное, самое древнее; по крайней мере, оно ощутимо в былинах, древнейшем русском жанре.

Вот Илье Муромскому, первому православному богатырю, что явился на смену языческим охранителям народа, калики перехожие помогли подняться с карачаровской лавки, где сидел он увальнем тридцать лет. Вот испил он святого напитка из ковша и, согнав хворь, отправился на подвиги. О первом его добром поступке уведомляет былина "Как Илья Муромец стал богатырем", записанная в Мезени, на моей родине. Подвиг ли то был? Записывать ли его в поминник необычного, случившегося с нашим богатырем? Первое, что он содеял своею силой и природным умом, это разоблачил коварство женщины: "Вот приехал Илья на росстани, на росстанях написано: в одну росстань ехать — богату быть, втору — жонату быть, а третью — живу не бьггь. Он подумал, подумал: "А как же жонату быть? Я теперь,— грит,— годы далеко; богату бьггь — тоже; куды мне с казной? А лучше поеду туда, где живому не бьггь". Вот и отправился. Едет. Дом стоит большущий-пребольшущий. Так постоял, все хорошо. Да! Ко кольцу привязал коня, зашел. Там женщина, принимает его, как положено, ухаживает, все в порядке. "Пожайлуста,— грит,— кушать хочешь ле, со мной отдыхать лягешь ле?" Ишь, сразу предложение како делат, на кровати место указыват! К койке подвела, а сама далече стоит. А Илья уже в годах был, догадался: что-то тут не то, ладно ле? Возьмет да ее захватит, да наперед саму туда и положит, на койку-то. А эта койка была ложной. Туда люк, а там клетушка, не выйдешь. Эта женщина: "Ах, я того не знала". Нашел дверь, отомкнул, зашел, там 30 человек сидит. Вот сколько она накопила. Он их всех выгнал. "Эх вы,— грит,— женщине даваетесь. Вот видишь, все они доводят до чего". Выпустил так всех, побрели".

...После войны голодно было. По Мезени разошлись слухи, де, в больших городах появилась преступница, убивает мужчин, что с войны явились, мелет на мясо, делает пирожки с фаршем и продает на базаре. Один знакомый купил, стал есть, а там человечий ноготь. Он пошел и заявил в милицию, ту бабу поймали с поличным. Она пирожками торговала. Обыч-

но рассказывали старшие поздно вечером подобные истории, ближе к ночи, когда спать ложатся; мы слушали, разинув рот, и так страшно было, что волосы дыбом и кожа морозом обливалась. "Дак как это она делала-то, стерва?" — на полной вере спрашивал кто-нибудь из взрослых. Насколько помню, таким историям верили все искренне. "А... завлекала, сучка, мужика к себе, да. Напаивала пьяного, а после в кровать спать. С пьяного-то мужика веревки вей. Он и радешенек, дурень. Скажет баба: вались к стенке, он и повалится. А у нее кровать была с поворотом. Он и кувырк в подпол, на острые пики. Многих она сгубила..."

Так старинная легенда о "кумовой" вращающейся кровати уже в мое время начала новую жизнь.

9

Из простой судьбы

Непогодь держала, вылет отложили, и я, убивая время, зашел в архангельское кафе, Я был в том собачьем настроении, когда человек в чужом городе не знает, куда себя деть, и с грустью размышляет: двинуться ли ему в ресторан, пойти ли в кино иль завалиться спать. В кафе оказалось необычно пусто, сумрачно, свежо, тихо играла музыка, буфетчица с добрым, неуставшим лицом налила коньяк. За окнами мела поземка. Я опустился за столик, занятый понурым человеком. Несмотря на полумрак, его просторная лысина зеркально отсвечивала, а вся сгорбленная фигура излучала неприкаянность и тоску. Я сел напротив с тревогою, какую вообще вызывают пьяные болтливые люди: я был в таком настроении, когда самому хотелось бы излиться. Я сам искал жертву. А человек вдруг поднял голову, будто прочитав мои мысли, и заговорил торопливо, взахлеб: он, наверное, боялся, что я встану и уйду. Он, оказывается, тоже ждал жертву и опередил меня.

"Я на двадцать процентов пропащий человек по этому делу,— он скользнул ладонью под бородою.— Пропащая и запущенная личность. А был в судоводителях, в капитанах не был, врать не хочу, но был в третьих штурманах. Скажу тебе, жизнь — скверная штука. И нынче мне понятны те, кто это делает.— Он чиркнул пальцем по шее.— И я бы хотел, да больно будет, если промахнусь. Топиться — вода холодна. Застрелиться — ружья нет".

Я присмотрелся, лицо его было вовсе не похоже на лицо пропащего, конченого человека, желающего смерти. Крохотные голубые глазки,

вдавленные под крутой нависающий лоб, совершенно трезвы и внимательны, а во всем, словно бы намасленном, лице живет странная убежденность проповедника, точно этот человек ищет себе спутников в недальнем закругляющемся пути, в том исходе, который уже мысленно уготовил себе.

"Знаешь притчу? Кто деньги потерял, тот ничего не потерял. Кто друга потерял, тот половину себя потерял; кто надежду потерял — тот все потерял. А у меня все было. Я работы не боюсь, вот,— он протянул руки без указательного пальца на левой.— Дом был, семья, жена, сын. Сына не хотел, дочь хотел. Имя было придумано: Алла, Нелли, Стелла. Красиво, правда? Нелли Юрьевна! А родился сын. Двенадцать дней без имени жил. Мать говорит: что вы парня без имени держите? Потом еще хотел ребенка, думал — дочь будет. Ушел в море, а жена аборт сделала. Вот и пошло. Утром примешь сто пятьдесят, днем сто пятьдесят, а вечером — насколько здоровья хватит. Я был в рыбкиной конторе, гроши хорошие, пятьсот — шестьсот всегда в кармане, и харч готовый".

Он говорил медленно, проверяя слова, с какой-то убежденностью в речи и красивостью в жестах, слегка потухшим надломленным голосом. Наверное, мучит человека, ой корежит, раз готов к исповеди, но словно бы он этой мукой своей дорожит и хвалится ею, и всячески жалея себя и сострадая по себе, он ведет, однако, прежнюю гульливую туманную жизнь. А может, жалость к себе лишь подмога и украшение существованию? И в убежденном голосе, в плавных жестах сильной беспалой руки, в искрящихся глазках я вдруг прочитал довольство собою.

"Сколько-то поживу, а потом умру. Может, и женюсь. Лучше прежней не найти, а хуже — не надо... Капитан наш был гроза, унтер Пришибеев, но рыбу ловить умел. Самодур, а ловить умел. Второй штурман прыгнул в море с чековой книжкой —и не нашли, пропал. Два часа бороздили, пропал с корабля. А друг у меня повесился. Написал: надоело жить. Брат у меня застрелился. Я теперь понимаю их.

Шесть лет я ничего не покупаю. Ах, нет! трусы и носки лишь. Простынь есть, худая правда. Хотел купить комплекс, ну как там, в общем, простынь и еще там! Очередь человек сорок, все женщины.

Говорю: одинокий мужчина подошел, разрешите приобресть из белья за пятнадцать рублей. Они как завопят, и никто не сжалился. Я выругался матерно, пошел и пропил. А мог бы комплекс, иль как там, все вместе купить — и не пропил бы. Так не дали ведь... Когда просто человеку повезет — это не счастье. Раз повезет, два повезет, а после

куда ни кинь — везде клин. Счастливыми только рождаются. Они, как подшипники, в масле катаются. Их не прижмет никакое несчастье-выскользнут, потому как в масле такие люди живут. Вот они счастливые... Как расходиться, судья спросил: как делить будете имущество? Я говорю: делить не буду, потому как сын. Чего даст жена, тем и доволен буду. Нас много таких, как я. На флот не берут, требуют хорошую характеристику. Придешь на причал, посмотришь на корабли, потоскуешь, да с тем и...— Он снова мазнул ладонью по жесткой латунной бороде — жест красноречивый, хорошо знакомый всякому пьющему.-- Сколько-то еще поживу, а там..."

* * *

Много несчастий выпадает на долю человека, но самое непобедимое, обольстительное, лукавое, воистину горе-злосчастие — это вино. В русских легендах мужик мог и саму смерть обхитрить. Один солдат даже в гроб загнал свою смерть; повалился в домовину, ноги в коленах загнул, крыша не покрывает; на живот лег — зад оттопырил. Эк, ты, сколь неловкой, солдат,— сказала смерть.— Даже помереть путем не можешь. Посмотри, как надо в домок лечь. Только повалилась, ножонки распрямила, ручки на груди скрестила, тут солдат ее крышкой накрыл да и гвоздями заколотил...

Но вот вино облукавить, перехитрить, завить веревочкой, загнать в жбан с затычкой иль в ступицу колеса — никто не смог: ведь не случайно по старинным воззрениям оно льется из сатанинской пасти, но хотя исторгается из такого проклятущего места, вид, однако, имеет самый заманный и неуловимый. То принимает обличье героя, то змеи подколодной, то свиньи иль собаки: во всякую тварь может облечься вино, и его, лукавца, сам черт порою не распознает. И как ты ни исхитряйся, но если подружился с рюмочкой, то загонит она тебя в гроб и кол осиновый забьет.

Что же это за напасть такая, от которой и самый светлый ум теряет дорогу, и на самую чистую душу напускается туман, и самое благое дело, спрыснутое хмелем, может обернуться кознями, а мирный сговор, купля-продажа, только что обмытые "литками", кончатся смертоубийством. Видно, есть какая-то природная назначенность, некий умысел в том, с какою отвагою и вместе с тем обреченностью отдается человек пагубе, свой темный путь благословляя присловьем: "Пить — помрешь, не пить — помрешь, уж лучше умереть, да пить". Иль: "Кто не курит да не пьет, тот здоровеньким умрет".

Мало кто терпит черных пьяниц, но ведь еще меньше людей, кто пере-

носит тяжело хворых людей. Значит, винная болезнь — недуг особого рода, объединяющий своих подначальных в особую касту, где нет ни брезгливости, ни отчужденности, ни страха смерти, но какая-то единительная, согласная сила собирает всех пьющих в одну плотную ватагу, и только смерть вырывает этого "общинника" из добровольного союза. Что же это за болезнь, с которою всемирное человечество вроде бы родилось и с нею сойдет на нет? Может, "грибок", споры которого размножаются и передаются ветром? иль неведомая энергия, разлитая во всей природе? Винной болезнью может быть поражен и самый просвещенный человек и убогий, мастер и лодырь, военачальник и политик, мудрец, сознающий о гибельности пития и рассуждающий о том, и самый малый на свете сем. Нет против спор этого "грибка" ни брони, ни охраны, ни границ, ни правосудия, ни аптеки, ни заговорного слова. Дух лишь может противостоять ему...

С одной стороны, это, видимо, некая иммунная болезнь, связанная с наследственностью не только родовой и видовой, но природной и с реакцией брожения в организме, ибо все на земле зиждется, растет и умирает в сгорании, брожении, во всем заложен распад, и из этого распада возникает новый росток. С другой стороны, причиною болезни может стать отказ определенного мозгового участка, того, что управляет реакцией брожения, и когда плоти человеческой, как кочегарке, требуется новая "лопата" топлива, а вместе с нею нарастает температура сгорания, а значит, и конец человека.

Сколько трактатов было написано об этой драме человечества, о горезлосчастии, со времен гомеровских песен и до наших дней. И нет нужды пополнять мною ряды обвинителей и нравственных наставников, ибо независимо от нашей воли, воли отдельных проповедников полки пьющих подобны приливу, но наступают в мироустройстве периоды, когда виден отлив, спад повсеместного пьянства, и он, мне думается, впрямую зависит от уравновешенности мира, от тихости и нравности его, мерности жизни, когда нет массового психоза, испуга концом света, всеобщего искуса, тоски и безразличия жизнью, которые и навеваются трагизмом, безвыходностью обстоятельств.

Даже в прошлом веке, на который нынче столько попреков, как на самый, дескать, безобразный, откуда вроде бы и нахлынули все болячки, с которыми мы не можем справиться, то даже сто лет тому вино в крестьянстве еще почиталось за праздник, и чаще всего питье пробовали в престольные дни, когда работа полагалась за грех. Пока вино — праздник, нации нечего опасаться за будущность: праздник — веселие — отдохновение, после которого наступят страды. Совсем худо, когда вино — будни, как хлеб насущный, который надобно добыть в поте лица своего. Наполниться мыслью, как бы добыть вина, это добровольно накрыться гробовою доскою.

Я не сторонник услаживать историю, но чего скрывать факты, что красноречивее многих наших домыслов: на Руси было более двух миллионов молокан, которые и капли вина в рот не брали: праздником жизни для них был неустанный труд, не считавшийся в тягость. Деревни молокан отличались порядком, люди — благородством и красотою, урядливостью, добросердием, а за высшее веселье в воскресные дни почиталось чтение божественных книг. Большинство старообрядцев, которых в России насчитывалось около двенадцати миллионов, не трогали хмельного, сие полагалось за великий грех. Сколько я ни спрашивал в Поморье о пьянстве, ответ был один: прежде в будни в кабак ходили только самые лодыри, у которых от лени спина к настывшей печке примерзала, остальные же мужики пригубляли лишь на престольные. Женщины же вообще к рюмке не поваживались, так исстари велось, и не требовалось к тому принуждения. Больше всего увлекались хмелем отходники, кто на двух берегах жил: окунувшись в городскую волю, плотник за долгую зиму в городе отвыкал от семьи, от дедовских навычаев, когда сама казарменная канительная жизнь, ее кучность, роение соблазняли к легкой разгульной жизни. Отходник, он еще и не рабочий, он еще на земле, но уже и не полный мужик; он как бы слагал с плеч своих всякие обязательства, и деревенский мир уже не мог призвать к трезвости, не имел сил дать выволочки гулевану за непомерное пристрастие. Ведь если такой охотник до вина случался в деревне да коли жена пожаловалась на него старшине, то мир не перекладывал заботу на волость иль уезд, тут же раскладывали мужичонку на лавке да и учили примерно, как вести праведную жизнь. Ну, а чем больше становилось отходников, чем глубже давала трещину община, тем более пьянство укоренялось в России и становилось бедствием. А позже долгие годы войн, разруха и прочие неурядицы лишь усилили национальную болезнь...

Сколько, казалось бы, было шинков, кабаков, трактиров, постоялых дворов и ресторанов, сколько было всяких вин, начиная от желудочной и перцовой запеканки и сладкой водочки и до самых изысканных заморских вин, каких-нибудь рокоморов и лупиньяков, но Россия-то не спивалась, она усердно пахала и рожала, и старинные заповеди были нерушимы, и те десятки миллионов мужиков не клялись не пить, они не мучимы были страхом будущего нравственного падения, ибо с малых лет всем устройством жизни прививалась тяга к труду, а не к безделью, а всякий чрезмерно пьющий был на всеобщем виду — это по обыкновению лежунец, байбак, растутыра, что пальцем о палец не ударит. О таких с насмешкою говорилось: "Жил не сосед, умер не покойник". Но и во всем народе не было к вину зла иль досады, ибо для цельного человека вино не пагуба, а воистину веселье. Даже в были-

нах все важные дела решались дружиною в застольях, за круговою чарою меда стоялого. Еще на моей памяти говорилось: "Пить пей, да ума не пропивай". "Пьяный проспится, дурак никогда". "Пей, да знай меру". "Не вино калечит, а пьянство". Но вместе с тем и смеялись над забубенной головушкой: "Без вина одно горе: с вином — старое одно, да новых два; и пьян, и бит".

Новые же присловья о вине пришли из ремесленной ватаги, от отходников-сезонников, что вкусили воли. Они возвращались в родные домы не только с новой цеховой присказкой "упился вдребезги, в доску, в лоскуты, в дым, мертвецки", "залить за галстук, за ворот, побороть медведя, зашибить дрозда", но и приносили в общину какое-то бахвальство: де, вкусивши истинной воли, нам и море по колена, и сам черт нам не брат.

Нет, драму мы не приняли готовою, как некое наследство, как хотят уверить доморощенные социологи, чтобы снять с себя всякую вину: она разрасталась исподволь, как экзема, захватывая при попустительстве все новые участки кожи. Достоевский и Толстой услышали всю глубину грозящего несчастья и призвали обратить всеобщее внимание нации на истинно народную крестьянскую культуру, на спасительную, устойчивую нравственность народа, к которому надобно всерьез присмотреться и прислушаться всем, если хотим выжить как нация; именно там, в глуби народа, надо было искать и черпать силу против разрушительных сил.

К пьянице относились в прошлом не как к больному, но как к несчастному. В сказании "О горе-злосчастии", когда добру молодцу, попавшему в искус зеленого змия, уже некуда более деваться, хоть живу в могилу ложись, нет ни намека на осуждение, де, вот тебе по делу, ослушник, отцов-матин завет нарушил, тут тебе и ответ за кабацкое пристрастие. Ни ехидства нет в сказании, ни злорадства, но лишь сострадание, истинно русская жалость к молодцу, попавшему в беду.

Второй муж у великой сказительницы Ирины Федосовой был из Петрозаводска: к нему, в городскую жизнь она и переехала жить из Кузоранды. Но муж оказался пристрастен к рюмке, любил выпить, и она часто бранила благоверного: "Волыглаз ты эдакой! Спородила меня мама, да не приняла яма. И черт меня понес за тебя. Почет ли в тебе, прибыль ли в тебе, разум ли в тебе? Живешь доле, греха боле. Яков! Помни, каков ты! Умрет пьяница, тридцать лет дух не выходит. Ни тихомерная милостыня, ни нощное моление, ни земные поклоны, ничто ему не помогает; пьянство — души потопление, семейству разорение. Смотри, Яков, что гренешь, то и хлебнешь. Полно шавить: на огонь да на пропой казны не наполнишь. Нет уж, видно, с пьяным, с упрямым пива не сваришь, а сваришь, так не выпьешь, лапой гладит, а другой в щеку ладит; нет разума под кожей, не будет

на коже. Вот уж торговала я в лавочке, да вышла с палочкой; за добрым мужем, как за городом, за худым мужем огородбища нет, есть за кем реке брести да мешок нести. Из чину в чин, а домой ни с чим..."

Сейчас мы с пониманием относимся к больному инфарктом, пытаемся поставить его на ноги, сам изнуренный вид несчастного вызывает в нас сочувствие; замученный пьянством человек не вызывает в трезвеннике никакого сердечного отклика, и уже самим этим он обречен. Потому и лечат пьяницу в условиях, близких к тюремным. Мы не сознаем того, что падение ближнего вызвано не только особым устройством его биологического механизма защиты, но и нарушениями в самом общежительстве. Уверять алкоголика во вреде хмеля — то же, что лечить больного раком простоквашей или открытой форточкой. Запрещать — лишь загонять болезнь внутрь. Надо подать утопающему руку с чувством сострадания, а не упрека или злорадства, без наставления и начетничества с видом превосходства, когда подчеркивается каждым словом, что-де я здоров и преуспеваю, а ты больной и ничтожен; надо подбодрить волю гибнущего, чтобы он уловил затею жизни, ее красоту, ее смысл, ее предназначение, а оно не в туманном некоем времени, когда бытие превратится в сплошное наслаждение, а в вольном неустанном труде, когда видны осязательные плоды рук своих, коими можно распорядиться по личному усмотрению и таланту. Пьяница побеждает свою хворь сам и только сам: эта пагуба пока неподвластна лекарю и аптеке, черный пьяница, пьющий мертвецки, не слышит увещеваний. Запретом же мы лишь усугубляем его неумолчные страдания, мы как бы невольно наслаждаемся муками ближнего, при этом всякое наше оберегающее и будто бы искреннее слово — де, не пей, милый, посмотри на себя, кем ты стал — видится мне ложным. Это как перед голодным поставить в отдалении поросенка с гречневой кашей и насыщать несчастного запахами и сказками о вкусах протомленного в русской печи мяса. Голодный не слушает, он не сводит тоскующих глаз с самого блюда и мысленно уже давно приканчивает его. Это как перед истощенным чахоткою больным хвастаться своею развитой мускулатурой и спелым румянцем.

Если пьяница в претензии к другим в своем падении, де, кто-то виноват, его толкнули на гибельный путь,— он погиб безвозвратно, и никакие увещевания, никакие препоны, принуждения и лекарства его не спасут. Если горький пьяница в претензии лишь к себе, что только сам виноват в нынешнем бедственном положении, если он сможет вопросить однажды — кто есть я? и для чего рожден?— тот сам себя поставит на ноги. И все наши усилия и должны быть направлены на то, чтобы человек на краю пропасти обратился к своей душе с главнейшим вопросом: для чего я рожден?

Из простой судьбы

Я знавал этого парня (назову его Валентин) в самом бедственном положении, в пору самую удручающую. Я не скажу, что сейчас он процветает, но в те времена был вовсе плох. Вернее, я помню его с малых лет, был он белокур и голубоглаз, широкие распахнутые глаза постоянно светились ласкою, но со временем они стали тускнеть, покрываться белесою пленкой, мальчик вырос, заматерел, ссутулился и уже не глядел прямо в глаза. Он запил, и запил настолько круто, что без горести нельзя было смотреть на вовсе опустившегося человека, но в то же самое время душу его крутила постоянная тоска. Пьяный он был мрачен, скрипел зубами, мучился и казнил себя самой невыносимой карой, предрекал скорую смерть — и все эти жуткие картины своей погибели рисовал, раскачиваясь на ногах посреди комнаты и никого не видя.

Увещевания не помогали, от них он только сатанел, уже ненавидя всех. Но может, болезнь матери остановила иль в один прекрасный день он увидел всю глубину падения, свое скотство ("Я же был, как животное"), но только ему стало мерзко от самого себя. Сначала он воспрянул на мгновение будто, купил лыжи и стал бегать до изнеможения, хотя после трудного дня, натаскавшись мешков с мукою и сахаром и скотских мороженых туш, вроде бы не до праздных пробежек по снегам. И пелена на глазах стала истончаться, что-то разумное, бодрое, энергическое проглянуло во взоре. Из ненависти к себе, прежнему, он принялся варить исцеляющее лекарство. Он вспомнил, что еще в детстве так любил рисовать, он накупил красок и кистей, свободные часы отдал книгам. Мох, проросший в голове от бесконечных пьянств, стал прореживаться, и тогда увиделся мир во всех красотах. Душа, конечно, мучилась, но в новых мучениях уже проглядывал смысл.

"Все равно надо жить, страдать, мучиться,— изливался он, но уже без надрыва, без зубовного скрежета, но с полной ясностью ума, как о неком откровении, вдруг явившемся ему.— Знаешь, голова должна быть занята, мне надо все время учиться чему-то, двигаться вперед, понимаешь ли, а иначе я, как в мешке глухом. Я много чувствую внутри, но как выразить? Глухо и такая тоска порою. И люди, люди, им ничего не надо, они живут — и ладно, а я мучаюсь, мне выразить надо. Много всего красивого, а они не видят. Но я-то вижу, как много всего красивого, а сил нет выразить — вот в чем причина. Мне бы хоть немного знать. У меня и раньше было это чувство красоты, но я не мог выразить его, и я пил, много пил, как свинья. Но потом я устыдился самого себя и бросил. Я

сказал себе: ну что ты, как скотина, ты же не человек, если с собою не сладишь. И бросил. И никто не поверил, что я сам завязал, а все думали, что я лечился. А мне только захотеть, тогда все смогу. Я вот прежде рисовал так себе, а тут такое чувство, что я просто не понимаю, как прежде не рисовал. Мне все хочется и хочется рисовать, и ничего с собою поделать не могу. Это же чудо, когда можешь хоть что-то выразить".

Мы разговариваем в кочегарке, где он нынче служит истопником, молодой красивый парень с открывшимся взглядом. Сплетение труб, большая печь, чем-то похожая на русскую, но без чела, грязный тюфяк, закопченные черные стены, умывальник, набор шанцевого инструмента. Ему стыдно своей работы, ему открылась красота мира, а тут он исполняет самую грязную работу, которой, по его разумению, брезгует всякий воспитанный человек. Я убеждаю его: "Ну что ты, Валентин, стыдишься, ты работай, рисуй. Это все натюрморт и при том каких красок требует. Все хроматических тускловатых тонов и посреди неожиданное голубоватое пятно жестяной раковины, красная медь крана и желтое пятно чайника. Это же живопись",— "Правда? — он поднял бледно-голубые глаза, в них уже нет прежней нарочитой дерзости и хмельной красноты. И вдруг потупился, признался: — Ты знаешь, я уже много раз рисовал все это. Я тоже чувствую здесь красоту".— "Ты стыдишься работы кочегара? — напирал я.— Этой грязной работы? Но ведь нет грязной работы, есть грязная душа. Грязно, худо воровать, обманывать, бить женщину, ловчить и жить за чужой счет, быть захребетником. А чем чище работа пахаря, шахтера, шофера? Уж куда больше грязи. Из грязи хлеб растет",— я говорил банальные слова, но с тем убеждением, столь необходимым в эту минуту, когда душа-то и жаждет самых простых, обнадеживающих, укрепляющих слов.

"Я-то не стыжусь. Но почто люди-то презирают эту работу, смотрят с брезгливостью? Они меня за человека не считают. А я всю классику перечитал, художников — Брюллова, Репина, Сурикова. Я Пушкина каждый день читаю, у меня душа просит, иначе она лопнет. Я не хочу быть животным, не хочу... А один пришел, увидел у меня Пушкина и говорит: неужели ты Пушкина читаешь? Ну, ты даешь. Мне бы только показал кто, как краски смешивать, как лепить. Я же все сам, я достигаю на ощупь".

Трудно было представить, что со мною с такой болезненной чуткостью к красоте разговаривает прежний и в то же время совсем иной человек. Полноте, его ли помню в ином обличье? Однажды выглянул в окно, у дома на мостках качается зверь не зверь, но кто-то из преиспод-

ней, со взглядом, устремленным прямо на меня. Вместо лица глиняная маска, и из глубины ее жутко светятся два фарфоровых безумных глаза. Они смотрят на меня, но и куда-то сквозь окно, в бессмысленность. Человек весь облит грязью, видимо где-то упал плашмя на дорогу, и сейчас грязь спеклась коркою. Он всматривается в меня, не узнавая, я в него, и так мы на какое-то время застыли, разделенные окном. Я остолбенел от неожиданного безотчетного ужаса, он — в глубоком беспамятстве. А мать уже спешит навстречу, вскрикивая и плача; моет сына, обихаживает, не жалея ругани. И вот парень в комнате, мать сидит напротив, ее лицо в гримасе боли, того безысходного отчаяния, которое нельзя потушить. На глазах гибнет, выгорает, вытлевает сын, своя кровинка, которую с такой вдовьей тягостью выходила, вынянчила — и словно бы себе во грех, в наказание, в испытание. А сын качается, скрипит зубами, куда-то все порывается бежать, клянет себя: дескать, я скотина, свинья, урод, мне бы подохнуть, а я отчего-то живу...

И вот преображенье человека. Дай Бог, чтобы не споткнулся, не вылетел из седла. Трудно как, невыносимо трудно подняться павшему.

"Тебе, наверное, одиноко тут, в кочегарке?" — спрашиваю его. "Как не одиноко-то? Но я стараюсь не смотреть на стены, я думаю, и тогда мне не так одиноко. Я думаю, что станет со мною, если я совсем пересилю в себе животное. Я понимаю, что надо жить, страдать, мучиться. Мне думается, что каждый настоящий человек страдает и мучится. Я и людей-то совсем по-другому стал понимать, когда в ихней шкуре побывал, пять лет в грузчиках убивался. Мужик-то и выпьет иной раз, дак как не выпить с такой лешачьей работы? Ему ста граммов хватит свалиться. Потаскай мешки-то, руки вытянет, на плечах коросты, тело гудит, комары, жара, рожа в муке, весь свет не мил: падешь в траву, руки раскинешь — и не жил бы. А как выпьешь, помню, так и сил вроде прибавит.

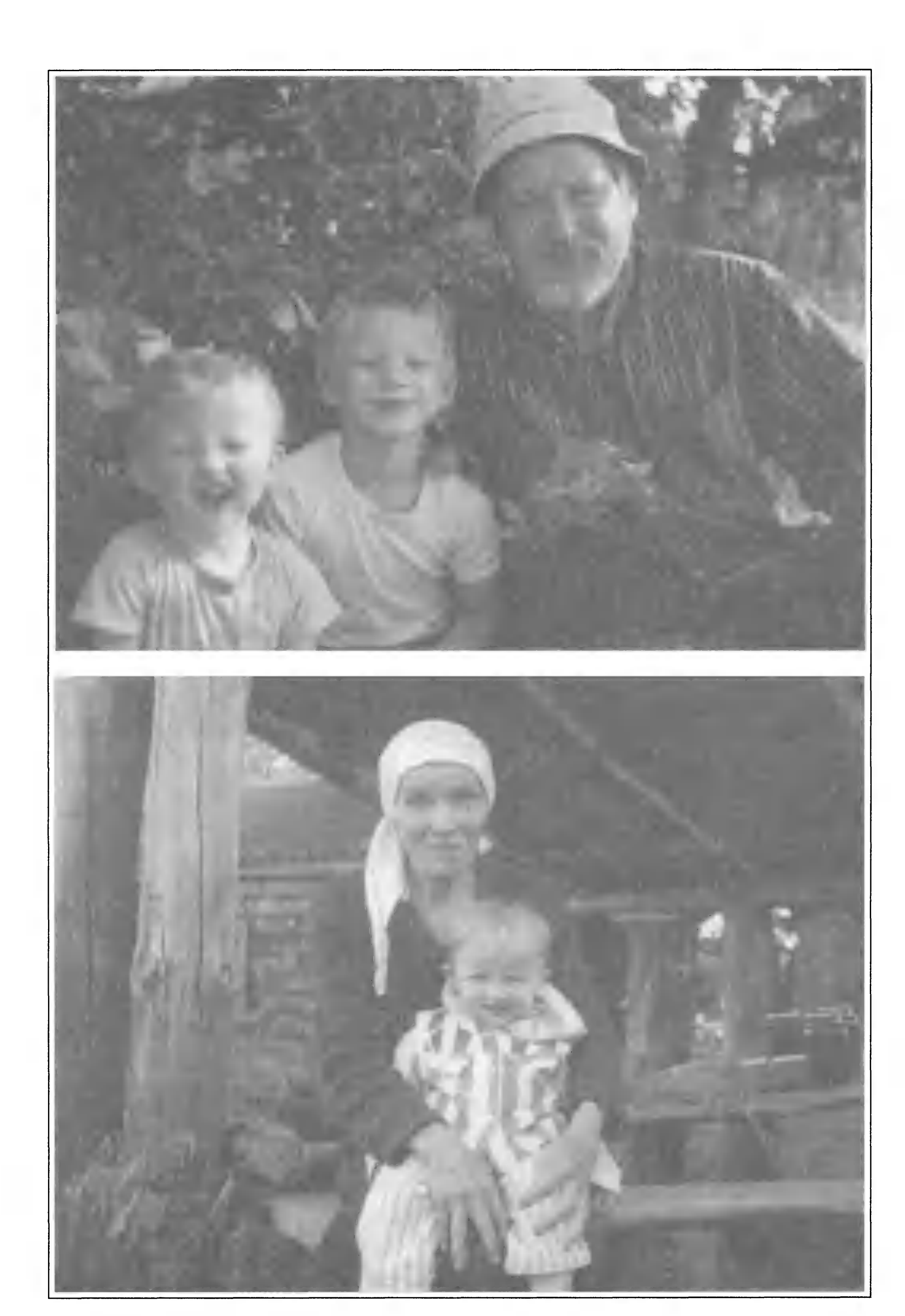
Теперь постоянно думаю о смысле жизни. Идешь на лыжах, и когда снег сыплет, чего не передумаешь только, грустного по большей части. Но как солнце, снега заголубеют, так радостно сразу, грудь стеснит, так радостно".

Трудно, невыносимо трудно творится человек, когда не заладится жизнь с первых шагов. А еще бы промедлить чуток, окиснуть, как старый гриб, на две стороны — и тогда вовсе пропасть.

И не свершилось бы чудо.

Было время, когда первую рюмку не мог донести до рта, не расплескав, так дрожала и стонала от нетерпения рука. Дай-то Бог нынче крепости ей, держащей кисть...

РОДНЫЕ



Ах! Жизнь несчастная? моя!
На что же ты сотворена?

1

Мне давно пало на ум написать о происхождении народной поэзии. Конечно, все расписано, изведано, изучено в вариантах и десятках списков, уже не сыскать того окрайка земли русской, где ни побывал бы неустанный "списыватель" с трубою, и новый природный стих, ежели наткнется на него случайный знаток, в научном мире ценится куда дороже алмаза. Песни величальные и венчальные, свадебные и похоронные, рекрутские и хороводные, шутошные и игровые, потешные и скоморшные — все они запечатлены в сводах, архивах, на пленке. Так мне-то что за нужда приспела трясти архивную пыль, перелицовывать на свой лад давно все знакомое?

Нам внушено почтенными старцами, что песню русскую создал народ. Но как? Собирались на завалинке седатые старушонки-грибы, оплывшие на две стороны, и начинали спевку? иль на посиделках за прялицами вили словесную канитель девки-хваленки? иль в охотничьей избушке приуставший промысловик — лешему брат? иль в становье зверобой скуки ради врал в долгую ненастную зиму? иль в военном лагере у меркнущего костра сочиняли драгуны? Тот слово, другой — иное, и потечет песенный ручей?

Но коллектив, масса, толпа, община, спайка, группа, табор как бы ни были сильны и необходимы для народа в качестве монолита, защиты, пре-

грады, но они и побивают, придушают на корню всякое чувственное, духовное, стремящееся к небесному простору, ибо всякая группа народу, хотелось бы ей того или нет, но придавливает песню, зарождающуюся в душе, но подхватывает решительно уже созданную, рожденную, при крылах и вольном сердце, коли она приспела и пришлась впору общинной душе. Создает же песню и извечно создавал несомненно кто-то один, мужчина косолапый, иль вьюнош с еще не потухшими очами, иль косоплечая старушонка, иссохшими перстами почти упирающаяся в землю, а мыслями живущая в светлой юности, иль неудачливая в замужестве молодка. Уж так горько ей, так постыло, такой не мир в груди, так запеклось сердце от нелюбви!

А пожалиться некому, а выплакаться, исповедаться некому, не свекрови же на грудь падать, когда не знаешь, потычкой встретит тебя или укорливым словом.

Вот когда некому попечаловаться, когда и родная-то землица вроде бы хуже каменной чужбины, тогда и взывали к Всевышнему, к тому Милосердному, чье сердце может вместить любое горе и отозваться на него. И что есть песнь, как не молитва, плач, просьба о милости. А и нужно-то всего, сердешному,— сострадания, сожаления, сопечали, сомилости, соболезни. Выплачет горюшица, как выпоет, и тем отмягчит грудь и облегчит дальнейшее бываньe, и не так тяжко страдать. Что есть воп, как не песнь по усопшему; причет, плач сродни истинной поэзии, ибо там и тут исторгаются чистые искренние звуки по сердечному наитию, по душевному чувству, когда высказаться, облегчиться можно лишь через слово.

У всякой песни был создатель, и не вина его, что песня лишилась своего родителя, добровольно покинув отчий порог, и ушла в странствие. У всякого искусства есть создатель — родитель, но есть и устроитель, и сохранитель. Чувство становится общим, когда оно исторгнуто из чьей-то взволнованной груди и вдруг совпало со всеобщим, впиталось в стихию, как в исстрадавшуюся от солнца почву. Но поначалу нужно было чье-то сердце. Народное искусство не терпит гласности, авторства, личностного, оно в основе своей анонимно по двум причинам. Первое: по всем верованиям русского народа создателем всего природного и духовного был един Вседержитель, Верховный, Спаситель, Всемилостивый, то есть Бог. И все, что бы человек ни создавал в живописи, иконописи, в ремеслах ли, по миру и земле, по личному устроению иль всеобщему благу — все это относилось на счет Господа. Лишь он, Бог, был Создателем, и лишь уповая на Его неограниченную силу, веря и любя Его, мог что-то совершить человек, сей малый червь, ничтожнейшая тварь. Из чувства самоуничижения автор оставался анонимным. И второе: русскому человеку было свойственно чувство скромности. Придав окраску своему труду и выделив себя из толпы, мастеровой, сказочник иль былин-

щик тем самым как бы выпячивал себя из прочих, тешил гордыню. И даже у такого древнейшего жанра, как былина, были свои творцы, и в быстротекущих веках, как бы ни покушался народ на старинное сказанье, но никогда (разве что по забывчивости) не изменял его языковую и сюжетную основу — этим как бы сохранялась в летах память о безвестном творце, том самом Бояне, что однажды в военном таборе иль на скитальческом ночлеге выпел торжественную героическую песнь.

Народный стих и песня неразрывны, за редким исключением, быть может, он превращался в духовную балладу. Песня-правда, сказка-вралья. И сейчас в рассуждениях о народной поэзии я хочу сразу поставить известную грань меж поэзией элитарной, которая стала особым смыслом души для определенного разряда людей, и поэзией крестьянина, у которого удел пластать, ворочать землю. И то ли от тоски неведомой, то ли от сердечной невысказанности мужик вдруг принимался причудливо плесть словеса, разумея в памяти ту песенно-сказовую реку, в которой плыл человек с самого детства.

Не странно ли, но мне ни разу не попадался мужик иль деревенская баба, что занимались бы столь "блажным" делом. Собственно, не есть ли стих особой причудой "сбившегося с искреннего пути" ума? Сейчас многие пишут стихи. Старая женщина ходит по издательствам с рюкзаком, набитым рукописями. Один техник делился мыслями, что для него плевое дело навалять стих, а то и два сразу. Он-де может хоть по штуке в час катать, и никакого труда. Он было две толстых тетради насочинял стихов, держал под подушкой, и вдруг тетради пропали. Техник очень сожалел, что небось кто-то, ворюга паршивый, его стихи выдает за свои, в газетку пропечатывает, через то большие деньги имеет. Я не стал разуверять парня, что от стихов никто еще не разбогател. Но что любопытно: как бы ни потел над строкою техник иль та поэтесса с рюкзаком, никогда из-под их пера не выльется прогонистая частушка, какую выпела однажды каргопольская крестьянка: "Сидит миленок на крыльце с выраженьем на лице. У него одно лицо занимает все крыльцо".

Народ не любит отвлеченной метафоры, всякая строка его будто выщелкивается из природы, из сердцевины быта, как орех-гнидка из кедровой шишки. Человек "культуры" обычно бежит житейской шелухи, боясь потеряться в ней; его ум, уже привыкший что-то соображать, видеть во всем корень и причину, как бы стыдится сказать просто, но нужна по-особому сколоченная метафора, ибо всего страшнее показаться "культурному" простым.

Я в свое время тоже увлекся поэзами. Помню первые строки: "Обоз, как дроги похоронные, ползет, размеренно скрипя". Уму изворотливому,

прошедшему пусть и поверхностную школьную грамоту, нужен обязательно бумажный цветок. Но ведь я с малых лет пел народные песни. У меня был высокий голосишко, и меня родичи садили в застолье, где я, напробовавшись вареного-печеного (а годы были послевоенные, лихие), подпевал подгулявшим, хлебнувшим браги взрослым, старался особенно высоко, до дишканта "вызнять" голос, не боясь пустить петуха. От браги к песне переход был всегда неожиданным, после мгновенного молчания, воцарившегося за столом посреди хмельного разговора, кто-нибудь из гостей выныривал хрипловатым, растрескавшимся, протяжным звуком, и сразу устанавливалась тишина. По обыкновению запевали свою, мезенскую: "Никто судьбы моей не знает, и не с кем горя разделить. Кругом, кругом осиротела Я без тебя, любезный мой..."

Отчего же, когда я оперился и опушился бородою и принялся сочинять, отчего, скажите на милость, мне не вспомнилась родная песня, когда-то спущенная на волю мезенской вдовой-вековухою? Моя строптивая грамотная головенка, уже далеко отплывшая от земных поморских представлений, стыдясь, несомненно, затрапезной, низкой жизни, сразу пошла кругом, захмелела от чужой литературной работы, которая тогда мне казалась легкой и беспечальной. Цветастый "виндикульбет"? — пожалуйста. И вот вам строки: "Обоз, как дроги похоронные..." И ведь никакой ассоциативной связи, кроме скрипа снега. Ибо северный обоз, рыбный, иль с мясом, иль с боровой битой птицей — это целая экспедиция в Питер иль Москву, что длилась порою больше месяца. Это десятки мужиков в малицах, с ознобленными ногами, руками и лицами, но не теряющих сердечного веселия, это глухая лесная тайбола, северное засторонье с заносами, снежными застругами, раскатами, когда сани-розвальни того и гляди опружатся, а тогда навьючивай клади заново, навивай-раскладывай; это и постоялые дворы, где от мокрой одежды, сивухи и табачины и шептунов ночных хоть топор вешай. И там, в сумеречности становой избы, кто-то из баюнков, вралей сыщется несомненно, и он начнет потчевать разомлевших мужиков нескладухами да всякими распотешными похождениями парня-хвата, переодевшегося в бабье платье, с поповскими перезрелыми дочками.

Это после я увидел поэзию в буднях, когда уяснил, что в жизни, меня окружающей, во "всяком житейском соре и шелухе" скрывается множество поэтических черт. А понявши это, я увидел всю скромность стихотворного дара и бросил писать вообще.

Что и говорить, у народного стиха своя физиономия, свои отметины: мы с ним рождаемся, но не придаем особого смысла. Народный стих — это как воздух и хлеб. Вот считалку взять:

"Мишка дурак, курит табак, спички ворует, дома не ночует, спит под забором, называется вором". Или: "Божья коровка, вылети на небо, там твои детки кушают котлетки, книжки читают, тебя поджидают". Эту считалку, любимую нами в детстве, можно петь, можно выкрикивать дурашливым голосом: здесь даже небесная жизнь списана с земной.

И в причете, и в плаче, и в рекрутской все образы конкретны: народный стих пугается, прочь бежит от неясности ощущений, когда надо увидеть не виданное прежде. Песня — правда, считает народ и поклоняется песне, верует ей, как иконе святой, и в этой беспредельной вере нельзя народ обманывать, подсовывая подсолнечный жмых вместо хлеба и уверяя, что эта "скотинья" еда полезна.

Народная песня — это отраженный реальный мир, от которого далеконько мы отшатнулись по всяким обстоятельствам; но душа наша страждет той жизни и боится забыть ее навсегда. Потому любой народный стих нам поучителен и полезен для душевного здоровья.

Из простой судьбы

Автобиография Поли[1]

Детство мое прошло не очень весело. Взрослой девушке счастье улыбнулось, но скоро скрылось за тучей. Девятнадцати лет вышла замуж не по желанию и любви, а по обстоятельствам, за сто верст от родины в семью из тринадцати человек. Была очень смирная, боязливая, стеснительная, и с первого же дня тяжело стало, всех боялась, старалась каждому услужить. Но несмотря на это, хотя была собою здоровая и считалась красивою и нарядной, а старшая сноха была мало здорова и очень хитра, она из зависти и злости стала против меня натравливать мужа, свекра и свекровь и добилась своего. Все ни за что стали нападать на меня, ругать, даже бить.

На четвертый день Пасхи нас с золовкой отправили за двенадцать верст жать овес, вернее одну солому, так как из-под снега овес опал (с осени остался под снегом). Брели в лаптях снежницей-водой и жали в воде-снежнице. Пришли ночевать к лесной избушке, огня достать не могли, так как руки окоченели и так озябли, что не только сварить, поджарить, но и сухого не могли есть. Залезли на голые нары, прижались одна к другой, так и уснули, не знаю, как только не застыли.

Утром муж приплыл на плоту, который плавил домой, и видит: жать невозможно, ноги до колен вязнут в снежной воде, овес весь опал и солома

[1] Напечатано по исповеди, без исправлений.

плохая. Муж взял нас с собой на два парома, он на переднем, а нас на задний, который привязал к своему веревкой. Вода была очень большая, пожни и луга все затопило, и речка оказалась широкой, как море, и быстрая. То нас затащит на затопленные кусты, то на большие камни (один назывался Петух), и другие очень большие, как скалы, и если не успеем отгрести, то нас на камнях может перевернуть. И вот нас тащит прямо на камень. Муж кричит: "Прыгайте ко мне!" Но скоро сообразил, что это невозможно. Я сообразила, что худо скакать, когда разбивает гонку, и закричала золовке: "Держись, Надежда, за щитовину! Не прыгай, погибнешь!" Она пала навзничь, как и я, и ухватилась за щитовину.

Плот разбило, а мы остались на двух бревнах, окатило нас водой, вся провизия и одежда утонули, а нас задержало на кустах. Муж притянул багром нас, связал кое-как лес, и поплыли дальше, и хотя очень просили выпустить нас на берег, но мольбы не помогли. Привязали себя к лесу, но и бревна ставит даже на концы, и он весь погружается в воду, и нас так грузило в воду, что и не видно.

Дома весну на огородах работала, дрова на льнище готовила, кололи и сочили мы с Надеждой, а мужик плавит жерди, дрова и колья по речке. Начался сев. Муж сеял, а я орала. В кожаных туфлях за сохой ходить не привыкла, так во все стороны мотает (у нас на родине орали мужики).

После сева начали катать под лен целину. Мужики бревна подвозят, а женщины катят, то есть зажигают девять рядов бревен в ширину и перекатывают кольями бревна зажженные. И так жарко. Я думаю, так только в аду бывает. Я спалила брови и обожглась вся. Очень плакала и совсем плохо стала видеть, заболели глаза. Я пролежала полдня, и деверь так матюкал меня, что я всю жизнь не слыхала такой ругани.

Деверь был очень хитрый (старше мужа, и муж боялся его), женат раньше и старался, как бы побольше нажить денег для себя. Брал подряды по заготовке леса и возил гостинцы отцу и матери, чтобы задобрить. Его за это обожали, и он хотел при разделе скопить денег для себя.

А как муж мой более слабохарактерный, то всю работу по хозяйству взвалили на нас. Муж безвольный, боялся всех семейных, к тому же пьянствовал и играл в карты, за это не только его не любили, но и меня постоянно ругали и даже били. Его часто не было дома, и мне приходилось искать. И находила. Где-либо лежит пьяный. И тащила домой, чтобы избежать лишней ссоры, и где-нибудь в стороне давала проспаться, а если попадала на глаза свекру, то и терпела побои.

Пища по сравнению с материною казалась плохой, хлеб ели только черствый ржаной, чтобы меньше съели. Щи плохие, молока нет. Я часто выходила из-за стола не евши. Чай никогда не пили.

Утром вставали до солнца. Меня будили доить коров и поспеть с пастухом гнать, а вечером спать ложились в двенадцать часов. С работы поздно придешь потому, что все далеко от дома, а тут за скотом идти да доить. И все лето приходилось спать не более трех часов в сутки, и я не знаю, от недосыпания или другая какая причина (и сейчас удивляюсь), так клонило в сон, что все обедать и поужинать, а я упаду в сенях и сплю. Они пообедают, меня найдут — и на работу. Не обращают внимания, что я не ела.

Раз весной сели обедать, чтобы после идти на поле, а я тем временем решила проспаться, ушла рядом в пустой сарай и так крепко уснула, что не услышала, как пообедали и ушли, ругаясь на меня. Я так испугалась, когда узнала, что ушли за пять верст. Где я буду искать? Не была в той стороне. Порасспросила и побежала бегом, плача. Все угоры, полянки, конца не видно. И нашла. Побили меня, пришлось поплакать.

Около петрова дня отпустили на родину к родителям на трое суток. Как прибежала, ушла наверх, легла и проспала трое суток и петров праздник. Мама приходила. Боялась — не умерла ли. Разбудят, покормят — и опять сплю. И так, не выходя, проспала. Стало легче, тяжести такой не стало, и глаза прошли.

Наступил сенокос. Нас с мужем и золовкой отправили за двадцать восемь верст на две недели с большими ношами: хлеб и все принадлежности несли на себе. Болотами вязнешь, страшновато становится, когда жердь до конца уходит в болото. Оно зовется матюкальное, так как без матюгов и мужчины не пройдут.

Две недели в лесной избушке. Выставили сено и перешли поближе к дому за двенадцать верст. Жили на черством хлебе и сухарях, и я заболела дизентерией. Пришла сноха в избушку, принесла хлеба и сухарей, а я встать не могу. Муж оставил меня в избушке, а сами с золовкой и снохой пошли косить. Я кое-как встала, сняла рубашку, надела сарафан и кофточку, пошла к речке, вымыла рубашку, кое-как все исправила около себя. Они пришли и начали ворчать, ругаться. Мне хотя и тяжело было, пошла с ними косить, есть же ничего не могла.

Начали жать. Я работала очень скоро, никто не мог со мною равняться.

Если идет дождь, то рвем лен, которого много было посеяно. Очень грязно в дождь рвать, тяжело было, и опять заболели глаза. В двух верстах был фельдшер, и я отпросилась сходить к нему, так деверь выругал. На следующий день одна пошла рвать лен и так работала, что нарвала сто одиннадцать снопов, когда рвут не больше пятидесяти. Муж пришел вешать, не верит, а дома сказали — и опять неладно. Деверь сказал, что будто бы помогала егова баба (мой муж заплатил ей).

Раз пришла с жнивья и стала щепать лучину тупым лучинником и от-

секла пол большого пальца. Очень сильно бежала кровь, и свекор страшно ругал, боясь, что долго незамогу работать, а он очень скупой был. Я достала сапожный лак, намазала палец. Щиплет, но заживает хорошо. И лишь два дня не жала, а через два дня стала жать, как следует.

Пища: черствый хлеб, лук и вода. Я сильно похудела.

И вот лен убрали, измяли, и на праздник Дмитриев меня отпустили домой на родину. Шла прямым путем в лаптях шестьдесят верст. Выпало много снегу. Брела, внизу вода и, не доходя пяти верст до Ковася, упала и не могла больше встать. Знакомый довез до Ковася, тут ночевала. Ноги распухли, и до дому уже довезли. И сколько гостила, все болела. Приехали за мной: надо молотить, хлеба росло много.

И вот молотили, веяли до Рождества, а хлеб тайно продавал старший деверь. В канун Рождества я родила мальчика Колю, отпустили родить на родину. После родов приехал за мной муж: работать надо, а я не могу встать и девять недель болела. Сколько писали, звали, но меня родные не отпускали, пока не поправилась. Увезли к мужу. Хотя трудно, но пока жива, должна жить с мужем.

Опять целыми днями молотила и веяла, хлеб из копен возили зимой. У меня молоко в грудях пропало. Мальчика дома кормили каким попало молоком, и мальчик стал кричать, ни днем, ни ночью не было покоя, и четыре недели ревел, не переставая. Я не спала с ним и ночи и до того дошла, что галлюцинации в глазах, словно мужики, черные тени мелькают. И так помер мой мальчик, а очень хорошенький был. Тридцатого апреля. Ах! как стало тоскливо. Далеко от родных, только и радости, что Коля. И вдруг не стало его. Всю пасху плакала.

Потом опять летние работы, через силу, еда плохая, будили рано. В сенокос свекровь не отпустила, так как было две большие телки, за которыми приходилось гоняться до полночи, доить, коров гонять с пастухом, носить мешки хлеба из амбара, сушить да молоть. Амбар далеко, мешки тяжелые. Наношу и в печь, и на печь. Солнышко поднялось. Надо идти косить или грести. Свекор уже ушел, ругает. Дорогой иду и думаю: дорого бы дала, чтобы с четверть часа поспать у дороги.

Раз со свекром косили. Сели обедать. Я принесла пирог, от мамы был послан. Свекор ест да хвалит, а я взяла кусок и заснула. Он как наелся, сразу разбудил косить, не мог понять, что уж, верно, выбрало сном, если так с куском, не евши, сплю. Я встала, съела кусок в руке и пошла косить.

Назавтра пришли грести. Загребли много до полдня, надо носить и метать, обедать некогда. А свекру нездоровилось, он лег и уснул крепко. Я закрыла его от мух и одна носила, копнила, принялась метать. Два зарода сметала, влезу, потопчу и опять мечу. Свекор проснулся, говорит: "Как

зароды смечем? Я больной совсем". Я сказала, что у меня смечены. Он даже не поверил, удивился, как могла я одна столько сработать.

Еле его довела до дому. Лежал неделю, я ухаживала, меняла рубахи, полоскала. После его я заболела: жар. Слегла, а погода сухая. Жито надо жать. Валится. Я лежу одна в другой избе, пить хочется, а встать не могла, и никто весь день не заглянет. Вечером придут с жатья, ругают: все еще не встала. И так неделю лежала без всякого ухода, но поправилась.

Лето кончилось. С осени меня заставили доить коров (двенадцать коров). Двор с коровами и скотня были на отставу от дома, где жили сами. Скотня черная, топили без трубы, рамы одни, пол и окна — все сгнило, везде сырость, холодно, а надо тут и жить, одних коров двенадцать, а еще лошади, овцы. Надо успеть накормить и поспеть на гумно молотить, с гумна опять сюда, кормить да поить. Коров пускали в избу по шесть штук зараз, по обеим сторонам избы две большие колоды, в них засыпала заварку, которую носила с гумна. Заваривала кипятком, который грела большими чугунами в печи, пускала коров, привязывала к колоде и доила. После очищала навоз и выметывала. Тут надо было жить и спать. Пришел муж, чтобы поправить пол, иначе коровы ноги сломают. Я смотрю: изба черная, сырая, оконца маленькие, как тюрьма. Грустно и страшно стало, вспомнила своих подруг, которые жили в девушках хуже моего и некрасивее, а живут теперь лучше. Вспомнила слова из песни и запела: "Зачем ты, матушка, родила меня несчастною такой, зачем мне счастья не вручила, когда свивала пеленой?" Муж заплакал, а помочь не умел.

Я дома торговала, жила в чистоте и лучшей невестой считалась, а тут всю жизнь в грязи и навозе. Муж мало дома бывал. Я все одна жила и спать не могла, боялась. Муж уедет со льном или другим товаром и запьет. Недели три нет. А свекор и деверь придут, ругают, что его не удерживаю. Заборчик сделали у печки, полтора метра в вышину и два в длину, оклеила бумагой и там сидела вечера и плакала. Свекор и свекровь посылают искать мужа, я находила и со скандалом приволакивала.

Около святок моя комнатка обгорела случайно, не от меня. И стекла изломаны. В святки одна баба сошла с ума, она и подожгла. Год был плохой — бескормица повсеместно. Пришлось кормить гнилой соломой, сена не дают, и чтобы не заморить скот, я поливала солому соленой водой. Весной коровы не стали вставать на ноги. Вот беда! Каждое утро надо поднимать, а звать семейных — ругаются, де, заморила я.

Шестнадцатого апреля родила мальчика Сашу, и меня увезли в семью дня на три отдохнуть. Но деверь пришел, ругает, что его жене тяжело носить солому пестерями и кормить коров. И опять меня в ту избу с ребенком.

Весной я боялась ящериц и крыс и раз ночью схватила крысу на голове

в волосах. Коровы все остались живы, хотя обезножели, но на траве поправились. Так за работой и в слезах прошло второе лето.

Третье лето так же все работала. Весной разваживали навоз с золовкой. Я наметывала возы до самых родов. Едва пришла домой и родила девочку. Вся синяя, мертвая, но отходили.

Сама с утра до вечера на работе, а девочка с маленькой нянькой. Худая, все ночи ревела. Я над ней плачу, целую, жаль оставлять больную на весь день. "Вот,— думаю,— приду, а она померла".

И так дожили до осени. Эту зиму досталось кормить коров жене деверя. Свекор настоял, так как я могла торговать и по хозяйству способнее. Жене деверя не хотелось кормить, а я боялась огорчить их и сама пришла просить свекра оставить меня кормить скот.

Жена деверя была хитра и зла, но безграмотна, и вот они рассердились на нас с мужем и искали случая отомстить, навредить. И вот мужу и мне поручили торговать. Деверь все товары и деньги забирал на наряды жене и золовкам. Проще сказать, переводил все к себе в карман, а муж платил долг. Я вижу, что дела у нас плохи, все расторговали, а платить нечем. Мне страшно смотреть на такое самоуправство. Мой муж не смел говорить, так как иногда сам был виноват, пьяный расходовал по-пустому или терял.

Муж был выбран сборщиком подати и раз собирал в деревне Сабурове и ночевал у тетушки, и был пьян, и потерял триста рублей. Тетушка нашла ящик открытым. В то время это очень большая сумма. А дома не поверили, что потерял, а, мол, я вынула. Вот где было горько мне, обидно! Как помочь? Надо срочно внести казенные деньги, иначе грозит тюрьма, а за товар расчет требуют. Товары-то брали в долг. Я за мужа боюсь. Ходит, как помешанный, на себя не похож. А свекор и деверь только ругают. Я его уговариваю: как-нибудь выплатим, попрошу родных и с себя продам все, что есть, но не допущу до тюрьмы и бесчестья. И родные мои уплатили казенные деньги.

В семье постоянно неприятности и неудовольствия из-за детей, которых у старшего деверя — четверо, у нас — трое, и у младшего — двое. Жить было тяжело. Я просила мужа отделиться, хотя бы в баню, другого дома не было. Ребята дрались, ревели, старшие обижали младших.

Свекор вздумал разделить. Деверь принес бутылку вина и напоил свекра. Моего мужа послали на мельницу и меня удалили.

Когда пришел муж, свекор сказал: "Тебя одного отделили, а те два брата останутся со мной". Избы не было, и дали двор на одной с ним улице, был куплен после смерти одного мужика. Место очень сырое, и сколько тут поколений вымерло, и все молодые умирали, никто не помнит, чтобы тут кто дожил до старости.

К этому двору мы сами летом пристроили избушку. Лес был раньше заготовлен нами. Но лесу недостало, пришлось дорубать. К осени склали печь и думали перейти к покрову, чтобы утром в праздник быть в своей избе. Муж с утра ушел в другую деревню по делам. Я просила прийти пораньше, без него неловко переходить, но он явился утром пьяный, а днем взял две четверти вина на новоселье. Одну выпил с товарищем, вторую я не дала, а сказала свекрови, чтобы унесла тайком. Муж дома не нашел, пошел к родителям и так напился, что все побил дома. Ночью мне пришлось его отхаживать, был без сознания.

Вот так и стали жить сами и пять человек детей в одной избушке. Скота — две коровы, лошадь, две овцы. К зиме поставили: хлев, в середине поставили перегородку, и в одной половине овцы, в другой — склали печку и сделали баню — ребят мыть.

Избенка маленькая, тесная, грязная, мокро, так как в подполье все время стоит вода. Я очень беспокоилась за здоровье ребят. Надо строиться, а кругом в долгах. Пришлось много работать, чтобы как-то выбиться из нужды.

Взяли няньку, девочку десяти лет. Утром встану рано, по дому и со скотом управлюсь — и скорее в поле. Поле очень далеко дали, возвращалась домой поздно, и дома надо все исправить. Старший Саша такой смышленый. Сносит в комнату все тюрики от старых колес и сделает и пароход, и пушку, и стреляет гнилой брюквой в стену (она хорошо хлопает). Но что-нибудь разобьют каждый раз. Все приберу, овец напою, лошади, поросенку травы, крапивы нарву, насеку.

Дверь слабо закрывалась, и поросенок повадился в избу. Скопила кувшинчик сметаны, смешала масла. Не успела убрать, как вскричали вдруг: "Саня упала с сарая!" Я испугалась, бросилась, а моя вторая девочка Саня упала в проулок между двором и хлевом на голову. Едва вытащили, она и сейчас не договаривает от ушиба головы. Пришли в избу, а там поросенок разбил посник (кувшинчик) с маслом и съел.

На сенокос пошли вдвоем с мужем за двенадцать верст от дому, и мне приходилось каждый вечер возвращаться домой на ночь. Одних детей нельзя было оставить, да и скот накормить надо, напоить, корову подоить и бежать обратно за двенадцать верст на сенокос, да еще с ношей, да ночью еще хлеба пеку. Вот и снова мало спать приходилось.

Только управимся с сенокосом, как страда наспевает. Мяса нет, молока мало (старая корова). Оставили телушку, ее надо поить молоком, а только выкормили, пустили пастись, и волк ее съел. Сено осталось не выставлено за двадцать восемь верст, туда каждый день бегать не могла, и муж нанял мужика из другой деревни, пьяницу. Надо им за двадцать восемь

верст носить хлеба. И вот испекла хлеба на неделю, попросила свекровь остаться на два дня, перенесла к ней ребят, два каравая хлеба. Дом заперла, сама с ношей хлеба, вилами и граблями пошла за двадцать восемь верст. По дороге за двенадцать верст от деревни сказали, что повалился наш зарод с сеном, который был раньше сметан. Надо сметать снова, сено испортится. Пошла и сметала, а потом побежала дальше. Торопилась, почти бегом бежала с ношей. Добежала и упала. Муж дал воды, напилась, отдохнула немного и пошла грести и косить сенцо.

Пока сено кончили, вернулись — люди жито жнут. День мы пожали, назавтра Ильин день. Люди пошли пировать за две версты в деревню, так принято было. Я мужа упросила остаться, а сама пошла лен стлать, а он подождал, пока я ушла, и оба с нанятым мужиком ушли пировать, и вернулись на второй день оба пьяные. На третий день я разбудила, чтобы идти жать, а сама-то пока управилась со скотом и ребятами, прихожу на полосу, а муж лежит больной в жару, трясет его, а работник ушел. Муж простыл: выпил с поту холодного квасу. Я еле его отвела домой, и дома две недели он лежал в сильном жару. И вот беда. Надо жать, с поля убирать и бегать за фельдшером за реку, и надо фельдшера угостить, и больному что получше сготовить, а все везде одна. Не знала ни дня ни ночи. Муж, плача, говорит: "Поправлюсь, так в рот не возьму водки и ничего хмельного".

Зимой поступил в объездчики, двадцать четыре рубля жалованья в месяц. Решили поправить в избе пол, потолок и все другое, а жить пришлось пока в бане рядом с овцами. Утром, как затоплю, баня полна чаду (трубы-то не было). И каждое утро ребят переносила к соседке сонных в скотную избу. И так жили месяц.

Как-то испугали мою девочку Павлу. Я пришла с сенокоса, а Павла на печке вся дрожит. Вижу: неладно, перенесла дочь на постель, она как забьется, закричит. Страшно смотреть. И каждую ночь дежурили с мужем по очереди, так с год было, и в одну ночь Павла поправилась. Я считаю это чудом. А было так. Ночью бьется, мне тяжело смотреть на дочку. Попросила мужа подержать, меня уже выбило из сил. Лампу не гасили всю ночь. Вот она начала кричать. Я не знаю, что делать, начала молиться, взяла святой воды крещенской, раз дала Павле в рот и ленула немножко, помочила голову этой водой и положила маленькую иконку Прокопья праведного. Девочка перестала биться, заснула и всю ночь проспала.

Зимой я съездила к отцу, набрала кое-какого товару в долг и мешок белой муки и стала печь булочки по воскресеньям и ходить продавать на погосте. Накопила восемьдесят рублей денег, продала лен и куделю, с них еще восемьдесят рублей — и уплатила половину старого долгу. Муж ухо-

дил по делу объездчика. По неделям не был дома, и стали его спаивать, и он опять запил и жалованья не приносил.

Весной уплыл на плоту в Архангельск, чтобы нажить денег. Я осталась одна, взяла работника, с ним посеяли, навоз вывезли, заорали поле и выткали двадцать стен (стена — два метра). Утрами очень рано вставала. Затоплю печь — и за кросна, пока работник спит. Обед поспеет, накормлю обедом всех — и на работу. Муж пишет из Архангельска, что жалованье дают порядочное, караулит лес. Я написала, что дома все исправлено, может пожить и заработать.

Я родила девочку Анну, оправилась два дня дома и пошла косить за две версты от дому. Ребята остались одни дома. Смотрю, Саша, старший сын, бежит: "Мама, иди скорее. Тятя пришел!" Хотя мое письмо получил, но жить боле не стал, затосковал. Он плыл в лодке мимо отцовой деревни, тоже взял в долг денег и пять бочонков сельдей, а что нажил в Архангельске, все там и прожил, ни копейки домой не привез. А я продала косы, что взяла от отца, и еще кое-что, и скопила сорок рублей.

Муж приехал за два дня до Прокопьева дня. В Бестужеве была ярмарка в Прокопьев день, и муж поехал на ярмарку. Взял сельди, остаток кос и картузов, которые я сшила, и свои сорок рублей отдала ему, чтобы купил товару для торговли. Он вернулся на четвертый день пьяный, ни денег, ни товару не привез. Тем моя торговля и кончилась.

Приехал, и того же дня ему надо ехать в деляну по делам объездчика. В это время на сенокосе надо грести. Я недавно родила, идти нельзя, а что один мужик сделает? И плохо знает сенокос. Я нашла бабу с двумя ребятами и упросила ее остаться с моими детьми, и она осталась, так как у нее земли не было. Я рано утром все приготовила и ушла на сенокос за двадцать восемь верст. В два дня мы все сгребли, сметали. Отвела мужа на новый покос, а сама — домой. Дома коров было две. Зимой я одну пригнала от мамы. Прихожу, а коров дома нет. Четыре дня искала и нашла в другой деревне. Так как долго не доены, то молоко подсохло, и коровы стали плохо доиться. Когда искала, погода жаркая, бегала, торопилась, вспотела и напилась холодного квасу. Сразу слышу — заболела. Надо было возить снопы с поля. Мужа дома не было. Весь день возила одна, вечером чувствую себя нездоровой. Утром встала кое-как, затопила печку, хлеб посадила, а вынуть из печи уже не могла. Три недели пролежала, с боку на бок не могла повернуться.

Изба тесная, жарко, душно, мухи, клопы, покоя нет. Мяса не было, молока мало, мухи и клопы выжили, и сделала себе спать на повети. Но холодно там, приходилось таскать ребят то в избу, то на поветь, и я запросила мужа отвести нас к отцу, и два месяца жила я у отца, поправлялась.

До лета дожили. В этой избенке жить нельзя, надо плотничать. Новый сруб был поставлен. Наняли двух плотников. Трудно пришлось, во всем себе отказывали. Саша водился с ребятами. Ему было девять лет. Часто бывало, приду с работы, девочка привязана к люльке, чтобы не выпала, мухи разъели до крови, а другая привязана к ножкам стола на полу, чтобы не выползла из избы и не свалилась с крыльца.

Тридцатого августа Саша прибежал за мной: "Мама, иди скорей! Павла умерла!" Девочке было четыре года. Я пришла. Лежит, как мертвая, у рта пена. Я взяла на руки, стала отваживать. Пришли бабы, начали трясти, зубы разжали и водички влили, но она весь тот день была без сознания. Я держала ее на руках, детей не впускала в избу. И после с ней долго были такие припадки, все была больная.

Дожили до зимы, заболела старшая девочка Саня, годов семи. Свезла в ту же больницу. Она долго болела. Домой привезли уже после Пасхи, и еще была больна. Советовали везти дальше полечить, а как везти без средств? Так дома и поправилась. Сейчас четырнадцать годов, здорова.

Муж по должности часто отлучался от дому, любил попировать. Наняли работника, бродягу и пьяницу. День поработает, а вечером бутылка вина на столе и вместе с мужем пьют. Я плакала, просила не приносить домой вино, так как худой пример детям дает. Раз пьянство — слезы и ссоры. Раз работник пьяный, чтобы запугать меня, ночью бросился на меня с топором. Пришлось из дому бежать, оставив ребят. Мужа не было дома. Назавтра я прогнала такого работника. Стала одна работать. Муж уйдет из дому и пирует дня четыре. Работаю до упаду, приду, его все нет, все везде неисправно, плохо. Я уже выбилась из сил. Иногда езжу, его ищу. Привезу пьяного, проспится, говорит: "Не буду больше пить". Но скоро клятву забывал. Поэтому у нас хлеба каждый год не хватало, приходилось покупать или у отца в долг брать.

Зимой я родила мальчика Ваню. Работать некому, пришлось сразу после родов самой работать тяжелую работу, от чего заболела женской болезнью. Очень было плохо. Сама еле брожу, а в больницу нельзя, как дома оставить маленьких детей? Скот? И все остальное? Рядом с нами на квартире жил пристав Шариков с женой. Они, видя мое положение, пожалели, знали, какая я была здоровая, и как работала, и до чего ныне дошла. Они позвали врача. Приехала Любовь Александровна Леткова, осмотрела и обязательно просила ехать в больницу. Пристав сказал, что прикажет свезти силой, если добровольно не поеду. Я просила одну старушку остаться с большими детьми, а младших взяла в больницу с собой.

Мне сделали операцию, и пролежала я два месяца. Жена пристава ходила к моим детям, утешала, носила гостинцы.

Когда немного поправилась, муж приехал, чтобы отвезти домой. Леткова была очень хороший врач и мужа просила не давать мне тяжелой работы. Дома муж нанял работницу, но как только я вернулась из больницы, она ушла. Кто же будет в такой тесноте жить, и пища кое-как?

В это время умер свекор и отказал мельницу разделить на троих. Бросили жребий, мельница старая, худая, требующая ремонта. Досталась по жребию нам, а тем братьям надо выплатить пай по сто пятьдесят рублей. Я плакала, не брала мельницу, просила пай. Но отказали. Муж взял брата, который был отдан в животы. Пьяница дожил до того, что ни кола, ни двора, ни скотины: все пропил. И вот он стал жить на мельнице. И доходу от мельницы никакого, одни расходы. Постоянно нужны лес, доски, братьям платить пай по сто пятьдесят рублей.

Я после болезни весну и лето работала с мужем, а в сенокос вдруг осталась одна. Началась война с Германией, и мужа угнали на войну.

Зимой мужа отпустили домой. Муж зиму прожил, к лету нанял работницу. Мужа опять спросили на службу. В воскресенье собираю его в дорогу, приходит урядник и забирает работницу на суд в город Вельск за ранее сделанную кражу. И ее увезли в Вельск. Я осталась беременна, ходила последнее время, а надо жать и все работать, а сама еще после операции. Врач говорил, что тебе больше не родить. И вот трудное положение. Ходить не могла, а столько тяжелой работы, и хлеба нет. Но надо жать и обмолотить хоть на еду, а нанять работника невозможно. Все угонены на войну.

Мой отец поехал в город Вельск и, видя мое положение, купил несколько дюжин платков и привез, чтобы сделать помощь. За платки скорее придут пожать. Отец и денег оставил тридцать рублей. И взял с собой старшего мальчика, который хорошо учился и просился учиться дальше. Мне как ни было трудно, но отпустила его. Отец увез и отдал мальчика в Тотемское духовное училище на свой счет. А здесь отец сходил к нашему станционному и нанял акушерку. Акушерка сказала, что у меня неправильно лежит ребенок и без больницы не родить.

Я заняла муки, созвала девок жать — за платки. Согласились помочь. Сама с трудом сходила в поле, указала на полосы, рожь выжали. Но я совсем слегла в постель. Послали за фельдшером. Вижу, дело плохо. Не могу с боку на бок повернуться. Мне было очень тяжело, и живот как-то скосило. Пришла акушерка и велела немедленно везти в больницу за двадцать восемь верст. Я лежала, плакала и молилась. Жалко детей оставить без отца и матери. Думаю: "Умираю". И не знаю, как уснула. Проснулась совершенно здоровой, чувствую себя легко. Думаю: "Какое-то чудо случилось со мною". Послали за акушеркой, чтобы везти меня в больницу.

Акушерка смотрит и удивляется, что случилось такое, что больная весела и здорова. И вечером я родила мальчика Пашу. Вскоре приехала моя мама-старушка, стала помогать мне в работе. И мы стали с ней жать, а с маленьким остались старшенькие. Думала, что помрет, так как водились плохо, сами были малы. Приду вечером, мальчика всего разъели мухи в кровь, а около него никого нет. Ведь как-то не помер?

Кое-как выжали. Возить снопы далеко, но часть свозила. Надо муки смолоть, надо в зиму сеять. Плуг поломан, надо в кузнице исправлять, а кузница завалена работой. Надо с поля и огорода все убрать. Картошку выкопала, а в погреб не спустила. Надо прежде воды шестьсот ведер вычерпать. Яму выкопать, чтобы опустить картошку, негде, так как место кругом сырое, а далеко — украдут. Так и черпали воду каждый год. Раз не почерпали дня три, а картошку опустили в погреб. Сама ходила в лес: секла дрова, колья, жерди. Уходила рано утром, а возвращалась поздно. Посмотрела, а картошка вся утонула. Пришлось вытаскивать картошку из погреба и просушивать в бане тридцать мешков, черпать воду. Но все равно мало что удалось сохранить, погнила вся.

Осенью ходила в лес, готовила дрова. Рубила, пилила и складывала в лесу костры. Зимой ловчее возить по дороге. Сорок возов наготовила, а за реку моста не было, и река долго не застывала. В это время дрова кто-то украл.

Мама ушла домой, а пришла работница, которая сидела в Вельске в тюрьме. Надо молотить, а овин совсем упал, сгнил. Пришлось нанять мужика переставить овин. Сама помогала рыть яму, носить камни и класть каменицу. С работницей носили ил с реки ушатами и сделали на овине под. Носили далеко, все вдвоем с работницей. Овин высушила сама и дрова рубила. Молотила весь день, веять некогда, и спала в ворохе на гумне. Оставить нельзя, унесут. Измолотили, что было на гумне, а приехали возить, копну в поле птицы раздергали, все оклевали, оставили одну солому, и молотить нечего. Свозили во двор на подстилку скоту.

Зимой работница возила сено и дрова. Муж писал письма часто. Я посылала денег по пять рублей и одежду, так как с одеждой было плохо. Служил в Москве. В Великий пост выезжал домой в гости. Был отпущен на десять дней.

Весной мне нужно было класть печи в переду. В избенке жить уже нельзя. Печь обвалилась, и стены прогнили, потолок провалился. Пришлось самой рыть и возить глину, землю, песок. Песок выгребала из-под снегу и секла. Глину рыла в подполье метра два глубиной и вытаскивала ушатами с работницей. Печь склали большую, сами кирпич делали и обжигали. В Пасху перешли жить в перед. В Пасху скучно было. Муж-то в больнице, старшая девочка в больнице, мальчик старший в Тотьме.

Мы с работницей посеяли пары, орала я. В Петров пост стали возить навоз. Тогда пришла бумага. Помер в Москве в лазарете от рожи мой муж. Лежал восемь дней. Домой не писал, что болен, не мог или не хотел расстраивать. И вдруг помер. Тяжело оставаться: шесть человек детей, старшему одиннадцать лет, младшему и году не было. Мне тридцать два года. Долго плакала, как буду жить с такой семьей? Строиться надо, работать некому, сама плохая. Надо идти на сенокос, и дома грудной ребенок. Одна добрая старушка Пелагея пожалела, осталась дома с ребенком, а я со старшим мальчиком ушла на сенокос.

Пришли, еще людей никого не было, и очень боялись медведей. Кругом лес, разрыты муравейники (медведей много). Пришли к лесной избушке, еле поужинали. Где стрещит, думаем:

"Медведь идет". У избушки один угол совсем выпал. Кое-как утыкали травой от оводов. Ящерицы бегают. Я первую ночь до того боялась, что когда сын вышел на волю, я думала, что медведь, и закричала...

Осенью в переду, то есть в новой избе, холодно, он поставлен на подвалах (близко вода). Но пришлось в одном подвале внизу жить. Выломали в одной худой избенке пол, набрали в подвале, печь разломали в старой и сделали в подвале. Низко, тесно, потолок головой задевали, а внизу, под полом, вода, все время вода, картошка гниет зимой. Так и жили несколько лет. Думали жить в переду, а подвал под скотную избу, воду греть скоту, но не было возможности достроить. Так и жили: душно, сыро, тесно. Саша зимой учился в Тотьме на казенный счет, как очень способный. Три девочки учились дома, ходили за реку.

Осенью в переду опять холодно, жить зимой нельзя. Лес тонкий, опять пришлось жить в подвале. Девочка вторая, Павла, долго болела, чуть поправилась, пошла в школу. А за реку долго приходилось ждать перевоза. И весной опять заболела, то ли простудилась, то ли от плохих условий и пищи. Нашли, что чахотка кости, железы, голова долго нарывала. Потом разрезали. Два года все гной шел, а девочка способная, умная, и с такой больной жить в подвале, сознавая, что в такой духоте гублю себя и детей. Каждый день таскала Павлу за реку к фельдшеру, которая промывала и вкладывала в раны бинты. Я держала дочку, а она очень плакала. Больно! А голова все больше и больше гноилась.

Зимой лошадь продала и мельницу, от которой нам не было дохода, а один убыток. Свои мужики купили за тысячу рублей, а старший деверь хотел купить за триста, но я не продала ему, и он очень обозлился, стал мужиков подговаривать против меня: раз она детей учит, значит — очень богата. Подговоренные мужики выдергали жерди и разорили огород.

Купила лошадь за триста рублей. Зимой возили дрова, жерди, сено. К

сенокосу наняла работницу, а она заболела испанкой. С Сашей ушли на дальние покосы, скосили сено и сметали два зарода. Отдыхать некогда, надо домой за хлебом. И у ребят дома хлеба нет. Я пошла искать коня, который недалеко был отпущен. Стало совсем темно. Коня не нашла, пришлось идти пешком. Прошли пятнадцать верст, совсем выбилась из сил. Саша заплакал, а я боюсь сесть, иначе не подняться. Саша сел на дорогу и остался, незамог идти дальше. Пришла в деревню, солнышко встало, пастух трубит. Садиться нельзя. Взяла подойник, подоила корову, выпустила. Сама уже не могу идти. Кое-как, держась за стены, пришла в избу, а на полу на постели ребята лежат вповалку, все больные, заразились от работницы испанкой. Я тоже заболела и слегла. Как раз праздник Преображения, мужики приказывают загородить огород, а я встать не могу. Наняла мужика и лошадь, поехала мужику показать, где наши огороды и откуда жерди возить. А дождь лил, как из ведра. Ну, думаю, помру! Горячо молилась, и как-то не заболела сильнее. Саша тоже не заболел, его подобрали на дороге и привезли.

За войну деньги обесценили. Пуд хлеба дошел до 550 рублей. Детям нужна обувь, одежда. В ту зиму отбирали хлеб на казну солдатам. И мне пришлось отдать два мешка хлеба и быка. Как докормила семью зимой? Пришлось много ездить, менять последние тряпки на хлеб.

Саша учился в Вельске, так как в Тотьме училище прикрыли: за квартиру носил воду, колол дрова, грел самовары хозяевам, и они за это держали его.

В это время делили землю, и мне пришлось ходить всю весну и осень с мужиками. Ходила, зябла. Снег, вода под ногами поля далеко никак разделить не могут, то один не согласен, то другой, а не идти нельзя. То полосами делят, то коробами. Тут Сашу моего позвали снять план, как учен был. Долго шумели, кое-как разделили. Саша составил план.

К осени надо было срубить хлев для скота. Наняла старика, и Саша со стариком срубили его в лесу, а осенью Саша ушел учиться, и мне пришлось ставить хлев. Возили дерева с мужиком одним и драли мох, и клали на мох лес сырой, тяжело, а еще больна по-женски. Вечером иду к старухе. Она гладит живот, и мне легче днем работать.

Осенью медведь задрал жеребенка и пропала телушка. С хлебом очень трудно. Ели отруби, траву, мох, лебеду. Толкли, мешали и ели. Давали паек, немного овса, и мешок достала от родных. Смолола к сенокосу и наняла работницу за тридцать верст. И за хлеба пришла и половину страды жила. Вот так дорог был хлеб!

Год был ранний и до Иванова дня отправила Сашу и работницу на сенокос, а сама осталась раздобыть хлеба и на семена и на питание. У

родных и знакомых по фунтам насобирала смолола, испекла, оставила ребятам два хлеба на пятерых, остальной унесла на сенокос. Ребятам распределила на две недели по куску в день. Не больно сытно, но делать нечего.

Кончился сенокос, жать начали до Ильина дня. Работница дожила до сроку. Закончили и смололи на еду. Саша ушел в Вельск. Он уже кончал на учителя. Старшая Саня дома кончила начальную школу. Хотелось дальше, да не пришлось. Павла лежала больная. Анюта и Ваня ходили за реку в свою школу. Паша пяти лет ходил в детский сад.

Жить в подвале очень плохо. Дети болели. Надо утеплить как-то перед, сделать еще печь. Наделала кирпичей, сама обожгла, а класть надо мастера, а платить только хлебом, а хлеба я уплатила на казну двадцать пудов и еще по злобе наложили на меня еще двадцать. Раскладывали сами мужики и злобились за то, что детей учит, значит, богата... "Выучит на нашу шею коммунистов, которые будут обдирать". Деверь Сергей был главным руководом, и у хлебного амбара он служил продовольственником. Мужики его боялись. Он настоял на том, чтобы меня обложили больше, чем богатых. Я написала Саше в Вельск, чтобы он похлопотал. За это мужики еще больше обозлились. Во время собрания порвали бумагу, что прислал Саша. А после собрания в десять часов ворвались в избу мужики с криком, руганью, как за преступницей какой, ребят перепугали. Думала: "Набросятся и убьют". Кричали: "Зачем жалуешься, пишешь!" И выгребли весь хлеб, сколько было. На моего коня навалили мешки и повезли за реку, за гору. И коня-то загнали.

На фронте в то время воюют
И режут друг друга и бьют,
Солдаты в борьбе голодают,
А хлеба народ не дает.
И вот страна в изнеможенье
Отряды шлет распределять,
Крестьян на карточку поставить,
А лишний хлеб у них отнять...

Куда я ни обращалась, писала, просила со слезами, ничто не помогло. Деревня назначила, они больше знают. В то время уполномоченный из Вельска был Нечаев. Ему наговорили деверь с мужиками, что я богата, и выгребли весь хлеб вместе с крупой тридцать два пуда. Мне было очень тяжело: "Какие люди! Пропадай все семейство, им дела нет".

Дети болели, и соли не было. Пришлось везти на родину за сто верст больных детей, дороги не было, по снегу. Дождь пошел, потайка, поехали в креслах и в валенках. В Илатове переезжали реку по льду, лошади по колена в воде. Ребята заплакали: "Мама, утонем".

Страшно было. Девочку боялась не довезти живой и оставила дома. Сама же свезла троих мальчиков — и скорее обратно. Только вернулась, назначили ехать в Шенкурск за сеном за двести верст. Как раз в воскресенье упала труба, топить нельзя, а меня гонят, а надо класть трубу. Не дали. Прибежали, кричат: "Конь здоров, красен. Сын учится! Там не устал! И езди сама, как его жалеешь!" Дома одни ребята. Совсем тяжело больная девочка. Попросила одну девочку присмотреть и поехала. Дорога плохая, часто пружило на раскатах, надо было поднимать воз и снова навивать. Домой возвратилась, а дочка померла. Способная была. Написала мне на память:

Ах! Жизнь несчастная моя!
На что же ты сотворена?
Но эта жизнь недолговечна,
Мне жизнь другая суждена.
Иная жизнь в загробном мире,
Как там прекрасно, хорошо,
Лишь жалко бедную мамашу,
Что больно худо ей житье...

В то время было восстание мужиков против власти и убили семь человек. Трех человек расстреляли. Дочке было тяжело. Я спрошу: "Павлушка, неохота умирать-то?" А она: "Смотри-ка, мама! Жизнь-то какая! Что делается! Убивают здоровых людей! Чтобы меня кому убить-то". Ей уже тяжело было жить.

Весной я много ездила и ходила, разживалась хлебом и кормом для лошади. Ручьи разливались, обувь плохая, ноги все время мокры. Раз ехала с возом, вечером пришлось через ручей попадать. Утром был маленький, а вечером разлился. Я сложила половину воза на берегу, с половиной стала переезжать ручей. У лошади на середине еле ноги достают дна. Вот где побухалась, да еще внизу лед. Выпрячь лошадь невозможно, до хомута не доберешься, лишь голова у лошади видна. Часа два билась. Я уж молилась, думала — утону, но выехала. Вся перезябла, приехала домой ночью. Ребята не спят, боятся, как бы мама не утонула. Назавтра другую половину воза перевезла в лодке, из лодки таскала домой на себе. Четыре раза бродила. Приду, отогрею ноги в воде и опять иду. Простудилась.

Совсем заболела. Дома лечилась в кадке, овсом парила и грела. Немного оправилась, и опять назначили в подводы на Бестужеве. Пришлось ехать за реку. Льду не унесло, было страшно переезжать. Пришлось все время брести рядом с лошадью. Лошади худые, идут тихо, и если не править, то конь пойдет стороной. Коня так совсем доведу. Так и брела снежницей водой. Я была в лаптях, через пятнадцать верст лапти развалились, остались одни онучи. Заболели зубы, и меня всю трясло. Когда вернулась домой, совсем слегла. Старшая дочь Саня грела меня в кадке, топила баню, растирала крапивой и дегтем с солью, и керосином. Было невыносимо тяжело. По всему телу съело кожу. Но немного оправилась.

Дожили до севу, надо сеять, а семян нет. Стала просить продовольственников, и дали четырнадцать пудов овса и четыре пуда жита, а ржи не дали. Осенью нужно было отдать овес в казну. Яровые надо сеять и лошадь кормить, а то не потянет. Саша пришел домой, посеял. Саше прислали бумагу из Вельска из отдела просвещения и проездной билет до Устюга — учиться в университет, так как он был очень способный. И деньги на дорогу прислали. Он очень хотел учиться, и я отпустила. Думаю: "Сама еще буду мучиться, так он человеком станет". Самой пришлось ходить с землемером в просеки. Саша съездил, сдал экзамен, и его отпустили на время домой.

С поля убрали, помолотили на еду, нарубили жердей, загородили огороды в поле. Я опять заболела. Домой пришла поздно, согреться не могу, трясет всю, а Саша был за рекой, готовили жерди. Погода плохая, поднялся сильный ветер, я за него боялась, что утонет. А он на плоту переехал, пристал ниже деревни. Я встречала, еще продуло, пришла, залезла на печь, но согреться уже не могла, совсем занемогла. Саша увез в больницу. Две недели пролежала, но мне все хуже. Саша приехал и увез домой, очень плакал. А дома то сильно потела, то зябла сильно, очень кашляла и задыхалась. Саша сделал в стене отдушину, но я совсем задохлась в этой гнилой избушке, и к ночи пришлось вести меня в перед, хотя там холодно, но не душно. А еда была — картошка и парница, ни мяса, ни молока, ни яиц, так как все забирали в казну и наложили налогу тридцать пудов хлеба. Я попросила, чтобы отвезли меня на родину.

Меня свезли в Черевково, там выданы две сестры, и больница там. Я у них жила два месяца, ходила в больницу. Доктор признал слабые легкие и сердце, надорвалась на тяжелых работах. Надо: хорошая пища, чистый воздух и спокойная жизнь. Так поживу, а совсем уже не вылечат. И то, сказал доктор, что крепкая натура была, другая бы не выдержала. Меня увезли обратно к отцу-матери и доставили троих детей поменьше.

Так жили до Великого поста у родителей. Мама тоже больна, рак же-

лудка, лежали вместе. Приехал Саша и очень плакал, звал домой, и хотя не отпускали, но поехала. Дома сыро, грязно, затопили печь — дым. Я как сидела, тут и упала. Очнулась, трясут соседи на повети. Соседи утащили меня к свекрови, и до тепла лежала у них. Дочь Саня не отходила, боялась, что умру. Дома выставили раму, весной перевели меня домой, я в шубе сидела у открытого окна.

Весной опять пришлось брать семян из казенного амбара. Дали десять пудов овса. Саша носил его через реку с полверсты. Уже наледица была, скользко было, падал, но шел.

Если бы мужики свои не ограбили нас, так своего хватило бы.

Лето прошло. Хлеб выжали, сено выставили. Нанимали. Я лежу, а что один Саша сделает?

Дальше жить в таком подвале нельзя. Младшая сестра из Черевкова пожалела нас и написала, что оставлять душить в этой яме нельзя и чтобы я немедленно выбиралась: старших детей устроим, а с младшими поживешь у родителей. Сдали землю в аренду, сено продать не могли, так и осталось деверю Сергею бесплатно.

Сейчас второй год живем у отца. Квартира очень хорошая, сестра нас не оставляет, и, благодаря этой жизни, третий год живу, а дома через неделю бы задохлась.

Саша возил в больницу и в Устюг, но все врачи говорят, что не излечить. Уж сколько поживу. Сейчас не лечусь, чувствую, что смерть приближается, но благодарна сестре Маше, что мне дала хотя последние годы пожить спокойно, как люди, и не задохнуться в духоте дома, как скотина, и очень довольна, что помирать выбралась оттуда. А детей Бог устроит. Саня сейчас живет у сестры в Черевкове. Саша поступил учителем и живет хорошо, как дома и не живали никогда.

Я скоро отойду, отдохну от всех своих невзгод. Кончаю жизнь на сорок втором году, полную страданий.

Дети мои меня не будут судить строго за то, что их увезла. Они знают, как мать жила. Саше сейчас девятнадцать лет. Он вспомнит все и скажет, что здесь написана истина, ни одного слова нет вымысла. Я для них не жалела своей силы и жизни, учила, чтобы им не пришлось так жить. Если бы время не такое, я справилась бы со всем, но в такое время не могла. Я не виновата, что свалилась. И вас прошу, дети: "Где-нибудь устраивайтесь, но туда не ездите!"

Мне постоянно говорили, что сколько поколений, как помнят старики, на том месте умирали молодыми, и ни один не дожил до старости. И даже у вашей бабушки слыхала, что одна старуха прокляла своего сына и место, чтобы тут никто и никогда не жил добром! Раньше я не верила, а теперь, как

пожила, так верю, что всю жизнь, как я ни старалась, как ни работала и головою, и силой, но все равно столкнет в пропасть. Ни одного года не было, чтобы какая-либо скотина не решилась, а в последнюю осень всех овец (шесть штук) съели собаки. Да и место сырое, гнилое, всегда тяжелый воздух. Тут все умирали от чахотки еще молодые. Свекор купил этот двор по дешевке после умерших молодых от чахотки. Я еще помню, как при мне двое умерли.

Ради Бога, прошу вас, дети, не ездите туда на мучение! Дорогие дети мои, я оставляю вас на Бога! Надеюсь, что Он не оставит вас. Обо мне не скучайте и не плачьте. Я смерти не боюсь. Надеюсь на Бога, верю в будущее, а с верой и умирать легче! Я рада умереть. Жить больной тяжело. Как сказано в евангелии, каждый получит по делам своим.

НА ПАМЯТЬ ДЕТЯМ ОТ УМЕРШЕЙ МАТЕРИ

Сердце стонет, замирает,
Слезы просятся из глаз,
А скука душу раздирает
Каждый день и каждый час.
Чем я грусть свою рассею,
Чем я горю помогу?
Сирота я, что затеять?
И придумать не могу.
Ах, не знает муж в могиле,
Скучно так и тяжко мне,
Днем, как тень, брожу печальна,
Нет отрады и во сне.
Ах! невольно плачут очи,
Я осталась горевать,
Мне ль, несчастной, долги ночи
Сном спокойным засыпать?
Ах! Мой муж! Твоя могила
Мне много горя принесла,
Много бед мне причинила,
Много вздохов извлекла!
Как мне, бедной, не поплакать?
Как, несчастной, не вздыхать?
Деток шестеро осталось,
Всех их надо пропитать.
Мы тем более несчастны,
Нет родных вблизи у нас,

Никто бедняжкам не поможет
И совета не подаст.
Немного свыклась с своей долей,
Стала я детей учить,
Пришлось работать через силу,
Только б жизнь им облегчить.
Мечтала им устроить счастье,
Да судьба не помогла!
Двое в Вельске уж учились,
От них я помощи ждала.
Вдруг неожиданно несчастье,
Прибывает к нам отряд,
Солдатам хлеба не хватает,
Надо с волости собрать.
В народе мало состраданья,
Ведь знают, как мне тяжело,
С такой семьей жила в подвале,
Где было сыро и темно.
Частенько хлеба не хватало
Своих детишек накормить,
Такую норму назначали
И на меня. А чем платить?
"Богата! Деток в Вельске учишь,
Не меньше можешь заплатить!"
Я сколько плакала, молила
Оставить хлеба для детей.
Но хлеб весь выгребли, увозят,
Как хочешь, ты живи с семьей.
И как тут быть? Не до ученья.
Пришлось детишек взять домой.
Кто знает материны чувства,
Поймет, легко ли ей самой!
Тут от нужды, недоеданья
Вдруг заболела дочь моя,
В чахотке года два хворала,
Потом, бедняжка, померла.
Сама не выдержала пытки,
Свалилась с ног и смерти жду,
Чахоткой третий год болею,
Сейчас вставать уж не могу.

Пришлося угол свой оставить,
Где сыро, холодно лежать,
Детей всех по людям устроить,
Самой не дома помирать.
Поймет ли кто, как я страдаю,
Смотря на деток каждый раз,
Тихонько слезы проливаю,
Не то я думала для вас!
Моя мечта — образованье,
Познанье света и добра,
Своей я жизни не жалела,
Но вас устроить не могла.
Сейчас пишу я через силу,
Вставать уж больше не могу,
Что будет с вами, я не знаю,
Мне страшно думать...
...От работы тяжелой и трудной
Отцвела, не успевши расцвесть!

* * *

Меня читатель может упрекнуть в навязчивой простоте, монотонности исповеди, в ее приземленном физиологизме, когда человечья душа не может приподняться над мирской суетностью.

Но у меня впечатление иное: меня прежде всего поразила страстная, доходящая до болезненной мнительности борьба меж душою и плотью, когда тоскующее, измаянное сердце просится вон из зачерствелой кожуры, мерного, иссушающего всякую фантазию быта. В душу этой женщины с малых лет было кинуто на благодатную почву поэтическое зерно, но оно оказалось под суховеями жизни и замлело, замерло, едва проклюнувшись перед самой кончиной. Словно бы в очередной раз подтвердилось: "Человек не может умереть просто так, не высказавшись".

Стих прост, в нем нет поэтической натуги, ярких расцвеченных одежд, свойственных былине; это как бы попытка исповедаться, излиться в плаче, причете, молитвенной просьбе, в долгой тоскующей жалобе к Господу; но в простоте строки, в ее легком дыхании и некоторой заунывности слышна природная музыка, естественно ложащаяся в распев, в высокоголосую песню с протягом, на вынос. Такого образа стих, сочиненный бобылкой, сиротою иль монашеной-начетчицей, исполняли тайно ввечеру скрытники и бегуны, в поморском или федосьевском согласии; такого толка, но более резкую, раз-

бежистую, с притопом и прихлопом песнь любили когда-то хлысты. Но там больше подвизгу, аханья, ойканья, горячки, разгона, и потому этот толк получил резкую отповедь в русском народе, ибо несмотря на всю жесткость и строгость этой веры, слишком много в ней себялюбия, своемудрия... Но сейчас, как бы мы ни относились к верованиям русского народа, нельзя забывать, что и в этом побыте каким-то пусть и чуждым, скованным образом жила русская поэзия, природный стих. Как ни странно, но именно в этом стихе есть все, к чему с такой легкостью припадает душа и легко, отзывчиво плачет и радеет; есть похожесть, узнавание личной судьбы, что и вызывает печаль и надежду на счастие. Не так ли и создавался духовный стих, песнь нищей братии, где зов, обращение не ко всем сразу, но к одной душе, к одному страждущему, покинутому всеми. Это паломник, неведомый нам, калика перехожая, иль особо многочувственный старец, иль бродячий чернец на одном из привалов на российских дорогах однажды выпел, обратив слепой взор к небу: "И кто их оденет, обует, и кто их теплом обогреет?" Это был плач сироты по сироте, и именно духовная баллада по своей песенной структуре более близка стихам вдовы Поли.

Любопытно, что именно истинные носители веры сочиняли духовные баллады, но они прежде всех и предавались гонению, расправе и мукам: напоминая о Христе, о милосердии, о сострадании к ближнему, они, как самые первые ревнители за униженных и оскорбленных, невольно раздваивали, размыкали и рассыпали государственную церковь, довольно часто нарушавшую христианское вероучение не столько помыслом, но истинным делом. Во времена раскола никонианская церковь не только внесла разлом и смуту в русский народ, явила гражданское противоборство, почти равное гражданской войне, но и позволила с необыкновенной решительностью глубоко проникнуть в народное тело черной смуте, помогла угнездиться там и расцвесть пышным цветом. Никонианская церковь из самой веры, из ее нравственной сути, из сердцевины духовного древа изгнала народную религиозную поэзию, отстранила иль предала анафеме носителей ее, отторгнула крестьянский стих на паперть и базарное торжище, в схороны и тайные скрытни. Русскому народному стиху продлил быванье староверческий толк, ибо вся стихийная волевая натура старообрядца, все его не тускневшее, несмотря на изгон, стоическое верование прочно покоились на народном искусстве. Да и все останки старопрежнего поэтического сосуда, его осколки и сохранились для нашего уха лишь благодаря ревностной памяти помора-старовера. Изгнанное всегда находит приют в лагере униженных и гонимых. Не случайно говорилось: сирота-де обогреется у сироты...

Исповедь Поли — это "житие" вдовьей жизни, а всякое житие строится из случаев, связанных с тягостью, с бедами, с их преодолением: в этом-то и

заключается поучительность судьбы, урок для многих. Тяжело бабе одной без мужика семью подымать, и сколько тут надо иметь крепости духа и чисто лошадиной выносливости, чтобы тянуть семейный воз, зная, что самой надо быть и за коренника, и за пристяжную, и никто не подменит, не переймет тягость на свои плечи. Как мне памятна эта заунывная жизнь по материной судьбе, когда все валится разом, напасти сыплются со всех сторон, там прореха, там дыра, там починки требует, и нечем заткнуть разор: холодно, студно, детишек орда, в доме ни копейки, постоянные нехватки. И тут как по команде наваливаются на несчастную вдову хвори, подтачивает недуг, слабеют нервы, сдает сердчишко, и где ей, сердешной, взять сил, чтобы выстоять? Ибо и душа-то замлела вовсе, сдалась, и так хочется смерти. Смерть желанная, она избавитель от всех напастей. И в сон-то наша бедная вдовица уходит, как в смерть, как в черный бездонный проран, но и там, в глубокой темени ночного забытья, постоянно тлеет мысль о детях. Они, дети, куда крепче всякой вервии связывают вдову с жизнью, не давают добровольно пресечь ее, чтобы разом свести счеты с немилостивой судьбою. Но с первым солнечным лучом куда-то девается вдруг предночная черная тоска, и смерть, еще с вечера желанная, сейчас страшна, заклята, немилосердна. И одно лишь сейчас на уме: как бы с детьми сладить, дать им верного пути. И снова впрягается несчастная в тягловую лямку, не давая себе послабки. Как в той припевке: "Ты и баба, и мужик, ты корова, ты и бык".

Житие Поли — это и дотошный свод крестьянского побыта двадцатых годов, и по многим, уже стершимся ныне деталям, можно как бы поместиться в тамошней, давно истекшей жизни.

Ну а стихи вдовы Поли — это не "щолыванье", не пересмешничанье, в них нет ничего легкого, пестрого, насмешливого: лишь одна долгая печаль. В Мезени живет предавняя песня:

"Когда цвет розы расцветает, то всяк старается сорвать. Когда цвет розы опадает, то всяк старается стоптать". Ее поют лишь на Мезени, и мне кажется, что в придвинских землях возле Шенкурска ее не знали. Но стихи умершей вдовы вдруг запелись именно в этом заунывном ладе, пропелись легко, и не обнаружилось ни одного ритмического сбоя.

* * *

Из простой судьбы

...С обеда до паужна и училась всего. С семи годов-то в нянюшки пошла, дак вот. Все хаханьки, ха-ха-ха. Потом-то мы жонками учились, две недели походила.

В детстве до нянюшек, до первых каникул училась. Отец увез с каникул в Чуболу. Да запросили в няньки. У тебя-де эка девка боева, дай в няньки". Мать плечиком подернуло: "Как, доченька, пойдешь? Жених на тебе сватается". Я как заору: "Ой, матушка, все ты смеешься надо мной. Да ладно, чем учиться, пойду в няньки".

Четыре года я у Ларисы водилась, потом переманила Марфа Семеновна, у нее погодки пошли. Одиннадцать да два сколько будет?

— Тринадцать...

— Умеешь считать. Какая-то болезнь запоходила, братская могилка. Все ребята умерли.

Поехала я на Майденьски озера. Поехали морем, у моря пристали. А на ужин уже семга попала. Я бережница была, на бабках мотала, распускала ужища. Тяжеленько, да тянись. За модой гонись да и ниткой тянись. На зиму себе ловили. Отловила, в Мегру попала в нянюшки ко Клавдеи Федоровне. У нее четверо было. Я как волчица в волках. Истоплю горницу, места расстелю да всех развалю. Сосок на рог, да молоко льешь ложками. Лампушка, парень-то, орет, дедушка идет глядеть. "Не сплю, говорю, слышу, дедо, кормлю". Выводилась тоже два года, а там женихи засватались. Погоди, говорю матери, еще перина не готова, перышки на курицы.

Всем отказала.

Мать говорит: "Хватит рыться, как в щепе роешься мужиками". Играли на горке. Меня поймал Василий, говорит: на тебе приду свататься. Сваты пришли. Я домой не явилась. Лучше, думаю, в девках, чем замуж.

Я запевала была.

Зазывальщики ходили, на вечерку зазывали. По три раза бегали малы парни. Мати говорит: "Никуда не пойдешь. Только ботинки рвать да платье потить".

Девки отказываются: "Запевала не пойдет, и мы не пойдем". Придут девки за мной, уговорят, мать и отпустит. Гармонистов много было, танцевали краковяк, яблочко. Не нынче, бат: драться да болтаться. Пьяный не напивайся да и тверезый не ходи. Рюмочку-то выпей да и на танцы приходи.

Ой-ой, вся моя ровня из стада лебединого выпала. Я одна, как стара кокора. Как ли доживать свой век нать. Сколько постановлено жить, не обрежешь, да и чужого веку не займешь. Мужа-то на войне потеряла. Я сама порядошна, и мати была порядошна, и мне такой велела быть.

...Говорите, пошто замуж больше не пошла? А творога нет — и сыворотки не надо.

На ум чего падает, вот и сочинишь.

2

Бывало, эту "щолыванску"[1] песню на Мезени пели только Белощела, из той деревни, знать, и нашлись зубоскалы, что сочинили шутошную, пройдясь по верховьям реки и обмыв косточки всякому поселенью на ее берегах.

Белощельские бурлаки, вот бурлаки.
А модно, щегольно ходили, вот ходили,
Высоко кушак носили, вот носили,
А за то девицы их любили, вот любили.
Да белощелки почитали, почитали.
Во царев кабак ходили, вот ходили.
По платочку заложили, заложили.
Да зелена вина купили, вот купили.
По веселой выпивали, выпивали.
Да пошли домой — заплакали, вот заплакали.
Цулощела коневала, коневала.
Были олемки хороши, вот хороши.
Были русомцы богаты, вот богаты,
Каращела тараканы, тараканы,
Были едомцы удалы, вот удалы,
Магазея табаку — устьвяжана,
Низкоросла молодежь — монастырцы,
На шурупах, на винтах — да нисогора,
Со скрипами сапоги, да стельки выехали — да березьяне,
Ремковаты кушаки — то смольяне,
Пылемчане кудреваты, кудреваты,
Колмогора ломоваты, ломоваты,
Сельяна молчаливы, молчаливы,
Да ценогора матерливы, матерливы,
Да белощела — щолываны, щолываны,
Конещолы недорослы, недорослы,
Да палащелы-ти — бахвалы, вот бахвалы.
Чучепала — черепаны, черепаны,
С горы на гору ходили, коробами грязь носили — шилованы.
Черноусы мужики-то устькымцы,
Мастера-ти песни петь — то якшинцы,
Чухари были богаты, нонче обнужели,

---

[1] Щолыване — пересмешники.

Пальцы режут, зубы рвут, да во солдаты жить нейдут —
жительяна,
Койнасцы-моторы, долгополы, долгополы,
Присудливы мужики — засульяны,
Усть-низемы — богомолы, богомолы,
Петуховцы — те горбаты, вот горбаты,
Кысяне-то косолапы, косолапы,
Боровяне — хляпогузы, хляпогузы,
Мастера лапти плесть-то лебцана,
Вожегора — та Иваны, вот Иваны,
Да пустынницы — брюшинницы, брюшинницы,
Родомцане — заяцане, заяцане.

Видно, что мужики-белощельцы истинные щолываны, мастера колокола лить, зубоскалить; уж так окрестят, такой ярлык наклеят, что и веком не смыть, с таким прозвищем и помирать, до того остры и метки на язык. Но ведь это не только шутошная-игровая песня, которою можно и хоровод поддержать, но в ней точно обнаружен характер мезенского тамошнего народа, населяющего верховья реки. Мое предположение таково, что сочинителем этой песни был местный крестьянин Семен Борисович Семенов. Ибо и поныне помнят в Белощелье его частушки.

* * *

Сохранилась фотография. На краю суземка, близ реки, стоит мужик, сутуловатый, с тяжелым, словно бы белым взглядом, в долгих сапогах, у ног собака клубком. С обратной стороны мелкая карандашная запись человека, привыкшего к письму: "Снят американцем русский мужик Семен Борисович Семенов..."

Даже в воспоминаниях родственников он разный.

"...У него был темный взгляд, темной. Но не сказать, что человек хмурый".

"Сам был высокий, костистый, борода рыжая, совком и усы с подпалиной от табака".

"Отец писал про мать "красавушка черноглаза". Я читала. Они по любви женились в то время. Парень он был веселой руки, мама про него так говорила".

"Мать называла его пролетарий, лентяй дак.

— Почему лентяй?

— А с политическими знался, деревенскую работу забросил. Вот и мы лентяи с него, деревню-то забросили. Он ведь большевик был.

— В партии состоял?

— Да того не знаю, про партию-то. На Мудьюг попал в заключение при белых. Белы гады посадили за политику. У нас там был фронт. Сорок километров от нас, в Койнасе. А у него белые просили лыжи и лошадь. Он этого ничего не дал. Хотел идти на фронт на лыжах ко красным. А год-то был тяжелый, снег высокий, он и не смог тайболой пройти. Вернулся обратно в Белощелье. Сосед-то его безбожником звал и доказал на него. И ночью его жандармы арестовали, все бумаги забрали. Он и тогда писал, стихотворение помню про мельницу и богача. На Мудьюге-то его чуть не расстреляли, на одного человека не сошлось... Постоянно приговаривал: каждая власть есть насилие..."

* * *

Душе вольной, поэтической везде душно, стесненно. Уже в двадцать втором Семен Семенов сказал: "Выборщики наши — выпьем горьку чашу". Окинул взглядом мужик всю русскую землю и решил, что лишь в Сибири вольно жить, лишь там воля вольная. Иль откуда-то, от неведомых ходоков дошло отражение давней, уже отгоревшей к тому времени мечты о благословенном Беловодье: дескать, в Сибири земли сколько хошь, коровы ходят в траве по холку. А казалось бы, не в новгородской ли вотчине, не знавшей барина, и свобода-то истинная; суровый, никем не топтанный край; тяжкий для прожитья, но решительно никем не стесненный во все концы. Сотни тысяч русских мужиков, вольных ходоков, кинулись во все стороны, сманенные посулами о райской обители, где нет ни податей, ни сборщиков, ни начальства, ни солдатчины. Многие из тех искальщиков безвестно канули в китайских и басурманских землях, так и не сыскав мужицкого рая. Иные же осели в Алтае, на Черном и Белом Иртыше, и знать, оттуда, через староверов-чалдонов и семейских казаков протащился слух до Поморья о благословенной, полной довольства стороне. Что же есть за пречудная страна Беловодье, где царствует свободный труд и любовь и где вершит справедливость меж насельщиками не правда законов, а Закон Правды — вечно благоухающее древо благочестия, справедливости и добра. Собственно, не ради земель кинулся мужик, ибо в Сибири пустынных жирных степей было в преизбытке, но в Сибири не сыскалось той воли, о которой мыслилось зачарованно: пустился же мужик странствовать в поисках Закона Правды...

И вот Семен Семенов из Поморья засобирался в Сибирь. Казалось, ему ли, страдальцу и мученику интервенции, спешить из родного Белощелья в опасный путь, зорить родительское гнездо, покидать в сиротстве погост, где лежат отец с матерью. Да и где еще искать чести, как не на

родном угоре, на сельской сходке. Но почудилось Семенову что-то из рук вон плохое, заснилось-завиделось, коли на общинном кругу брякнул с кривою усмешкою: "Хоть выборщики наши, но выпьем горьку чашу".

Загрузил мужик пожитки в большую лодку, завел в суденко своих чад, а семья к тому году уже разрослась, шестеро по лавкам, жену Евдокию посадил на весла, сам за руль — и тронулся вниз по Мезени-реке в Петров день, самый престольный праздник, еще худо, туманно представляя все предприятие. Ехали, не приставая нигде, дымил трубою самовар, по берегу бежали мальчишки с криками: зыряне едут. Почему зыряне? А выше по Мезени, за Вожгорой и Койнасом, жили коми-зыряне. Он, Семенов, был, пожалуй, первой ласточкой великого переселения, что ожидало Русь. Сначала с Украины и южной России тронутся мужицкие семьи на Курумбель, Кулунду и Ишим и, ютясь в землянках-засыпушках долгие годы, распашут жирную целину; а чуть позже уже под ружьем, подневольно раздвоится община, и более зажиточная ее половина примется торить долгую и несчастную дорогу в тайболы и суземки Архангельщины, Вологодчины и Вятки, перевалит Урал и сойдет на нет за Колымой...

Пока же Семенов ехал в Сибирь через Мезень: от заштатного уездного городка, от райземотдела дается добро, и начинается любая казенная дорога. Но в райземотделе мужику отсоветовали соваться в Сибирь, ибо и здесь, в Поморье, у черта на куличках, невпроворот пустынных окраин. Семенову предложили осваивать местечко Кепино, в самой середке меж Мезенью и Архангельском, туда и сюда по сто сорок верст. И в радиусе на сто верст ни одной живой души, разве лишь в соянских борах иль под Ижмою в заречных тундрах встретится по сезону ненецкий чум (позднее крестным отцом для внука Веньки станет оленный хозяин).

Всякому лихому пути приходит край. Вот и Кепино, почтовый станок, заброшенная избенка на тракте, что оживал лишь зимами; заволокли скарб, поставили самовар, напились чаю. Вот мы и дома, сказал хозяин. Вышел за порог, встал на угоре, осмотрелся: неоглядно и неохватно синеющий и мареющий лес, и в распадках, разломах, в красных осыпях слоистого камня нет-нет и падет глазу слепящее, серебристое колено реки. Вот она, воля-то! Сразу душою охватил ее Семен Семенов, задохнулся волей. А что работа?.. Не от работы сохнет человек, а от скорбей и печалей. И взялся русский мужик за топор, принялся корчевать лес, жечь навины и готовить под зерно таежные поречные кулижки. Через десять лет Семеновский хутор разрастется в деревню Кепино, которая до сих пор помечена на географических картах, и придет пора строить свою школу, рыбпункт, сетевязку, пекарню.

Я уж и не знаю, как попадал семейный обоз до Сояны, как они переволакивались через Мезень-реку и пространным болотом (где я однажды

чуть не замерз) попадали до деревеньки, где жили "чухари". Там Семеновы загрузились в длинную узкую лодку и потянулись вверх за сто верст через перекаты и пороги. Малые дети бежали берегом, путаясь в хвощах и падренице, сопровождаемые тучами гнуса, старшие же сыновья бурлачили, впрягшись в лямки, отец с матерью стояли на шестах. Сколько дней пехалась наша скитальческая семья, мне неизвестно...

Через шестьдесят лет после того похода мы три дня попадали в Кепино на моторной лодке, не раз сидели на порогах, когда летела шпонка и нас стремительно зажимало течением в берег, норовя опрокинуть. Спутниками моими были внук Семена Семенова Викентий и внучка Евдокия. Они родились в Кепино и, давно распрощавшись с деревнею, хотели видеть родину. Смеху было, воспоминаний и горестных слез! Что стало с волею? Глазу нашему предстали бурьян по пояс, сжатая березняками со всех сторон поляна и несколько изб, уже покинутых, доживающих век. Насколько короток оказался век у деревни, родоначальником которой был Семен Семенов. Куда же девались люд и лад?

...Заживались поначалу трудно. С осени пути долго не было: выпал высокий снег, обозы по тракту не шли и топтальщиков на конях, торящих первую колею, все нет и нет. Хлеба прикончились, пора помирать с голоду. Помните Аввакума с верною его супругой, как они страдали по Сибири, попадая вместе с ватагою атамана Пашкова? А тут разве не так? С шестерыми детьми Семен и Евдокия бездорожьем потянулись назад в Сояну. Малых тянули на санках, старшие перемогались на лыжах. Сколько-то покормились в Сояне, а после с обозом вернулись обратно в свой починок, когда встал зимник. И так кочевали три года туда-сюда, пока-то завели коров да лошадь. Жили на рыбе да на мясе. Место высокое, на выши, гористое место, пороги да пороги без числа: куда ехать, все на шестах, пехом, на своем паре.

А были дети: Андрейко, Афонасий, Семейко, Ульяна, Мария, Фекла. Остались ныне в живых лишь Ульяна да Мария. Мария Семеновна рассказывала: "Голоду мы не видали, отец охотничек был. Мясо свое, пушнина. Отоварят, дак всего привезут. Мы-то все рыбу рыбачили, свезем в Карьеполье, наменяем на ячмень, народ хлебный там. Мы-то хорошо жили, но всё на воды. Как река вскроется, так с нее и не слазим. Отец всем сапоги нашил, валенки на пушнину давали. В Сояну в школу вывезут по последнему пути в октябре, а весной обратно, когда школы-то не было. Один раз повез отец в школу по последнему пути, лед уже у Кучемы стоит. Отец-то закричал, что лед впереди. Лодка-то летит по быстери, сразу за весла схватились. Иначе всех бы под лед. "Не к смерти дак, а к жизни,— сказал тогда отец.— А то бы не жили".

Место было рыбно да зверно, пошто не жить. Помню, один раз двести сёмог в невод попало. Едва тянут мужики. Пузыри пошли, засеребрило. А как к берегу ближе, присмирела рыба. Крику-то, крику. Кто кричит: нижнюю тетиву прижимай, кто — верхну. А сёмга-то не дават, щеперится, не хочет на берег. Потом и присмирела, когда на отмело место вытянули. И давай улов делить, радости сколько... А птицы было. Веришь, нет? Один раз отец сидит, пьет чай. Вдруг скочил, хвать ружье и через минуту глухаря несет. Зрение дальнее было".

* * *

И, наконец, зажили. Маятный труд дал достаток. И только пришел зажиток, когда и избу новую отстроили, и старшему сыну избу, одна девка замуж ушла на сторону, другая — на завод, и вдруг признали Семенова середняком, задавили обложением.

"А какие мы были богачи? Все от своих ногтей. Молоко-то далеко возить, так маслом надо было отдать. Вот летом навьем круги большие, целу бочку масла. Свезет отец в Сояну за сто верст, а жара, и масло заплесневеет у него. Не принимают, говорят, вези другое, свежее. Издеваются, значит. И начинаем новое масло сбивать. Потом и рыбу ловить запретили. А мясо сдай, кожи сдай, яйца, масло, шерсть, рога. Вот батька наш и посмурнел, попивать начал..."

Однажды двое приехали с обыском. Один-то инспектор остался в сенях сторожить, чтобы не сбежал колонист, а другой вошел в избу. И говорит: "Семенов, мы к тебе с обыском приехали".— "С обыском?" — спросил зловеще мужик и схватил нож. Уполномоченный кинулся прочь, запнулся за порог, растянулся в сенях и молит: "Семен Борисович, пощадите, не убивайте, у меня дети". А тот, второй, убежал скорее в реку.

Но лодку скоро отняли, запретили колонисту ловить рыбу, пусть человек пропадает. Семенов лодку сшил новую, а ловить стал воровски. Поди, уследи за ним в тайболе, куда, чтобы добраться, не одни руки износишь от пихального шеста.

Он был выдумщик, старик Семенов. Были у него две лодочки, меж ими колесо приспособил с лопастями — крутил ногами. До Сояны добирался на этом катамаране. Было два гуся диких ручных: куда ехать соберется, кричит, бывало: тига, тига. Они с горы и летят, сядут на нос суденка, Семенов крутит ногами колесо и едет.

Минули в прошлое годы, когда Семен Семенов вместе с политссыльными пел в Белощелье: "Кто был ничем, тот станет всем". Он особенно не вдумывался в смысл слов, за ними мерцала в воображении лишь неопре-

деленно счастливая и мирная картина грядущей жизни, где кончаются страдания. Осиротел Семенов рано, на руках осталось трое меньших братьев, избушка кряхтела от зимнего ветра и продувалась насквозь... И сейчас, когда "от собственных ногтей" заладилась жизнь, вдруг кто-то неведомый решительно вознамерился ее сокрушить. И подумалось русскому мужику Семенову: а разве напрасно он страдал на Мудьюге, для чего тогда взбулгачили всю жизнь? Кто же он, Семенов, на самом деле?

Был ли Семенов противником социального переустройства? Да нет же, он был ярым поборником и сообщником его, но власть, невидимая взору, отторгала его от новой жизни, во имя которой он ломил, как бык, подняв на ноги шестерых (двое сынов падут на войне). Сколько же лет минет, пока "пахота" русского мужика тридцатых годов будет предана публичному трезвому осмыслению. Тридцать второй год, печальный год и для Севера: с верховьев Мезени ссылали в низовье, лишая живота и подворья, принуждая врастать на новом месте; с низовьев тянулся обезволенный человек в страну коми, где дозволялось отныне жить. Пришел и на Беломорье голод...

Была у Семенова бабушка, слепла пятнадцать лет, ходила на ощупку. Однажды, когда все ушли на работу, старенькая полезла на печь, да не с того боку, где приступки. Упала, сердешная, на спину и сразу прозрела. И пошла на родную сторону поглядеть. Сын со снохой с работы в дом, а матери нет. Уж далеко ввечеру явилась сама, без поводыря. Говорит, по приклонам гуляла, уж как все переменилось.

И у Семенова словно бы пелена с глаз спала.

"Чего ему не занравилось? Круто повернули, говорит. Людей много посадили безвинных, да. С раскулачиванием. С Украины их гнали на Север. Где-то у Сояны недалеко был их поселок. Их завезли в лес и высадили, там они и жили. Мастера хорошие были, хорошо настроились. А коменданты были не ихние, они-то издевались над душами-то. Вот они и побежали, мимо нас бежали по тракту. Кто чего сумел взять, а кто и так. Воровски бежали. Отец-то перевозил их через реку, накормит-напоит, потом разговаривают. И в те же годы раскулачили нашего соянского мужика, Осипа Усана. А отец-то хорошо знал его, уважал сильно. Работяга он был, все с своих ногтей, да. Праздников не знал, все в работы. А Осипа и раскулачили. И очень это отцу нашему не занравилось. Вот и стал он попивать. А во хмелю он худой был... И не захотел он больше такой воли, сам в тюрьму стал попадать. Так я решила, что сам в тюрьму захотел. Шибко не занравилась ему эта жизнь.

Тракт был через Кепино. Начальство, если на Архангельск, все мимо нас. Он зазовет его, накормит-напоит, начнут беседовать о жизни, отец

разругается и погонит гостей из дома. Подите прочь, скажет, у меня вам прислону нет".

Жена его, Евдокия, была женщина веселой руки, голосистая, много песен знала. Хоть и писал Семенов про жену "красавушка черноглазая", но держал в ежовых рукавицах. Детям он возил книжки из Архангельска, а жена едва по слогам читала. Ходила украдкою в школу в Кепино, так муж, узнавши, очень ее ругал.

Когда пьяный был, во хмелю, то поест и порожнюю тарелку свись под порог с присказкой: "Из пустой посуды и собаки не едят". Всю посуду перебил. Надоели Евдокии выходки мужа, налила ему супу в оловянную кошачью миску, что под порогом стояла, принесла на стол, пихнула: "На, жори, ядрена барыня". Муж оторопел поначалу, рассмеялся потом и больше шалить бросил.

Собственно, что есть жизнь человеческая, как не добывание куска насущного в поте лица своего. У хозяйки что, у нее постоянное обзаведение, стирка, обрядня, уборка, скот, кухня, сеностав, репища, дети; вечером прялка, веретено, кросна — ткацкий стан; у хозяина — рыбные ловы, вечно по огузье мокр мужик, коли у воды и от воды живет; охота, когда за куньим хвостом порою и трое дён пробегаешь, не зная устали и ночуя корчужкой возле нодьи; на его совести изба и всякое в ней устроение, ведь дом всегда просит мужицкого глаза, без хозяйского догляда имение скоро хиреет и идет вразвал; наконец, семью надо холить и держать в строгости, жену не попускать. А характер у каждого в семействе ого! Внучка Вера за сто сорок верст зимою сбегала в Архангельск, только чтобы на трамвае прокатиться...

Так что рассказывать о Семенове? Его будний круг — это размеренный устав всего российского крестьянства извечно и до скончания веку. Иной жизни не бывать на земле.

Перестал Семенов верить в Бога. И когда родилась последняя дочь Софья, он говорит жене: эта девка будет некрещеная. Но Евдокия тайно окрестила. Один раз Семенов поднял дочь на руки и говорит: "Эта-то дочь исто моя и лицом и повадками". А привелся тут сосед Федор. И скажи онде: а девка-то твоя, мол, крещена! Семен девку-то свись в зыбку, сорвал иконы с божницы и под порог. А мужика того налупил и выгнал из избы.

Девочка вскоре и умерла, не зажилась. Евдокия все попрекала мужа: "Раз все зло выместил на девке, она и не зажилась, да".

А в тридцать шестом Семена Семенова забрали: приехали по реке ночью, подняли с постели. Внук Викентий вспоминает, как за дедом приехали на лодке, ночью зашли в избу двое. Дедо с кровати слез в одном исподнем, спокойно, не суетясь, запалил керосинку. Смутный, белый, как привидение, подошел ко мне. А я на полу спал, притворился, что сплю, ничего

не понимаю. Малой был. Он встал на колени, чтобы попрощаться, и говорит: "Прощай, внучек. Больше нам не свидеться". А я и глаз не открыл, а после-то под одеяло с головою — и заплакал...

Сделали в подворье обыск, неведомо что искали, забрали все исписанные бумаги. Ящик бумаг был. Из мезенской тюрьмы Семенов послал дочери Марии записку в Каменку, просил курева. Дочь купила папирос, прибежала через реку в город, уже зима была. Стена высокая, отца нигде не видать. Попросила караульного позвать тату, часовой девку прогнал. Так и пошла прочь с папиросами.

Потом было письмо уже из Сибири. Просил Семенов прислать ему глухаря, по лесной птице соскучился. Афанасий, сын, сходил на охоту, убил глухаря. Евдокия завялила птицу и отослала в Сибирь по адресу. Потом еще одно письмо было: писал Семенов, что убегал из тюрьмы, его поймали и били. Далеко ли убежал — не сообщалось. Там были еще какие-то строки, зачеркнутые...

Когда Семенова увезли из Кепино, ему было шестьдесят четыре года.

...Главное теперь, по прошествии времени, не ставить равенства меж действительным мироедом, которого подвели под черту, и истинным работником, каким был "русский мужик" Семенов. Надо поклониться его памяти и вернуть честь. В той глубокой "весенней вспашке" народа вместе с сорною травою попал под лемех и добрый природный злак.

* * *

Случай и обстоятельства жизни близко свели меня с семьею Семеновых. Однажды в застолье они запели свою песню, единственное, что осталось от поэтических трудов деда Семена Борисовича. Да и эти-то строки сохранились чудом: у внука Викентия оказалась добрая память, и он запомнил ее от деда. Конца у этой песни нет. Как вспоминает Викентий, это был отрывок из большой поэмы странствий "русского мужика".

Уже внуки подобрали к стихам деда простенькую мелодию.

ПЕСНЯ С. Б. СЕМЕНОВА

Во сыром бору сосновом
Возле речки в доме новом
На приволье, эх, на приволье...
Заросло травой густою,
Жил старик с семьей большою
Поневоле, эх, да поневоле.

Жил в деревне-разорился,
Жить в леса переселился,
Жить до гроба, эх, жить до гроба.
Часто ссорились с женою,
Со старухою каргою,
Стары оба, эх, стары оба.
Жили год ли, полтора ли,
Выселяться не пора ли,
Стало скучно, эх, стало скучно.
Запасали хлеба мало,
На всё денег не хватало,
Несподручно, эх, несподручно.
Посадили детей в короб,
Покатили скорей в город,
Все на лыжах, эх, все на лыжах.
Повстречался нам Ионко,
Самодины — мать и женка,
Город хают, эх, город хают.
Дотянулись до госторга,
Сердце радо от восторга,
Все мы живы, эх, все мы живы.
Растряхнули да мы котомки,
Полагать надо, не тонки —
Всё пушнина, эх, всё пушнина..

* * *

Думно ли было Семену Семенову, что его жена дотянет до ста лет без одного года. В старости стопталась, усохла, но крепкая жила да кость не давали увянуть, да и в памяти крепкой была старуха и в железном здоровье. До смерти не знала врачей. Далеко за восемьдесят было, а парилась, как ядреный мужик, к ней в бане на полок никто из баб не соседился, сразу на пол сдувало жаром. Выводили старуху обычно под руки, до того допарится, сердешная.

Впрочем, однажды фельдшер понадобился. Было Евдокии уже девяносто. Пошла за водою на колодец, зима, тропа колобом намята, и у колодца наледь. Бадейка наборная из клепок, кована обручами, емкостью в два ведра. Доставала бабка воду, колесо из рук вырвалось, ударило рукоятью по лбу, сорвало напрочь бровь и задрало вверх. Кровища хлынула, все у колодца окрасило. После внучка ходила с пешнею, скалывала красный лед.

Евдокия, однако, воду достала, домой принесла ведра, села перед зеркалом и давай заляпывать рану газетой да бумагами. А кровь хлещет. Пошла старуха к соседке, де, не можешь ли кровь заговорить. Та отказалась, и вернулась Евдокия ни с чем. Внучка, шестиклассница, сбегала за фельдшерицей. Та явилась, велела лежать, но рану зашивать не стала. Сказала девочке, что Евдокия вот-вот помрет, и пошла на почту телеграммы отбивать родственникам. Внучка возле бабушки сидит, страдает, что помочь не в силах, ей все кажется при каждом шевелении старухи, ее жалобном стоне, что та помирает. И так жалко бабушку, но и так страшно, что вдруг помрет. И вот едут родственники бабушку хоронить. А Евдокия, увидев в окне, что родственники в дом, тут же с дивана соскочила и давай самовар наставлять...

После-то и зажило, но осталась на лбу шишка. С этим желваком жила старая Евдокия еще девять лет.

Евдокия все наговаривала дочери Марии, чтоб в Белощелье, на родине помереть. Да куда в этакую даль переться? Дочь сама без мужика, куда ей экая обуза. Устыдилась старая своей мечты, отступилась. А потом уж и в Сояне была рада повалиться, только бы не в Долгощелье, больно кладбище ей там не нравилось. Свозили ее зимой на санках на погост, Евдокия себе место облюбовала. А как умерла, волосы в один миг сбелели.

Схоронили Евдокию в красном платье со цветами. А она так не любила этого платья. Дочь Мария, уже сама в далеких годах, очень переживала, что и по смерти пообидели мать. Думала, вот теперь заснится мать неотступно, такая маета настанет. Но вот не приснилась мати: значит, платье со цветами Евдокии по душе пришлось.

Но внучке Дусе часто снится бабушка. Наверное, к перемене погоды. Баба Евдокия мух бьет. Оттягивает лучину, прицеливается, яростно шлепает по стене и приговаривает, когда удачно расправится с гнусом: "Получай, ядрена барыня!"

3

"Уж как чужа-то дальняя сторона, Она горем да огорожена, Тоскою да изнасеяна, Печалью да изнасажена, Слезами да исполивана..."

Тускловатое лицо той плачеи, случайно найденной нами в Поморье, скоро померкло, да и имя забылось, но воп ее, протяжный причет постоянно живет во мне: и порою безо всякой на то причины он вдруг всплывает в памяти, и тогда сладкой грустью саднит грудь... Помнится, песенница долго не поддавалась на уговоры и заплачку повела неожиданно, на усталом полувыходе, стертым невыразительным голосом, но тут же, будто укрепившись в желании и ладом настроив душу, вдруг подняла плач на невообразимую высоту, хлестко ударяя ладонями по колену. Бывало, прежде чем

за гостевой стол сесть, невеста неделю плачет, колено исхлещет до багровой подушки, вся слезами уревется, и подле лавки ручьи слез протекут, только успевай вехтем подтирать.

А как своя-то да ближняя сторона,
Она радостью да огорожена,
Весельем да изнасеяна,
Она медом да исполивана,
Сахаром да изнасыпана...

Как же скоро настроилась плачея, какую верную струну тронула, так что потекла наша душа. Гляжу, бабы-товарки занюнились, не скрывая слез, да и мы все легко так и желанно заплакали. А вопленница вдруг оборвала песнь: "Ой, не могу больше. Сердце лопнет". И все разом зашевелились, заоправлялись, виновато и смущенно улыбаясь. "Такая наша песня, она из любого сердце вынет". И что поразило после: сколько бы раз ни затеивала плачея воп, и хотя мы знали верно, что это игра лишь и причуда, но сразу же все, кто был в комнате, непременно плакали, будто бы невидимо и готовно отворялась душа. Так какое же это чистое и высокое мгновенье, если оно неугасимо в памяти.

Я после долго размышлял наедине, разбирая причеты: они удивляли, поражали духовной чистотой и воображением, и тогда добрая зависть рождалась. Но душа-то моя в эти минуты не горевала, не тосковала, не текла, не просила освобожденья. Значит, таким неисповедимым образом должны соединиться верное Слово и искренний Голос, чтобы наше зачерствевшее сердце готовно отозвалось.

И вдруг наше духовное наследие я представил гигантским весенним костром, вокруг которого скопились все суетные и тихие, одаренные и скудные мыслью, суровые и жалостные, калики перехожие и оседлый люд, а тепло от весеннего кострища не только бодрит кровь, но и доброй грустью и многотерпением наливает душу. И стоит лишь отодвинуться от пламени в чернильную жижу ночи, когда костер будет не более огненно пляшущей бабочки, и такое тебя охватит одиночество, такая тоска полонит, что впору тебе кричать и звать бесконечно, пока не споткнется сердце. А если еще далее отодвинуться, то останется лишь золотая искра, а после и она затмится: насколько же далеко можно уходить от духовного пламени, чтобы не полонила народ остуда, чтобы не заклинило душу?

Чтобы огонь жил, надо не только тешиться им, но и поддерживать его, иначе из живого пламени может родиться холодная звезда. Возможно ли, чтобы родная культура откатилась во вселенную, как чужая апельсиновая

звезда, кою разглядывают издали в лупастые трубы и гадают о ней. И возникла тревожная мысль: если долго не слышать народную песнь, если вообще и никогда уже не расслышать ее высокий печальный строй, а читать лишь иногда мушиные холодные буквицы, то не оскудеет ли песнь тем особым чувством, от которого и замирает в восторге душа. Вернее, целый мир уйдет от нас и закроется на нерастворимые засовы. Это как бы разглядывая богато расписанные пошевни, случайно найденные в подворье забытой избы, представлять давно усопшего хозяина, повадки его и вид. Так сколько же может шаять искра, пушистый уголек, чтобы не замерло родовое национальное огнище? Во многих нескончаемых веках копилось оно и жило, одаривая теплом, и сам народ каким-то неисповедимым образом выбирал из себя костровщика, чтобы тот поддерживал ровный неугасимый пламень. Теперь лишь предположить можно, что в каждом российском захолустном углу по особой судьбе рядом с юродивым рождался и будущий служка, сиротея, сохранитель поэтического очага, и меж ними протянулась во времени и пространстве незримая духовная связь, которую ежели пресечь, то и потускнеет костер.

Собирательница фольклора Ольга Озаровская обращалась к Марьюшке Кривополеновой: "Да здравствуют скоморохи! Не забыть мне твоей, Марья Дмитриевна, скоморошей погудки. Помнишь, и Козьма с Демьяном ходили по Руси радостными скоморохами, разделяя встречных на добрых и злых. Кто полюбил скоморохов, тот полюбил святых". Кажется нынче странным, но свеча поморской поэзии помещалась обычно в слабые и одинокие руки. Кривополенова, Крюкова, Шергин, Чапыгин, Клюев, Рубцов, Писахов... На их судьбах запечатлелся отсвет схимы, святого служения душе. Жизнь их обычно тягостная и неприметная, протекшая мимо чужого догляда, и мало что осталось об этих людях в человеческой памяти: такое чувство, словно рождались поэты испить чужую чашу. Это не те баюнки, коими славна молва, крепкие речистые мужики, особо желанные на промысле, обладавшие не только верной рукой, но и крепкой памятью: но это иноки, чаще всего даже внешне отмеченные особой печатью.

Марья Дмитриевна Кривополенова — "жемчужина редкой красоты", со смертью которой случился закат русской былины. С малых лет сиротея, побиралась Христовым именем. Крохотного росточка, за что и прозвали Махонькой, Марьюшка каталась по пинежским дорогам, скорая на ногу и ласковая на язык, и собирала в зобеньку, берестяный кузовок, куски хлеба на прокорм единой дочки, а после и внучат. Где оприютят в дороге, там и былину пропоет с печи, отогревая худобу. В мае девятьсот пятнадцатого разыскала ее случайно фольклористка Озаровская и, изумившись редкому дару памяти и богатому голосу, повезла в Москву, и оттуда пошла по-

здняя слава Кривополеновой. Марья Дмитриевна держала себя в столицах гордо, поклоны ее были истовые, улыбка обаятельная, смех заразительный. Маленькая старушка, похожая на лесовуху, с пестрыми рукавичками в руках сидит посреди сцены на стуле. Вдруг вскакивает, приплясывает и поет необычно густым высоким голосом: "А из пустыни было Ефимьевы, из монастыря Боголюбова, начинали калики нарежатися..." После пенья ей почтительно руки целовали, так долго протягивавшиеся за подаянием, певцы следили за ее дыханием, восторженно восклицали: "Какой голос, какая дикция, какое дыхание. Итальянская школа".

Из Архангельска на Пинегу в новое небытие в кошеве везли, завернув в медвежью полость. Вернулась Кривополенова в отчие края и снова пропала среди народа, растворилась в нем, пошла с корзиной за милостыней, пока-то не умерла "всемирая бабушка" в чужой избе с песней на устах.

...Поэта Николая Клюева подымала мать, олонецкая крестьянка, плачея и песельница Прасковья Дмитриевна, верная заветам Выговского общежития и его основателя Андрея Денисова.

Меж городом и деревней промаялся Клюев в одиночестве, так и не снимая любовного взгляда со стороны Выгореции, канувшей в далекую старину. "Певец темный с пронзительной силой цвета",— назвала Клюева Ольга Форш. Но разве икона бывает темной, икона старого письма, которую хватило время? Такой же свет, таинственный и неповторимый, исходит от Клюева: душа поэта раздвоилась меж небом и землею и никуда не смогла пристать. Дух и плоть матери-земли искушали сердце и лишали того покоя, который позволяет разглядеть небо и погрузиться в него. Мне так мыслится, что душа человека — дитя неба и солнца, и более всего она стережется темени. Только небо проредилось, глянуло голубичной поляной, и березы светло вспыхнули, как душу необъяснимо потянуло в этот густой синий проран, где вольно и хмельно обрадованному сердцу. Так случайна ли эта тяга в горние вышины, откуда и притекает в нас любовь ко всему сущему? Не из выскорей, не из выскетей буреломной чащобины навещает покой и душевное веселье — оттуда, из постоянных сутемок, приступает страх, но из этой небесной проруби приходит к нам желание жить. Видно, леса олонецкие так плотно обступили Клюева, что тоска, притекающая из них, борола веселье неба. Ему, наверное, хотелось быть верным учеником Андрея Денисова, но не хватало смирения и кротости, поэта обуревала гордыня: Клюев был певцом всеобщей стихии, и все краски мира, которые хотелось испить, утопляли в себе.

У Ольги Форш в воспоминаниях о Клюеве больше всего ее личностных состояний, согласных именно ее душе: "...нагнулся Клюев, чтобы достать что-то из-за голенища. Лоб сверкнул таким белым простором, что

подумалось: ой, достанет он сейчас из-за голенища не иначе как толстенький маленький томик Иммануила Канта". Эта картина нарисована воображением одаренного человека, но коему далек дух олонецкого крестьянина. Клюев если бы что и мог достать из-за голенища, то "Поморские ответы" Андрея Денисова, но их-то никогда бы не выудил, ибо кощунственно носить духовную книгу за голенищем, как разбойничий, ждущий крови нож.

Идею мужицкого неискоренимого кроткого братства Клюев почерпнул не только из духа народа, но и из мыслей выгорецкого наставника: "...о, коликих трудов и подвигов строительства сего общежительства востребовало телесное житие составити и душевное спасение устроити, в нелюдных местах прокормление промыслити и душевную трапезу всегда уготовити, нивы леторослые с трудами распахивати, да и терновидные нравы со многими поты истерзати, одеждами в нищих местах одеяти и общежительными обычаи не навыкших людей украсити, чары своевольные поравняти, чащи миролюбивых обычаев искоренити, сено с огнем разделити, воды страстные застановити, возгорения похотные угасити".

Клюеву хотелось так себя исцелить, чтобы походить на выгорецкого избранника. Но слишком чувствительной и художнической была раздвоенная душа поэта, постоянно пугающаяся мрака. "Мертвый дух несносен, маета и чад. Помелища сосен в небеса стучат". Но сил не хватило побороть смятенье, усмирить честолюбивое непокорливое сердце, да и не было в нем, наверное, того благодушия, с каким поморская братия принимала тягости.

"...И начаша солому ржаную сещи, толочь на муку и хлеба соломенные ясти, точию раствор ржаной, а замес весь из соломенной муки: хлебы в кучи не держались, помелом из печи пахали".

Эта же туманная Выгореция с малиновым колокольным звоном, доносящаяся из-за недоступных чарусов — обманных болотин, эта белая часовенка постоянно чудилась и Алексею Чапыгину, что явился на свет с другого боку Каргопольщины, в деревне Закумихинской. Нынче в деревне несколько запустелых домов, и уже давно нет той просторной мызы у черного живого зяблого ручья, что поставил Чапыгин, через двадцать лет скитаний вернувшись на родину. По смерти писателя купил ее кто-то заезжий, разобрал да и увез в иной хутор, как бы торопливо стер память о Чапыгине с отчей земли.

Чувство особицы, видно, возникло у Чапыгина с малых лет, и зоркий народ скоро приметил эту особицу в мальчишке. "Жидкий, как барчонок! К деревенской работе несвычен". Чапыгин, не столько плотью (был он крепок и скор на ногу), сколько духом, как-то рано и исподволь отлучился

от родного крестьянского мира; он воспринял свою родину без избяной клюевской любви и душевного участия, которое и позволяет разглядеть и глубоко проникнуться тихим, неугасимым светом народной поэзии. Хотя они родились в темени каргопольских суземий и обласканы одним ветром с недальнего озера Лаче, но в Клюеве постоянно жило осиянное высокое морское пространство, полное незаходящих зорь, где посреди колыбающейся воды на каменном островке жили соловецкие старцы. Для Клюева Онега сливалась с Белым морем и утекала как бы в небо, во Вселенную, Чапыгин же был лишен такого слияния. Как от старинного избяного бревна, коего не коснулся печной дым, исходит медовый свет, такой же свет течет из глубин клюевского слова. Клюев шел вразрез времени, а Чапыгин был дитя общественного настроения. Клюев — это Нестеров в художестве, чего не достиг Чапыгин, хотя обладал той же редкостной словесной памятью, но она была как бы подернута синеватым гибельным туманцем неверия. Яд неверия и растерянности исподволь подтачивал Чапыгина, и совсем не случайно он почти за полгода до смерти, совсем здоровый, энергичный, неизменно веселый, вдруг затосковал и пожаловался своему деревенскому воспитаннику Андрею Ошомкову: "Да, Ондрейко. Что-то скучно мне и вдаль ничего не видно".

Как случилось, что Чапыгин позволил своему сердцу ожесточиться, и потому душа его, смятенная и взвихренная, улавливала лишь тягостные картины северной деревни, вернее, она стремилась всюду отыскать тягость и дикость, ибо была как бы усыплена и настроена особым образом на особый лад? Чапыгину всюду виделись лишь дикие вакханалии беспутных, заросших, пьяных мужиков, потерявших всякое кровное родство с матерью-природой. Он так полагал, что душа народа облеплена нескончаемым грехом и скитается человек во тьме, вовсе не боясь ответа перед Господом. Огляделся Чапыгин вкруг себя и растерялся, и взгляд его уперся в далекую белую часовню, подымающуюся над гибельным болотным маревом. Часовня как призрак: а может, там кроется человечье спасение, может, там и хоронится то вещее заговорное слово, что спасет истерзанный народ? За очищением отсылает туда Чапыгин своего странника Афоньку Креня, но и тут русскому мужику нет спасенья: не принимает его вера, и лишь тонкий малиновый звон несется неведомо откуда над раздувшейся от болотины Афонькиной головой. Грех убил Афоньку Креня, несмываемая кровь утопила мужика в чреве земли.

Откуда в Чапыгине такая глубокая, непростимая обида к своему печищанину, однодеревенцу, от коего завязался и его жизненный корешок? У всякого детства бывали обиды, кои казались непростимыми; но проходят годы, и от далеко отступившего детства лишь счастливый розовый свет при-

ступает к нам и радостью напитывает сердце. Так неужели сиротское детство изъязвило душу и зажгло в ней пламень постоянного незатухающего немирия? "...Я обошел полями к гумнам, залез в ближнем гумне в закоренок-яму, стал ждать ночи. Я озяб, ныли больные ноги, опаренные в болоте так, что меж пальцев слезала кожа, было сплошное кровавое мясо. Я склонился к бревнам и горько-горько заплакал. Мне было невыразимо жаль себя".

Неужели это чувство собственной жалости так глубоко отстоялось в душе, назначенной жалеть кровного меньшего брата, что оно все будущие картины осветило отражением собственного страдания и горя? Русского писателя постоянно занимала душа как некая животворная пашня, кою можно не только засеять пышным цветом, но и оскудить, заболотить, покрыть чарусами, где исчезнет все светлое, чем славен добрый человек. Мать-земля приоткрыла через человека свой разум, вернее толику разума, и он оказался вдруг пугающе велик и неуправляем. Природа попробовала понять себя через человека, но попытка оказалась рискованной и не совсем удачной. Нам трудно представить, раскаивается ли мать-земля в том, что от неумолимого желания приоткрыть себя однажды выпустила из своего чрева человека.

В эти же годы, как морошина, каталась по поморской земле Марья Кривополенова. Забравшись на чужую печь и отогревая закоченевшие мосолики, подтыкая костяным гребнем седые волосенки, она напевала крестьянской семье при свете лучины:

"Поезжай-ка ты в раздольице чисто поле, езди ты по матушке по святой Руси, тогда, добрый молодец, прославишься и будешь сильный богатырь святорусский..." Теперь скажите мне, откуда притекает мощь духа, кто строит его, если болезная, крохотная, всеми кинутая старушонка хранила в себе не только кладезь русской былины и сказки, но и душу вселенскую. Ей ли бы, казалось, заботиться о чужой душе и веселить в самые тяжкие разорные годины, тут впору о самой озаботиться и саму себя сохранить. А она вот, Марья Кривополенова, наше красно солнышко, поскобливши милостыньку беззубым ртом, начинала веселить печищан, прибавлять в них дух.

Любопытно, но дерево может совмещать в себе все, от младенчества до глубокой старости: если приглядеться к сосне, все в ней есть — от трещиноватого комля, побитого лишаями, почти черного от прожитых лет, до светлой розовой вершинки, безмятежно плывущей в поднебесье. Но и в человеке, значит, что-то тоже должно сохраняться от детства, должны же быть те неуничтожимые приметы, кои и составляют в человеке всю целостную жизнь. Не душа ли и хранит все от младенчества до последнего порога, и, чем ближе край, тем светлее розовый свет детства. И наверное, даже самого-то распоследнего подорожного татя, что много православных

душ сгубил, и того мучил после вот этот неистребимый отблеск прежней младенческой поры: до того катал-закатывал, иссушал сердце, что после завязывал душегуб с разбоем и уходил в монастырь. Этими случаями полнится русское живое преданье. Но вот Чапыгин даже Афоньке Креню отказал в исцелении ("Белый скит"). Неужели мать-земля не простила бы его в последний раз и не допустила бы до скита, где обелилась бы душа его? Это не вина Чапыгина, что он видел мир в опустошительном самоядении, но долгая, сокрущающая беда и мука, коли не маячило впереди ни просвета, ни макового зернышка путеводной звезды. Не только Афоня Крень иль Разин Степан тщетно попадали к своему белому скиту, но это и сам писатель мучительно отыскивал пропавшую тропу к святым старцам, кои знают истинное вещее Слово.

Знать, все мы вышли из одного храма, потоптались в растерянности, оглянулись не раз с тоскою, идучи до опушки леса, а после окунулись под темные таежные покровы и тихо, незаметно разбрелись: кто-то шумнет, спохватившись, окликнет, испугавшись, и едва долетит до стороннего слуха тот зов. Но и его хватает иногда, чтобы встрепенуться, опомниться и кинуться на спасение ближнего. Но все реже и слабее зов, и все меньше желания откликаться. Как бы там ни говорили, но есть для нас одна общая вера, вера в народ. Всяк он, наш народ, в нем, как в море, все есть, но лишь он хранит ту спасительную духовную энергию, и в соединении с матерью-землею составляет одно целое.

У собирателя былин Рыбникова есть насчет народа точное замечание: "Если крестьянин дошел сам собою до убеждения, что какая-нибудь неправда истинно неправда, а глупость в самом деле глупость и помеха, так уж ничем не заставишь его идти по старым следам, по нелюбой торной дороге. Конечно, у него есть выход свой из старого, но зато какой решительный и безвозвратный. Если он ненавидит недруга, он изведет его; если полюбил, а родные стали поперек счастья или любимая девушка не отвечает на его любовь,— так он идет в монастырь; если усомнился в истине предания и значения обрядности, создает свою религиозную и философскую систему, распространяет ее между братьями и стоит за нее, не боясь тюрьмы и ссылки... Да, мы образованные люди, не умеем уже так освобождаться от своих кумиров и пугал".

Какая точная характеристика, исполненная действительной веры в народ, то, чего так не хватало Чапыгину в его исканиях. Чахоточный сатана ("Белый скит") с мутными глазами постоянно преследует писателя. Умирающий дьявол ищет боевую жилу народа, постоянно нащупывает на сильной руке мужика, беззастенчиво шарится по телу, чтобы точно знать, куда надо ударить в нужный момент, и разом умертвить неподвластного буйно-

го богатыря. С одной стороны, Афонька Крень — кающийся и тут же грешащий смертным грехом; с другой стороны — сатана в образе чахоточного интеллигента, создающего особый яд, чтобы под корень извести всю Русь. Все, круг замкнулся, осталась лишь мать-природа, в коей бы можно найти спасение, но и она вся в гибельных корчах. Падет последнее дерево — и кончится языческий бог, и канет в пучину человек. Мать-природа — божество Афоньки Креня и Алексея Чапыгина.

...В эти же дни метался от мучительного беспокойства и другой олонецкий сын — Клюев.

"...Мое бегство от повсюду проникающего света "новой звезды на востоке" есть бегство вымирающих пород животных в пущи, в пустыни и пещеры гор — все дальше, все вперед, но бежать некуда. В пуще пыхтит лесопилка, в ущельях поет телеграфная проволока и лупит зеленый глаз семафора".

Вот и Клюева преследовал "антихрист", даже в таинственной Выгореции уже не виделось отдохновения. Чапыгин и Клюев вышли из одного храма, а куда как далеко разбрелись они...

А немногими годами ранее под Тверью, в срединной Руси, жил маленький тщедушный мужичок, белобрысый, остроносый, с мочальной рыжей бороденкой и с редкими волосами прилипшими ко лбу, с печальной горестной улыбкой на тонких губах. Ходил он в затрапезном тесном кафтанишке и больших, не по росту, сапожищах. То был Василий Кириллов Сютаев. Я нарисовал его портрет, а перед очию встала наша северная былинница Марья Кривополенова и многие "духовные очаги" по всей России. Несмотря на все гонения и нужды, они неутомимо рождались, чтобы нести одну лишь заповедь сердца: возлюби! Сютаев создал свое евангелие, в основе которого было: возлюби. "Сказано, Бог — любовь,— проповедовал он.— Стало быть, где любовь, там и Бог, а где любви нет, там и Бога нет. Много разных вер на земле... Говорят, семьдесят семь вер. Собрать бы всех вместе от разных вер и сказать: "покажьте всяк свою веру", штобы столковаться всем, штобы не было раздору из-за веры... Вот, говорят, в Москве о верах спорят. По-моему, это пустяковое дело! Вера одна — любовь. Больше всего почитайте всех людей за братьев и сестер".

Духовностью своей и высокой кротостью близок к тверскому мужицкому философу выходец с Поморья Борис Викторович Шергин. Каждая строка его писаний наполнена призывом: возлюби. "У человека должно быть сокровище внутри себя, должна быть внутренняя сила, собственное богатство. Человек должен светить из себя".

"Меняющийся лик небес имеет для меня силу великую и притягательную. Однолично с небом (и даже больше!) поразил меня взгляд младен-

ца... Я опустился на колени, шепча нежные слова, дивясь чудной сосредоточенности милого личика. Он стал глядеть на меня, как бы вопрошая о чем-то. Чувство какого-то смятения, но и восторга поднималось в моей душе. Мы глядели друг другу в глаза. Он, только что "пришедший в мир", еще весь чистота и непорочность. И я, уже собравший на себя всю грязь и весь тлен земли. Он лежал маленький, спеленатый, но важность гостя из таинственной страны почивала на нем... Только глядя в звездное небо, давно когда-то ощутил я подобное чувство..." (из дневников).

Уже шаткою рукою, вразброс, как бы в своей памяти более, исповедовался Шергин, прощально доверяя бумаге. На всяком клочке оберточном, на каждом случайном обрывке, что попадал под руку. Мысли доверялись тленному, будто бы и невзрачному общежитию слов, и все эти бумаги, как рухлядь некая, складывались в сундук и замирали в глубине, дожидаясь своего часа. Часть записей, связанных шпагатом, пылилась в пачках на грубо струганных полках, и многие еще не пришли к нам, не вернулись, но явятся когда-нибудь, светясь, и тогда мы еще не раз обрадуемся светлости души человечьей и воспрянем.

Сколько уж лет минуло, как почил Борис Шергин, но весь он в моей памяти как бы окутанный сиянием. Только слов нет, не хватает самых верных и точных, чтобы вызволить портрет из воображения и одухотворить его. Как бессильно порою бывает слово... В убогой каморе, невдали от окна, завешанного солдатским одеялом, на узкой железной койке сидит старец: у него громадный, изжелта-бледный лоб, коего уже редко касается дневной свет, тонкий благородный нос и поясная серебряная борода, как бы всколыхнутая тем восторгом, что исходит от немощного человека. У Шергина согбенная высохшая фигурка, окутанная длинной рубахой, но от широко распахнувшихся, слегка подголубленных слепых глаз, коих глубину не покидает живая мысль, от всего одухотворенного лица исходит та постоянная радость, которая мгновенно усмиряет вас и укрепляет, и ваше посещение, ваш приход уже не тягостен ни вам, ни хозяину. От природы Шергин был не шибко красовит, но та долгая духовная работа, коей без остатка отдался писатель, то совершенствование, порой изнурительное, похожее на лютейшую немилость и каторгу, именно та бесконечная духовная и мыслительная работа наложили на облик писателя свой отпечаток, по-иному вылепили его. Он облагородился и освятился, печать иночества сотворила иное лицо. Оно стало прекрасно.

В юности отрезало трамваем ногу; потом любимая девушка покинула, и Шергин дал обет иночества; потом пятнадцать лет слепоты и пожизненное одиночество. Поэзия выбирает себе верных духовных певцов. Сладко ли было такую жизнь перейти и не ошибиться, не споткнуться, не зажало-

биться? Казалось бы, выгореть должна душа, испепелиться, покрыться мраком, излиться желчью, все вытравляя на своем пути, на доверчивых сердцах выжигая язвы. А тут выработал человек свой нравственный урок и упорно следовал ему до края: "Лукавый ведь может подсунуть в сознание тебе: "Вот-де мне что приходится выносить! Вот-де что я терплю! Вот эта собственная бешенина и застит нам глаза, не дает понять, что не мы терпим, не я терплю, а от меня и только от меня терпят".

Осиянный человек слепыми глазами всматривался в огромную обитель души, и свет, истекая, невольно заражал радостью и меня. Я, молодой свежий человек, вдруг нашел укрепу у немощного слепого старца.

Над солдатской кроватью фотография, где Шергин с Марьей Кривополеновой. Марьюшка за два года до смерти: словно бы мать с запоздалым сыном-заскребышем. Да так оно и случилось. Оказался Шергин последним в цепи русских сказителей, кто еще мог донести старину из давнего предания. Вот проговариваются: дескать, в темени лютой пропадал народишко, в пьянстве и самоедстве. Но ведь духовно несчастному народу какая была бы нужда хранить свои преданья и продлять на миру череду певцов: тут дай бог как бы озаботиться о своей утробушке. Да нет, вот в самом-то краю России, в Поморье, в ее засторонке, ровным светом горела свеча тысячелетней поэзии, эта неугасимая лампада, куда не забывали подливать масла. И в семьдесят третьем году скончался последний певец, и долгий род сказителей кончился, наверное, навсегда. И разом отодвинулась долгая наша история и заглянцевела.

Редкий был человек Борис Викторович Шергин.

Ни Клюеву, ни Чапыгину не удалось понять мать-землю так верно и кровно, как Шергину. Он вернулся к природе, как младший растерянный сын, случайно отлучившийся, попросил себе прощения и уже не удалялся от нее в самые тяжкие минуты, не требуя за верность награды. Груз бытия, который почти отряхнул с плеч писатель, уже не пригнетал его, и Шергин мог наблюдать за землею почти с горних вышин. Пятнадцать лет слепоты не замкнули певца во мраке.

"Лик природы — красота и богатство беспредельное, безграничное, радость и богатство всем дарованное и одному тебе принадлежащее. Венчаться, венчаться надобно человеку с временем года и жить вкупе и влюбе".

У Клюева и Чапыгина, казалось, был какой-то необъяснимый счет к матери-природе, что вот она стала такой доступной и податливой, допустила над собой измывание. Они отъединяли человека от природы, наделив его особой варварской неколебимой силой, а значит, и отказывались от него вовсе, не веря в исцеление.

Шергин же понимал природу неуничтожимой и неуничижимой, на-

полненной живородящим духом. Ему хватало одной черной ветви на перламутровом фоне неба, чтобы бесконечно наблюдать за нею, как за живым искренним существом, и наполняться любовью ко всему сущему. Лишь воспитай душу, изгони из нее лукавство и гордыню, наполни сердце любовию к каждой малой твари вокруг себя, и тогда природа откроется тебе, как волшебная книга. Только надобно всей сутью проникнуться, что "природа — радость и богатство, всем дарованное и одному тебе принадлежащее". Восприми душою характер земного единства, уверься, что спасение природы и живота твоего в твоих же руках, смири гордыню царствователя, покорно поклонись матери-земле, как заблудший сын, по-сыновьи озаботься о ней.

Шергин помнил памятью любви: это редкостный дар. Он воздвиг Белый скит в сердце своем, но не замолкнул в одиночестве, не затворился в гордыне от горюющего и ликующего люда, но с помощью ясного, доверчивого слова как бы всех позвал в свою обитель. Другое дело, что не все туда поспешили, и многие с неспокойным сердцем прошли мимо, не замедлив.

Когда вовсе ослеп Шергин, то всегда у левого локтя лежала, дожидаючись, стопка бумаги, и старец с поразительной стойкостью и смирением разговаривал со своей душой. Дневники, оставшиеся от писателя, во множестве,— это удивительная искренняя исповедь и самоочищение. Такая искренность перед белым листом, судьба которого и движение во времени непредсказуемы, принадлежит лишь людям высокого полета, отмеченным особой тропою. Слова наискось, спешат прочь с листа, в них трепет неверной заблудившейся руки, но ясный путь духа. "Есть, есть красота!.. До чего мне на тебя, Господи, обидно: у людей — руки, у меня — рачьи клешни; у художника — "вещие зеницы", у меня — пуговицы портошные. Умел бы я художество живописное, не стал бы я слов плодить, взял бы кисть и карандаш, показал бы разум, существо и мысль того, что видит око, да слов не имеет. Видимо изобразил бы невидимое, но присутствующее. Что такое красота? Необъятно понимание ее".

Творения писателя зависят не только от пространства вне его, но от пространства внутри его. Одно дело, если душа — белая горница, торжественно-тихая, застланная солнечными половиками: другое дело — если похожа на каменный замок со множеством переходов, темниц, сырых высоких комнат и стрельчатых окон, похожих на бойницы, откуда свет полуденный не проникает в дальние углы, завешанные вечным сумраком. Иль опять иное: если душа — ломбард, заваленый ненужными вещами, вернее, лавка старьевщика; или похилившаяся избенка с помойным застоялым запахом, более похожая на трухлявую баньку. Душа, знать,— это тот неприступный дом, та священная обитель, где жить и странствовать писа-

телю до смерти. Как писатель обустроит свое пространство, как заселится в нем, то и выльется из-под пера его. Может быть, пространство вне нас помогает нам ловчее обжиться в самих себе, отыскать тот угол и то окно, из которого все куда как далеко видно? Кто знает, кто знает...

Нелюдимость, замкнутость — лишь форма проживания, бытования. Иной человек вроде бы толчется средь людей, оставаясь незрячим и одиноким, другой же обитает в своей каморе, завешанной грубым солдатским одеялом, но, тяготясь ею, не делает, однако, никаких усилий к освобождению, ибо обладает особым даром воображения, вызволяет из памяти когда-то прошедших мимо людей, которые милы его сердцу, и заселяет ими свои страницы. Живет в сиротстве, а сам вроде бы постоянно средь людей.

"Человек-художник с юных лет прилепляется душой к чему-нибудь "своему". Все шире и шире открываются душевные его очи, и он ищет, находит и видит желанное там, где нехудожник ничего не усматривает. Мое упование в красоте Руси, и, живя в этих бедных селеньях посреди этой "скудной природы", я сердечными очами вижу и знаю заветную мою красоту".

Шергин не просто вспоминал долгими одинокими вечерами, но он явственно видел жизнь минувшую с такою силой, будто она и не кончалась. И тогда сердце наполнялось неизбывной радостью.

Но бывали же и нередкие минуты тоски, свинцовой горести, когда и дышать уж тяжело. Понять ли нам, как строил свою душу Шергин, как и непонятны нам слова "об иге, которое надо взять на себя для того, чтобы обрести покой душе".

Сказитель поморский, певец,— обычно немощный человек, неспособный к долгим переходам, и потому он странствователь, калика перехожий в памяти своей. Но память у него вселенская и жалость таковая же: он как бы имеет те невидимые крыла, которые высоко вздымают певца, и он далеко обозревает землю, скрытую за толщей времени. Марфа Крюкова в тридцать восьмом году впервые отправилась по России. Подъезжая к морю Каспийскому и не зная его, она вдруг заволновалась и все расспрашивала попутчиков и проводников вагона: "Скажите мне, где здесь город Концырь, в котором не царь царил, не король королил, не князь княжил, а управляла во всех делах Маринка, дочь Кондалова? Она хошь и славилась вроде королевной, но была хитрая ведьма, Илью Муромца даже завлекла. Бессовестная была — так и называл ее Глеб-князь, сын Володьевич".

А спутники на Марфу поглядывают, ужимаются, не зная, что живет она в далеко утекшем времени, в нескончаемой живой истории, уже окаменевшей для всех прочих: странна им старушка и чудна, а эти странные

люди непонятны в свой черед Марфе, и она дивуется, как это Концырь не знать. "Я хорошо помню,— убеждала она,— что Концырь где-то в этой местности. Может быть, он немного подальше, в странах арапских?"

Тропы же Марьи Кривополеновой будто бы замкнулись вокруг деревеньки Пиренемь на двадцати верстах: кружила сказительница с зобенькой для дареных "кусоцьков", для милостыньки, и пела старины, кому радостны они. Но перед последним путешествием в Москву на конгресс III Интернационала, вновь ненадолго вызволенная Луначарским из небытия, Марья Дмитриевна, уже преклонных лет старуха, проплыла на лодке по реке Пинеге от деревни к деревне, перед каждым селением сходила на берег, истово кланялась и радостно восклицала: "Прощайте, люди добрые. Знать, земля огромна, людей много, совладать с ними трудно, так вот, собирают нас, старых, порядки обсуждать". Где только не побывала Марьюшка, лежа на каленой печи, обошла она в памяти всю Россию былинными тропами, со всеми русскими богатырями мед пила, всех ворогов в трепет привела, всем немощным и сиротам укрепу дала. Трудно без нее, без Марьюшки, на Руси, безвыходно, вот и спохватились. А она что ж, она с добрым усердием поможет.

Так какое же тут сердце, душу неизъяснимую надобно иметь, чтобы всех сразу полюбить безо всякого умыслу и обо всех позаботиться. Не рассуждениями веры жила песенница, но самой любовью к людям.

И Николай Клюев был странник по духу, но уже с умыслом, иной задачей и целью.

"По монастырям мы ходим потому, что это самые удобные места: народ со многих губерний живет праздно несколько дней, времени довольно, чтобы прочитать, к примеру, "Слово Божие к народу" и еще кой-что нужное. Вот я и хожу, и желающим не отказываю, и ходить стоит, потому удобно, и сильно, и свято неотразимо. Я не считаю себя православным, да и никем не считаю, ненавижу казенного бога, пещь Ваалову — церковь, идолопоклонство, слепых, людоедство верующих" (в письме к Блоку).

Болячка мучила Клюева, язва неискренности, затаенной постоянной боли. А к народу надобно идти со здоровой душой. Это не Марьюшкина душа, не исцеляющая. Верил Клюев неизменно в Выгорецию, в "Поморскую Белую Индию", в языческий дух природы, но тут же словесно и изменял им. А блуд словесный не пропадает втуне, он как соль на рану. Здоровье душевное рушилось даже в певцах, в скоморохах, и уже нет прежней радости и любви в голосе при виде своего народа.

Поэзия освящается землею, в которой зародилась, потому Шергин не мог бы родиться среди теснин Алтая и кержацких распадков Сибири, где взгляд упирается в ближайший камень, наглухо заметанный лесами;

он не мог бы появиться и на Урале, где люди слишком смело врубились в гору и больше смотрели в глубины, в пещерные тайны, чем в небо. И там возник Бажов. Не только житье лепит певца, но и рождение: родина входит в твою кровь неслышно от предков твоих. Все не пропадает зря, все копится в нашей долгой памяти, и порою достаточно лишь ее одной, чтобы понять отчие пределы. Много ли Шергин пробыл в родном Поморье, но зато до смерти странствовал по своей памяти: это был, наверное, самый неустанный ходок, но каждый раз он неизменно возвращался в отчие края, как сын. Шергин был хранителем народной памяти и жил лишь ею.

Странником же на земле был Николай Рубцов, пожалуй, наиболее близкий к Шергину по какой-то пронзительной светлости и грусти: он был подобен когда-то согрешившему, а после вечно кающемуся человеку. Рубцов родился под Архангельском, в Емецке и жил там до сиротства своего, и после не раз возвращался сюда, но внешне вроде бы как гость, сторонний человек со знаком паломника. Однако стих его наполнен воздухом родины, он светел, как полуночное летнее небо, он несколько холоден порою и отстранен, но и просторен, как полуденное распростертое море, над которым зыбко и грустно зависла одинокая звезда, обещающая спокой и надежду.

Рубцов рано осиротел, и сиротство наложило на него свою неизгладимую печать: он и обличьем выглядел, как сиротея, щуплый, плешеватый, слегка присогнутый и жалостный, вечно виноватый будто, с маленькими жгучими глазами, в которых тлела печаль. Это был ходок без родного угла и верного пристанища, он являлся неожиданно и так же внезапно исчезал, пугаясь своим тягостным присутствием утяжелить чью-то жизнь. Это семя подорожника, носимое гулевым ветром, коему не нашлось затулья, схорона и щепоти земли, чтобы пустить корни. Да и полноте, нужна ли ходоку, страннику кочевому, калике перехожему, паломнику с торбой чужого горя какая-то обитель, где бы возможно затаиться, замкнуться и тихо расплескивать себя. Вернее, спасет ли такой схорон, укрепит ли человека? Рубцов, пожалуй, последний из неудавшихся скоморохов, который позабыл все пляски и погудки, но сам, полный музыки, озирая сумеречные углы России, пытался припомнить их. Рубцов совершал свой крестный ход от самого рожденья, и не было ему спокоя.

Поморье — его родина, но, не отметив ее в стихе, однако в пространстве стиха он вместил ее спокойный неколебимый дух. "Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны, неведомый сын удивительных вольных племен".

Был у Рубцова детдом, но сиротский приют — не родина, не пупови-

на: к нему может быть уважение как к сохранителю жизни, но не будет любви, ибо любовь к отчему краю приходит вместе с вольным детством, которым поэт был обделен. У Рубцова не было чувства малой родины, но сознание ее жило в самых сутемках души, никогда не затухая. Так родилась звезда печали, которая и руководила поэтом в недолгой жизни. Может, потому что не было у поэта малой родины, он скиталец, он странник, его гнетет пространство в себе, не заполненное прошлой жизнью. Рубцов стремится выглядеть себе гнездовье, но везде он кукушонок, семя не прорастимое и нелюбимое. Это нынче что-то припишут в пылу запоздалых восторгов, прежде выгадывая себе и выделяя себя.

Неуступчивый, взвихренный человечек, намертво перепоясанный вервью скитальца, Рубцов избрал для себя всю Родину одним большим гнездовьем: он хотел согреть его сиротской душою и обогреться в нем, но поэту неуютно в этой шири, в этом кочевье холмов и лесов, где редкий огонек разредит темь. Рубцов, чтобы видеть спасительный огонь, высоко вознес себя, а приспускаясь к земле, он боялся тяжкого гнета земли, ее остуды, и оттого взгляд его часто уходил в горние вышины, где живет лишенный суеты дух. Оттого слово Рубцова близко к тютчевскому и шергинскому: оно напоено духом, как бы ни темно оно было порою.

Человек живет средь людей, и чаще его гнетут не вселенские заботы, а обыкновенные, житейские, когда надо о ком-то печься, ухаживать и вываживать, спасать кого-то. Рубцов жалел и любил всех сразу, всю Русь, но ему некого было любить посреди земли, и потому ответное тепло, ответная забота не помогали поэту. Он сирота, а сирота может обогреться лишь у сироты. Но не было у нас тогда такого же поэта, чтобы судьбы их скрестились и высеклась искра общего участья; не нашлось такой человечьей души, которая настолько бы глубоко поняла поэта, что излечила бы его. Но возможно ли это? Возможно ли излечиться от сиротства?

Обычно Рубцов был тих, поднятый воротник пальто, бледный лик, негромкий голос — полная погруженность в себя и сама кротость. Но душа, знать, жила в нем, как шаровая молния, до поры подавленная тягучим сизым облаком. И когда прорывалась она на вселенские просторы, то искры летели. Рубцов порою бражничал долго и безутешно, и веселился со странной глубокой тоской в глазах. Горящая душа слепила человека и оглушала его, но, как бы изошедши, излившись буйством, Рубцов опомнивался и снова затихал, надвинув беретик на легкие перья волос и подняв воротник пальто, как бы запахнув усталую грудь и усмирив ее.

Таким вот и запомнился поэт. И лишь стих его был всегда пространствен, грусть его широка и радостно-сдержанна, он плавает в печали, как ночная луна в серебристом облаке. Ни один, пожалуй, из нынешних рус-

ских поэтов не достигал таких космических глубин, не залетал так высоко и с такой любовью и душевным напряжением не смотрел на родимую землю. "...Вернулся я — былое не вернется! Ну что же? Пусть хоть это остается. Продлится пусть хотя бы этот миг. Когда души не трогает печаль, И так спокойно двигаются тени, И тихо так, как будто никогда Уже не будет в жизни потрясений".

Рубцов не расплескивал огня своего в красноречии и словесных забавах, он словно бы боялся, что ему не хватит его, но этого пламени оказалось так много, скорбь была так неугасима, что поэт сгорел в ней. Поэт сгорел на пламени собственной души.

Рубцов, пожалуй, и замкнул тот поморский поэтический род, в котором он состоял по избранию народному и по духу. Небо было ему часто ближе и роднее земли. Одну огромную мировую душу, равномерно распределенную во всей Вселенной, видел Рубцов. И вот подхватила поэта грохочущая железная машина, которая когда-то, надвигаясь, лишь озирала зелеными глазами Николая Клюева, и унесла в себе, не давая спокоя и мирного полустанка.

Не, зря ли мы зачастую виним других в усекновении жизни? Человек живет, пока крепит душа. Осмысливая ушедшего поэта, мы, оставшиеся на миру, всегда полнимся жалостью: жалость отымает наше верное зрение и обманывает нас, она накладывает свои розовые пелена, наша жалость ищет отмщенья за любимого, и тогда многое в судьбе поэта видится в искаженном неверном свете. Загадочность судьбы, загадочность характера нередко кроются в загадочности и стремительности исхода: это тот самый побег, не угадываемый нами, который готовится загодя, коему подчинены многие годы. Блок в тридцать шесть лет чувствовал себя дряхлым стариком, едва подымался по лестнице, хотя даже тень кончины еще не пала на его чело. Тень самоубийства и призрак самоубийцы постоянно возле Блока и живут в нем, он с каким-то непонятным волнением и пристрастием вслушивается в слухи о кончивших с собою и рассуждает о добровольном уходе.

"Люба говорила сегодня, что думала в Пскове о коллективном самоубийстве. "Слишком трудно, все равно не распутаемся". Однако подождем еще,— думает и она" (3 августа 1917 года).

Блок ушел не столько от голода, сколько от усталости души.

Есть портрет Пушкина в музее на Мойке, где поэту можно дать за шестьдесят иль за сто. Тусклый обреченный взгляд, землистое лысеющее лицо, горестно опущенные губы, коих уже не посетит улыбка. Такое впечатление, что, написав "Памятник", Пушкин оставил по себе завещание и подготовил свой уход.

Так же и у Блока, Есенина, у Рубцова не было той энергической емкости, из которой можно было черпать силу. Жизнь была торопливая, взапал, когда даже неделя уединения казалась каторгой, и духовная крепость незаметно иссякла.

Это бабушка Кривополенова жила до восьмидесяти, ибо до последней минуты пеклась о внуках своих, до конца не пролив зря ни капли из духовного сосуда. Когда умирала в чужом доме, при свете лучины, с корзинкой дареных кусков в изголовье, то думала не о кончине своей, а что вот не донесла "кусоцьки" до милых детушек своих. А после приподнялась на локте, озаренная необычным нездешним светом, и запела былину. И со сказанием на устах отправилась долгою тропой.

И еще об одной поморской женке, Марфе Крюковой. Померла она уже после войны в Зимней Золотице: ушла великая сказительница, которая помнила наизусть восемьдесят тысяч стихов, от нее записали четыре тысячи страниц былинного текста. Полная высокая бобылка, век прожившая в девушках, проведшая до шестидесяти лет в старом родовом запущенном доме. Зачем-то возникла она на миру, вроде бы вовсе ненужная своим печищанам и получившая прозвище Марфа-вралья. В тридцать восьмом году случайно разыскали ее фольклористы, раскопали самородок, прикоснулись к нему, вгляделись в глубины и покорились неиссякаемой глубине. А для печищан — всего лишь Марфа-вралья, которая ничего не делает, только с колотушкой ходит по деревне да старины пропевает. Как повезли впервые в Архангельск на шестидесятом году жизни, тут весь народ и подивился, кому одноглазая старуха запонадобилась в большом городе. "Нашей-то Марье да такие почести?" Сам председатель сельсовета вдруг проникся почтением и валенки ей починил.

Если бы старуха была домовитая, баба работящая да родящая, тогда иное дело. А Марфа вот впитала в себя песенное богатство народа, от мамушки восприняла, от деда Гани Крюкова, от соседа Феди Почешкина и других безымянных уж ныне поморян, и вроде бы никому не нужная сирота-бобылка донесла жемчужный ларец до нашей памяти, не сронивши ни капли. Великая сказительница редкого дарования и величественного духа словно ведала, что настанет день и час, и придут к ней послы народные, поклонятся и повезут по России-матушке. Марфе ли не горевать, ей ли не печалиться, когда в долгой жизни ни утехи, ни радости, одно лишь прозябанье-гореванье, в угрюмом одряхлевшем доме, полном нежити, а она в нем, как старая побелевшая сова.

И вот отыскали Марфу, повезли, возвеличили и много чествовали. Думали, что вызволили из прошлой жизни и обрадовали. А надолго ли та радость? Вдруг спохватывается человек, очнется его душа от суеты сует, и

начинает жалеть минувшее, и тогда страстно хочется соединиться с тем, что утекло, от чего оторвали; но уже все, нельзя, несрастимо. И спохватилась однажды Марфа Крюкова, запечалилась: "И зачем мне широта открылась? Не видала бы ничего — прожила бы в своей деревеньке, так и померла бы в спокое. О чем не знаешь, о том не скучаешь".

Что же такое народная память? Немного лет прошло со смерти Марфы Крюковой, как явился я в те места, чтобы послушать о сказительнице, но уже мало кто мог сказать о ней откровенно и открыто. Была, как все, ушла и унесла с собою целый мир. Куда девается народная память? Сливается ли она воедино многими родниками в одну огромную невидимую реку, не имеющую ни начала, ни конца, иль каждая память сама по себе живет, идет по векам своей родовой дорогой, отыскивая паломника, верного ей человека. Наверное, и так и эдак.

Ведь каждый писатель, насколько бы он ни был велик иль скромен, выпадает из народного знания. И не странно ли: родившись из одного лона и пугливо потоптавшись на росстани, вдруг пойдет куда-то все прочь и прочь, пока не перехватит его материнская рука национального сознания. И если спохватится поэт, поборов гордыню, оглянется назад и обоймет взглядом всю Россию, тут и вырастает вдруг душа, обретает крылья. Но не странно ли?.. Даже в таком будто бы близком духовном родстве пути Клюева, Чапыгина и Рубцова, но и те куда-то отшатнулись прочь от тропы Кривополеновой, Крюковой, Шергина. Отвернули они от росстани, вильнули с народного поэтического пути, но не скрылись в суземьях, а потянулись невдали, все рядом, рядом, но неслиянно.

Но как бы высоко ни взлетал поэт, тяга и сила к его крылам притекает именно оттуда, с истоков. Не миновать нам их, не миновать.

Глава, выпавшая из "Горя-злосчастия"

Что делать мне, если неотступно, гвоздем сидит в груди ли, в голове ли эта разбойная, ножевая припевка: "Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем. Мировой пожар в крови, Господи, благослови". Но простите, лесовые тати и подорожные шиши, за хулу мою и поклеп: даже такая великанья разбойная душа Емельки не помышляла о мировом пепелище, но чаяла лишь вступить через кровь в престольную матушку и заняться государевым радетельным делом. И что за затея такая — мировой пожар, кому будут нужны самые красивые, самые затейливые и самые правые и неправые идеи на мертвой земле, когда не вскрикнет даже глас вопиющего в пустыне, который бы запечатлелся, как вселенский зов о помощи во всех мирах. Ведь это и не война даже будет, ибо во

всяком побоище есть вина и есть правда, есть победители и есть отомщенные, есть падшие во гноище, но есть и высоко взлетевшие духом из личного страдания. Здесь же, после ядерного апокалипсиса, коего даже не представлял Достоевский с его пророческим даром, останутся лишь создатели бункерных цивилизаций с темной пещерою в груди, где обычно помещается душа, и эти стозевные чудища на мировом пепелище глубоко под головнями будут рождать себе подобных, с пещерицами вместо души, где ядовитым клубком совьются неумирающие змеи зависти, стяжательства и порока.

* * *

Однажды зимою раздался телефонный звонок, и мне с веселостью в голосе сообщили: "Здравствуй, погорелец". В груди сразу все оборвалось, но теша себя надеждою, что страшная весть лишь шутка, я ответил в том же тоне: "Ну и шуточки у вас..."

Но это были не шуточки. Вскоре пришло из деревни письмо, где сосед сообщал, что я родился в счастливой сорочке, что он, Сережок, стоял грудью и готов был пасть смертью храбрых, что избу отстояли. Жернов с меня свалился при этой вести: и благодарением овеяло мою душу. Что говорить: огонь, по народному представлению рождает все живое, это некое чистилище, в коем вызревает всякая живая душа, и на исходе земного бываньи именно в этом нескудеющем природном пламени со всяким из нас случится новое, неведомое нам превращение, мы как бы заново вылепимся в огненной купели, называемой смертью. Но не земного исхода так пугались наш предки, полагая это за неотвратимость, как пожара, который багровым лисьим хвостом в мгновение ока подметает весь нажиток, сочиняемый за долгую упорную жизнь. Всякий пожар сводит труд и счастливые затеи к бессмыслице, в нем, его кипящей утробе, таится что-то особенно зловещее, сатанинское, когда с безжалостной суровостью пламень творит свой приговор. Притом пожар приступает всегда исподтишка, он норовит уловить особенно счастливую и полновесную минуту в человеческой судьбе, чтобы опрокинуть ее, лишить разума, поставить на колени. Разбой творится в считанные часы, и с кисло дымящего праха, что когда-то назывался домом, наш погорелец со своими чадами идет с доброхотной кружкой по русским весям, собирая подаяние на будущий двор. Пожар не только съедает труд насельщика, но он вылизывает с земли все приметы, коими жил человек, красоты и особенности бытования, услады и тайны, которыми отмечено всякое имение, изгоняет из памяти все вещественное от родового древа, за что особенно упорно цепляется всякий жилец, чтобы закре-

пить свое существование в последующем поколении. Так это один лишь пожар, ведь и не вселенский даже, но какое тяжелое несчастье человеку: и встанет пускай он, и выпрямится, и укоренится, но потухнет в сердце что-то такое, чему нет названия, когда жизнь теряет необходимость и интерес. А если "всё из своих ногтей", когда каждое бревно обласкано твоими руками, когда каждая скромная вещица твоего зажитка, появившаяся в комнатах, была рождена твоим старанием, твоим душевным стремлением... Скольких моих знакомых уже навещал хищный рыжий зверь, скольких подмел, согнал с удела; я лишь мысленно представил, что это могло случиться и с моею усадьбой, и сердце мое перехватило.

Вы желаете увидеть глубинку? Не надо, дорогие, пехаться на край земли, попадать на перекладных: она возле, под боком, стоит отъехать на Валдай, в Псковщину, на древнюю Тверь и Рязанские равнины. Запустением, немотою и каким-то безысходным отчаянием веет от забытых Богом русских земель, словно бы она, коренная Русь, не может распрямиться, набрать силы и зажитку от похода Батыева, вот и тлеет едва, живет не живет и умирать не умирает.

А ведь и войны не хватили многие эти поля, но весь народишко подобрала Москва, долго не отдавая ничего взамен, и с последними стариками, лет через десять, окончательно осиротеет древняя отчина. Вот и в мою-то деревеньку Часлово едва попадаешь лишь в погожие дни, и вся-то она остарела, пошла на поклон земле. Покосившиеся столбы, которые чудом пока держатся на вервях и проводах, убогий магазинишко в соседней деревне, куда хлеб завозят раз в десять дней, хлеб, по вкусу более похожий на блокадный, который через день, покрытый рвами и сквозными трещинами, надо рубить топором; ни позвонить в район, ни дать вести о себе, ни связаться с Москвою. Да полноте, Русь ли это? И лишь машины с украинскими номерами с торопливой жадностью увозят лес из последних сосновых боров да громовые раскаты от пролетающих невидимых самолетов сотрясают осевшие домишки, выбивая из них едва тлеющую жизнь. А если заболел ты, сердешный, то тащись сам, коли сподобит, за пятнадцать верст в участковую заштатную больничку, где станут изгонять твою хворь манной кашею, сваренной на воде, которую "хоть ешь, хоть на стенки размазывай". Сосед мой недавно вернулся с этого леченья и, еще грустный от больничной кровати, рассказывал: "Ой, Вовка, хорошо отдохнул. В палате нас восемь человек, весело, до двух ночи карты, а то и телевизор. Чего хошь, так весело. На стенке шабалы свои, хочешь — иди в магазин, там сухарей да консервы наберешь рыбной, у каждого своя тумбочка — и как хорошо". — "А чего ж ты не лежал дольше?" — "А ну ее к лешему, больницу, Вовка. Еще помрешь там. А так все хорошо, все лабуда".

Но что же я-то расплакался, а? Разве стонет, канючит и чего-то выпрашивает местный насельщик? Поговори с ним, и он ответит тебе с ровностью в голосе; де, все это лабуда, все хорошо, и эдак хорошо еще не живали. Пораженный, воистину воскликнешь: долготерпелив русский человек и незыблем в своей кротости. И самой-то малости надо ему, той самой крохи от громадного государственного каравая, который он с таким усердием выпекал всю долгую жизнь, но ее-то, этой крохи, мы все еще жалеем, скупимся отщипнуть. Слов нет, когда-то выправится и воспрянет коренная Русь, но не странно ли, что сердце ее мы лечим в последнюю очередь, когда национальные токи, исходившие отсюда тыщу лет, почти замерли, иссякли и полностью исчерпан, сведен на нет весь пласт родящего земляного таланта. И плач-то мой не от того лишь, что скорбен вид российской умирающей деревни, что дети учатся в бывшей кладбищенской церкви, свезенные в интернат со всей округи, что на шесть деревень один вросший в землю магазинишко времен царя Гороха, но от того, с какой немотою и безразличием смотрим на коченеющий труп, не признавая уже в нем своего родителя.

...Сосновыми борами я прошел к своей избе и с облегчением скинул с замлевших плеч рюкзак. Земля маревела и глубоко дышала в предвкушении весенних родин, светел был и нескудеющ тихий российский воздух, и только кисловатым угаром доносило с недавнего истерзанного пепелища. Но не чудо ли, дом-то мой стоял: он выпростался из зимних снегов и ждал меня, только на боковой тесовой стене, как слезы, вытекла из суков смолка, коричневая от жара. По одному подходили местные, те, кто коротает остатки жизни на земле, все больше старенькие вдовицы да бобылки, все больше согбенные. Торопились поведать о пожаре, который, вот, не обернулся всеобщим несчастьем.

Да и как не плакаться-то им, ведь многие помнят тот пожар сорок первого, то огневое чудище, что кинулось на Часлово двадцать первого июня сорок первого года, когда за два часа слизнуло более ста дворов, и остался в целости лишь западный окраек деревни в семь изб. Пламя летело птицами, поднялся откуда-то ветер, и красные ласточки, вцепившись в звонкую от жара дранку, яростно рвали ее и сухим черным чадом вздымали в занебесье. Уж что тут спасать-то? Лишь бы самим остаться вживе, бежать куда подалее, выхватив из полымени малое чадо. Вечером на постой в родимые хлевы вернулась с поскотины животинка, коровы плакали, как люди, разбредшись по деревне, не находя своей избы, и этот плач для всякой хозяйки лишь усиливал горе. Кое-как перемоглись ночь, утром стали рыться на пепелище, откапывая остатки шабалов, кой-какой скарбишко, что чудом уцелел в подполье, а в достатке

жила прежде деревня, и такою, какою была, украшенной резьбою, с обширными подворьями, полною мужиков и детишек, она уже никогда не станет. Из прежнего родового пня выметнулся росток хилый. Да и откуда было взять силы, чтобы огоревать новое житье? Ведь следующим днем началась война, мужиков подмели на фронт, и долгие годы наши бабицы и вдовицы ютились, как могли, на выселках, на чужом постое в переселенцах, в баньках и сараюшках, сбитых женской рукою из досок. Война для Часлова началась днем раньше, и словно бы те зловещие птицы, что примутся вскоре реять над русскими землями, испробовали свой клюв на глухой рязанской деревеньке, что встала вдали от всяких трактов, густо окруженная лесами.

Тогда-то повыгарывала и моя соседка тетя Лина. С пожарища она осталась с тремя детьми, муж вскоре погиб, и вдова принялась пестовать семя свое, не имея времени вытереть пот с лица. С четырех утра и до вечерних сумерек колотилась она на колхозной десятине и на своем картофельнике до самых преклонных лет. Вот, говорят-де: русский человек отучился работать, оброс кожурою лени, де, отказала ему натура, и укатился он в беспробудную дармоедную лень. Да коли оглядеть трезвым взглядом российские просторы, то сколько таких тетей Лин, сколько Сережков сыщется, что находят усладу в работе и не знают никакой иной затеи, скрашивающей жизнь. Соседка моя отстроилась наконец, подняла детей, выучила, хорошо поженила, дождалась внуков, и не ей ли бы доживать останние деньки в кротком размышлении о короткости и бренности мира. Так она и на восьмом десятке не знает спокою, ее неистовости в работе, ее огороду, выпестованному любовно до крохи, когда выщипана всякая дурная травка с межи и борозд, позавидовал бы, наверное, любой расхваленный кореец. И в каждой русской деревне, поди, сыщется такой отчаянный, "зараженный" на работу поселыцик, а еще многие примкнут к нему, если почуют радостную свободу и значительность жизни на земле.

Все, все досмотрела, все любовно устроила соседка моя; довольная, славила Бога, и слышно было тихими вечерами, как самозабвенно, истово молилась она в своей поварне, наконец-то дождавшись полного довольства. Да и чего еще может желать человек на земле, если к старости устроилось все, о чем только мог мечтать он, коротая такие долгие вдовьи ночи. Даже внешне осветилась старуха, во всех повадках ее и стати, которую не теряла она в сухом теле до этих преклонных лет, чуялось мне то довольство, которое безмерно скрашивает жизнь. Она и к наряду своему не потеряла вкуса, когда, досыта наработавшись, вечером, чисто одетая, выходила к завалинке, часто вставляя в досужий бабий разговор веское, заслу-

женное всею жизнью слово. И с иконою на престольные она шла впереди и, обходя, благословляя, остерегая деревню от пожара, пела громче всех, выше всех вздымала голос: "Христос вос-кре-се..." Так почему же ее, так благословлявшую Господа, ее, усердную, неискоренимую труженицу, вдруг наново настигла беда и подкосила? Какою такою печатью отмечена судьба моей соседки, если Всевышний вновь ниспосылает кару, словно бы испытывает ее терпение? Но за коим это безжалостное испытание? Ведь жизнь бренная так коротка...

Огонь, как и смерть, подкрадывается исподтишка, когда, казалось бы, счастье окончательно устроено и не о чем маленькому человеку больше мечтать: исполнилось все, о чем лишь угадывалось в коротких снах, о чем брезжило в мыслях и устраивалось не спеша, подолгу. Будучи в отъезде, соседка моя поручила свояку протопить избу к ее приезду. В общем, приехала старуха следующим днем к головешкам. Я не буду рассказывать, как случился пожар, как его тушили, это осо́бая история, каких предовольно случается на Руси, когда в грозную минуту вдруг оказывается, что все жили на авось, и когда беда уже на пороге, то и воды-то нет, и пожарная кишка дырявая, и машина в починке столь давно, что там свили гнездо воробьи.

Дом занялся под вечер, но что мог сделать с огнем редкий, преклонный возрастом народ: встали в жидкую живую цепочку, черпали ведрами из обледенелого колодезя, плескали не столько в жар, сколько на соседние избы; кто-то рыл лопатами снег, кто-то пытался спасти горящее подворье, орудуя топором и пикою, иные поливали крыши и стены. Соседка моя Зина обошла с иконою усадьбу, проваливаясь по пояс в глубокие снега и теряя в забоях валенки, а где и ползла, сердешная, на животе (такой завальный был нынче снег), с непреклонною верою на сердце, что Бог пособит, пошлет подмоги.

Моя изба крайняя в порядке, далее большой прогал, оставшийся еще с того достопамятного пожара пустырь, и с моей стороны напасть не угрожала верхнему околотку. Но бился народ и за мой дом, и большое спасибо часловцам, что отстояли, не дали рухнуть двору, не пустили его на дым, в разор, с искренним участием отнеслись к внезапной досадной заботе. Я представляю, каково досталось мужикам, если от полыхавшего дровяника до моего амбара полтора метра, когда в воздухе звон стоял от огня, смола кипела на стенах, и надо было рыть и рыть лопатами снег, не отступаясь, не слабея духом. А займись амбар, дом бы уже не спасти. Потом и с центральной усадьбы подскочил народ и вступился за бедную деревеньку. Говорят-де, ветер слегка потягивал к югу, вот и не загорелось подворье, и что снегу было на крышах вдосталь. Все так, все так... Но вы же знаете, что при пожаре создаются огневые смерчи, не зависи-

мые от природного хода ветра, они создают свои воздушные токи и вихри, совершенно противные ветру, и пылающая ласточка могла залететь куда как далеко. Но как бы мы ни пытались ныне объяснить исключительный случай, в этом происшествии мне видится доля какого-то чуда, необъяснимого логикой...

Приехала погорелыцица, как-то сразу постаревшая, с опухшим, не просыхающим от слез лицом. Я почувствовал стыд, что вот мне повезло, весь мой нажиток со мною, словно бы от меня что-то зависело в несчастьях, словно бы я принял тайное участие в этой беде и порухе. Тетя Лина рылась на пожарище, стаскивала в одну кучу все то, что когда-то означало вещи, обиход, уютное жилище, достаток. Перепачканная сажей, она порою застыло смотрела вдаль мимо моей усадьбы, в то пространство, где ей, наверное, виделась счастливо устроенная жизнь. Тут ее схватывали рыданья, и она обращалась с безответным вопросом в никуда: "Ой, и за что же меня так, за какие грехи..." Постепенно она вошла в прежнюю колею. Неустанная работа по расчистке пожарища, хлопоты по новой усадьбе, которую она приобрела в соседней деревне, снова выпрямили старуху, согнали опухлость и неживую потерянную бледность лица. Теперь при моих участливых горестных словах она уже не плакала, но с твердостью в голосе объясняла: "На все воля Господня, значит — судьба моя. От судьбы не деться". Но в голосе-то ее при этих вроде бы обреченных словах я не слышал слабости, вялости и тусклости желаний, когда хоть ложись и помирай: женщина снова жила, снова чего-то рядила, промысливала, устраивала. Оказывается, душевная крепость работного человека даже и в преклонных годах не имеет предела. Иначе как бы мы оперились и опушились после столь затяжной и огнепальной войны...

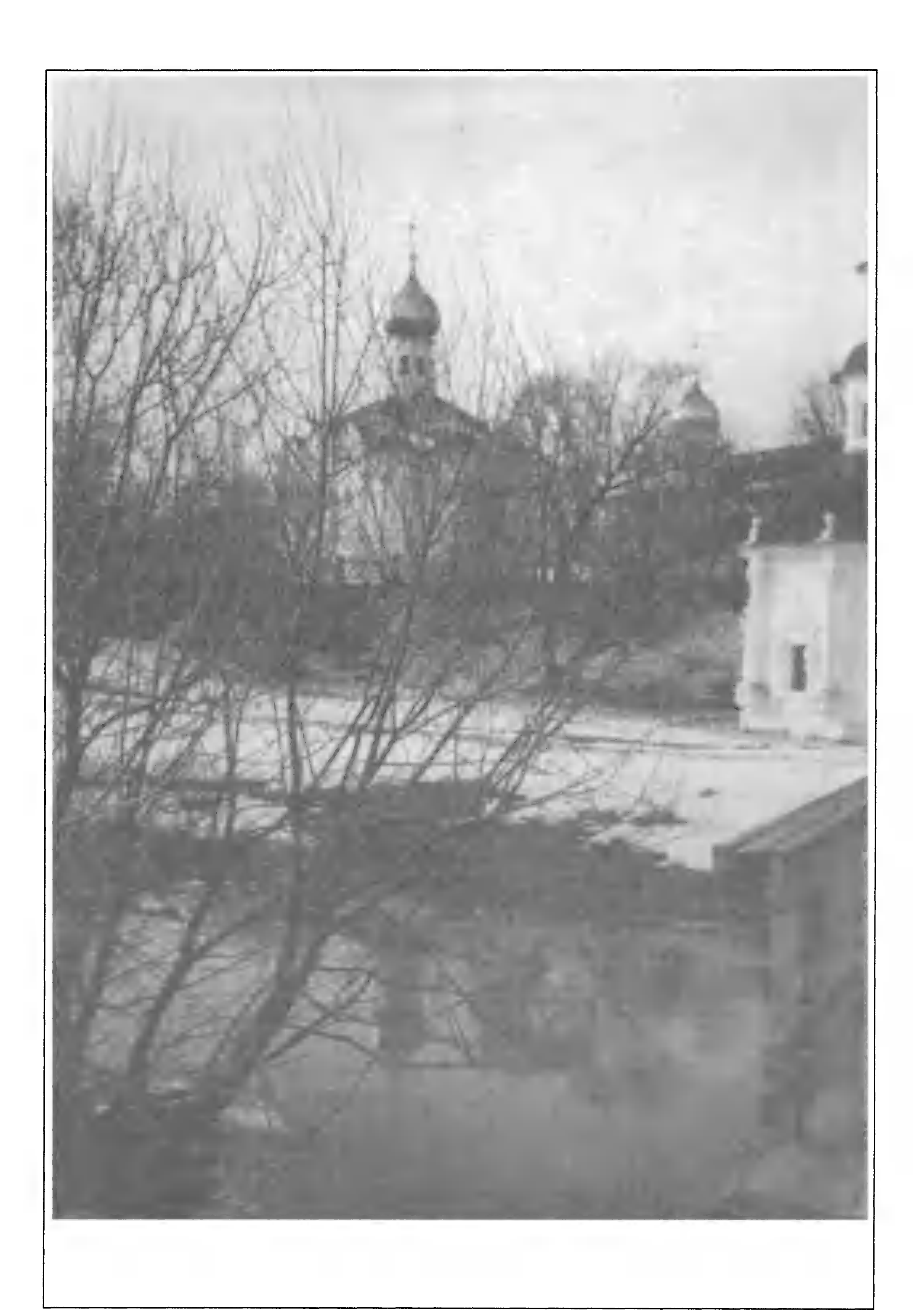
И вот снова весна, далеко разносится всякий живой звук, густо обрастая эхом и долго не замирая в чистых переодевшихся березняках. Проклюнулась по сугорам первая травка, широкую улицу опрыскало едва ощутимой зеленью, черные шрамы на усадьбе залило прозрачной снежницей. Как празднично, как радостно сидеть в эти предзакатные часы в избе, когда сиреневый густеющий воздух уже занавешивает северные окна, а с запада в боковое стекло ударяет последний багряный трепещущий луч, и стены избы тогда наливаются глубоким охряным светом. Какие-то сизые тени вдруг вползают в комнаты и напоминают о себе внезапным шорохом, скрипом, бряком. И тут меня до озноба обжигает внезапная мысль: я же мог потерять свой приют, пристанище, родившее те благие чувства, которые хоть и прожиты, но постоянно во мне...

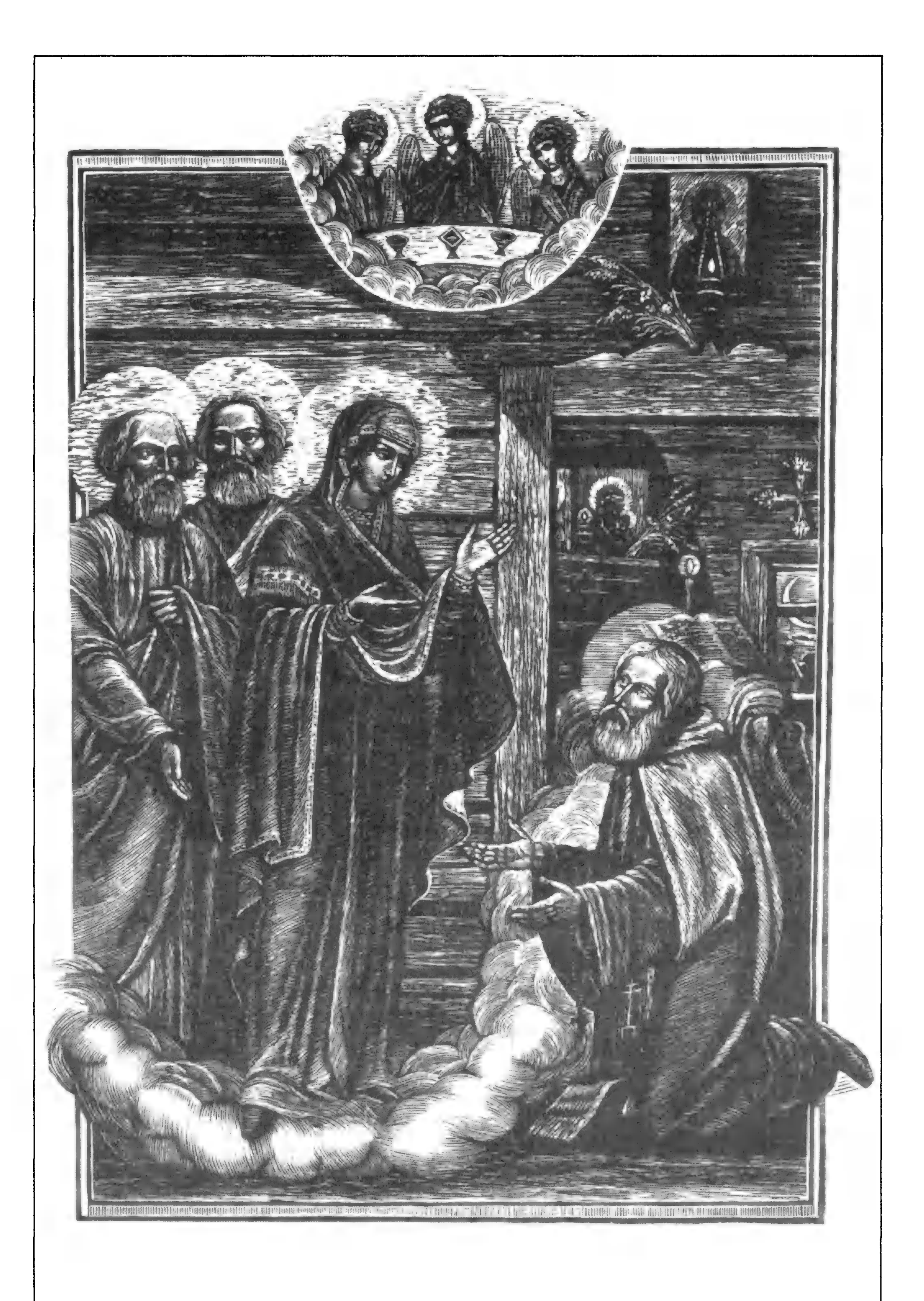
Страшнее пожара лишь смерть самого близкого человека.

* * *

Поначалу с какой-то самонадеянностью я пытался проникнуть в душу русского народа, еще не сознавая всей сумеречной бездонности и непостижности ее. И лишь после обнаружилось, что работа эта требует долгого труда, ведь кроме горестных мгновений, требующих нашего участия, в душе народа живет еще и огромный праздничный мир, и он, видимо, куда весомее, куда самороднее, если держит в сохранности и скопе Русь, не дает ей рассыпаться. Многое потускнело в ней, надолго уснуло, попритухло иль ждет в оцепенении своего часа, и нужны не только благословление и знания, и старания, но и верное духовное, сердечное зрение, чтобы не заплутать в манящей мгле национального характера.

СНЫ БЕССЛОВЕСНЫХ





Думала, никогда больше не полететь. И так вдруг высоко полетела и в небо, как в потолок, уперлась спиною. А внизу озера, дома, все цветное. А я лечу-у! Как в кино сон. И ходить не надо. Легла спать, вот и кино. Но так хорошо, Господи, так весело".

1

Почему я неотступно, с таким тщанием и усердием любопытствую о русском народе? Ибо я — это волоть из его толщи, едва видимая глазу волокнистая нить из его древесной болони, и потому, размышляя о матери сырой земле, я стараюсь тем самым понять и себя.

Не сыщется во всем мире народа совершенно благолепного, источающего миро и елей, одетого в сияющие ризы чистоты; Боже, какие адовы теснины распахиваются в нем при случае, но и какие златоблещущие вершины покоряет он, совершая подвиг во имя Отечества. Всмотритесь пристальнее в эти толщи бессловесных, вслушайтесь в это кажущееся безмолвие, и какие тут вихри бесконечных страстей обоймут вас. Даже святые подвижники и апостолы веры, страстотерпцы и древлие монахи, подвизавшиеся с младых ногтей в служении Господу, сколько раз оступались и упадали во грех, предавая идеал, но поняв всю глубину сокрушения и низости своей, они бесстрашно, с новым прилежанием неустанно соскребали с души прах суеты и пену тщеславия. И Спаситель всякий раз прощал их... Так что же сказать о всем русском народе, который бредет к Свету наощупку тернистым путем от вешки к вешке, порою забывая нажитые уроки, а спохватившись, в слезах вновь возвращается к Богу, поверяя долгую призрачную дорогу

самоустроения молитвами и заветами отичей и дедичей. Но и эти лодейные фонари порою теряются в потемках.

Боже милостивый, а моя-то тропа разве наособицу, и бреду я сам себе хозяин и водитель? Нет, путь мой лежит по тем же развилкам и росстаням, и так же плутаю я вместе со своим народом по самой-то серой затрапезной обыденке жизни, но не жирую по дворцовым гостиным, где зачастую все исполнено презрения к России; и напитался-то я от той же ржаной горбухи, что и весь народ, и плоти я той же, и крови, и норову, и что мне судить-рядить, величать иль убыточить, и честить кормильца-поильца, ибо тем самым я себя лишь унижу без нужды. И если есть во мне что достойного, хоть самая малость, так только благодаря великому Отечеству, созданному великим народом. А срамить родову и родное гнездовье может лишь больной душою человек, завистливый и злой, исполненный мести и славословия, мелкий человеченко, так себе, лоскут портняжный, возомнивший себя бархатным портищем, обыкновенный пим дырявый, из кого незаметно все теплое повысыпалось трухою...

Народ с нетерпением ждет весны и небесного Оклика: встрепенись-де, христовенький, подыми потускневший взгляд в небесное осиянное водополье и там найдешь внимательный и любовный Сыновий Образ. Народ с нетерпением ждет Великого Семика, жизнь его протекает от Пасхи до Пасхи, от Воскресения до Воскресения в туманных мечтаниях вернуться к себе прежнему, полузабытому и почти утраченному.

И пропевши многократно всеблагую стихиру у лесной часовенки, у святого ручья или у кладбища на горке "Христос воскресе, смертию смерть поправ", зачерпнет православный кружку воды из студенца иль замшелого колодезя (вот тебе и кровь Христова), отломит от булки (вот тебе и тело Христово) и с блаженной улыбкой, закусивши хлебцем, скоро отойдет чувствами от молитвы, опамятуется и, протяжно вздохнув, вернется сердцем к земным заботам. И вдохнув хмельного пасхального воздуха, будто разбавленного благовониями, вдруг молвит проникновенно: "Слава Богу, мураш ожил, теперь и нам оживать придется". Причастившись в полуночь, крестьянин как бы отрезает прожитое, как долгую обжорную зиму, все печальные мысли складывает в дальний уголок сердца, как надоевшее теплое платье, уносит в чуланы и с охотою приступает к новой жизни. В ночи меж могил долго блуждают фонари, доносятся приглушенные вскрики, прерывистый шепот и плач, будто покойники в Пасху встали из могил для встречи с родичами; темный кладбищенский лес смыкается над головами плотным куполом, звезды трепещут на небесных пеленах, готовые сорваться к земле. Таинственно и несколько жутко присутствовать на этой тайной вечере. Жиденький

ручеек спускается с Красной горки, вздымая в занебесье раскатистый глас: "И сущим во гробех живот даровав!" Ах, как хочется, чтобы Спаситель услышал. Нет, это уже не служба, что была на горке над Гавринским озером, но уже священный бодрый клич, лишенный слезливости. Христос на земле, он поспешает к деревенским избам на разговление; вон впереди его неясная легкая фигурка... Люська Дамочка вздымает над головою керосиновый фонарь, по новому кругу с визгливым протягом затягивает псалом и, оглядываясь, проверяет старух и женоченок, с прилежанием ли поют, не волынят ли? Нет своей начетчицы в деревне, и вздорная крикливая Дамочка, присадистая, как кадушка, с тугими зоревыми щеками, видными со спины, выучив псалом, однажды прикинула роль уставницы-верховодки, и вся деревня готовно подклонилась ей.

Вдруг в ночи послышались выстрелы, багрово вспорола темь сигнальная ракета. Это единственный в деревне бобыль встречал на околице Христа. "Ах, синепупый, нажорался до потери памяти. Ну что мне с ним делать, с околетым?" — горько посетовала, оправдываясь, мать. "Жоревы, управы на них нету. Им лишь бы кишки нажгать. Каждый день пить, дак надо денег мешок. Напьются, черти, да выс.., а мы плачь, — всполошились бабы. — Наделает Ванек пожару. Далеко ли до беды? Беги, мать!"

Бабы споро заширкали галошами, на время забывши о Спасителе. Луна на небе выткнулась круторогая, бодастая, ручей под мостиком вспух бельмом, лед сахарно заискрился под берегами. Лужица света от фонаря, скользящая под ногами, попритухла. Вселенская предутренняя тишина окружила меня. В соседнем селе за бором забрехала собака; хрустя подмороженной палой листвою, мимо меня, жарко дыша, вдруг проскочил босой мужик в обвисшей майке, смутно белели плечи и длинная костлявая шея. Я вздрогнул, обернувшись, долго провожал ночного бегуна взглядом.

"Христос воскресе!" — крикнул вослед. Бегун не отозвался.

Не ангел ли проскочил? Вроде бы за спиною пушились крыла. Да нет, у беглеца пятки чугунные, все еще слышно, как стучат они: бот-бот.

Я в одиночестве подошел к своей избе. В спящей деревне ни огонька, никто не разговлялся, атеисты мужики, спровадив баб на пасхальный круг по-над озером, встретили праздник загодя, всяк за своей бутылкой.

Я постучал в окно, сразу вспыхнул свет. Жена за ночным ярким стеклом — как ангел. Это в Рождество и Крещение кругом бесы гужуются, шипят, сбиваются в табунки, чтобы оприкосить путь небесного Младенца. А нынче Пасха, ангелам торжество.

Я взошел на крыльцо, прощально взглянул на Север; где-то там за

тыщу поприщ лежит моя Родина, и на ней я нынче, благодаря неистовым двуголовым амфисбенам, взявшим власть, редкий гость. И в Поморье грустно, тоже свищут студеные ветры. Мои родители сидят перед ящиком, всматриваются с подозрением в сияющее бельмо, где со свечками в руках в поющем храме стоят истекающие жиром фарисеи и мысленно матерят долгую службу. И там, на Мезени, сошел с небес Христос, но нет даже и крохотной часовенки, чтобы встретить Его...

Над коньком соседней крыши вдруг вспыхнула яркая звезда величиною с полтинник и на моих глазах стала стремительно вспухать и скоро превратилась в серебряное, летящее прямо на меня ядро, такое четкое, будто в небе, как в копировальной бумаге, взрезали дыру. Казалось, еще мгновение — и, перевалившись через соседнюю избу, неведомый посланец, выпущенный из пращи, подхватит меня вместе с домом, усадьбою и всем скудным нажитым добришком. Я испугался, вскочил в комнату, выключил свет, позвал жену. "Только не смотри прямо в окно, вдруг радиация". Шар уже вырос с тележное колесо, но все никак не мог перевалиться через соседнюю крышу, и скоро верхняя часть его заняла полнеба, а нижняя ушла за горизонт. Потом видение стало потухать, стерлось, не оставив и следа. Долго мы не спали, размышляли, что же могло статься. Сошлись на том, что увидели неведомую форму энергии, заявившую о себе. Право, не думать же о тарелке и космических пилотах? Утром поделился случаем с соседями. Сережок лишь хмыкнул: "Лабуда все, Вовка". Жена Лина вдруг говорит: "Да я днями у нас на гувне видела, красный шар опускался". — "Да иди ты", — засомневался я, но тут же, глядя в голубенькие глазенки, опушенные сивыми ресничками, такие бесхитростные и не умеющие врать, готовно поверил. Мы же все ждем чуда, но часто не можем разглядеть его.

"Может, радиация, сгусток энергии? — предположил я. — Ее не увидишь, а она черт-те что плодит".

"Нет, конец света скоро, — без грусти ответила старушка. — И в Писании же сказано: к 2000-му году погибнет последний человек, а в 2003-м — последняя сосна засохнет. Так и написано".

"Дура, ты и читать-то не умеешь, — огрызнулся с печи сын. — Она чи-та-ла..."

"И никто не останется?" — оборвал я парня.

"Почему же... В тарелках кто, тот и останется. А больше никого. Вот Юрий-то Гагарин, говорят, погиб. А всамделе не погиб, его в тарелку забрали, он и летает. А то?.. В гробу-то, как хоронили, никого не было. Пустой был гроб-от. Юра и летает. — Лина разговорилась, она убеждена в сказанном, она верит в побаски. — Один старик у Малахово в прошлом

годе косил траву. Это от нас-то прямиком дак километров восемь. И вдруг корабль опустился. Планетяне, значит. Старик-то и ничего. Они говорят: поедем с нами. Он положил косу на землю и — в тарелку. Отчаянный такой. Прозвищем Царь. День нет его дома, другой. Жена всполошилась, заявила в милицию. Давай искать. А на третий день планетяне его в то же место вернули. Явился старик домой, бабке рассказывает: "Далеко летал, на другие планеты. Сады там, и все цветет. А заправляет всем Юра Гагарин, да..."

"Христос воскресе, смертию смерть поправ!" — заголосили на улице; то бабы-богомольницы, сбившись в табунок, куролесят с верхнего конца деревни на нижний, останавливаются с иконою Спаса перед каждой избою, брызжут святой водицей с просяного веничка, кланяются в пояс и вопят стихиру.

"Дуры... списывать всех со счета, а они бродят. Еще пенсию им подавай. Молодым денег нет, а им подавай, старью, — забурчал сын. — Мать, найди опохмелиться. Праздник ведь".

"Для вас каждый день праздник. Лоб-то перекрести, нехристь, рука не отсохнет. Через вас, синепупых, не жизнь настала, а яма поганая, — закричала Лина. — Рожу тебе бутылку-то?"

"Найди, локтем перекрещусь, ха-ха..."

"Лабуда все. Бог такое вещество, что его не видать, а он подвидится, — отозвался от окна отец. — Мне было отец-покойничек приснился. Я спрашиваю у него: "Папа, мама далеко?" Он и говорит: "Далеко, сынок".

"Отец-то пьянь у тебя был, а мать — праведница. Она-то прямиком в рай. И-эх, непути, Сталина на вас нету", — беззлобно ворчала Лина, почасту взглядывая на бородатого дедка Саваофа, отпечатанного на большом бумажном листе, обвитом серебряной фольгою, густо засиженном мухами. У Бога было лицо печника Федора, что прежде жил в этом доме; в сорок лет он отлил себе из цемента надгробие в триста килограммов. Тридцать лет лежал бетонный крест на дворе, но так и не дождался своего места на кладбище. Тяжело было тащить и крест тут же возле хлева закопали.

"Лабуда все, мать, — отозвался от окна Сережок. — Мне бы такой краник заиметь, чтобы открыл — да и пей, сколько влезет".

Он взял гармонь и скучно поплелся на заулок под ветлу, сел на лавку, лениво растянул мехи, запел:

Как у милушки моей запел под юбкой соловей...

Скоро народ стал стекаться. "Христос воскресе!" — целовались. Мужики распечатывали бутылку, колотились крашенками. Бог — молодец, он не

похуляет вина. "Не говорю — не пей, а говорю — не напивайся. Пей мало веселия ради!" А мы и не пьем, верно? Мы лечимся.

Да и кто нынче не пьет? И Христос прежде попивал винца, да нынче у него руки гвоздьем приколочены...

Бабы тоже помнят, что вино — кровь Христова, и потому нынче боятся браниться открыто, но за мужиками втай дозорят. Думают: почто не выпить? выпейте, но только с умом... У женщин свой разговор о конце света и пришествии антихриста. С утра в каменную амбарушку-магазин в соседней деревне на тракторной тележке привезли хлеб на две недели, сгрузили на пол в груд; буханки "пали на оселку", потрескались, как южные черноземы в засуху.

"Накормить-то накормят, — судачат бабы, — не оживешь и не помрешь. Давают хлеба по четыре килы на двенадцать дён. Вот и руби топором. В войну и то каждый день по полкило, хоть мякинький. А еще по телевизору говорят: скота держи, птицу держи. Как держать, если в доме ни крупинки? Болтают в городах муд...ые, у кого пузень через ремень и за жизнь яйца не вырастили: хлебом нельзя кормить, хлебом нельзя кормить. Будто из их кармана..."

"Ой, помню, в старину-то для скота мы нарочно хлебы пекли. Мучки там, высевок, отрубей, — вдруг подала голос древняя баба Прося. Ей за девяносто, нос крючком, крохотные глазки строгие, щупают собеседника; телом присадистая, задастая, ходит споро, зажав клюку под локтем. Ровесница века, а ума не теряет. — У коровы-то молоко в титьках да на языке, говорю вам. Ей тоже хлебца мякинького хочется. Идешь доить, горбушку посолишь круто и в пойло еще накрошишь. К лошадке идешь сенцо кинуть, и ей ломотек в зубы. Бяшку с воли загнать — и ей корочку, а овец-то не один десяток. К птице во двор — и тем крошек из подола насыплешь. А как же иначе? Живое ведь. Хочется..."

"А нынче ни людям, ни скоту..."

"Ага, это те мелют, кто тяжче своего х... ничего в руках не держал..."

"Хозяина доброго нет. Чтобы турнул за шкирятку, да и на солнышко. Расповадились. Мафинозия кругом, вор на воре. Одни тащат, другие за ними подметают, что осталось, третьи на стреме. Ох, паразиты".

"Добрые-то хозяева все в земле лежат..."

"Меня бы хозяином. Я бы таких коров завел, чтобы из каждой сиськи вино струей", — крикнул Ванек, и сухое, словно бы обугленное лицо его залучилось радостью.

Мужики зареготали:

"Ага, тебе бы только кишки нажечь. Половину пропьешь, половину прольешь..."

"А я че..? Стакан пропущу, а он скучает, второго просит. Второй пропущу, они давай драться. Третий надобно, чтобы разнял. А тут и сам пал".

"Закусывать надо... Двое дерутся, третий не встревай", — рассудил Валя Сотский, слегка заикаясь, и оттого каждое слово казалось особенно весомым.

"Да ну вас, старье", — отмахнулся Ванек, побурел, как бурак, и ушел в избу. Сгремела на кухне посуда, посыпалась на пол, значит, ищет парень вина.

"Прошло время молоко ложками хлебать, настало время молоко шилом ести, — снова потянул разговор Сотский. Валентин мужик видный, даром что на пенсии; тридцать лет на вахте простоял сторожем. Лицо у него квадратное, глаза белые, зубы золотые. Он еще тверезый совсем. Ему, чтобы упасть на кровать, надо бутылки три принять. Бабы его уважают. Пьет, но крепко закусывает: шмат сала подай, дюжину яиц на сковороду, тарелку капусты и буханку хлеба. Основательной породы человек, но любит похвалиться на людях, сколько стаканов заложил за воротник. — А что..? Брежнев-то, говорят, как его хоронить, завещал положить в гроб кверху ж..."

Сотский замолчал, выстраивая интерес.

"Почему, Валентин?" — не выдержав, спросили бабы.

"Вот и его спросили: а зачем? Ответил: придет время, в зад целовать меня будете. Разве не правду сказал?"

"Умный он был. У него этого не отнять, — сказала Лина. — При ем-то и был коммунизм. Хоть немножко хватили. Сам жил и другим дал пожить".

На лавке под ветлою установилась тишина. Всяк вдруг посмотрел в верхний конец деревни, куда утром явился Христос, да вот куда-то запропастился, знать, застрял на гумне иль на замежках поля, размышляя в одиночестве о судьбе покинутого крестьянина.

И вдруг беспечно засмеялась моя соседка, и ее голубенькие, простиранные временем глазенки в рыжеватой паутине морщин зажглись, как две лампадки, и годы куда-то соступили, и больших лет никак не дашь. И сказала Лина, отсмеявшись:

"Зимой-то деревня покойником пахнет. Ни стука, ни бряка. Хоть подряд иди и всем старухам руби головы, птичка не вскрикнет. Зимою помирать холодно, а весною жалко. Солнце обогреет, опять жить хочется. Вот Христос-то и воскрес весною".

Воистину русский человек — сын Солнца, сын Ра, сын Расеи, и поклоняется он Спасителю своему, как Сыну Солнца. Где гриб рожен, там и заморожен. Где гриб родился, там и пригодился. И так жалостно

глядеть на эту незлобивую женщину, затурканную долгим лихолетьем: всю жизнь, как тягловая лошадь, мяла работы, вот и нынче порою так умается, что и сил нет шагнуть. Падет прямо на заулке на мать сыру землю, чтобы остудиться, и протяжно вскрикнет, как всхлипнет: "Ой, так опристала... И померечь бы не страшно. — Перекатится на бок и добавит: — Думала, век износу не будет. Пеши-то не хаживала, все бегом".

Это лишь в молодости кажется, что никогда не устанешь и от тебя не убудет. Но увы, всякий человек рожден на свою тягость, на свою сумочку с ношею, кою надо донесть по завещанным годам. Исполнит человек свою работу — и все, край, хоть ты лопни, рук не поднять на любое дело, костье не держит, ноги не несут, требуха — будто сито, а душа — как вата. Ко мне однажды пришел дед Егор, попросил пару горбылей и вдруг заплакал, как малое дитя: "Володя, меня дети заставляют работать, а я не могу". А было старику восемьдесят шесть лет.

Дряхлеет крестьянская сила старинной выковки, с прежним нестяжанием и прилежанием к работе, неуклонно катится под укос; немилосердный пал идет по деревням. Именно в эти годы ополовинится, повыгарывает, запустошится крестьянская Россия, снесут ее на погост...

Есть где-то прельстительные, заманчивые страны, но нет в русском человеке тоски по ним. Своя земля и в горсти мила. Обещали рай на земле, накормили хлебом, и всякая российская крестьянка давно ли еще искренне благодарила всех управителей, что утаились под красные звезды за высокие кремлевские стены: "Слава Богу, дожили. Уже хлеба не хотим". И ни зависти, ни гнева к тем, кто надевал на холку тугой хомут, кто уводил после войны со двора корову за неуплату налога, кто и нынче трапезует сыто и хмельно и мечется от скуки по свету в поисках лучезарных картин, чтобы утешить мертвеющую душу. Русским не свойственно чувство мести.

Выдали вдовам ко Дню Победы по 45 рублей, а они и рады, будто отпущение грехов получили: "Это мужевья с того света нам подарок послали на конфеты да на свечи за упокой". И помнят-то, сердешные, не мечтания о рае на земле, но того сельсоветчика, что жег в тридцатых церкви и помер от рака, иль спился, иль замерз под забором, иль загремел в тюрьму на срок, а дети пошли по кривой. Итожат: значит, отмстилось, Господь покарал, Господь не дремлет. Эти простые, безыскусные, безлукавные люди перемогли марксову хворь, закинутую ловыгами с Запада по ветру, выпрямили кривое, утончили грубое, присмирили пошлое и уже приноровились жить ровно и во спокое в том Доме, что содеялся наконец-то через муки их праведными трудами. Не богатый был тот Дом и не больно красив и ладен, но сверху не капало, с боков не

поддувало, и вроде бы снизу не подтекало. Лишь бы фундамент не подвел. Окапывайся, сердешный, нарывай завалинки, заливай цементом крысиные ходы, чтобы не сквозило; на Бога надейся, но и сам не плошай. Но увы: слишком много развелось земляного гнуса, и древесных жуков, и всякой шашели, тех приживалок и сутенеров, что обычно обсиживают любую власть, но знают свое место... Те, кто блазнил раем, сбивал народ с панталыки, кружил головы райскими видениями, наследники неистовых ревнителей, бредивших мировым пожаром, мальчиши-кибальчиши и мелкие зауряд-клерки, что повыгрызали углы "Капитала", наевшись гнилого переплета, клея и праха, втай решили, что лучше иметь в кармане свою чековую книжку с "капустою", чем таскать "марксов талмуд" на горбине.

А крестьянин вновь стал вспоминать те времена, когда "вот с хлебом было сыто".

...Помолится моя печищанка бумажной иконе Спаса, краем глаза глянет на телевизор, где изо дня в день плетутся дворцовые интриги, продаются оптом и в розницу совесть, душа и женское тело, но не слыхать о России. А-у! как вы там, поселяне? Уже отпета и проклята, — злорадно мечтают ловыги, — так зачем вспоминать, тревожить прах усопшей. Э-э, мелкие искусители и раздевульи, шиш вам с маслом! это лишь для городского совестливого человека дьявольское бельмо похоже на раскаленный утюг, приложенный к распахнутой кровоточащей душе. Слава Богу, что заведенный природный ритм жизни на земле отлучает крестьян от безумолчного похотливого рта ростовщика, и менялы, и сутенера, изливающих с экрана на всю страну одни лишь пакости; ибо весь день работа на земле, в подворье, на огороде, на шабашке, и дай-то Бог ноги дотянуть до кровати и уйти в короткий сон.

Что взяла штыками и фарисейством ленинская гвардия интернационалистов из моей деревни? Все соки, всех мужиков на войну и в ссылки, родящий генный слой, землю, воздух, лес и небо, детей в города для рабсилы, спокой обитания, Бога, родословную, национальную этику и досюльное знание природы. Что взамен дал законченный социализм? Школу в бывшей церкви возле кладбища, разбитые дороги, похожие на окопы, убогую больничку, где страшно помереть, ибо оттуда некому вывезти тело, пока не найдется доброхот, талоны на вермишель, постное масло да две бутылки водки в месяц, чтобы запить усталость.

Неравный обмен получился, жутковатый обмен, чего греха таить. (Но мы еще не знаем о грядущей августовской революции, приходе троцкистов и реставрации капитализма.)

...Единственный, но громадный плюс есть у большевиков, несмотря на

дьяволизм марксовой затеи: они смогли спасти государство, не отдали его процентщикам и менялам. Но это случилось вопреки интернационалу и благодаря русскому характеру, выпрямившему кривое.

* * *

...Когда-то творец интернациональной философии Бухарин, на кого нынче молятся правые эсдеки, заявил: нужна-де выковка нового человека с помощью расстрелов и лагерей. Троцкий поддержал: мы-де будем водить на работу строем и под ружьем. Сталин запустил гончарный круг по отливке стандартного советского характера, и тот закрутился на многие годы (опыт Бога не давал спокоя). И лишь христианское (крестьянское) терпение помогло русским, пройдя через мялку архитекторов будущего, прорасти из-под колоды, но уже смутно сохраняя прежние черты и приметы народа, делающие его физиономию особенной: поклон радигостю; все трын-трава, все перемелется; кто на дело ленив, тот и в душе не подвинется; богатство дается нищих ради; единова живем; не хлебом единым; с собою в могилу не унесешь; много ли человеку надо; кинь добро назад, оно очутится попереди; многой злобе учит человека праздность и т. д. Вот примерно и вся в главных своих нотах национальная душевная музыка, настроенная на православную струну; вот приметы чисто русского норова, что еще не совсем затухли и в глубинной основе своей предполагают неутомимое его природное саморазвитие, если не выставят новых препон к нему. Только бы держава не шатнулась, не посыпалась, не дала трещины, куда наши недоброжелатели усердно вобьют клинья и расколют единое тело. Русский человек, разлившийся на громадных северных пространствах, тратящий половину своей энергии, чтобы обогреться, а другую — чтобы сохраниться, не сможет устоять в груду без надежного государства, как вино не может жить без крепко закупоренного сосуда: распечатай бутыль — и вино скоро умрет. С русским народом на одну доску нальзя поставить ни одну европейскую нацию: все мелки, эгоистичны, себялюбивы, изнеженны и вздорны...

Казалось бы, истерли интернационализм в труху, выварили из него в русском тигле многие насильственно приобретенные кощуны, и пришла пора, спокойно пооглядевшись, обустраиваться по национальной этике, позабыв о потрясениях. Ибо не нами сказано в древних летах: "Что нам за дело до обычаев иноземных: их платье не по нас, а наше не по них". Или: "Припусти к себе инородника, и он тебя захочет рассыпать и отчужить от твоего собственного блага". Или: "Припусти к себе инородника — и разорит тебя".

И, как по зову, будто черт из табакерки, вспрыгнул на хребет России Горбачев, новый искуситель и обольститель, новый землемер, любящий

мерить чужие ухожья своей саженью. И заявил: "Революция продолжается. Жизнь переменится к лучшему, если переменится человек". Значит, пришел к власти бухаринец, русоненавистник, казалось бы, вымерший за долгие годы застоя тот тип партийца, коему страсть как хотелось переделать именно русский народ, чтобы не помнил он своего уклада, быта и побыта, всей системы тысячелетней жизни, коя и делала человека на евразийских пространствах именно русским, а не кем иным.

Когда я впервые увидел лицо Горбачева на экране в 1985 году, я был поражен явной мистической означенностью его, какой-то таинственной пришлостью: это был отмеченный человек с печатью медведя на лбу, говорливый, сияющий, с ласковым медовым взором и обходительными манерами краснобая. Этакий душка и примерный семьянин, внешней нарочитой наивностью и простоватостью обезоруживший многих русских безлукавцев. И сказал я друзьям: вот и настали последние дни, и явился в мир антихрист! Уж больно отвечал он всем народным представлениям об антихристе. И вспомнилось изреченное: "...И станет судить не по добрым делам, а по козням, кто какое кому зло учинил, досадил чем, надсмеялся, кощуны какие устроил, дорогу перебег, злословил и срамотил: вот какие заслуги возьмет дьявол в расчет. И тогда многие, похвалясь, сами себя откроют, кто успел уже зело развратиться, стыд порастерял, и мрак свой, доселе скрытый, наруже выкажут, ожидая милостей антихристовых. И тогда станет всяк явен, как на солнышке".

Собственно, позже все так и случилось. Шло время, пошлые мысли, изрекаемые роботом-генсеком, крутились, как заезженная пластинка, лучезарно светилось целлулоидное его лицо, и стало ясно, что пришел на власть, слава Богу, не антихрист, но лишь "шиш антихристов", как говаривали наши предки. Явился в мир троцкист-новопеределец, человек мира, бездушный и циничный противник национальной гармонии и целесообразности. Со ставропольского комбайна пересел в кремлевский кабинет очарователей неутомимый работник разрухи. Он принес нам перессорку, перетряску, перевалку, разбродицу и смуту. Из его сладких, как халва, слов о всеобщей воле, свободе и грядущем благоденствии вырастала экономическая каторга для всех; мы оказались на пепелище у груды беспорядочно сваленных обгорелых бревен, что совсем недавно означали наш Дом...

* * *

Незаметно стемнилось, ближние березняки стабунились, двинулись на деревню. Кукушка, пристанывая, пролетела над еще нагим лесом, и

сидящие на толковище люди решили, что быть нынче беде. Ветла над лавкою развесистым шатром, один конец скамьи глубоко врос в болонь; рассеянный свет от фонаря пробивается сквозь нагие еще ветви, и горстка печищан кажется замурованной в слюдную прозрачную скрыню; трепещется народишко, хлопочет чего-то, стараясь выткнуться наружу, но, увы, до смертного часа колготиться сердешным в скудельнице посреди бессловесной России.

Пасха. Нынче работать великий грех, но и без работы тоскливо, некуда руки девать, и время кажется бесконечным. Бабы, томясь и ревниво приглядывая друг за дружкой, как блюдут товарки Светлый Праздник, ведут досужий разговор, плетут словесную бесконечную нить, жужжат, как пчелы, собирающие с цветущей яблони первый взяток. Мужики же поочередно отлепляются от роя, исчезают на минутку и, приняв рюмашку на грудь, с каждой отлучкой становятся оживленнее, но гугнивее. Они гремят, как толчея на мельнице, но слов не разобрать, лишь матерки густо висят в воздухе.

А бабам сладко ворошить прошлое, пережитым несчастием они как бы украшивают минувшие года, и канувшая в нети жизнь уже не чудится такой постной и заунывной.

"В войну-то ждали... Призывали нас: потерпите-де, после лучше будет. Соберемся в кучку, говорим: никогда чистым хлебом не накормят досыта. Два года прошло с войны — хлеба наелись. Тогда надежда была, вот и терпели..."

"Нынче все наизнанку. Ворота пораскрывали, уши поразвесили: тащите, мол, у нас всего много. И тащат, и прут, деньгами крутят, за обе щеки хавают. И не нажораться им. Мафинозия..."

Сережок сидел пока наособицу, прислонившись к дереву, худенький, как подросток, на лбу потный чуб, кепка-восьмиклинка на затылке. Уронив щеку на тальянку и вяло раздвигая залоснившиеся мехи, тихо поскуливал себе под нос:

Я по речке шла, спотыкалася,
Полна юбка карасей навтыкалася...

Валя Сотский оторвался от своей половины, худой, смуглой, как черкешенка, ревнивой бабы с диковатыми глазами, приткнулся к женщинам. От него пахло жаром. Он был уже хорош, багровел квадратным лицом, сиял золотыми зубами, но еще не заводился, кулаками не махал и не похвалялся, сколько выпил.

"Русским свободу нельзя давать! Они сразу скотинятся! — пробасил он. — При Сталине порядок был. А Ленин был человек эпохи".

Валя Сотский долго жил в городах и понахватался умных мыслей.

"Миленький мой! — простонала Панечка, в ужасе закатывая глаза, рыжеватым лицом похожая на тщедушного мужичка. — Сталин-то, милый мой, сколько народу схитил, радости мало. Вавилова в тюрьме уморил и всякого народа сгнаивал..."

"Ерунда! Был порядок. А нынче что? Всех обосс... никого не чтят. Вор на воре. Шапка горит, а никто не тушит... Вавилова, Манилова... Наслушалась, чумичка, хренов всяких по ящику. Да из вас надо соки жать, чтобы передом не трясли и придурков не рожали".

"Лежу, думаю: вафельку бы скушать, — мечтательно протянула Лина. — Так вафельки захотелось. Раньше стоила пачка тридцать копеек, а сейчас где они? Господи, как в раю жили. Значит, и нам рай показали, да и отняли. Все было, и куда делось?"

"Проспали, полоротые. В семнадцатом богатых ограбили, а в девяносто первом — бедных. Обездолили, собаки, поклали к себе в карман, — сурово сказала девяностолетняя баба Прося. — Я бы этого беспалого черта на Красной площади повесила прилюдно, и рука бы не дрогнула..."

"Молчи, давай, дева непорочная, с боку на бок не вороченная, — окоротила Лина древнюю мать. — В ножки надо Ельцину пасть, хоть пензию не отнял..."

"Полно, бабы, зубатиться. Хотите про рай расскажу? — заржал Сотский, как стоялый жеребец; его распирало вино. — Вот умер Каганович. Долго сидел в верхушке, отирался там. Ну и сыграл в ящик. "Головка" думает: куда его определить? Не век же шататься? В рай, значит, не пускают, говорят: не гож. К аду подошел: тамотки музыка, девки пляшут, вино пьют, в карты играют. А страшно, ад все-таки. И тут попался на глаза знакомый еврей. "Что затосковал?" — спрашивает. "Да вот в рай не пускают". — "Полезай в мешок", — говорит. Приносит к раю и кричит Владимиру Ильичу: "Ленин, забирай свое барахло!" И кинул мешок. Так Каганович в рай попал".

"Явреи умный. Его не проведешь, — подтвердил Федя Зулус. — У явреи и на небе свой комиссар, свой паек и своя дырка. Это мы, неумытые дураки, свой черед ждем".

"Бога не обманешь, подарками не отдаришь, — возразила Лина, заерзала на лавке, как бы ухорониваясь в плюшевый жакет, чтобы подольше сохранить тепло. Май — коню сена дай, а сам на печку полезай. — В сорок дней душу-то на суд. Ой, тошно, куда ей: направо иль налево? А там в чан со смолой, как нагрешил-то. Никакой там музыки и вина, Сотский. Все ты врешь. Вот и заметался твой

Калганович с печки да на полати... Вот и я помолиться иной раз забуду на хлеб насущный. Володя, ты привези мне геркулесу, киселька сварить. А то помру вдруг — и как без киселька? Меня же осудят. У нас так: чтобы кисель овсяный и блины..."

"И кутья чтоб. И суп. И на второе куру жареную да рыбу. Хошь не хошь, но немного съешь, — сурово вторглась в разговор Люська Дамочка, заведя татарские глазенки в небо. Говорила она пригрубо, отрывисто. Ей хотелось безумолчно петь "Христос воскресе...", но деревенские, хватив праздничную стопку, уже забыли Бога до следующей Пасхи. — Не отпетые-то души висят над могилами и отлететь не могут. Кто удавляются и руки на себя накладают, они крутятся кругом кладбища неприюченные. А батюшка отпоет — и все. Помрет человек, надо в церкви земли отчитанной взять. Как опускать в землю — и отчитанной земельки кинуть. Без справки от врача и не дадут земельки. А то вдруг удавленник, жить ему надоело. Иль самострел. Батюшка дает землю-паспорт на тот свет и венчик дает, что ты православный. Там тоже спросят, когда будут прописывать душу твою..."

"Ишь вот и Ленин там. Бог рассудил. А нам по грехам нашим и не попасть туда", — без тоски, как-то изжито, равнодушно итожит баба Прося и обводит товарок внимательным взглядом, будто проверяет очередность на тот свет иль подыскивает попутчицу.

"Миленькие мои! — воскликнула Панечка. — Ленин-то при жизни своей сколько народу схитил. И поди ж ты, в раю. Володя, ты у нас барин. Рассуди".

"Барин-татарин девку ударил!" — засмеялся Сотский.

"Почему барин?" — удивился я.

"Ну как же не барин-то? Без барина на деревне нельзя, — вдруг мелко хихикнула баба Прося. Лицо у нее одутловатое, круглое, нос загнут крючком. Сова — и только. — Я под барином, Володя, жила. Я знаю".

"Жила, жила... Не рот, а ямка с помелом. Треплешь чего ни попадя, — непонятно отчего вскипела дочь. — Сидишь, как баба Яга..."

"Сама ты баба Яга", — глубоко обиделась мать.

На лавке засмеялись, взглянув на Лину. Годы не красят: волосы седой куделью выбились из-под плата, щеки ввалились, и нос хищно завис над верхней губою."Ах полоумная, — наверно, укорила себя Лина в эту минуту. — Опять забыла зубы в стакане". И залилась смехом, опрокидывая головенку к коленям.

...Еще не так давно, когда Ельцин призывал шахтеров к забастовкам и собирался лечь на рельсы, когда Попов Гаврила отказал в помощи крестьянам, чтобы убрать с полей редкостный по богатству урожай, когда

Горбачев с великодушной улыбкой, теряя стремена, медленно, но сговорчиво уступал место Ельцину, сползая с властного седла, эта баба Прося, самый старый на деревне житель, вдруг говорит мне на улице:

"Слышала по радио. Умер".

"Кто умер-то?"

"Ну да этот, про которого все треплют".

"Ельцин, что ли?"

"Ну да, ен и помер".

И меня как кнутом обожгло по сердцу. Надо же, думаю, толокся человек, власти домогался, стаптывал под ноги ближних, изменяя идеалам, попирая совесть, и стыд, и Божьи заповеди, а тут раз — и в одну минуту ничего не надо, все впусте. Сгигнулся, скапутился, сыграл в ящик, поехал под музыку к чертям в гости. Лежит нынче, как камень. И как всякий русский, я не обрадовался вести, но пожалел усопшего. Вернулся в избу грустный, а по телевизору вещают: "Умер Сахаров..."

Ах ты, бабка, вечно все напутаешь. Знать, долго жить продолжателю перестройки и перессорки.

...Нет, не праздничный нынче разговор, отходной какой-то. Со Страшного суда перметнулись на любимую нынче тему.

"Пишут в газетах: на Красной площади гробы-де продаются по четыре тыщи за штуку. Уже давают ящики напрокат до могилы. А там в целлофановый мешок".

"Я велела своим: если помру в городе, из стенки в квартире отпилите одежный шкап и в нем похороните".

Сережок отвлекся от раздумий:

"Надо купить два куба тесу да наделать гробов и в Москве продавать. Вот и бизнес. Пей — не хочу..."

"Тебе бы только кишки нажечь, зараза", — беззлобно окоротила мужа Лина.

Сережок засмеялся:

"Лабуда все, бабы, все хорошо. Не то плохо, что помрешь, а то худо, если помереть захочешь и не сможешь".

Он, кряхтя, приподнялся с нагих кореньев ветлы, на коих сутулился, будто кочет, перебрался на скамью, рванул тальянку. Было удивительно, что вот эти корявые, будто древесное корье, пальцы так ловко нашаривают кнопки, порскают за ними, как гончие.

Эх, конь вороной, белые копыта.
Я, как вырасту большой, на... люблюсь досыта...

Мужики встрепенулись, ожили. Дамочка, фыркнув, пошла домой. Сотский вскочил с лавки, передразнивая Дамочку, завихлял задом. Лина, вздергивая узкими плечиками, со спины похожая на кулек, вышла в круг... Эх, старая, наддай-ко! Новые резиновые галоши блестели под фонарем, как лакированные полусапожки. Ой, ба-бы-ы! Да нашивано ли было чего путного, ведь из навозных опорков и резиновых сапог не вылезали во весь свой век. Ломили всю жизнь, как лошади, а чего нажили-и! выкинь добро на улицу — никто не позарится, не подберет.

Задробила Лина меленько, спотычливо. Старая, а петь-то хочется.

Ходит курица в аптеку и кричит там кукареку.
Просит, дура, порошков для приманки петушков...

"Ага, вот тебе, Линка, петушок! Не подавись только!" — вскричал Федор Зулус, постучал по сгибу руки острием ладони, ощерился. Долговязый, сломанный в пояснице радикулитом, плешеватый, с кустиками смолевых бровок над удивленно вздернутыми глазами, Зулус так ретиво, так огняно вступил в перепляс, так задорно повел головою, будто готов был гулкую землю вымесить до самой сердцевины:

Ух-ух, я петух, кто меня потопчет!
Кабы курицей был я, потоптали бы меня...

Но на ногах у Зулуса будто свинцовые неподъемные сапожищи, а в коленки вставлены железные штыри, ибо за всю гулянку старик так и не сдвинется с места, но будет бессвязно частить попевки, гыкать, хлопать себя по тщедушной груди и щипать старух, тем самым изображая сердечный жар. А откуда бы ему быть, если от вечных земляных трудов все обвяло в нем, все повисло.

К гармонисту подсела хмельная женоченка с жадными кофейными глазами и мясистыми губами, приобняла Сережка за плечи и что-то зашептала на ухо, порою дразняще взглядывая на Лину. Панечка, сивым вздернутым хохолком волос над высоким лбом и тонким лицом похожая на Суворова, решительно поддернула привязчивую бабу за плечо и крикнула, перекрывая музыку:

"Марфушка, миленькая ты моя, опомнись! Линка-то тебе глаза за Сережка выжжет. Иль забыла?"

"С прошлого разу еще стоит бутылка с кислотой, ее дожидается", — пригрозила приметливая Лина.

"А я чё, девки? Я ничё. Больно и нужон завалящий мужичонко. Ни поставить его, ни положить".

"Ой, миленькая ты моя, — похихикивая, с намеком воскликнула Панечка. — Раньше-то мы на Паску крашеные яички катали, а нынче уж никаких не нать..."

"А мне надо! — хрипло возразила Марфутка. — Мне врач прописал. Говорит, тебе мужик нужон..."

Сотский поднес Марфутке стопку, она выпила, не чинясь, крякнула, "закусила рукавом" плюшевой жакетки (утерла губы) и кинулась в пляс, выискивая глазами свободного гулебщика. А где они? Кто в городах, а остальные в ямке.

...Я не дождался конца праздничного веселья, отправился домой. Из-за низких окон избы, где жила Дамочка, глухо просачивалось на волю, как из глубокого подполья: "Христос воскресе... смертию смерть поправ..."

Так завершался первый день Светлой Пасхи 1992 года.

2

Из простой судьбы

...Пастух с Мамасева ходил, коров пас. У него изо рта веревочка тянется, вокруг уха обмотана. Спрашиваю: "Радио, что ли?" — "Да нет, — отвечал, — как зуб прихватит, дерну за веревочку, он и успокоится".

Однажды днем выпил пастух, пока стадо отдыхало на полднище, привалился в тенечке, да и уснул. Его разбудили неожиданно, стадо надо гнать. Зуб-то и заявил о себе, люто разболелся. По привычке дерг-дерг за веревочку — не помогает, еще пуще схватило. Пошел на Гавринское озеро омокнуться да и потонул возле берега. Так распалился человек от зуба, что сердце не выдержало...

* * *

Такой вот шутейный конец. Иль счастливый? Хоть в этом-то мужику потрафило, сам не намучился и близких не намучил. Как не жил, сердешный, лишь оставил по себе странную зарубку в крестьянской недолгой памяти. Уже на моем веку сколько народу отступило в иные пределы, стушевались, ушли в зазеркалье, как наснились, не оставив по себе никаких очертаний.

Жизнь — как сон. Человек, рождаясь на свет, уподобляется древесному семени, парящему вниз. Выпадая из материнской матницы, срываясь с пуповины и восторженно возвещая о себе, человек с родового

древа кругами спадает к подножью здешней жизни, и чем ближе к почве, тем больше земной тяги, тем свинцовее кости, и невидимые папарты за плечами уже не позывают в небо; тем реже человек летает во снах, лишь лелея в сердце былую сладость ощущений; тем меньше желаний к перемене мест, но зато неумолимо стремление к покою. Каждый из нас летал в юности во сне, но плотски, когда душа еще в младенческих пеленках, слепа; но вот плоть деревенеет и врастает в землю, покрывается корьем и болючими шишками, а душа становится зрячей и обретает крыла.

Потому духовный, восторженный человек всю жизнь в полете: от зыбки до гроба. Некоторые молят Господа, чтобы дал смерти во сне, чтобы само появление в мир обратить в полный сон и призрак. Человек, являясь на землю для страданий, в конце жизни молит Бога дать ему хоть бы этой поблажки: уйти от всех, не попрощавшись, не исповедовавшись, не причастившись. В сущности, заманчивое мечтание, не греховное, похожее на благодать, на спасительное снадобье (не самоубийство же), но и страшное в своей сердцевине. Бытийная цепь остается разомкнутой: из пустоты — в пустоту...

Если человек во время боя входит в страшный азарт, некоторое подобие полета, и за плечами вырастают невидимые крыла, а пятки подбивает сама мать сыра земля, то он впадает как бы в сон, и в то же время в нем необычная зоркость и хваткость до каждой мелочи, вроде бы открывается третий глаз во лбу, и тогда все видится не обычным природным зрением, но данным свыше. Нет, это не опьянение боем, ибо даже малый хмель, давая человеку безрассудство, отнимает у него звериную первородную чуткость к беде, все размывается вокруг, затушевываются ориентиры, пропадает цепкость, трезвость ума. Один герой войны (три ордена Славы) рассказывал мне на Севере, что никогда перед боем не пил вина и не ел. Не пил, чтобы не терять головы, ибо только дурак бежит под пули; а не ел, чтобы зря не пропасть от раны. Чаще были ранения в живот, а при пустом желудке оставался шанс выжить...

Человек проживает треть жизни во сне. Монахи убеждают, что сон — это временная смерть, в эти часы спящий беспомощен, бессилен, бесы вьются вкруг него и часто берут в полон. Де, во сне православный уподобляется гробу повапленному, и всякая нечисть в те часы хозяинует над ним. Но так ли? и в какой мере тут правда? Если жизнь — как сон, как едва заметное дуновение эфира, значит, сон — как жизнь. И не только потому, что без сна жизнь невозможна.

Одна женщина призналась: "Я лишь во сне по-настоящему живу..."

Другая: "Сон правдивее жизни".

Третья: "Сон слаще сахара. Век бы спала".

И еще: "Утро вечера мудренее. Сон подскажет..."

Так стоит ли пенять на сон, что он время у нас подбирает? И обедняет ли себя человек сном, этой долгой, вроде бы бесполезной лежкой в кровати, когда любимое дело дожидает, много надо успеть, и столько всего доброго из-за промешки и волочения рассыпается прахом, остается лишь в мыслях, ибо недостает времени? Для чего человек приходит в мир? что завещанное он обязан исполнить? и сколько лишнего, безрассудного он ворочает с усердием, переливает из пустого в порожнее, черпает решетом воду? А может, и призван ты сделать самую малость, какой-то один решительный шаг, от чего многие вокруг тебя спасутся...

Да, во сне плоть немотствует, но душа-то трудится, ум пылает, и столько восторга и счастия испытываем мы, которого наяву никогда не пережить, оно обходит нас стороною. Счастливые сны — это Божья плата за скудность и безрадостность земного бывания. Сон — это особый вид бодрствования, делания и духовной службы. Так мне думается. Мы во сне видим себя такими, о чем наяву лишь мечтается. Сон — это остерег, оберег, нравоучение, поминание усопших, памятная книга, духопровод, соединяющий не только живых с мертвыми, но и с канувшими бесследно атлантидами жизни, с сонмищем прежде не знаемых людей, уведомление о будущем, пир духа и страстей, познание своей преисподней, с коей мы боремся каждый Божий день и не можем осилить.

Мне порою снится будущая атомная война, вовсе не похожая на киношные и телевизионные придумки; она всякий раз случается где-то в занебесье, не доходя до земли, но настолько реальна и жутка в своих цветных фантасмагориях и превращениях, что, содрогаясь от страха, спешишь вырваться из наваждения. Нет ни развалин, ни взрывов, ни человечьего вопля, лишь в полном безмолвии барражируют самолеты и космические корабли, но становится ясно, что это конец света и никто уже не спасется. И тогда случится Страшный суд и явится Христос отделять души праведные от нечестивых.

Это сон-откровение.

...Одной женщине приснился Горбачев с отвислыми бабьими грудями. Ей объяснили: это облик Бафомета.

Это сон-уведомление.

...Моя сестра лежала в больнице в областном городе верст за триста от своей деревни. И вдруг во сне середка ночи ей что-то причудилось

страшное, и она услышала жалостный тоскующий зов мужа: "Ри-та-а!" Женщина очнулась от ужаса с этим воплем в ушах, проникающим в палату сквозь закрытое окно из темени больничного двора, и решила, что надо ждать горя. А днем приносят телеграмму: де, муж умер. Еще молодой мужик, в полной силе, богатырского сложения, он скончался во сне, и его мольба пронизала пространство в сотни верст.

Это сон-весть.

...Моей соседке в деревне было предупреждение с того света. У нее мать скончалась, когда девочке было восемь лет. А в девушках вдруг приснился сон. Будто могила раскрылась, и из нее поднялась мать. Девица и говорит ей: "Мама, как мне без тебя тяжело, возьми меня к себе". (А жизнь-то послевоенная не сахар: нищета, голод, койка в общежитии, чужой, равнодушный к сироте город, и впереди ни просяного зернышка света.) Мать же отталкивает дочь руками: "Тебе еще рано, Фая". Могила закрылась, мать ушла под землю.

Девушка рассказала сон подругам по комнате, но те лишь посмеялись по молодости. А через два дня поехали в лес на машине и все разбились, кроме Фаины. Она отделалась переломом. И с тех пор верит в сны.

Это был сон-предупреждение.

...Одной женщине приснилась покоенка-дочь. Жалуется: "Мама, мне так обувь жмет, пришли мне другие тапки". Мать спрашивает: де, как я тебе пришлю-то? А дочь и отвечает: "Ты поди на Первомайскую улицу, дом шесть, и с парнем передай мне".

Мать проснулась и наутро пошла по тому адресу дом разыскать. И нашла ведь. Но все там живы-здоровы. И вдруг через три дня весть: сын у них на мотоцикле разбился. Мать купила в магазине тапки, пришла в тот дом, рассказала родителям сон, и тапки положили в гроб...

Это был сон-просьба.

* * *

Из простой судьбы

У Лины, моей соседки, сын Володя молодым помер. Веселый был парень, гитарист, рукодельник, а сгорел от астмы. Однажды Лина лет через десять по смерти сына рассказывает:

"Сын-то Володя любил говаривать: "Видал я тебя в гробу в белых тапочках". Такое было присловье у него. И вот помер. Положили в гроб, спереди-то хорош. Костюмчик новый черный, белая рубашка, при галстуке. Денег не пожалели. И что бы мне посмотреть на ноги? Вот и

принесли на кладбище, опускать надо. Мне и говорят: "Лина, подержись за ноги, а то сниться будет, бояться станешь". А мне чего бояться? Все когда ли помрем. Но простынку-то откинула, глянь, а сын-то действительно в белых тапочках. Не успела ничего сказать, а его уж и опустили в ямку, прямо в воду. Вот и снится мне сын каждую ночь в белых тапочках, а на них блестящие резиновые галоши вот эдакого размера. Я и плачу во сне-то: ой, сынок, по какой грязи тебе приходится ходить...

Ну, поставили тогда дубовый крест: длинный был, дак прямо на гроб. Вот и жалуется во сне-то: "Сыми, мама, тягость, на грудь давит". Попросила детей, пришли на кладбище крест тягать. После рассказывают: "Ой, мама, три часа мы корячились, добыть не можем. Взмолились: "Володя, отдай крест, коли тяжко тебе! Чего держишь? Ну, кой-как добыли".

* * *

...Сны бывают вещие и любовные, бесстыдные, греховные, чего не позволил бы себе наяву; бывает во снах и смертоубойство с погонями, но почему-то жизнь твоя никогда не обрывается, и видишь, как медленно летит в тебя пуля, словно бы подвешенная на волосяной нити, и можно свободно перенять ее иль увернуться; бывают сны смертные и дающие жизнь, когда старуха с косою, до сей минуты стоявшая в изголовье, вдруг отступает прочь, неведомо чего напугавшись, и тогда говорят больному, убирая со лба росу: де, натура здоровая взяла свое, и Господь помиловал; случаются сны скаредные и прикровенные, светлые, с лествицей в занебесье, с ангельским ласковым дыханием у виска, когда просыпаешься поутру полный задумчивой кротости; бывает, что во сне насмеешься, что не к добру, но и наплачешься. Но большинство сновидений причудливы, перемешаны с явью, иносказательны и требуют раздумий, и анализа, и некоторого мистического познания; и хотя церковь постоянно выступала против ясновидиц и гадалок, но сами ночные картины и любопытство к их тайному смыслу не относятся к ереси, ибо душа, не вполне освобождаясь от телесного гнета, в эти минуты как бы предугадывает грядущую свободу и готовится к встрече с Господом, как чистая юница ожидает своего будущего избранника.

Люди, особенно верующие, с тонкой душою, не от мира сего, бывало, летали во сне в Царство Божие на седьмое небо в Христову храмину и вкушали там райских яблок.

В прошлые века жили по сонникам, что не отделяло нисколько от Бога, но выстраивало плотную неразрывную связь с Грядущим. Долгий

человеческий опыт позволял с достаточной верностью разгадывать ночные картины, несмотря на внешнюю комичность иль неопрятность их. Вот вши, например, снились к деньгам, а мелкие монеты россыпью — к слезам; грибы — к болезни, а покойник — к добрым вестям. Можно собрать обширный свод людских красочных сновидений, и он станет чувственным образом зазеркальной жизни человечества.

...Мне частенько ночами блазнит река. Лишь закроешь глаза, растекаясь в постели плотию, и вдруг видишь подымающихся из глубины больших таинственных рыб, едва шевелящих перьями; горбатые, серозеленые костяные морды их с загнутыми носами и черными веснушками на блескучих жаберных крышках подозрительно обращены на тебя, и что-то человечье, настороженное есть в их внимательном змеином взгляде. Как гость неведомый из тьмы, стоит она невдали от тебя на расстоянии вытянутой руки, сполошливо мерцая плавниками. И вот забрасываешь блесенку и на звенящей тетиве вываживаешь рыбину на отмелое место. И — о ужас! на крюке трепещет иль какое-то чудовище о восьми ногах с пупырчатой мерзкой кожей, иль обычный раскисший башмак с отставшей подошвой, похожий на щучью раззявленную пасть. И от внезапного недоумения насильно обрываешь сон, выплываешь из него и середка ночи, прислушиваясь к пурхающему сердцу, гадаешь, а для чего же к тебе во снах приходят огромные рыбы, парящие в верхнем пласту воды, как небесные птицы, и зачем они на солнечном свете вдруг меняют свою личину, надевают маску оборотня?

...Сон — это мистерия, драматический театр по другую сторону занавеса.

3

...Не страх за сотворенные грехи, не раскаяние, не боязнь ответа, не плач заблудшего, но сердечная радость от умножения греха, нам, простым смертным, недоступная...

Нынешние властители испытывают радость от сотворения греха. Это полнейший сатанизм. Стояние в церкви, нарочитое, прилюдное, при свете софитов и камер, стояние со свечкой в потной дрожащей руке лишь подчеркивает их дьявольский цинизм и внутреннюю мертвенную окоченелость. Можно и нужно менять взгляды, когда внутри все взбунтовалось и душа не терпит прежних устоев, когда ужаснулся той низости положения, в коей оказался по своему бездушию и черствости; но тогда надо замаливать свои проступки, уйдя в тень, вовсе исчезнув из людского внимания, смиренно переживать, но не карабкаться вновь во власть, прилюдно каясь, и снова греша, и подличая, и в этой подлости находя

опьяняющий бесконечный праздник жизни... Нет, это чувство не православное, выморочное, вылезшее на свет Божий из аидовых теснин, и только стесненность народа, нежелание его проливать новую кровь и заставляет терпеть этих незваных гостей из мрака.

...Дорвались до власти новые революционеры с прежними партийными замашками и припрятанными партбилетами; в семнадцатом их деды обещали рай на земле и отняли все у богатых; их внуки, ограбив бедных, ныне вталкивают стенающих и плачущих в казармы нового рынка, уверяя, что нынче только ленивые живут плохо. Наглые снова жируют, совестливые — у подворотен. Наглые спешат, торопятся откусить пожирнее: они решили, что Россия — это громадная раскормленная свинья, и еще живую, орущую, ее разделывают мясницкими топорами. Боровой со стеклянным взором, вечно гнусавый, будто норки носа заткнуты стодолларовыми бумажками, предлагает самому себе быть смелее и решительней. Сильные, как повелось, крича о братстве, попирают слабых, вытирают о них "адидас" и сплевывают обертки "сникерсов". Морда рекламного шакала-сутенера, пожирающего соевый шоколад, есть образ нашего рынка с волчьим прикусом. Что им, новым ростовщикам и менялам, до русских заповедей, коими прежде жил купец: "Деньги даются богатым нищих ради..."

В телевизоре Борового сменил Чубайс. Он похож на химический карандаш: говорит одноцветно и бойко, и всякое слово его призавешено сиреневым туманцем лжи. Бедный деревенский человек, лишь призакрой глаза, и черт-те что можно вообразить даже самым скудным умишком; такие воздушные замки нарисуются, такая вожделенная жизнь окружит тебя и занянчит до горькой изжоги от паюсной икры с маслом. Но увы: откроешь глаза — и все тот же наглый Чубайс на экране со своей извечной ухмылкой простака и ерника, бывшего "комсы", представляющего Русь большим вокзалом, переполненным гулевым, стронутым с места людом, который запросто можно надуть в наперсток иль три листа; вглядишься в это рыжее лисье лицо, и сразу обещанная благодать превращается в тусклый мираж, и остается взгляду лишь серенький денек да огромная лужа середь улицы, припудренная сахаристым ледком.

И-эх, стервецы, мягко стелют, да жестко станет спать. Завлекают ваучером (и слово-то какое паскудное придумали), глянцевой бумагой с голубовато-розовым оттенком; рисунок хорош для обоев. Поплыли слухи из райцентра, что за "чубайс" там отваливают мешок сахару, а "черные" и ящика водки не жалеют, прямо с грузовой машины толкают в руки; иль документ воистину дорогой, иль водка совсем отрава. Старухи гостюют у

Лины и, одним глазом искоса взглядывая на телевизор и навряд ли чего слыша, гадают, как бы не продешевить.

...Баба Дуся отправилась в село за десять километров, где эту бумагу выдают лично и только по паспорту. По дому-то едва бродит, сердешная, а тут тащись в экую дорогу по катыхам и грязи. Но вот Москва обещивала по телевизору таких богатств за ваучер, не две ли машины "Волга", ну как тут не поверить сладким посулам? Не век же отымать, надо когда ли и долги ворачивать. Ведь власти слов на ветер не бросают, на то они и сидят на горе. И Ельцин — мужик сурьезный, брыластый, командирского вида...

Сапоги баба Дуся надернула косоротые, подошвы стоптаны, идет, бедная, на голяшках, в руке березовый отросток. Два раза по дороге пала. На пути мост через речку развален, перекинута по сваям доска, вся обледенелая. Ползла по ней на коленках, едва не сверзлась в омут. Вышла за ценной бумагой засветло, вернулась под вечер, пала на кровать, как пропадина, ног не разогнуть. Запричитывала: сдохну, а не подымусь до утра. Эх, миленькая, да как не встать-то? вон на дворе скотинешка зевает, есть хочет. Да и мысли-то заполошные скребут старенькую, хочется поделиться сомнениями с соседями. Как бы не объегорили, не объехали на кривой. Сухая-то ложка рот дерет, хоть и в старость, да хочется ее помаслить. Всю жизнь на конюшне в навозных сапогах, и на тебе, манна с неба прямо в рот. Обрядила козичку, сунула сенца, кинула курам пашенца и направила стопы к соседке Лине. У ней всегда людно, не изба, а постоялый двор, будто медом у них намазано, есть с кем посудачить о нечаянной радости, свалившейся в руки. Там и писатель ежедень торчит, он человек грамотный, прояснит, если где запнемся умом.

...Тут забрела на огонек Зина, батожок поставила у порога. Доползти до своей избы сил уж нет. Привернула обогреться. Баба зевластая, полон рот железных зубов, прямо щучьи зебры, уже от порога вскричала на высоких тонах:

"Линка, вачер-то получила?"

"Ой, Зинуха, получила, — отозвалась хозяйка. — Гад Ельцин заставил народ по-собачьи брехать. Пора идти в церковь причащаться, грехи отрясать".

Еще вчера Лина доковыляла до сельсовета, вернулась едва жива, не скинув пальтюхи, долго изучала доходную бумаженцию. Вачер — так вачер. Сгорбатилась на стуле в кулек, а давно ли еще как лось бегала по деревне. Все говаривала: я пешком-то ходить не умею, я никогда не устану. У меня, де, два сердца и оба железные, одно — с горы, другое — в гору. А тут за валидолом потянулась.

...И вот каждая смотрит свою цветную бумагу; щупают уголки,

проверяют на сгиб и хруст, читают, пытаясь понять смысл, нет ли в затее какой-то дьявольской подковырки. А с чего бы государство, которое никогда даровой копейки не кинуло, но драло последнюю шкуру, вдруг расщедрилось? Не иначе обманка тут... Умом-то бабы уже сгадывают о мышеловке, но доверчивое сердце веры хочет. (Ой, бабоньки, скоро сбудутся ваши сомнения, все затейщики приватизации, набив мошну ворованной дикой деньгою, даже упоминание о ваучерах выкинут из своего обихода, но будут публично садистски посмеиваться над простодырами: де, сыр даровой бывает только в мышеловке.)

— Ой, на станции давесь мешок песка за "вачер" давали. А нам кто чего даст? На стенку наклеить разве. Сами-то старье, сгорбатились все, эвон зад-то куда отставили.

— Ой, одна-то поживешь, дак на старости не раз про смерть вспомнишь. Де, куда ушла, смертушка, нас позабыла. Богу молиться, да отца-мать допокоить всех тяже...

— Помирать надо. Вот и "вачер" дали в гроб положить. А чего дальше хорошего ждать? Только плохого надо ждать.

Потолковали мои бабицы и с охами-ахами потянулись по избам, вечерять пора сиротеям — да и баиньки.

Хозяин сутулится у распахнутого окна, тянет свою неизменную махорную сосулю, за весь вечер ни слова не прогугнил. Сын Ванек растянулся на печи, смолит сигаретку. Он захмелен, нога на ногу, ему страсть как хочется поговорить. Лицо тощавое, в желвах по скулам, жидкие усишки над губою, в глазах скрытая бешенина от тоски и похмелки. Просил у матери стакан водяры плеснуть на каменицу, но та не дала.

— Вон в Москве... парнишка двенадцати лет по два "куска" в день имеет. Машины моет. Вот это жизнь, — бормочет Ванек.

(Помнится, я спросил у парня: де, почто ты за Ельцина голос-то дал? "А он мне, — отвечает, — свободу дал. Хочу — работаю, хочу — на печи лежу".)

— Какая это жизнь? Тьфу. Мякина, — вяло откликается мать. Ее сон долит, за печкой кровать разобрана. — Будет денежная болезнь. Малой парнишка, а гли, какие деньги. Ужас! Сопьется иль в тюрьму. Один конец.

— Болтай больше. Какая денежная болезнь? — огрызается Ванек.

— Вот и поезжай в Москву, будешь машины мыть. Денег там пропасть, не знают, куда девать. А нам тут и на хлебушек не давают, пенсию мурыжат.

— Не смогу...

— Тогда на кой тебе дикие деньги? Они ума не прибавят.

— Машину куплю, в ресторан стану ходить. Все одно конец света. Хоть год пожить. В шампани буду купаться, девок мыть.

— Эх ты, холостежь. Живешь один на миру, как ветер. Хоть бы о ком раз побеспокоился. Хоть бы о матери вспомнил, конфеток когда купил: на тебе, мати, килограмм шоколадных конфет. Или банку кофе. Я люблю кофе от давления.

— Жирно с... будешь.

— Тьфу, немтыря... Бывало, в Алексееве живал мужик, — вдруг вспомнила хозяйка, заулыбалась, и крохотные простиранные глазенки зацвели незабудками. — Вот он на кладбище, значит, старую часовню отремонтировал и стал в ней жить-поживать. Говорит, мол, близко хоронить. И завел двенадцать кошек и двенадцать собак. На такое вот число его поманило. Ходил по кусочки, собирал милостыньку и все зверье кормил. А когда помер, ужас как завыли собаки и кошки. Уж так они переживали. А о тебе, синепупый, никто не поплачет.

— Не-е, я-то нужон, — осклабился Ванек, уронил буйну голову, жидкая волосня закрыла глаза. — Это вы ноль, вам на свалку пора. Какие вам деньги? А я государству нужон...

— Кому-то нужон этот алкаш? — вдруг подал голос отец и с какой-то жгучей ненавистью, почти с отвращением глянул на сына.

— Алкаш, говоришь? Алкаш? Да если хочешь знать, на нас вся Россия держится. Понял, кокора? Без нас бюджет давно бы лопнул и все бы развалилось. А кто не пьет, те мироеды, кулаки проклятые, деньги жмут в кошельки. С ними верно пропадем...

— Господи, как он мне надоел, — глухо, с надрывной тоскою протянул Сережок, отвернувшись в окно, и в его усталом голосе просквозило столько неизбывной печали и страшного ожидания, что я невольно содрогнулся, мне стало зябко. — С радостью бы на кладбище с гармошкой проводил. И всю бы деревню напоил. Так он мне надоел, немой. Двух слов сказать не может. За моей спиной живет и убить грозит. Какое имеет право? Заколочу половину, живите, как хотите.

Как во все извечные времена, деревенский род кололся на семьи, молодые поджимали родителей, заставляли стариков делиться, требовали свободы распоряжаться своими кулаками, воловьими жилами, головой и скудными деньжонками. Да, но тут-то бессемейный, бобыль, распьянцовская головушка приступал к отцу, угрозами укорачивал жизнь, теребил нервы, надрывал сердце, раньше времени сталкивал в могилу. Сережок сопротивлялся, но чуя свою телесную слабость, упирался из одной натуры, пытался припугнуть старшими братьями, что прикатят по зову отца из города и приструнят бессовестного. Свара возникла неожиданно, в застолье, за стакашком вина. Уж забылось, что не смогли тогда поделить отец с сыном, но вражда вдруг стала неизбывной,

несносимой. Нашла коса на камень, и, знать, лопнуть тут источенному железу, не сносить обушка.

— Твой сын-то. Сам рожал, — вступила в застарелый разговор Лина, еще не зная, на чью сторону встать. — Правда, я рожала-то. Сыновей надо, как из брюха лезут, сразу душить... Ты, Ванька, поди от нас в другой дом. Ты почто за нами живешь, коли мы худые. Не ругай, он ведь отец тебе.

— Ломается, как копеечный карандаш, — бормочет Сережа, но голоса поднять не решается, давит обиду в груди, оттого она еще горше и неизбывней.

— Убью кокору. Нажился, хватит, — вскричал парень, мягко, по-кошачьи спрыгнув с лежанки, подскочил к отцу.

— Попробуй, убей! Сдам в милицию. Всё отнимут. И ружье отнимут.

— Убью. Нажился, — подскочил, пнул отца. Сигарета упала под стол. — Убить тебя надо. От тебя мочой пахнет. — И неожиданно Ванек опрокинулся на диван, заскрипел зубами, протяжно замычал. — Урод я... Зачем я урод такой?..

— Не урод ты, а хулиган и пьяница, — прижаливая сына, мягко посетовала Лина. — Пропадешь без нас-то, сынок. Вот убью, говоришь. Нарожаешь детей, а они тебе однажды скажут: отец, мы тебя убьем. Каково тебе будет? Вот, Володя, свобода-то дубьем по горбине. Как ошарашит, ни вздохнуть и ни п... Раньше-то на работу гнали, милиция приедет на дом, проверит. Крепко пьешь — в вытрезвитель на примочки, голову остудить. А нынче как? У власти огоряй, горький пьяница. А когда кот спит, мышам воля, всю сметану с крынок слижут... Ельцин народ в пропасть загонит и сам в ямку кувырк. Все не вечны. И с кого тада спросить?

Я промолчал. Сережа, шаркая огромными изношенными валенками, на коих от заплат не было ни одного живого места, пригорбясь, в своем несносимом полосатом пиджачишке похожий на подростка, потянулся за печь на покой. Сын, лежа на диване, положил пестрого кошака на грудь, стал гладить его и тут же забылся.

Я, понимая, что засиделся при чужих горестях, пошел домой; в избе за спиною сразу сгас свет. Ни огонька в деревне в оба конца, как в глухую студеную погребицу запехались хижи и принакрылись дубовой крышицей, чтобы до утра уйти из жизни. Лишь в моем доме, как на вокзале, пылали все окна, пятистенок, будто маяк на взморье, давал пути всем блудящим по выморочным предзимним дорогам. Небо вызвездило, раскалилось, над моей избой, как и в прежние года, после Покрова повисла Большая Медведица, из накренившегося ковша сыпало на крышу изморосью. Грустно вдруг стало от недавнего разговора, от одиночества, неприкаянно

как-то, словно бы последних печищан вот-вот оттащат на погост, и осиротеет деревнюшка, потиху иструхнет, исшает под невидимым огнем, и тогда кому же будет светить мой "вокзал"? А ведь когда-то зажиточная была, праздничная, работящая и гульливая; и где нынче березняки и сосенки наросли самосевом, вплотную уже приступая к дворищам, все было распахано во все концы на многие версты. Тяжелые тут вроде бы земли, худо родящие, бугры да пески, хвощи да болотины, но ведь каждый клок был распахан, каждая травинка даже в лесу была едомой для скотинки, и все приречные топкие низины с осотами в человеческий рост брались на косу и вилы. Сто восемь дворов стояло, да в каждом до десятка ребятишек, и все кормились с землицы и топора. Казалось, веком не извести могучего кореню, но вот город жадно выпил все соки, а после изгрыз становой хребет, почасту глумясь над кормилицей. Скоро снега падут, и протянется улицей бродная стежка, будто шерстяное прядено из клубка, оброненного из старушечьей горсти... Ну и что, сладко, иль гордовато, сытно, иль прибыльно русской деревне, что в этом веке она дала стране почти всех маршалов и генералов, академиков и министров, писателей и артистов? исчерпала весь родящий слой, чтобы остаться при конце века несчастной хворобной милостынщицей на церковной паперти. Да нет, ничем не отозвалось на земле от своих заблудших отростков: умахнули в города за счастием, да там и потонули, устраивая свою радость. Редко кто из сынов, чуя смерть, придет поклониться, да с тем и пропадет вновь.

...И власти, знать, никогда не услышат родственного чувства к деревне; в этих кругах издавна считается за доблесть похулять крестьянство за леность, корить за "дикость и крайнее невежество", за его общинность и терпение, за умение перебиваться малым и выживать в крайнем убожестве. А чем же народ отвечает на эту нелюбовь? Да христовенькие смиренно терпят нужду и просят у Господа поблажки за скудную веру, а у нынешнего царя милостыньки. Ельцина костят в каждой избе и кажинный день, только ноги не вытирают, а пришло время выбирать президента, гуртом побежали отдавать голос за него. И так-то бессловесные, насильно лишенные слова, они и голос-то утеряли. И почто Ельцина не выбрать в головы? мужик собой видный, не мельтешит, выпить любит, голосом гарчавый, хитер, бестия, всех облапошил; значит, начальником и урожен. Выбери другого кого, помельче, так и пенсию отберет, и петлю на шее затянет. Так по телевизору остерегают...

И неужель за эту наивную простоту журить крестьянина, которого дурят фарисеи с утра до вечера, не оставляют его душу во спокое? Пожили христовенькие семьдесят лет при той власти, хватили больше горького, чем сладкого, и коли она легко вдруг отложилась от народа, предала за собачий чих, оставила в беде, то, значит, и неискренняя была та власть, не от Бога, но

одна морока. Задурила людские головы, вскружила сказками, посулила сто коробьев счастья, загнала в нищету и в смерть два поколения, после и сама сгинула, как мары и кудесы. И притих народ, с испугом воззривший на мельтешение в Москве, где кикиморы и нетопыри вздели, укравши, боярское платье и прямым ходом кинулись в государевы палаты к кремлевским сундукам. Ой, завопило, заграяло от счастия воронье, а обманутый народ решил: вдруг новые управители толковее прежних, коли власть столь нагло перехватили? средь бела дня столкнув кучера с облучка; так, может, стоит подержаться за этих поводырей, и выведут они Русь из трясины на прямую дорогу? Эх, бедные, не знаете вы воровское присловье: грабить — так банк, спать — так с королевой. Лишь из воровского оптимизма и кодекса ростовщика и менялы сведут они вас, сердешных, прямиком в пропасть.

...Спи-почивай, рязанская деревенька; подымешься из сна раным-рано, а уж новые времена настали на дворе, блинами да оладьями вымощена светлоблещущая дорога. Подушка — золотая подружка, а сон слаще сахара. Это у заботливого да лихого человека подушка под головою вертится. А для безмятежного Господь подкладывает свою подушечку; для него и березовое полено станет мягче пухового сголовьица.

Где-то там, откуда прилетел ко мне неведомый серебристый шар, устало, в страхе засыпает Москва. Менялы во все ночи ведут пиры и подсчитывают прибытки, которые сулят новые времена, матери рвут волосы и оплакивают родименьких своих сынов, сложивших голову в "Белом доме" за русскую идею, чтобы на нашей земле русский дух не перевелся, чтобы запах процентщика не замутил вовсе шальной потерянной души, захмеленной от даровой деньги. Турки лихорадочно закрашивают сажные и кровавые разводья на белоснежной когда-то груди расстрелянного дома, но печаль и горе проступают из всех оконниц, откуда выметывалось пламя пожара и неслись крики сгорающих заживо людей.

...Накануне расстрела жене привиделся сон. Иду, говорит, по саду, деревья черные, нагие и как обугленные. Лежат вывороченные рядами. И мне, говорит, страшно стало. Но вижу вдруг, что возле каждого поваленного дерева пробивается росточек зелененький.

* * *

Из простой судьбы

Жил в Немятово мужик. Изобрел крупорушку, сам построил, — и просо драл, и гречиху. К нему народ-то и пошел. Тому надо, другому надо. Его и раскулачили в тридцать втором и сослали на Урал вместе с семьей и

тремя младшими братьями. Братья там и примерли... А он перед войной пеши самоволкой домой с Урала направился, на Рязань. Старшие-то дети сами шли, а двух младшеньких — один год и три — тащили на руках. А голодно было. Где побирались, где подрабатывали, где и на полях воровски накопают картох. Думают — не дойти до места; оставили детишек при дороге, так и так помрут. А те ревут. Оглянутся родители, сердце разрывается. Вернутся и заберут снова. К осени добрались до Часлово, здесь зимовали. Потом этот мужик уехал под Москву в деревню Сапогово, там вырыл землянку и всех к себе перевез. Сам после на войне сгинул. А детки все выросли. И такие ли хорошие...

4

...Каким же был мой приятель Сережок, Сергуня, Серый, Сергей Васильевич, когда я с ним сблизился? Давно это было, лет пятнадцать назад. За эти годы половину деревни на жальник оттащили. Земля не брезгует, всех к себе прибирает. Люди уходят чередою, чтобы на их место заступили свежие отростки, не траченные еще молью. Бог понасеял и убирает урожай: не отвертеться, не откупиться от смерти. Привычное дело.

Дай Бог памяти! А памяти-то никакой. Голова моя — худой неводишко, и все житейское знание провалилось в дырявый кут. Хорошо, что с тех времен остались дневники. Я был тогда сравнительно молод, охоч до писаний, сердце горело, руки зудели до работы, и каждая событийная мелочишка казалась значительной. И увы! в той простоте была своя правда: не записал — и улетела мыслишка, как фанера на ветру.

...Помню, из столицы попадал в этот глухой угол, где волею судьбы заимел случайное жилье; деревенька на острове в Мещерской стороне посреди изгибистой речонки, куда ни мостов годящих, ни постоянной дороги. Да и машинешки-то еще не было, а попажа в дикий край на своих двоих — дело натужное. На горбе рюкзачище с дом. Весна, распутица, зажоры и просовы на дорогах всклень полны снежницы, солнце ярится, и в сосновых борах настоялся хмельной дух, что каждую живулинку позывает к ератику, к любовной песне. Благословенное в природе время; коли зиму перемогли, то уж сам Господь велел дальше тянуться. На озере, утопающем в чаше, похожей на позлащенный потир, уже бережница широко выступила, подъедая с исподу лед, водица весело рябит, морщится от теплого летника. Там-сям в промоинах вскидываются щуки-икрянки, шуршат в тростниках. Так и хочется пасть на рыжий клоч травяной ветоши, уже просохший, шелковистый на ощупь, запрокинуть лицо в небесное водополье, где беззаботно плавают кучерявые барашки, и забыться. Но изба ждет, вседневные заботы подпирают.

Под домашним берегом, где лед еще держит, сутулится на корточках рыбак, снует удою; у лунки с десяток пестрых окунишек с мизинец. Сережок в безразмерных валенках с литыми галошами, на голове кроличья шапка, как сорочье гнездо, присбилась к затылку, на потный, собранный в гармошку лоб приклеилась кучерявинка темно-русого чуба без единой сединки: рожа зажарная, как тульский пряник.

"Клев на уду", — приветствую знакомца.

"Бить не буду, садись до груду", — Сережок поднял грустный взгляд. Значит, не захмелился, нутро горит. Какая же рыбалка без стопки под соленый огурец? Примешь рюмаху, и рыба-то другого калибра полезет на крючок.

"Как успехи?"

"Да вот, — кивнул на мелочевку. — Ее ловить, заразу, надо. Ее, этой пропасти, ой много в озере — поди, целые тыщи. Взять бы, Вовка, к примеру, невод большой, да перегородить все озеро и в одно место вытянуть. Ой-ой, что будет! Вот уха-то — высший сорт, всем наестись от пуза. Или бросить динамит. Потом на лодке езди и черпай. А еще лучше воду спустить..."

Сережок дышал тяжело, его мучила астма. Смотал скорехонько удочки, и мы потащились в деревню, то и дело проваливаясь в водомоины. Но с рассказами идти было куда легче.

"Слышь, Вовка? Насчет щуки-хозяйки слыхал? В каждом озере она существует и правит мелочью. Скомандует: "Эй, ершики да окунье! Гэть все ко мне! Шагом арш!" — и никто не смеет ослушаться. Такое это вещество. Иль опять скажет: "Я нынче тебя съем!" — и все. Точка. Никуда не деться. Куда без командира, верно? Вот помню Васяку Жирного, уже старик был. А я — клоп. Закинул он блесну, и ульнула щука. Мы с берега кричим: "Васяка, бревно попало!" Нам-то не видно, что к чему. А Васяка к берегу пристал, лесу через плечо перекинул и пошел в гору. Тут-то она и показалась из воды, харя бычья. Мы на берегу и сомлели. Васяка вытянул щуку на отмель, крюк-то и обломился. Старик не растерялся, прыгнул на рыбину, как на лошадь, в загривок вцепился: "Врешь, — кричит, — харя басурманская, не уйдешь!" А щука хвостом саданула, сшибла Васяку в воду — только шапка поплыла... Живет же на свете тварь Божья. Вот, Вовка, ты — писатель, должон понимать такое вещество, у тебя голова не наша. Наша голова — только шапку носить да шапку ломать... И у них, у рыб, свой порядок, своя милиция, свой сельсовет..."

"Ну ты скажешь..."

"А что?.. На Глухом озере и церковь на дне стоит, поп там службу служит. Я сколько раз звон слышал. И мне было угораздило на хозяйку

угодить. Я окуней, значит, таскал на блесенку. Живейное дело. Раз десяток кинул, и вдруг застопорило. Подумал: задева, ульнуло за корягу. А как стронул с места, щука-то и показалась, выстала из воды, как теленок. Прошла под лодкой — мне и страшно стало. Ах ты, думаю, пропасть, как бы мне от тебя отвязаться? Руки-то дрожат от страха, а поймать хочется. Я насмелился — и острогой в нее. Чуть ниже горба саданул, а острога отскочила, чуть не по лбу мне. ...Иди, думаю, живи, а меня не тронь. Может, и сейчас там, лед сосет, ждет дурака..."

"Нет той рыбы, что прежде. Глушат или травят?" — предположил я, чтобы поддержать Сережины байки. Разговоры как бы в спину подтыкивают, в полы плаща парусят. Воздух маревит над осевшими пыльными сугробами; над снежными гребнями, как подвешенные в воздухе, показались деревенские крыши. Вон и моей избы голубенький конек и печная труба чуть накось; жива усадебка, перемогла без меня зиму, и слава тебе Господи.

"Да не глушат", — отозвался Сережок. Нос у него утушкой, обгорел на вешней воле, а грудь не унимается, ходит, как поршни: хлюп-хлюп. А глаза с прозеленью, и в них шалует какая-то бойкая хмельная искра. Вот за эту-то искру, знать, и любили бабы бывалого плотняка.

"Может, и не глушат. Значит, в природе все идет на убыль..."

"Кабы глушили — слыхать бы. Это отдается, как самолеты летают. Гремят, воздух лопается, вот и отдается на мальке. А рыба — во плахи! — лежит на торфу и ртом чвакает. Надо маску надеть да в трубку длинную дышать и ту рыбу — вилами в бок... И полезай на сковороду в сметану... Думаешь, Серега глупый?"

"Да ничего я не думаю..."

"Я не глупый, я неученый. В школу ходил зимусь да осень. Все пастушил. Ой, Вовка, мать твою в кочерыжку, кабы четыре-то класса кончил, нынче бы в Кремле сидел. Сейчас бы постановил дорогу к нам в деревню провесть, чтобы присоединить наш глухой угол к общей радости жизни, а то сидим в болоте, как упыри. Второе — баклуши на болоте заселил бы карпами, а озеро Глухое спустил бы в реку, чтобы дать свободу той местности и свет. В Глухом, говорят, церковь провалилась. Там поп ходит и рыбу в церковь загоняет на проповедь. Вот рыбы много, а не поймаешь — она вся в церкви. Пробовали неводом ловить. За крест ульнет, поп ходит по дну и ячею ножницами обстригает. Вытянешь невод — а он весь в дырьях... Слушай, писатель, я тебе правду говорю. Для книги сгодится".

Сережок остановился, снова завернул толстенную сосулю, задымил самосадом, как самоварная труба.

"Вовка, мы тебя заждались. Думаем, где-то пропал наш писатель. Баба-то моя во снях тебя видела... Проснулась, говорит, завтра писатель будет. Гляжу, ты идешь... Я, Вовка, дом твой добро пас, все в сохранности. И книгу, что ты мне подарил, читал. Как ты здорово все пропечатал. Я первую страницу прочел, да в конце посмотрел... Ну все правда. Одну правду написал. Такой ты молодец, скажу тебе".

"Да уж какой там молодец", — с грустью выдохнул я, встряхивая на горбе рюкзак. Ноги стали как плети, вовсе разжижли, дыхалка сорвалась, а еще долгую лyговину надо перебрести, залитую водою. Пока ползешь до деревни, в душе не раз чертыхнешься: и дорогу маятную проклянешь, и дом свой, и тот случай, что привязал вдруг к этому дикому месту. И уж не бросишь ведь его, прирос пуповиною и, как птица по весне, летишь в свое гнездовье.

"Хорошо у нас, Вовка! У нас приволье, — воскликнул Сережок, и плутовская зажарная рожа его, такая добросердечная в своей широкой до ушей улыбке, вся рассветилась восторгом. — Краше нашего места не сыскать. Второго такого места Бог не создал. Ты, Вовка, только за меня держись. За мной не пропадешь. Вот осень наступит, болото горелое окружим, кабана завалим, мяса накрутим, котлет наваляем, под водочку ой скус-но!"

"Да ты мне уж сколькой год обещаешь, как и твой сын Ванек. А я даже печенки кабаньей не попробовал из ваших рук, не то сальца..."

"Эх, Вовка, милый ты мой! Все лабуда! Вот калина поспеет, двинем с тобой на Княжи тайными тропами. Только я знаю те места, каждую кочку знаю. Стадо там пас. Рябчики гроздьями на каждом дереве, а зайцы круглые, с барана, от жиру едва скачут. Хватаешь его за уши, дерг, он из шкуры сам вылетывает. Я было за грибами туда ходил, решил белый-то в ведро бросить, дужкой сгремел, а из-под куста лось как кинется, только лес задрожал. Надо было ведро на голову набросить. Лось-то и твой".

"У него рога страшные. С ним не шути. На Севере у нас говорят: на медведя пошел — постель готовь, на лося пошел — гроб теши".

"Лабуда, Вовка. И ничего страшного. На спину прыгай, обрать на рога — и гэть к дому! Сам привезет... Идешь, бывало, сухим бугром, а кругом болотца, и слышно, как утка крыльями хлопает, журавль ворочается, рябчиков — как воробьев, глухари прямь из-под ног, шапкой наловишь, сколько хошь. А калина там обливная. Я тебя тайными тропами поведу, ни один черт нас не сыщет..."

...Ну, приползли. Уф-ф! Натосковалась за зиму по хозяевам моя изба и уже погрузилась в памороку, как в летаргический сон, потеряв надежды на встречу. И ничто не отозвалось в ней на мой приход, словно бы каждый

суставец остыл, как у трупища, и соки древесные иссякли в потускневших бревнах. Прахом понасыпало с потолка, посуда заилилась, будто призадернулась невидимым жиром: студеные печи — как надолбы. Ау, где ты, хозяйнушко? как тебе жилось без меня, батюшко ты наш, домовой охранитель? Но избенко-то цело; значит, добро хранил житьишко убогое. Спасибо тебе поклонное! Сейчас печи протоплю, оттают все избяные косточки, и кровца заструит по жилам древесным, и стены рдяно задышат, замлеют, просыпаясь.

На кухню беремя березовых дров, в горенку беремце. Спичку под бересто; отсветы пламени из чела печи упали на окаменелый пол, лизнули половицы. Изо рта пар клубами. Холоднее, чем на воле.

Взгляд приковала картинка на стене. За зиму призабылась, а тут на тебе — краешек лета в невидимом окне, запечатленное утекшее время... Грибы разложены на столе, в миске красная смородина горкой, готова просыпаться; от киселицы пышет огнем, столько июльского солнца напитала она, до сердцевинных зернышек прокалилась. Жена рисовала прошлым летом. Все робела, а тут вдруг взялась за кисть, вспомнила прошлые уроки, и так ладно, радостно получалось. А ночью и сон ей приснился: "Вижу, — говорит, — белый конь с крыльями летит, а на нем люди. Я хочу туда, а меня не пускают. Потом сбросили лестницу белую, я ползу, ползу, а вниз посмотреть страшно. Взгляну и упаду. Так и не доползла. Опустили лестницу на землю. Вот ведь... Такая бесталанная, а коня с крыльями уже дважды видела. Значит, не вовсе пропащая..?"

Прикрыл печи, взял бутылек, пошел к соседям, чтобы дома не угореть. Захожу на мост (в коридор), Лина на коленях. "Лина, — спрашиваю, — что с тобой? тебе худо?" — "Да не худо, а грустно. Вспомнила, как в детстве на голове стояла. Вот и думаю: смогу ли нынче? Не смогла, старя корова, зад перевесил. Все, Володя, помирать, значит, пора".

Посмеялись, пошли на кухню. В окно льется кроткий свет предвечерний; только весной бывает ощущение вечности жизни.

Ванек лежит на диване, дремлет: на груди кошак разомлел, рокочет на басах; уши изъедены, морда в рубцах.

"Жидкого-то не любит, ему крутяка подавай, — говорит хозяйка о коте. — Набьет брюхо, как матрац, его и вагой не шевельнуть... Что, опять нажоратый, синепупый? На-жо-ратый... Мимо рта не пронесет".

Сын лениво открыл глаза в розовой паутинке, ухмыльнулся, увидев меня.

"Сбрось кота-то! Грудь помнет".

"Кот жизнь продлевает. А мне надо долго жить..."

"Ты хоть одну-то жизнь проживи толком. Ведь скоро закричишь: помереть хочу!"

* * *

Тем летом у Сережка корова сдохла, объелась на помойке резиновых галош. Не успели забить. Для крестьянской семьи горе без кормилицы остаться, да и деньги какие на ветер; считай, тысяча рублей псу под хвост. Выглянул в окно, Сережок поникло сидит на лавке под ветлой, издаля — сама печаль, во рту по обыкновению махорная сосулька. В домовину положат, он и тогда стиснет зубами табачную скрутку задиристого, своерощенного самосада. (Магазинные сигаретки не по карману.)

Пошел выразить другу сожаление. Едва накрапывало из тучи, влажный ветер шерстил траву. Сережок уже намахался топором. Смотрит на обложное небо, ждет дождя-ситничка. Тогда совхоз по боку, можно пойти на шабашку. Всегда живые деньги и рюмка у локтя.

"Будет-нет дождь-то?" — спрашиваю, отводя взгляд.

"Был бы дождь да гром, не надо и агроном", — бурчит Сережок.

"Как она пропала-то? — спрашиваю о корове. — Несчастье-то какое..."

"И ладно, Вовка. Это ведь не человек помер. Лабуда все".

Хозяйка за окном подслушала разговор, резко отпахнула створку, закричала на улицу:

"Тебе лабуда, все тебе лабуда. Мелешь чего ни попадя, дурень косоротый!"

Сережок смутился, побагровел.

"Может, стопочку?" — предложил я, чтобы снять у приятеля печаль. Горечь от утраты Сережок глубоко упрятал в сердце, но по нервности движений, по угрюмости взгляда видно, что мужик переживает, но не показывает вида.

"Нет, Вовка, с утра не пью, — твердо отказался Сережок. — Наработаюсь, а вечером приму. Скажу тебе, Вовка, водка хорошая, святая вещь, пользительная. Но когда с умом. — Дышал приятель натужно, со свистом, каждый глоток воздуха доставался с трудом. — Вот у меня астма. Помирал совсем. Бывало, прижмет, караул кричи. Выскочу на улицу, морозного воздуха хвачу — и вроде полегчает. Ну, думал, загнусь. Водка и спасла. Мне врач-то: ты-де не пей. А я с нее на ноги встал... Врач-то меня любит. Когда нужен больнице плотняк, он меня в больницу в Малахово вызывает и говорит: ты, Сергей Васильевич, лягь в больницу хоть на месяц, хоть на два..."

Тихо в деревне, маятно, как вымерло кругом. Небо никак не разродится дождем. Из гнилого угла сулило, да уж вроде и проредилась, изжижла туча, не пролившись. У ног Сережка суетится кура, склевывает невидимый сор с огромных разношенных валенок.

"Ах ты, тварь, Божье устроение. Тоже ись ей дай. Такое вот постановление. Ты помнишь, Вовка, росли у меня птенцы глухаря?"

"Ну..."

"Так все подохли. Кабы знал, чем кормят, послал бы телеграмму срочную, пусть совет дадут. А то пропало пять штук, были бы по пять кило каждый. Считай, два барана пропало. Это же мясо, и какое. — Лоб у Сережка собрался в гармошку от усердия, мужик подсчитывал потраты, а зеленоватые глаза хитро улыбались. — Бывало, Митрий глухаря убил, а найти не мог. Я иду, он лежит, глухарь-то. Ну, как баран. Вдвоем тащили его. Крылья раскинул, избу накрыть можно. Неделю вся семья ела, да коклет навертели. Мясо не скотское, древесиною отдает. В печь на сутки — и туши..."

"Полно врать-то тебе..."

"Пусть чирей на глазу вскочит, пусть черти истолкут в муку, коли соврал. Это не бяда, Вовка, что корова сдохла. Все хорошо, все лабуда. Бяда настигнет, когда помирать захочешь и не сможешь. Вот тут бя-да-а... Мы было плотничали на отходе. Баран бегает. Поймали его да и целиком в котел, прямо в шкуре. Лучше уваривается, пар не выходит, и запах не улетучивается, такое это вещество... Пойдем, по рюмашке тяпнем. У меня в заначе есть, и Линка не знает".

Сходил в баню, принес четвертинку.

"Буренку помянем, чтобы в рай ей прямиком. Там-то галош не обожрется. Там-то одни коклеты да кисели..."

Разлил по стопкам. Жена заплакала. Коровы жалко. Это как бы родного человека лишилась. Оттащили трактором за деревню, закопали, и вот нет скотинешки. Как теперь заживаться? где денег взять, чтобы купить новую?

Выпили.

"Все лабуда, Вовка, все хорошо. У меня такое устремление мысли, что жизнь хороша".

"Когда тяпнешь, у тебя все хорошо, зараза, — сердито прикрикнула Лина, вытирая фартуком слезы. Прикоснулась губами к стакашку. — Тьфу, касть. Моя бы власть, связала бы всех пьяниц да в болото кувырк... Ой, Володя! Я было спрятала самогонки три литра, закрыла банку пластмассовой крышкой. Мыша прогрызла и упала. Уже разлохматилась вся. Я хотела банку об угол. Сказала Сережку: через вас добрую вещь испортила. А он: нет уж... Мыша по хорошему ходит: по муке, по хлебу, по картошке. Она худого не ест, не то что мы. Процедил самогонку через вату, а у самого мандраж. Сидит у окна, видит, Сотский едет на велосипеде. Кричит в окно: "Валентин, самогонки выпьешь?" — "А х... лишь, чего не

выпить". Выпил, потер по пузу: "Хорошо пошла". И поехал дальше. А мой-то Сережок сидит, думает, помрет ли Сотский. Вечером тот обратно едет, на окно посматривает, вдруг дарового перепадет. Эх, мой-то обрадовался, давай причащаться..."

"И чего ты плетешь? Тебя спрашивали? Вовка, ты не слушай ее. Баба дура. Собака лает, ветер носит. Да и кто нынче не пьет? Только Христос, у него руки спеленаты, да телеграфные чашечки, они вверх дном".

"Пей в меру, сказал Неру", — напомнил я.

"Но пей досыта, сказал Хрущев Никита", — возразил Сережок.

"Не говорю — не пей, но говорю — не упивайся. Кто много пьет, тот не наследует царствия небесного", — напомнил я старинную заповедь постным голосом, как начетчик. Невольно подыграл хозяйке.

Лина поймала мои слова:

"Правильно, Владимир Владимирович. Твои бы слова да в их волосатые уши. Только не услышат, мыши там гнездо свили".

"Все лабуда, такое постановленье. Ты, Вовка, Линуху мою не слушай, она, змея подколодная, черт-те чему тебя научит. Пить-то почто не пить, правильно ты сказал. Выпить пользительно. Выпьешь — и возрадуешься. Бог радости не запрещает. Только ума не пропивай. Другой раз себе постановлю: дай напьюся в пропастину. А умом-то остерегусь, окрикиваю: гэть!"

"Думаешь ты умом-то, как же, — осадила жена. — У тебя весь ум на донышке стакана".

"А-а! сгинь ты с глаз, дай с умным человеком поговорить. Не слушай, Вовка, бабу, не будь подкаблучником. Ты живи, как я, главное, чтобы порядок, никаких нарушений в этом смысле... Вот я интересуюсь до тебя: как ваш брат писатель напивается? К примеру, взять попа — так до положения риз, стекольщик — вдребезги, мясник — по-свински, мы, плотняки, — в доску, сапожник — в стельку, портной — в лоскуты, печник — в дымину, железнодорожник — в дрезину, шофер — летит с тормозов..."

"До одурения, наверное", — сказал я.

"Так нельзя, — вдруг осудил Сережок. — До одурения — плохо".

Допили четвертинку. Отправился домой. Благо изба напротив. И подумал вдруг: до одурения, значит, нельзя напиваться, в одурении человек не властен над собою. И все же как упивается потерявший разум русский писатель? В гробину, вдрабадан, до чертиков, влежку, пластом, мертвецки, по-скотски, до беспамятства, в лист? Вот он — великий русский язык: даже свое падение надо обозначить народу, чтобы замедлиться на мгновение перед пропастью, куда падать жутко и желанно. Значит и гибельная черта должна иметь свое прозвище-приговорище.

...Вот баба все хулит Сережка, а видал ли я его праздным? Сережок работой опохмеляется, ему лишь бы того момента дождаться, когда пот пробьет. Сначала, как выйдет на заулок с восходом солнца, — ему и топора не поднять, покойник — и только, труп ходячий, в чем душа живет: лег бы и помер. Тюк-тюк-тюк. Уж шапенку на затылок присбил, слюна во рту закипела, но в горле горчит вязко, не сплюнуть. А трубы горят, будто разложили в брюхе костерок. Хоть бы пожалел кто, посочувствовал сердешному... Но вот словно бы просквозило нутро прохладою, пролилась небесная струя тонюсенькая — не толще волоса. И полегчало. Уф... Вот и дрожанье в руках поунялось, сердце заковало ровнее, с глаз спала мутная пелена, и едва пусть, но шевельнулось любопытство к жизни. Чиркнет Сережок ногтем по лезу топора — затупилось жало; давай скоблить его оселком, полировать до зеркального блеска. И словно бы подсмотрит себя в рукотворном зеркальце и устыдится: "Не мужик, а срам один". И скинет заношенный пиджачишко и рубаху (глядя по погоде), а в тощем теле ни жиринки, грудь сухая, птичья, но руки будто принадлежат другому человеку, свиты из бугристых жил, набиты железом. И так, покряхтывая, сменяя выкуренные самокрутки, станет мужик тюкать топором до вечера: тесать бревна, вырубать пазье, ладить стропильник, подгонять оконные колоды, вязать рамы, настилать полы, ставить срубье. И откуда только силы находятся в этом лядащем, далеко уже не молодом русском мужике? И так изо дня в день, из года в год, без отпусков.

Когда-то древнерусский монах советовал братии: "Трудитеся, и ваша жизнь протечет незаметно". Безбожный Сережок не слыхал завета, но прожил жизнь по этой заповеди.

Вообще городу с деревней не ровняться. На селе редко бывает пропойца, у кого крыша завалилась, избу повело на сторону, чтобы на горке в зиму ни полена, изгородь пропала и ни животинки на подворье, и чтобы хозяин последнее волок из дома на пропой. Есть один на деревню особенный выпивоха, кто уходит в долгие загулы, кому вроде бы все трын-трава, живет он одним днем, бобыль, но и тот на бутылку добывает не попрошайничаньем, но с топора, со своих мозолей. Да и деревня не любит пьяницу, она "алику" не подаст и ломаного гроша, хотя поможет тому, кто в беду угодил не по своей вине; но пьяницу, огоряя она выдавливает прочь укорами, вседневными попреками, как пасту из тюбика. Деревенский мужик любит выпить, что греха таить, он порою лихой питух и голову потеряет, наступив на пробку, но, очнувшись поутру, снова берется за работу, ибо в деревне, как в море на корабле, никто не сделает за тебя; это суровое проживание на земле заставляет мужика до последнего часа держать свой двор. Да и баба его суровит (в деревне

почти матриархат), и хозяин, даже самый крутой, у кого чугунные кулаки постоянно чешутся, жену свою тронет лишь в крайнем случае, когда баба со своим нытьем вопьется как овод в переносицу. Я спрашивал мужиков: де, почто ты под бабой-то ходишь, ведь подкаблучник? "Ну и хрен с ним, что под бабой, да зато спокойней". Жена не даст сойти с круга, она дозорит неустанно. Я за двадцать лет житья в деревне не знаю ни одного, кто бы зашился, угодил в ЛТП, иль замерз под забором, иль угорел от вина до чертиков и попал на Белую гору.

А где берет деньги на пропой такой огоряй? он же не тащит из комода от семьи последний рубль, не уносит вещей. Но он отдает часть своего труда деревенской вдове, старушишке-сиротее, "безруким" дачникам, калымит на стороне, и пускай жена косится и костерит, чешет мужа языком, вспоминая всю родову, клянет на чем свет стоит, но она и попускает хозяину, ибо запретить нельзя, ведь и самой, случится день, можно насидеться во вдовах и мужские руки ой как понадобятся.

Крутые пропойцы и "алики" обитают в городах; каменные теснины не только сводят с круга, но и позволяют такому человеченке долго тянуться по жизни, быть побирушкою, сшибать на бутылку; где и стащит такой несчастный, своорует, обманет, выклянчит, сдаст стеклотару, допьет остатки, подтащит в магазин груз — и ему перепадет всякий раз горькая капля, умирит душу. Этот бомж, утраченный человек, не сможет жить в деревне, он увянет, как осенняя трава.

И как бы ни желало безбожное государство споить своего кормильца-пахаря, сбить с копылок, кинуть наземь, выдавить за ненадобностью последний его родовой ум, но никогда не сможет, пока живет деревня, а в ней зараженный на работу мужик.

Крестьянин — сын солнца, жрец солнца, его слуга, его поклонник. Он получает от светила дозволения и силы, чтобы вырастить пищу, жратву (от слова пожирать, гореть), и снова отдает ее на заклание огню, чтобы питать его, поддерживать силу. Потому крестьянин живет по солнцу, по его коловороту и никогда не сможет выломиться из этого природного распорядка; иначе человечество до времени сойдет в землю. Вольный труд пахаря на вольной земле и творит, пестует его натуру, его обычай, этику и эстетику, оставляя хлебороба до последнего часа язычником, поклонником Солнца и огня (крес — огонь, крест — солнце). Лик солнца, являющийся рано утром на Пасху, — есть явленный образ Христа. И каков бы ни был крестьянин безбожник, и ухарь, и блудня, что и в смертный миг лба не перекрестит, но и тот в глубинной сути своей остается сыном Христа. Отсюда двоеверие, и нет ему конца.

Беда колхозов, что они вырвали крестьянина из природного ритма,

сотворили из него подневольного человека, не могущего распоряжаться своим трудом. Пахарь стал на земле наемным, байстрюком, чернорабочим, пролетарием. Социализм по городским чертежам интернационалистов хотел склепать нового безропотного, немого мужика... Но это от самого замысла было затеей безнадежной и безумной. Тяготясь ярма и нелепого безволия (по сути своей барщины), крестьянин, отупевая, стал попивать втихую, часто таясь от жены своей где-нибудь на замежке польца, под копною, когда близко нет бригадира, на лесной делянке, в каптерке мехмастерской, за углом склада. Общее бескрайнее поле по древнему верованию никак не могло стать своим, личным, согреть душу, ибо оно ничье, Божье, бесхозное, отчего вовсе не грех унести из сусека, с гряды, увезти бревно из бора, наловить рыбы в реке, свалить лося в леших ухожьях. Эта наивная отстраненность общего от своего, личного и деревенского (мирского) позволяла с легкостью совершать те проступки, кои и в прошлом веке не могли понять городские судьи и следователи... Нельзя у соседа украсть и клочка сена — это будет воровством, за это примерно накажет мир своей рукою; но почто бы не изъять из большого малое, когда не страдает душа и Господь попускает, опустив глаза, когда не нарушается дедовский первобытный закон, коему из века подчинялась земляная Русь? Колхоз пытался ввести новый кодекс чести, написанный государством пролетариев, но он так и не стал тем сводом заповедей, по которому, мудрствуя всяко, пыталась жить деревня. Пролетарский закон не прижился, зато мужик все дальше отстранялся, уходил от земли, забывая природную неписаную науку; но покидал родову свою не в одиночестве, но припрятав поближе к сердцу бутылек... Более сильные натурой укрылись в своем подворье, за высокими воротами на личной усадьбе; скрывшись от чужих глаз, стали пестовать в себе прижимистого хозяина нового времени. Но вот насильно созданные колхозы волею новой власти были рассыпаны, и остались бедные наши крестьяне на юру без прислона над головою, под немилосердной грозою. Закрылись шапчонкой сердешные, потупили взор, притихли пред неведомым, — и ни одного всплеска недовольства по России. Замгнули глаза, сосредоточились в себе, храня последнее тепло... Так проснется ли мужик? — спросите вы меня. Да! некуда ему деваться; но сколько долгих лет понадобится, чтобы очнулся он, вспомнил себя забытого во всех житейских малостях. Что сказать: крестьянин пьет все больше от неуверенности, бессмысленности и тоски, затормозив у крайней черты, куда скатываться уже опасно. Колхоз надломил мужика, а новый порядок ростовщиков, менял и процентщиков, снова обманув, пытается внутренний стержень вырвать с корнем, чтобы русская деревня пустилась враспыл, тупой и дикий загул.

Ну а где эти дедовские заветы?

"Не говорю — не пей, но говорю — не упивайся... Пей радости для, ибо вино — кровь Христова. Не проклято вино, но проклято пьянство. Ибо кто много вина пьет, тот не наследует царствия небесного".

Душа мужика не слышит этого небесного окрика, ибо безбожный человек так и ищет под ногами, как бы наступить на пробку, чтобы во хмелю поскорее прокоротать день.

5

Из простой судьбы

...Парень в армию собирался, ходил с Райкой из Уречного и ничего промеж них худого не было. Как уходить в армию, это было перед Пасхой, а Пасха была поздняя, пятого мая, уже скот выгнали, он записался с Райкой, сходил в сельсовет, но свадьбы играть не стал. Сказал, вот вернусь из армии, и если ты не провернешься, то и сыграем, а коли провернешься, то и горшки побьем.

На пятое мая гулянка, парень выпил стопочку и говорит отцу: "Папа, я пойду посплю". Ну, полез на сенник, подушку с собой взял. А Ионыч, да Райка, и жена Ефросинья пошли догуливать к родичам; думают, пусть сын поспит, выспит, человеком станет. Сколько-то посидели в гостях, слышат, стадо по деревне, погонялка захлопала. Спохватилась Ефросинья, говорит, пойду корову загоню, подоить надо, вон ревет сердешная. Подошла к дому, а с сенника сын спускается по лесенке. Спрашивает, где Райка, а мать-то и говорит, что Райка с отцом в гостях. Помрачнел, глаза опустил, зашел в дом. Долго ли корову-то подоить, спешила, что-то сердце расходилось. Вернулась в избу, а сын на полу лежит, только ртом три раза колыбнул — и уж всё. Дырка, как горошина, на тенниске. Привязал веревку к курку мелкашки, да и наставил под левую титьку. Зачем, пошто стрелял? никому не сказал и никакой записки не оставил. Но накануне у лав говорит сестре, когда расходились по домам: "Давай, сестра, поцелуемся на прощанье". — "Да ты что, какое прощанье? я же никуда не собираюсь уезжать".

* * *

...Ефросинья тогда потеряла сознание, и в том беспамятстве было ей видение. Показался золотой столб до неба, люди в белом ходят вкруг него, дружно взявшись за руки, и музыка волшебная играет. И так хорошо было ей, что не хотелось приходить в разум.

Когда очнулась, вдруг захотелось напеть эту музыку, и не смогла, хотя мотив стоял в ушах. Под эту музыку и сына схоронила, а после заболела-заболела и уж вовсе не справилась. А музыка так и нейдет из головы. Последние два года с койки не вставала, Ионыч из-под жены убирал.

И вот померла сердешная, отмучилась. Перед тем Ионыч видел во сне, как по реке гроб плывет. Утром он сказал крестнице: "Завтра жена помрет". Так все и случилось. Ефросинья скончалась на Покров в полдень; тем же часом вся деревня узнала худую весть. Печальные звуки, какие бывают лишь, когда ладят гроб, гулко поплыли по распаху широкой улицы, заскакивая в каждое дворище. Это Сережок взялся ладить Ефросинье последний домок.

Раньше в этот праздничный день вечером девки гадали и пели: "Батюшка Покров, покрой землю снежком, а меня женишком". А нынче тепло стоит, жара под двадцать, мухи ожили, такие стервы, яростно звенят до темноты. Туман стелется над землею, а в чистом небе звезды с антоновское яблоко, и странно, что они не осыпаются вниз. Небо пыльное какое-то, в долгих пролысинах, но земля черна, как деготь, как вар; дома утонули в темени, и ничто не выдает их присутствия. Стоя посреди улицы, вдруг познаешь уж в который раз, как мала наша земля, и вся-то она, оказывается, вмещается в эту деревнюшку на сорок изобок, которые на убогой лодейке, подъятые вихрем, мчатся по крутосклону меж неотзывистых звезд в райские ли кущи, иль прямо в адову бездну? Аж свист стоит в ушах, и ветер заворачивает седую бороду. Куда мчимся и зачем? — один Господь знает это и потому наш извечный вопрос оставляет без ответа.

И только высоко поднятая за туманом песня возвращает взгляд к земле, к мирской юдоли. Там, где лес приступает к избам, за гумном на замежке картофельника мается, не спит Марфутка, и ее шального горлового голоса не может схитить даже ночной сырой туман: "Ты накинь мне, любимый, на плечи из Рязани пуховую шаль..." Песенница нещадно перевирает слова, но навряд ли они и нужны ей, ибо она слышит лишь свой тоскливый воп, пространственно откликающийся в борах.

Марфутке за пятьдесят; оплывший щетинистый муж лежит на кровати, умостив на приставленном табурете толстую, как бревно, давно гниющую ногу, покалеченную еще на войне; а она вот, эта неугомонная бабица, нарожавшая кучу детей, поет ночами, мечется и мучается в ожидании любви. Но никто не услышит зова, не подойдет, не утишит. Так лишь кажется мне?..

А на другом краю деревни едва проблескивают в ночи зашторенные наглухо окна в избе Ионьча. Сам старик сидит за столом, обнявши бутылку. В гробу лежит Ефросинья; Люська Дамочка стоит в ногах усопшей, читает псалтырю, с трудом шепелявя по слогам сквозь толстые очки.

...В полдень покоенку вынесли на улицу. Всех мужиков-то осталось шестеро. Начетчица из Норино, старуха лет восьмидесяти, согнувшись вдвое, вытащила деревянный крест с иконкой Богоматери; за нею появился Володя, пенсионер из Рязани, водрузил на лысую голову крышку гроба, обтянутую черным крепом. Володю покачивало от груза, а бабы, опасаясь за его здоровье, послали на помощь Толю Храброва. У него луковицей, совершенно голая головенка с редкими перьями волос на затылке; сквозь сизую кудельку просвечивает огромная, с куриное яйцо, бородавка. Толя перенял крышку у старика и радостно засмеялся. Потом вынесли гроб, поставили на табуретки. Стали разматывать полотенца, на которых следовало нести гроб улицей до лесной опушки, и тут выпал старушечий сверток. Платок развязался, в нем оказались деньги, скопленные покоенкой себе на похороны. Знать, лежали в смертном, но как-то не угодили под руку, когда обряжали Ефросинью. Случилась заминка. Подскочила первой сестра Ионыча, маленькая бойкая старушишка, ловко так подхватила узелок и сунула в карман. Ионыч, стоявший осторонь, побагровел, отвисшие щеки затряслись. Он подошел к сестре и строгим голосом бывшего батальонного командира приказал: "Отдай скоро! Это я тебе говорю! Я хозяин, поняла? Я хозяин в этом доме!" Все ожидали неприятностей, ссоры, но сестра покорно вернула деньги.

И вот народ двинулся, буровя ногами песок, молча потрусили собаки, стороной обегая тощий ручеек людей. Начетчица затянула: "Боже святый, Боже правый, Боже всесилый, помилуй нас". Люська Дамочка подхватила ее тонявый напев высоким голосом. Пристала к стихире Марфутка, еще выше вскинула канон, будто пела не похоронный причет, а любовную песнь. Она раскраснелась, глаза ее влажно сияли. Но никто из провожающих не заметил этого разнобоя.

Гроб несли вшестером, вся наличная мужская сила. Бабы вели свою деловитую говорю буднично и спокойно, как бы репетировали свой грядущий неизбежный уход, и ничто в голосах и лицах не выдавало печали. Лишь подвывала с надрывом старшая дочь Ефросиньи и часто оглядывалась на баб, словно спрашивала, ладно ли она горюет, с надлежащей ли силой. Что говорить, мать изболелась, излежалась на койке до пролежней и смерти ее уже ждали.

"Покойники всегда тяже живых. Особенно покоенка была пухлой".

"Нас-то уж и некому будет нести. Погрузят на машину и отвезут кочерыжек, чтобы не пахли".

Несколько раз останавливались, подкладывали под гроб табуретку.

"Не спешите, пусть поглядит на родную деревню в последний раз".

В конце улицы старухи неторопливо простились с Ефросиньей, целовали восковое с зеленью лицо, бумажную иконку на груди.

"Передавай привет нашим родичам и подругам. Прощай, Фрося. Поди, да не возвращайся".

"Как не возвращаться? — возразила Дамочка. — А кто за нами-то придет?"

"Кто-нибудь да придет. Найдутся", — ответила древняя баба Прося и постучала перед собой батогом. Она сбледнела необычно, и рыжие старческие веснушки на лице стали черными, набухли.

"А она и придет, более некому. И скоро придет, не замедлит". — Дамочка занизила голос, заоглядывалась, и я так понял, что было видение и надо ждать днями нового покойника.

"Всех бы нас, колобашек, в одну ямку, чтобы зря не волочиться..."

Ящик поставили в кузов, подстелив сена; машина скрылась в лесу. Крохотная горстка печищан осиротела, еще более поредилась. Никто из старух не плакал, не стенал, покоенку уже забыли вроде бы, судачили о житейском; медленно тащились к осиротевшей избе, где были собраны поминальные столы.

Деревья с шелестом раздеваются, отрясают уже мертвую листву; опадает погребальное платье, рассыпается еще в воздухе на пестрые косячки и покромки, и это рванье с шорохом катится по улице, ненадолго покрывая лужи цветной скатеркою. Но как светло и необычно тихо в тревожном ожидании перемен. В ближних березняках пахнет отчего-то баней, мокрым веником, закисающим грибом, долго отмокавшим в кадушках и готовым к засолке. Пахнет груздем, волгуницей. Но самое смешное, что гриба-то не видно. Он за эту неделю иссяк, источился, и эти бесчисленные орды чернушек, маслят и козлят, эти красные мухоморьи полки вдруг как сквозь землю, как бы приснились. Все-таки как странна в своих чувствах мать-природа.

Вот и небо охладело, и постоянный светло-розовый туск выступил по дальним покатям на окоеме. Там рождалась зима, она-то и несла сюда непередаваемый грустный свет. Рыжие осоты, глубокая неохватная чернь бочажин, глухая темень позднего утра, когда вороненые вершины боров четко и траурно выпячиваются из ночи, — все это предвестие грядущей зимы, сна, оцепенения, но и знаки последнего тепла, когда в полдень бабочка-траурница, залетевшая из лесу, трепещет прозрачными слюдяными крылами, а ночью Большая Медведица уже стыло сторожит землю.

Вот она, вещунья, повторяя изгиб песчаной дороги, вылетела из той укромины, куда только что отвезли Ефросинью; будто повязанная черным монашьим платом, с креповыми пятнами по крылам, похожими на восточные глаза, бабочка бесстрастно, не убоясь, обогнула меня и середкой деревни подалась к избе, где шли поминки. Но она не успела к гостевым

разоренным столам, ибо мужики уже напоминались, приняли на грудь решительно все, что было поставлено; но им показалось мало, и они на похоронной машине тут же покатили в соседнюю деревню, где около магазина на сухом бугре над озером окончательно добавили, и многие пали там, где одолевало их богатырское вино. Да и много ли старичищам надо? Тремя стопками уже так ошавит по темечку, будто чугунным пестом угостили. Эх, где они, былые времена? За молодостью не угонишься, от старости не убежишь...

Но душа Ефросиньи еще не отчалила в небесные кущи, где пьют легкое вино и угощаются пряниками печатными, а незаметно Божьей птичкой притулилась в густой розвеси ветлы и гулькает, подслушивает, что колоколят внизу товарки, усевшиеся на скамье.

"Настрадалась, сердешная. Только и молила: Матушка, не оставь мучиться, забери к себе. Вся в пролежнях, как бревно. И до последнего часа в памяти. Мужик-то уж с нею намучился..."

Мимо на шатких ногах протащился Ионыч, голова его тряслась. Согбенный, уткнувшийся взглядом в землю, с бурым, как кирпич, лицом, он навряд ли кого видел сейчас. Голубенькие глазки до самого дна были забиты слезой. Бабы сразу перекинулись на него.

"Это редкий мужчина за парализованной женой будет ухаживать. Молодец, каждый день ворочал. Твой-то не будет, не дождесся", — поддела Люська Дамочка Лину, заметив в окне задумчивого Сережка. Тот по обыкновению будто и не отлучался никуда, торчал у приоткрытой створки, задумчиво чадил цигаркой.

"Будет, куда денешься. Вонять станет, дак прижмет..."

"Вот и не будет. У мужика чуть насморк, он весь исстонется. А баба, хоть помирай, мужик уж не спросит, что с тобой..."

"Ой, миленькие мои! — воскликнула Панечка, встряхнула сивым хохолком, выбившимся из-под черного плата. — Говорят, как в гроб оденут, в том и пред Господом встанет человек".

"А мне и лечь-то не в чем", — с испугом призналась Лина.

"Возьми мое шелковое", — великодушно предложила столетняя мать.

"Не надо твоего стекла... Мне Володина жена сошьет. У меня и материальчик припасен лет двадцать назад. Все лежит, ждет часа".

"Небось сгнил?"

"Может, и сгнил. И ладно. Положат, а там не работать. Все перегниет, земля свое возьмет..."

Замолчали, попритухли, как беспечальная заря, разошлись по избам, подпирая себя ключками. Досада иль какое-то разочарование вдруг навестило меня, приожгло сердце, и я с неожиданной пристрастностью,

копошливо пообсмотрел сиротский распах улицы, выискивая в избах особых проторей и проточин, чтобы эту досаду за неурядливость перенести и на людей, так мелко, беззубо живущих на земле. Их живьем в ямку сталкивают, а они и не взъерепенятся, не подымут гонору, выстелились, как трава под палым деревом. Живут же грешные, не озаботятся о душе, безмозгло, малость маракуя лишь о дне завтрашнем, сожигают единственную жизнь брюха ради, на сухом хворосте насущных забот, и рады, коли удалось сыто позобать мясца, испить винца, возрадоваться, коли картохи и огурца Господь понаровил, скотинка отелилась ладом и гриба засолена кадушка. Зима обжорна, много чего ей надо.

Боже мой! и закоим так жить, коли не видеть чуда? Ведь только в последнее время свершилось два неповторимых случая. У девяностолетней бабки Анфисы (что в избе напротив), у коей голова облысела, как коленка, нынче вдруг выросли шелковистые густые волосы, и дочери заплели матери косички. И над деревней пролетел огромный сияющий шар, как тревожный вестник. И никто не заметил, никому не в диво...

...Милый ты мой! Да печищане твои еще более тебя подвержены чуду! Только им не в диковинку, что промчал над избою серебряный вестник иль что у старухи выросли волосы; в природе всякой блазни хватит на всех, стоит лишь напрячь память. Но диво для крестьянина каждый раз, если урожай добрый удался, если день без тревоги и потрат прожит и у детей все ладно. Тому и Бога молят и благодарят со слезою: "Слава те, Господи, опять день прожит. Понорови и утра дождаться".

...Слышно было, как хозяйничает на дворе Лина, обряжает корову, окрикивает ее, струнит с теплотою в голосе. Вот и вечер навалился с тугим, хлопающим по крышам ветром; старая ветла заскрипела, роняя последний лист. Значит, быть ночью дождю. Нанесет с гнилого угла. Оглянулся, в моей избе окна светят, как на почтовой станции, жена ждет, детей пасет, угорела вся, спасу нет. Опомнился, пошел к Лине за молоком. Присел на минутку, одним бочком притулился на диване; а коли замедлил, то и присох.

Сережок, будто прикованный к окну, смолит цигарку. Гроб, сердешный, ладил, могилу копал, по двору обряжался да еще рюмаху принял — вот и раскис на стуле. Глянул на меня — едва узнал приятеля: щеки к деснам прилипли, и нос, прежде утушкой, вдруг дулей синей выпятился на лице, волосня свалялась, и две белых шишки на темени проглянули сквозь редеющую шерсть.

Лина сутулилась на приступке печи, как куренок; поймала мой взгляд и сначала сурово, отчужденно укорила:

"Опять нажоратый... Нос посинел, значит, хорош".

"Отвяжись, худая жизнь, привяжись, хорошая..."

"Бу-бу-бу, черт каравый! — вдруг засмеялась Лина, и глазенки ее по-младенчески засияли. — Ой, Володя, он нынче острогался, как нож у плуга, куда что и подевалось, смотреть не на что, и ноги — как палки воткнуты... А прежде-то мордастый был. Как поженились, харя во-о! Красная, широкая, как репа".

"Уйду от вас... Избенку срублю в огороде, живите, как хотите. Вот ты где у меня, ворона". — Сережок рубанул ладонью по шее, отвернулся. Загривок впалый, изрубленный морщинами, как худой сапог. Но Лина поддалась на угрозы. Она тоже на поминках хватила винца с ноготь, душа ее растеплена, падка до воспоминаний.

"Да... Сережок-то гладкий у меня был, как боб. Это сейчас изветрел, изморщинел, как гороховый стручок без ядер. А прежде огняный был, так и пылал жаром. Это нынче весь огонь вышел, осталась одна грыжа да пустой кисет".

Лина хихикнула.

"Дура... Какой кисет? В зеркало-то глянь. Одна труха..."

"Он по бабам-то ходок был отчаянный. Куда ни пойдет, зараза такая, плотничать — везде у него баба. В каждой деревне полюбовница. Будто ширинка медом намазана. Он в Москве был после войны, что-то там строил. На заработки, говорит, поеду. А у меня Толику третий месяц и Володьке два года. Всё парничков мне стряпал, гончей породы. Однажды приезжает из города соседка Нюраха и докладывает: "Ой, Линка, езжай скорее в Москву, мужик-то у тебя по рукам пошел. Как вечер — так гармонь в охапку и на всю ночь гулянка". Я и поехала семью спасать. На перроне-то выхожу из вагона, а мой кобелек с гармонью стоит, куда-то намылился, а меня не видит. Я как с неба ему на голову. Я его за хребтинку-то раз, и говорю: "Ты куда это настроился, кобелина?" Он глазами хлоп-хлоп, отвечает: "Я ничего не заработал". Думал, я за деньгами прикатила. Я ему сына в руки и говорю: "Хватит, нагулялся, а ну, живо домой!" Привез с заработка мешок гороху. Ну, кот, ко-ти-на же был".

Сережок кисло улыбнулся. Язык, как шерстяной, цеплялся за зубы, говорить не хочется. Да чем-то жена задела за сердце:

"Бабы, Вовка, такое сомнительное вещество... Бабы — вещь пользительная, рожают, стирают, щи варят. Без них нельзя. Есть с кем слово сказать. Пропадешь без бабы, верно тебе говорю... Если просят, чего не помочь? Не убудет же с меня. Наше дело не рожать... Я этот бедный народ всегда жалею".

Лина слушает внимательно, мотает на ус, и, что бывает не часто в последнее время, глаза ее светятся восторгом за благоверного. Она даже

гордится, что был муж нарасхват и бабы за него дирывались... Боже мой, подумал я, глядя на пониклого удрученного мужичонку: да про него ли, изработанного, изжитого до каждой жилки, у кого один нос остался да две шишки на голове, идет сейчас разговор?!

Но Лина для виду строжится, чтобы не потерять власти и показать гостю, что муж у нее под каблуком.

"Ха, он жалеет кислое место. Жалельщик выискался! Тебе только рюмку покажи. А уж за бутылку-то готов с сарая на борону голой задницей прыгнуть".

Нет, напрасно Лина хулит мужа. Уж под семьдесят подкатило, а по первому зову, не ломаясь, как прочие мужики, мчится Сережок на подмогу, не в силах отказаться. Постоянный, верный он услужник деревенской вдовевековухе и старухе-бобылке. Изгородь ли починить, веранду ли поставить, баньку срубить, окна окосячить, сбить ли пол, выкосить огород, кабанчика ли заколоть, овцу зарезать, лесу навалять, валенки подшить, дров насечь — все идут к нему. И столько наобещает, сердешный, по мягкости натуры, столько насулит, такой тесный хомут на шею натянет, что только охнешь: но, промедлив какое-то время, вздохнет лишь тяжко: де, надо идти, куда деваться, раз магарыч выпит — ведь данное слово дороже злата-серебра. Хотя и своя большая усадьба требует неусыпного надзора.

Что ни говори, но руки у Сережка выросли из толкового места, он был настоящий рязанский "плотняк косопузый", исколесивший с топором вдоль и поперек не только свою округу, но и срединную, самую-то нищую Русь: бывало, что скотиний двор рядились поставить за два пуда муки и тому были радехоньки.

Вот за отзывистость и за безотказность величают деревенские женоченки моего приятеля: Сергей Васильевич.

"...Очнись, Лина, — заступаюсь я за друга. Жалко, как клюет его благоверная, сниклого и беззащитного, с наволочью тоски в проваленных глазах. — Что ты мужика треплешь, налетела, как ворона на падаль. Мужик-то у тебя отбойный, зараженный на работу, как лошадь пашет, копейки из дому не унес, даровое пьет... Вот погоди, помрет (тьфу-тьфу), да поживешь одна, помотаешь сопли на кулак — тогда поймешь, каково вдовой-то быть. Ветер по усадьбе засвистит, в каждую щелочку полезет, да как начнет истиха все рушиться, тогда небо с овчинку покажется. Не нами молвлено: "Жена без мужа — что храм непокровен, до одного ветру стоит. Ветер подует, и храм тот порушится".

Лина отворачивается равнодушно, до нее увещевания не доходят. Но говорит устало, без зла и надсады:

"Пьянь, тьфу, скотина. Да лучше одной жить. Локтем перекрещусь:

помрет, дак". — "Ой-ой, спроси-ка у матери, легко ли ей пришлось, военной вдове, вас шестерых подымать?" — "Чего-о?.. Да она тяже моего и не живала. Ей под сто, а она, как куколка, без батога ходит, нам до таких лет не дотянуть. Только и знает нынче, что таблетки горстями глотает от головы". — "Лина, очнися. Ну как ты про мать свою говоришь такое? Дом в войну сгорел, муж погиб, жили в бане, вас шестерых вытянула, не дала помереть. Дояркой работала, надсадилась, грыжа выпала. И это легко?" — "Легко, — твердит свое Лина. — Не я одна, все так говорят, что легко досталося. А кабы тяжело пришлось, разве бы дотянула до стольких лет?" — "Значит, судьба целый век коротать. Не она свои годы выбирала".

Лишь на мгновение, старенькая, задумалась; глянув на сухое, исчерканное морщинами обличье мужа, вздохнула:

"Да и то, Володя, не нам свою телегу выбирать. На какую Господь повалит, на той и поезжай. Вон Тонька Васечкина часто говорила нам: "Пока толстый сохнет, тонкий сдохнет". Она толстая была, мясная, а я всю жизнь тонявая, как ухват. А нынче иду, она на лавке сидит, выгорела, как свеча. Кожа на ногах в гармошку. Говорит: "Врач сказал: жить будешь, только лучше кушай". А я что съела, то обратно. Почему обратно-то? Я ести хочу". Говорит, а в глазах тоска. За нею-то скоро и вернется Ефросинья, с собой заберет".

"Но зачем смерти-то сулить?.."

"А то и сулю, что пьет, старый, и курит. Табачины изо рта не выпускает огоряй. Ишь нос-от посинел, скоро отвалится".

"Пусть пьет и курит, — осаживаю я Лину, — но зачем смерти сулить? Ты здоровья сули".

Лина погрозила мне пальцем: де, говори, но не заговаривайся. Бросила испытующий взгляд на Саваофа, густо обсиженного мухами, выцветшего до густой чайной желтизны, убранного в пестрый венчик из бумажных цветов, потом метнулась глазами в горенку, где висел портрет молодого Сережка. И верно, что мордатый, кирпичом не промахнешься. Рядом карточка покойного старшего сына в простенькой черной раме. Это близкое соседство несколько смутило Лину.

"Ага... У Дуськи мужик такой же шалтай. Дуська ему кажинный день смерти молит. Хоть бы, говорит, утоп иль под машину попал. Поревела, да из ума бы вон. Я-то говорю ей: дура, ты Бога молишь, чтобы смерти ему наслал, а Бог-то и пасет его. Моли больше, еще дольше проживет огоряй. Володя, ты умный, а мы по дурости своей живем... Нас, колченогих, поздно переделывать. Совсем кочерга стала, сгорбатилась, зад-то эвон куда отставила. Тяжелая стала, мяса-то нету, а кость — как свинец. Как взяла посох, поехала на посоху, так и баба Яга. Никак не поверю умом, что

старуха, будто все в молодых числюсь. И ты, дедко, все за молодого себя принимаешь, а уж шерсть на м... седая, каравый черт".

"Ну, Линка, притуплю я тебе язычок. Он у тебя, как сверло. Погоди, я тебе наждаком сточу".

"Ага, сточи, точильщик. Это вы, немтыри, на ходу спите. И слова-то у вас, как овечий помет... Нет, Володя, одной-то хорошо жить, без забот. Знать бы — и детей не надо, с има одни нервы. Захотела — поела, не захотела — голодной спать легла. Кто без детей, они для себя живут, горя не знают. А тут пьянь на пьяни. Чтоб сдохли... Вон тоже дрыхнет, жеребец! — она сердито кивнула на печь, где за занавеской посапывал хмельной сын. — Парней-то сразу надо давить, как выпадут, чтоб не заживались. Они почто-то так и лезли из меня, дьяволы, хоть веретенкой матницу зашивай. Помню, невдолге снова понесла. А голод, денег нет, на трудодень лежачая палочка. Помнишь-нет, Серега? — миролюбиво обратилась к мужу. Тот, пыхтя цигаркой в окно, молча кивнул. Все реже стал шутить Сережок, постепенно превращаясь в бирюка. А какой прежде речистый был, особенно после рюмки. Да Лина и не ждала ответа. — Думаю, полна лавка детей, куда еще с одним? То плакала навзрыд, а теперь ульюся ручьем. Решила: скину, таскать не буду. И давай скакать с лавки, да с изгороди прыгать, да мешки тяжеленные на ферме таскать. Нет, вытряхну тебя, мордастенький. И ничего ведь не помогло. Раньше срока родилась вдруг девочка, худенькая такая, в чем жизнь. Я и заплакала: "Прости меня, доча, хотела тебя уморить. А тебя только и ждала". А девка давай расти и скоро вес свой догнала... И Серега дочке был рад. Он мне детей бить не давал, и сам пальцем не тронул. Один раз выхватил ремень да так меня нахвостал. "Только, — говорит, — смей еще тронуть ребенка".

...Младенцам-то Господь подушечку под голову подкладывает. Пасет, значит. У бабы Крысиной было десять детей. И вот снова понесла. Зима, мороз. Рожать собралась. Ее на сани да в родилку. Она в дороге-то и разродилась. Думает, с тема-то умираю, а тут еще приплод. Взяла да ногой-то с саней спихнула. Приехали в больницу. Родила в дороге, а где дитя? — спрашивают. Ой-ой, я и не заметила, что родила. Ну, отправились по следу. Собака зализывает младенца языком. Лежит возле, греет. И живой ведь..."

"Болтай больше. Язык без костей", — окрикнул с печи Ванек.

"Разогревай на плите... Есть-то будешь? Пьет, ирод, и никогда не закусывает. Совсем синегубик стал. Вот ужо скоро приберет могилевская".

"На ночь только свиньи жрут", — насмешливо, с издевкою отозвался сын.

Сережок сплюнул в окно, но смолчал, поплелся в горницу за печь,

слышно было, как ворчал он, покряхтывал, заскрипела, продавливаясь в суставах, кровать. Лина утишила голос, доверительно открылась, кивая на дверь:

"Кручина ест его. А я скажу, что к смерти. Вот и скотину ему стало жаль резать, говорит — не могу, сердце сдает, руки дрожат. Водки стакан тяпнет, тогда идет колоть. А нынче овцу резал, с ним дурно стало. А ведь по всей деревне, бывало, свиней колол".

"Хватит тебе языком-то трепать", — сурово оборвал сын. Снова затеялась ленивая словесная пря без победителей, пока сон не сморит. Я спохватился вдруг, что, оставшись на минутку, опять засиделся, позабыл все дела. И заторопился домой. В избе было удивительно тихо, дети спали, жена сутулилась за столом, задумчиво подперев щеку ладонью.

Не успели и чаю попить, как сама собою будто, без стука, подалась в петлях дверь, на пороге Лина с банкою в руках. Зеленый плат кульком, голубая нейлоновая куртка на покатых плечах едва держится, но голубенькие треугольные глазенки — само небесное сияние.

"Ушел твой-то и молоко позабыл, — сказала старушка. — Мужики, они завсегда так-то. Полороты".

Жена засмеялась:

"А я к тебе собиралась на примерку. Почти сшила платье-то".

И они ушли в комнату, по-бабьи стали судачить. Надтреснутый глухой голос гостьи, высокий — жены.

"Этот штапель-то с пятьдесят второго года припасен. Веселый материальчик, хорошо будет лежать... Правда, уж больно широко ты раздала. На том-то свете скажут: что это за попугало идет? Сделай, Дуся, вытачки..."

"Сейчас с вытачками не шьют. Не модно".

"Ушей по бочкам. Там маненько и тут маненько".

"Может, поясок?"

"С пояском не шьют. Там не подпоясываются. Материальчик симпатичный, мне нравится. Куды хошь, летом как бы хорошо носить. Скромненький такой, и цвет хороший".

"Так и носи. А смертное я тебе другое сошью", — предлагает жена.

"Нет-нет. А вдруг помру, и одеть не во что..."

В комнате установилось молчание, только шуршали одежды. Жена примеривалась к кургузому тельцу гостьи, уряживала ей смертное. Рядом посапывали дети, летали во сне. Восторженно засмеялся сын. И вдруг жена сказала:

"Тетя Лина, объясни, к чему бы? Нынче мне приснился сон, что я

беременная, да-да. С пузом. И прямо тут, будто бы, родила, и никого возле нет помочь. Ребеночек — мальчик, хорошенький такой, чудо. И стал он крутиться, и пуповина вокруг головы. И стал он синеть, синеть. Вижу, помирает. Я давай его трясти, трясу-трясу, как мешок. Господи, думаю, я ж ему все в голове стряхну. А потом он белеть стал и ожил..."

"Ну и хорошо... Ожил ведь? Значит, к жизни, к добру. Какой-то прибыток тебе будет. Баба ты молодая, мало ли чего наснится... А мне-то, старой, ночью набрендило, что я двух мальчиков родила. Мальчики-то харястые. Мане, соседке, говорю: "Маня, это твои парни, зачем мне подкинула?" А из Мани тоже песок сыплется. "Нет-нет, — говорит, — не мои". Ну, думаю, раз родила, надо ростить, куда денешься".

Обе женщины вздохнули, размышляя о своем.

* * *

С утра на дворе обложник. Морось, чамра такая, к вечеру все в природе напиталось водою, и дождю, кажется, не будет конца. В такую погоду хороший хозяин и собаку не выгонит со двора. Ванек уговаривает меня на охоту: "Все на свете проспишь, Владимир. Спать — дело свинячье... самая такая погода для охоты. Лесовая. Лоси гудят, кабаны хрюкают, гуси над головой летят, шапкой сбить можно. Возьмем по паре енотов. Шапки нашьем, продадим. За штуку ящик водки".

Эх, чем уломал-то! Ящиком водки сокрушил писателя? Да нет, той таинственной неповторимой встречей с ночным тревожным лесом, куда не каждый охоч вступить в чернильной темени. То ли дело подушка — ночная подружка: обнял, охапил, да и посапывай сладко в еще не простывшей избе. Ну, послушался соблазнов, срядился. Куртка парусиновая на плечи, сапоги резиновые до рассох, ружьецо, патроны. Бредем по лесу, темно, дождь шуршит, с веток на голову льют потоки, парусиновая куртка набухла, превратилась в жестяной короб. Братцы! какие тут лоси, какие гуси! Идешь, чертыхаешься, клянешь судьбину на чем свет стоит и себя, набитого дурака.

Ванек, подсвечивая под ноги фонариком, нудит и нудит, вынимает мне душу: "В такую погоду только дураки по лесу бродят. Весь зверь на лежке. Его и силком не выгонишь, затаился, хоть батогом в бок. Днем — это да, другое дело, днем куда больше вариантов... Почему? И сейчас, конечно, можно... Еноты не лежат, червячков ищут, мышей ловят, они сейчас у болот скопились... Нет, темно, сыро, какая к черту охота?" Ванек бурчит, уже ненавидит меня, оказывается, это я сманил его в лес; останавливается,

закуривает новую сигаретку. Лес сгрудился, пошел войском на нас, легко оступиться и набить шишку на лбу, наткнуть глаз. Валежник под светом фонаря мокро блестит, предательски скользит под ступнею.

...Уж в который раз Ванек вытянул меня из дому своими неясными мечтаниями, посеял во мне надежды, и они на первом же километре легко потухают, забываются, как полуночный сон, не оставляя в душе беспокойства.

Ванек сутулится, все ниже пригибаясь под дождем:

"Эх, мне бы глаза волчьи, и чтоб светились..."

6

Из простой судьбы

В Рязани же было... Бабка выиграла в лотерею машину, а взяла деньгами. Дай, думаю, приспею себе смертное. И соседки-то старухи насоветовали: де, трать, Нюра, на себя. Все приспела старенькая, водки накупила и гроб не позабыла. Соседка и говорит: ты, Нюра, снимись, сфоткайся, лягь в гроб и снимись. Потом посмотришь: понравится-нет. Пригласили фотографа. Он все приготовил, только хотел снять, Нюра и подыми тут голову, и спроси: "Парничок, а сколько стоить будет?" Он испугался, побежал из избы, споткнулся о порог, сломал себе ногу. Потом подал в суд, бабку оштрафовали, во сколько обошлось лечение. Нюра после и говорит: "Думала, на том свете судить будут, а судили на этом. Куплю телевизор и буду смотреть, что случится на белом свете. Поди, заранее скажут".

* * *

Однажды направился я к Сережку за напарией. У Сережка, как у "мафинозии" на складе, все есть. Амбарушки и кладовые, навесы и сарайки полны всякого заваляшего барахла. Куда бы ни двинулся мужик, он обязательно тащит в дом какую-то железяку. Что соседи отнесут на помойку, он, пороясь там, задами, огородами прет к себе в избу. Жена ругается: де, от завали проходу нет, а Сережок отвечает: "Зато у меня все есть, за каждой мелочью деревня ко мне. Поищу и обязательно найду. Как не помочь человеку?" Лина грозится: "Помрешь, дурень, все к тебе на могилу свезу". А он: "Помру, дак куда хошь девай". — "Тяжело от железа станет, грудь помнет". — "А и хрен с ним. Выдержу. Свой груз не давит".

Плюшкин душою русского человека чуял, что все припасай в дом, когда-нибудь сгодится, ибо ничего нет бесполезного на земле-матери, да и у скупа — не у нета, есть что взять; но умом он не предполагал, для чего копит, для какой будущей нужды, ибо не был человеком дела, и оттого все его сокровища, тускнея, на глазах превращались в прах. Сережок не скопидом, он угадывал; хоть жизнь и коротка, но в хозяйстве сгодится все; он зорким взглядом мастерового и мужика скоро оценивал выброшенное на свалку и сразу видел будущую годность вроде бы устаревшей уже вещи, и всегда пускал ее в дело. Он как бы доставал ее из праха и вдувал жизни. Сережку приятно было угодить соседу и этим подчеркнуть не только свою доброту и мягкость, но и необходимость деревенскому миру.

...И вот со своей заботою отправился я к Сережку. И что вижу? Вроде бы частенько лаялись старики, нудили, как осенние полоумные мухи, а тут вдруг сидят за столом, как две счастливые куколки, как Филомен и Бавкида, как старосветские идиллические помещики, полные сердечного счастия, распаренные, раскрасневшиеся, блаженные, словно бы уже на земле им удалось попасть в райские кущи. У Сережка правый глаз закрылся от пчелиного укуса, у Лины вовсе заплыл левый, и светится там синюшная желва с детский кулачок. Посреди стола большая миска с медом, и супруги усаживают мед столовыми ложками, подставляя под солнечный янтарь кусок хлеба.

Первый мед снят, своерощенный, не покупной, у своего-то меда и вкус иной, так им кажется, пировникам. А достался Сережку рой случайно; где-то на пасеке отделилась матка и угодила на чужую усадьбу. Мужик не растерялся, накрыл ведром, прикормил сахаром. Так Сережок оказался с ульем.

"Хорошо разукрасили, приятно на вас посмотреть", — рассмеялся, любуясь друзьями. В распахнутое окно сквозь розвесь листвы падал рассеянный солнечный свет, и лица друзей казались золотистыми и совсем молодыми.

"Дружные ребята. Припечатали добро. А бабу-то каково уели, гляди, Вовка. Кричу ей: стой, зараза, не ходи ко мне. Так она же впоперечку, такая лабуда. Ей, значит, посмотреть охота. Ну и догнала. Придется и мне с има курево бросать".

"Ничего, укус, говорят, полезен".

"Куда там, Вовка. Одна польза, — сиял Сережок, а рожа лукавая, хитрая, будто самого черта объегорил. — Красивая вещь пчелы, скажу тебе. Дружные ребята, плотные, веселые. У них в улье порядок: одни в летке дежурят, чужих не пускают, своя, значит, милиция и вышибалы, как в ресторане. Залетная чужая — долой ее, чтобы мед не крала. Другие с веником в улье прибирают, чистоту любят. Третьи баню топят, чтобы с веничками попариться. Они чистоплотные и людей чистых любят, к ним

пьяный не ходи. А, скажут, выпимши, собака, заявился, сейчас мы тебе покажем небо с овчинку. И подденут, и подденут, да с разгона. Линка-то моя подолом накрылась и бежать. Задница наружу, только сверкает".

"Черт с ней, и с задницей-то, там не видать", — весело отозвалась жена.

"Теперь придется рюмку бросить", — намекнул я.

"И расстанусь. Вино, Вовка, лабуда, вином клопов травить, от него в желудке одни дырья, как сито. А мед-то хорошо. Медовухи стакана два ломанешь, и земля из-под ног. Встать хочешь, а не можешь, будто к стулу приклеило. Если на душе что худо, все выгонит, всю дурь прочистит. Вот уж чего не отымешь от пчел, труженики они, дружные ребята".

"Это вам, окоченелым, только донышко целовать", — не преминула укорить жена.

"Уймись... За день-то наломаешься, как папа карла, почто маненько не выпить?.. Нас у матери восьмеро было, мал-маля. Ись хотим. Мамка малых с собой в поле таскала. Яму выроет, повалит, чтобы не расползлись. А я скотину пас. Обратно силы не было до дому добраться, так ползком полз. Куда деваться? Однажды колхозного барашка зарезал, ну не больше кошки скотинка. Сосед подглядел, что мясо едим, и заложил, куда следовает. Дали мне три года. Отсидел в тюрьме, а семья-то наелась в тот раз; да может, с того и не померла, жить стала. — Сережок помрачнел. — Сейчас вот мед ложками хлябаем, да и не хотим".

"А мы сами-то семьей как заживались, забыл? — воскликнула жена. — В молодости-то он помирал от астмы. Пастушил, скот далеко гонять. Я Ванька десятилетнего с ним посылаю. Иди, говорю, с отцом, где-то помрет, так хоть узнаем. У меня пятеро их было. Говорю: ой, отец, одолеет нас карачун, зачем столько детей настряпали? Помрешь, куда я с има? И вот через тяжесть, да всех подняли. А сами сгорбатились, в ямку пора..."

"Лабуда, Линка, все хорошо. Такое мое постановленье!"

Потянулся за гармонью, заиграл, приклонив голову. Вдруг воскликнул:

"Вот мед-от, Вовка... Без вина, а хмелен. Пользительная, скажу тебе, вещь!"

* * *

И снова год догорает. Девяносто пятый. На воле непроглядно, на душе сумрачно. С улицы видно, как мерцает в комнате вселенское бельмо, этот соглядатай и коварный совратитель, по крохам уворовывающий русское сердце. Когда смотришь телевизор, будто каленым утюгом прижигают тебе грудь, столько самодовольного, чужого по смыслу и духу льется с экрана; будто бесы собрались на торжище, и чем дальше, тем в больший раж входят,

бессовестные, такие далекие от православного чувства. За десять лет успели растлить целое поколение, а сейчас проливают крокодильи слезы: де, не знаем, не ведаем, откуда повсеместный разбой и бандитизм. Да на улицу не выходя, глядя в телевизор, научишься самым искусительным порокам, пройдешь школу тончайших сладострастных извращений, чему не наставит даже лагерная зона. Неудивительно, что народ в октябре 93-го двинулся именно к Останкину, чтобы разогнать, выскрести змеиное гнездовье интриганов.

...Соседи уже повечеряли, и всяк, исполнив вседневный труд, то ли томился свободными часами, то ли приуготовлялся ко сну. Хозяин, пригорбившись, сидел у грубки, ворошил кочережкой золотистое уголье.

"Здорово, Сережок, как жизнь?"

"А хорошо, Вовка. Все лабуда", — отозвался приветливо, но в голосе нет прежней силы, и глаза подернуло старческой поволокой. Покурил задумчиво, сиповато, натужно дыша, и полез в кровать. А времени еще и восьми нет. Но вот по экрану поскакали лихие кони. Не смогли демократы по-людски русскую тройку запрячь, и вот отступились, гонятся самоходом.

Хозяйка на кухне "сахар крутит", пьет чай, кинув в кружку ложек пять песку. Сладкая жизнь. Сын лежит на печке, пускает дым в потолок, скрутив козью ножку.

"Дьяволы, — ворчит Лина больше по привычке. — Дыхать через вас нечем, хоть во двор бежи... Идол синепупый, кончай курить. Спасу от вас нет! Жизни не стало".

"А чего жить? Нажилась. Помирать пора..."

"Поговори вот с ним".

Перебрехиваются, коротая долгий вечер. Убрались по двору, накормили скотину. Как-то и тошно сразу нырять в постель. Ведь осенняя ночь долгая, не раз с боку на бок перевалишься.

"Что с Сережком-то?" — спрашиваю хозяйку про старого.

"Пьет да курит, как молодой", — насмешливо встревает сын.

"Молчи... Тебе бы такую жизнь прожить, урод", — вдруг вскидывается старушка. Обычно мужа пилит; любит он после трудов праведных в конце дня наступить на пробку, и иногда не очень удачно; ино подскользнется, да и падет на траву под ветлу, жарко ли, мокротно ли от дождя на воле. А ведь от земли какой только хвори не натянет. Вот и мается после.

"Ты не лай на отца, — урезониваю парня. — Он-то в ломоте прожил, из ярма не вылезал. Ты бы на одном году такой жизни крючком загнулся".

"Володя, ой! — всплеснула руками Лина. — Это мафинозии нынче денежки по ветру треплют, а мы-то копейки живой не видали, работали, как окаянные, сопли на кулак мотали... Ой, сначала все для фронта. Полкило хлеба в день: купишь, пока идешь из лавки, огрызешь весь, а там

и есть нечего. А впереди день, приварку никакого. Просишь у продавца вперед. Смилостивится, даст. Так и заберешь вперед. А норму давать надо, неделя голодом. Ноги не потянешь. Есть охота. Убежали с лесозаготовок, нас поймали на толкучке, где мы песни пели. Молодые, петь охота. Милиционер и говорит: иль "шесть на двадцать", иль обратно в лес. Ой-ой... А "шесть на двадцать" — это полгода принудработ и двадцать процентов из зарплаты вычтут. А гоняли-то в Касимов в тюрьму сетки вязать. Мы говорим, лучше обратно в лес. И так всю войну. А мне семнадцать. Потом все для тыла, опять давай-давай..."

"А ты как думала? чтоб вас даром кормить? — снова поддел с печки Ванек. И откуда в нем такая желчь? — Жрать-то — дело свинячье..."

Лина навряд ли расслышала издевку сына, она вся была в воспоминаниях. Старушка даже зарозовела, расцвела от памятных картин.

"Жили-то мы на трудфронте в бараках. Сидим, поем:

Полюбила лейтенанта и ремень через пузень;
Получает тыщу двести и целует каждый день.
Лейтенанты, лейтенанты, лейтенанты модные,
Хлеб по девкам растащили, а бойцы голодные.

В войну-то на двадцать девок и одного парня целенького не найдешь. Вот идут ребята мимо барака: какой — на костыле, какой — без руки. Ой ты, блин. Одна девка окрутит, говорим: надо отбить. Ревность у нас. Ой ты, Господи. А все думалось, что "Вот кончится война, пойдут ребята ротами, а я милова свово встречу за воротами". А хрен встретишь его: придет иль не придет? Вот за всех и хватались, лишь бы дышал".

Лина всплакнула, промокнула фартуком глаза. Старческая слеза, что утренняя роса, тут же и просохла. Подняла на меня взгляд, а взор беспечный; все прожитое заткано розовой пеленою с серебристыми блестками, и даже самое горестное вдруг вызывает улыбку.

"Отец-то у него, — мотнула головою в сторону горенки, где за печкой засыпал муж, — огоряй был, пьяница, под забором валялся. Придет домой, еще вина просит. Жене где взять? Так набуздает ее. А у них трое было. Сережок меньший. Бывало, идет, семь лет ему, палочкой стучит в окошко: "Подайте милостыньку Христа ради". Наподают ему кусков, он сядет у ветлы, все разложит на траве, что получше — съест, а остальное домой. В восемь лет он уже в пастухи нанялся. Мать говорит: пусть пастушит, только кормите его. А Сережок и тогда стеснительный был, в чужом доме никогда не ел. Вот пришел наш черед пастушка кормить. Он посидел-посидел и пошел домой не емши. Отец мой и говорит: "Какой мальчик стеснительный.

Другой раз придет, я посажу его к стене, а сам с краю, и не выпущу, пока все не съест". Так и сделал. Сережок сидел-сидел, а потом как заплачет: "Дяденька, пусти меня, я не хочу..." Бывало, с кусками-то идет, а мы глупышки были, бежим следом и дразним: "Побирун, побирун". Он кулачонки к глазам прижмет и как заплачет... И так всю жизнь из пастухов не вылезал да из нужды. А топора из рук не выпускал, сколько домов по деревням срубил, наверное, целый город. Откуда быть здоровью?"

"А вы за коммуняк голосовать, дурачье, — подал насмешливый голос Ванек. — На кладбище пора, а ничему не научились".

"Тебе что, при демократах хорошо?" — спросил я.

"И не сказать бы... Но зато на работу не гонят. Хочу — лежу на печи, захочу — на диван слезу".

"Что ж тогда за Жириновского стоишь?"

"Демократы болтают много, а не знают, с какого конца лошадь запрячь... А Жирик — человек. Он вас мигом научит, как щи вилкой хлебать. Он вам спуску не даст".

"Ага, уморит голодом, — возражает мать, упорно не уступает сыну. Вроде и на кухне сидит, а краем уха слушает, что долдонит "ящик". Вдруг что про пенсию скажут? — И царя можно голодом уморить, а нас и подавно. Пойдешь, Володя, в магазин, денежки из платка размотаешь, а ничего не купишь. Такая жизнь настала. Жириновский им бутылку обещал. Вот и стоят пьяница за пьяницу".

"Молчи, дура. Все бы вам деньги. На кладбище пора. Вам сколько ни дай, все мало..."

"Ой, сынок, на две буханки добавили к пенсии. Дак то деньги?"

"Хватит с вас..."

В голосе досада, раздражение от нескладицы жизни, от заунывности долгих бобыльих вечеров, от постоянства будней; одна лишь утеха, что вот ударят морозы, выбелятся снежком леса, натропят зайцы и можно будет уйти к вырубам на охоту; выбродишься за день-то по следу, набегаешься не хуже гонной собаки, едва домой ноги притянешь; глядишь, и стемнилось, и опять день канул в вечность.

Парень хлопнул дверью, ушел на улицу. Мать с жалостью проводила взглядом:

"Другой раз думаю: и на кой ляд рожала? Лучше бы веретенкой норку зашила, чтобы не пускать на свет таких дьяволов. Сами не живут и нам не дают... Ой, Володя, ребенка-то вырастить — как горькую осину зубами острогать. А у меня пятеро их было. И все парни, один за другим. Хоть и была я худющая, из двух лучинок собратая. Живейная такая, неугомонная... Вот ночью-то прянешь с постели, мысли, как вши, елозят в голове. Ой,

думаю, и на кой ляд я бабой-то родилась, лучше бы овцой: зарезали и съели. А тут мучайся, волочись с тряпкой за мужиками, устанешь подтирать. Стопу блинов напечешь — не перепрыгнуть, — в один миг умолотят. А где доброе слово?.."

Жалуется о горьком, но как-то безунывно, с лаской в голосе, словно и не коротала семьдесят лет "социализма": сгорбатилась, сердешная, таща его на загорбке, и чем отплатил? Войну выстрадала, лесоповал, на скотном нянчилась с коровами, пальцы от дойки не разогнуть, и на пахоте доставалось, когда впрягалась с бабами в плуг заместо лошадей. И сено-то ставила, и хлеб жала, и корье драла, и хвою рубила, и сучье карзала, бродя с топором по пояс в снегу, и часто вся еда — картошка с солью; уйдешь по наряду затемно, вернешься домой в потемени: скотина орет, дети мал-мала визжат. И за всю эту ломоту на колхозном поле — кукиш с маслом; выживай, милая, как хочешь, а не сможешь, так земля всех приберет... Поплачешь второпях, да и за домашнюю обрядню; крутись, живейная, прискакивай, как хлопотливая курица, чтобы всем по зернышку досталось; а уж что самой попадет на зуб, там Господь унировит...

Я перевожу взгляд по житью, машинально помечая старую, многажды починенную утварь, и кажется вдруг мне, что все в мире сдвинулись, отшагнули куда-то в другой век по сытости жизни и устрою ее, и только в русской крестьянской избе, где труд вековечный и Спаситель — две святыни, так ничего и не нажилось, но все как бы закаменело в своей первобытной основе. Как надо не любить своего кормильца, чтобы облечь его на заклание вечной нужды, чтобы с садистским постоянством сымать с него последнюю шкуру.

И какое долготерпение, какую силу надобно иметь, чтобы тащить крестьянину на горбу сумочку с тягой земною и не надсадиться, но так устроить лад, чтобы семя, непременно умирая в земле, давало новое семя.

Воистину золотой русский народ; поэт Куняев нашел ему самое точное определение.

7

Из простой судьбы

Один старик притворился, что помер. Думает, дай погляжу, как баба меня на кладбище срядит, упокойника. А бабке-то жалко одежды, больно скупенька была. Одела ему тапочки, трусы да майку. Срядилась на кладбище везти, а он и поднялся в гробу: "Ты куда, — говорит, — на соревнование собрала меня?" Бабка-то и пала без чувств.

* * *

В минувшую зиму я подзадержался в деревне. Снегами ее отрезало от большака, и только узкая тропинка выказывала едва теплющуюся в избах жизнь. Сережок колотился в огороде, менял срубец у колодца. Вода далеко, метров десять до нее, сопревшая коробка смерзлась; внизу на нашести стоял сын, выламывал венцы ряд за рядом, наполнял бадью песком и древесной трухою. И эту неподъемную тяжесть старик доставал наверх. И молодым-то работа не по зубам, скоро килу наживешь. Я засомневался, пожалел приятеля.

"Э, лабуда, Вовка, все хорошо. Исподвольки заменим. Зима долгая".

А у меня екнуло в груди.

Сережок вызвался проводить, отгребал путь лопатой. С его помощью выбились из деревни на тракт. В лесу на набитой дороге вышли из машины, обнялись. "Ну, пока, Вовка, — глухо сказал приятель и вдруг добавил. — Ты ведь мне как брат, даже ближе, чем брат". И он заплакал — наверное, впервые в жизни. За двадцать лет, что я прожил в деревне, слез у Сережка не видал.

"Ну будет тебе, Сережок... будет".

Я спрятал взгляд, похлопал друга по плечу, зажимая в груди тревогу. Залезая в машину, еще оглянулся прощально. На лесной заколелой дороге в заношенном шубняке и кроличьей залоснившейся шапчонке, сбитой на одно ухо, с посиневшим лицом, сжавшимся от холода в кукишок, мой Сергей Васильевич выглядел особенно жалконько и сиротливо...

А в начале марта ему приснился сон. Будто срубил он себе на огороде новые хоромы с двумя верандами. Утром поделился с женою сном. Посудачили, посмеялись, но сердце не дрогнуло, на худое не подумали. Сонника в крестьянской избе веком не водилось, а ворожейки, доки на ту пору не привелось. А то бы знали, что смерть по себе весть прислала.

За работой сон-то и забылся. На утро третьего дня Сережок погорбатился через силу у колодца, опуская вниз мерзлые березовые плахи, довольный сделанным, пришел в избу к завтраку. Разделся, умыл руки. Возле печи его качнуло, едва добрался до дивана. Посинел, побурел лицом, начало трясти, дикая боль окрутила голову, в пот холодный кинуло, будто кто из ведра облил. Врача бы ему, помощь какую, таблетку под язык. Но крестьянская Русь почти под боком у престольной живет хуже дальних поморских выселков: ни дорог тебе, ни связи, ни лекарств, ни фельдшера.

Лина скоро собралась в соседнюю деревню к бригадирке на дом. У той — телефон, один на всю большую округу. "Не ходи", — промычал с трудом. Пришла соседка. Сережок простонал: "Помираю, Фая Ивановна. Одно

худо, что земля мерзлая, тяжело копать". Лина не послушалась последней просьбы и узкой бродной тропинкой, часто оступаясь и падая в снег, поспешила, как могла, к телефону. Когда вернулась, то Сережок был мертв.

...После-то сокрушалась Лина, особенно в первые дни. "И почто, дура, оставила мужа одного? Просил ведь остаться. А вдруг чего сказал бы еще? А тут ушел в ямку, не попрощавшись. Дозовись его оттуда-то... Какой бы телефон установить, чтобы с ним связаться? Жили-лаялись, чего-то делили. А ныне тишина в избе, а так бы хотелось перекинуться словечушком. Молодые-то для любви живут, а старые друг для друга. И чего бы не жить? Взял да помер, дьявол, не спросясь".

Лина льет скоро просыхающие слезы. Большое-то горе выплакано, но все чаще приступает к сердцу тоска.

* * *

...В каждом русском селении есть такое магнитное притяжливое место, что влечет всех: и старых, и малых, баб и мужиков, собак и кошек. Всем на заулке есть дело, свой смысл, и лавочка под ветлою отглажена до блеска, земля вытоптана. В нашей деревне это дом Сережка. В праздничный день тянутся мужики под его окна, чтобы Сережок постриг, прибрал волосья. Он за цирюльника. Ловко орудуя ножницами, оболванивает желающих, и те, как новые сияющие грошики, отряхнувшись, переходят с табуретки под ветлу на лавку, распечатывают первую бутылку не для пьянки, но торжества для. И так за день много сельчан сменится. Кто-то выйдет из дома в другом конце деревни, приставит ладонь козырьком ко лбу, глянет в широкий распах улицы, увидит шевеленье у палисада и с охотою потащится к Сережку посудачить. Начнет смеркаться, и Сережок выйдет на заулок с гармонью, растянет меха, склонит захмелевшую голову к тальянке, заголосит переборами, затянет: "Раскинулось море широ-ко-о..."

Ах она, эта усладистая песня, сколько на Руси повела за собою в самую отчаянную гульбу. И вот засвинцовело небо, развешались по задам деревни сумерки, и, топая галошами и чоботками, озорно окрикивая темь, гуськом потянутся на вскрик гармони мужики и бабы. И на пятачке возле Сережиного дома до полуночи будут вопить частушки...

А нынче нет Сережка, и вот деревня разом как бы вымерла, никто не гуртуется, не сбивается в дружный табунок, не дробят топотуху, не выкрикивают частушки, но каждый в своем углу приложится к стопке, поругает власти — вот и все праздничное застолье. Главный человек умер, который таинственно, вроде бы лишь присутствуя на земле, давал духовное направление деревенскому миру. Сколько всякого народу

померло за последний год, но особенно жалеется, не выпадает из памяти Сережок.

...Вот нынче клюква удалась, как из решета насыпано на болоте, иль кто безрукий опрокинул корзину ягоды в каждую кочку; полыхает клюква заревом, вылупилась зазывно из мха, всем своим задористым видом кричит: де, бери меня, не ленися, я ради тебя явилася на свет. И как-то разом вспомнили с женою Сережка, как водил нас сюда, на эти моховины, за ягодой. Усевшись к кочке, как за гостевой стол, старательно разберет корявыми пальцами длинные седые пряди травы и, попыхивая цигаркой, примется ласково вылавливать из прохладной тинистой глубины прокаленные солнцем ягодины, ядреные, как горох. Мы с женою далеко убежим, сыскивая клюквы, а он все так же торчит у кочки, спокойный, беззатейный и кроткий, пуская завитки махорного дыма, и голова Сережка под чахлой сосенкой средь влажных моховых постелей — как травяной клоч.

ЛЕСНОЙ АРХИМАРИТ

1

Скорее всего не о медведях пойдет речь, но о странной поклончивости русского человека к таежному хозяину. В этих отношениях зверя и человека таится некая мистическая природная тайна, сокровенным смыслом своим уходящая в самую древность; мне не приоткрыть этой завесы, не сдернуть покровца, но есть повод прикоснуться к одной из чувственных сторон русского племени...

Нет другого такого зверя, который бы так покорил наше воображение; лесной хозяин — герой легенд, басен, присказок, баек, приговорок, сказок и скоморошин. Медведь плотно уместился в народном сознании не столько из страха перед жестокой силою (иначе бы не ходили с ножом и рогатиной один на один), сколько из уважения, почтения к хитрости его, лукавству почти человеческому, простоте почти мужицкой, уму и почти детской доверчивости и простодушию. Медведь — хозяин, но он в тайге почти не слышен и не виден, он живет в пространствах, как вещий всесильный дух, редко объявляясь на глаза, и только охотничьему слуху доступен редкий щелчок сухой ветки под плоской кожаной стопою лесника.

Раненый медведь, как бы уразумевший край жизни, вдруг наполняется холодным трезвым расчетом, он жаждет отмщения, его разжигает ярость от кровоточащей раны, но бирюк, превозмогая боль, укладывается за ко-

лодиной иль еловой выскетью, за кучей хвороста и выжидает обидчика, потерявшего осторожность, спешащего по кровавому следу в охотничьей горячке. И в тот момент упоения страстию, когда вы распалены охотою, здесь подкрадывается сзади на пальцах, когда ни один сучок не выдаст предательски тяжкой поступи, и заломает так скоро, что и Богу не успеешь взмолиться.

Из простой судьбы

"У нас дядю Тиму задавил медведь. Пошел, значит, на охоту за батькой, мясо кислое потащил в котле ему на приваду, хотел из норища скрытно медведя взять. Ну, зверь — верхочуйка, он далеко запах слышит, раз глазами-то прислеповатый: дядю нашего скрал истиха, ничем, зараза, себя не выдал. Дядя-то опустился на валежину передохнуть, ружье подле прислонил, батожок возле колен. Сидит, значит, курит, беды не знает. Медведь-то и подкрался сзади, как германец. И ружье вроде бы рядом, ну как до шкапу будет, только руку протянуть. И охотник бывалый, а вот сплоховал. Раньше не зря говаривали: тридцать медведей твои, а тридцать первый тебя к себе стребует, как ни горячись. Ну, зверко ухватил дядю за шиворот и поволок прочь, только и видали. После-то по следам мы разобрались, как все случилось. Крива ель стоит, сухие сучья до подолу, медведь-то, значит, из-за нее и вышел. Тут же и фуражечка лежит и ружье прислонено к валежине. Вот и поволок мишука нашего дядю Тиму, а тот все батожок из руки не выронит, так и волочился по мшаре. Два дни караулил мертвого, лежал у головы. А сердился-то, дак хвостал дядю об елину, все дерево когтями исцарапал и лежбище переворочал. Шибко злился, значит.

Мы вчетвером искали-то. Видим, лежит зверь. Петра выстрелил, и медведь бежать через болото. Ванька да Васька Федин по тропы. А медведь-то дал круга и назад вертается, идет навстречу. Видим, на задни лапы сел. Тут мы его и стрельнули.

Я девять медведей добыл, а под ним не был. Медведь горячий, а я еще горячей".

* * *

Ступайте по родной земле во все концы, загляните в любой глухой угол северной Руси иль Сибири, в пустеющую деревеньку иль выселок, в зимовьюшку иль хуторишко, где остался в старожилах хоть один последний заваляший старичонко, едва ползающий по заросшей улице с клюкою, и

он обязательно наколоколит вам столько ужасных историй с медведем, столько доблестных бывальщин, столько необыкновенных похождений, столько комических, смешных до слезы баек и трагических исходов, от коих шапка на голове подымается. Если бы свести все охотничьи злоключения воедино, то эту стопу книг, пожалуй, не погрузить бы и на десяток подвод. Даже тех историй, крохотной толики великой народной эпопеи, что была собрана мною по деревнюшкам от бывалых людей, уже достаточно, чтобы узнать некоторые склонности русской натуры, не боящейся риска, играющей зачастую со смертью, ибо страшнее старухи с косою оказывается тусклая череда дней, эта преснота жизни, сводящая к бессмысленности само явление на свет Божий.

Бой с медведем — это преодоление в себе темного ужаса, колдовских чар, злых таинственных сил, это повторение битвы титанов с самими небесными богами, что владеют всем миром. Биться с лесным хозяином — это хвастливо заигрывать со смертью в суземке вдали от людского глаза, ввязываться в поединок, дуэль, устроенную не капризами характера, не соперничеством, не злым роком, не судьбою иль завистью и обидою, но тем особым смыслом, который как бы присутствует в воздухе, но о чем простец-человек и не подразумевает. Ему бы в свой черед скончать земные дни на печи иль в переднем углу под образами, а он, горячка, скрадывает по осени медвежью берлогу и в зиму бредет на схватку, не зная, вернуться ли ему в родные домы. Ему хочется помериться с необоримой силою и взять над нею верх, "ино берет такой задор, словно в лихоманке ходишь, так и подымает пойти на охоту". Хотя и верно знает старинное присловье: "Пошел на медведя, постель готовь".

Вставший на пяты, рыкающий, с желтой пеною на губах, с заведенными к носу косоватыми от ярости глазенками, своими мясами заслоняющий само небо медведь в это мгновение замещает собою языческого бога Перуна-громовника, грозящего земному смертному человеченке страшными карами за его прыть излишнюю, за ребяческую лихость, за непочтение к верховным властям: заломаю, заем, загрызу!

Случай

"На Мезени было. Двое парней по шестнадцати лет пошли на медведя. Устье берлоги чураками закрестили, расшевелили медведя, а он вдруг выскочил другой дырой. Парень один не растерялся, вскочил со спины на зверя, как на коня, ухватился за уши его и кричит приятелю: "Васька, ты гляди, я-то как!" И другой парень, отчаянный такой, не убоялся, подскочил и наотмашку секанул медведя топором по морде".

"...В Нисогорах случай был. Тимофей, охотник, пропал, да. Пошли его искать. Нашли на другой день, лежит задран, такое дело. А через сто метров и мертвого медведя нашли, весь ножом истыкан. Насмерть бились, значит. Никто никому уступить не хотел".

***

В любой деревне любят сказывать, как медведя брали, иль столкнулись в малиннике нос к носу, иль на таежной тропе осадили на лохматый зад, иль от стада скотиньего отогнали прочь простым батожком; и всегда в беседе живут и восторг, и азарт от пережитого, и удивление от чьей-то смелости, и задор, и суеверный ужас. Но ни разу я не слыхивал ни из чьих уст пренебрежения к хозяину иль ненависти к нему, неприязни, отвращения. Медведь — грозовая туча, со своей карою: суждено, так настигнет стремительной молоньей, пронзит насквозь, куда ни хоронись. Если суждено быть под медведем, то куды бы ни ступал, с какой осторожностью и сноровкой ни бродил по суземкам, зная все его уловки, но лесной архимарит где-то укараулит в урочный час и заломает. Нет на Руси больше легенд, и басен, и побасок, и сказок, и всяких историй, как о лесном хозяине, Потапыче, Топтыгине, лесном бурмистре, архимарите. Кто еще получал столько прозвищ и приговорищ, как таежный дедко, тот самый лесной хозяин, что правит суземками от края и до края, но вдаль от человека не отступает, как бы боится остаться сиротою. Медведь бурый ходит в народе под званиями: бирюк, зверь, черный зверь, лапистый зверь, лесник, раменский, урманный, ломака, ломыга, костоправ, Михайло Иваныч Топтыгин, косолапый, куцый, куцык, косматый, космач, мохнатый, мохнач, лешак, леший, лесной черт, черная немочь, мишка, мишук, потапыч, сергацкий барин, лесной архимарит, сморгонский студент (В. И. Даль). Но зовут его и дедком, и бабкой, и Марфой Ивановной, и сватьюшком, и хозяином, и пестом, и пестуном, и шатуном, и бродягой, мишуткой, нижним человеком, барином.

Охотники различают три вида бурого медведя: стервеник, стервятник, самый большой и плотоядный; овсяник, средний размерами пест, охотник большой до овса, малины, болотных кореньев и черники; муравьятник, самый малый, что шляется по муравейникам и, запустив лапу в чужие владения, слизывает с нее мурашей, сам по себе зверь злой, черный шерстью, с беловатым, будто сседа, ошейником.

Медведь известен своей любовью к меду, слывет сластеною и в этом качестве угодил в народные сказки, прибаутки, детские байки и потешки. Он споро ползает по деревьям, шарится в дуплах в поисках осиного гнез-

да, ищет борти с надеждою достать из природного скопа толику меда, не убоясь пчелиных атак. Этот байстрюк не прочь пошататься по малинникам, подоить спелой ягоды, частенько, шутник, пугает в кустах баб и девок, и те, задравши на голову сарафанишко, подставив медвежьему взгляду спелые лядвии, с ужасом бегут прочь, пока не замреют сердчишком и не падут в беспамятстве на лесной опушке, едва смиряя дух.

Я с детства помню историю, как в нашем околотке заломал, окаянный, женщину средних лет, снял с ее головы волосье, она сомлела от боли, но ума не потеряла и притворилась мертвой; зверь зарыл несчастную хворостом, прикопал, чтобы скисла, а сам убрел. Баба вернулась домой, истекая кровью, но на свое счастье осталась живою. Помню, как мужики, переживая этот случай, убеждали нас, мальчишек, а больше всего себя, что если хозяин настигнет, то с ним зря не шути и прочь не беги, сломя голову, а сразу ложись и притворись окоченелым; зверь послушает, раскорячась над тобою; де, дышишь-нет, прикроет хворостом и бредет прочь, не сняв ни шерстинки. Но помню, что и в этом случае не было в голосе взрослых ни капли того гнева и жесточи, с какою обычно поминают волков. Вот уж на тех чертей никогда доброго слова не сыщется.

За медведем старшие признавали домовитость и плодовитость; он даже своим видом воплощал как бы истинного тароватого хозяина, что добро на распыл зря не пустит, пустяшно никого не обидит и гостя хлебом-солью встретит. Это уж не из жизни опыт, а из сказок и преданий, в коих угадывалось детство человечества. Но из этого тумана сказаний вырастало несомненное поклонение медведю как прародителю, кто первый пустил на свет человека по своему подобию, показал, как дом строить и как семью вести. Отсюда и много было примет, связанных с косолапым.

"Если перебежит дорогу медведь — это знак удачи".

"В море нельзя поминать медведя — не то подымется буря".

"Видеть медведя во сне — предвещает ветер и непогоду".

"Для лучшего успеха в промысле охотник, застрелив медведя, моет свое ружье в его крови".

"Чтобы усмирить лихого домового и отвратить зловредное влияние нечистой силы, крестьяне просят медвежьего поводильщика обвести зверя вокруг двора или берут медвежьей шерсти и окуривают дом и хлевы; то же самое делают, чтобы водилась скотина, а на конюшню вешают медвежью голову".

"Лихорадку лечат так: кладут больного лицом к земле и заставляют медведя перейти через хворого, чтобы зверь непременно коснулся спины лапою".

"От ломоты в ногах мажут медвежьим салом. Очень полезна медвежья желчь и шерсть".

Было и гаданье: "И чреваты жены медведю хлеб дают из руки: если рыкнет — девица будет, а смолчит — отрок будет".

Случай

"...Медведица смотрит, как человек себя ведет. А у Николки из Шиднемы глаза смелы, видать, испугалась его, убежала. Он медвежонка в мешок и домой. Идет, как с шарманкой, медвежонок-то порявкивает за спиной. "Ну, говорят, Николка, какой не трус, голыми руками медвежонка у матки забрал".

Она же плюется, сучьями кидается, порато зла. Тут к ней не подходи, замнет.

Этот же Николай пошел однажды с лопатой в лес земли накидать, чтобы глухая птица приживалась: косачи там, мошники, пеструхи. Любят они в песке рыться, блох гонять. Ну, тут и привелась медведица. Так он лопатой мамку по виску.

Он был проходимец, старик. Однажды чужую телку одел в обутку, увел в лес и зарезал. Сам жил в одиночестве".

2

Откуда медведи пошли

"Жил-был злой помещик, и жена у него была злая. Они всячески от крестьян денег добивались, казнили их. Крестьяне боялись их пуще огня. Барин и говорит жене: "Как бы нам сделать так, чтобы нас мужики еще пуще боялись и денег больше давали". Жена-то в ответ: "Давай сделаемся зверьми, каких люди еще не видывали". Вот и сделались медведями. Хорошо. Живут в лесу. Вот и пошел один мужик за ягодами, увидал их, испужался, бросил коробицу, бежит в деревню: "Так и так, ходят в лесу какие-то звери на задних лапах, малину сосут". Пошли мужики всей деревней и видят: звери залезли на дерево, а там борть была, к меду, значит, они подбирались. Как увидали их крестьяне и назвали медведями: мед, значит, ведают..."

* * *

Наверное, из тайного поклонения медведю собирались мною эти охотничьи байки, из почтения к косолапому, к его неведомой лесовой жизни, из восхищения перед его силою. Народ, окружавший меня в детстве, жил больше слухами о леснике; догадываюсь ныне, что мало кто видел его вживе.

Да и то сказать, охотников, что таскались по путикам, кто превращался в таежного бродягу, кто кормил семью с ружья и капкана, всегда было мало; для этой судьбы вербовался особенный самоотверженный характер.

Вот мать рассказывала, как к осеку в их деревне приходил медведко, и мужики пугали его, криками отгоняли прочь. Иль однажды медведь отбил от стада сорок голов и пас их долгое время, пользовался свежатинкой, пока-то отыскали коровенок и отобрали у потапыча, положив его пулею. Вот баба встретила косолапого в малиннике и от испугу даже вскричать не могла; упала на землю, закрыла голову подолом да с тем и обмерла; зверь подошел, понюхал несчастную и неслышно удалился прочь, словно бы и не было его возле.

Поморье — исстари медвежья страна, их кормилище, обетованное родилище-плодилище; во все времена за таежным бурмистром охотились несчетно, гоняли его по воргам, шпыняли от деревень в глубь суземка, но зверь, словно привязанный к печищам невидимой вервью, вновь неотступно приближался к избам и всегда пасся где-то возле поскотин, иль прямо за осеком, иль на овсах и ягодниках, оставляя после себя лежки, но редко показывался на глаза.

Я, в детстве много наслышав о хозяине, ни разу не видал его ни живым, ни мертвым, чтобы везли его из лесу в розвальнях, и народ, обступая диковину, вел шумные пересуды; ни разу при мне не сымали с медведка шубу, не рубили топором гору мяса, которого хватило бы на прокорм всей семье на целую зиму. Кто свежевал медведицу, находили ее сильно напоминающей голую бабу. Это сходство заставляло поежиться даже сильного натурою охотника. В раздетой от мехов медведице вдруг открывалось человечье: будто заблудившуюся в лесу печищанку, обросшую от долгой бродни шерстью, случайно подстрелил охотник. И эти голые плюсны, обтянутые черной кожей, пятипалые, плоскоступые, обладающие особенной способностью ловить брошенное, хватать палки и сучья, обороняться ими, карабкаться по деревьям. Не от медвежьего ли облика нарисовался позднее в человечьем сознании снежный человек? Ненцы, манси, ханты, индейцы и многие другие народы мира называли медведя нижним человеком, признавали в нем своего прародителя и хозяина...

Еще стоит вспомнить, что не знаю я случая, чтобы кого-то из наших сельчан обидел лесной архимарит, заел иль заломал, изувечил иль свел в могилу; обычно страдали охотники, кто переходил медведю тропу, наступал ему на пятки иль преследовал хозяина.

Медведь из Приполярья вокруг нашего городка потиху иссяк, хотя во множестве оставалось лося, но густо расселился выше по реке верст за пятьдесят, ушел на Пыю и Пёзу, на Лешуконье и Пинегу, на Сюзь-

му-реку и на Онегу, на морские побережья, где тревожили его реже, но корма доставало. По воспоминаниям бывалых людей, лапистого зверя расплодилось так много, что приходилось прореживать стадо даже по веснам, когда мишка вылезал из своего норища исхудалый, с пролежнями и проточинами на шкуре от долгой зимней лежки. Шерсть повылезала, свалялась клочьями; такая шкура никуда не годилась в торг, никакой выделке не подлежала, и даже самый практичный немец-негоциант, что скупал в Архангельске меха, не польстился бы на товар, при самой малой его цене. Короче, не стоила овчинка выделки, бросовое было дело. "Но для чего же вы отстреливаете мохнача?" — спрашивали крестьян. "Да чтобы страх знал, леший такой. И народу-то впрок будет, как эдак-то поубавим их с десяток голов на лето. И скоту будет вольготнее: ведь лютый зверь, уж больно скотину нашу обижает".

Самым неожиданным образом медведи заявили о себе в Мезени несколько лет тому назад. Один забрался в сени в Малой Слободе, съел кастрюлю супу, что стояла на холоду, потом выставил в магазине окно, разворошил мешок с карамелью, выпил бутылку лимонаду и улегся спать в центре города на стадионе за памятником жертвам войны. Мужик на работу пошел, видит — медведь лежит, дремлет. Вернулся в дом за ружьем и убил незваного гостя. Тот оказался без зубов: нужда, голод привели несчастного к людям, но они оказались немилосердны к прошаку. По путаному наброду охотники решили, что в городок наведывались сразу три зверя. В овраге середка Мезени за почтою устроили мужики засаду, стали ждать. Сидеть в скрадке скоро надоело, сбегали в магазин за водкою, хорошо накушались, принялись петь задушевные песни, после уснули. С тем охота и кончилась. Но тот беззубый потапыч, потерявший здоровье от старости иль по хвори, явился же не за смертью в городишко, но за милостыней: голод не тетка, обуздает любую гордость, поклонит самого своевольного. Медведи же умирают в суземках скрытно, задумчиво, смиренно поклонив голову на передние лапы...

* * *

Я с ружьем на медведя не хаживал, берлогу не скрадывал, с рогатиной не ратился, тем более ножом под сердце не бил — не та рука и норов; нос к носу с Михайлой не сталкивался, Бог миловал; на малинниках не пересекался и на черничниках с одной кочки ягоду не доил. Впрочем, я не очень-то хотел узнать медведя вплотную, тем более рисковать жизнью из пустого интереса, ибо нет во мне той отчаянности, той рискован-

ности, коя толкает на подобное безумие. Всяк ступает по своим следам, торит свою тропу. Но, конечно, всякий промышленник, хаживавший на берлоги с ружьем, всегда вызывал во мне невольное почтение. Как бы ты Богу ни маливался, идя на охоту, какую бы сноровку ни имел, но всегда понаровит неровён час оступиться, дать промашки иль осечки, дрогнуть рукою, поослабнуть сердцем. А медведко-то возле, не за версту в кустьях, а в сажени от тебя, выстал, зверина, на пяты, шерсть на загривке горбом и рыком своим, кажись, сотрясает саму мать сыру землю. Вот на Суре-реке Ипат сорок медведей убил. А однажды пошел с сыном на косолапого и неудачно стрелил, и тот снял у мужика кожу с головы, стянул волосяной ком на затылок. Хорошо сын привелся возле, спас.

...Впрочем, не о лесном же архимарите и его повадках принялся я за письмо, а о народном характере, которому западный корыстливый и высокомерно-снисходительный ум приноровил медвежьи замашки и презрительно обозвал всех скопом "русским медведем". А так ли уж плох лесной архимарит? Видывал я потапыча, пожалуй, раза четыре. Однажды, когда возвращались в Нёноксу с глухариного тока по весне, угодили на хозяина на просторном болоте, где еще лежали редкие плешины снега. Зверь мышковал, легко и забавно прыгал, играл по-собачьи, припадая на передние лапы, усердно рыл коренье, чтобы прослабить черева и почиститься от зимнего застоя. Баловал медведко далеконько, метрах в двухстах, и в майском голубовато-перламутровом воздухе казался нарисованным акварелью. Лягались на ягодицах лафтаки шерсти, шкура неровно бугрилась. Медведко даже не повернул к нам морды, так мы были безразличны хозяину. Да и мы не шибко застоялись, меж тем не испытывая никакого страха; поулыбались, да и двинулись дальше своей тропою, едва волоча ноги; по северным суземкам трудная бродня, не раз в пути лешакнешься, да и проклянешь всю эту охоту, век бы ее не видать, когда ружье за плечами начинает весить в пуд, а рюкзак кажется неподъемным.

Уж не припомню сейчас, не в том ли походе я чуть не утонул в болотине, когда еще попадали на глухариный ток. Какой-то зазимок вдруг выпал, дул студеный хиус, пронизывая до костей; пути еще не было, снег пухло, высоко зыбился по борам; корочка наста уже не спекалась в жестянку, чтобы держать человека, и мне, коротышке, было досадливо брести целиною. Я проваливался в снег по самые рассохи, не доставая ступнею мхов, и оттого частенько вынужден был ползти раскорякой, завидуя более рослым спутникам. И потому с такой радостью мы встретили плоское болото Гологуз, растянувшееся на несколько верст. Проклюнулось солнце сквозь облака, и вся моховина, покрытая льдом, казалось, была убрана хрустальными пеленами.

"Ух какой каток! — воскликнул я рассмеявшись. — Сейчас мигом домчим до места!"

Я разбежался и первым заскользил по льду, еще не слыша беды, не обращая внимания, что лед податливо проминается под ногами. И тут под ногами с хлюпаньем лопнуло, я провалился по горло в моховые хляби. Одежды намокли, тело огрузло, я почувствовал, как павна ненастная обняла мои ноги. Я подпехнул под себя ружье и, цапая ногтями по льду, пытался как-то заякорить себя посредине призрачной чаши, по склонам которой ласково скользили голубые небесные отраженья. Я, уже осознав несчастье, как-то сразу затвердел нутром и, будто беда не касалась меня, ровным голосом объявил товарищу: "Юра, я, кажется, погибаю". И резон в моих словах был: кругом ни деревца, ни чахлой березы, ни кустика, ни другой иной державы, за что бы укрепиться; только метрах в пятидесяти, откуда мы вышли на Гологуз, торчала чахлая ржавая ворга из кривых сосенок и бородавчатого березняка. Юрий Шульман, уроженец Нёноксы, бывалый ходок, ровный, спокойный натурою, не порол горячки, не суетился; он выхватил из-за пояса топор и, осекаясь по льду лезом, стал медленно подступать ко мне по ледяной крути, рискуя при малейшей оплошности скатиться ко мне в гости. А там и поминай как звали. Рисковое предприятие ему удалось: приблизившись, он бросил мне конец брючного ремня и стал потихоньку добывать меня из болотных хлябей.

А сиверик дул — ой! — и спрятаться от него некуда. Мы заспешили в борок, товарищ ловко добыл огня, развел огромный костер, я разделся под этим хиусом догола (только так и можно было сохраниться), ополовинил бутылку перцовой. На костре высушили и фуфайки, и все белье, и долгие резиновые сапоги, и портянки, и шерстяные носки. Часа через два, уже приноравливаясь к болотному коварству, мы продолжили путь. Потом была ночевка у костра, под заполошное нявганье куропатки. Где-то в дегтярной темени покряхтывало, поскрипывало, почмокивало, пламя выхватывало кусок льда, не в силах проткнуться за черные стволы елинника, за лохматые его бороды. Чудилось, что кто-то шатается вокруг нашего табора, следит круги, пытливо оглядывает поварню, наше становье, поклажу, прислоненные к валежине ружья, постели, настланные под подолом ели из лапника. (Теперь-то я точно знаю, что возле нас кружил медведко, лесной хозяин, таежный бурмистр, вынюхивал, зачем мы явились в его имение, с какой нуждою нарушили заповеданные рубежи. А непрошеный гость хуже татарина.)

Еще в темени мы двинулись к току. Солнце еще и не проклюнулось, не ворохнулось в алых постелях, а уж по всей округе залились, загулькали тетерева, занявгали куропти, запостанывали журавли; и вдруг совсем рядом, казалось, у самых ног, сердито всклохтала копалуха, требуя к себе

мужика, и замолчала, недоверчиво вслушиваясь в лесные шумы. Предутренний ветерок потянул по вершинам елинника. Мы напряглись слухом, и тут будто сквозь плотную паволоку, коей был окутан суземок, просочилось медленное костяное постукивание; словно бы деревенский плотник, забравшись в глухомань прежде нас, сейчас насмешливо пощелкивал слоистым ногтем по спичечному коробку: тэк-тэк-тэк. После недолгого перерыва в черном бору зачуфыкало. Эх, сколько желанного восторга вдруг вскипело в груди: все мысли, все чувства, что прежде бередили мою голову, разом отступили, отлетели, уступили место всполошливому азарту, будто на миру уже не существовало ничего, кроме охоты. Я уже представлял, как гомозится глухарь на суку, ворошится головенкой, пушит хвост и крыла, надувается зобом, щелкает костяным клювом, до глубины птичьего сердца наполняясь любовным ератиком. Ах, любовь! она даже самого глухого заставит слышать и самого-то немого приневолит заговорить на особом языке, что откроется в эту минуту томления. Снег был глубок, в ночи спекся слегка, скрипел и кряхтел, проваливаясь под ногою. Я подступался к поющей птице и не мог полностью насладиться охотою, потому что невольно досадовал на обстоятельства, сердился; но кровь прилила к вискам, и не понять было, то ли боевая жила бьет в ухе, то ли в своей скрадке поет мошник. Глухой-глухой петухан, но слух-то у него отменный, за версту расчует чужака. Кончил глухарь чуфыкать, и ты замри пнем, истуканом, колодиной, запри натуго воздух в груди, чтобы и вздохом не выдать присутствия: чудится, что даже всполошливое сердце сейчас услышит птица, поймет опасность и немедленно снимется с ветки. Я шарил взглядом по темному, едва просквоженному серыми сумерками лесу, чтобы отыскать глухаря, — и не мог, совсем рядом раздалось новое чуфыканье, я торопливо шагнул навстречу голосу, но провалился вновь по колена в сугроб, не удержался, плашмя повалился в снег, просунув обе руки в хрустящую корку наста. И тут прямо в мои глаза впялились огромные следы таежного хозяина; отпечаток был совсем свеж, от него даже парило, пахло медведем. С грохотом снялся с вершины глухарь, но он уже не интересовал меня; показалось, что зверь притаился за широким подолом ели, вмерзшим в снег, и тоже гадает, что делать, и сметывает меня, дурака. Желание всякой охоты разом пропало; и не то чтобы я шибко испугался, но стало мне както нехорошо, неловко, знобко, за всяким деревом вдруг повиделся враг, вражина. Такое чувство вызывает ночное кладбище: минуешь его под луною, и кажется, что из-за каждого могильного креста, голубовато освещенного неверным светом, тянется к тебе костлявая рука, чтобы забрать с собою; тем же местом идешь днем, и никаких чувств в груди, кроме невольной грусти...

Вот днем возвращались через Гологуз; медведко скачет, мы перед ним как на ладони, и никакого же страха, лишь слегка мурашится под лопатками: кто знает, что у зверя в голове, в каком расположении духа он?

Однажды медведь рванул от нашей лодки, когда мы поднимались вверх по Пёзе, с такою легкостью и завидной стремительностью, только каменьарешник посыпался из-под пят; он одолел крутизну и скрылся в чернолесье, а я заметил лишь лохмы рыжей шерсти на ляжках и бугристое тулово, принакрытое толстой лесной шубою.

И еще раз я столкнулся с медведем у Сюзьмы, у береговой кромки, где лесная тропа вплотную сбегает к морю. Уже стемнивалось, и нарваться на медведя в эти часы, когда зверь шатается по заплескам среди гниющих водорослей в поисках выкинутого прибойной волною тюленя иль нерпы, — дело обычное. А если он у поеди, жирует над добычею, вдруг перепавшей с моря, — тут к нему не подступись, беги подальше, пока хозяин не расчуял тебя. Да и кто охоч особливо делиться добром, когда за него идет постоянная свара, когда добыть прокорм дело нешуточное. Покров неожиданной темени лишь усиливал робость и страхи и придавал зверю особенной жесточи и коварства, и, чувствуя свою слабость и беспомощность, я поскорее отступил в кусты, чтобы напрасно не испытывать судьбы. Косолапый был внизу, на песчаной косе, облизанной водою, а я, находясь на горе, на теплых торфяниках, прошитых кореньем и повителью ягоды-сихи, казалось, слышал его сытое почавкивание и похрумкивание косточками, сопение и раздумчивые вздохи.

Моя осторожность, однако, была кстати. Где-то в этих местах обитала медведица с медвежатами: она оследила свои заповедные места и никого чужого без острастки не впускала. И лишь самонадеянный иль отчаянный человек решится вторгнуться за эти границы. Именно здесь Марфа Ивановна однажды выпугала бедного почтаря так, что он на короткое время не только потерял память, но и получил отметину до скончания дней. Мужик шел по линии связи, искал повреждение и тут наткнулся на медвежонка. Эко, думает отчаянный, прихвачу добычу, сдам в заготпушнину для зоопарка и получу добыток. Связист так и поступил: поймал медвежонка, сунул в монтерскую сумку и повернул обратно к Нёноксе. И тут раздался грозный рык, из-за кустов выступила на пятах, раздвинув для объятия лапы, огромная медведица. Монтер не растерялся, живо надернул на ноги стальные когти и, будто под порывом ветра, взлетел на вершину столба. Но медвежонка не выпустил: жаль было расставаться с прибытком. Матуха же давай раскачивать столб, после, обнаружив бесполезность занятия, полезла наверх. Пришлось медвежонка вернуть. Мамка спустилась, ошметок слюны метнула в отчаюгу и ушла в лес. Монтер же, несолоно

хлебавши, вернулся домой, повалился спать. А утром и узнать себя не мог: левый глаз вывернуло наизнанку, веки распухли и налились кровью. Посулилось мужику пированье, а оказалось гореванье. И больничная койка не помогла...

Случай (рассказан М. Щербаковым)

"Рыбачить с Калиной одно удовольствие. Он безошибочно находит самые рыбные места. Вот и ныне предлагает: "Поедем, парень, в Россоху. Хариуса там — шест ткнуть некуда. Да и старые отцовские угодья хочу поглядеть. Давно там не бывал..." И вот мы едем вверх по Россохе. Дело это трудное. Часто тянем лодку через мелкие пороги, перетаскиваем ее на руках через лесные завалы. В глубоких омутах закидываем удочки. Напротив каменистого мыска Калина командует: "Стой! Эт-та, уху варить будем".

Камешник скрипнул под носом лодки, мы поднялись на угор. На полянке среди густого пырея — куча замшелых камней, головешки. Калина хмурится: "Избу сжег обормот какой-то. Из кондовых лесин была изба-то. Покойный родитель рубил, когда я еще без штанов ходил. Постой, а клетка где? Эка чаща ельника выперла".

Мы продираемся сквозь чащу молодого ельника, и передо мною открывается чудо. На верху массивного, в два обхвата, столба врублена крестовина, а на ней домик. Окон нет, только двери, подпертые изнутри хитрым запором. Крыша из толстых тесин прижата к срубу гнетом. В таких вот избушках "на курьей ножке" хранили припасы и пушнину наши охотники в старину. В такое хранилище не то что зверю — настоящему вору мудрено попасть. "В клетку залезть, говоришь, мудрено? А вот медведь однажды забрался". — "Неужели запор открыл?" — "Где ему запор. Через крышу. Кряж припер из лесу, к стенке поставил. По кряжу залез, значит, на крышу, гнет выволок и тесины разворочал, дьявол, в дыру шастнул, сграбастал большой туесище с мукой — и вон тем же путем. Пуда на три был туес-то". — "Ну и куда с ним косолапый?" — "На Гаревый мыс упер. Это за три версты отсюда. А там в Занаволочье под ель поставил и мхом завалил. Ищи-свищи. Отцу век бы не найти, да спасибо собаке, белку на той елине слаяла". — "Шутник, однако, зверь-то был". — "Какой тебе шутник. Это в отместку он. В то лето пошутил, видишь ли, отец над зверем. На Гаревом мысу пошутил. Увидел медведя на сухой ели, посетовал, что ружья не захватил, и решил нагнать страху на хозяина. Надрал бересты, свалил под ель и запалил, а сам в лодке на другой берег. Пусть горит: пожар не займется, ель на наволоке, далеко от лесу. Запылала береста,

дым прямо на медведя столбом, сучья затрещали. Как мешок, свалился мишка на землю, по-дикому рявкнул, когда прижгло, и без оглядки в лес утяпал. Отец же через неделю домой подался. А зверь, видно, того и ждал, отместку торопился сделать". — "А может, в клетку лазил другой медведь?" — "Нет, тот самый. Другой бы не попер туес с мукою на Гаревый мыс, возле избы бы и растряс. А этот обидчивый оказался, самолюбие его заело. Вот и запрятал муку там, где позору и страху натерпелся".

* * *

Владыка русской тайги довольно редко ест мясное, но часто постится и этим-то и походит на русского мужика, что оскоромливается на масляную да перед потной страдой, когда надо ломить от зари до зари на пашне иль сеноставе. Правда, медведи к тому же залегают на зиму в спячку и долгой своей голодовкою невольно сохраняют в своей вотчине все живое и дозволяют плодиться. Главная еда у косматого — ягоды, коренья и овсы. Но стоит черному зверю хоть однажды отведать мясного, заломать лошадь, иль отбить от стада коровенку, иль залучить на лесных выпасах сохатого, тут потапыч сразу позабывает былое постничество, и всякая зелияница отступает на второй черед. Но есть медведки, кто во всю жизнь свою не попробуют скотной требушины, и тогда нет в лесу зверя смирнее; он может годами пастись возле деревенского стада и ни разу не позарится на животинку; бывали случаи, что бродил косолапый вместе с коровенками, и те не знали никакой тревоги. Правда, лошадь чует медведку издалека, у нее врожденный остерег, и одного лишь запаха шкуры хватает, чтобы взбеситься кобыле; понесет сани на горе седоку — и не остановить, разобьет в лом или опрокинет под гору на дорожном раскате. Этим свойством лошади, ее неизбывным природным страхом перед медведем часто пользовались деревенские колдуны. Если надо было по сговору разрушить свадьбу, они тайком совали к голове лошади или вплетали в гриву пук медвежьей шерсти, и тогда гнедая рвала постромки, выбивалась из оглобель и разом нарушала весь свадебный чин. Старухи никли, шептали, что это не к добру, молодым не житье.

Прежде мезенских лошадок, низкорослых, косматых, свычных к проголоди и северным холодам, продавали на ярмарках во все концы Архангельской губернии и далее. И кобыленка иль жеребчишко, тоскуя по родине, бывало, убегали из нового стойла к старому хозяину прямиком по тайболе. И что отмечали очевидцы, не было случая, чтобы такую упрямую гулящую скотинешку, бредущую по незнакомым суземкам через боры и болота, задирал лесной архимарит. Бог миловал.

...По первозимице, как набросает снежку, медведь идет искать берлогу, иль в старой остается на житье, иль на сухом склоне, с сугревной стороны, где не подтапливает вешней водицей и добро подогревает боки солнце, строит новую. По чернотропу хорошо видны путики лесного барина, его намерения; тут медведку не беспокоят, не перебивают его дороги, не шумят и не следят, а дадут спокойно улечься. Если косолапого ничто не тревожит, если он отъелся клюквы с осени, поднакопил жирку, то он без спешки отроет себе землянку, натаскает сверху хворосту, сучьев и веток, всякого иного хламья, чтобы не поддувало, оставит лишь дырку для духу сверху. Часто устье житья он затыкает комом из веток и травяной ветоши и ложится таким манером, чтобы заранее знать, куда бежать при угрозе. Потом и снег повалит, покроет медвежье лежбище толстой одеяльницей, и лишь по продухе и тонкой струйке теплого зверного пара, оставляющей на свежей пороше рыжее кружево, и можно догадаться, что тут залег дедко и сосет лапу. Ну и пусть лежит потапыч до вешней капели, коли так поноровила ему судьба. И ты его бесперечь не тревожь напрасно, возле берлоги не кружи, не шуми и не говори про него вслух, не поминай имени, чтобы не услышал. Тогда он, увалень, и повернется во всю зиму один лишь раз, на Спиридона солноворота...

Нужна большая осторожность и многоопытность, чтобы выследить берлогу невидимо и неслышимо для зверя; на первых порах, завалившись в него, он присматривается и прислушивается сквозь дрему, как бы предвидя предстоящую опасность. Зашумит ли что наверху, хрустнет ли сучок поблизости, он тот же час вылезет из норища, обойдет вокруг и, если зачует человека, непременно уйдет прочь или станет искать себе нового житья. Иногда и случайно поднимут зверя в позднюю пору, когда спячка вовсю начнет одолевать животинку, и тогда генерал топтыгин завалится по нужде где-нибудь в буреломе, иль под выворотнем сосны, иль под выскетью ели, обрушенной бурею, ибо новое логово мишуке готовить уже сил нет, сон его клонит. А бывает, что поднимут медведя облавою иль собаками, выпугают зверя, стронут с места, а взять не смогут; задаст косолапый деру спросонья, на добром жеребце за ним не угнаться; и тогда во всю зиму скитается несчастный шатун и бродяга, не сыскав себе места, и злей его нет зверя во всем северном краю. Такой медведь хуже волка голодного станет, и человек не попадайся ему на тропе. Хотя, случалось, что и зимний скиталец не тронет, если из пестунов недавно вышел или не попробовал еще человечьего мяса. В зимнюю пору шатун — гроза любого охотника и зоритель промысловых избушек, когда никакие запоры не удержат косматого; не в дверь, так в оконце, выломив его, залезет коварник в избенку и все разорит, пустит в пыль и прах.

...За Пёзою-рекою на волочке в сторону Печеры был страшный слу-

чай. В избушку к охотнику повадился стервеник-шатун, что с осени не нашел себе места и вот бродил в поисках поживы. Заявится, когда промышленник в отлучке, все перетрясет и не столько съест, сколько изведет без нужды, перебьет и изломает. Охотник припасы перетащил в лабаз, выставленный на высокий столб, где хранил пушнину, так медведко и туда приловчился взлезть. Тогда мужик решил кончить с лешим. Подкараулил и выстрелил из кремневки. Но ружье, к несчастью, дало осечку; косматый выхватил бердану и разбил об угол зимовейки. Что делать в тайболе, кому караул кричать, куда деваться, коли на многие десятки верст по всей округе ни одной живой души? Охотник взобрался на крышу, думая там пересидеть беду. Но зверь за ним следом — и заломал несчастного. Только весной по полой воде охотника нашли рыбаки, попадавшие на озера.

Значит, в обыкновение, лесной архимарит обходит стороною прохожего, обнюхав его следы и каким-то тайным чувством уразумев, что тот не несет несчастья; но он не прощает того, кто покусился на его жизнь, спокой, сон, кто нарушил уединенную трапезу, вторгся в размеренное бытование. Мстительность тогда преобладает над зверем? иль обида? иль расчет узаконить границы своих владений, чтобы никто не поваживался забредать в чужой угол без спроса, куда гостя вовсе не звали? Может, и то, и другое, и третье. Но верно, что страх — лучший учитель от будущих проказ, примерно наказал одного непутя, и вот уже прочим наука, станут стороною обходить медвежьи лежбища со всею осторожностью.

Эх, кабы так-то!

3

Случай

"...Приходим мы раз к берлогу. Спервоначалу-то ходил я с товарищем Петрухой Калининым, Балагуровичем, по уличному уставу. Красивый такой мужичок был и развеселая головушка, царствие ему небесное. Вот подходим мы к этому берлогу-то и давай выживать зверя. Ничего, послушливый был, сейчас и лезет, да матерущий такой. А тут прямо в голову ему и палишь; прежде больше что с оружием на них ходил. Ну, порешили мы с ним, да и выволокли. Одно бы и прочь идти, так Петруха говорит: дай-ка слазаю к нему в берлог-от. Любопытствовал, значит, какое там домовище у зверя устроено. Только спустился он эдак по грудь, да как запастит: "Ой, — кричит, — Онисимушко, выволоки, Христа ради!" Выволок его, а на нем и лица нет. Так и трясется. "Что?" — спрашиваю. "Да на зверя встал, он и заворошился". Что за оказия, думаю. И неуж и взаправду другой зверь в берлоге? Почали выживать: не

лезет вон, только покряхтывает. Взяли кол, обтесали его, да и давай его там буровить, за шерсть дергать. Ну, этого он невзлюбил, полез. Только порешили и с этим. Медведица была. "А что, — говорю, — может, и медвежата есть? Дай-ка и я в берлог понаведаюсь". Вроде в шутку сказал. Сами знаете, какие об эту пору медвежата. Больно уж забавно показалось, медведя с медведицей в одном берлоге нашли. Вот влез я в берлог-от. Большущий такой поделан, добро бы и человеку жить, и теплынь такая. Только со свету-то не видать, что к чему. Стою эдак и пялю глаза. И как вдруг рёхнет. Не боязлив я был втапоры, а как выбрался из берлога, уж и не помню. А Петруха стоит да грает: "Что, — говорит, — небось и взаболь медвежатка есть?" — "Какое медвежатка, большак там". — "Неужто?" А в берлоге нет-нет и рёхнет. Вырубили кол подлиннее, нащупали, да и давай буровить сызнова. Только как ни старались, не вылазит. Что делать? Почали берлог разрывать, чтобы свету пустить, а как посветлело, он в угол забился и не ворохнется. Небольшой был, годовалый, пестун, значит. Таких медведица при себе держит, чтобы детей у них нянчил. Медведь хоть и зверь, а Богом тоже смыслом не обижен. Ну и прихлопнули и того зауряд. Такой вот случай вышел".

* * *

Но и среди писателей есть люди дерзкие, не изнеженные, поверстанные вплотную с матерью-природою, рисковые, кто в азарте сыскивает интереса к жизни. Это не кухонная богема, подбирающая крохи с господских столов, и не пикейные жилеты, для кого литература — лишь досужая забава, не архивные копатели забытых сокровищ и не издательские толкачи. Это люди особой породы, с них самих можно списывать романного героя. Вот сибиряк Анатолий Буйлов отлавливал уссурийских тигров — работа, надо сказать, не для слабонервных,— и пас оленьи стада, кочуя по тундрам; Александр Кузнецов покорял горные вершины и на скалистых кручах, по-за ледниками отыскивал птиц небесных, изучал их норов; Александр Проханов, "соловей генштаба", собрал богатейший урожай тропических бабочек; отставив автомат или закинув за спину, позабыв об опасности, гонялся с сачком по джунглям за эфирными существами, а в это время совсем рядом шла война; Виктор Соловьев (ныне покойный) охотился в одиночку на медведей и этим горячил кровь, в то время как писательская братия возбуждала себя в литературных клубах вином и словесной прею; Анатолий Онегов, живя в одиночестве в северной тайге, изучал нрав лесного архимарита, приступя к нему вплотную.

Оставим в стороне их прочие привязанности, литературный талант, известность, ибо всяк шел по своей стезе; но разве не видно их родства,

разве не выполнены они из одного особого теста? Это писатели опыта решительного, души чувствительной и тонкой, характера не сквалыжного, добросердного.

...Виктор Соловьев как-то незаметно потух на писательском небосклоне, будто и не жил, хотя был человеком чрезвычайно выразительным. Я случайно узнал, что он умер, уже через несколько лет. Подобное зачастую случается с нашим братом. Особенно в последние годы. Все тешим себя надеждами, молодимся, пыщимся, со тщанием пролезая сквозь игольное ушко к мимолетной славе. И вроде бы уже пробрались за гостевой стол избранных, примостились, хоть и с дальнего краю, к сдобному кренделю, и только бы откусить его — ан глядь, уж и старуха с косою за плечом, и вся скоро утекшая жизнь видится напрасной, а известность — мнимой и вовсе не нужной. И тут невольно со вздохом повторишь слова Экклесиаста: "Все суета сует и томление духа..." Да и неладно бы тужить напрасно о былом, но утекшее невольно позывает к скорби, которая не приклоняет долу, но возвышает очи горе.

Мое знакомство с Виктором Соловьевым было мимолетным. Свел нас Юрий Галкин, когда я был молод, самонадеян, иногда вздорен и самолюбив. Собственно, это повадки всякого начинающего литератора. Во мне вдруг пробудились способности к литературе. Я боготворил ее, и простая жизнь озарялась высоким смыслом. Эту помазанность на особую судьбу мы отчего-то называем Божьим перстом, хотя зачастую от нашего промысла ничего доброго не случается, кроме искуса и нравственных хворей, которые мы с легкостью, как колдуны, насылаем не по ветру ближним, но с помощью коварных словес. Тогда мне не надо было ни денег, ни славы, но только хотелось высказать людям наболевшее, открыть истинную правду и смысл жизни, которые, чудилось, скрыты от них. Помню, что именно в этот день, когда мы встретились с Виктором Соловьевым, мой земляк Юрий Галкин, стянув тонкие губы в нитку и измерив меня насмешливым взглядом (а он уже ходил в именитых), искренне и недоуменно процедил: "Слушай, Личутин, ведь ты был графоманом. И откуда в тебе что взялось?" Суворовский русый хохолок над высоким лбом его гордовато вздыбился. Я не обиделся этой язве, ибо это было сущей правдою, но запомнил. И после часто ее растравливал, чтобы не заживала она.

Это сейчас я силком приневоливаю себя сесть за работу, а тогда мне нравилось переводить бумагу, руки зудели, я мог писать на подоконнике, в шумном застолье, в поезде, за тумбочкой в общежитии под косыми взглядами еще трех постояльцев, промышлявших журналистикой. Это сейчас слова во мне притаились, будто медведи в берлоге, их надо постоянно выкуривать из логовища принудиловкой и притужаловкой, а тогда с какой

радостью вылетали из машинки готовые страницы, ибо ими, по тогдашнему разумению, мостилась дорога в необычное будущее, которое было туманно, как вечерний небосклон. Я не строки тогда вышивал пером, но вывязывал лествицу в лучезарный храм, доступный лишь избранным.

...Обитал Соловьев в Петрозаводске. Попадая к нему по воле случая, я еще не знал в подробностях его житья. Как водится, взяли с Галкиным винца, надо было прокоротать вечер; ведь подушка — лучшая подружка, когда головенка твоя изрядно захмелена и задурена табачным угаром и вином. Да и за гостевым столом время бежит на пристяжных, а в гостиничном номере чужого города ползет улиткою.

Русские люди обычно хлебосольны, они рады гостю, не струнят душу, не берут ее в узду, чтобы казаться радостными, хозяева искренни, стол полон, да и собрать трапезу тогда не составляло натуги. Печеному-вареному не долог век, и потому нет нужды вспоминать, что ели-пили.

Соловьев восседал во главе стола на стуле, покрытом огромной медвежьей шкурою, черными волнами стекающей на пол.

"Это мой трон, — сказал Соловьев. — Сначала зверь драл меня, а теперь я его попираю своим седалищем". Он странно усмехнулся одной половиною лица, левая сторона, изъеденная космачом, оставалась безжизненной. Белый шрам с лиловыми отростками делил лицо наполы, глаз с вывернутыми веками, трахомно красными, казалось, висел на тонком корне, кожа на щеке и скуле, сухая, как пергамент, туго, прозрачно натянута на кость. Видно, что крепко драл медведко человека, и дивно, что тот остался жив. Соловьев не смущался боевой раны, не прятал ее в тень, не подсаживался к нам правой стороною лица, чтобы скрыть уродство; был он весел, добро держал рюмку. Это был настоящий русский мужик, не только покроем славянского лица, но и безунывным характером; медвежью смертную печать он носил, как заслуженную высокую награду, или, по крайней мере, создавал такое впечатление. Но мне к истерзанному медведем обличью надо было привыкнуть, и я поначалу отводил взгляд. Ну да винцо все гладит. Судите по присловью: "Нет некрасивых женщин, есть мало водки".

Так что же случилось с писателем, как он попал в лихую передрягу, из которой так легко переехать на красную горку?

Соловьев бывалый охотник, он долго кочевал по лесам, сыскивая в них отраду душе и занятие уму; бил птицу и зверя, скитался по суземкам, а вернувшись на городские квартиры, описывал свои впечатления. Но вот надоело, прискучило, примелькалось бродить по одним путикам, все обстоятельства уже повторялись в подробностях без новизны ощущений, вновь захотелось остроты переживаний. Соблазнился однажды медвежьей охотой на берлогах — и вдруг заразился; это был новый, невиданный

прежде поединок, чем-то смахивающий на дуэль без свидетелей. Смерть перед глазами, но ты не отступи и не оступись — забава не для слабонервных. И вот испробовал все медвежьи потехи: и в засидках, и с лабазов, и на облавах, и на берлогах. Оставалось лишь испытать медвежью охоту на овсах. Читано было много, но ведь чужие впечатления чаще всего умственны, они не поражают сердца глубиной страсти, азарта, каким бы мастерством ни обладал писатель. Что-то главное всегда остается за занавесом драмы: та непередаваемая тонкость охоты, которая и оглушает человека, и неслышно переновляет его.

И вот однажды из знакомой карельской деревни дошло писемко: де, повадился на овсы медведище, зорит польцо, а смельчака, чтобы отогнать зверя косматого прочь, не сыскать во всей округе; де, батюшко родимый, приезжай, освободи от лихой напасти. Это послание лишь подлило масла в огонь. Соловьев слыхал, что охота на овсах особенно коварна и требует от охотника чуткости и решительности. Да и этот крестьянский поклон, жальливая просьба подольстили писательскому сердцу; оказывается, Соловьев уже вжился в народ в новом качестве бесстрашного лесника.

Староверческая деревнюшка затаилась в карельских лесах. Остановился писатель у знакомца: избенка его стояла как раз возле овсов по замежкам польца, отвоеванного когда-то у елушника, и поныне высились боры, не знавшие топора. По вырытым круговинам видно было, что медведко прихаживал не один раз; он пользовался тем, что зерно еще не поспело, под косу овес пускать рано и на силос переводить урожай не было смысла. Как умелец, бывалый охотник, Соловьев оглядел место засидки, того скрада, откуда можно бы взять зверя. Соорудил лабаз, в суковатой развилке накидал нашесть, в сумерках залез, стараясь ничем не выдать своего присутствия. Но до утренней зорьки коротал зря: косолапый не прошел по своей тропе, но натоптался в другом конце поля. Тогда охотник на том следу соорудил скрад, но лесной архимарит обманул, прибрел опять с иного угла. И вроде бы ничем не выдавал себя охотник, и ветер-то был в его сторону. Тогда Соловьев обошел места засад и вдруг обнаружил медвежьи лежбища; оказывается, потапыч преспокойно наблюдал, как усердствует охотник, сбивает себе на верхах сидюльки, громоздится на нашесть, как петух, — делал кругаля и на потравы являлся с безопасного места.

Всю неделю зверь портил овсы. Соловьеву было стыдно показаться на глаза деревенским. Тогда охотник решил взять косматого с подхода. Еще в темени, часа в три ночи встал он, без гряка и шума вытаился из житья и на пальцах, стараясь не дышать, внаклонку вступил в росное поле. Ветер

на счастье тянул со стороны леса, и еще не разглядев черного зверя, охотник услышал сопение, чавканье и возню. Предутренняя темень как-то быстро проредилась, Соловьев приподнялся и увидел медведя; тот сидел на мохнатых подушках и по-хозяйски деловито, спокойно доил кожаными лапами овсы, заправлял зерно в пасть. Соловьев выстрелил навскидку, медведь взревел и бросился в лес.

Соловьев вошел в ельники по кровавому следу. Но в горячке азарта как-то скоро потерял чувство опасности, близкий успех гнал вперед. Крови было много, и медведь, как чувствовал охотник, далеко не ушел. Соловьев миновал древесное трупище, обросшее мхом, и тут косматый навалился сзади, вышиб дробовку. Соловьев от неожиданности упал навзничь, стал шарить ножа и вдруг вспомнил, что позабыл его в избе. Тогда несчастный сунул медведю локоть, зверь стал жевать фуфайку и выгрызать руку. От удара лапою затекли кровию глаза. На миг Соловьев забылся, потерял сознание. Когда очнулся, медведь стоял над ним внаклонку, внимательно прощупывая жертву жестким взглядом. Из пасти текла желтая пена, шерсть на загривке вздыбилась ожерельем. Соловьев помнил, что ружье где-то рядом, стоит лишь протянуть руку; не сводя взгляда со звериной морды, он осторожно пошарил по земле, но косматый заметил, что охотник еще жив, и снова ударил лапою по голове. На этот раз спасла зимняя шапка. Соловьев накоротко впал в беспамятство. Когда очнулся, медведь все так же, враскоряку, покачиваясь, дыбился перед ним. Соловьеву казалось, что их поединок длится уже часы. Что-то на миг отвлекло внимание зверя, он лишь приотвернул голову в сторону, и тут на счастье охотника ружье как бы само собою вскочило в ладонь. Соловьев успел выстрелить, медведь рухнул на него и придавил тяжкой тушею. Соловьева вышибло из памяти.

Деревенские слышали выстрелы, но охотника с добычею дождаться не смогли. Почувствовав худое, они двинулись на поиски и скоро нашли несчастного. Изломанного охотника погрузили в лодку и речками, через волока, отвезли в Петрозаводск, не чая увидеть его вживе.

"...Поединок наш длился минуты четыре, а операция шла четыре часа, и наложили на меня тридцать швов. Неурядисто, но сшили кой-как. Сердитый оказался дедко".

"Ну что, натешился? — грустно спросила жена, окидывая взглядом лицо благоверного. — Сбил охотку? Больше не потягивает?"

"А что терять-то? Ни одной девке в женихи не сгожусь... Да, вернулся я в ту деревню через месяц. Охота была трофей-то забрать. Медведя крестьяне съели, но шкуру-то вернули".

Соловьев ласково погладил медвежью лоснящуюся шубу.

4

Случай

"...Ну, заехал я однажды по речке в суземку beresto драть. Еду в лодке, пехаюсь о песочек. Што такое? — земля дончит, бот-бот-бот. Понять не могу, откуда дончит. И вдруг сверху летит на меня медведь, с горы летит, только шерсть взлягиват. Летит он, летит, подбежал до меня, на задни ноги выстал. А я не много и думал, весло схватил: "Ах ты, падь, — кричу ему, — куды ты прешь, зараза такая, сейчас голову отрублю". А он и ходит вокруг, не решается, значит, меня замять. А я еще топором по веслу бряк. И думаю: только на меня сунешься, я из лодки выпаду и тебе из воды всю брюшину выпущу. А он испугался меня и побрел, как невольник, тихонько прочь.

"Ах ты, падь! — кричу. — Бреди, да больше не попадайся!"

Большой такой зверь был, длиной больше лошади..."

* * *

Для русского человека смотреть на глобус — сердечное веселие и неиссякаемая гордость; для европейца — тоска смертная, невольно от зависти, смертельной обиды и страха источишься, иссякнешь, как плесень, и чтобы вовсе не иструхнуть чувством, им невольно приходится заводить всякие козни, строить куры, пыщиться по-индюшачьи, будто бы русские приковали Европу, как Прометея к скале, но вот грядет день, когда рассыплются в прах те цепи, как ужасный сон. Ну и, как положено от века меркантильному практическому латину, — делить шкуру неубитого медведя. Когда это присловье родилось, то имелся в виду, наверное, не тот косматый черный зверь, ломыга и лесной архимарит, но безнадзорный (для Европы), омытый океанами материк, что по Божьему странному попущению достался во владение барбару, славянину, ничтожнейшему из людей, ниже которого, пожалуй, на природной лестнице приютились лишь евреи и цыгане. Уж что только не насулили на нашу голову ненавистники, каких только несчастий не промыслили, какой только порчи не наслали по ветру, каких только псов не науськали, чтобы изъесть и разобрать по костям великанье тело богатыря. А все неймется, изъедает, однако, кручина. Будто Большая Медведица спустилась с небес и разлеглась, охранительница, не давая доступа коварникам.

"Ату их, братцы! — неистово вопят злокозненники по всем перекресткам мира. — Доставайте зверя облавою, выкуривайте из берлоги, грызите

за черные мяса, не давайте во всякую минуту роздыху, сымайте сопрелую шкуру, рубите мясища на полти и на тех печенях и желчах взбадривайте свою силу и жесточь". А русский "ведьмедь" лишь поуркивает, отпыхивается шумно, сопит да изредка взрыкивает угрозливо, когда окаянные лихостники уж вовсе наступят на пяту.

Вальяжно, безмятежно разлегся русский медведище, возложив лапы на загривок Германии, не давая ей ворохнуться, и вся Западная Европа оказалась загнанной в норище; и какой бы спесью ни захмеливали себя, но все одно уткнулись в гнилой угол и из своего затулья вынуждены с бесконечной опаской и вздрогом смотреть, как бы не встревожился в напраслине восточный черный зверь. Европа боится России и этим испугом живет долгие века. Кабы имела достойную силу, то давно бы кухонный нож немецкого и французского мясника исполосовал бы тушу. Но как подступиться? ибо все попытки разбились о грудь славянина, и только по немощи своей, по загнанности Европа кинулась за океаны, чтобы расшириться в пространстве и не скиснуть в своем куту. Казалось бы, чего проще? ступай на восток и подпячивай под себя почти пустые, едва заселенные земли, богатые, как пещеры Аладдина. Тешит себя латинянин гордынею, но испуг, однако, живет неистребимо, словно бы Европа имеет свою неизлечимую "ахиллесову пяту".

Ведь когда-то славяне покрывали почти все земли Старого Света до самой Сены, они приперли многие народы к береговой кромке, замкнули все выходы на прочнейшие замки; и хоть спорили меж собою, точили зуб, но были одной крови, одного обычая, одних славянских богов. Позднее часть славян, приняв унию, как бы стали для католиков крестовыми братьями, но общие предки, исход, родовое изначалие — это неистребимый тотемный знак, это тамга, что во веки веков обличает общность славянских народов, какими бы верами ни прикрывались они. Вторая мировая война, словно в кошмарном сне, вдруг повернула былинную историю вспять; объединенные новой верою, западные, восточные, южные и северные славяне, пусть и на короткое время, но вновь встали под одно знамя (как о том мечтали славянофилы), позабыли прежние вражды, словно бы не минуло двух тысячелетий. Ну как тут не содрогнуться Европе, братцы? как не исполниться ревностию и мистическим страхом? Ну как не испугаться русского медведя, который долго спит в своем норище, сосет в лености лапу на душной и потной своей травяной постели, перевернувшись во всю зиму лишь один раз с боку на бок, а в весну по особому знаку выползает на свет Божий и начинает всех будоражить и забирать волю.

Перенеся в XVII веке понятие медведя на Россию, Европа не только исказила сущность северной страны, погрузившейся в себя, но и насталь-

ко же перевернула норов лесного хозяина, придав те черты, которые вовсе не свойственны ему; лесной архимарит не так коварен, как волк, не хитер, как лиса, не загребист, как росомаха, и не пакостлив, как мыша, не жесток, как рысь, если только не приступили с ножом к горлу; но восприимчив к ласке и заботе, отзывист к любви и жалости, честен и по-своему справедлив, беззавистлив на чужое и показывает богатырскую силу лишь в минуты, когда деваться уже некуда. По своему добродушию, склонности обманываться и домовитости именно медведь стал героем русского эпоса. Медведь — хозяин, а к хозяину в народе всегда были вовсе иные чувства, чем к шатуну, побродяжке, ленивцу и любителю поживы.

* * *

В мировой истории народов медведь был божеством и героем; он — предок, родоначальник, дух-охранитель, дух-целитель, хозяин нижнего мира, священное или жертвенное животное, воплощение души, даритель, звериный двойник человека, помощник шамана, оборотень, друг богов и сам бог, наделенный особой плодящей силою; он же — хозяин леса, гор, зверей, покровитель охоты, старший родственник, принесший на землю огонь; он же — помощник Ворона, творца вселенной, небесное существо, изгнанное Богом на землю за ослушание, чтобы карать грешников.

Но медведь для многих народов отец, дед, дедушка, старик, дядя, отчим, мать, бабушка, старуха, лесовой человек, хозяин, владыка, князь зверей. Он же и Миша, Михайло Иваныч, Михайло Потапыч, Топтыгин, Марфа Ивановна, Палага, барыня. Медведь — близкий родич, предок, родитель. Его образ нельзя было ввести в семью, отцы церкви запрещали поклоняться зверю, волховать с косматым, однако поводчики с медведями несколько веков бродили по Руси, служили забавою, доставляли усладу не только детишкам, но и старикам; ни один съезжий праздник, городская ярмарка иль веселое гульбище не обходилось без Михайлы Ивановича иль Марфы Ивановны. Медведчиками по обыкновению были люди веселые, скоморохи, люди не боязливого десятка, кто и с рогатиной на ломыгу хаживал и из берлог выживал матку, после подбирал детеныша и долго пестовал, вдалбливал недорослю праотеческие неписаные науки, которые передавались изустно по поколениям вожаков. Поводыри не только булгачили скоморошинами деревенский люд, но и кормились с промысла порою до самой смерти, пока ноги носили по земле и пока медведко может куролесить, боясь палки и острастки хозяина. Пообрежет ему когти мужичонко, повыломает зубы, вденет в ноздрю кольцо и, взнуздав цепью, потянет зверя за собою от деревнюшки к

выселку, от харчевни к трактиру, от постоялого двора к съезжей площади, куда скопится стар и млад.

У поводчика обязательно есть помощник, внучек иль подобранный в дороге сирота, который, прикрывшись нарочито сочиненной харей с бородой из ветоши и деревянными рогами, представляет из себя козу-дерезу. Взбулгачивая площадную пыль, взбадривает парнишко селян известной всем припевкою:

Ну-ко, Миша, попляши, у тя ножки хороши!
Тили, тили, тили-бом, загорелся козий дом!
Коза выскочила, глаза выпучила.
Таракан дрова рубил, в грязи ноги завязил.
А коза, ах коза, лубяные глаза!
Тили, тили, тили-бом, загорелся козий дом!

Пропев потешку, коза начинает бодаться, блеять, поддевать косолапого рогами в боки, задорить мишку; тот ревет-плачет, жалуется народу на свои обиды, молотит лапами пустой воздух; ино удастся легконько поддеть проказника, и тогда они начинают бороться, и, конечно, коза берет верх над медведем, ибо палка учителя и верная цепь в ноздре всегда вовремя подскажут Михайле, как себя вести в поединке. Когда и, забывшись, осклабится медведко, взъярится, взоорет на всю улицу, но тут же и получит от хозяина батогом по горбине.

Все приговорки постоянные, вожатаи-сергачи разносят их по Руси в неизменном виде; сочинять, прибрехивать нет нужды, ибо вся красота скоморошины, ее ядреность в постоянстве потехи; старина досюльна приглядывает в этой игре, самые седые времена тут напоминают о себе, соединяя ноевы дни с годами новыми. И двести лет, и триста лет тому назад вот так же поводырь прикрикивал на лесного хозяина и, кланяясь зрителям, меж тем допрашивал зверя: "А ну, старый хрыч, покажи ты нам, как малые ребята горох воруют, через тын перелезают?"

Мишка послушно переступает через подставленную палку, издает ужасный рев, но перечить воле поводильщика дюже опасно, и потому ложится на брюхо и ползет перед толпою, сомкнувшейся таким тесным кругом, что поводырю приходится иногда распёхивать ее.

"Где сухо — тут брюхом, а где мокро — там на коленочках", — приговаривает вожатай. Ребятня заливается, ухмыляются строгие деды, бабенки утирают губы концом плата, повязанного вроспуск, и старухи, подслеповато щурясь, плюются беззлобно.

Ах, будто и жизнь не прокатилась жерновцом, будто только вчера выс-

какивала из избы на крыльцо при крике: "Медведя ведут!" и, опершись о верею, вглядывалась в распах желтой улицы, где в облаке жаркой пыли уже показались бродячие скоморохи, а ноги-то уж сами собой несут на съезжую. И проповеди сельского священника и родительницы-староверки отскакивают прочь, как горох от стены.

...А медведчик не дает бедному космачу отдыха, теребит, чтобы отдал он выученный урок, пусть хоть бы и в тысячный раз. Кормиться-то надо, брюхо что жбан, пустоты не терпит; и хоть стерты до кореня желтые мишкины зубы и плохо перетирают мясища, но звериную утробу да свой животишко ублажить надо.

"А вот покажи-ко ты нам, почтенный Михайло Иваныч, как одна девка собиралась на вечерку. В глядельце, значит, поглядела, да и обомлела: нос крючком, голова тычком, а на рябом рыле горох молотили". Зверь приставляет к носу черную кожаную лапу, корчит уморительную рожу, передразнивая рябую неурядливую девку, и страшно так выворачивает глаза, чем пугает мальцов и веселит девок на выданье, что больше выглядывают парней, чем медвежьи ужимки.

"Ну а покажи-ка нам, почтеннейшая, как старые старухи в бане парятся, на полке валяются. А веничком-то во как охаживают по костям да вяленым и копченым мясищам!"

Лесной хозяин безропотно валится на землю, взлягивает ногами, задирая их к оскаленной морде, и молотит себя лапами.

Парнишка-помощник, что только что наряжался козою, сдирает с себя харю, сует медведке шляпу, заставляет ходить по кругу, собирая дань. Платит кто грошем, кто яйцом круто сваренным, кто колачом иль житенным колобом; всякая милостынька пойдет в дело. Кто-то смелый, тароватый, расщедрясь, погонит мальчишку в кабак за косушкою вина; вожатый захмелится винцом и тут же нальет в скляночку Михайле Ивановичу, а тот с превеликим удовольствием опустошит стопарик.

"Мой-то дружочек Михайло Иванович не простого звания, но лекарского. Он дохтур, каких поискать, из могилы вытянет, любую хворь зароет в ямку. У кого спина болит — спину помнет, у кого живот прихватило, грыжа там пуповая иль нутряная, то горшок накинет, у кого в боку колотье, он и ту болячку приколет", — хвалится поводильщик в прекрасном расположении духа. Народ постепенно расходится, попробовать умения "лесного дохтура" никто не хочет. Мужикам повод разговеться. Они бредут к кабаку, а следом, чуть приотстав, тянутся наш поводильщик-сергач со своим лесным архимаритом, которому наконец-то тоже выпал отдых. Медведь понуро плетется, косолапо загребает дорогу и что-то ворчит себе под нос, мутными гла-

зенками озирая пыльную топтун-траву, густо обметавшую заулки. С ближних полей доносит сладким хлебенным духом, от сосенных боров навевает смолевым ветерком; там благодать, там воля, но поводырю сейчас не до мишки, он нацелен на питейную стойку, пушит усы, теребит бороденку и раздувает ноздрю, принюхиваясь к хмельному духу из харчевни.

***

К нам на севера вожатаи-сергачи не прихаживали, и не то чтобы слишком длинен и страден путь, но поморянина, что всю жизнь прокуковал в соседстве с медведкою, трудно удивить подобными потешками. Но из старопрежнего времени благоговейный поклон лесному архимариту перешел и в наш век. Я помню, как после войны гуляли святочные игрища; озорной мужик наряжался в шубу, вывернутую овчиною наружу, угваздывал лицо сажею, становился на четыре кости и всяко выхаживался в избе перед девками; на помощь ему приходила коза-дереза, они колготились, схватывались в борьбу, чем смешили до слез. При свете лучины иль крохотной керосиновой пиликалки, отбрасывающей по стенам огромные черные тени, смотреть на святочные скоморошины было жутковато, но притягливо. Я не понимал тогда, что вместе с этими святочными картинами, с неподкупным весельем и гоготом, часто перемежаемым протяжливыми досюльными песнями, уходит из Руси ее прекрасное поэтическое детство, которому уже никогда не повториться. Вместе с тем мелеют поэтические кладези, черствеет натура и неприметно тускнеет, линяет, как шагреневая кожа, и перелицовывается вовсе и сама неповторимая физиономия русского человека. Украсы прошлой жизни отодвинулись за окоем, и никогда уже их не повторить.

...Но у некоторых народов мира, крепких преданием, по которым не прокатился беспощадно каток Интернационала, еще сохранилась память о медведе как хозяине, предке, божестве.

5

Летом семьдесят шестого попал я к манси на реку Сосьву. Был я тогда молод, любопытен, версты не держали меня за хвост, и много мечтаний обуревало мою бедную головенку, натянувшую ярмо литературы. Хотел я угодить к знатоку старинных обрядов Василию Сальнахову в деревню Ламбовож, записать у него медвежий праздник, но так и не добрался до места из-за худых дорог и долгих сборов. Несколько дней просидел на главной фактории лесного народа и был удивлен и опечален его крайним

прозябанием, несмотря на всю щедрость к нему государства. (Думается, что в пору нынешних перемен маленькому народу прежние сытые времена кажутся прекрасным сном.)

Манси, как и ненцы, народ простодушный, доверчивый, в нем много детского, открытого. Прежде жили они в лесных землянках, крытых дерном и берестом, оленеводы обитали в чумах из шкур. Это был родовой непритязательный быт, в котором, как трава, произрастали поколения и сходили на нет. Но в безыскусной жизни, лишенной зависти и скрытой от внешних проказ, можно было сохранить не только свой уклад и характер, но и поэзию отличного от прочих лесного древнего народа. "Цивилизация" хотела спешно вбить клинья в привычную жизнь, расшатать здоровые коренья и, захлопнув за спиною дверь, втолкнуть манси в чуждый быт белых людей, где легко было потеряться иль сгинуть вовсе. И, как видим, ничего путного из внешне доброй затеи не получилось, ибо всяк народ идет своей неизбывной тропою, по своим природным вешкам, от которых нельзя шатнуться ни на шаг: засосут, поглотят павны иль окружат и схоронят суземки.

Водка, что привезли с собою белые люди вместе с бусами, топорами и котлами, губила, испротачивала распахнутую душу манси...

На Сосьве я познакомился с Алексеем Васильевичем Бахтияровым. Густые с проседью волосы по плечи, крохотные глазки, как-то криво разоставленные на плоском лице, редкая бороденка. По виду мужику можно было дать лет пятьдесят с хвостиком, но Бахтияров вдруг ошарашил меня: "Мне девяносто лет и псё работам, псё работам". Я сделал вид, что поверил манси: по широкой крепкой груди, по сплюснутым от рыбалки толстым шершавым ладоням видно было, что мужик еще в соку, в самых силах, но ему отчего-то крайне выгодно старить себя.

"Пенсию мало получаем, — рассказывал он охотно гостю, будто включился в нем невидимый проигрыватель с уже записанной беседою. — Тюмень ходим, Березов ходим, Ханты-Мансийск ходим артистом. Сейчас постарел немного. На охоту ходим, мало-мало утку бьем, белку бьем, косачей бьем, всех бьем. — Бахтияров принагнулся, ласково ворохнул за толстый загривок лайку, свернувшуюся калачом возле его босых ног. — Хороший собачка. Соболя гонять не будем, собака гонять будем. Белка лаем, куница лаем, хороший собака. Денег мало, сапсем мало, елки-палки, работать надо. Самый бойкий соболя бьем, медведя бьем. Зимой три сотни белка убьем, разно дело".

Рассказывая, он крутил в изрезанных дратвою корявых пальцах желтую блесну из латуни ("каскан"), которую вытачивал напильником до моего прихода; сдул со стола металлическую пыль и, решившись, ради московского гостя отставил затею в сторону.

"Другой раз сделам, поговорить надо. Один человек говорил, к тебе, Пахтияров, человек московский придет".

Манси встряхнул копною волос, которой позавидовал бы и былинный молодец, красуясь явно, расправил их по плечам: "Привычка такой. Такой кудря. Раньше мужики длинный волос носил, сапсем как баба, косу крутил, всякие железки носил, чтобы бренчали".

В низенькой изобке было по-сиротски скудно и убого. Бахтияров жил один, вне семьи. В оконце, заплесневшем от дождей и комарья, виднелся изгиб звонкой, похожей на слиток серебра реки Сосьвы. Манси принагнулся и уже с другой стороны стула, где помещалась кровать, добыл, не вставая, долбленое корытце с натянутыми из оленьих жил струнами.

"Сангулдып... По вашему-то гармошка будет. — Бахтияров ласково поместил инструмент на колени. При ближайшем рассмотрении долбленое корытце уже напоминало лодку-осиновку, потемневшую от старости, давно забывшую стремительный бег воды. — Отец делал, мастер был. Давно умер. Мама давно умер. Сестры давно умер".

Манси вздохнул, ущипнул за оленьи жилы, они протяжно простонали. Бахтияров хрипло запел, не дожидаясь моей просьбы. Раз явился московский гость, то неспроста: он хочет песен.

С брусничный лист величиной сыночек
Черноволосый мой маленький.
В берестяной вогнутой люльке качаешься,
В узорчатой красивой люльке, чтоб ты уснул.

Водяной, лесной живи ребеночек,
Умей писать, читать, золотой мой.
Чтоб ноги твои, руки твои быстрыми были.
Чтоб ум твой и глаза твои дальше крепли...

Бахтияров и дальше готов был петь, и голос бы побежал у него куда бойчее, если бы я поставил горелого винца. Но меня-то интересовали медвежьи игрища, да и явился я в гости с пустыми руками, мимо обошел продлавку, ибо пьяных навиделся по всей Сосьве: показалось, что напоить хозяина — взять грех на душу. Эх, молодо-зелено: ведь помнил же присловье, что ходит на северах: "Кажда песня до конца не допевается, а по рюмочке винца полагается. Кабы бражки туесок, побежал бы голосок. Пьем не вина ради, а ради веселия".

"Что тебе медведь? не знаю я медведь, — обиделся Бахтияров на мой вопрос. — Это Педер знает, а он сейчас косит с бабой... Я в Саран-

паул ходил артистом, везде ходил. Сейчас медведь не пустит убить. Дядя Миша убить нельзя, дядя Миша святой". — "И что, ни разу медведя не били?" — "Почто не бил? Соболя гонял, медведь бил. Берлога найдем, собака хороший был, медведь нас боялся".

Бахтияров говорил полушепотом, часто взглядывая на потолок, словно бы оттуда доглядывал за ним лесной хозяин, дедушко, помощник Великого Ворона, создателя вселенной. Потихоньку Бахтияров распелся, стал вспоминать подробности. Взял в руки нернеив (балалайку) и, водя смычком по струне из конского волоса, стал тихонько подгуживать себе...

* * *

У русских медведь считался порою Перуном-громовником, богатырем Иваном, у которого по пояс все человечье, а нижняя половина — медвежья. "Бог не Бог, но полбога есть". Сойтись на рать с косолапым — это сразиться с самим небесным батькою. В схватке русский слышал в себе особый талан, силу необычайную и этим чувством величался. Крестьяне порою лишь для острастки убивали медведей, чтобы не баловали подле деревни; а ведь всякий раз сойтись с ломыгою и взять его на рогатину — это почуять дыхание смерти прямо в лицо. В русских сказках медведя чаще всего дурачат, водят за нос; чувствуется некоторое превосходство над лесным хозяином. Но ведь "сказка — вралья, песня — правда". Ибо заглазно народ чествует медведя Михайлой Иванычем, единственного из зверей зовет по имени-отчеству, как величали прежде лишь бояр и лиц именитых, заслуживших благодарность государя своими достойными трудами. В живом мире медведь был зазван в большой, почетный угол, а все прочие жители усажены куда ниже, почитай, прямо к двери. Водить медведя за ноздрю по стогнам и весям, учить его дурилкам — это не только подчеркнуть особенность зверя, его почти человечий ум, но и самого "боярина" поставить вровню себе, и хотя бы и в игре, но из большого угла пересадить на самый коник, где место для мелкопоместной званой на пир братии. "Да, ты, Михайло Иваныч, хотя бы из себя и лесной барин, но мы тебя на чепь: не балуй, не возгоржайся, но тешь выходками черный люд". Даже в древних русских сказках, уходящих в темь веков, медведь уже не божество. Его убивают безоглядно, мясо съедают, а выделанную шкуру кидают в сани-розвальни, чтобы защититься зимою от стужи. Шубою от бога-громовника мужики покрывают себе ноги.

Но, может быть, еще в более давние, почти первобытные времена отношение русских к черному зверю было таким же, как и у манси?

...Манси убивал медведя редко, и это событие всякий раз становилось чрезвычайным, из ряда вон выходящим, известным далеко за Камнем и вспоминалось много лет. Медведя не зажиливали, не прятали в кладовую, не разделывали на полти и не вялили мясища, чтобы в одиночестве, своей семьею, тихо съесть в долгую обжорную зиму. Казалось бы, чего проще — распорядиться своей удачею самому; но подобного никому не могло прийти в голову, ибо медведь и по своей смерти не простит охотнику такого позора и непочтения.

Если зимой посчастливилась охота, но не было возможности провести медвежий праздник полностью, то его откладывали на потом, вернее всего, на весну, до первых проталин и ручьев, когда меньше было неотложных дел. И мясо, не тревожа, убирали на подволок или чердак до апреля. Народ сбивался из соседних деревень, как на Руси съезжаются на престольный праздник. Если в Щекурье, например, дожидается убитый медведь, то на это веселье ехал народ из Ламповожа (60 километров).

Удачливый хозяин распоряжался добычею сам (не без советов шамана и стариков), сам же назначал день: если на апрель сзывал гостей, то гульба шла неделю. Можно представить, сколько было спето тогда песен, сказано бывальщин и прадревних быличек и легенд, ну и сколько же съедено мяса и выпито винца. Охотник сымал с убитого медведя шубу, в переднем углу на столе укладывали медвежью голову, мех и лапы. Под стол кидали оленьи шкуры, самого лесного барина покрывали шелковыми платами, на когти вздевали золотые и серебряные кольца, снятые с женских подвесок и пальцев. По бокам сдвигали лавки для гостей: если станет тесновато, то притыкали с краю еще место для кушанья.

Приходящая в первый день женщина осыпала охотника снегом, а хозяин обдавал гостью водою. Старики мастерили из бересты маски с длинными носами, мужики переодевались в соседней юрте, чтобы никто не узнал, меняли голос и прикрывались личинами. Войдя в избу, рассказывали былички, вели медвежьи пляски, в лицах изображая охотничий поединок. Медвежья голова, не покрытая шелковым платом, дозирала за гульбищем, примечала всякий непорядок. Великий Хозяин, помощник Великого Ворона, не терпел всяких вольностей: он и по смерти оставался властелином тайги, распростершейся за Камнем по берегам Оби.

Дозволено у праздника быть и женщине. Одна из них одевает малицу (саху) из оленьей шкуры и поет песню: "Мальчишку вырастила мать. Он бегать стал. Смотрит, ребятишки играют. Весело играют. Пойду, говорит, у матери спрошусь, может, отпустит. Попросился, а мать говорит: тебя обидят, а тебе некому пожаловаться. "Ну, тогда я так просто на улицу

схожу". А одному играть скучно. Думает мальчишка: почему ребята вместе, а я один? И снова у матери попросился.

"Почему я обделенный?"

"Я тебя очень люблю, я жду тебя, когда кормильцем станешь. Вот тебя я и берегу, вот за что я тебя не отпускаю".

Мальчик снова выбежал на улицу и заплакал.

В третий раз попросился.

"Если что случится, — сказала мать, — на меня не обижайся".

Ребятишки радехоньки, приняли его, играют вместе. И вдруг заорали, убегать стали от него, плачут. А он не понимает, отчего. Ему так стало обидно. "Пойду к маме домой".

Обратно идет, смотрит на руки — у него медвежьи когти. На ноги глядит — медвежьи когти. На себе шерсть. Он сам себе думает: "Если мне так суждено, то домой не пойду, мама испугается. Пойду в лес". И ушел.

Мать спохватилась, побежала по следу.

"Сына, сына, подожди меня".

Он рассердился: "Если бы ты не родимая мать, то я бы тебя на куски разорвал. Следы мои не топчи, следы мои женщине топтать нельзя". Расцеловались, и медведь ушел, и сделал берлогу". (Разве не похоже это на древний русский эпос, где Иван-богатырь, он же Перун-громовник, имеет половину тела человечью, а другую — медвежью? Здесь же, у манси, матерь человеческая родила медведя.)

* * *

Одну быличку о лесном хозяине тут же сменяет другая, третья: долог вешний день и будто нет ему конца. Лесной хозяин не любит спешки и требует почтения.

"Нижний человек, лесной, невидимый человек (медведь). Отец идет на охоту, и дочь учит отца: в лесу ходишь, если человечий след увидишь, остерегайся. Человек сильный, он может тебя убить. Ты по человеческим следам не ходи". — "Не буду", — сказал отец и ушел на охоту. Неделю ходит — нет его. Дочь говорит: пойду искать отца. Ну, и дочь пошла. Оказывается, когда отец шел, то за собольими следами видел лыжню манси. Мол, почему по моей тропе ходит? И думает: догоню и убью. Побежал. Снежный человек бежит и свистнет. Манси думает: наверное, дерево скрипит. И опять свист. Тогда манси обежал и готовит стрелу. Увидал: бежит, и убил лесного человека. Дочь подбежала и увидела мертвого отца. Дочь-то и воет: "Говорила тебе, не ходи по человечьему следу. Если кто слышит меня, кто убил отца, то спаси отца, отдам все, что есть у меня".

Манси говорит: "Мне ничего не надо".

"Тогда я за тебя замуж пойду".

Манси подошел и выдернул стрелу, и лесной человек (медведь) ожил.

Минут пятнадцать длится эта пляска. Изрядно подуставшие мужики садятся за стол. Их обносят рюмкою водки и подают жаркое из оленины. Тут и женщин пускают угоститься. Поедят рыбы, оленины, выпьют по стопке — и домой.

На второй день праздник продолжается, только пляски уже другие. На шестой день уже пляшут до утра. А с рассветом медвежью тушу снимают с чердака или выносят из кладовки, разделывают на колоде и варят большой котел мяса. Голову убирают, кольца снимают с когтей. Отпетый медведь как бы окончательно уходит из земного мира, лишается всякой власти, и мясо его, теряя особую принадлежность к святому могущественному зверю, становится просто едою. Шаман дает добро, он закончил камлание, прогнал всех злых духов от бедных манси, ублажил "нижнего человека", и мужики усаживаются за стол, и едят, нахваливая медвежье мясо, и пьют, пока хватает сил. И всякому вошедшему в дом найдется в тот день кусок послаще, чтобы медвежий праздник запомнился до следующего случая.

...Возможно, что такое почитание лесного архимарита было и у древних славян, когда они еще не знали копорюги и хлеба или только приступали к пашне, делали первые пожоги и росчисти, засеивая их житом; и тогда культ медведя стал потихоньку уступать Снопу, Древу, Дубу, Житу и матери земле Мокоши. Наверное, к этой поре восходит сказка "о вершках и корешках", когда идет дележ земли, леса потиху отбираются из медвежьей власти и переходят к пахарю, у которого, в отличие от охотника и бортника, уже свой сыскался поклон, свои небесные и земные покровители.

6

Случай

"Одному охотнику медведь-то и встретился. Он ружье со страху бросил и ногою его загребает в листву, и говорит: "Я не на тебя, Миша. Я просто так".

Медведь-то пожалел дурака, да и пошел прочь.

Да, некоторые трусят, идут на охоту, иконку берут, кресты весят там, в лесу, только Бог спаси. На душе-то вспоминаешь, не без Бога, ясно. Я не маливался, но и Бога не забывал. Достанешь зверя, говоришь: слава Богу, опять достал косматого".

* * *

"Шли зимой двое с охоты, а на них собака выгнала медведя-шатуна. Он бросился на Митьку и давай ломать его, а Сашка прочь бежать. Он Митьку бросил и за Сашкой гнаться, и того заломал. Тут Митька опомнился и в лес. Медведь за ним, а Митька-то за дерево заскочил да медведя-то прихватил за уши. Дерево меж ими, косолапый лапою хвать охотника, а у того лузан со спины, котелок в мешке, а на груди шкуры куньи. Так и не достать медведке мужика, а тот упорно держит его за уши. Тут собаки приспели, стали рвать зверя за ляжки, и он прочь кинулся. И все обошлось, правда, Митька в больнице с месяц вылежал: зверь ему плечо порвал".

* * *

"Раз ли два стреливал я медведя, но удачи мне не было. А тут на последний день попала берлога. Мать-то большая, одна. В устье пару палок накрестил, со стакан будут толщиной, потом срубил кол хороший. Тыкал-тыкал, попал в нее: она там зажила, загорячилась. Как заревет. Я ей колом-то еще дам, а она полезла... Она мне легко досталась. Я ее не выпустил. В берлоге-то я по молодости забил, так бы не стал, это не охота. Раньше с ножами ходили, а тут двуствольное ружье. Но все-таки страшно, зверь почтенный, как ни говори".

* * *

...Известно, что в семнадцатом веке леса густо заливали Русь, подкатывали к самой златоглавой и черного зверя, ломыги косматого водилось во множестве, и не было ему переводу; лосиные гоны, медвежьи облавы и волчьи осеки велись аж под самой столицей (в нынешней черте Москвы). Медвежьи охоты были не только в обычай и в потеху, но и входили в сам устав двора, распорядок царского быта. Промысел из простонародного обычая однажды перекочевал в Кремль на борисо-годуновское дворище и в пригородные дворцы, странно преобразившись в театр жутковатый, в зрелище не для слабонервных.

Я не стану вскрывать историю этих забав, боясь углубиться в самые дебри; но ясно, что государев быт (а государь — это наместник Бога на земле) требовал отличек не только в устрое дворца, но и во всех даже малых частностях жизни Верха: он должен был вызывать восхищение и удивление не только у подданных, но и у всех гостей, наезжавших в северную страну из чужих пределов. Простонародные

медвежьи игрища, поводчики и скоморохи с их скабрезностями были запрещены церковью, но в государев регул патриарх вмешаться не мог: в своих походах в Сергиеву лавру иль под Звенигород в одном поезде с великим князем кир невольно включался в царские забавы и как бы покрывал, освящал их своим омфором. Где-то в европах гоняли быков, травили несчастных львами, сбрасывали в ямы к грифам на поедание, иль устраивали схватки гладиаторов, иль сожигали колдуний и ведуний на кострах, а тут, на Руси, забавлялись шутейной вроде бы борьбою с медведем, царем зверей. Страсти человеческие были не чужды и великим князьям, и для розжигу крови, для молодеческих забав, чтобы испытать судьбу и собственное мужество, первые люди Руси в споре со смертью не хотели даже в малейшем уступить простонародью. Иль зов царских предков, исшедших когда-то из кушной зимовейки смерда, побуждал к риску?

В смуту, во времена нашествия ляхов, шатнулась не только вся первобытная Русь до самых основ, до северных ее пределов, до олонецких и холмогорских окраин, но и поизвелись прежние порядки, заведенный устав, ибо некому стало их исполнять, когда в самый Верх умостился иноверец и давай вытравливать всё исконнее, чем и крепился русский норов. Даже древние охоты во всем их строе стали позабываться. И когда взошел на престол Михаил Федорович, нужно было заново завести и псарни, и зверовые дворища, и сокольни.

В 1619 году царь послал в северную медвежью сторону — в Галич, Чухлому, Солигалич, Парфеньев, Кологрив, на Унжу двух охотников и трех конных псарей с поручением брать у всяких людей для царского обиходу борзых собак, гончих, меделянских и медведей. Если кто не отдавал миром, у тех забирать силою под страхом казни.

Первый из Романовых любил зверовые и птичьи охоты, как и его отец, великий патриарх Филарет, но неизвестно, хаживал ли он самолично на лесного архимарита, ибо был слаб на ноги и жидковат утробою. Но вот сын его Алексей не чужд был обложить берлогу, сразиться с ломыгою, принять черного зверя на вилы или рогатину, словно бы сам сан первого на Руси человека не дозволял ему праздновать труса и приказывал являть собственное мужество.

Согласно историческому преданию, Алексей Михайлович из любви к медвежьей забаве угодил в пренеприятнейшую историю, грозящую гибелью государю. В одном из походов под Звенигород в Савва-Сторожевский монастырь государь брал лесного архимарита на рогатину, и только Божья воля в лице святого монаха Саввы помогла ему спастись. Этот случай с большой любовью описал поэт Мей.

...Тут берлога. И царь сноровляется,
У рогатины жало осматривал,
Поясок свой шелковый подтягивал,
С плеч спускал соболиный свой охабень
И задумал загадку мудреную:
Быть — не быть, а свалить косолапого.
Вот поднял он корягу из-под снегу
И ударил кормою по хворосту:
И медведь заревел — так что дерево
Над берлогой его закачалося.
Показал он башку желтоглазую,
Вылез он из берлоги с оглядкою,
Дыбом стал и полез на охотника,
А полез — угодил на рогатину.
Под косматой лопаткою хрустнуло,
Чернобурная шерсть побагровела...
Обозлился медведь и рогатину
Перешиб пополам, словно жердочку,
И подмял под себя он охотника,
И налег на него всею тушею.
Не сробел государь — руку к поясу —
Хвать! Ан нож-то его златокованый
И сорвался с цепочки серебряной.
Воздохнул государь и в последнее
Осенил он себя крестным знаменем,
Вдруг скользнула с плеча его царского
Стопудовая лапа медвежая,
Разогнулися когти и замерли,
И медведь захрипел, как удавленный,
И свалился он на бок колодою.
Глянул царь — видит старца маститого,
Ряса инока, взгляд благовестника,
В шуйце крест золотой, а десницею
Опустил он топор окровавленный.
Поднялся государь — нету инока —
Как во сне приходил — и никем никого
На полянке и между деревьями,
Только зверь околелый валяется,
И башка у него вся раскроена...

Случай этот отмечен во многих дворцовых и исторических хрониках, это не досужий вымысел летописцев, сочиняющих жития великих мира сего. Однако нигде не дается объяснения, отчего же великий государь на столь опасной медвежьей охоте вдруг остался один? Заговор? стечение обстоятельств? оплошка? иль затея самого Алексея Михайловича? Ну, положим, он был бесстрашен по молодости лет, буйная кровь хмелила голову. Но каким образом царь невидимо вытаился средь бела дня из путевых покоев монастыря? Ведь даже в Кремле в теремной опочивальне он всегда был под жестокой охраною, возле его всегда сторожили, сменяя друг друга, спальники и постельничий, а за дверьми в соседней комнате неусыпно бдили стольники и стряпчие; в охоты он обычно отправлялся в сопровождении трехсот и более слуг; были тут и конюшие, и стремянные, псовые охотники, доезжачие, конные псари, конюхи, зверовщики, псовники, приглашались в поезд и ближние доверенные бояре, дьяки и окольничие. Во всякое время подле царя кружила стрелецкая охрана, ибо несмотря на все свое нераздельное могущество государь на самом деле принадлежал не себе, но великой державе; он был под неусыпным надзором синклита, ибо без родимого Отца сразу возникают в земле неустрой, волнения и пря, и много охочих вдруг выплывает из нетей, чтобы перехватить власть и устроить смуту. А тут вдруг Алексей Михайлович у берлоги один, и нет возле верного слуги, оружничего или зверовщика опытного в подмогу, который бы неусыпно стоял за спиною и при случае смог бы перенять медвежьи лапы на себя и отдать за государя жизнь. Странная эта беспечность была непозволительна в те времена, и потому сам случай с Алексеем Михайловичем таит какие-то недомолвки.

* * *

Медведь идет на схватку, как истинный богатырь, с открытой грудью, разоставя когтистые лапы, рычанием, взъерошенным загривком и бешеным взглядом наводя страх на противника. Всем своим грозным видом, мохнатою шубой, поступью на двух пятах, с кожаными ладонями, которым лишь не хватает палицы, лесной архимарит старается ошеломить врага, привести его в изумление, чтобы он, не вступая в поединок, дал деру, бежал без оглядки, отвратил грядущую кровь. Беги, несчастный, не чуя под собою земли, не слыша собственного сердца, боясь оглянуться, не ведая, гонится ли за тобою ломыга, следует ли по твоим следам сама смерть.

Медведь — царь зверей, он никого не боится, и даже в тех редких случаях, когда Михайло Иваныч и спасается вроде бы бегством, он и тогда не трусит: это нам лишь кажется. Бывает, что застигают лесного барина врасплох в малиннике, когда мишка увлекается спелой малиною, иль на болотных ягод-

никах, когда увлеченный едою косматый забывает обо всем на свете. И тут наш мишка, с оторопью уставясь на вас, вдруг срывается с места, оставляя по себе огромную дымящуюся кучу. Но не потому скрывается медведь, что боится, но им овладевает, наверное, безотчетное чувство, что живет в хозяине с той древней поры, когда в лесах водились звери куда сильнее медведя, и от них можно было спастись, лишь кинувшись наутек. Ежли бы медведь воистину боялся иль трусил, то какая бы ему нужда тут же возвращаться на прежний ягодник иль тропу, на место ужаса и опасности, чтобы неслышно выглядеть того, кто так выпугал, узнать его замысел. Медведь никогда не празднует труса в том виде, как мы по-человечески понимаем его, но из врожденной осторожности он обязан скрыться, и чтобы быстрее умчать от неизвестности, ему и надобно облегчить утробу (что мы и называем "медвежьей болезнью").

* * *

...Медведей для боев держали в двух потешных дворах в Коломенском и Семеновском при царских путевых дворцах, а также в Измайловском зверинце: были тут медведи дворные, прирученные для борьбы, гонные и дикие; порою для травли и боев черного зверя везли прямо из леса. Медвежьи потехи строили обычно в Кремле "на дворце" где-либо на нижнем под горою или на заднем государевом дворе близ палат патриарха. Иногда великие князья тешились на псарне, где удобно было травить медведей британами (бульдогами) и меделянскими псами. Порою устраивалась потеха прямо в царском походе в селах Покровском-Рубцове, в Хорошеве иль в Тонинском, где постоянно стояли охотничьи службы. По зимам на Масляной неделе для всеобщего веселья московского люда гоняли медведей бульдогами и борзыми прямо на Москве-реке. Делали росчисти, и было забавно смотреть, как пластаются на скользком льду огромные звериные туши, скользят и падают, а следом, клацая зубами, летят кувыком, не в силах устоять на ногах, жестокие, натасканные на черного зверя огромные псы. То-то было тут смеха и веселья для зевак, столпившихся на Болоте и Васильевском спуске, на залитой солнцем снежной покати, расцвеченной пестротою одежд бояр и посадских и царской сторожи, сгрудившейся вокруг яркой беседки государя, нарочито для того случая вымастеренной.

Для борьбы с медведями рубился бревенчатый тын с полатями, где стояла сторожа и досматривали зверовщики и псари; для царя прирубалось особое место, куда приносили креслице с приступкою, и усевшись, государю с высоты было потешно смотреть, как вступают в схватку охочие до потехи. Боролись обычно с медведями дворными, прошедшими воспитание в зверинце; порою зверю выламывали зубы и подчищали когти, чтобы зрелище

не было столь ужасным. Сам круг выстилался речным ярым песком. Сначала смельчак бегал перед лесным барином, дразнил его боем в литавры и тулумбасы: разъяренный зверь пытался нагнать и ухватить смельчака за шкирку, но охотник ловко увертывался от ломыги, строил ему всякие куры, насмехался, а уж когда беда настигала вовсе, выскакивал за тын. Но на смену ему к разъяренному зверю входил новый потешник, который по уговору с царем вступал в схватку с лесным хозяином. И можно себе представить этот необычайный вид и состояние зевак, когда боец подсаживался под двухметровую тушу, вставшую на дыбки и собою, кажется, заслоняющую все небо, или входил с медведем в объятия.

Не всегда забава кончалась удачею; лохматый прихватывал соперника, мял ему боки, изъедал руки и голову, портил глаза и губы. Но стоит сказать, что ни в одном свидетельстве, коих в дворцовой росписи осталось множество, нет упоминания о смертельном исходе.

Но чаще всего на бой с ломыгою выходили бойцы с рогатиной иль вилами. Для этой потехи привозили черного зверя прямо из леса, дикого, только что взятого облавою. Боролись и бились охотники, кто чувствовал в себе силу необычайную, удаль и задор: шли снискать себе царское внимание и лестную молву в народе. Одних манила на схватку обычная корысть, ибо государь хорошо вознаграждал отличившихся, других — богатырская сила и молодечество, не ведающие страха, не боящиеся смерти, потому что на миру, на глазах великого князя и смерть красна. Это был не тот поединок простолюдина-промышленника, что шел с рогатиной на черного зверя где-то в тайболе, в глухом суземке, один на один, ради пропитания, хлеба насущного; там иные чувства владели охотником, что решил "забодать" лесного барина. Там не было украсы, розжига, бахвальства, и мужество того лесника никем не оценивалось, кроме своей родни да близких печищан, что после встречали сани-розвальни с убитым черным зверем иль охладелый изорванный труп смельчака. И ведь не случайно же царь примеривался взять лесного архимарита в его владениях, выманив из берлоги, когда за твоими плечами не стоит никакая подмога, и оттого чувства твои, не видимые никому, особенно скручены в одну звенящую тугую пружину.

Здесь же, на потешном дворе, бой тулумбасов, и звон сопелок, и гуд рожков и свирелей создают особый тон зрелищу, выставляют его как праздник, как торжество духа; крики наблюдающих горячат бойца, ибо как стыдно показаться перед сотоварищами малодушным, слабосильным: осрамись, и молва далеко разнесет твой позор.

Черный крестьянин-медвежатник и не смог бы, пожалуй, выступить в забаве, стушевался бы от внимания; лишь люди, пообтершиеся в столице при дворе, кому нередко приходилось похваляться своими качествами, мог-

ли покрасоваться в этом зрелище. Бились с медведями князья, боярские дети, жильцы, зверовщики, псовники, пешие и конные псари, охотники ловчего пути, всякая прислуга — истопники, конюхи, ключники, приказчики, стрельцы, попавшие случайно в Москву дворовые бояр Морозова и князя Черкасского. И они при своей службе понахватались не только зуботычин и окриков, но и пообломались натурою, всячески угождая своим волостелям.

Государь добро награждал бесстрашных английскими сукнами на платье, камкою и гилянскими дорогами, мехами на изодранную шапку иль опушку кафтана, собольими пупками, заячьими пластинами, беличьими хвостами и лисьими подчеревками, ценою от двух до одиннадцати рублей. (Больше, чем годовое жалованье стрельца.) Некоторые удачливые потешники бились с медведями не по одному году, а пеший псарь Кондрат Кормчин, к примеру, радовал государя аж десять лет.

"20 июня 1625 года — награда, портище сукна настрофиля лазоревого ценою в 2 руб. 50 коп. пешему псарю Кондрату Кормчину за то, что он, Кондрат, перед государем на потехе в селе Рубцове с диким медведем бился вилами и его дикий медведь ел".

"В ноябре 1626 года пеший псарь Кондрат Кормчин бился с диким медведем вилами и медведя поставил, да он же в селе Рубцове перед государем на потехе медведя убил рогатиною".

"В феврале 1632 года на потехе медведь драл сына боярского галичанина Федора Сытина, который получил за потеху сукно на однорядку, дороги гилянские на ферези, да на кафтан и на приклады к платью деньгами пять рублей с полтиною, а всего весь наряд 14 рублей".

"15 февраля 49 года награда конному псарю Павлу Будаеву: "в нынешнем году в государеве походе в селе Тонинском бился он с диким медведем, и его медведь ел и губу испортил, и кафтан изорвал".

7

Случай

"Крестьянин осмотрелся, и зоркий глаз его тотчас же заприметил берлогу.

"Не стреляй, — сказал он мне, — в пургу такую не диво и промахнуться. Я один с ним слажу".

Берлога была устроена на самой окраине откоса, над небольшим выступом, прикрытым ветвями упавшей ели. Смотрю, проводник подходит с рогатиной и с топором за поясом. Медведь нехотя оставлял берлогу. Нужно было расшевелить его. С изумлением я смотрел на охотника, как он

прехладнокровно запускал в берлогу рогатину и слегка колол лежащего в ней зверя. Медведь рычал, но не показывался. Но вот он вышел наконец из терпения, взревел и ринулся в отверстие. Минута была страшная. Но едва успел я вскинуть ружье, как медведь уже сидел на рогатине. Широкое лезвие пера вонзилось ему под самое горло, но зверь со страшным ревом, взрывая снег, силился приподняться и лез на рогатину, сам добивая себя. Еще одно порывистое движение вперед, и затем осел он в берлогу. Через несколько минут мы отрыли его: он был уже мертв".

* * *

Многие писатели были заражены охотою: не только сращение с матерью-природою, проникновение один на один в самое-то ее чрево побуждали художника углубиться в леса, изведать там самого-то лиха, кое не дай Бог кому узнать; страсть в ее чистом виде, в откровенной драме, власть над чужою жизнью, которая, казалось, принадлежала лишь Господу, позывает человека творческого в минуты скрада, мгновенного волнения и трепета, когда каждая телесная жилка необыкновенно возбуждена, позабыть о существовании Творца. Сумерки, красноватый сполох выстрела, гулко падающий с елины глухарь, заполошный бег к нему, не хотящему уходить из жизни... Иль эта великанья серо-бурая сохачья туша с подпалинами на брюхе и лафтаками неопрятно обвисшей шерсти с исподу ляжек; запрокинутая, с ветвистыми рогами голова, с выкаченным от безумной боли почти круглым агатовым глазом, будто подвешенным на капроновой нити; сеево крови, скоро смерзшейся в ягоды, потом чернеющей, превращающейся в бурые грязные потеки, затоптанные валенками, унтами иль бурками. Нога твоя на боку поверженного лося, телесный жар потиху утекает из груди, иссякает, и какая-то минутная заполошная грусть вдруг оглушает, заставляет вспомнить о временности всего сущего. Это мгновение и станет после той препоною в дальнейших охотах, когда все реже ты расчехляешь ружье, набиваешь патроны, хвалишься походами. Но ведь были же, были те прекрасные минуты победы, когда поднесена стопка морозной водки, обжигающей горло, тут же сует услужливая дружеская рука кусок колбасы; и так сладко заваривается в груди, хмельно и счастливо, будто весь мир согласно распластался у твоих ног, и грузный зверь, уже припудренный тонкой шелухою инея, тоже предназначен тебе по высшему праву, и нет в твоем убойстве никакого дьявольского намерения. И — да здравствует охота! И коли нет близко дороги с машиною иль колхозной лошади с дровнями, то скорый на руку умелец, что многажды бывал в подобных ватагах, вспарывает лося, сымает с него шкуру, рубит на полти, и тут же парные, кровоточащие куски раскидывают по паям,

разыгрывают, после заталкивают в рюкзаки — и с грузом добычи, вязко оттягивающим плечи, пригибающим выю к самому долу, уже в поздних сумерках на ватных ногах и в смерзшейся, гремящей робе возвращаешься к зимовейке, где закопался накануне станом. И эта дорога до привала тоже зачтется в твоих воспоминаниях. Ну а там уж по полному выученному уроку: печень на сковороде, толстые куски сохачины, выжаренные на собственном соку, водки родник и бесконечные охотничьи байки, рождающие простор воображению.

Нет, в охоте много звериного, но много и чуткого очарования, неожиданной нежности, тревоги, необычайной предсмертной тоски, граничащей с концом света, когда промахнешься в зверя, и просто много того прекрасного, что бесконечно, не умирая, живет из века в природе и неслышно омывает тебя, сопровождая до самого конца. Жестокое в человеке властвует самое малое время и тут же бывает наглухо погребено пластами душевной, почти детской, чистоты и восторга.

Но эти перепады настроения, которые я описал выше, свойственны лишь любителю, накоротко покидающему городские покои. Собственно из промышленников-охотников мало рождалось писателей, раз-два и обчелся; ибо сама тягость таежной жизни, прозябание многие месяцы в одиночестве, частые лишения, груз неизбывных забот вычеркивают почти все лирическое из натуры лесника. Думаешь больше, как бы не замерзнуть, не сломать ногу, догнать зверя, взять план, чтобы отоварить добычу и прокормить семью. Настоящий охотник — он добытчик, бродник, старатель по лешим путикам... Он к завиральням почти не склонен, из него редко вытянешь путного слова, часто он угрюм, и только в подпитии отворяется в груди что-то отзывистое, и охотник может даже исповедаться, привирая самую малость для красного словца. Но о том разговор пойдет дальше...

* * *

...Заложить матуху в берлоге, поднять ее на вилы иль посадить на рогатину — это одно, а вот приблизить медведя к себе добрым расположением — это совсем иное. В том, что именно медведь, лесной архимарит, податлив на выучку, есть какая-то мистика, особый смысл, нами пока не понятый. И не оттого вовсе, что человек хотел сблизиться именно с медведем, взять его в услугу, но сам Михайло Иваныч своими повадками, своим собственным соседством с крестьянами, заметной отличкою от прочего таежного мелкотья подсказывал о возможности завести не только дружбу, но и согласие, без которого невозможно проживание в недрах природы. Приручаются, близко сходятся с человеком лишь медведи и

лоси; последние чувствуют себя до того ручными, что подходят за куском хлеба и дают себя запрягать в телегу.

Писатель-натуралист рассказал историю до того необычайную, что приключилась с ним на охоте, что в нее трудно и поверить. К их избушке вдруг приковылял медведь, уселся напротив двери и как бы отрезал всякие пути к отступлению. Он уселся на лохматые подушки, протянул к избенке переднюю лапу и, канюча, стал о чем-то просить, жалостно кивать головою. Долго поначалу не могли понять, чего просит ломыга, какую историю он задумал. Но неспроста же явился к становью, когда там находились люди. Охотник решился подойти: оказалось, что в лапу попала спица, когда лохматый ползал на сосну, и успела загноиться, чем очень мучила нашего гостя; лесной хозяин не мог наступить на лапу и сейчас жалобно, по-детски ныл, закатывая косоватенькие глазки. И ведь не ручной же медведь, не цирковая дурилка, приученная забавлять горожан, не дворовый мишка, с младых ногтей прирученный поводчиком, а настоящий таежный матерущий барин, который зря, напропалую, на человека не лезет, но вкрадчиво обходит его стороною, долго сопровождая по-за кусты. Выдернули несчастному занозу, обмыли опухоль водкой, наложили пластырь из еловой серы. Всю эту операцию наш Михайло Иваныч сносил с необыкновенным мужеством и спокойствием, ничем не проявив своего грозного норова. Потом его накормили, поставили перед носом чашку с остатками хлёбова. Гость поел и тут же завалился спать. Прожил он возле охотников целую неделю, пока не зажила язва и наш бедолага смог наступать на пяту. Однажды утром, проснувшись, лесовики не обнаружили своего подопечного; он удалился так же неслышно, как и явился к избенке.

Тут чудно не то, как сносил за собою уход наш ломыга, но почему именно к людям явился за подмогою? Хотя бы, наверно, смог бы исцелиться сам, вылизать вулкан, зализать боль; природа же не оставила хозяина в полном сиротстве и дала ему в жизнь большой опыт самолечения; но вот он, гроза, долго, видимо, наблюдая за людьми и не найдя в них беды, пришел за спасением именно в зимовейку, чуя там себе спасение. Вот где загадка-то...

В житиях русских святых можно отыскать много известий, как отшельники, проводя в уединенных скитах многие годы, порою и сканчивая тут земные дни, приручали к себе лохматых; те запросто наведывались к пустыннику и принимали еду из горсти, чем несказанно, до умиления и слезы радовали инока. Силен Господь! — говаривал отшельник в таком случае, — даже самого лесного царя призывает к монашеской руке и отбирает всякую злобу, вместе с тем умягчая и человечье сердце. Не волк же прихаживал, не лиса поваживалась кружить у чернецкого

норища, не рысь иль росомаха просили человеческого участия, но самому лешему брат вдруг избирал в соседство святую пустыньку.

Анатолий Онегов написал две книги о "медвежьем государстве". Мягкий светлый человек с красивым русским лицом, приручитель зверья, он два года обитал в северной тайге во владениях лесных архимаритов, наведываясь в их угодья. Ему захотелось посмотреть лесному владыке в лицо, поручкаться с ним, вызвать душевную приязнь, подавить жесточь, — и это ему почти удалось. День за днем умягчал Онегов сердце дикого ломыги то горкою вареной рыбы, то котелком каши, то остатками ухи; осторожность зверя постепенно сменилась любопытством, а после и откровенным дружелюбием. После-то, варнак эдакий, он уже стал требовать еды от лесника, добиваться подачи. Все медведи и матухи, что встречались писателю, были с разным норовом — нелюдимые и открытые, ворчливые и добродушные, всеядные и недотроги, но ни от одного лохматого наш добровольный естественник не увидел себе вреда. Человек памятливый и дотошный, Онегов, конечно, понимал умом, что черный зверь, как бы ты ни окручивал его вниманием и ласкою, как бы ни приваживал к себе, часть своих коренных чувств, конечно, не выказывал, хранил в потайке; в природной глубине своей, недоступной человеку, медведь всегда остается жильцом иного мира, где умягченному сердцем, податливому просто не выжить. Медведи обычно не трогают человека, пасут его осторонь, но неизвестно, что у него в голове в следующую минуту, какая блажь иль раздражение навестят вдруг, что вызовут сполох и грозу. Вот эта-то неопределенность при великой силе хозяина леса и пугает нас больше всего.

Какой же урок вынес писатель от жительства в "медвежьем государстве"?

"Нет, я не боялся медведя, хотя знал, что весенний голодный медведь обычно не расположен ни к каким шуткам; мне просто не хотелось тогда еще раз остро вспоминать, что те самые звери, которые так покладисто приняли меня в прошлом году в лесу и казались мне самыми мирными соседями, все-таки звери со своей природой и со своими законами, и что сейчас, после берлоги, голодные, рыщут они по лесу в поисках пищи, охотятся за лосями, отбивают новорожденных лосят и жадно рвут клыками сваленную добычу. Это была правда таежной жизни".

8

Внезапное отвлечение на потребу дня

Великий князь Алексей Михайлович хаживал на медведя с рогатиной, многие дни трясся в седле по диким просторам Руси. Премьер Петр Столыпин, зная, что за его жизнью охотятся содомиты, без охраны ездил по

России, презирая смерть; ему не пристало прятаться от чертей, клонить голову, ибо все в руце Божией.

И вот наш батько Черномырдин (выходец из неведомого улуса) решил стешить охотку на берлогах. Ну как же быть в России и не хаживать на медведя? сколько тут гонору, похвальбы; де, знай наших — и мы не лыком шиты, не шилом щи хлебали; припустили ко власти, так как не отпробовать медов столовой ложкою; де, бывали на пирах, и много чего мимо уса не протекло — не-ет, прямиком в рот угодило; это лишь русские простодыры, ваньки, в сказках на гостьбах питое-хлёбаное пропускали мимо губы, больше, значит, колокола отливали да песняку завивали...

За казенный кошт снарядил наш батько самолет, обложился чемоданами, постелями и подушками, со всей многой челядью, охочей до наград и побрехонек, улетел под Ярославль, в русские глубинки, где высоко, пухло, безраздельно лежит не тронутый ничьим следом снег. Лишь егерь прихаживал изредка да присматривал, живет ли в своем норище лесной хозяин, курится ли парок, сладко ли спится-зимуется нашему деду; как бы невзначай не встрепенулся, да не утек, бездельник такой, подальше в суземок, да не залег бы под другую выскеть. Это ж тогда позор, без порток останешься, погонят до срока на пенсию. Летит-то кто? Э-э! Голову подымешь, шапка свалится.

Это в старину, бывало, царь плюхался на лошаденке верхи триста верст или качался по ухабам в каптане, не зная сна, а после тащился на лыжонках, в самом пути в который раз узнавая все прелести и тяготы настоящей охоты.

Это лихо нашему оборотистому дельцу покрывает чековая книжка, что куда надежнее Господа Бога; в таких обстоятельствах подобным людям с Господом одна волокита, нет-нет да надобно ему в глаза заглядывать, чтобы не завиться к черту.

Ну, притащили батьку Черномырдина к берлоге: вокруг расставили десяток снайперов из спецназа, над медвежьей лежкой завис вертолет, там, свесив ноги из дыры, навел ствол винтореза еще один воздушный охотник. Невдали в бору челядь уже раздвинула столы, коньячок с водчонкой вкусно так, зримо и гордо тормозили возле балычка и осетринки.

По команде егерь турнул мишуку, тот спросонья, не почуяв, что ждет-дожидается его первый столоначальник, взревел и полез наружу досмотреть, что за негодник сбил его покой.

Ну и...

Дальше писать неинтересно.

И матуха легла; куда ей деться? Против лому нет приему. И детки ее повалились под ноги премьеру, как снопы.

Ну, после водка лилась рекою, и, как сказывают злые языки, изрядно

захмелев, Черномырдин в порыве охотничьего счастия читал детские стихи некоего поэта Б. Щуплецова:

Миша в шубе, мише жарко.
Мишку очень-очень жалко.
Мы спросили в шутку
Бурого мишутку: "Может, снимешь шубку?"
Мишка обижается и ворчит в ответ:
"Шуба не снимается, пуговиц-то нет".

9

Мой друг литератор Павел Поздеев, большой любитель охоты на крупную дичь, поведал мне свой случай: "Медведь ложится в берлогу так, что знает в случае чего, куда бежать. И потому надо встать так, чтобы не пересечь медведю путь, когда он поднят. Вот, говорит, медведь на человека пошел. Не на человека он пошел, а человек ему путь преградил, на дороге встал.

Вот егерь расставил стрелков, сыну своему велел поднимать. Тот взял жердину и стал тормошить. Заворчало там, и вдруг выскочил медвежонок-пестун, годовик. Кинулся в лес. Поняли охотники, что матка с дитем лежат. Что делать? И матку жалко, и медвежат жалко. Разыскали пестуна, засунул я его в рюкзак: едва одолел. Силищи-лапы не согнуть. Притащил, давай его в берлогу назад совать. Совали-совали — нейдет леший, растопырился мужичок, не хочу, говорит, назад к матери. Беду чует. Ну, только внедрили, как оттуда три медвежонка друг за другом выскочили и в лес. А матка лежит, хитрая шуба, вроде не слышит. Я на колени встал, рукой даже за шерсть подергал. Совсем рядом с устьем лежит. Ну, трех медвежат уже не поймаешь. Пошли домой. А утром егерь вышел к берлоге и видит, пустая она. Подобрала матка дитешей своих и залегла в запасной берлоге. Ну и пусть лежит. Знать, Бог ее спас, — решил егерь".

***

...Истинная медвежья охота не терпит любопытства, когда сбиваются в табун и лесного дедку, подкараулив спящего, берут в тройное кольцо да и расстреливают из карабинов, как мишень в тире: столько тут шуму, столько гряку, столько сотрясения воздухов, похвальбы, винища, порой и стервозности, ибо всякому, кто угодил на медвежью осеку, хочется раздеть хозяина и примерить его богатую шубу на себя, кинуть под ноги, в

креслице или распялить по стене, чтобы о грозной славе мужичонки не позабывалось в том дому; помнила бы теща, и супруга благоверная, и детки, и всякий гость, кому доведось переступить порог.

Промысловик ходит за медведкой один, редко вдвоем, чтобы легче было вытащить добычу из суземка. Ну да и задор не задор, но дикий лес — не городской прошпект: хорошо иметь державу, подпору у плеча, кто бы дышал тебе в спину, гымканьем, надсадным дыханьем, табачной затяжкою напоминал о себе; оступился в полынью, посек ногу, поймал лихорадку-гнетею иль сломал поясницу под деревиною — тут тебе схватчивый корешок-товарищ в подмогу и надею, кто неусыпным своим надзором не даст окочуриться, свалиться в ямку. Обычно спутнику не достается стрелять в зверя, он остается иль сверху берлоги в запас, чтобы при последнем случае послать вдогонку пулю, иль осторонь лежки за деревом, чтобы не мешать главному затейщику. Значит, тот, кто идет на лесного архимарита, кто страха не тешит в груди, не дает ему кинуться в пятки, — такой человеченко должен иметь характер не то чтобы совсем бойцовский, но дерзкий, норовистый, с накипью, отличный от прочих. И чтобы завершить размышления о лесном архимарите, я попытаюсь набросать портрет промысловика, которого знавал довольно близко лет двадцать, будучи с ним даже в некотором родстве...

* * *

Деревнюшка, в которой родился на свет мой герой, возникла по воле Сталина и погибла по сумасбродству Хрущева, который вогнал в землю более шестисот тысяч подобных селитьб. Век поселения был короток. От того дня, как белощельский крестьянин Семен Семенов вошел со всей многочисленной семьею в карбас и, оттолкнувшись от берега, поплыл вниз по реке Мезени, чтобы осваивать неведомые края, и до того часа, как съехала из деревни Кепино последняя семья, навесив на двери избы амбарный замок, — прошло всего лишь лет сорок. Но деревня та, умерев, все еще живет на картах, хотя остались на склоне реки всего три заброшенных дворища, поросших по грудь иван-чаем и всякой лесной дурниной, да голубенькая пирамидка со звездою — напоминание померщему здесь гулеванину, отцу моей жены. И даже не верится, что были когда-то на пологом цветущем берегу польца, отвоеванные у тайги, школа, медпункт, магазин, сетевязка, рыбпункт, а краем реки шла на Архангельск дорога. Семен Семенов (о нем я уже писал) отвоевал у леса клочь земли, срубил первый дворишко, баню, кузню, амбары, завел скотину; потом пристали к новоселу другие мужики, ищущие счастья, пошли дети, со стороны привезли не-

вест. И могло бы это с легкой руки Семена Семенова родившееся селище стоять у реки безвыводно лет двести-триста.

Правда, основатель-то деревни хотя и был мужик работящий, но вместе с тем характером бедовый, щелыванин (балагур) и бедокур; он еще до революции проклял власть царскую, пристал к сходкам сосыланных, ратовал за большевиков, пытался писать стихи, хотя и имел два класса церковно-приходской, при белых угодил на Мудьюг в застенки, оттуда умудрился бежать. После гражданской ринулся в Сибири; видишь ли, прискучило человеку родное Белощелье, вроде бы стояло оно не у лешего на куличках, а под боком у Кремля, и захотелось еще большей глуши. Поехал, родимый, ковырять иные земли, жирные, что на хлеб мазать можно, но оказался вдруг в северной тайге за сто верст от родимой сторонушки. Попадали в новое место сам-девять, меньшую дочь несли на руках, еще одну тащили на санках. И вот обжился на комарах, детей поднял, которые, казалось бы, должны были отдать Богу души в таких немыслимых таежных условиях, плотно, сыто зажил, но был обложен невыносимой налогою, отчего и новую власть вскорости готов был поднять на вилы. Пускаясь на лодке в ближайшую деревню, чтобы сдать подати (бочку масла, скотские туши, шкуры, пушнину, рыбу, тюки шерсти и так далее), и получив за свой труд кукиш, говорил прилюдно и дерзко, нисколько не притушивая занозистого языка, не примасливаясь хоть бы голосом, чтобы сказанное пустить на шутку: "Всякая власть есть насилие. Прежняя жизнь была ядренистей и краше, ели масло хоть на хлеб, хоть в каше". А то и пропоет еще: "При царе при Николашке ели белые олашки, ныне правит исполком, всю мякину истолкем".

Кончился его вольный гонор печально; зимою тридцать седьмого приехали на санях энкаведисты, в экую-то глушь забрались, ночью подняли старика с кровати, забрали сундучок с бумагами (а были в нем стихи). И вот скрутили нашего смутьяна и затолкали в Сибирь, где и скончался он вскоре в неволе.

Что скрывать, был Семенов характером крутенек, чуть что и за нож хватался, себя в обиду не давал. Когда медведко попадал в капкан, то пули на него не тратил, прижаливал, но срубал два березовых кряжа. Один балан подбрасывал зверю, а пока ломыга имал тот чурак лапами, березовой палицей сокрушал Семенов медведя по башке.

Здесь, на выселках, родилась у Семена Семенова последняя дочь, утеха на старости лет. Назвал ее Софьей, любил тетешкать, с рук не сходила девка. Жена Евдокия сокрушалась, что дочь-то некрещеная, но мужу перечить остерегалась; да и откуда бы взять попа в глухом куту, в елинниках да мшарниках. Но зашла однажды соседка на огонек и в шутку иль нет,

увидев, с какой радостью забавляется рыжий старичище с крохотным ребеночком, с какой радостью гугыкает этот суровый лесовище, вдруг и взболтни: де, ты девку с рук не сымаешь, а она ведь крещеная. Семенов вспыхнул, осердясь, потеряв память, кинул девочку в зыбку. С ней случился родимец. Девочка с неделю поплакала и умерла...

Зачем я привожу это свидетельство? Вот, де, дикий сколь человеченко, без царя в голове, свою любимую дочку захлестнул, лишил жизни. Но ведь не знаем, сколько страдал после, что голову потерял, но виду не показывал, ибо нельзя было рассолодиться в суземках, у лешего в гостях, нельзя было терять памяти, ибо огромное семейство на руках, ниоткуда подмоги не жди, на чужой кусок рта не растягивай, каждый мякинный каравашек со своих ногтей и горбины.

Внук его Викентий, о котором и пойдет речь, такой же горячка, он дедов характер перенял во всей его извилистой сполошистой причуде, нимало не перетолковав его.

Стоит сначала вспомнить родителей. Мать, Августа, была из Козьмогородского. Отец бросил мать с тремя дочерьми и уехал жить в Пяндозеро, где сошелся с женщиной с двумя сыновьями. Сколько-то пожил на стороне, и что-то однажды странное примерещилось рыбаку в скудости дней, вдруг пишет на родину: де, родимая женушка, приезжай ко мне скорее, я страшно соскучился, ту бабу бросил, ты одна у меня законная, венчанная. Ну, та дура, поверив словам, кинулась из Козьмогородского с Мезени-реки в комариную глушь и детей своих прихватила, а было тогда Августе уже шестнадцать лет. Приползли на Пяндозеро с попутчиками, где стояла изба мужа, а полюбовница, оказывается, никуда и не съезжала, хозяйство ведет. Две бабы разодрались из-за мужа, а потом, приутихнув, сдались судьбе, сбились в один гурт. Куда деваться-то в тайге? где, кто ждет?

Афанасий же, сын Семена Семенова, о ту пору отправился с возом пшеницы из Кепино в Архангельск, чтобы с прибытком торговать, а сбыв шкуры, отовариться на базаре. Отец длинный список поручил, чего прикупить в запас; из тайги за каждым чохом за двести верст не набегаешься. Надо было купить соли и спичек, и сахарку, и мыла, и дели для вязания невода, ниток, сеток, сапог, галош, круп, ситчику, муки, табачку — словом, всего того, без чего зиму огоревать нельзя. Ждут Афанасия с базара, а его все нет. Однажды лошадь с товаром привели с попутьем; отец, узнав по записке, где потерялся сын, долго ругался.

Оказывается, Афанасий на обратном пути свернул на Пяндозеро присмотреть место промыслов, нашел там семью рыбака и трех девок. А уж пора было парню жениться, и он невольно омелился в чужой избе. Лишь в

апреле по насту прибрел Афанасий в Кепино пешком, ведя за руку молодуху. Оставил жену на улице, вошел в избу, встал у порога и говорит: "Отец, я женился". Отец к тому времени уже остыл, спрашивает: "А где жена-то?" — "Да на улице жена-то". — "Тогда веди в дом, чего морозишь на улице. Не скотина ведь".

Хорошенько выругав Афанасия, потом выделил корову, кое-что из посуды, перину дал и пуховые подушки, купил избу. Живите, де, прилепляйтесь дружнее. А молодых почто-то мир не брал. Августа взбунтуется, вопит: "Не буду корову доить, дои сам. Не буду кашу варить, вари сам. Хоть убей — не буду". Афанасий косу на руку, волочит молодую по избе, с улицы воп слыхать. Родители рядом живут, окна в окна. Все слышно. Войдет отец, а молодые сидят за столом, набычившись, и пшено стаканами делят, пред каждым горка насыпана. Расходятся, значит, и корова не доена...

А вошла Августа в семью большую, деверьев много, все по лесам шляются, иной жизни не знают: ведь кто к охоте прикипел душою, тот иль семьи не заводит вовсе, иль видит детей раза два в году, когда с промысла возвращается. У всех парней Семеновых характер черемховый: сколько вязку ни крути — не лопнет.

В дом молодуха угодила из чужого корня, из дикого леса, а тут живет парень, что вообще женщин не терпит. Андрей знал только охоту. Но у него была одна странность: при стрельбе у него закрывались оба глаза, потому он левый глаз накрывал шапкой, чтобы не зажмуривать. Стрелял птицу редко и только влет. И вот оба брата, Андрей и Афанасий, сметаны не любили. Августа забеременела, сметану хлебает из большой чашки и мужа-то дразнит: "Вот сметаны-то захотела. Наверное, парень будет". — Деверь-то Андрей и говорит: "Афоня, и неуж ты с бабой такой спать будешь? Она же сметану ест". Афанасий крынку со сметаной поставил к порогу, собаку с улицы позвал, а сам жену обхватил сзади. Так и держал, пока собака все не вылизала...

В общем, нашла коса на камень. Но не зря Августе сметаны хотелось, принесла она парня. А распоясался поясок, и посыпался песок; лиха беда начало. Так появился наш герой. Назвали парничка Викентием. Бывало, придет внучек к бабушке за молоком, поставит берестяный туесок на лавку, сядет и молчит, как каменный. Бабушка Евдокия не вытерпит, улыбаясь, спросит: "Дак ты, Веня, однако, не за молоком пришел?" Молчит гость. Нальет бабушка в туес, мальчонка так же молча заберет его и вон из избы.

У него на языке всегда замок висел, лишнего слова не сронит.

А мать Августа вскоре умерла.

Отец с ружья и капкана всю семью кормил. Однажды, возвращаясь с путика, провалился под лед. Мороз стоял. Едва добрел до избы. Его растерли снегом, намазали гусиным салом, повалили на горячую печь. Афанасий полежал на камнях, сопрел, вроде бы в себя пришел. Сполз с печи вниз, повалился на кровать, что стояла у порога, а через час и умер. Чуть за шестьдесят перевалило. Ой, короток век охотника: иль медведь погрызет, иль знобуха-ломотея-огневица придушит, иль деревом придавит, иль в ледяную продуху, едва притрушенную снежком, угодишь; много смертей наготовлено в суземках для бродника — и каждая внезапна, случайна, как бы ты ни готовился к ней всем уставом лесника. Но, живя наодинку в тайге, такой затейник никогда, ни одним словом не попрекнет мать-природу, не пообидит ее, и если есть сын, то загодя, супротив материнской воли, начинает его натаскивать по своему путику, приноравливать к тяжким охотничьим заботам, пестовать по всяким мелочам. Едва из-за стола виден ребятенок, а он уж к ружью примеривается; пока лишь рогатка в штанине пузырит карман, но взглядом-то мальчишка все схватывает вслед за отцом: как отмеривает пороху, да как капсюль забивает, да как пыжи из войлока выколачивает, да как стволы ружейные продирает. Украдкой утащит у батьки латунную гильзу и нюхает, пострел, как пряно, остро, сладко пахнет она отстрелянным порохом. Эх, душа-то как взвинтится! В восемь-то отец уж в греби доверит сесть иль шестом толкаться в ближнюю старицу, где закинута сетчонка. А если есть шомполка иль дешевенький дробовик шестнадцатого калибра, то получай пару патронов дробью-пашенцом да ступай в ближние осинники в распадке и добудь-ка рябца на суп. В десять лет все ближние озера, что за пять километров от деревни, — уже твои. Будущий охотник растет, как трава, нет для него особого пригляда и призора, ибо вся семья чертоломит на пашенке иль на сеноставе за ради хлеба насущного. В двенадцать наш мальчонка уже поспевает вслед за отцом на охоту, сметывает след и размечает путик. Доведется ли с батькою по лесам браживать, кто знает, но свою стежку надо торить сызмала от самого порога. Помню и поныне, как свою тропку я бил из избы, стоящей у самого болота, до ближайшего кочкарника, присыпанного ягодой-сихой и приоблитого травой-пушицей. Тут я собирал свой первый урожай, забивал ягодой бутылку, толок черемховым прутиком и этой сладко-горьковатой кашицею набивал свое младенческое брюшишко. Та тропка моя была длиною метров сто, но из-за дурманного канаварника и кустистого голубельника серенькие оконца нашего дома уже прятались от меня, как живые, и невольно вызывали во мне страх...

А соянские леса, что отгородились от Белого моря разливистыми, языкастыми, ржаво-коричневыми (сверху) тундрами, ой тяжелы, бродны даже

для свычного человека; повдоль реки заросли они вязкой по пояс дурниною, забиты палым древесным трупьем, а дальше от воды, если заглубиться к юго-западу (на шелоник), извилистыми подолами пойдут лиственничные иль сосновые боры, переймут твой путь сотни озерин и болотцев, калтусин и всяких сырей, уремин и гнилых распадков, часто уставленных чернолесьем (осинником и ольховником); а то иной раз выпадет на многие километры такой суходол, оплошный камень-черствяк, едва припорошенный ягелем, что и капли воды неоткуда выжать, и от жажды скрутит жилы.

Но радуйся, что нет во всей округе ни одной живой души, как ни кричи — не отзовутся. Но коли повеет внезапно костровым дымком, приопахнет варевом, то не кидайся навстречу, распахнув душу, но замри, приобсмотрись осторожно, ибо в тайге не зверь опасен, но лишь случайный прохожий, такой же, как ты, бродня, выломившийся из-за тюремной решетки, иль бессрочник-лагерник, ударившийся вдруг в бега.

...Помню, как-то с Викентием мы поднимались вверх по Сояне, чтобы за порогами покидать блесенку. И вдруг из-за поворота показался небрежно сколоченный плот, а на нем двое незнакомых, подзаросших, пообгоревших на солнце парней. Один из них прокричал что-то, но Викентий не кинулся охотно навстречу, но сразу подобрался весь, незаметно прираскрыл ружьишко, лежавшее под брезентом, и щурко стал оглядывать сплывающих. Потом решился, погасил мотор, причалил, дал закурить. Парни, по их словам, заблудились: они шли из Архангельска в Карпогоры и вот теперь не знают, куда их занесла нелегкая. Сказали, что если бы не перепало вчера дождя, то погибли бы от жажды. Слышать это на искрящейся, хрустальночистой реке было странно. Мы посоветовали спуститься до аэродрома, а там бы потеряжников по доброте душевной бесплатно бы подбросили до города. Но незнакомцы разговор этот замяли, напросились к нам в избу на ночеву, прожили в ней двое суток, насушили сухарей и вот рано утром с восходом солнца переправились на другую сторону реки и вновь углубились в тайгу, из которой едва выбрались. Куда они делись? что это были за люди? какое лихо их толкало обратно в долгую дорогу при полной-то бесхлебице? Но помню, что во всю неделю, пока я жил с рыбаками, никто ни разу не вспомнил о бродягах, словно бы они не ночевали на этих вот нарах, не подбирали по углам древних хлебных корок, в изобилии валявшихся от старых ночевок, не вспарывали окурки и не провеивали в газетный кулечек табачную пыль. Удивительно, но эти бродяги ничего не просили, ни о чем не говорили, были спокойны и тихи, как мыши, которые натаскали по старым валенкам и басовикам-опоркам множество ржаных огрызков...

* * *

Афанасий впервые повел сына на берлог, когда Веньке было двенадцать лет; и не для баловства тащил, не забавы ради, не собачонкой на шнурке, чтобы взлаивала в щенячьей радости, что отец смилостивился и взял с собою. Нет, Венька в работниках, в напарниках, в помощниках: он тащил на горбе рюкзачишко, плечо оттягивал дробовик.

Афанасий рассказывал мне: "Я вот сына с малолетства натаскивал. В войну-то я ездил Японию присмирять на Дальний Восток, ну, дали ей прикурить, чтобы не баловались косоглазые, а как вернулся, снова пошел на лосей. Экого лося опахнешь, так диво. В один сезон государству двадцать пять сдал. Тут и сын приучился.

Постоянно встреты: то с росомахой, лисой, волком... Куница опять же, выдра там, белка. А другому не увидеть — не догнать. Да еще талант убить надо. Новой зверь идет на тебя, а ружья нет. Того видал, другого видал. А есть натура слабая у некоторых. Думают, как бы убраться скорей восвояси, ну его, пусть мимо шагает.

Ну, пошли с ним на медведя в два ружья. Венька-то с осени еще присмотрел берлогу, приследился, значит. Вижу, говорит, следы. Думаю, олени шли да лоси. Но они по колодине не ходят, всегда перешагнут. Значит, медведи.

Пришли, аншпуги срубили, сели покурить. Слышим, пес пролаивает, бегает; может, следы куньи старые унюхал. Пошли праве, на голос, нашли катыш из сучьев. Закрывается медведь в мороз. Батогом в устье пехнул. Снег срыли, чтобы в берлогу глядеть. Я на рычагах стою, как капитан. "Ни звука, как нету, то ли затаились, то ли спят, молчат". Потом бросили в берлогу кряж, матуха и ухнула. У меня пуль за лузаном навалом накладено. Зверь-то кинулся большой, а Венька как жахнет сверху. Медведица-то пала. Давай дальше шурудить батогом, будто кто-то берет. Я стрельнул — второй упал. Дыру прорубили и третьего взяли. Я говорю Веньке: "Теперь хорошо. Два охотника — три медведя".

* * *

...Эта работа, которую я однажды затеял много лет назад, требует обстоятельности, дотошности; в ней не должно быть разномыслицы, разночтения, когда бы я сам себе поперечил; бытийная книга просит хорошей оснастки, фактов, не дробит по яркости их, но собирает под свои обложки все, что оттеняет человеческую жизнь, делает ее многоцветной и живой, даже при стороннем приближении. Черствая душа должна вымягчеть, сухая — вымокреть, дерзкая — присмиреть, заносчивая — удивиться. Ну

пусть и мало во мне расторопности, и скудного запасца я принакопил в блокнотах, и усидчивости во мне никакой, и не похож я на ту мышу, что в рыбацком становье всякий сухарь тащит в валенок иль сапог, но что-то ведь склеивает мои мысли и мысленки в единый старательный свод и не дает рассыпаться книге?

И сейчас, пиша о моем старом приятеле Викентии, я не столько копаюсь в его старом барахлишке, закинутом на подволоку, покрытом плесенью, пылью и мокредью, пообгрызенном чердачным гнусом, чтобы запечатлеть портрет знакомца, но я мысленно тужусь представить многую череду русских охотников, что бродили по тайге, кормились с ружья и капкана и создали собою особенное сословие лесовиков-промышленников, к сожалению, почти иссякающее ныне. Поморы и казаки, купцы и прасолы, охотники и рыбаки, кузнецы и коневалы, пахари и углежоги, мельники и скорняки — все они, уставливаясь плотной стенкой друг подле друга, и создают воедино физиономию русского народа во всех ее достоинствах и оплошках...

* * *

Викентий редко вспоминал отца, он не высил его и не низил. Отец был суров, угрюм, любил выпить; он чтил лес, смыслил в охоте, ею жил до самой смерти, и все повадки, что приобрел Афанасий, скитаясь по суземкам, все угодья и ухожья, всех запьянцовских знакомцев он как бы по наследству передал сыну. В той жизни на выселках это был весомый капитал, ибо другого дела просто нельзя было представить мужику. Деньги можно промотать, имение пустить на ветер, жену потерять, а тут перепал капиталец неразменный, только не засовывай его глубоко в мошну, почаще посчитывай, да протирай, да пускай в оборот.

Викентий о медвежьей охоте рассказывал буднично, не выкатывал глаза, не гордился собою, не восхищался своим бесстрашием. Медведь был просто старшим зверем в ряду того зверья, которое охотник во множестве убивал.

"С отцом Афанасием ходили на медведя. Отец стрелил первый из винчестера. Медведь, рехая, ушел из леса, потом, наверное, опомнился, что надо отомстить, вернулся обратно и пал в шагах двадцати от нас. Когда освежевали тушу, оказалось, что пуля прошила лопатку, сердце и вышла в боку. С пробитым сердцем он еще столько жил".

Викентий рассказывал языком книжным, стеснялся показаться перед писателем серым валенком, немтырею. Он много лет выписывал "Роман-газету", на шифоньере лежали кипы этого журнала; он помнил прочитанное, удивительно верил писательским придумкам, и когда узнал, что я автор "Крылатой Серафимы", то долго похмыкивал, ерничал, подхихики-

вал, язвил по каждому пустяку, но видно было, что ему очень подмасливало, что в знакомцах его писатель, человек не шутейный, с кем можно потолковать. Викентий чтил деда, вспоминал о нем с гордостью, нашел песню, что сочинил Семен Семенов, и напевал ее в подпитии каждый раз, вспоминал тот деревенский сундучок, в котором хранились стихи. И в нем, наверное, эта склонность сочинять зрела, точила мужика, просилась наружу; но по деревенским устоям это увиделось бы дуростью, пустой забавою, а показаться никчемушным, бралем, затейником в глазах сельчан для годящего мужика — это самое страшное.

Викентия нисколько не дивило, что вот дед, бросив избу, имение, знакомцев и родичей, в один день загрузил всю семью в карбас и сорвался неведомо куда, обрекая родных на неизбежные несчастья. Затолкался в комариную глушь, запалил костер и начал новую жизнь. Но Викентия всегда по-особенному волновало, что это дед его Семен Борисович Семенов написал песню; значит, был у него особенный талант, и этот талант в один час подрезали под корень. И сундучок ведь был полный стихов, так рассказывала бабушка. Сундучок, полный стихов.

И еще помнилось, как дед любимую дочь бросил в зыбку и младеню хватил родимчик. Собственно, и с Викентием случится подобное однажды. Поехали в карбасе в Долгощелье: как всегда, пожитков набралось множество, отвальное к утру не закончилось, давай и поутру пить. Стаскали вещи, поехали по реке. А вез Веня в соседнюю деревню младшую дочь-грудницу, чтобы оттуда отвезти ее на самолете в Архангельск. Ну, младенец в лодке заскулила поначалу, потом заревела, хмельному Вене вопль показался диким; он схватил девочку и хотел выкинуть за борт, но мужик-попутчик перехватил, сунул куда-то в пожитки. Малютка затихла. С тем и приехали в Долгощелье, стаскали с реки кладь к знакомым на поветь, а сами поспешили в магазин за вином; душа блажит, ей хочется покоя. Вдруг хозяева услыхали в доме плач, забеспокоились, стали искать; раскидали пожитки, а там в одной из постелей скулит забытая родителем кроха. Хорошо не задохнулась. Вернулся из магазина отец, ему говорят: "Веня, ты же чуть родную дочь не задушил". — "Ну и х... с ней, новую народим". Девка-то выросла, слава Богу, кровь с молоком, плодуща, характером ровная, даже глаза дерзко не вскинет, не то ответить старшим с вызовом. Уже своих детей наваляла по лавкам, а когда случай вспоминают, лишь стеснительно улыбается, потупив взгляд.

* * *

Дед Семенов очень переживал, что простой народ сильно пригибают, снова не дают распрямиться, как то обещали в революцию. Работящих

людей уважал, любил слушать у них советы; но сельсоветчиков, что часто бывали у него на стану, когда попадали через Кепино в Архангельск, всяко задирал в разговоре, а в подпитии нередко и грозил выкинуть иль выставлял на мороз. Перечить ему боялись всякие власти, не хотели нарваться на нож. Конечно, Семенов бы не ударил, но посулить ножа любил иль сгваздать по рыльнику, пустить юшку. То есть у властей причин много было, чтобы вскоре забрать Семена Семенова на этап и спровадить в Сибирь, куда он так рвался в двадцать четвертом году.

Соянские боры раздольные, богаты мхом-ягельником, и потому в зиму, когда тундру заваливало снегами и наступала бескормица, оленные стада кочевали в сторону Кепино. А у ненца душа детская: месяц держится, два держится, а после дай выгуляться до полного ветра в голове. А уж с кем ненец стакашек ополовинил, с кем кусок мяса разделил в трапезе, тот человек как бы крестовым братом становился. А дом Семенова был хлебосольным, ненцев принимали здесь во всякое время, и та дружба держалась долгие годы и после хозяина, внезапно пропавшего в лагерях.

Когда родился Викентий, крестным отцом его стал ненец из Кепино, имевший две тысячи оленей. Хоть и не был Венька крестивым и поп не махал над ним кадилом, не мазал елеем, но крестный и божатка как бы сами собой назвались, придя на гостьбу по случаю рождения младенца. Ненец подарил крестнику важенку-сырицу "на зубок", но с тем условием, чтобы не пускать под нож на мясо, а оставить ее в стаде. Бог Нума, щедрый бог, он милостив к добрым людям и не оставит их без подарка. Через три года навещает тот оленщик Семеновых и говорит Афанасию: де, для твоего Веньки от той важенки родилась олениха, а от них еще две. К семнадцати годам у Вени выросло стадо до двадцати голов. Однажды приехал он к крестному в чум, тот повез парня в стадо и стал показывать: де, вон твой олень, и вон, и вон. С двумя метками в ухе олешки все твои, порато богатый ты стал, однако. Викентий не мог разглядеть тех оленей, но верил крестному на слово.

После армии Викентий написал крестной Аграфене (старик уже умер): де, продай пару моих оленей и деньги вышли. Пришел перевод на двести рублей, но вскоре и письмо прибыло, где Аграфена пишет, что твои олени все погибли, мор напал на них, и, дескать, больше с меня ничего не проси. Так что зря Веня тешился мечтою, губу раздувал: нет, с чужого молока добрых сливок не сымешь, мимо рта протекут.

Один сын у Аграфены погиб, когда на оленях ехал по Архангельску и попал под машину. Второй сын, Михайло, — с ней кочует, бобыль, не женится и вовсе, наверное, останется без бабы. Аграфена вела свое хозяйство рукою крепкою, властною, работников струнила, хранила стадо в пять-

сот голов. Везде у нее большие связи, по лесам продовольственные амбары, куда ведут неизвестные тропинки. Сведущие люди говорили Викентию, что там хранится мука еще довоенных запасов. Ясно, что за мука, поди червочки всю источили, дожди навели киселей; но ведь хранятся же груды рогожных кулей, еще довоенного помола. Сам Викентий однажды напал по случайности на старинный амбар шести метров длиною и четыре шириною; схорон был под крышу набит сухими лосиными шкурами. По какой нужде хранился скорняжный товар, почему он не попал в заготконтору, каких особых сапог хотели натачать из этого товара? — нам уж никогда не знать. Распута была иль хозяева примерли, а наследник потерялся? иль обложили хозяина засадою и загнали на Соловки? Шкуры уже поизопрели, поела их моль и мыша, поисточило оводье и шашель. От огромного стада, бродившего когда-то по лиственничным борам, осталась лишь гора прели. И случайно угодивший на тайный схорон Викентий снова подпер анщпугом дверь, обошел кругом покосившийся лабаз и пошел прочь, позабывши дорогу обратно. Ведь чем меньше знаешь, тем дольше живешь. Да и на что ему были эти полуистлевшие позаброшенные меха, коли сам убил и сдал на мясо государству более тысячи сохатых.

Я попросил однажды Викентия рассказать, как он медведей брал. Судя по сухим записям в блокноте, на дворе было сдвиженье восемьдесят седьмого года, а в России затеивалась перестройка, и шашель всеместная уже готовилась точить медвежью шкуру, которую Горбачев готовил к распялке. Уже из Америки приехали мясники-раздельщики, а точильщики выправляли засапожные ножи и выискивали в дремлющем русском медведе роковые жилы.

...Это летом река Сояна похожа на расплавленный серебряный слиток, и если отстраниться от берегов и уставиться в красное каменное дно, то вода, кажется, теряет всякое присутствие, настолько она прозрачна и призрачна. А осенью по черной реке плывут желтые листья и палые иглы лиственницы. Вода тяжелая, вязкая, маслянистая, идет накатом, слегка вспухая на каменьях. Редко когда вспыхнет над рекою хариус иль плеснет семга; все живое готовится к зиме, рыба дружно скатывается в ямины. За рекою в лиственничном распадке рехают медведи, заполошно трубят лоси. Но не слышно тоскливого волчьего протяга; лобастому у этого праздника нет места, серый ждет своей поры.

Мы лежим на горе, под нами река. Додымливает костерок, отгоняя ленивого последнего комара. На постели из лапника под еловым шатром да после жирной ухи и жаркого из хариуса как хорошо сыграть потяготку, понежиться утомленными мясами, сбросив с ног резиновые надоевшие сапоги. Викентий чуть захмелен, он в добром расположении духа, груз забот не ви-

сит над плечами, не ворчит жена, не пищат дети. Рай, да и только. Меня и потянуло спросить, как Веня медведя брал. "А чего ведьмеди? — хмыкнул он. — Писать, что ли, будешь, писатель? Сходи сам и узнаешь, — ответил приятель, странно осклабившись, при этом коричневые мохнатые глазки, как бы побитые веснушками, странно вспыхнули. — Васька Нечаев было встретился с матухой с детками. Медведица за ним, он от нее вокруг дерева. До трусов раздела. Васька всю одежду содрал и спалил, так она огня-то не боится, зараза... Нам медведь-то было в капкан угодил. Еще батька был жив. Медведь-то давай рячкать капканом о сосну, только щепа полетела. Плюнет ошметок на лапу, да как кинет. Только со свистом плевок летит, о сосну шмякнет и разлетится. Попадет в кого — мало не будет. Медведь в лютости плюется и рехает. Знай, Владимир, да к нему не суйся".

Викентий сосал сигаретку, лениво мусоля мундштук, а его заветренное до черноты лицо стало светлым, размягченным; в таком состоянии своего приятеля я знавал крайне редко, особенно в последние годы. Попал в аварию, раскроило череп, но в больнице сшили голову плохо, сейчас в ушах постоянно гудело, будто в ней шли поезда, и шум этот раздваивал сознание, отвлекал; хотелось разъять своды головы руками и нашарить там странную штуковину, что мешает, окаянная, жить. Я догадался, достал из рюкзака бутылку, сковырнул пробку, налил граненый стакашек. Нет, Викентий не опрокинул жадно стопку, он никогда яро, грубо не пил, но приподнял стакашек, всмотрелся в его коварную, манящую глубину и чуть отпил. Именно отпил, пригубил, взбодрился чуток; Викентий никогда не пил в этом понимании слова, но он принимал водочку с любовию, ласково и бережно (пока не отвращала его), никогда при этом не морщась и не страдая, что так беспутно прожигается жизнь. И только все шире расползалась по лицу улыбка, все глубже загорались глаза.

"Лося тяжче взять иной раз, чем медведя. Да и на кой его? Для забавы, характер проверить. Шкуру не примали, куда ее взять? А коли примут, так за дешевку, за копейки. Мяса как-то не ели, принято не было, да и к душе не прилегает, тяжелое оно, камнем садится. Я четырнадцать медведей убил. Однажды с Парфеновым нашли верхового медведя. На еловом острове слышим: р-р-р. Звериный, крутой голос. Собака Найда скачет. Я смотрю, меж елями серый жернов лежит. Бросить бы медведя, да задор не велит. Смотрю, где голова, где зад, стрельнуть чтоб. Толком не разглядел, стрельнул. Медведица-то встала на задние лапы и на нас. Задел, значит. Парфенов влево, я вправо, за лесину. Она за товарищем, он наубег. Я сзади картечью навскид, хорошо угодил под лопатку. И все дела.

Он так-то не задирает, больше стороной обходит, не связывается. Но если задел его мало-мало, тут с ним не сообразишь, с прокурором".

На Викентия нашла стихия; заведя затуманенные глаза в небо, где над вершинами елинника тихо сплывали копенки белесых облаков, он мучительно наискивал в памяти, что случилось с ним за охотничью жизнь. Писатель угостил водчонкой, и надо было угодить ему не кочевряжась. Да разве все сразу вспомнишь? Врать охотник не приобык, а в лесовой жизни все вроде бы за обыденку, не к чему прицепиться: день за днем — сутки прочь. Встал, кулешу сварил, собаку накормил, сунул ноги в лыжи — и на путик, пока солнце не сядет. Потом зверя освежевал, еды сварил, изобку натопил — и спать. И так до конца зимы, пока наст держит. Было зверья бито, много греха на душу принято. По всей тайге оследился, но нигде не наследил, никому не насолил.

Викентий вдруг почмокал, округлил глаза, пригубил из стопки. Я вдруг приметил, что крыло черных ссиня волос опустилось на лоб. Пора было бутылочку возвращать в рюкзак.

"Ну, чего бы тебе еще такого наврать, товарищ Личутин? Вы же, писатели, ничего не знаете, все вешаете нам макароны на уши, а мы, дураки, верим. Другой раз такого намелете, что даже у меня от стыда волосы горят. Вот ты про Сафонова писал, что он кособокий и под два метра ростом. Он и не кособокий вовсе, а горбатый, и не под два метра, а чуть повыше меня".

"Так это же повесть, проза, собирательный образ", — пробую оправдаться я, вдруг испытывая стыд неведомо отчего.

"Раз повесть, так и врать можно? Ну да ладно, — смягчился Викентий. — Ну вот, был у меня друг Михайло, ненец, сын Аграфены, моей божатки. Он в Архангельск специально за двести верст оленей гонял, чтобы на трамвай посмотреть... С ненцами я часто на медведя хаживал. Это у нас: пошел — убил — съел. Перед охотой ненцы долго сидят у костра, что-то шепчут, будто молятся. Деревянных кукол, чтоб кровью мазали, не видал, врать не буду. Потом одной расческой все по кругу расчесывают волосы, подходят к костру и становятся задом. И вот пошли к берлоге, двумя стягами стянули устье, а медведица уже услышала, кинулась из берлоги. А я стоял первым номером, стрелил, но попал не в лобешник, а промеж глаз. Ну, матуха убралась в берлогу, воет там. Пришлось нёбо рубить да добивать матку, а после тащить.

Мяса подавали варить в чум не через дверь, а через край полога. И где тащили тушу, женщина не смела переступить дорогу и то мясо не ела вместе с мужиками, а лишь после. Уж такой закон. Так у них заведено. Это у нас, у русских, все за стол... Да, и вот этот Михайло, чудак, разошелся о берлоге и меня подговорил идти вдвоем. А я и один не раз хаживал, мне-то не в диковинку. Но Михайло захотел первым номером. Я, говорит, сме-

лой. Ну, подходим к логовищу-то, еще не успели ворохнуть, а матка-то и взреви. Михайло ружье бросил — и бежать. Да угодил в развилку березы и застрял там. Вот тебе и смелой. А медведь-то серьезный попался, шутить не любит. Пришлось с трех шагов стрелять, едва отскочил, как пал-то он. А Михайло-то орет дурным голосом. Я тихонько подошел, тронул немца, а тот: "Дедушко, прости, дедушко, прости". Подумал, что это медведь его лапой. И весь обдристался... А чего он думал? Это тебе не шаньги в масло макать. Там хоть от жадности и подавился, так все в своем дому. А тут и костей не собрать".

Викентий допил стопку. Уже завечерело, пора было свертывать стан да собираться ближе к дому. А Викентий уже начинал новое вспоминать, но был его рассказ короток, как отчет командиру: "В шестьдесят девятом медведицу убил с двумя медвежатами. Берлогу нашел, собаки сказали, а я один ходил. Стрелил я медведицу, потом и медвежат взял, уже больших, с собаками справляются".

Я потащил скарб в лодку, с запада запотягивало стужею. Последние угли дошаивали в походном костерке. Собака глухо лайконула в сыром распадке, отрывисто подала голос еще и еще: значит, зацепила глухаря.

Нет, что бы ни рассказывали охотники, но все какое-то не главное, так, кажется, второстепенное, чего бы можно обойти. А все чувства, вызванные охотою, как бы пропадают втуне, иссякают в болотине, отлетают, как пар, в вершины елинника, к тем самым облачным копешкам, что выставил Господь Бог по незамутненному ярко-синему небу. Да, лучше один раз самому пережить, чем сто раз услышать. Но ведь писатель не бифштекс, чтобы жариться на сковороде. Да во всех страстях, что приходится услышать, есть что-то недосказанное, самое глубинное, что нельзя поведать, как бы ни тужился ты, чего нельзя исследовать в точности, каких бы дарований ни был ты.

Это любитель-охотник может наколоколить сто верст до небес. А лесовик-промышленник — это как истинный солдат пехоты. "Перешел линию фронта, взял языка, взвалил на плечи, приволок, получил орден. А чего еще рассказывать? Такая работа".

* * *

Внук даже в мелочах повторил судьбу деда, с той лишь разницей, что так и не решился писать стихи, но и не погиб в лагерях. В свое время к Семену Борисовичу прибыли вверх по реке двое уполномоченных, чтобы отобрать у него невод и лодку. Семенов вскипел: "Ах, вам лодка моя нужна? Так получите по гробу!", выхватил нож и кинулся на мужиков. Один

убежал к реке и скрылся в кустах, а другой упал на пороге и взмолился: "Семен Борисович, не убивай меня!" И Семенов отвел руку. Но ведь он кинулся на пришлецов, ибо те хотели обездолить его семью, оставить в нищете и в голоде на краю света, где и малой милостыньки не выпросишь.

...В деревне была свадьба. Женился племянник героя, а коли в деревне почти все родственники, то и Викентий был с ним в каком-то свойстве, а значит, тоже явился на веселье. Был он тогда еще молод, только что пришел из армии, сразу же подхватил юную учителку, что приехала в Кепино в начальную школу, и ждал первенца. Ну а гулянку русскую вы знаете: пей, пока под столом не уснешь. Ну а герой пришел с войны контуженный, ему средь бела дня черти видятся. Везде ему почет и уважение, у него именной пистолет, у него Звезда Героя, у него непыльная служба. Бедная жена, сколько ей досталось из-за супруга! Бывало, все вещи у жены топором иссек, шкаф изрубил, печь русскую затопил и платье женино все на лопате сметал в огонь. Потом и благоверную поставил возле устья, давай из пистолета пристреливать, но не убил, довел до обморока. Потом шубы сжег, решил и жену на лопату посадить и на угольях зажарить, но хорошо, та вырвалась, убежала к соседке. Герой и туда ломился, попасть не мог. Жена неделю пряталась, потом опять домой явилась. И все потихоньку стерпелось до нового случая, пока не умерла баба. Ну и героя-то надо пожалеть? не по дурости же изгалялся над женою, не по ненависти иль по особой страсти, но на Днепре ошарашило снарядом, когда связь тянул, и вот вместе со Звездой Героя победитель привез на родину неизлечимую хворь...

Ну, от вина на свадьбе одурели. Герой залез на стол в сапожищах и давай разгуливать, попинывая тарелки и стаканы. Может, почудилось несчастному, что идет по минному полю? Викентий ему: "Сойди, идиот!" Тот не послушался. Да и что слушать сопляка, если наш герой из президиумов не вылезает, всюду ему почет и слава. Веня стянул мужика за галифе, хорошенько встряхнул, тот упал. Ну, вроде бы и потасовке конец. Но вскоре герой подскочил сзади, повалил парня и стал душить. Викентий выхватил перочинный нож из кармана и полоснул, куда рука достала.

Утром проснулся разбитый, майка в крови, губа распухла, двух зубов нет. Значит, хорошо гульнул, есть что вспомнить. Лежит с больной головой, силится связать умом, что же случилось вчера. Кажется, с кем-то дрался, раз рубаха в кровище. Интересно: он кому-то навесил иль его только отделали? А дверь в соседнюю комнату не прикрыта, там бабий разговор, и тетка Марья его имя упоминает. Навострил уши, ничего не разобрал. Пересилил себя, с трудом сполз с койки, отпахнул пошире дверь: "Вы чего там про меня?" — "И не упомнишь ничего, огоряй несчастный?" — "А чего помнить-то?" — "Человека порезал, уже милиция в деревне".

Веня и говорит отцу: "Все одно не доказать, я пьяный порезал героя, давай и дальше пить". День пили спирт, милиция не идет забирать, второй день пьют, милиция не идет, третий день пьют. Осталось в руках пятнадцать рублей. Тут и приходит председатель сельсовета, говорит: "Венька, ты ведь человека порезал. Полтора сантиметра от сердца. Расскажи, как все было?" — "А чего рассказывать. Вы и сами без меня все знаете. Берите, вяжите". — "Иди, повинись перед героем, он, может, простит..." — "Не пойду".

И посадили парня, дали два года. Через год и шесть месяцев вышел из тюрьмы. Герой явился, в дом не зашел, вызвал в сени, говорит: "Прости, Веня. Я здоров, ты отсидел. Не таи зла".

Пошли в магазин, взяли бутылочку, распили на угоре подле реки. Так и замирились.

...Герой, выйдя на пенсию, вернулся в родную деревню, стал сватать себе бабу, да что-то никакая не шла. Видно, помнили, как пытался жену посадить на лопате в топящуюся печь.

Был мужик рукодельный, тихий, не гонористый, с бутылкой особенно не шутил. Однажды пришел с озера с рыбалки, полез на крышу посмотреть, не требует ли кровля починки. Да тут, на вышине, и умер, ни с кем не простясь.

А Веня никогда ни драки той, ни тюремной отсидки не вспоминал; будто не с ним случилась грешная история.

* * *

Только летом промышленник в дому. Хозяйство горит; огород, дрова на зиму, козе иль корове сена надери, овец впроголодь на зиму не оставишь, да коли рыба пошла, надо тоню завести, опять день-другой в отъезде; а если председатель придет с поклоном: де, Викентий Семенович, план горит, поезжай в луга, помоги, чем можешь, то и тут не открутиться, не отказаться. Еще неизвестно, сколько раз по нужде придется идти к тому же председателю с просьбою. А жена горемычная крутись, лови каждый пригожий день, бди мужа, не поваживай, чтобы не позарился на водочку, ибо только пригубил с устатку, да с устали иль после бани, только прижег кишку, тут какой-то черт вдруг влезает в мужика и давай его мучить, корежить да погонять по болотным кочкам. "Эх, дал Бог ума, да бутылка взяла!" "Переплыл человек море, да утонул в рюмке!" Уж на что был богатырь еврейский Самсон, ослиной челюстью побил насмерть тысячу врагов, но и тот, заглянувши в рюмку, утонул в ней однажды, не осилив.

На переломе лета попадал я в Сояну к Викентию, думая, как бы поймать его в деревне. Вдруг на сенах, иль на рыбе, иль в лес ушел дров поставить. Тогда лови его, трави душу, подсчитывая останние деньки. Когда-то еще вернется, а там баня, чтобы веничком прогнать усталость, а там и чекушка на сон грядущий, которую непременно достанет из затайки жена, чтобы не обидеть Викентия; и хорошо, если найдет воли, ночь оборет, проспится, не пойдет искать по деревне у старушишки иль вдовицы, чтобы обменять четвертинку на звено семги, тогда с утра, поди, жена приневолит благоверного домашнюю лямку тянуть. Тут уж не отлынишь. Эх, кабы так-то...

Переживал я, вылезая из "аннушки". У аэродромной избы гулеванили, наяривала гармошка, молодая в фате отбивала чечетку. Значит, свадьба. И сердце мое екнуло, и все уже я предвидел до мелочей. Загорать мне, сидеть сиднем.

Подхожу к знакомой избе; еще с заулка в низкое оконце, обметанное кипреем, вижу стол, раздумчиво склоненную русую голову, костлявую тяжелую ладонь, мосол прямого плеча, выпирающий из голубой застиранной майки. Ну все, приехали.

Викентий даже не поднялся навстречу. Он не то чтобы постарел с прежней встречи, но как-то обуглился, счернел, подвялился. Только развел руками, кисло сморщился: "Чего опоздал? А мы тут свадьбу сыграли. Дочку забраковал". Перед Викентием стояла початая бутылка и сиротливый граненый стакашек. Приятель показал на стул подле, велел жене подать посуду и тарелку с рыбой; это значило, что пригласил на постой. Он отхлебывал, не закусывая, почти не чувствуя вкуса вина, лишь поддерживал розжиг в душе и то кружение в голове, которое и томило, и странно будоражило, не давало спокоя. Шестой день, не евши и не спавши, тянул Викентий хмельное, все порывался куда-то, но сам, однако, оставался на стуле; и сон не брал, и еда не шла, а он сам над собою смеялся, кинув в рот ощипок рыбы величиной с загрубелый чешуйчатый ноготь. Его разные, смещенные травмою глаза, окруженные коричневой каймою усталости, его померкшее, вовсе высохшее лицо выражали ту безмерную усталость страдальца и мученика, что вызывают невольное сочувствие у самой каменной души. Бог ты мой, он мучился и этой мукою был доволен, и эту муку продлевал.

Жена косо поглядела на меня, ибо я своим появлением в дому невольно перебивал ее планы, был той новой зацепкою, что затягивала гулянку. Она неслышно кружила возле стола, боясь подать громкого голоса, с бледным испитым лицом, с круглыми серыми глазенками, в которых не замирало удивление, крохотная ростиком, с жидкими прямыми волосенками, заткнутыми

на затылке в пучок. Она не умела, да и боялась ругаться и жаловаться, но лишь визгловато, с подвывом, повторяла: "Ну что ты, Веня!", когда он освежал в стакане. И этот зов, рассеянно-тоскливый, был похож на вскрик ночной потревоженной птицы. И тогда грудь хозяина вздымалась, и он искренне хохотал, перебивая смех деланным злорадством: "Молчи, баба. Я еще и не пил. Я только приступаю. Я трезвый совсем. Вот еще дней пять попью, потом три дня отходить буду, а после снова примусь". Последние слова уже относились ко мне: де, не развешивай губу, напрасно приехал, забирай манатки, пока не распечатаны, и ступай на поле к самолету.

Викентий взял Нину, когда она приехала из Архангельска в начальную школу. Недолго он миловался с нею, уходил на промысел, а возвращаясь в марте, видел супругу уже с пузьём; он удивлялся нарочно, откуда этому воробышку надуло ветром, снова покидал семью на вешний озерный промысел, а возвратившись, находил в зыбке ребенка. И снова перед тайгою делал пузьё, а через девять месяцев находил нового ребенка. Крохотная, тонявая, с едва заметной грудью, женоченка принесла четырех девок, на удивление грудастых, тельных, спокойных и покладистых, и плодящих, да еще двух сыновей. Викентий и не видел, как вырастали они, вставали на ноги, учились; потом появлялись внуки, гуртовались возле избы, иногда он одаривал особенно смышленого конфеткою. Дочери на отца не обижались, но были послушливы, домовиты, рано узнали тряпку, веник, топор, косу и отлично ладили с хозяйством. И вот при моем приходе младшенькая лишь отгнула край занавески, плеснула взглядом и опять скрылась в шолнуше, занимаясь там с племянницей.

Веня пил, жена металась из кухни в комнату, у нее все валилось из рук, слышно было, как ворчала за занавеской: "Дров ни полена на горке, в баню ходим по людям, дом заваливается, крыша течет, а он пьет. И когда напьется? когда брюхо-то нальет? — с тоскою спрашивала, будто бы саму себя, но ясно, что вострила тонкие прозрачные ушки и косила взгляд в сторону стола, упреждала грозу тоном голоса, чтобы не пересолить. — Уж какую бутылку... И гость вот, а он не отступится, нет. Ему все до конца допить надо".

"Посчитай, ха-ха, я забыл, со счету сбился. А после я тебе ребра пересчитаю. Сойдется — нет?"

Грустно было слушать эти перековы, вникать в чужие пересуды, касаться житейских тайн, извечной бабьей беды. Борется она со змием горынычем, запихивает его обратно в бутылек, хочет запечатать тугою пробкой — да все тщеты отчего-то напрасны. Хочет русский мужик завить горе веревочкой, все-то его тоска гложет, червь сосет, словно бы из другого теста состряпан, а баба, вот, майся...

Я вышел на улицу, постоял возле воды, вьющей серебряные косицы;

река загибалась у поскотины и будто выстреливала вверх, в самое небо, сливалась на окоеме с разводьями фиолетовых туч. Помыкался по деревне, нехотя вернулся в избу. А там были перемены: жена сряжалась куда-то, под глазом светился свежий синяк. Викентий победно подтыкал кулаком голову и нещадно дымил в сторону порога, выказывая тем жене полное пренебрежение. Мол, бежи, давай, да долго ли побегаешь. Увидев меня, воскликнул вдруг: "Сбирайся, Владимер, поехали!" ?Жена хлопнула дверью, из шолнуши испуганно выглянула дочь, заверещал ребенок.

...Мы стаскали к лодке поклажу. Я заметил, что Викентий уже ходил плохо, с одышкой, подымаясь в гору, останавливался на полдороге, грустно смотрел в красный плитняк, вымостивший склон. В глазах его не было прежнего веселья.

На севере собираться куда-то — не шутейное дело: хоть бы ты и на один лишь день поехал на рыбалку с ночевою, но лодку загрузишь по самые верхние нашвы. Несколько канистр бензина, постели, запасной мотор, смена белья, овчинная шуба, какие-то корзины для рыбы и харча, чайник и котел, сковорода, соль, весла и пехальные шесты, сундучок с ключами, мотки веревки, валенки-отопки. Сколько всего пригождается рыбаку в походе, и только северянин, промышленный человек, испытавший с детства стужу и нужду, знает истинную цену всякой мелочи. Лишь легкомысленный рыбачишко иль малец могут лихо вскочить в лодку и, дернув за шнур, завив за кормою волну, сломя голову мчать по реке. Охотник-промышленник во всем обстоятелен; уже стаскав пожитки, тщательно уложив их в лодке по степени важности их, чтобы все самое нужное было под рукою, чтобы после не рыться в барахле, он не раз и не два еще присядет на угоре, подымливая сигареткой, и припомнит, все ли взял с собою, не позабыл ли чего...

В последнюю очередь уложили снастенки — два спиннинга и удочки. У меня хлыст шведский, катушка блестит никелем. У Викентия снасть — короткая можжевеловая палка, и к ней примотан ленинградский барабан с толстой лескою. Казалось бы, что можно взять на этот снаряд, какую рыбешку достать на самое-то заскорузлое дедовское приспособление, на эту желтую блесенку, вырезанную из самоварного бока. Но я-то знаю, что эту можжевеловую палку Викентий не променяет ни на один хлыст, она ему служит уже лет двадцать, ибо выдержит при выводке любую рыбину, не обломится: сама крестьянская жизнь с ее скрытностью подсказала этот немудрящий снаряд, который можно легко сунуть под брезент, когда заслышишь мотор рыбнадзора, иль при крайней нужде выбросить за корму, ибо за нее не трачено денег, ее можно вырубить на любом веретье, где пушится можжевел. А коли не станет "ленинградки", то можно блесенку

закинуть и с руки, привязав толстую лесу к сапогу. Нет, у настоящего рыбака все без затеи, удивительно просто, не на похвальбу.

С неба забусило. А "даже маленький дожжишко лентяю передышка". В непогодь деревенскому хорошо отъезжать, меньше на угоре любопытных глаз, некому сплетничать; старухи за самоваром, старики на печи, рыбнадзор рыбу жарит и водку пьет. Тут нашему рыбаку в самую пору кидаться на ловы; моркотный дожжишко придавливает звук мотора, завешивает просторы, затуманивает воду, и нашему ловцу куда проще затаиться в розвеси кустов иль закинуться за остров в старицу и там переждать неловкость.

А Викентия опохмелок мучил, сожигал его нутро; он скуксился лицом, лоб стал как старое голенище, а в глазах — смертная тоска. Сгорбатился за мотором, спрятал голову в брезентовый куколь, и не понять, дремлет ли мужик, иль смотрит на реку из-под брови, унизанной мелкой капелью. Мне жаль напарника, хочется смягчить нутряную боль: выйти на бережинку, растеплить костер, достать бутылек, сдернуть блестящую бескозырку — и по коням. Но тогда прощай рыбалка, прощай мечта, которую тешил во всю зиму: как поеду вот на Сояну и помчусь вверх по сверкающей студеной реке, чтобы из ее волнующегося чрева выдернуть на блесну рыбу-семгу. Потому я отвожу от Викентия взгляд, чтобы понапрасну не травить себя. Но не сдержался, добыл из рюкзака "благоверную" с винтом, плеснул в стаканец, отломил кусок подорожника, подал кучеру. Тот выпил, зажмурился, отчаянно потряс головою, понюхал угощение и сунул еду под брезент. И я опростал посудинку. И почувствовал вскоре, как все сдвинулось в природе, повеселело, и дождь сразу скинулся за леса, и небо прояснилось, меж валами облаков налилось голубенью, и мотор запел куда звончее, с кудрявыми подголосками, когда вдруг сбивались на отмелые места.

Пошли места глубокие, с тенистыми заводями, с родниками, пробивающимися сквозь береговую гальку, глубокие стоячие плёсы, в которых замирялась упругая вода, сбегающая с каменных переборов, как бы до синевы обточенная гранитными валунами, меж которых мог угодить прогонистой лодкой лишь местный старожил, кто век свой прокуковал на реке. Хмельной, с чугунной головою и с merклой душою, Викентий ни разу не омелился за пять часов дороги, не сломал винта, не свернул шпонки; он знал, где подернуть вверх взревывающий мотор, где подмогнуть пехальным шестом, сунув его под мышку, где поддать газу иль убрать его на самый малый. Для порогов нужна железная хватка, упрямое сердце и какое-то безразличие к бесноватой бессонной стихии.

Вошли в тихую излуку, Викентий выключил скорость, сказал мне насмешливо: "Гляди, Владимер, из того угла выдерну сейчас светлую". Достал из-под брезента можжевеловую палку с барабаном, и безо всякой

примерки, но удивительно точно, в сантиметрах закинул жестянку в кулижку воды к жирной цветущей куге, к мраморному венчику купавы. И как по мановению ока тут же взбурлило на дальнем конце лесы, в воздух вскинулась семга и тяжело, плашмя ударилась о воду; но рыбак даже не приподнялся с сиденья, но лишь, закусив обсосок сигареты, деловито, с прищуркою закрутил барабан, вглядываясь в глубину. Викентий не чинился с рыбою, не давал ей протяжки и слабины, не дозволял выгуляться в струе, поутихнуть и устать; он по-обидному жестко, безразлично подтянул семгу к корме, и когда она опрокинулась на спину и на мгновение лишь притихла, подхватил за упругий толстый хвост, выкинул в лодку и ударом чекана по голове смертельно оглушил светлую. Если уж тысячу лосей взял, множество медведей и рысей, то что ему чикаться с рыбиной? Была полотуха килограммов на восемь, она горела серебряным жаром на мокром брезенте, осыпая вкруг себя прозрачную маслянистую перламутровую чешую. Что-то похожее на зависть мгновенно вспыхнуло во мне; я с отчаянием кидал блесенку во все углы заводи, наискивая там добычу, ожидая того рыбьего тычка, от которого мгновенно, как от испуга, вздрагивает сердце. Но увы... Викентий молча покуривал, дозирал за мною и устало зевал. Он-то был у себя дома, он достал на еду из своего амбара, из тех закромов, к которым был подпущен с младых ногтей; а я — пришелец, временный человек, для меня рыбалка — забава, а не кусок хлеба насущный. Уж где нам равняться?

На пути, еще не доезжая до стана, взяли еще с полпуда хариусов. Викентий посмотрел на небо и как бы приказал себе: "Все, пора шабашить. Брюхо пуста не терпит". Мы подъехали к избе. Сенокосчики еще управлялись на лугах: наверное, ворошили после дождя сено иль, что посуше, навивали в тонкие зароды на высоких подпорах. Прошлогодние остожья с редкими стожарами виднелись там-сям и дожидались косцов. Одни мы как бы прохлаждались на реке, были не у дел, шерстили воду.

Становая изба была занята, и мы развели огонь возле баньки на высоком угоре. Викентий никогда не суетился, не спешил; ноги, видно, сильно мучили его, и приятель, по-стариковски шаркая сапогами, удивительно споро разживил костришко, вычистил семгу, разделал ее, серединные звенья подсолил, воткнул мытарь, прополоскал рыбу и запустил в кипящую воду. Пока-то я волочился в гору со скарбом, выволакивал на стан самое необходимое, что надобно для поварни и для ночевой, Викентий уже сделал подобие походного стола, раскинул на нем чистую тряпицу. И все так ладно счинивалось, так подыгрывала нам и погода, и рыбалка, и гудящая на перекатах река, и угрюмоватые уступистые леса, уходящие вдаль террасами и навевающие своим величием какой-то надмирный покой, что близ-

кая трапеза и рюмка под уху казались добрым и радостным завершением долгого летнего дня, которому не видно было конца.

И самая-то мелочь, ничтожная шероховатинка, вдруг напустила тучи на все наше согласие. Пока докипала уха и Викентий выкладывал вареную семгу на кару (березовую дощечку) и пересыпал солью, он вдруг попросил меня: "Слышь, почисти пока харюсов. Да пупки-то не выбрасывай; мы их поджарим". — "Какие пупки, Веня? — удивился я и засмеялся. — Семга на столе, а ты пупки". — "А я говорю, пупки не выбрасывай". — "Пупки, Веня, хороши лишь у женщин. Если хочешь их есть, то чисти сам".

Друг побагровел, осатанелым взглядом, испепеляющим насквозь, оглядел меня; мне казалось, что сейчас он выхватит шкерочный острый нож со сливом для крови и пронзит насквозь. Но я не принял его гнева, мне почудился его внезапный вздерг игрою, и я еще поддел моего приятеля, любящего постоянно подыгрывать надо мною: "Ты собаке кинь те пупки, они и то есть не станут, отвернутся. Семга на столе, а он — пупки".

Викентий молча скатился с горы, крикнул с уреза реки: "Живи один, я уехал". Он вскочил в лодку, отпехнулся шестом и стал лихорадочно дергать пускач. Мотор не схватывало, лодку подняло течением и стало относить к порогу. Я думал, Викентий сорвет шнур, с такой яростью он рвал погонялку, чтобы заработал винт. Я с каменным спокойствием наблюдал сверху за суетою и зачем-то постукивал носком сапога о набитый череп земли. Уха в котле посерела, на толстый слой жира шлепались комары и тут же погибали, покрывая похлебку пеленою. Бутылка на столе казалась странной, на куске ветчины, привезенной из Москвы, шевелилось оводье, отрывая от мяса. Лодку сносило все дальше и дальше. Я спустился к воде, стал чистить хариусов, пупки (рыбьи пузыри) складывал в сковороду.

Послышались шлепки шеста о воду, заскрипел о песок нос лодки. Викентий, сгорбатясь, потащился наверх, потом сдавленно позвал меня к обеду. Мы выпили по стопке, другой, я спросил, виноватясь: "Веня, пупки-то пожарить?" — "Выбрось... вороны склюют", — ответил он не глядя.

Я не понимал приятеля, его обиды. У меня было муторно в груди, казалось странным, что из-за такой малейшей пустяковины смог разразиться гнев. Я вспоминал случившееся, и оно вызвало во мне запоздалый испуг. Я стал корить себя: де, зачем пошел вопоперечку, почему не уступил в малом, ведь стоило лишь смолчать, поддаться чужому настрою, и не сварилось бы никакой ссоры. А теперь у рыбалки виделось самое худое продолжение. (Дурные мысли мои позднее сбылись.)

К вечеру на стан вернулись мужики, стали варить кашу. Веня в разговоре с ними оттаял, на меня глядел уже виноватясь. Стали готовиться к ночевой, проветрили баньку: она была еще теплой, недавно мылись покос-

чики. В распахнутую дверь набилось комарья; жемчужный туск неба, чуть разбавленный с запада розовым, разбавлял сумерки. Я бросил шубу на полок, вот где пригодилась она; Веня постель не достал из лодки, а бросил на лавку фуфайчонку. Сидел на пороге, курил, глядя на реку, и вздыхал. К бане прибился лохматый щенок, загрызался на Викентия: мужик травил собачонку, совал в пасть палец, проверял, зверная ли будет лайка. Впереди была длинная северная ночь: сюда бы цветистого баюнка, так он бы своими завиральными живо бы разбавил скуку и уморил бы до сна.

"Хорошая будет собака?" — спросил я у приятеля, только чтобы не молчать. В бане пахло прелью, сажей, вениками. Валуны на каменице лежали большой грудой, внавал, и давали, наверное, много жару. В бане почерному я мылся в детстве; она стояла в огороде, была низенькая, тесная, и даже я, ребенок крохотного росточка, умудрялся весь выпачкаться в саже, пока натягивал бельишко. Но старались, обычно, одежду на себя не натягивать: помню, как зимою в одних трусах и в валенках бежал из бани по узкой тропинке, едва натоптанной средь снежных забоев...

"Разве узнаешь? — отвлекшись от раздумий, ответил Викентий. — Много у меня их было, не счесть. Иная идет, иную на сук — что зря кормить. Разве угадаешь?"

"Есть какие-то приметы, повадки. В лесу куда без собаки?"

"У меня всегда было и две, и три. Одна стареет, я загодя щенка присматриваю. Недавно померла, хорошая была сучка. Ты ее видел. Сотня, — вдруг разговорился Викентий. Рассказывал он шепелявя, часто сменяя сигаретки и гулко пурхая горлом. Эх, сердешному, курить бы никак нельзя, вон жилы на ногах как расперло, сплошные узлы. — Ну... первый год не брала зверя и второй год не брала. На охоту возьму, другие собаки облаивают птицу, а она — ноль внимания. Сзади свернется клубком и лежит. Отец говорит: "Ты чего зря дармоедку держишь? Веди в лес и хлопни". Но ненец один глянул на Сотню и говорит: корми еще год, у нее коготь есть, и она должна хорошо на зверя пойти. Если нет, то прощайся с лайкой. Вот и третья осень пошла, но Сотня никого не берет. И вот пошли однажды, она кукшу облаяла. Это по первому снегу было. Ах ты, думаю, сучонка, на дерьмо лаешь, а что-то в тебе стронулось, знать. А тут по следу я куницу настиг, она на хонгу, сухую деревину, схоронилась в дупле. А нору-то рукой достать. Я шерстяной рукавицей заткнул и стал рубить. Наполовину перерубил, собаку-то тычу, она и заскулила. А там, внутри-то, гниль, и кунка-то вниз по сердцевине пошла, ее трухой-то и присыпало, только хвост торчит. Я ее за хвост да вытянул на свет Божий, передние лапы переломил и бросил ее в снег. Сотня-то так и схватилась в задницу кунке и давай трепать. А та изогнулась да Сотню за носопырю и хвать. Собака треплет, и ни в какую. Я

стою в стороне, не помогаю, пусть, думаю, помучается. Ну, одолела сучка, легла возле, лапу на кунку положила, заглядывает, не ожила ли, а сама урчит и длинным языком нос зализывает. У нее длинный язык был.

А после на горе я еще куний след нашел, и она как пошла, как пошла, тут и собакой стала. И на лося пошла, и на медведя, и на птицу, и на куницу. Такая ли зверная стала собака. Прав оказался ненец. А лося уж так повернет, чтобы в грудь ему стрелять.

Однажды слышу, гарчит, грубо так, значит, лося взяла. Из-за кустов-то сунулся, а бык матерый напротив меня, чуть мелкашкой ему в грудь не ткнул. Пульнул, а ему хоть что. Он бы бежать от меня, дак собака не дает. Я еще успел два раза стрельнуть. Тут лось-то и кинулся от меня. Я следом бегу: раза два собака останавливала. Но я уже у реки догнал. Вижу: собака на том берегу, а лось посредине реки в воде. Я ружье-то хвать, а затвора нет, утерял затвор-то. Старо ружьишко-то было. Вот греха-то. Побежал обратно, помню, что невдали перезаряжал. Все обыскал — нету затвора. Кинулся вниз по реке, там за два километра у меня дробовка была с пулями. Бегу обратно — нету ни лося, ни собаки. После слышу — далеко-далеко лает. Я туда. А уже ночь, и устал я шибко. Собаке-то что, бежит она на четырех лапах, не знает, что мне тяжело. Вышел к реке. Собака уже под утро вернулась, легла под кустом, на меня не смотрит. Я ей костей дал, она не ест. Обиделась, что я следом не пошел. Я поехал на лодке выше, она осталась и уж верст через пять догнала. Еще дня три дулась. А лося-то нашли мужики после; медведь уже выел...

Собака все понимает, ее не проведешь. Бог-то ее к себе приблизил".

Утром Викентий встал смурый; наверное, и не ложился на ночевую. Когда я поднялся, горел костерок, уже вскипел чайник. Остатки ухи доедал из нашего котелка щенок.

"Собирайся, — отрывисто приказал Викентий. — Не сварилась рыбалка. Домой надо".

По тону его голоса я понял, что перечить бесполезно.

Это был последний наш поход с охотником по его вотчинам.

...Все так же трубят осенями лоси, рехают лесные архимариты, но душа нашего медвежатника пасется уже в других пределах.

1979 — 1999

Александр Проханов

СЛОВО О ЛИЧУТИНЕ

Когда идет по земле напасть, глад или мор, когда вымирает и погубляется жизнь, она, спасаясь, выбегая из горящего города, или выскакивая из-под оползня, или вырываясь из жестоких когтей, собирается на каком-нибудь островке, копится в каком-нибудь глухом уголке. Там достигает невиданной концентрации, небывалой силы и яркости. Так олени из пылающего бора переплывают озеро, толпятся на безопасном мыске. Так староверы уклоняются от свирепых стрельцов, уносят в дебри свои иконы и свитки. Так русский дух, побиваемый сегодня супостатами, палачами и чернокнижниками, иссеченный, исколотый, с криком и воплем покидает городки и села, театры и школы, дивизии и флоты и, стремясь уцелеть, выбирает чью-нибудь отдельную душу. Вселяется в праведника, вмещается в пророка, голосит криком свидетеля и очевидца. В писателя Личутина вселился русский дух такой светоносной силы, что из его книг золотыми пучками светит в черную ночь русского лихолетья. Путник, застигнутый тьмой, военный отряд, сбившийся с пути, богомолец, потерявший храм, гонец, заблудившийся в чаще, видят колею, идут на этот луч, обретают в омертвелом испуганном сердце любовь и веру.

Личутин — колдун. Ходит-бродит. Присаживается, приглядывается. То мерцает зорким ястребиным глазком, то сонно дремлет, подставляя солнышку золотую бородку. Откроет книгу, строго нацепив жестяные очки. Закинет за спину ружьецо, легкомысленно пальнет в пробегающего зайца. Посмотрит на вечерний, пролетающий над избой самолет. Сумрачно глянет в ночной телевизор. Запрется в своей горенке, утвердится на точеном кресле. И начнется великое творение. Будто в деревенский горшок кинул колдун плакун-траву, дрему-горицвет, коренья чистотела. Влил ковш воды из талицы. Вскипятил на огне. Пробормотал заговор. Просвистел синицей. Гукнул филином. Взвыл волком. Зелье забурлило, поднялось, пошло через край. Залило половицы, потекло под дверь, на крыльцо, на двор, на луг. Не зелье, а сладчайший мед, душистый ягодный сок, чистейшей синевы студеный снег, дивного аромата настой.

Языку Личутина нет равных. В нем звук, цвет, музыка. Русский ветр, русская песня, закон русской красоты, единый и в золотом завитке иконо-

стаса, и в белой резной стене храма, и в чугунном стволе пушки-единорога, и в красном листе осины, плывущем по синей воде, и в чудном лице красавицы. Язык Личутина запечатлел все сущее, зарисовал лик Родины. В случае оскудения русской земли этим языком можно заново написать всю Россию, с городами, лесами, зорями, младенцами, стариками, молитвами. Нарисованные Личутиным, они оживут и заселят обезлюдевшее Отечество.

Язык Личутина — сокровище России, как Спас на Нерли, или Байкал, или таблица Менделеева. Его надо охранять, как национальный парк. Надо изучать, как изучают флору и фауну Рая, не испорченную первородным грехом.

Знает ли он о своем даре, о своей несравненной, неповторимой роли? Знает ли о своей роли бор, населенный зверями, птицами, бабочками, муравьями, с тихими ручьями, сонными болотцами, светлой быстрой рекой, красными соснами, голубыми цветами, белыми грибами, с тайными тропами, с отшельником в рубленой келье, с разбойником, притаившимся в чаще, понимает ли свою роль девственный лес?

Личутин свою роль понимает. Он, обремененный заботами, хворями, гонимый нуждой, окруженный мучительной повседневностью, страдающий от людской глухоты, среди людского неверия, черствости, неспособности услышать и увидать красоту, — он знает о своем даре, о своей богоизбранности. Несет под сердцем непорочно зачатый плод, сберегая от ножа иродова, пронося сквозь остервенелый мир. Так из осажденной басурманами крепости, обреченной на разорение, одинокий монах подземными лазами уносит под рясой чудотворную икону, от которой потом будет спасаться земля. Так последний солдат окруженной дивизии обматывает вокруг израненного тела боевое знамя, идет сквозь топь к своим, чтобы под этим спасенным знаменем другие полки и дивизии громили врага на развалинах чужеземных столиц.

Личутин сознает свою миссию. Он может притулиться, пригорюниться, прикинуться погорельцем, простаком, разохаться, расстонаться. Но это все внешне, как если бы князь в доспехе нарядился в ветхое платье. В своей внутренней сущности Личутин аристократичен, великолепен и грозен. Те, кто его по-настоящему любят или ненавидят, желают ему погибели или жизни вечной, — видят огромность Личутина, который ростом с колокольню Ивана Великого, в золотом шлеме, опоясанный золотым кушаком.

Если бы мне заказали герб Личутина, я нарисовал бы алую буквицу,

перевитую цветами и травами, с диковинными зверями и птицами. Поставил бы эту буквицу на ладью. Пустил бы ладью по шипящему синему морю Начертал по небу девиз: " От Бога приял!"

Религия Личутина — это религия Русского Рая. Он знает и не подвергает сомнению, что русский народ — Богоносец. Что Россия — страна Богородицы. Что путь русской истории, которая то валится в пропасти, то карабкается по каменным кручам, устилая свои обочины сгоревшими и изрубленными поколениями, — это путь в Рай. Он вам не скажет, откуда взялся русский народ, может быть, спустился с Карпат, или вышел из водяных пучин Белого моря, или произошел от медведя, или собрался из росы и цветочной пыльцы. Но он твердо знает, что русский народ выбрал своей родиной Рай и идет к нему, оставляя по пути церкви и остроги, писаные образа и книги, среди которых и его, Личутина, книга. Это движение в Рай совершается всем огромным, двигающимся сквозь века толпищем, в котором нерасторжимы злодей и праведник, царь-мучитель, и святой-мученик, ибо одни искупают других, спасенные спасают погибших. Расколы, революции — трещины и провалы, через которые движется русский народ, ведомый своей Покровительницей в малиновом одеянии, с золотой луной в волосах, с Дивным Младенцем на руках. Читаешь книги Личутина, смотришь картины Нестерова, слушаешь музыку Свиридова и видишь Богородицу с Божественным Чадом, а следом русский народ, с князьями, святителями, смердами, летописцами — излюбленный образ русского мистика от древности до наших дней. И так они вместе скитаются из эпохи в эпоху, из края в край, среди других, давно остановившихся, дремлющих народов. Вечные скитальцы, перебредающие через пропасти по воздушным мостам, которые выстилает перед ними Богородица.

Роман Личутина "Раскол" — это подобие "Тихого Дона" с сюжетом семнадцатого века. Его "Любостай" — рассказ о сегодняшней судьбе, моей и твоей, выбирающей между Светом и Тьмой. "Душа неизъяснимая" — эта русская "Песнь песней". Приемами красоты и изящной словесности излагает волшебную теорию Русского Рая.

Не подумайте ненароком, читая эти строки, что Личутин — какой-нибудь скрытник, или столпник, или затворник, корпящий в глухой келье над пергаментами. Он здесь, в сегодняшней войне, в бойне, в политике. В гексогеновых взрывах, в покушениях, среди ядовитой перламутровой слизи, истекающей с телеэкрана, среди галлюцогенной Москвы, где нарядные куртизанки под сиреневыми фонарями Тверской влетают в пролет-

ные “мерседесы” и “джипы”, где в бедном тесовом гробу хоронят поэта Тряпкина, где страшно пылает, отражаясь в кровавом зеркале, расстрелянный Дом Советов. Личутин на съездах писателей, на вечерах мятежной газеты “Завтра”, на “Народном радио”. Он не с теми, вчерашними товарищами по Дому литераторов, кто сегодня аппетитно хрумкает Букеровской премией, сытым червячком обгладывает капустный листок хвалебной рецензии в “Знамени”, ядовитым вьюнком обвивает ножки престола, кто макает в уксус пористые тексты своих злых писаний, прикладывает к устам распятого народа.

Присутствие Личутина в национальном сопротивлении, в русской духовной оппозиции делает эту опозицию духовно непобедимой.

Личутин только на вид, маленький, легкий, словно воздушное семечко иван-чая, летящее по ветру над августовским полем. Но это — иллюзия, заблуждение. Личутин создан из тяжелого, неподъемного металла, который еще не открыт и не назван, не нашел своего места в таблице Менделеева. Металловедение, составляющее сплавы для будущей брони, неподвластной противотанковому снаряду НАТО, танкостроение, разрабатывающее русский танк двадцать первого века, многое откроют для себя при прочтении личутинских книг.

В проклятом октябре 93-го года я с друзьями из “Дня” бегу из Москвы, где так страшно перевертывает отражение в зеркальную реку горящий Дом Советов, где танки Грачева дырявят белый дворец, где в Останкине коченеют простреленные трупы. Бежим спасаться к Личутину, в его рязанскую лесную вотчину, пробираясь через посты, увиливая от патрулей, огибая “бэтээры”, перекрывшие въезды в столицу. Мы гонимы. Наших жизней ищут. Нас хотят заковать, кинуть на липкий бетонный пол каземата, мучить, вырезать на спинах красные звезды. Наших живых товарищей отлавливают, как зверей. Наших убитых кидают в кузовы самосвалов и увозят в ночные крематории.

Мне страшно. Хочу сменить обличье, чтоб не узнали доносчики. Спалить документы, чтобы не опознал патруль. Хочу превратиться в рыбу и нырнуть в глубину. В птицу и прижаться к высокому суку осеннего дерева. Хочу превратиться в земляного червя и уйти под землю. Бегу к Личутину в его деревенскую избу, желая спрятаться на его чердаке, в его баньке, в его недописанной рукописи. Стать частью его неоконченной фразы, чтобы пришедшие искать меня с обыском смотрели на бумажный лист, на незавершенную главку и видели не меня, беглеца, а бредущего древнего странника, утыкающего в землю свой истертый еловый посох.

Почему мы бежим к Личутину? Могли бы уйти в Белоруссию, и там обошлись бы с нами, как с братьями. Могли бы откочевать в Приднестровье, в проверенный приют беглецов. Могли бы ускользнуть в Абхазию, в горные монастыри под Сухуми. Но бежим к Личутину. К нему, потому что раздавлено не просто восстание, сломлена не просто патриотическая оппозиция, а рухнула всякая надежда на свет, на волю, на русское чудо. Впереди у России — вечная тьма, нескончаемая беда. Теперь вместо солнца над Родиной будет страшно, незакатно чернеть волосатая красногубая морда банкира. Бежим к Личутину, как к последнему огоньку во мгле.

И все несколько дней, что ютимся в его чистой теплой избе, греемся у его печи, хлебаем из его мисок, ходим вместе с ним по грибы в красные сухие сосняки, валим на делянке березы, смотрим, захмелев от чарки, на туманные осенние звезды, — все эти дни он лечит нас, как знахарь. Прикладывает парные листья к нашим синякам и царапинам. Сращивает наши переломы. Вставляет вывихи. Промывает травяными настоями наши слипшиеся глаза. Орошает живой росой наши испуганные сердца.

В эти дни он брал на себя наши страхи и неверие, наши черные мысли и греховное уныние. Возвращал нам мужество, веру, бодрость, презрение к врагу. Одному Богу известно, чего ему это стоило. Одному Богу известно, что стоит чистому озеру принять в себя цистерну мазута, растворить, обезвредить, обезопасить, чтобы вытекающая из озера речка оставалась чистой и светлой и в ней по-прежнему плескалась рыба и крякали утки.

Через несколько дней мы, сосредоточенные и твердые, ушли от Личутина в Москву, где еще сновали "ловцы человеков" в черных мешках с автоматами, чтобы начать выпускать наше новое "Завтра", газету сопротивления.

Таков вклад Владимира Личутина в народное восстание 93-го года.

И вот мы умрем. Утихнут навсегда наши голоса, умолкнут споры, пропадут шевелящиеся губы, высохнут слезы мерцающих глаз. Забудутся, поблекнут наши имена. Но останутся книги. И какой-нибудь отрок через полвека откроет "Душу неизъяснимую". И вдруг из пожелтелых страниц изольются студеные реки, помчатся гуси над синим морем, встанут на беломорских островах чудесные храмы, запылят дороги, по которым двинется воинство, понесется ангел с острым синим крылом. В горницу деревянного домика, что под елками в Переделкине, войдет человек с золотой бородкой Николая Угодника и с синими глазками лесного ведуна. Скользнет легкой поступью по половику, сядет в креслице, упрет твердо локоть и на белом листе выведет неспешно:

“ С одной стороны полуденная тундра пахла сладко и пряно, вся розовая от нежной клюквенной завязи и белая от морошечного цвета и гусиного пуха; тундра пряно пахла багульником и тонко ныла на одном неумирающем вздохе, словно в огромном баяне запала самая нижняя клавиша, рождая вместе с этим звуком все новые черные волны комариного гнуса. Но совсем рядом против тундры жило море, и чудилось, что в глинистые осыпи бросают из пушек чугунные ядра, чтобы встряхнуть громами дремотный покой тундры. Я скатился к морю, и оно обнесло меня запахом водорослей и легкой водяной сырости, которая постоянно висела в воздухе. Море растворилось в небе и стояло выше моей головы. Темно-сизое марево закрывало его далекую кромку, казалось, там навесили непрозрачную кисею, чтобы скрыть за нею рождение новых ветров”.

Друг мой, Владимир Владимирович, да хранит Тебя наша нежность, наша благодарность, наша молитвенная любовь.

СОДЕРЖАНИЕ

Владимир Владимирович Личутин

Душа неизъяснимая
Размышления о русском народе

Художник Сергей Харламов

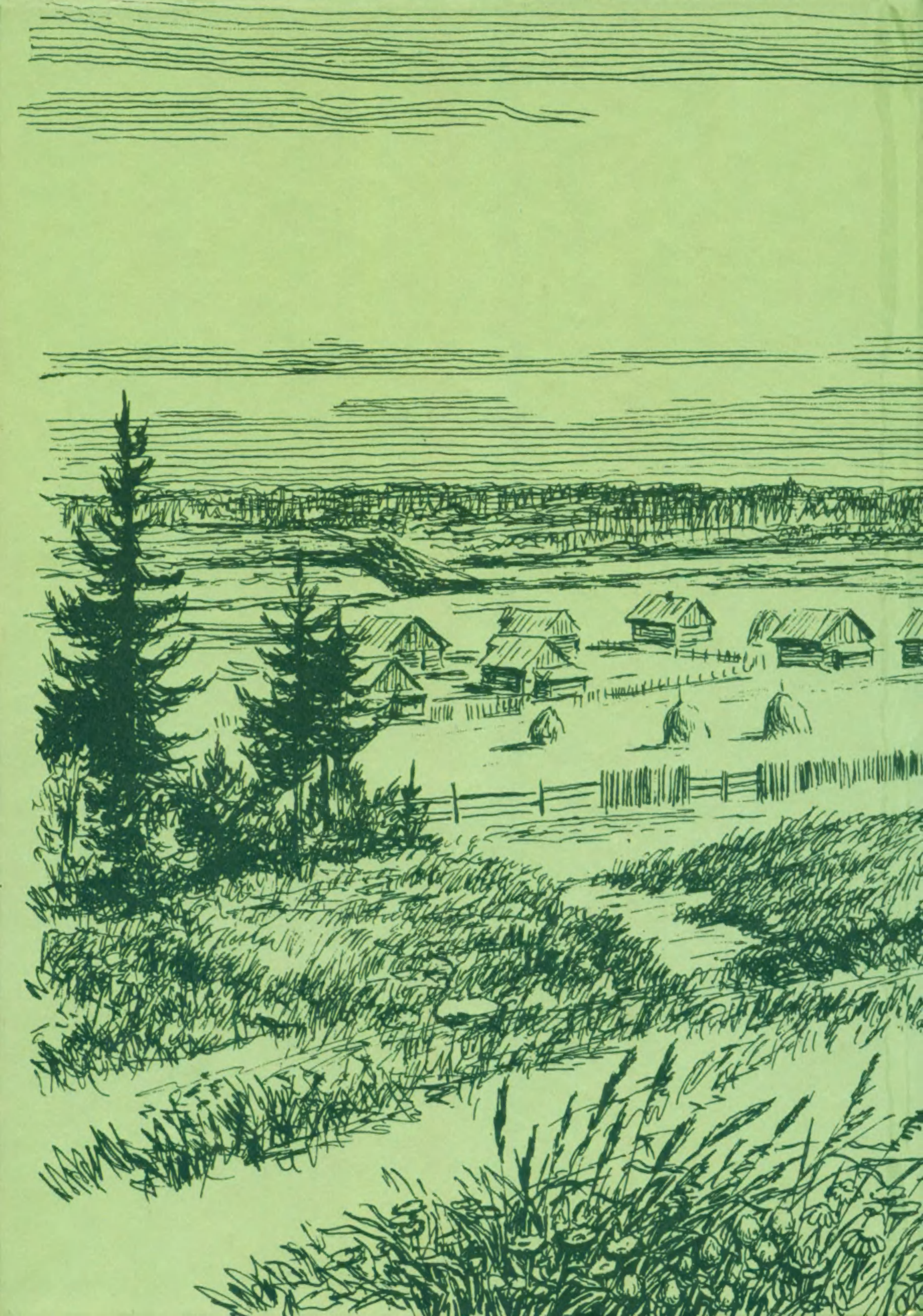
Редактор А.А. Агафонов
Корректор Ю.В. Галкина
Компьютерная верстка С.В. Ковалев

ЛР № 030167 от 25.10.96.
Подписано в печать 17.01.2000. Формат 70x100/16.
Гарнитура Академическая. Бумага офсетная.
Усл. печ. л. 40. Уч.-изд.л. 39,8.
Тираж 2 000 экз.
Заказ 58.

Издательство «Информпечать» ИТРК РСПП
109240, Москва, Котельническая наб., 17.

Отпечатано с готовых диапозитивов в
ОАО «Ярославский полиграфкомбинат».
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.

По вопрасам приобретения книги
просим обращаться по телефонам:
(095) 298-31-53
(095) 298-33-75



Владимир ЛИЧУТИН
ДУША
НЕИЗЪЯСНИМАЯ
ДУША НЕИЗЪЯСНИМАЯ
Владимир ЛИЧУТИН